

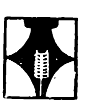
П. В. АННЕНКОВ ◆ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ А. С. ПУШКИНА

П. В.
АННЕНКОВ

◆

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ А. С. ПУШКИНА

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П. В.
АННЕНКОВ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ А. С. ПУШКИНА

«Современник»
Москва
1984

Общая редакция и вступительная статья
Г. М. Фридлендера
Подготовка текста и комментарии
А. А. Карпова

А $\frac{4603010101-005}{М106(03)-84}$ 275—83

ПЕРВАЯ БИОГРАФИЯ ПУШКИНА

1

«Если за Белинским остается заслуга первой критической оценки Пушкина в связи с развитием новой русской литературы, то прекрасное начало научному истолкованию художнической деятельности поэта в связи с событиями его жизни положено было, без сомнения, П. В. Анненковым»[1]. Так академик Л. Н. Майков еще в конце XIX века справедливо оценил историческую роль Анненкова-пушкиниста, верно указав тем самым на непреходящее значение его трудов и сегодня.

В университетских курсах и общих руководствах по истории русской литературы Анненков обычно характеризуется лишь как либеральный критик 50 — 60-х годов, выступавший вместе с В. П. Боткиным и А. В. Дружининым против идей революционно-демократической критики Чернышевского и Добролюбова и защищавший в полемике с ними идеи «чистого искусства». Хотя критическое наследие Анненкова и представляет самостоятельный интерес и нуждается в особой оценке[2], подлинное место Анненкова в истории русской культуры определяет не оно, а три другие, более серьезные и важные его заслуги.

Первая из них (и, может быть, главная) состоит в той выдающейся роли, которая принадлежала Анненкову как участнику общественной и литературной жизни его эпохи. Современник Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, К. Маркса, И. С. Тургенева, Анненков сумел по достоинству оценить масштаб личности каждого из этих выдающихся своих современников. Уже то, что Гоголь, в течение многих лет хорошо знавший Анненкова, доверил ему в 1841 году такое ответственное дело, как переписка под свою диктовку для печати первого тома «Мертвых душ», дает Анненкову право на бессмертие в истории русской литературы. Но это — всего лишь одна из многих заслуг его перед современниками и потомством.

---

[1] Майков Л. Пушкин. СПб., 1899, с. 319.

[2] См. об Анненкове-критике: Кулешов В. И. История русской критики XVIII—XIX веков, М., 1978; Егоров Б. Ф.: 1) П. В. Анненков—литератор и критик 1840—1850-х гг. — В кн.: Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 209. Тарту, 1968; 2) Борьба эстетических идей в России середины XIX в. Л., 1982. Вопросу о значении мемуаров Анненкова посвящены работы Б. М. Эйхенбаума, В. П. Дорофеева, В. И. Кулешова.

Белинский в последние годы жизни настолько высоко ценил ум Анненкова, что именно в письмах к нему изложил в 1847—1848 годах многие из самых заветных своих мыслей. В 1847 году критик писал в Зальцбрунне свое знаменитое письмо к Гоголю, находясь здесь в обществе Анненкова, и ему первому его прочитал. Незадолго до этого, 28 декабря 1846 года, К. Маркс в знаменитом письме к тому же Анненкову впервые изложил свою критику «Философии нищеты» П.-Ж. Прудона, представляющую предварительный конспект писавшейся в это время книги «Нищета философии», исходные положения которой легли в основу созданного вскоре «Коммунистического манифеста» (1848). В 1848—1864 годах Анненков неоднократно встречался и поддерживал оживленную переписку с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым и некоторое время был одним из корреспондентов герценовской вольной русской печати. Еще в 40-х годах произошло знакомство Анненкова также с Тургеневым, постоянным литературным советчиком которого он оставался до смерти великого писателя, причем Тургенев настолько доверял его эстетическому вкусу, что считал одобрение Анненкова необходимым условием публикации своих произведений. Чтобы довершить список близких знакомых Анненкова, следует упомянуть о встречах его, беседах и переписке в разные годы жизни также с В. П. Боткиным, М. А. Бакуниным, Н. А. Некрасовым, А. Н. Островским, А. Ф. Писемским, Л. Н. Толстым, М. С. Щепкиным и многими другими выдающимися деятелями русской культуры того времени.

Вторая, не менее важная заслуга Анненкова перед русской культурой определяется его блестящим талантом мемуариста. Именно в жанре мемуаров (а не в жанрах повести и путевых записок, хотя до обращения к жанру мемуаров он пробовал себя в них) Анненков нашел истинное свое литературное призвание. При всех принципиальных идеологических разногласиях между либерально настроенным Анненковым, с одной стороны, и революционерами А. И. Герценом и П. А. Кропоткиным, с другой, такие сочинения Анненкова, как «Гоголь в Риме летом 1841 года» (1857), «Замечательное десятилетие» (1880), «Идеалисты тридцатых годов» (1883), «Молодость И. С. Тургенева» (1884) и другие, — наряду с «Былым и думами» Герцена и «Записками революционера» Кропоткина — составляют художественную вершину классической русской мемуарной литературы второй половины XIX века. Сыграв громадную роль в воспитании многих поколений передовой русской читающей публики, литературные воспоминания Анненкова навсегда вошли в золотой фонд не только русской, но и мировой мемуарной классики. Анненкову с исключительной психологической глубиной удалось уловить и передать в них тот особый, высокий накал духовной жизни, который составлял наиболее характерную черту идейного развития русского общества XIX века.

Наконец, третью, долгое время недооцененную критикой и литературоведческой наукой заслугу Анненкова, дающую ему право на горячую признательность потомков, составляют его пушкиноведческие труды. Анненкова можно без преувеличения назвать первым ученым-пушкинистом, ибо, наряду с В. Г. Белинским, он явился основоположником всей последующей исследовательской литературы о Пушкине. А осуществив в 1855—1857 годах первое критическое издание сочинений Пушкина, основанное на предпринятом им текстологическом изучении доступного ему в то время рукописного наследия великого поэта, Анненков не ограничился этим. Он предпослал

изданию первый опыт научного истолкования жизни и творчества А. С. Пушкина в их живом, неразрывном единстве — это публикуемые в настоящей книге «Материалы для биографии А. С. Пушкина» (1855). Свои занятия по изучению биографии и рукописей поэта Анненков продолжает до последних дней. И хотя русская наука о Пушкине выдвинула в XIX и начале XX века ряд других видных представителей, из которых одни были современниками Анненкова (П. И. Бартенев), а другие — продолжателями начатого им великого исторического дела (В. Е. Якушкин, Н. И. Черняев, П. О. Морозов, Л. Н. Майков, С. А. Венгеров), все же сегодня можно без преувеличения сказать, что заслуги в области пушкиноведения ни одного из представителей русской академической науки о литературе до Октября не могут быть сопоставлены с заслугами Анненкова-пушкиниста. Лишь советская наука в лице Б. Л. Модзалевского, П. Е. Щеголева, М. А. Цявловского, Б. В. Томашевского, С. М. Бонди и других выдающихся ее представителей явилась впервые в истории изучения наследия Пушкина достойной продолжательницей того великого дела, начало которому было положено Анненковым в 50-е годы XIX века.

2

П. В. Анненков родился 19 июня (1 июля) 1813 года, в семье богатого симбирского помещика. Один из его братьев, Федор Васильевич, стал впоследствии нижегородским губернатором, другой — Иван — с 1846 года был флигель-адъютантом Николая I, а позднее — начальником Петербургского жандармского управления, петербургским обер-полицмейстером и дослужился до чина генерал-адъютанта. Но сам П. В. Анненков, несмотря на военные и чиновные связи отца и братьев, не захотел стать ни чиновником, ни военным. Поступив юношей в Горный институт, он вскоре бросил его, предпочтя философский (историко-филологический) факультет Петербургского университета, который некоторое время посещал в качестве вольнослушателя. В 1833 году Анненков поступил на службу в канцелярию министерства финансов, но вскоре оставил ее и в 1840 году почти на восемь лет уехал за границу, лишь изредка ненадолго возвращаясь на родину. Еще в 1832 году Анненков познакомился с Гоголем и вошел в круг его бывших товарищей по Нежину, а также петербургских друзей и знакомых. Возможно, именно это обстоятельство сыграло в самоопределении молодого Анненкова решающую роль, приобщив его к кругу литераторов и навсегда отвратив от мысли о чиновничьей карьере. В 1841—1842 годах в «Отечественных записках» появились анненковские «Письма из-за границы» — первый из циклов его путевых очерков, за которым последовали «Письма из Парижа» (Современник, 1847, № 1—4), а позднее, по возвращении его в Россию, — остро разоблачительные «Письма из провинции» (т а м ж е, 1849—1851). За границей Анненков, как мы уже знаем, вновь встретился с Гоголем. Весной и летом 1841 года в Риме он стал ближайшим соседом и собеседником великого писателя и оказал русской литературе неоценимую услугу, переписав под его диктовку первый том «Мертвых душ» (с начальными главами которого Анненков познакомился еще в 1839 году, когда Гоголь в Петербурге читал их на вечере у своего нежинского друга, общего их приятеля Н. Я. Прокоповича). В

1846 году Анненков познакомился в Брюсселе с К. Марксом, в 1847 году сопровождал В. Г. Белинского в Зальцбрунн, а 1848 год провел в Париже, близко общаясь с А. И. Герценом и вместе с ним наблюдая тогдашние революционные события. Период жизни за границей был временем наиболее усиленного интереса Анненкова к идеям западноевропейской демократии и современного ему социализма. Однако в этом своем интересе Анненков никогда не переходил известной черты, а страх, внушенный ему революцией 1848 года, побудил его навсегда утвердиться на позициях полного и решительного неприятия революционных путей преобразования общества, неизбежно связанных в представлении Анненкова с нежелательными «крайностями» и «эксцессами», которых он боялся и которых — для России — хотел избежать. Впрочем, и до этого Анненков, как видно из писем к нему В. Г. Белинского, критически относился к герценовской критике буржуазной Франции, считая главной движущей силой истории не народ, а состоятельные и образованные классы.

Это отнюдь не значит, что западноевропейские впечатления, знакомство с К. Марксом, общение с Белинским и Герценом прошли для Анненкова бесследно. Человек высокой культуры, Анненков, как свидетельствуют его статьи и письма, никогда не мог вполне отрешиться от мысли о несправедливости социального неравенства и угнетения. Но, признавая несправедливость существующих порядков с высшей этической точки зрения, он в то же время полагал, что имущественное неравенство — по крайней мере, в условиях его эпохи — не может быть устранено, ибо только оно дает лучшим представителям господствующих классов состоятельность и досуг, необходимые для культурной работы, развития высших задатков человеческого ума и сердца. Да и для себя лично Анненков высоко ценил материальную обеспеченность, дававшую ему возможность беспрепятственно наслаждаться благами культуры и образования и, не смущаясь заботой о куске хлеба, на досуге, спокойно и неторопливо заниматься литературным трудом.

В соответствии с этим Анненков утверждал, что в свойствах русского характера и «складе нашей жизни нет ничего похожего на героический элемент». И задачей русского писателя он считал изображение не натур героического склада, а тех, кто имел силу и мужество сохранить «нравственное достоинство среди всеобщего растления»[1]. Предварительное условие сохранения подобной силы и мужества было «обеспеченное состояние лиц, огражденных крепостным режимом от труда и богатых досугом, который они и употребили на изумительную обработку своего внутреннего мира»[2].

Поэтому писатель-художник его времени, по Анненкову, симпатизируя прогрессу и общественным реформам, не должен был превращаться в «учителя и пророка». Его цель, считал Анненков, в первую очередь, способствовать духовному — нравственному и эстетическому — развитию общества и его самопознанию, но не стремиться направить общественную энергию на действенное, практическое преобразование сложившихся условий жизни,

---

[1] Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, т. II. СПб., 1879, с. 167—168.

[2] Анненков П. В. Литературные воспоминания. СПб., 1909, с. 508.

какого бы глубоко нравственного осуждения и отпора эти условия ни вызывали (хотя желание избежать общественных эксцессов не мешало Анненкову не только до крестьянской реформы 1861 года, но и после нее отчетливо сознавать, что положение русского общества — и, в частности, отношения дворянства и крестьянства — по своему объективному смыслу «не есть мир, а война, борьба и столкновение»)[1].

Указанные основные черты мировоззрения Анненкова во многом определили его позицию в литературно-общественной борьбе 50-х годов, равно как и особенности его мемуарных и биографических работ, в том числе «Материалов для биографии А. С. Пушкина».

Анненков умер 8(20) марта 1887 года в Дрездене. Пережив почти всех людей своего поколения, он в последние годы, по-видимому, остро ощущал свое одиночество, враждебность к нему народнической критики, а также неприязненную, пристрастную оценку его работ о Пушкине учеными младшего поколения — П. А. Ефремовым и В. Е. Якушкиным, недооценивавшими как тяжести той исторической обстановки, в которой Анненков в 1850-е годы писал «Материалы для биографии А. С. Пушкина» и готовил издание сочинений поэта, так и благотворного нравственно-воспитательного и просветительного значения этого его труда.

3

Когда Анненков осенью 1849 года вернулся в Россию из Франции, обстановка, которую он застал на родине, вызвала у него глубокое уныние.

«По приезде из Парижа в октябре 1849 года, — вспоминал он, — состояние Петербурга представляется необычайным: страх правительства перед революцией, террор внутри, предводимый самим страхом, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры без нужды и без грани ⟨...⟩ Возникает царство грабежа и благонамеренности в размерах еще не бывалых ⟨...⟩ Трудно представить себе, как тогда жили люди. Люди жили, словно притаившись. На улицах и повсюду царствовала полиция, официальная и просто любительская ⟨...⟩»[2]

Усиление крайней реакции в последние годы жизни Николая I, цензурный террор, процесс и осуждение петрашевцев произвели на Анненкова гнетущее впечатление. Свидетель создания письма Белинского к Гоголю, близкий знакомый Гоголя, Белинского, Герцена, Бакунина, Анненков на два года уезжает из Петербурга в провинцию и симбирскую деревню из боязни ареста и полицейских преследований, которая, видимо, долго не покидает его, несмотря на влиятельных братьев, пользующихся личной милостью царя.

Именно в это время в руки Анненкова неожиданно, волею судеб, попало рукописное наследие Пушкина, и это определило едва ли не все дальнейшее направление его литературной деятельности.

---

[1] Анненков П. В. Письмо к А. В. Дружинину от 12 июня 1861 г.— В кн.: Письма к А. В. Дружинину. М., 1948, с. 29.

[2] Анненков П. В. Две зимы в провинции и в деревне. С генваря 1849 по август 1850 года. — Былое, 1922, № 18, с. 4—9.

Дело в том, что к концу 40-х годов первое посмертное издание сочинений Пушкина, выпущенное в 1838—1841 годах и дававшее текст его сочинений в крайне урезанном и искаженном цензурой виде, было распродано. В связи с этим в 1849 году Н. Н. Пушкина-Ланская и ее муж задумали осуществить новое издание сочинений поэта.

Из-за невыгодных условий, на которых соглашались предпринять издание Пушкина те петербургские книгоиздатели и книгопродавцы, к которым они обратились со своим предложением, Ланские пришли к решению сами выступить в качестве издателей. А так как муж Н. Н. Пушкиной-Ланской служил генералом в том же полку, что и брат Анненкова Иван Васильевич, недавно назначенный флигель-адъютантом Николая I и к тому же считавшийся (как автор четырехтомной «Истории лейб-гвардии Конного полка от 1731 по 1848 год») в военном кругу «литератором», Ланский обратился к нему в конце 1849— начале 1850 года за советом и помощью в осуществлении этого дела.

«В это время (зимой 1849/50 г. — *Г. Ф.*) Ланская, по первому мужу Пушкина, — вспоминал позднее по этому поводу П. В. Анненков, — делами которой по дружбе к семейству занимался брат Иван, пришла к мысли издать вновь сочинения Пушкина ⟨...⟩ Она обратилась ко мне за советом и прислала на дом два сундука его бумаг. При первом взгляде на бумаги я увидал, какие сокровища еще в них таятся, но мысль о приятии на себя труда издания мне тогда и в голову не приходила. Я только сообщил Ланской план, по которому, казалось мне, должно быть предпринято издание...»[1]

Разрешение на испрашиваемое издание, общий план которого (и которое должно было с небольшими поправками повторять издание 1837—1841 годов) составил Анненков, было по прошению Н. Н. Ланской и Опеки, учрежденной после смерти поэта Николаем I над детьми Пушкина и его имуществом, дано III Отделением 31 августа 1850 года. Но, к счастью для потомства, издание это не было осуществлено в том урезанном виде, в каком было первоначально задумано.

Ознакомившиеся с бумагами Пушкина более внимательно, чем их брат, который вначале, по-видимому, лишь бегло их просмотрел, И. В. и Ф. В. Анненковы убедились, что в их руки попало действительно неоценимое достояние. В результате 21 мая 1851 года И. В. Анненков подписал с Н. Н. Ланской письменный договор, по которому она уступила ему право на издание сочинений ее первого мужа. Так как П. В. Анненков некоторое время колебался, считая себя недостаточно подготовленным для исполнения этого дела, и не давал братьям окончательного согласия на то, чтобы взять издание в свои руки и написать для него биографию поэта (которой, после советов И. В. Анненкова с Н. А. Некрасовым, В. П. Боткиным, П. А. Плетневым и П. А. Вяземским, было решено его открыть), Некрасов рекомендовал воспользоваться для этой цели помощью критика «Отечественных записок» С. С. Дудышкина. Но в конце концов братьям удалось своей настойчивостью рассеять сомнения П. В. Анненкова и побудить его горячо и энергично взяться за дело, несмотря на пугавшую его «громадность задачи»[2]. При этом И. В. Анненков передал

---

[1] Анненков П. В. Две зимы в провинции и в деревне. — Былое, 1922, № 18, с. 10.
[2] Там же, с. 12.

брату и само право выступить в качестве официального издателя и редактора.

Как свидетельствуют черновые бумаги П. В. Анненкова, мысль взять на себя работу над собиранием материалов для биографии Пушкина возникла у него, по-видимому, уже в конце 1850 года. Однако переписка с братьями, которые настойчиво убеждали его взять на себя работу над изданием и биографией Пушкина, растянулась на сравнительно долгий период — с весны по осень 1851 года[1]. Впрочем — по словам Анненкова — «страх и сомнения в удаче обширного предприятия, на которое требовались, кроме нравственных сил, и большие денежные затраты, не покидали меня и в то время, когда уже, по разнесшейся вести о нем, я через Гоголя познакомился с Погодиным, а через Погодина с Бартеневым (П. Ив.), Нащокиным и другими лицами, имевшими биографические сведения о поэте. Вместе с тем я принялся за перечитку журналов 1817—1825 годов»[2].

Решение Анненкова стать издателем сочинений А. С. Пушкина и автором его биографии было все же вполне продуманным, целенаправленным и обусловленным глубокими — и притом идеологическими — причинами.

Характерными особенностями натуры Анненкова, как он сам хорошо понимал и в чем не раз признавался в своих письмах, были нерешительность, отсутствие в действиях твердой и ясной цели.

Горячие убеждения братьев взяться за издание Пушкина помогли Анненкову, как это не раз случалось с ним и позднее, преодолеть свойственную ему инертность. Но, взяв на себя дело подготовки нового издания Пушкина, Анненков обретает на долгое время поразительную энергию и целеустремленность в выполнении намеченной программы.

При этом Анненкова увлекают не узко специальные научные задачи, связанные с подготавливаемым изданием. В условиях «мрачного семилетия» 1848—1855 годов выход нового собрания сочинений Пушкина и правдивое воссоздание исторического облика великого поэта предстают перед Анненковым постепенно как важные, насущно необходимые исторические задачи, без решения которых невозможно восстановление нормальной преемственности между прошлыми культурными традициями русского общества и современностью, — преемственности, поколебленной реакцией конца 40-х — начала 50-х годов. Сознание ответственности этой задачи и ее культурного значения сделало на долгое время работу над Пушкиным главным делом жизни Анненкова.

«В Пушкине общество признало себя великим историческим лицом, — очень натурально, что о нем стали собирать биографические данные, как и о всяком лице в народной истории»[3], — писал в 1857 году Н. Г. Чернышевский, намекая на анненковские материалы и рассматривая «Записки» П. А. Кулиша о Гоголе, очерк Анненкова о Станкевиче (и, по-видимому, роман Герцена «Былое и думы», который Чернышевский не имел возможности назвать в подцензурной печати) как разные формы проявления пробудившей-

---

[1] См.: Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929 (где письма И. В. и Ф. В. Анненковых к брату по этому поводу, опубликованные на с. 381— 394, ошибочно датированы 1852 г.).

[2] Былое, 1922, № 18, с. 16.

[3] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. IV. М., 1948, с. 718.

ся в русском обществе в эпоху «мрачного семилетия» острой потребности в восстановлении поколебленной исторической и культурной связи между прошлой и современной умственной жизнью передовой России. Сам Чернышевский, как мы хорошо знаем, также стремился укрепить эту связь, создавая в 50-е годы «Очерки гоголевского периода русской литературы», где он дал развернутую оценку исторического значения критической деятельности В. Г. Белинского для русского общества.

«Помню я, — заметил Анненков в одном из своих писем, — что в 1849 году Гоголь находил необычайную пользу для литературы в тогдашней системе цензурного ограничения: это, говорил он, временный арест, чтоб заставить людей мыслить. Иногда кажется, что он прав. Десять лет молчания, которые способны были отупить любую другую, не молодую нацию, подготовили у нас только настоящую литературу ⟨...⟩»[1]. В работе по подготовке нового периода русской литературы, призванного сменить эпоху «мрачного семилетия», стремился по-своему принять участие и Анненков, создавая «Материалы для биографии А. С. Пушкина» и готовя новое, первое критическое издание произведений поэта.

Имена Пушкина, Гоголя, Белинского навсегда остались окруженными в его глазах священным ореолом. И как бы ни расходился он в понимании их творчества с Герценом и Чернышевским, Анненков считал себя призванным отстаивать и защищать их наследие в борьбе с общественной пассивностью, бездуховностью, отказом от высоких этических идеалов, характерными для основной части русского дворянства в эпоху «мрачного семилетия».

И недаром, вспоминая об эпохе «мрачного семилетия» и о своей личной позиции в литературно-общественной борьбе той эпохи, Анненков писал в конце жизни: «⟨...⟩ Сильно ошибаются те из наших современников, которые представляют себе положение русской литературы в описываемый промежуток времени исключительно и безусловно страдательным ⟨...⟩ Писатели, издатели, труженики всех родов, напротив, много и деятельно работали тогда ⟨...⟩ Если нравственные и умственные силы общества оказались налицо, и даже в значительном обилии, тотчас же, как сняты были первые путы, мешавшие их движению, то этот несомненный факт нашей жизни, удививший многих ⟨...⟩, подготовлен был всецело предшествовавшим периодом литературы»[2].

4

Работа над созданием «Материалов для биографии А. С. Пушкина» заставила Анненкова параллельно решать две взаимосвязанных задачи. Первая из них состояла в создании наиболее полной и объективной в существовавших в то время условиях внешней картины жизни поэта от рассказа о его предках, обстоятельствах его рождения и воспитания, окружавшей его в детстве культурной и литературной среде до смерти Пушкина. Для живого воссоздания этой картины Анненков не мог ограничиться теми скупыми, разноречивыми свидетельствами и фактами, которые успели по-

---

[1] Труды Публ. б-ки СССР им. В. И. Ленина, вып. 3. М., 1934, с. 78.
[2] П. В. Анненков и его друзья, т. I. СПб., 1892, с. 398—399.

явиться в печати за период, протекший с момента гибели Пушкина до начала 50-х годов. Чтобы критически проверить их и добыть достаточное количество материалов для сколько-нибудь целостной и вместе с тем исторически верной — хотя бы в общих чертах — биографии поэта, он должен был в течение ряда лет посещать лиц, знавших Пушкина, и переписываться с ними, раздобывая от них часто буквально по крупицам тот биографический материал, которым они располагали.

5 декабря 1852 года, в разгаре своих трудов, Анненков писал М. П. Погодину: «Работа моя, известная Вам, оказалась гораздо сложнее, чем я думал. Биография подвигается медленно, что объясняется ее задачей — собирать сведения о Пушкине у современников. Вы знаете, какая бывает беготня за современниками. Биография Пушкина есть, может быть, единственный литературный труд, в котором гораздо более разъездов и визитов, чем занятий и кабинетного сидения. Мне удалось уже отобрать письменные сведения у барона Корфа, Матюшкина, Комовского, Яковлева (товарищей Пушкина по Царскосельскому лицею. —*Г. Ф.*). Много еще обещают впереди. Я писал отсюда к Вельтману и С. Ф. Полторацкому, прося их о сообщении историй их знакомства с Пушкиным, особенно касательно кишиневской и одесской ее эпох, но ответов еще не получил. Горько будет, если совсем не получу. П. А. Плетнев, которому читал я первые листы биографии, делится своим добром весьма радушно ⟨...⟩ Оценить его (Пушкина. — *Г. Ф.*) заслуги, может быть, я не сумею, но в способности понять этот удивительный характер — вряд ли кому уступлю. Много и здесь я получил от друзей-неприятелей его странных поминок, но в самых рассказах их превосходная личность Пушкина высказывается чрезвычайно ясно, назло им»[1].

До нас дошли бумаги Анненкова, в которых отражен круг современников, к помощи которых он обращался. 23 декабря 1850 года (3 января 1851 г.) Н. В. Берг записал для Анненкова воспоминания о Пушкине С. П. Шевырева. Анненкову удалось также записать в 1851—1852 годах устные рассказы о Пушкине и его эпохе (или получить рукописи письменных воспоминаний о них) от брата поэта Л. С. Пушкина, его сестры Ольги Сергеевны и ее мужа Н. И. Павлищева, Я. И. Сабурова, К. К. Данзаса, П. В. Нащокина, П. А. Катенина, В. И. Даля, С. А. Соболевского, В. А. Соллогуба, А. А. Кононова, Н. И. Вульфа, ознакомиться с рядом неизданных архивных документов о поэте. Н. Н. Пушкина-Ланская предоставила в распоряжение Анненкова часть писем поэта к ней, к ее матери и к другим лицам, а также рассказала ему некоторые подробности о взаимоотношениях Пушкина с семьей Гончаровых в период, предшествовавший их женитьбе. Помощь Анненкову в ходе работы над монографией оказывали также Н. В. Гоголь, П. А. Вяземский и П. А. Плетнев.

В сентябре 1851 года Гоголь писал М. П. Погодину, рекомендуя ему Анненкова: «Павел Васильевич Анненков, занимающийся изданием сочинений Пушкина и пишущий его биографию, просил меня свести его к тебе затем, чтобы набрать и от тебя материалов и новых сведений по этой части.

---

[1] Барсуков Н. П. Жизнь и труды Погодина, т. XII. СПб., 1898, с. 240—241.

Если найдешь возможным удовлетворить, то по мере сил удовлетвори, а особенно покажи ему старину <...>»[1]

Несмотря на длительную переписку с Погодиным и постоянно возобновляемые просьбы прислать его воспоминания о Пушкине, Анненков так и не смог воспользоваться в «Материалах» его помощью. К записи своих воспоминаний о поэте Погодин приступил лишь в 1864 году, передав их для публикации П. И. Бартеневу. Тем не менее Анненков и после 1855 года не оставлял работы над собиранием и изучением воспоминаний современников о Пушкине. В 1857 году ему удалось через посредство Л. Н. Толстого получить рукопись воспоминаний о встрече с Пушкиным на Кавказе в 1829 году И. И. Пущина, а в 1859 году — воспоминаний о нем А. П. Керн. Анненков был также одним из первых, оценивших значение воспоминаний о Пушкине И. И. Пущина, опубликованных впервые в неполном виде в 1859 году, хотя сам Анненков, в отличие от Пущина, вынужден был в «Материалах» полностью обойти вопрос о личных и идейных связях поэта с декабристами, да и позднее в книге «Пушкин в александровскую эпоху» (1874) трактовал их с иных, чем Пущин, — умеренно либеральных позиций.

Вторым источником анненковской биографии Пушкина послужило изучение русских газет и журналов 10 — 30-х годов. В бумагах Анненкова, хранящихся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР, есть несколько тетрадей его выписок и извлечений из русских журналов 10—30-х годов XIX века — «Вестника Европы», «Московского вестника», «Атенея», «Московского телеграфа», «Телескопа» и т. д. «Очевидно, — заметил по этому поводу цитированный выше Л. Н. Майков, первый издатель собранных Анненковым черновых материалов, опубликовавший часть их после смерти критика, — биограф придавал особое значение старинной журнальной полемике и справедливо искал в ней указаний на то, как постепенно слагалось в русском обществе воззрение на поэтическую деятельность Пушкина»[2].

Наконец, главный источник «Материалов» составили рукописи поэта, которые впервые после В. А. Жуковского стали доступны Анненкову и глубокое тщательное изучение и использование которых помогло ему создать не обычную биографию поэта в ходовом, общепринятом смысле слова, а поистине уникальную по своему жанру и выдающуюся по художественным достоинствам книгу о великом русском поэте.

Работая над изданием сочинений Пушкина и его биографией, Анненков, подобно Чернышевскому и Добролюбову, относился полемически к «школе тех археологов и исследователей, которые, освободив себя от труда мышления, заменили его трудом простого собирания документов, сличения разностей между текстами, перечетом отметок, которые существуют на различных актах, и тому подобными предварительными работами <...>». В противовес представителям мелочной «библиографической» критики, он считал своим долгом «обобщать факты, извлекать из них определение, основываясь на внутреннем их содержании, достигать положительных выводов и заключе-

[1] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. XIV. М., 1952, с. 253.

[2] Майков Л. Пушкин, с. 320.

ний, опираясь на мысль, полученную из ‹...› сущности и духа» собранных материалов[1].

«Собиратели биографических подробностей и передатчики своих воспоминаний представляют обыкновенно работу создания лица самим документам и данным, какие они сообщают, ничем не помогая им от себя, кроме примирения встречающихся противоречий более или менее искусственными приемами и кроме наблюдений за равномерным распределением темных и светлых красок в своих картинах с помощью большей или меньшей обработки тех или других», — писал Анненков уже в 60-е годы, через десять лет после завершения «Материалов». Между тем «войти в какие-либо близкие, родственные, интимные отношения с одним уже отжившим существованием можно только через посредство исторического чутья и художественного инстинкта, соединенных вместе». Только таким образом биограф добьется цели «освободить благородное лицо Пушкина от условных представлений и возвратить ему в биографии то мужественное нравственное выражение, которое производило такое обаятельное выражение на окружающих при его жизни и способное выдержать, не изменяясь, все возможности разоблачения, факты и даже позорные нападки после того»[2].

Примечательно письмо Анненкова к А. П. Керн, где, убеждая ее написать воспоминания о Пушкине, Анненков замечал, что при этом ей надо стать выше «маленьких и пошленьких соображений мещанского понимания морали, ‹...› допускаемого и недопускаемого в обществе», ибо только при этом условии можно «показать лицо и событие во всей их правде и так, чтобы самая эта правда нисколько не мешала ни любить, ни уважать их». Только при соблюдении этого условия биограф и мемуарист, согласно Анненкову, становятся достойными получить «имя летописца эпохи»[3].

Стремясь в «Материалах» и других своих трудах о Пушкине дать характеристику Пушкина как «человека и замечательного типа своего времени», Анненков, по собственному признанию, тщательно избегал панегирического тона[4], того, что в XX веке Маяковский, говоря о работах пушкинистов, называл «хрестоматийным глянцем». Биографию поэта Анненков стремился основать на «местной правде», «на истине и неопровержимых фактах»[5]. Обобщая и объединяя в «Материалах» свидетельства современников о поэте, Анненков смог донести до нас живые их голоса, сумев в то же время придать лучшим страницам своей книги внутреннюю художественную цельность и ту редкую свежесть и убедительность, которая свойственна обычно живым свидетельствам современников. Его книга приобрела для сегодняшнего читателя ту же особую ценность, что и произведения Анненкова-мемуариста, хотя он и не был непосредственным свидетелем жизни поэта или его собеседником, а писал свою книгу на основе тонкого художественного творческого «вживания» в атмосферу еще сравнительно близкой ему пушкинской эпохи.

---

[1] П. В. Анненков и его друзья, с. 445—446.

[2] Анненков П. В. Отрывок из статьи (1866). — Вопросы литературы, 1979, № 6, с. 141—144.

[3] Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 109, с. 85.

[4] Анненков П. В. А. С. Пушкин в александровскую эпоху. СПб., 1874, с. V—VI.

[5] Там же, с. VIII. Ср.: Труды Публ. б-ки СССР им. В. И. Ленина, вып. 3. М., 1934, с. 76.

«Это не панегирик и не апология, — писал Чернышевский об очерке Анненкова «Гоголь в Риме летом 1841 года», — это просто правдивый рассказ, который для доброй славы человека бывает лучше всяких панегириков и апологий». «Он не делает нашего великого писателя идеалом всевозможных добродетелей, но видит в нем человека, которого трудно было бы не полюбить, соединившись с ним, и нельзя было бы не уважать, поняв его,— и читатель верит тому»[1]. Эти слова Чернышевского можно отнести и к анненковской биографии Пушкина, несмотря на свойственные ей недостатки, обусловленные как временем и обстоятельствами ее появления, так и противоречиями мировоззрения самого́ первого биографа Пушкина.

«Цель биографии — уловить мысль Пушкина», — заметил Анненков. Слова эти определяют новаторский характер его «Материалов».

Стремясь очертить особое, специфическое место Пушкина в истории русской поэзии, Белинский проводил рубеж между Пушкиным и его предшественниками, с одной стороны, Пушкиным и преемниками его в русской литературе, с другой. Творчество Пушкина, по мысли Белинского, было закономерным звеном развития истории и русской культуры, оно было подготовлено всеми его предшественниками в истории русской поэзии, творчество которых влилось в его поэзию, как малые реки в большую. Но в то же время между Пушкиным и его предшественниками было, по Белинскому, и существенное различие. У русских поэтов допушкинской поры от Ломоносова до Жуковского поэзия была выражением благородных и добрых чувств, имела более или менее дидактический характер. Пушкин же дал в России непревзойденный образец поэзии уже не как проявления благородного чувства, но поэзии как искусства в высшем и совершеннейшем значении этого слова. Его поэзия явилась живым отблеском не прекраснодушной мечты, но реальной красоты и поэзии самой жизни, облаченным в столь же совершенную, адекватную ей артистическую художественную форму. Освободить поэзию от всех посторонних примесей и благодаря этому остаться навсегда эстетическим воспитателем будущих поколений русского общества — таковы были, по Белинскому, призвание и величайшая, вечная заслуга Пушкина в истории русской культуры. Но, сохранив навсегда значение нормы и образца русского художественного гения, поэзия Пушкина в другом отношении, по мнению критика, стала рубежом, который русское общество и русская культура исторически закономерно должны были на известное время оставить за собой в процессе дальнейшего развития. Ибо для передовой России вслед за эпохой «искусства» наступила другая эпоха — «мысли» и революционного «дела» — и представителями этой эпохи явился уже не Пушкин, а его ученики — Лермонтов и Гоголь, страстное и беспокойное творчество которых, насыщенное критическим духом, пафосом сомнения и отрицания, отвечало революционному характеру новой, послепушкинской эпохи русской жизни.

Утверждая взгляд на Пушкина как на «поэта-артиста», «поэта-художника», историческая миссия которого вытекала из исторических задач его времени и состояла в создании для будущих поколений высшего возмож-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. IV. М., 1948, с. 719.

ного образца «поэзии как искусства», Белинский исходил из тех же социально-исторических соображений, из которых, например, исходил в Германии Г. Гейне. Провозгласив Гете величайшим художником слова, Гейне отнес его тем не менее к миновавшей для новейшего революционного времени «эпохе искусства» («Kunstperiode»), которой суждено одновременно навсегда остаться вершиной национальной художественной культуры и в то же время исторически закономерно уступить свое место иному, более субъективно-экспрессивному, энергичному типу творчества, непосредственно обращенному к новым потребностям жизни, ее резким противоречиям и противоборствующим тенденциям.

Исходя в «Материалах» в ряде случаев из тезиса Белинского о Пушкине как «поэте - художнике» по преимуществу, Анненков придал этому тезису новый — полемический — оттенок, чуждый Белинскому. Эстетические идеи Пушкина Анненков сблизил не только с эстетической платформой «Московского вестника», но и с теорией «чистого искусства», как понимал ее сам Анненков. «⟨...⟩ Он (Пушкин. —*Г. Ф.*) усвоил себе теорию «творчества, которая проводила резкую черту между художником и бытом, его окружающим», — писал в связи с этим Анненков в «Материалах». «...Из круга молодых людей, содействовавших успеху журнала («Московского вестника». — *Г. Ф.*), вынес он свой полный, установившийся, свой взгляд на художника и искусство», высокую цель которых он считал «независимой от требований современности ⟨...⟩ Как служитель изящного, он не принадлежал толпе, не разделял ее стремлений и не признавал ее нужд».

И, однако, своеобразный исторический парадокс состоит в том, что, провозгласив Пушкина — в соответствии с идеями «эстетической» критики 50-х годов — сторонником теории «бессознательного» «чистого искусства», искавшим в мире поэзии эстетического «примирения» противоречий жизни, *именно Анненков на деле в анализе жизни и творчества поэта вступил в глубочайшее явное и очевидное противоречие с этим тезисом.* Книга его всем своим содержанием не только подрывала представление о Пушкине как о стороннике теории «бессознательного» творчества, но и существенно корректировала взгляд Белинского на Пушкина как на поэта, руководящим, верховным законом мысли и творчества которого было по преимуществу «художническое», «поэтическое» отношение к жизни и ее явлениям.

Уделив пристальное внимание стихотворениям Пушкина о свободе и независимости поэта и его высоком, «артистическом» призвании, Анненков впервые поставил вопрос о том, что взгляды поэта на сложные отношения поэта и «толпы», получившие выражение в этих стихах, явились результатом осмысления Пушкиным его драматических отношений с правительством и современным поэту дворянством. Мучительно переживая разлад с окружающим обществом, непонимание публики, постоянные попытки правительства Николая I и рептильной, казенно-официальной прессы вмешиваться в его личную жизнь, подчинить своим корыстным целям его талант и вдохновение, с одной стороны, а с другой, уступая порою своей порывистой и страстной натуре и в силу этого невольно становясь жертвой страстей и неблагоприятных обстоятельств, Пушкин — по Анненкову — был *вынужден* затвориться в своем рабочем кабинете: только здесь поэт мог обрести на время свободу, успокоение и внутреннее просветление, которых не мог найти за

его пределами. Истолкованные таким образом стихи Пушкина о поэте и поэзии получили в устах его биографа очевидное социально-критическое звучание, предстали как отражение трагической исторической судьбы Пушкина — поэта и человека.

Первый оценив по достоинству рабочие тетради Пушкина, Анненков не случайно отвел в «Материалах» особое место описанию и характеристике этих тетрадей. Ибо творческая жизнь Пушкина в отражении его рабочих тетрадей с пестрой сменой в них автобиографических признаний, творческих набросков и рисунков поэта предстала перед Анненковым как жизнь постоянной, ни на минуту не прекращавшейся работы живой, энергичной мысли Пушкина, а его великие, гармонически художественные творения— как продукт огромного, тщательно обдуманного труда. Изучение рабочих тетрадей Пушкина, его черновиков, творческих планов, исторических и автобиографических набросков, литературно-критических статей и фрагментов — частично неопубликованных, а частично, хотя и напечатанных при жизни, но не вошедших в первое издание его сочинений и недооцененных предшественниками Анненкова — «Истории Петра», пушкинских писем позволили Анненкову нарисовать в «Материалах» совершенно новый, иной образ поэта, чем тот, который был привычен для большинства дворянских читателей и светских знакомых Пушкина, перед которыми он сознательно не хотел раскрывать свою драматическую, богатую и сложную внутреннюю жизнь.

В результате внешний биографический материал хотя и занял в «Материалах» свое, надлежащее место, но не стал для автора важнейшим. На первое место в общей картине, нарисованной биографом, выдвинулась *внутренняя творческая биография Пушкина*, воссоздание динамики его творческого процесса, путь развития и углубления его исторической и художественной мысли, картина постоянного, сложного взаимодействия между мыслью Пушкина и окружающей действительностью.

Пушкин предстал в изображении Анненкова как художник-мыслитель, вся внутренняя жизнь и творческая работа которого были неотделимы от реальной жизни и событий его времени. Исследуя черновики поэта и прослеживая по ним основные вехи творческой истории «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Путешествия в Арзрум», «Тазита», «Медного всадника» и других произведений Пушкина, Анненков постарался не только показать внутреннюю эволюцию каждого из этих пушкинских замыслов, но и нащупать тот внутренний центр, который скреплял воедино отдельные разрозненные звенья жизни и творческой биографии поэта. Жизнь Пушкина впервые оказалась показанной в «Материалах» в сложном единстве семейно-родового и личного, исторически обусловленного и психологически-индивидуального, общего и особенного. Лики Пушкина — человека, поэта, историка, критика, полемиста, черты его житейского и литературного облика слились в единый, цельный портрет, заняли в книге свое место, не нарушая гармонии общего впечатления. Существенную помощь в этом Анненкову оказало широкое обращение к пушкинским письмам, к дошедшим до нас фрагментам уничтоженных «Записок» и другим автобиографическим наброскам поэта, а также введение произведений Пушкина в контекст историко-литературных, моральных и эстетических суждений, разбросанных в его статьях и черновиках.

«Не надо забывать, однако ж, — замечает Анненков, ограничивая ана-

чение высказанной им же самим только что мысли об отражении идей художественного «артистизма» в творческих декларациях Пушкина, — что все отвлеченное и неприложимое к жизни в теории исправлено было практическим смыслом самого поэта, который никогда не смог отделиться от исторического и практического быта родины, от окружающих явлений природы и никогда не мог уйти в самого себя до того, чтоб случайные, местные явления не тревожили его сердца и не пробуждали его вдохновения». Мысль, выраженная в этих словах, стала на деле определяющей для общего смысла истолкования Анненковым образа Пушкина — человека и поэта — вопреки предрассудкам, свойственным Анненкову как представителю «эстетической критики» 50-х годов.

Отсюда и ряд других, немаловажных акцентов, впервые внесенных Анненковым в истолкование Пушкина и составлявших шаг вперед по сравнению с оценкой ряда сторон его творчества в статьях Белинского. Так Анненков, в отличие от Белинского, высоко оценил «Сказки» Пушкина, отметив общее — огромное — воздействие на поэта в зрелые годы элементов народного мировоззрения, «гениальное» проникновение его в дух русского народного творчества, умение «голосом великого мастера» пропеть русскую деревенскую песню, возвысив ее до уровня высочайшего художественного совершенства, воссоздать самые «склад и течение» народной речи. Существенный шаг вперед Анненков сделал и в истолковании прозы Пушкина. Правда, в «Повестях Белкина» Анненков оценил не столько их содержание, сколько «нежность красок», «тонкую иронию, лукавый и вместе добродушный юмор», «простоту языка и средств, употребляемых автором для сцепления и развития происшествий». Но уже в «Истории села Горюхина» он увидел признаки поворота поэта «к простой действительности и к быту», «истинное сочувствие» к ним, предвещающее последующие его прозаические произведения с их богатым культурно-психологическим и социальным содержанием. Трагедию «Борис Годунов» Анненков справедливо истолковал как то «зерно, из которого выросли исторические и большая часть литературных убеждений поэта», как решающий рубеж на пути его возмужания, обретения им полной творческой зрелости и самостоятельности. Работа над «Борисом Годуновым» явилась, по Анненкову, первым, исходным шагом движения Пушкина, приближавшего его к широкому, эпическому постижению прошлого и настоящего русской жизни. Оно получило выражение в усилившемся у Пушкина в 30-е годы тяготением к эпосу, к широте и масштабности осмысления действительности, в обращении к религиозно-легендарным и философско-историческим образам и темам.

Анненков систематизировал в «Материалах» рассказ о предках поэта — Пушкиных и Ганнибалах — и очертил ту роль, какую воспоминания об их славных заслугах перед родиной играли в формировании общественно-исторического мировоззрения поэта. Личность матери, отца и дяди поэта, черты его семьи и воспитания выступили ярко в его рассказе со своими живыми, неповторимыми красками. Стремясь уже на первых страницах своей книги показать, какими глубокими и прочными нитями личность поэта была связана с миром русской народной культуры, Анненков уделяет особое внимание няне Пушкина, как живой посреднице между ним и национально-народной культурой во всем богатстве ее разнообразных отражений. Относя

Арину Родионовну к «типическим и благороднейшим лицам русского мира», биограф пишет о ней и влиянии ее на поэта: «Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостию, — оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственною, неизменною любовью и, в годы возмужалости и славы, беседовал с нею по целым часам ⟨...⟩ Весь сказочный русский мир был ей известен как нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, прискazки не сходили у ней с языка. Большую часть народных былин и песен, которых Пушкин так много знал, слышал он от Арины Родионовны. Можно сказать с уверенностью, что он обязан своей няне первым знакомством с источниками народной поэзии и впечатлениями ее ⟨...⟩».

Отмечает Анненков и другой важный фактор, способствовавший уже в детские годы пробуждению у Пушкина интереса к русской народной жизни и культуре, — впечатления летней жизни семейства Пушкиных в селе Захарове, где будущий поэт слышал народные песни, наблюдал хороводы и пляски и впервые познакомился с историческими преданиями о Борисе Годунове: «Таким образом, — замечает по этому поводу биограф, — мы встречаемся, еще в детстве Пушкина, с предметами, которые впоследствии оживлены были его гением».

Изображая на дальнейших страницах личность поэта в ее постоянном движении и развитии, Анненков впервые органически связал каждый из этапов творчества поэта с определенным периодом его биографии. Родительский дом, лицей, пребывание на Кавказе, в Крыму, в Кишиневе, в Одессе, годы, проведенные в глубоком творческом уединении в Михайловском, возвращение в Москву и Петербург, поездки поэта в Арзрум и Оренбург, болдинская осень стали в изображении Анненкова важнейшими вехами не только жизни, но и внутренней творческой биографии поэта. Биографу удалось выпукло и ярко показать, характеризуя каждый из периодов жизни Пушкина, какое влияние конкретные неповторимые особенности местной природно-географической среды и культурной обстановки, окружавшей поэта в этот период, имели на тематику, сюжеты и образную ткань его произведений, на направление и характер движения его поэтической мысли. Тем самым Анненков заложил основы той биографической периодизации творчества Пушкина, которой мы пользуемся до сих пор.

Широко показал Анненков роль мировой культуры, литературы, искусства в жизни Пушкина: «...с девятого года начала развиваться у него страсть к чтению, которая и не покидала его во всю жизнь. Он прочел, как водится, сперва Плутарха, потом Илиаду и Одиссею, в переводе Битобе, потом приступил к библиотеке своего отца, которая наполнена была французскими классиками XVII века и произведениями философов последующего столетия ⟨...⟩ Он проводил бессонные ночи, тайком забираясь в кабинет отца и без разбора пожирал все книги, попадавшие ему под руку». И в дальнейшем биограф тщательно прослеживает, как каждый период жизни и творчества поэта был связан с вовлечением в орбиту его размышлений и художественных интересов новых общественно-исторических, культурных и литературных явлений, закономерную смену его художественных вкусов и интересов под влиянием духовного возмужания поэта, углубления и расширения его умственного кругозора.

Открывая обзор поэзии Пушкина его первыми полудетскими опытами, Анненков внимательно и серьезно прослеживает весь ход его творческого развития вплоть до последних произведений и незавершенных замыслов. При этом каждое отдельное произведение он стремится одновременно вписать в рамки определенного периода творчества поэта и рассмотреть в перспективе его общего развития. Особое внимание биограф уделяет вопросу о формировании творческой индивидуальности Пушкина. Он показывает, что постоянный рост художественной самобытности, углубление народности пушкинского творчества было его своеобразной художественной доминантой, основным, определяющим законом.

Прекрасно понял Анненков, что поэзия была для Пушкина страстью, свободным, органическим проявлением его натуры, делом, без которого он бы не мог жить и дышать. «Звуки, по собственному его выражению, — замечает по этому поводу Анненков, — беспрестанно переливались и жили в нем, но следует прибавить, что он внимательно прислушивался к ним, что он наслаждался ими почти без перерыва. Это было важное дело его жизни, несмотря на все усилия его скрыть тайну свою от света и уверить других в равнодушии к поэтической своей способности».

Анализируя произведения поэта, Анненков на многочисленных примерах показал любовь Пушкина к ясности и отчетливости мысли и выражения, его стремление избегать всего бесформенного и неопределенного.

«Пушкин был мужествен во всех чувствах своих. Он так же мало способен был к нежничанью и к игре с ощущениями, как, наоборот, легко подчинялся настоящей страсти. Мы знаем, что он советовал людям, близким его сердцу, скорее отделываться от неопределенных томлений души, выходить на прямую дорогу и назначать цель своим стремлениям. То же требование бодрости и силы, которое присущно было ему по натуре, перенес он и на самый язык впоследствии» — этими прекрасными словами Анненков охарактеризовал общий, господствующий пафос поэзии Пушкина.

Широко освещая открытость души Пушкина «всем впечатленьям бытия», говоря о внимательном изучении им поэтов других времен и народов, Анненков подчеркивает, что поэты, которых он изучал и влияние которых испытал, были для Пушкина «ступенями, по которым он восходил к полному проявлению своего гения». На примере сцены Григория и Пимена из «Бориса Годунова» (которую Анненков называет «гениальной сценой, плодом глубокого размышления и неослабного поэтического вдохновения»), Анненков стремится показать, что поэзия Пушкина «есть столько же наше достояние, сколько и достояние литератур всех образованных народов».

Наряду с народной поэзией, постоянным предметом любви и внимательного изучения Пушкина, подчеркивает биограф, — особенно в последние годы жизни — был русский язык — «народные пословицы, фразы и термины старой нашей литературы». «Заметки, мысли, соображения, выписки из сочинений были невидимым основанием, на котором созидались и образ его мыслей, и понимание предметов, и само направление духа, направляющее поэтический дар его».

Живое понимание глубокой уникальности поэзии Пушкина, ее значения как нормы национального русского искусства сочетается в книге Анненкова со стремлением раскрыть для читателя как биографический подтекст произ-

ведений поэта — те «тонкие нити», которые связывают их с «воспоминаниями сердца», с «душой» самого автора, — так и их историко-литературную подпочву, а также восприятие его современниками.

Анненкову удалось также тонко передать многие черты человеческого облика поэта — его внешнюю простоту, общительность, благородное прямодушие, свойственную ему постоянно потребность в дружеском общении и откровенности, полное отсутствие зависти к таланту других, внимательное и отзывчивое отношение к современникам и младшим товарищам по перу: «В обхождении Пушкина была какая-то удивительная простота, выпрямлявшая человека и с первого раза установлявшая самые благородные отношения между собеседниками». Способность Пушкина радоваться чужому дарованию, его внимательное отношение к младшим, начинающим писателям-современникам Анненков иллюстрирует на примере его отношения к Дельвигу, Баратынскому, Языкову, Кольцову, Гоголю.

Умение воссоздать живой образ Пушкина — поэта и человека — в его неповторимом обаянии, показать богатство и разнообразие предметов, постоянно занимавших его мысль, свойственную этой мысли кипучую энергию, щедрость и богатство натуры поэта — все эти особенности анненковских «Материалов» обеспечили им сочувственное внимание современников[1].

5

«Материалы для биографии А. С. Пушкина», составившие первый том анненковского издания сочинений поэта, вышли в свет (так же, как и второй том этого издания) в начале 1855 года, незадолго до смерти Николая I. Таким образом, писалась и цензуровалась книга Анненкова при жизни Николая (который — и это прекрасно понимал Анненков — отнюдь не был склонен допустить в ней ничего, что — так или иначе — затрагивало бы вопрос о социально-историческом драматизме писательской судьбы Пушкина, о его связях с декабристами; его сложных взаимоотношениях с Александром I, как и с самим Николаем и другими лицами царской фамилии). К тому же официальное положение мужа вдовы Пушкина — П. П. Ланского и брата Анненкова Ивана Васильевича связывало биографа и накладывало на него дополнительные нравственные обязательства, с которыми он вынужден был считаться. Наконец, жива была сама Наталья Николаевна Пушкина-Ланская, а потому Анненков не мог в своей биографии хотя бы кратко коснуться семейной драмы Пушкина, истории его взаимоотношений с Дантесом и Геккереном и вообще всех обстоятельств, которые привели к последней дуэли Пушкина. Запретными оставались для Анненкова и темы преследования Пушкина Воронцовым, Уваровым, Бенкендорфом, как и все те бесчисленные унижения, которым Пушкин постоянно подвергался в последние годы жизни. Как свидетельствует внимательное изучение «Материалов для биографии А. С. Пушкина», Анненков, по-видимому, не мог назвать в них прямо даже имя Булгарина как литературного врага Пушкина и предмета яз-

---

[1] Оценку места анненковских «Материалов» в истории пушкиноведения см. также в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М. — Л., 1966 (см. по указателю имен).

вительных насмешек поэта, хотя и имя Булгарина и история журнальной полемики его с Пушкиным и лицами пушкинского окружения были хорошо известны не только самому Анненкову, но и его читателям.

Вот почему Анненков неизбежно должен был с самого начала своей работы над «Материалами» сознательно ограничить свои задачи и подвергнуть излагаемые в них факты биографии Пушкина строжайшей автоцензуре. В «Материалах» не только ничего не говорится о причинах южной ссылки Пушкина, как и его высылки из Одессы в Михайловское, — в них не употребляется по отношению к соответствующим периодам жизни поэта самое слово «ссылка». Не названы в биографии имена таких лицейских товарищей Пушкина, как Пущин и Кюхельбекер, равно как имя такого широко популярного и любимого лицеистами профессора, как А. П. Куницын, обойдено молчанием имя хозяина Каменки — Давыдова; письма Пушкина к К. Ф. Рылееву и А. А. Бестужеву цитируются без указания адресатов, отсутствует рассказ о «Вольности», «Деревне», «Кинжале», послании Чаадаеву и других памятниках ранней, вольнолюбивой лирики Пушкина, равно как и о «Гавриилиаде», многих пушкинских эпиграммах и даже о таких позднейших стихотворениях, как элегия «Андре Шенье»[1], «Пророк», «Анчар», «Арион», «Послание в Сибирь» и т. д., анализ которых — так или иначе — должен был бы неминуемо увлечь автора на путь рассказа о тех событиях и обстоятельствах жизни поэта, о которых он сознательно вынужден был умалчивать. Более того, Анненков принужден был придерживаться официальной версии о снисходительном «добродушии» правительства к Пушкину и личной «заботливости» о нем Николая.

Вспоминая о цензурной обстановке начала 50-х годов, когда создавались «Материалы», Анненков позднее писал: «...составитель их знал, при какой обстановке и в каких условиях он работает, и мог принимать меры для ограждения себя от непосредственного влияния враждебных сил. Оно так и было. Нетрудно указать теперь на многие места его биографического и библиографического труда, где видимо отражается страх за будущность своих исследований и где бросаются в глаза усилия предупредить и отвратить толкования и заключения подозрительности и напускного воображения от его выводов и сообщений»[2].

О том, что Анненков сознательно стремился в биографии обойти все те обстоятельства и факты жизни поэта, которые, как он предвидел, могли помешать цензурному прохождению «Материалов», свидетельствуют и другие материалы, в том числе признание его в письме к М. П. Погодину от 12 февраля 1855 года:

«Что в молодости и кончине есть пропуски — не удивляйтесь. Многое из того, что уже напечатано и известно публике, не вошло и отдано в жертву для того, чтобы, по крайней мере, внутреннюю, творческую жизнь поэта сберечь всю целиком»[3].

Особенное беспокойство вызывал у Анненкова материал, относящийся

[1] Хотя в самом Шенье и интересе к нему Пушкина в «Материалах» говорится неоднократно.

[2] П. В. Анненков и его друзья, т. I. СПб., 1892, с. 387.

[3] Барсуков Н. П. Жизнь и труды Погодина, т. XIV. СПб., 1900, с. 170.

к последнему периоду жизни Пушкина и к тем трагическим обстоятельствам его общественной и личной судьбы, которые подготовили его гибель:

«Третий месяц живу один-одинешенек в деревне и недоумеваю, что делать, — писал он 12(24) октября 1852 года об этом И. С. Тургеневу, с которым постоянно консультировался в ходе своей работы. — ⟨...⟩ Он (Пушкин. — *Г. Ф.*) в столице, он женат, он уважаем — и потом вдруг он убит. Сказать нечего, а сказать следовало бы, да ничего в голову не лезет. И так, и сяк обходишь, а в результате выходит одно: издавал «Современник» и участвовал в «Библиотеке». Из чего было хлопотать и в трубы трубить? Совестно делается ... Есть кое-какие факты, но плавают они в пошлости. Только и ожидаю одной награды от порядочных людей, что заметят, что не убоялся последней. Вот Вам исповедь моя — и верьте — бесхитростная...»[1]

«Я понимаю, — отвечал на это признание Анненкову из Спасского Тургенев 28 октября (9 ноября) 1852 года, — как Вам должно быть тяжело так дописывать биографию Пушкина — но что же делать? Истинная биография исторического человека у нас еще не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения цензуры, но даже с точки зрения так называемых приличий. Я бы на Вашем месте кончил ее ex abrupto — поместил бы, пожалуй, рассказ Жуковского о смерти Пушкина, и только. Лучше отбить статуе ноги, чем сделать крошечные не по росту. А сколько я мог судить, торс у Вас выйдет отличный. Желал бы я, говорю это откровенно, так же счастливо переменить свою манеру (в том же письме Тургенева содержатся выше его знаменитые слова о желании отказаться в писательстве от своей «старой манеры». — *Г. Ф.*), как Вы в своей биографии. Вероятно, под влиянием великого, истинно древнего по своей строгой и юной красоте пушкинского духа Вы написали славную, умную, теплую и простую вещь. Мне очень хочется дослушать ее до конца»[2].

Анненков почти буквально последовал совету Тургенева. Посвятив рассказу о последних годах и днях жизни поэта всего несколько беглых страниц, он в приложении перепечатал два уже одобренных цензурой и напечатанных ранее повествования о дуэли и смерти Пушкина — «Последние минуты Пушкина, описанные В. А. Жуковским, в 1837 г.» (приложение IV) и «Выписку из биографии А. С. Пушкина», составленную историком Д. Н. Бантыш-Каменским и помещенную в его «Прибавлении ко второй части Словаря знаменитых россиян» (СПб., 1847, с. 99—104) (приложение V). Оба эти документа содержали официально одобренный рассказ о предсмертном «прощении» Пушкина Николаем I и о трогательных словах и заверениях, будто бы обращенных к нему умирающим поэтом. Отнесение этих сообщений в приложения и всего лишь краткий пересказ их в самом тексте «Материалов для биографии А. С. Пушкина», сконцентрированный в одном абзаце, указывают на то, что Анненков, как Лермонтов, знал о враждебных отношениях между поэтом и двором в конце жизни Пушкина. Это убеждение, при всей свойственной ему осторожности и уклончивости, Анненков

---

[1] Цит. по кн.: Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929, с. 292. Письмо в архиве ИРЛИ (ф. 7, № 7, л. 1—3, об.). Полностью не опубликовано.

[2] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма, т.II. М. — Л., 1961, с. 78—79.

все же достаточно определенно выразил в своих позднейших трудах о Пушкине, написанных в 70-е годы. Но и в этих работах Анненков не исчерпал накопленный им огромный, ценнейший свод биографических записей и мемуарных материалов о поэте. Собранные им записи и воспоминания продолжали печататься на протяжении всего периода с последних двух десятилетий XIX века вплоть до наших дней.

В охарактеризованных нами сложнейших цензурных условиях в конце июля 1853 года Анненков закончил литературную обработку биографии Пушкина, а в сентябре того же года завершил подготовку пяти томов собрания его сочинений. В октябре 1853 года шесть томов анненковского издания были переданы Цензурным комитетом известному особой строгостью цензору А. И. Фрейгангу, который со своими замечаниями передал их в министерство народного просвещения, откуда все эти материалы были направлены начальнику III Отделения, шефу николаевских жандармов А. Ф. Орлову. П. В. Анненков со своей стороны передал в главное управление цензуры тщательно обоснованные возражения против многочисленных купюр в текстах биографии и сочинений Пушкина, на которых настаивал Фрейганг[1]. 27 января 1854 года Орлов наложил на эти документы резолюцию, что новое, исправленное издание сочинений Пушкина хотя и может быть допущено, но лишь «с высочайшего соизволения». 26 марта и 7 мая цензура дополнительно рассмотрела добавления и поправки к биографии Пушкина, представленные Анненковым на особое рассмотрение. В последующие месяцы Николай I, по-видимому, лично пожелал ознакомиться с анненковским изданием и «Материалами для биографии А. С. Пушкина». Лишь после этого 7 октября последовало его разрешение на новое издание сочинений Пушкина (включая его биографию): «Согласен, но в точности исполнить, не дозволяя отнюдь неуместных замечаний или прибавок редактора»[2].

Следует отметить, что не только тяжелые условия николаевской цензуры стесняли Анненкова во время его работы. Среди знакомых Пушкина были лица, которые считали «неудобным» и даже категорически недопустимым полное издание написанного поэтом. Яркое свидетельство тому — дошедшие до нас два письма С. А. Соболевского к М. П. Погодину и к М. Н. Лонгинову. В первом из них от 15(27) января 1852 года Соболевский заявлял, что с Анненковым «следует быть осторожнее и скромнее, ибо ведаю, коль неприятно было бы Пушкину, если бы кто сообщил современникам то, что писалось для немногих или что говорилось или не обдумавшись, или для острого словца, или в минуту негодования в кругу хороших приятелей»[3]. Во втором письме Соболевский, уже по выходе «Материалов», особо одобрял их автора «за то, что он не восхищается эпиграммами Пушкина, приписывает их слабости, сродной со всем человеческим, и признает их пятнами его литературной славы», а также «ни слова не упоминает о Гавриилиаде»[4]. Впрочем,

---

[1] См. об этом статью Анненкова «Любопытная тяжба» (в кн.: П. В. Анненков и его друзья, с. 393—424).

[2] Цит. по кн.: Модзалевский Б. Л. Пушкин, с. 303.

[3] Цит. по кн.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды Погодина, т. XI. СПб., 1897, с. 315.

[4] Цит. по кн.: Пушкин и его современники, т. VIII, вып. 31—32. Л., 1927, с. 39.

в том же письме Соболевский указывал, что особая щекотливость положения Анненкова состояла в том, что он не только должен был избегать всего интимного, но более того — для угождения цензуре — «решиться сказать несколько глупостей в виде пачпорта истине»[1].

Только учитывая все те стеснения и трудности, с которыми пришлось столкнуться Анненкову-биографу, мы можем верно оценить его огромный, поистине незаурядный труд и нравственное мужество. Несмотря на крайне тяжелые цензурные условия и вынужденные ими уступки, Анненков все же смог впервые дать русскому читателю в «Материалах» живое представление не только о Пушкине-поэте, но и о Пушкине-человеке.

Анненков не скрывает того, что избранный Пушкиным путь смелого творческого служения русской литературе и русскому народу не был легок. «Как человек, открывший новый и обширный горизонт искусства на Руси, — замечает он о поэте, — он должен был поднять против себя много возражений и вражды и считать их естественным следствием, необходимостью своего призвания; но они волновали и сердили его. Только с 1832 года видит он свое место и назначение, умолкает для всех толков и распрей; но уже от горького чувства, оставленного ему журналистикой и пересудами публики, избавиться не может. Чувство это таится в нем, несмотря на молчание и наружное спокойствие, которым он обрек себя». И вместе с тем непонимание и вражда дворянского общества и укоры рептильной прессы, — и это особенно подчеркивает биограф, — не смущали Пушкина и не заставили его свернуть с раз избранного пути: «Он не терпел постороннего вмешательства в дела творчества», «никак не мог понять, а еще менее допустить права распоряжаться его вдохновением, назначать предметы для труда и преследовать жизнь его таким образом до самых тайных ее помыслов и побуждений».

Через два года после выхода первых шести томов своего издания сочинений поэта Анненков, воспользовавшись смягчением цензурных условий, вырванным обществом у правительства Александра II в преддверии крестьянской реформы, выпустил в конце 1857 года дополнительный (седьмой) том «Сочинений Пушкина», куда вошли произведения, не пропущенные в 1855 году николаевской цензурой. А в 1874 году в книге «Пушкин в александровскую эпоху» Анненков возвратился к детству и юности поэта и к раннему периоду его творчества (которые он, по собственному вышеприведенному признанию, должен был в «Материалах» особенно жестко сократить), чтобы иметь возможность шире осветить вопрос о лицейских годах поэта, его столкновениях с Александром I и связях с декабристами. Следует, впрочем, заметить, что в освещении именно названных вопросов в книге «Пушкин в александровскую эпоху» — при всем обилии содержащегося в ней нового материала — особенно отчетливо сказалось усиление политического консерватизма Анненкова в 70-е и 80-е годы. Декабристские связи и симпатии Пушкина Анненков характеризует как проявление не столько стойких политических симпатий, сколько отчасти стремления выделиться из общей массы сверстников и заявить о себе, отчасти усвоенного Пушкиным уже в

[1] Цит. по кн.: Пушкин и его современники, т. VIII, вып. 31—32. Л., 1927, с. 39.

молодые годы представления о роли политически самостоятельной, независимой от престола аристократии, призванной ограничить бесконтрольность и всевластие самодержавной власти. Зато обращение Анненкова в преддверии столетнего юбилея со дня рождения Пушкина к последнему периоду его жизни, характеристику которого в «Материалах» он вынужден был сжать до предела, «обрубив», по вышеприведенному выражению Тургенева, «ноги» изваянной им статуе поэта, принесло две другие его пушкиноведческие работы, явившиеся достойным продолжением его «Материалов» — статьи «Общественные идеалы А. С. Пушкина (Об эволюции политических взглядов поэта и связи с ними его журнальных замыслов конца 20-х — начала 30-х гг.; 1880)» и «Литературные проекты А. С. Пушкина. Планы социального романа и фантастической драмы» (О замыслах романа «Русский Пелам» и драмы о папессе Иоанне; 1881)». В этих двух последних работах, завершивших путь Анненкова-пушкиниста, он отдал дань умственным и нравственным запросам новой эпохи, осветив в них место творчества Пушкина 30-х годов в истории формирования русского «реального» романа и развития русского общественного и национального самосознания в трудной обстановке первых лет царствования Николая I — в пору после поражения восстания декабристов, явившуюся в то же время начальным периодом выработки русским обществом новых антисамодержавных и антикрепостнических общественных сил и настроений.

6

В заключение надо сказать еще об одной особенности анненковской биографии: не все в Пушкине—человеке и поэте—было одинаково близко ее автору. Типичный представитель «эпохи 40-х годов» по своему умственному и нравственному складу, Анненков, как он сам многократно разъяснял, проводил резкую разделительную черту между Пушкиным-поэтом и Пушкиным-человеком»[1]. Причем если Пушкин-поэт вызывал безусловное восхищение и преклонение Анненкова, то многие черты Пушкина-человека Анненкову были глубоко чужды. К таким чертам относятся близость Пушкина к декабризму и вообще его мятежные, непокорные, вольнолюбивые порывы, претившие Анненкову — умеренному западнику и либералу-просветителю, а также сама «ренессансная» стихия личности Пушкина, свойственная ему глубокая жизнерадостность, страстность, чувственная откровенность, склонность к открытому, свободному проявлению своей натуры, могучая энергия выражения своих симпатий и антипатий, любви и ненависти без оглядки на принятые светские условности, на ходячую мораль и религиозные представления той эпохи. «Предприимчивое удальство и молодечество, — писал по этому поводу Анненков, — необыкновенная раздражительность, происходившая от ложного понимания своего достоинства и бывшая источником многих ссор; беззаботная растрата ума, времени и жизни на знакомства, похождения и связи всех родов — вот что составляло основной характер жизни Пушкина и всех его современников». Поэтому, определяя жизнь поэта как «полную контрастности», Анненков, при всем своем стремлении к полноте и объективности в изображении внутренней жизни поэта, ставил своей задачей очи-

---

[1] П. В. Анненков и его друзья, с. 441.

стить его образ от «проявлений раздраженного, буйного и скандалезного творчества», которые, по мнению биографа, нарушали «непогрешимую чистоту всех 〈...〉 мыслей и поэтических замыслов» Пушкина, ибо они «не выражают ни настоящей его природы, ни его развития, ни даже подлинного его настроения в минуту, когда писаны», но являются «детищами брожения и замашек его времени», «произведениями таланта, неверными самому себе»[1].

«Только 〈...〉 Пушкин, 〈...〉 который признан единственно воспитателем русского общества, мощным агентом его развития и объяснителем духовных сил, присущих народу, только этот нам и нужен, а о его двойнике нам достаточно общей характеристики 〈...〉 Важное поучение для современников наших несет с собою и этот, второй, побочный, так сказать, тип нашего поэта, если его изучать с надлежащей политической и этической точки зрения; но ценить его беседу наравне с тою, которая исходила от настоящего, великого Пушкина, мы уже не можем, а потому и ставить их рядом кажется нам более, чем ошибкой»[2].

И все же, при всех отмеченных недостатках биографической стороны книги Анненкова, достоинства ее, как верно поняли уже современники, значительно превышают ее недостатки.

Еще до выхода в свет анненковской биографии Пушкина некрасовский «Современник» писал о ней, приветствуя ее выход: «〈...〉 к изданию приложена будет подробная биография Пушкина, богатая новыми и любопытными фактами, материалом для которой послужили бумаги самого поэта, письма о нем к разным лицам, записки о нем брата его Льва Сергеевича и других лиц, близких Пушкину. Имея в руках *так* изданного Пушкина, читая его биографию (которая одна составляет значительный том), где рядом с фактами жизни прослежены многие любопытные особенности его творчества, присматриваясь к почерку поэта, к его портрету, к рисункам, которые он иногда рисовал на полях своих рукописей (что все войдет в издание г. Анненкова), читатель получит возможность как бы перенестись в мастерскую великого поэта, из которой вышли бессмертные создания его гения. Вот какого издания «Сочинений Пушкина» давно и горячо желал «Современник»[3].

12 января 1855 года Н. А. Некрасов просил Анненкова: «Принесите мне завтра полный экземпляр биографии Пушкина, я начну о ней писать...»[4] Намерения этого Некрасов не выполнил. Но вместо его статьи в «Современнике» (1855, № 2, 4, 7 и 8) появились четыре обстоятельных статьи об издании Анненкова, принадлежащих перу Н. Г. Чернышевского и содержащих развернутое изложение взглядов Чернышевского на Пушкина, равно как и подробную критическую оценку заслуг Анненкова как редактора «Сочинений Пушкина» и биографа великого поэта. О «Материалах для биографии А. С. Пушкина» Чернышевский писал здесь: «Это первый труд, который надлежащим образом удовлетворяет столь сильно развившемуся в последнее время стремлению русской публики познакомиться с личностями деятелей

---

[1] П. В. Анненков и его друзья, с. 437—438, 440.
[2] Там же, с. 440—442.
[3] «Современник», 1854, № 11, p.V, с. 120—121.
[4] Некрасов Н. А. Собр. соч. в 5-ти т., т. V. М—Л. 1930, с. 198.

русской литературы и образованности. Потребность эта уже вызвала довольно много монографий, отличающихся основательностью и подробностью библиографических и биографических исследований. Публика приняла эти первые опыты с живым сочувствием, но не могла не видеть в них важных недостатков. Как и всякое новое направление, стремление к подробным и точным исследованиям отечественной литературы было неумеренно в своих проявлениях. Каждая личность, почему-нибудь обращавшая на себя внимание трудолюбивых изыскателей, казалась им необыкновенно важною, заслуживающею самых подробных трактаций; каждый новый факт, ими отысканный, им казался чрезвычайно интересным для всей публики, как бы мелочен в сущности ни был. Потому все монографии, являвшиеся в последнее время, страдали важными недостатками и по содержанию и по форме. Растерявшись во множестве мелочных подробностей, каждый автор был не в силах обработать предмет с общей точки зрения и обременял свою статью бесчисленными библиографическими подробностями, среди которых утомленный читатель совершенно запутывался; вместо цельных трудов давались публике отрывки черновых работ, со всеми мелочными сличениями букв и стихов, среди которых или тонула, или принимала не свойственные ей размеры всякая общая мысль. Одним словом, вместо исследований о замечательных явлениях литературы представлялись публике отрывочные изыскания о маловажных фактах; вместо ученого труда в его окончательной форме представлялся весь необозримый для читателя процесс механической предварительной работы, которая только должна служить основанием для картины и выводов, из нее возникающих. Не такова биография Пушкина, которую будет читать русская публика при новом издании его творений. Она говорит не о какой-нибудь темной личности, которая привлекла внимание исследователя только потому, что была забыта, но забыта была только потому, что не заслуживала внимания потомства. Творения Пушкина, создавшие новую русскую литературу, образовавшие новую русскую публику, будут жить вечно, вместе с ними незабвенною навеки останется личность Пушкина. Важный труд, который знакомит нас с нею, представляется г. Анненковым в совершенно обработанной литературной форме. Кропотливая мелочная работа сличений и поисков, ему предшествовавшая, не выставляется на первом плане, затемняя для читателя черты великого писателя и его трудов; исследователь дает нам завершенную картину жизни и творчества Пушкина. Сличения годов, букв и отдельных стихов отнесены в примечания, если нужно для полноты; составитель биографии дал читателям не черновые свои бумаги, а жизнеописание, возведенное окончательною обработкою к форме литературного произведения. Его работа должна послужить для наших исследователей истории литературы образцом биографий»[1].

Через два года Чернышевский повторил в печати свою высокую оценку «Материалов» в связи с появлением очерка Анненкова «Гоголь в Риме летом 1841 года» и начала его биографии Станкевича. Он писал: «Нельзя не желать, чтобы г. Анненков, который более, нежели кто-нибудь, имеет средств для обогащения нашей литературы такими трудами, как его «Материалы для

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. II. М., 1949, с. 427—428.

биографии А. С. Пушкина», «Воспоминания о Гоголе» и биография Станкевича, неутомимо посвящал свои силы этой прекрасной деятельности, которая доставила ему уже столько прав на благодарность русской публики. После славы быть Пушкиным или Гоголем прочнейшая известность — быть историком таких людей»[1].

Собранные и изложенные Анненковым в «Материалах» фактические сведения послужили опорой для Чернышевского при составлении им в 1855 году биографического очерка «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения», написанного для русского юношества. На них же основывался и Н. А. Добролюбов при работе в 1858 году над статьей «Александр Сергеевич Пушкин», опубликованной в «Русском иллюстрированном альманахе» (СПб., 1858). Добролюбов поместил в первом номере «Современника» за 1858 год также обширную рецензию на седьмой (дополнительный) том анненковского собрания сочинений Пушкина, где высоко оценил заслуги Анненкова — издателя и биографа — перед русской литературой и обществом. «Русские, любившие Пушкина как часть своей родины, как одного из вождей ее просвещения, давно уже пламенно желали нового издания его сочинений, достойного его памяти, и встретили предприятие г. Анненкова с восхищением и благодарностью», — писал критик[2] (хотя в целом к деятельности Анненкова-критика Добролюбов относился весьма сдержанно, а порой и прямо враждебно).

Кроме «Современника» с положительными рецензиями на «Материалы для биографии А. С. Пушкина» и анненковское издание сочинений поэта выступили и почти все другие русские журналы 50-х годов — «Отечественные записки» (отзыв В. П. Гаевского), «Библиотека для чтения» (статья А. В. Дружинина), «Атеней» (рецензия А. В. Станкевича), «Библиографические записки» (рецензия Е. И. Якушкина) и др. Сохранилось также много восторженных отзывов о «Материалах» в письмах к П. В. Анненкову и другим лицам, а также в личных дневниках первых их читателей в том числе отзывов С. Т. Аксакова, М. П. Погодина, зятя поэта Н. И. Павлищева, С. А. Соболевского, И. И. Пущина и других. Из них особенного внимания современного читателя заслуживают отзывы Н. И. Павлищева и И. И. Пущина. Первый из них в письме к Анненкову из Варшавы от 3(15) марта 1855 года писал:

«Я не мог оторваться от первого тома Вашего издания сочинений Пушкина: так удивительно сказание Ваше о жизни Пушкина под скромным названием материалов»[3].

Лицейский друг Пушкина И. И. Пущин в 1858 году заметил в своих «Записках», что Анненков «запечатлел свой труд необыкновенною изысканностью, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину—поэту и человеку»[4]. Вместе с тем в «Записках» Пущин, как отмечалось выше, стремился дополнить биографию Анненкова рассказом о политических взглядах поэта и о его связях с декабристским движением, доказывая, в противовес Аннен-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр соч. в 16-ти т., т. IV, М., 1948, с. 780.

[2] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т., I, М., 1950, с. 450.

[3] Цит. по кн.: Модзалевский Б. Л. Пушкин, с. 322.

[4] Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 55.

кову, что связи эти были глубокими и органическими, а не преходящими и случайными, как утверждал Анненков.

Показателем высокой оценки анненковской биографии Пушкина современниками явился торжественный обед 17 февраля 1855 года, данный Анненкову его друзьями, на котором Анненкову поднесли экземпляр «Материалов для биографии А. С. Пушкина» в шагреневом переплете с надписью на первом листе: «Автору образцовой биографии Пушкина и добросовестному издателю сочинений великого нашего поэта — Павлу Васильевичу Анненкову — от его литературных друзей и знакомых». Под словами этими подписались И. С. Тургенев, И. И. Панаев, В. П. Боткин, Н. А. Некрасов, А. В. Дружинин, Я. Л. Михайлов, М. В. Авдеев, А. Ф. Писемский, А. Н. Майков, Г. Н. Геннади, В. П. Гаевский, Е. Ф. Корш, М. А. Языков, А. Н. Жемчужников, А. К. Толстой, И. П. Арапетов, Н. В. Гербель, Я. П. Полонский.

Второе издание анненковского труда в 1873 году также имело немалый успех. В частности, в газете-журнале «Гражданин», которую в это время редактировал Ф. М. Достоевский, появилась обширная рецензия на него Н. Н. Страхова[1].

Позднее, в 1882 году, подводя в некрологе Анненкову итог его литературным заслугам, известный историк русской литературы А. П. Пыпин писал о «Материалах для биографии А. С. Пушкина» и об анненковском издании Пушкина в целом: «Предприятие Анненкова было особенно ценно в обстоятельствах, среди которых жила тогда наша литература. Обстоятельства были очень малоблагоприятные. Окруженная тяжелым недоверием и подозрениями, литература едва хранила нить предания сороковых годов, и издание Пушкина приобрело цену нравственного обозрения; это было притом не только напоминание, но в значительной степени и реставрация писателя, который для критики сороковых годов (то есть для Белинского. — *Г. Ф.*) был величайшим явлением русской литературы и залогом ее будущего. Труд Анненкова был первый в своем роде опыт исследования внешней и внутренней биографии писателя, истории его содержания и способов творчества. Позднее, когда подобные изыскания установились и размножился вообще историко-литературный материал, нетрудно было указать недосмотры и ошибки в работе Анненкова; забывают только, что в подобных случаях чрезвычайно важно и особенно трудно бывает именно начало»[2].

Г. М. Фридлендер

---

[1] Авторство Страхова (рецензия ошибочно приписана Н. Ф. Бельчиковым Достоевскому) удостоверяется свидетельством самого Страхова в письме к Л. Н. Толстому от 15 апреля 1878 года (см.: Толстовский музей, т. II. СПб., 1914, с. 29).

[2] Вестник Европы, 1882, № 3, с. 303.

ГЛАВА I*

Предки и родственники. Эпоха рождения. 1799 — 1811 г.: Боярин Пушкин, Ганнибалы. — Отец и мать. — Няня Арина Родионовна. — Стихотворение «Подруга дней моих суровых...». — Захарово. Вязёмо. — Стихотворение «Мне видится мое селенье...». — Характер отца, С. Л. Пушкина. — Дядя В. Л. Пушкин. — Пьеса «Путешествие В. Л. Пушкина» и И. И. Дмитриев.

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве, в 1799 году, мая 26, в четверг, в день Вознесения Господня, на Молчановке[5].

Мать его, как известно, была из фамилии Ганнибаловых. Общие черты родословной Пушкиных и Ганнибаловых переданы были самим Александром Сергеевичем в его «Записках»[6]. К ним можно только прибавить несколько заметок. Из всех своих предков, Пушкиных, Александр Сергеевич особенно уважал боярина Григория Гавриловича Пушкина, служившего при царе Алексее Михайловиче послом в Польше, с титулом Нижегородского наместника, и скончавшегося в 1656 году[7]. Александр Сергеевич происходил от него по прямой линии и в честь его дал меньшому своему сыну имя Григория. Из предков своих, Ганнибаловых, А. С. Пушкин

* Материалы, представляемые теперь публике, преимущественно извлечены из бумаг поэта, а за сообщение некоторых подробностей о жизни его, которые вообще так трудно добываются у нас, приносим здесь искреннюю благодарность родственникам, друзьям и знакомым поэта, благоволившим передать нам свои воспоминания. При самом начале труда нашего покойный Лев Сергеевич Пушкин, Н. И. Павлищев и покойный Павел Александрович Катенин составили для настоящего издания и по нашей просьбе три записки: первый о жизни поэта до приезда его в Москву в 1826 г.[1], второй о детстве Пушкина (со слов родной сестры его О. С. Павлищевой)[2], третий вообще о своем знакомстве с ним[3]. Записки эти, писанные собственной рукой авторов, находятся у составителя материалов, и многочисленные отрывки из них приведены им в тексте. Две из этих записок отчасти уже знакомы читателям: первая была опубликована вполне, а вторая в отрывках[4], вероятно с копий, предоставленных авторами лицам, сообщившим их публике.

часто упоминает о родоначальнике этой фамилии, негре Абраме Петровиче. Мы увидим также, что Пушкин посвятил несколько превосходных лирических строф памяти его знаменитого сына, генерал-поручика Ивана Абрамовича Ганнибала, славного основанием Херсона, где ему воздвигнут и памятник, и первою Наваринскою битвою, в которой он был участником и героем. Этот Ганнибал, умерший в С.-Петербурге в начале нынешнего столетия, играл важную роль в своем семействе. Он был благодетелем бабушки Александра Сергеевича, Марьи Алексеевны Ганнибал, урожденной Пушкиной, в ту тяжелую и романтическую эпоху ее жизни, когда муж ее, Осип Абрамович Ганнибал еще при жизни ее женился на Устинье Ермолаевне Т⟨олст⟩ой, подделав фальшивое свидетельство о смерти законной жены своей*. Марья Алексеевна нашла себе защитника в брате своего мужа, Иване Абрамовиче. Его влиянием расторгнут был незаконный брак, отдана ей малолетняя дочь, Надежда Осиповна, мать нашего поэта, и предоставлено во владение одно из родовых сел мужа — Кобрино**, в 60 верстах от Петербурга. То самое село Михайловское, где и Александр Сергеевич провел два года уединенной жизни, назначено было постоянным местопребыванием его деду — Осипу Абрамовичу. Он умер там в 1806 году. Смерть соединила враждующих супругов на кладбище Святогорского Успенского монастыря, лежащего неподалеку от Михайловского, где также похоронен, как известно, и внук их. По близкому соседству с Петербургом, Марья Алексеевна Ганнибал, вместе с дочерью своею, часто посещала столицу. Отец поэта, Сергей Львович, служил тогда в Измайловском полку. Свадьба его и Надежды Осиповны, вероятно, происходила в Петербурге, потому что первенец их — дочь Ольга Сергеевна — родилась в 1798 году именно в то время, как Сергей Львович состоял еще на службе в Петербурге[10]. Благодетель семьи и опекун Надежды Осиповны, генерал-поручик Иван Абрамович Ганнибал был тогда восприемником младенца. Он еще дожил до рождения Александра Сергеевича (смерть этого знаменитого моряка относится к 1800 году)[11], но уже не видел его. В 1798 Сергей Львович вышел в отставку; в следующем 1799 Марья Алексеевна продала село Кобрино, и все семейство Пушкиных

* Показание это, взятое из записки, сообщенной нам сестрой поэта через посредство супруга ее Н. И. Павлищева, противоречит со статьей о детстве Пушкина, напечатанной в журнале «Москвитянин» (1852, № 24), где сказано было, что Осип Абрамович только намеревался жениться на Устинье Ермолаевне[8].

** Оба брата, Осип и Иван Абрамовичи, были соседи по деревням. Поместье второго, Суйды, находилось только в 5-ти верстах от Кобрина, где тогда числилось 100 душ. Третий брат, Петр Абрамович, переживший всех их и умерший с лишком девяноста лет от роду[9], уже был лично известен Пушкину, как увидим ниже.

переехало в Москву, где на деньги, вырученные от продажи имения, Марья Алексеевна приобрела сельцо Захарьино, верстах в сорока от Москвы[12]. 26 мая, как мы сказали, родился там поэт наш, и восприемником его был граф Артемий Иванович Воронцов. При продаже петербургского имения общая няня всех молодых Пушкиных, знаменитая Арина Родионовна, записанная по Кобрину, получила отпускную вместе с двумя сыновьями и двумя дочерьми, но никак не хотела воспользоваться вольною. При продаже Захарьина, или Захарова, как называл его просто сам Александр Сергеевич (1811 года), она отклонила предложение выкупить семейство одной из дочерей своих, Марьи, вышедшей замуж за крестьянина в Захарове, сказав: «Я сама была крестьянка, на что вольная!» Приставленная сперва к сестре поэта, потом к нему и, наконец, к брату его, Родионовна вынянчила все новое поколение этой семьи. В каких трогательных отношениях с нею находился второй из ее питомцев, прославивший ее имя на Руси, известно всякому.

Родионовна принадлежала к типическим и благороднейшим лицам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостию оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственною, неизменною любовью и, в годы возмужалости и славы, беседовал с нею по целым часам. Это объясняется еще и другим важным достоинством Арины Родионовны: весь сказочный русский мир был ей известен как нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у ней с языка. Большую часть народных былин и песен, которых Пушкин так много знал, слышал он от Арины Родионовны. Можно сказать с уверенностию, что он обязан своей няне первым знакомством с источниками народной поэзии и впечатлениями ее, которые, однако ж, как это вскоре увидим, были заметно ослаблены последующим воспитанием.

В числе писем к Пушкину, почти от всех знаменитостей русского общества, находятся и записки от старой няни, которые он берег наравне с первыми. Вот что писала она около 1826 года[13]. Мысль и самая форма мысли видимо принадлежат Арине Родионовне, хотя она и позаимствовала руку для их изложения.

«Любезный мой друг Александр Сергеевич — я получила письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна — вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только, когда засну, забуду вас. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское — всех лошадей на дорогу выставлю. Я вас буду ожидать и молить бога, чтобы он дал нам свидеться. Прощай, мой батюшко Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен

отслужила — *поживи, дружечик, хорошенько, — самому слюбится.* Я, слава богу, здорова — целую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна (Тригорское, марта 6)».

Каким чудным ответом на это письмо служит неизданный отрывок Пушкина, который мы здесь приводим[14]:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный, отдаленный путь:
Тоска, предчувствие, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе . . . .

Почтенная старушка умерла в 1828 году, 70-ти лет, в дому питомицы своей, Ольги Сергеевны Павлищевой.

Другим путем к раннему сближению с народными обычаями и приемами могло служить само сельцо Захарово, проданное в 1811 году, когда молодой Пушкин увезен был в С.-Петербург для определения в лицей. Семейство его, постоянно жившее в Москве с 1798, проводило лето в новой деревне Марьи Алексеевны. Зажиточные крестьяне Захарова не боялись веселиться; песни, хороводы и пляски пелись и плясались там часто. В двух верстах от Захарова находится богатое село Вязёмо. По неимению церкви, жители Захарова считаются прихожанами села Вязёмо, где похоронен брат Пушкина, Николай, умерший в 1807 году (род. в 1802)[15], и куда Александр Сергеевич сам часто ездил к обедне. Село Вязёмо принадлежало Борису Годунову и сохраняет доселе память о нем. Там указывают еще на пруды, будто бы вырытые по его повелению, и на церковную колокольню, им построенную. Вероятно, молодому Пушкину часто говорили о прежнем царе — владетеле села[16]. Таким образом, мы встречаемся, еще в детстве Пушкина, с предметами, которые впоследствии оживлены были его гением. Пушкин вспоминал о Захарове на скамьях лицея и в одном из многочисленных легких посланий, там написанных, говорит:

Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами, в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой,
Зерцалом вод отражено.
На хо́лме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,

Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона,
И глухо тополи шумят.
(Неизданное стихотворение)[17]

Гораздо позднее, в 1831 году, перед женитьбою своей, Александр Сергеевич побывал в Захарове[18] и, покуда Марья, дочь няни его, готовила ему сельский завтрак из яичницы, он обежал рощицу возле дома и все места, напоминавшие ему детство его. «Все наше рушилось, Марья, — сказал он по возвращении, — все поломали, все заросло...» Через два часа он уехал. Действительно, флигель, где жили дети прежнего помещика, уже был тогда за ветхостью разобран, и оставался один большой дом. Многие березки на берегу пруда порублены. Впрочем, еще недавно один путешественник* видел там старую липу Пушкина; с этого пункта можно было наслаждаться прекрасным видом на пруд и на противоположный берег его, покрытый зеленым еловым лесом. Здесь кстати будет упомянуть, что все русские надписи на деревьях Захарова принадлежат старым или новым гостям его, но совсем не Александру Пушкину, по весьма простой причине: в ранней молодости он писал одни французские стихи, по примеру своего родителя и по духу самого воспитания.

Отец его, Сергей Львович Пушкин, был человек от природы добрый, но вспыльчивый. При малейшей жалобе гувернеров или гувернанток он сердился, выходил из себя, но гнев его проистекал от врожденного отвращения ко всему, что нарушало его спокойствие, и скоро проходил. Вообще, Сергей Львович не любил заниматься серьезными делами по дому, воспитанию и хозяйству, предоставив все это супруге своей, Надежде Осиповне; никогда не бывал он в дальних своих деревнях, как, например, в Болдине (Нижегородской губернии), предоставив имение в полное распоряжение управляющему, своему крепостному человеку, и отдавал все свое время только удовольствиям общества и наслаждениям городской жизни.

Некоторые черты врожденной его беспечности сохранены в семействе и переданы нам Н. И. Павлищевым. Записанный с малолетства в Измайловский полк, Сергей Львович был переведен потом, при государе Павле Петровиче, в гвардейский Егерский. Сергей Львович не мог отстать в службе от некоторых привычек, к числу которых принадлежала привычка сидеть у камелька с приятелями и мешать в нем огонь, причем раз Сергей Львович употребил на это собственную свою офицерскую трость и с ней же явился потом к должно-

* Г. Макаров. — См. «Москвитянин» 1851 года, № 9 и 10[19].

сти. Начальник, заметив обгорелую трость, подошел к нему и сказал: «Уж вам бы, г. поручик, лучше явиться с кочергою на ученье!» Огорченный Сергей Львович жаловался потом супруге своей на тяжесть военной службы. Между прочим, он питал какое-то отвращение к перчаткам и почти всегда терял их или забывал дома; будучи однажды приглашен с другими товарищами своими на бал к высочайшему двору, он, по обыкновению, не позаботился об этой части своего туалета и оробел порядком, когда государь Павел Петрович, подойдя к нему, изволил спросить по-французски: «Отчего вы не танцуете?» — «Я потерял перчатки, ваше величество», — отвечал в смущении молодой офицер. Государь поспешно снял перчатки с своих собственных рук и, подавая их, сказал с улыбкою: «Вот вам мои!» — потом взял его под руку с ободрительным видом и, подводя к даме, прибавил: «А вот вам и дама!»

Оставив военную службу в 1798 году, Сергей Львович переселился в Москву и жил долгое время близ Немецкой слободы, у самой Яузы, не переходя моста. После Отечественной кампании он снова определился на службу и в 1814 г. начальствовал комиссариатскою комиссиею Резервной армии в Варшаве. Г-н Б⟨ологовский⟩, назначенный на его место, рассказывал, что, принимая от него сложную должность, он застал Сергея Львовича в присутственном месте за французским романом вместо счетов и бумаг. Сергей Львович вышел в отставку с чином V класса[20].

С другой стороны, Сергей Львович, как и брат его, поэт Василий Львович, были душою общества, неистощимы в каламбурах, остротах и тонких шутках. Он любил многолюдные собрания, а брат его даже славился по Москве своим поваром, Власием, которого он называл Blaise и который в первую холеру умер в Охотном ряду, торговцем[21]. Связи Сергея Львовича были довольно обширны. Через Пушкиных он был в родстве со всею этою фамилиею, а через Ганнибаловых с Ржевскими и их свойственниками — Бутурлиными, Черкасскими и проч. Он даже жил дом об дом с графом Дмитрием Петровичем Бутурлиным, и гости последнего были его гостями. В числе посетителей его были Карамзин, Батюшков, Дмитриев, и молодой Пушкин, который всегда внимательно прислушивался к их суждениям и разговорам, знал корифеев нашей словесности не по одним произведениям их, но и по живому слову, выражающему характер человека и западающему часто в юный ум невольно и неизгладимо.

Вместе со всем лучшим обществом Москвы, дом Сергея Львовича, как все избранные дома тогдашнего времени, был открыт для французских эмигрантов: новое средство развлечения, которого все искали. Между этими эмигрантами отличалось лицо графа Ксавье де Местра. Он уже напечатал

тогда свое «Voyage autour de ma chambre»* и, в промежутках между литературными занятиями, любил посвящать свои досуги портретной живописи и откровенной беседе с друзьями. Портрет матери Пушкина, Надежды Осиповны, работы Местра находился долгое время у Льва Сергеевича Пушкина. Сам Сергей Львович был известен как остряк и человек необыкновенно находчивый в разговорах. Владея в совершенстве французским языком, он писал на нем стихи так легко, как француз, и дорожил этою способностию. Много альбомов, вероятно, сохранили его произведения; и есть слухи, что в это время он написал даже целую книжку, в которой рассуждал по-французски — стихами и прозой — о современной ему русской литературе. Чрезвычайно любезный в обществе, он торжествовал особенно в играх (jeux de société)**, требующих беглости ума и остроты, и был необходимым человеком при устройстве праздников, собраний и особенно домашних театров, на которых как он, так и брат Василий Львович отличались искусством игры и декламации***. В обществе Сергея Львовича находились также и две известные пианистки, блиставшие вместе с тем и талантом остроумной беседы: девица Першрон де Муши и г-жа Шимановская[22]. Первая вышла замуж за Фильда, вторая впоследствии сделалась тещей поэта М‹ицкеви›ча.

Памятником веселости, оживлявшей это общество, осталась даже печатная книжка. Известно, что когда дядя нашего поэта, Василий Львович Пушкин, сбирался ехать за границу, то И. И. Дмитриев предупредил, так сказать, весь будущий рассказ путешественника в стихотворной шутке под названием «Путешествие NN в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия»[23]. Книжка эта, напечатанная только для друзей, в нескольких экземплярах, сделалась теперь библиографическою редкостию. Шутка И. И. Дмитриева особенно поражает соединением веселости, меткости и вместе благородства, что очень редко встречаем в наших печатных произведениях этого рода. За три дня до отъезда

---

* «Путешествие по моей комнате» *(франц.)*. — *Ред.*

** Словесные игры *(франц.)*. — *Ред.*

*** Н. И. Павлищев передал нам несколько образчиков его находчивости. «Quelle ressemblance y-a-t-il entre le soleil et vous, m-r Pouchkine?» — спросили его раз. «C'est qu'on ne saurait fixer l'un et l'autre sans faire la grimace», — отвечал он тотчас же. (Перевод: «В чем сходство между солнцем и вами, г. Пушкин?» — «В том, что нельзя без гримасы разглядывать нас обоих».) Многие из его возражений имели большой успех в обществе, как, напр., ответ дородной польской даме, спрашивавшей его: «Est-ce vrai, m-r Pouchkine, que vous autres Russes, vous êtes des antropophages: vous mangez de l'ours?» — «Non, m-me, — отвечал он, — nous mangeons de la vache, comme vous» и проч. (Перевод: «Правда ли, г. Пушкин, что вы, русские, — антропофаги: вы едите медведей?» — «Нет, сударыня, мы едим коров, вроде вас».)

своего за границу Василий Львович обещал, на дружеском ужине, верно передать свои впечатления приятелям. И. И. Дмитриев возразил, что письма его всегда будут драгоценны для них, но что содержание корреспонденции почти уже известно. В подтверждение своих слов он сочинил «Путешествие», к которому приложил еще картинку, изображавшую будущего туриста в Париже, за уроком декламации у Тальмы. Чрезвычайно остроумно и верно изображен там автор «Опасного соседа»[24], с его жаждой новостей, слепым поклонением иностранным диковинкам, усвоением всех возможных мод и вместе неизменным добродушием и прямотою сердца. Вот начало этой книжки, которая может дать понятие о всем ее тоне:

Друзья! сестрицы! я в Париже,
Я начал жить, а не дышать!
Садитесь вы друг к другу ближе
Мой маленький журнал читать.
Я был в Музее[25], в Пантеоне[26],
У Бонапарте на поклоне,
Стоял близехонько к нему,
Не веря счастью своему.
Вчера меня князь Долгоруков
Представил милой Рекамье,
Я видел корпус мамелюков[27],
Сиеса, Вестриса, Мерсье...* — *и т. д.*

ГЛАВА II

Лицей. 1811—1817 г.: Детство и первое воспитание. — Страсть к чтению. — Домашний театр и французские стихи. — Лицей. — Кошанский, лицейские журналы, Дельвиг. — Рассказы. — План автобиографии. — Отрывок из лицейских записок. — Куплеты на Шаховского: «Вчера в торжественном венчанье...». — Роман «Фатама». — Куплеты на учителей: «Скажите мне шастицы...». — Пер-

* Вот как А. С. Пушкин отзывался в 1834 году об этом малоизвестном произведении И. И. Дмитриева. Выписываем из его тетрадей: «Путешествие etc. Картинка изображает etc.». Эта книжка никогда не была в продаже. Несколько экземпляров розданы были приятелям автора, от которого имел я счастие получить и свой — чуть ли не последний. Я храню его как памятник благосклонности для меня драгоценной.

«Путешествие etc.» есть веселая, незлобная шутка над одним из приятелей автора. Покойный В. Л. П. отправился в Париж, и его младенческий восторг подал повод к сочинению маленькой поэмы, в которой с удивительною точностию изображен весь В. Л. Это образец игривой легкости и живой шутки.

Искренность драгоценна в поэте. Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души, и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств, и в ювенальском негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа.

Виноват: я бы отдал все, что было написано у нас в подражание лорду Байрону, за следующие ⟨не⟩задумчивые и невосторженные стихи, в которых поэт заставляет героя своего восклицать к друзьям: ...»

Стихи не были приложены к отзыву Пушкина[28].

вый опыт литературного характера по поводу Иконникова. — Конец записок. — Разбор лицейских стихотворений. — Подражание Батюшкову, первые печатные стихи «К другу стихотворцу». — Владимир Измайлов и лицейские поэты вообще. — Журналы, где помещались их произведения. — Лицейские стихотворения Пушкина в издании 1826 года. — Об изданиях его стихотворений 1826—1829 годов. Стихи Пушкина в альманахе Б. Федорова. — Стихи Пушкина в альманахе М. Бестужева-Рюмина. — Толки и надежды современников: Дмитриев, гр. Хвостов, В. Пушкин. — Легкость в сочинении стихов, проблески таланта в первых опытах. — Значение лицейских стихотворений. — Характер юношеских произведений Пушкина, подражания, влияние Батюшкова. — Значение элегий 1816 года и развитие таланта к 1817 году. — Неизданные отрывки из «Онегина» о лицее (две первые строфы из 8-й главы). — Стихотворение «Наперсница волшебной старины...». — Выпуск из лицея. — Физическая организация поэта и его гимнастические упражнения.

Воспитание детей в семействе Пушкиных ничем не отличалось от общепринятой тогда системы. Как во всех хороших домах того времени, им наняли гувернанток, учителей и подчинили их совершенно этим воспитателям с разных концов света.

До семилетнего возраста Александр Сергеевич Пушкин не предвещал ничего особенного; напротив, своею неповоротливостию, своею тучностию, робостию и отвращением к движению он приводил в отчаяние Надежду Осиповну, женщину умную, прекрасную собой, страстную к удовольствиям и рассеяниям общества, как и все окружающие ее, но имевшую в характере те черты, которые заставляют детей повиноваться и вернее действуют на них, чем мгновенный гнев и вспышки. Впрочем, она не могла скрыть предподчительной любви сперва к дочери, а потом к меньшому сыну, да и на самое воспитание детей, кроме ее, гувернеров и гувернанток, имели влияние еще и две тетки Александра Сергеевича — Анна Львовна Пушкина и Елисавета Львовна, по муже Солнцева. Анна Львовна собирала в дому своем часто всех родных и умела вселять искренние привязанности к себе.

Муж Елисаветы Львовны, Матвей Михайлович Солнцев, был искренним другом Сергея Львовича, с которым мог состязаться в любезности, тонких шутках и французских каламбурах. Правильной системы воспитания тут уже не могло быть, и если существовало какое-либо единство, то разве в общем недоверии к характеру и способности молодого Александра Пушкина. Это обстоятельство, однако ж, имело впоследствии благодетельное влияние на последнего. Не избалованный в детстве излишними угождениями, он легко переносил лишения и рано привык к мысли — искать опоры в самом себе. Надежда Осиповна заставляла маленького Пушкина бегать и играть с сверстниками, с трудом побеждая и леность его и молчаливость. Раз на прогулке он, не замеченный никем, отстал от общества и преспокой-

но уселся посереди улицы. Сидел он так до тех пор, пока не заметил, что из одного дома кто-то смотрит на него и смеется. «Ну, нечего скалить зубы!» — сказал он с досадой и отправился домой. Когда настойчивые требования быть поживее превосходили меру терпения ребенка, он убегал к бабушке, Марье Алексеевне Ганнибал, залезал в ее корзинку и долго смотрел на ее работу. В этом убежище уже никто не тревожил его. Марья Алексеевна была женщина замечательная, столько же по приключениям своей жизни, сколько по здравому смыслу и опытности. Она была первой наставницей Пушкина в русском языке. Барон Дельвиг еще в лицее приходил в восторг от ее письменного слога, от ее сильной, простой русской речи. К несчастию, мы не могли отыскать ни малейшего образчика того безыскусственного и мужественного выражения, которым отличались ее письма и разговоры. Вторым русским учителем Пушкина, несколько позднее, был, по странному случаю, некто г. Шиллер. Впрочем, труды г. Шиллера не могли принести особенных плодов в это время, потому что маленький Пушкин и сестра его, воспит⟨ыв⟩авшиеся вместе, говорили, писали и твердили уроки из всех предметов по-французски.

Главным руководителем детей был сперва граф Монфор, образованный эмигрант, бывший в то же время музыкантом и живописцем; за ним г. Русло, писавший французские стихи; потом г. Шедель и другие. Настоящим, дельным наставником в русском языке, арифметике и в законе божием был у них почтенный священник Мариинского института Александр Иванович Беликов, известный своими проповедями и изданием «Духа Массильона» (1808)[1]. Когда наняли англичанку (мисс Белли) для Ольги Сергеевны[2], Пушкин учился по-английски, но плохо, а по-немецки и вовсе не учился. Была у них гувернантка немка, да и та почти никогда не говорила на своем родном языке. Вообще ученье подвигалось медленно.

Возлагая все свои надежды на память, молодой Пушкин повторял уроки за сестрой, когда ее спрашивали; ничего не знал, когда начинали экзамен с него; заливался слезами над четырьмя правилами арифметики, которую вообще плохо понимал. Особенно деление, говорят, стоило ему многих слез и трудов.

Но с 9-го года начала развиваться у него страсть к чтению, которая и не покидала его во всю жизнь. Он прочел, как водится, сперва Плутарха, потом «Илиаду» и «Одиссею» в переводе Битобе[3], потом приступил к библиотеке своего отца, которая наполнена была французскими классиками XVII века и произведениями философов последующего столетия. Сергей Львович поддерживал в детях это расположение к чтению и вместе с ними читывал избранные сочине-

ния. Говорят, он особенно мастерски передавал Мольера, которого знал почти наизусть, но еще и этого было недостаточно для Александра Пушкина. Он проводил бессонные ночи, тайком забирался в кабинет отца и без разбора *пожирал* все книги, попадавшиеся ему под руку. Вот почему замечание Льва Сергеевича, что на 11-м году, при необычайной памяти своей, Пушкин уже знал наизусть всю французскую литературу, может быть принято с некоторым ограничением[4].

Первые попытки авторства, вообще рано проявляющиеся у детей, пристрастившихся к чтению, обнаружились у Пушкина, разумеется, на французском языке и отзывались влиянием знаменитого комического писателя Франции[5]. Пушкин любил импровизировать комедийки и, по общему согласию с сестрой, устроил нечто вроде театра, где автором и актером был брат, а публикой — сестра. Раз как-то публика освистала его пьесу «L'Escamoteur»*. Автор отделался от оскорбления эпиграммой, сохранившейся доселе в памяти тогдашнего судьи:

Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur
Est-il sifflé par le parterre?
Hélas — c'est que la pauvre auteur
L'escamota de Molière**.

Стишки гладенькие и легкие. Они были предшественниками таких же русских стихов, которые Пушкин начал писать уже в лицее. Авторство шло параллельно с его чтением. Ознакомившись с Лафонтеном, Пушкин стал писать басни. Начитавшись «Генриады»[6], он задумал поэму в 6 песнях, но здесь останавливает нас одна характеристическая особенность. Это была не героическая поэма, как следовало бы ожидать, а шуточная. Содержанием послужила война между карлами и карлицами во времена Дагоберта. Карло последнего, по имени Toly, был героем ее, почему и вся поэма называется «La Tolyade». Стихотворная шутка начиналась так:

Je chante ce combat, que Toly remporta,
Où maint guerrier périt, où Paul se signala,
Nicolas Maturin et la belle Nitouche,
Dont la main fur le prix d'une horrible escarmouche***.

---

* Похититель *(франц.)*. — *Ред.*

** «Скажи, за что партер освистал моего «Похитителя»? Увы! за то, что бедный автор похитил его у Мольера». За эти драгоценные подробности мы еще раз повторяем благодарность нашу Ольге Сергеевне Павлищевой, и особенно теперь, когда указания ее почти уже все исчерпаны нами. Сделаем одно замечание. Нельзя ручаться, чтобы стихи, приводимые здесь, не были невольно изменены и отчасти исправлены при передаче их после столь долгого времени.

*** Пою сражение, выигранное Толи, где пало много ратников, где Павел отличился, а с ним Николай Матюрин и прекрасная Нитуш, рука которой была наградой за эту страшную схватку.

Все это было во вкусе того, что слышал Пушкин вокруг себя и чему он довольно долго подражал, как увидим после. Гувернантка похитила тетрадку поэта и отдала г. Шеделю, жалуясь, что m-r Alexandre за подобными вздорами забывает о своих уроках. Шедель расхохотался при первых стихах. Раздраженный автор тут же бросил в печку свое произведение.

Г-н Макаров рассказывает[7] стыд и замешательство молодого Пушкина, когда в доме графа Бутурлина, по разнесшейся молве о поэтических его дарованиях, к нему приступили все жившие там девушки с альбомами и просьбами написать что-нибудь. Какой-то господин прочел русское четверостишие Пушкина и, для большей торжественности, ударял на «о»*[8]. Мальчик только успел сказать: «Ah, mon Dieu!»** — и убежал без памяти в библиотеку графа, где долго еще не мог прийти в себя. Эта сцена повторилась в жизни Пушкина, но судьей был тогда Державин, слушателями все наставники лицея и публика, собравшаяся на экзамен, а читанное произведение («Воспоминания в Царском Селе») носило уже признаки зарождающегося таланта[9].

Между тем приблизилось время общественного образования для Пушкина. Глаза всех родителей обращены были тогда на Иезуитский коллегиум, существовавший в Петербурге и приобретший известность в деле воспитания. Пушкины нарочно ездили в Петербург для устройства этого дела и переговоров с директорами заведения, когда положение об открытии Царскосельского лицея совершенно изменило планы их. Директором лицея был назначен Василий Федорович Малиновский, с которым, как и с братьями его, Сергей Львович находился в дружеских сношениях. При помощи его, а особенно при содействии А. И. Тургенева, горячо принявшегося за это дело, двенадцатилетний Пушкин был принят в счет тех 30-ти воспитанников, из которых, по положению, должен был состоять весь лицей. Василий Львович привез племянника в Петербург и держал его у себя в доме все время, покуда он приготовлялся к экзамену. 12-го августа 1811 года Пушкин, вместе с Дельвигом, выдержал приемный экзамен и поступил в лицей[10]. Известно, что месяц и число открытия лицея (19-го октября) часто встречаются в стихотворениях Пушкина, посвященных воспоминанию о товарищах и своем пребывании между ними.

Вскоре лицейская семья умножилась. Один из профессоров (г. Гауеншильд) завел пансион для приготовления моло-

---

* Это противоречит другому показанию, что Пушкин не писал русских стихов в малолетстве, но мы оставляем здесь слова г. Макарова. Притом же тут совершенной исключительности допустить нельзя. Пушкин мог погрешить и русским четверостишием в это время.

** «О, мой бог!» *(франц.)*. — *Ред.*

дых людей ко вступлению в лицей, а таких было много. Пансион, с высочайшего соизволения, причислен к казенным учебным заведениям под именем Лицейского пансиона и сравнен в служебных правах с гимназиями. В пансионе, как и в самом лицее, Пушкин нашел дружеские привязанности, которым оставался верен в продолжение целой жизни[11]. Вообще привязанность воспитанников лицея к месту первоначального своего образования составляет их общую черту. Дельвиг тосковал о лицее на другой же день после своего выхода. Известно, что он писал почти тотчас по приезде в Петербург:

Не мило мне на новоселье:
Здесь все увяло, там цвело;
Одно и есть мое веселье —
Увидеть Царское Село[12].

Учебная жизнь молодого Пушкина не была блестяща. При обширной, почти изумительной памяти, ему недоставало продолжительных, ровных усилий внимания. К тому же в характере его было какое-то нежелание выказывать и те познания, которые он приобрел. Вероятно, по этой причине аттестат, выданный Пушкину по окончании курса, свидетельствовал, как сообщает Лев Сергеевич Пушкин, о посредственных успехах даже в русском языке*.

Не входя здесь в подробности преподавания, для чего не имеем мы и достаточных материалов, ограничимся при описании лицея тем, что ближайшим образом касалось Пушкина. Каждый из учеников лицея имел свою отдельную комнату под надзором общего гувернера, С. Л. Ч⟨ирикова⟩, почтенного человека, посвятившего более тридцати лет жизни исполнению скромной своей должности, и дозволялось по праздникам посещение известных лиц, живших в Царском Селе; для прогулок открыты были воспитанникам сады дворца, а для занятий свободный вход в довольно богатую библиотеку лицея.

Замечательно, что в лицее основные черты характера Пушкина развернулись очень скоро, как будто здесь предо-

* В архивах лицея, по свидетельству г. Гаевского (см. «Современник», 1853, № II), сохранены ведомости о дарованиях, прилежании и успехах воспитанников лицея: с 1 ноября 1812 по 1 января 1814 и с 19 ноября 1812 по 1 февраля 1814 года.

В первой, за географию, всеобщую и российскую историю, профессор Кайданов аттестовал Пушкина так: «при малом прилежании, оказывает очень хорошие успехи и сие должно приписать одним только прекрасным его дарованиям. В поведении резв, но менее против прежнего». Во второй, составленной профессором логики и нравственных наук А. П. Куницыным, Пушкин аттестуется: «весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне неприлежен. Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому успехи его очень невелики, особенно по части логики».

ставлен им был простор и сняты были с них досадные помехи: с одной стороны, обнаружилось доверчивое и любящее сердце, с другой — расположение к насмешке и преследованию неприязненных личностей, доводившее иногда многих до детского отчаяния[13]. Товарищи называли его французом, вероятно, за превосходное знание французского языка, но эпитет этот скрывал также и нерасположение их к живому и задорному мальчику и выводил иногда самого Пушкина из терпенья. Только немногие знали — и в том числе Дельвиг — его душу, сильно расположенную к приязни и откровенности. Дельвиг был идеалист в жизни, если не в сочинениях. Он еще в лицее побудил Пушкина заниматься немецкой литературой и читать германских поэтов; но Пушкин, кажется, оставил своего товарища на первых попытках ознакомиться с Клопштоком[14]. Смутное предчувствие жизни, неясная потребность существенности держали его постоянно в кругу французских поэтов, с которыми он знаком был хорошо. Тогда еще не только Пушкин, но и почти никто у нас не видал, как была бедна эта поэзия чувством и истиной. Гораздо лучше этого питал ранние умственные наклонности Пушкина другой предмет — история. Мы находим, по единогласному свидетельству самих товарищей Пушкина, что, вместе с французскою и отечественною словеснostию, он преимущественно занимался историею и между этими предметами делил все свое время и все свои чтения[15].

Таким образом, очень естественно, что Пушкин продолжал писать французские стихи и в лицее. У нас есть целое стихотворение его, писанное на заданную тему: jusqu'au plaisir de nous revoir*. Приводим два первые куплета этой пьесы, вызванной соревнованием в одном из царскосельских обществ, где в числе занятий были и литературные состязания[16].

Couplets.

Quand un poète en son extase
Vous lit son ode ou son bouquet,
Quand un conteur traine sa phrase,
Quand on écoute un perroquet, —
Ne trouvant pas le mot pour rire,
On dort, on baille en son mouchoir,
On attend le moment de dire:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

* * *

Mais tête-à-tête avec sa belle,
Ou bien avec des gens d'esprit,
Le vrai bonheur se renouvelle, —
On est content, l'on chante, on rit:

---

* до приятного свидания *(франц.)*. — *Ред.*

Prolongez vos paisibles veilles,
Et chantez vers la fin du soir
A vos amis, à vos bouteilles:
*Jusqu'au plaisir de nous revoir** *и т. д.*

Когда наконец принялся он за русские стихи, движимый постоянным и неопределенным желанием авторской славы, то с первого раза встретил весьма строгого ценителя в профессоре российской и латинской словесности, Н. Ф. Кошанском, который старался даже отвратить его от попыток сочинительства и только позднее, убедившись в таланте своего ученика, с жаром принялся знакомить его с теорией словесности и с классическими произведениями древности; но рассеянность ученика и болезнь учителя, продолжавшаяся три года, много помешали успеху этого дела[17]. Эпиграммы Пушкина, начинавшие ходить по рукам, доставляли ему ту дешевую известность, которую он предпочитал более дельному отличию на поприще науки: каждый хотел знать эпиграмму его на другого. Люди постарше сверстников и боялись его ударов, и направляли их втайне. Вместе с тем он написал несколько легких посланий, несколько подражаний французским поэтам, которые помещены были в рукописных журналах, издававшихся в самом лицее. Журналы эти совершенно утеряны и только названия их сохранились в памяти старых лицейских воспитанников; это были: «Лицейский мудрец», «Для удовольствия и пользы», «Неопытное перо», «Пловцы»...[18]

Вообще, наклонность к литературе составляла характеристическую черту лицейского воспитания. Между прочим, воспитанники выдумали довольно замысловатую игру. Составив один общий кружок, они обязывали каждого или рассказать повесть, или, по крайней мере, начать ее. В последнем случае, следующий за рассказчиком принимал ее на том месте, где она остановилась, другой развивал ее далее, третий вводил новые подробности, и так до окончания, которое иногда не скоро являлось. Дельвиг первенствовал на этой, так сказать, гимнастике воображения; его никогда нельзя было застать врасплох: интриги, завязки и развязки были у него всегда готовы[19]. Пушкин уступал ему в способности придумывать наскоро происшествия и часто прибегал к хитрости. Помнят, что он раз изложил изумленным и вос-

---

* Прилагаем перевод куплетов: «Когда восторженный поэт читает вам свою оду или свое приношение; когда вялый рассказчик тянет слова; когда, наконец, слушаете попугая, не находя ни одного забавного слова, вы спите, вы зеваете в платок ваш, вы ждете нетерпеливо минуты сказать: «до свидания! до свидания!» Но с глазу на глаз со своей милой или с умными людьми наступают минуты истинного блаженства. Вы довольны, вы поете и смеетесь. Старайтесь тогда продолжить мирную беседу вашу и к концу вечера, прощаясь с друзьями и бутылками, пойте: «до свидания! до свидания!»

хищенным своим слушателям историю 12-ти спящих дев, умолчав об источнике, откуда почерпнул ее[20]. Между тем, при таком же случае, он, еще в грубых чертах, разумеется, передал и две повести, им самим придуманные: «Метель» и «Выстрел», которые позднее явились в повестях Белкина.

В бумагах Пушкина сохраняется драгоценная записка, принадлежащая к плану автобиографии, какую замыслил он написать уже в эпоху своей известности и славы[21]. Документ этот, составляющий программу будущего рассказа о самом себе, содержит и перечень всего сказанного нами и несколько новых дополнительных подробностей, из которых многие требуют пояснений, каких мы уже дать не можем. Для будущего биографа Пушкина записка поэта — драгоценнейший очерк, достойный развития и тщательного исследования.

«Семья моего отца, его воспитание, французы-учителя: Воит..., Mr. Martin. Отец и дядя в гвардии. Их литературные знакомства. Бабушка и ее мать — их бедность. Иван Абрамович. Свадьба отца. Смерть императрицы Екатерины — рождение Ольги. Отец выходит в отставку и едет в Москву. Рождение мое.

Первые впечатления. Юсупов сад[22], землетрясение, няня. Отъезд матери в деревню. Первые неприятности — гувернантки. Рождение Льва. Неприятные воспоминания. Смерть Николая. Монфор, Русло, Кат. П. и Ан. Ив. Нестерпимое состояние. Охота к чтению. Меня везут в Петербург. Езуиты, Тургенев. Лицей.

1811, 1812, 1813.

Дядя Василий Львович. Дм. Дм., война с Ан. Ник. Светская жизнь. Лицей, открытие. Куницын[23]. Гр. Аракчеев. Начальники наши. Мое положение. Чечнев[24], Фролов.

1814.

Смерть Малиновского. Приезд Карамзина. Приезд матери, приезд отца, стихи etc. Мое тщеславие. 15 лет.

1815.

Известие о взятии Парижа. Экзамен, Державин».

Никто не усомнится, что под рукой Пушкина программа эта могла бы развиться в удивительную картину нравов и в мастерское изображение лиц и происшествий. Только последнюю часть ее — свою встречу с Державиным — рассказал нам поэт, унеся все остальное с собою. Если можно выбирать в литературном деле, которое, вероятно, было бы равно замечательно, то особенно достойно сожаления, что первые впечатления молодости нашего поэта — Юсупов сад, землетрясение, няня — потеряны навсегда для читателей*.

---

* Немногие помнят теперь землетрясение, бывшее в Москве в 1802 году. Вот начало статьи, помещенной тогда в «Вестнике Европы», изд. Н. М. Ка-

Вслед за этим прилагаем второй документ, но это уже отрывок из подлинных записок Пушкина, веденных им во время пребывания своего в лицее. Он принадлежит, по всем признакам, к 1815 году и писан еще юношеским почерком Александра Сергеевича, на синей бумаге в четверку. Около тридцатых годов Александр Сергеевич произвел нечто вроде аутодафе из всех лицейских писем и записок, какие только мог найти под рукою[25]. Наш отрывок уцелел, вероятно, потому, что затерялся в его тетрадях. Самый поверхностный разбор укажет, сколько еще в нем заключено любопытных данных, освещающих лицо поэта в ту эпоху, которая больше других отошла в тень и мрак прошедшего.

Лицейские записки Пушкина открываются второй половиной анекдота, который был впоследствии рассказан Пушкиным иначе[26], но здесь анекдот сопровождается еще замечательной припиской.

«..... большой грузинский нос, а партизан почти вовсе был без носу. Да⟨выдов⟩ является к Б⟨еннигс⟩ену: «Князь Б⟨аграти⟩он, — говорит, — прислал меня доложить вашему высокопревосходительству, что неприятель у нас на носу...» — «На чьем носу, Д⟨енис⟩ В⟨асильевич⟩? — отвечает генерал. — Ежели на вашем, так он уж близко, если же на носу князя Б⟨аграти⟩она, то мы успеем еще отобедать».

Жуковский дарит мне свои стихотворения».

Таким образом, Жуковский еще в 1815 году обратил внимание и поощрительный взгляд свой на юного поэта. Далее следуют строки:

«8 ноября[27].

Ш⟨ишк⟩ов и г-жа Б⟨уни⟩на увенчали недавно кн. Шаховского лавровым венком...»[28]

Отсюда начинается послание к известному драматическому писателю нашему, которое не приводим и за слабостию

рамзина («Вестник Европы», 1802, часть VI, № 21, стр. 69. Москва): «14 октября, в исходе второго часа пополудни, мы чувствовали легкое землетрясение, которое продолжалось секунд двадцать и состояло в двух ударах или движениях. Оно шло от востока к западу и в некоторых частях города было сильнее, нежели в других: например (сколько можно судить по рассказам), на Трубе, Рожественке и за Яузою. Оно не сделало ни малейшего вреда и не оставило никаких следов, кроме того, что в стене одного погреба (в городской части) оказались трещины, а в другом отверстие в земле, на аршин в окружности... Удары были чувствительны в высоких домах; почти во всех качались люстры, в иных столы и стулья. Многие люди, не веря глазам, вообразили, что у них кружится голова. Работники, бывшие на Спасской башне, уверяют, что стены ее тряслися. Те, которые шли по улице или ехали, ничего не чувствовали, и большая часть жителей только на другой день узнала, что в Москве было землетрясение...» А. С. Пушкин был еще очень молод в то время, не более трех с половиною лет. Со всем тем любопытно было бы видеть пушкинское изложение, вероятно, няниных рассказов о необыкновенном феномене.

стихов, и за резкость некоторых упреков*. Поводом к негодованию Пушкина и многих других на кн. Шаховского были его комедии «Липецкие воды» и «Новый Стерн», где в первой видели пародию на баллады Жуковского, а во второй — на сентиментальность Карамзина. Эпитет «записного гонителя талантов» дан был кн. Шаховскому как за эти пьесы, так еще и по неоправданному подозрению в недоброжелательстве к успехам Озерова. Теперь несомненно, что все это было делом увлечения, за которым слепо шел и Пушкин; но надо сказать, что он первый и отстал от толпы, как скоро увидим. Молодой сатирик обращается, однако ж, от стихов к критическому разбору самих произведений даровитого писателя. Это первый пример литературного суждения в Пушкине, а потому выписываем его:

«Мои мысли о Шаховском.

Шах⟨овской⟩ никогда не хотел учиться своему искусству и стал посредственный стихотворец. Шах⟨овской⟩ не имеет большого вкуса: он худой писатель. Что же он такой? Неглупый человек, который, замечая все смешное или замысловатое в обществах, пришед домой, все записывает и потом, как ни попало, вклеивает в свои комедии».

Особенно замечательно следующее место в записках:

«10 декабря.

Вчера написал я третью главу «Фатама, или Разум человеческий», читал ее С. С.[34] и вечером с товарищами тушил свечки и лампы в зале. Прекрасное занятие для философа! Поутру читал «Жизнь Вольтера»[35].

Начал я комедию[36] — не знаю, кончу ли ее. Третьего дня хотел я написать ироическую поэму «Игорь и Ольга».

Летом напишу я «Картину Царского Села».

1. Картина сада.

2. Дворец. День в Ц⟨арском⟩ С⟨еле⟩.

---

* Вот несколько выписок:

«Вчера, в торжественном венчанье
Творца «Затей»[29],
Мы зрели полное собранье
«Беседы» всей[30].
Хвала, хвала тебе, о Ш⟨утовск⟩ой![31]

* * *

Он злой Карамзина гонитель,
Гроза баллад,
В «Беседе» бодрый усыпитель,
Хлыстову[32] брат,
И враг талантов записной.
Хвала, хвала тебе, о Ш⟨утовск⟩ой![33]» *и проч.*

Здесь уже является враждебное отношение молодых писателей тогдашнего времени к литературному обществу, известному под названием «Беседы любителей русского слова», о чем будет еще сказано в продолжение нашего труда подробнее.

3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
6. Жители Царского Села.

Вот главные предметы вседневных моих записок, — но это еще будущее».

Эти *главные предметы записок* обнаруживают постоянное стремление к литературной деятельности в молодом ученике. Некоторые из его товарищей еще помнят содержание романа «Фатама»[37], написанного по образцу сказок Вольтера. Дело в нем шло о двух стариках, моливших небо даровать им сына, жизнь которого была бы исполнена всех возможных благ. Добрая фея возвещает им, что у них родится сын, который в самый день рождения достигнет возмужалости и, вслед за этим, почестей, богатства и славы. Старики радуются, но фея полагает условие, говоря, что естественный порядок вещей может быть нарушен, но не уничтожен совершенно: волшебный сын их с годами будет терять свои блага и нисходить к прежнему своему состоянию, переживая вместе с тем года юношества, отрочества и младенчества до тех пор, пока снова очутится в руках их беспомощным ребенком. Моральная сторона сказки состояла в том, что изменение натурального хода вещей никогда не может быть к лучшему. О комедии Пушкина, вскоре уничтоженной, и о героической поэме почти ничего не могли мы собрать*, но картина Царского Села могла служить продолжением другой пьесы «Воспоминания в Царском Селе», которая была в 1815 году прочитана на публичном экзамене лицея в присутствии Державина и породила сцену, так живо рассказанную впоследствии самим Пушкиным. Не мешает прибавить, что отец нашего поэта дополнил ее еще одной чертой. После экзамена был торжественный обед у г. министра народного просвещения, графа А. К. Разумовского, на который и Сергей Львович получил приглашение. Державин находился тут же. За обедом граф Алексей Кириллович, обращаясь к Пушкину, заметил: «Я бы желал, однако же, образовать сына вашего к прозе». — «Оставьте его поэтом!» — пророчески и с необыкновенным жаром возразил Державин[39].

Несколько листков записок заняты ученическими, бессвязными куплетами, в которых повторяются слова, части

* Есть положительное известие, что В. А. Жуковский в то же самое время намеревался написать поэму или стихотворение «Ольга», наподобие Вальтер-Скоттовой поэмы «Дева озера». В легенде об Ольге также говорится, что она первоначально была *перевозчицей*. Бунт Вадима в Новгороде должен был составлять эпизод в поэме, но В. А. Жуковский оставил намерение без исполнения. Не передал ли он плана стихотворения молодому своему приятелю, начинавшему обращать тогда его внимание на себя? Мы знаем, что еще в 1821 г. Пушкин думал о северной поэме «Вадим» и бросил ее после нескольких попыток[38].

речи и любимые фразы людей, окружавших Пушкина, не представляя почти никакого смысла сами по себе[40]. Как значение, так и соль куплетов совершенно пропали*. Гораздо важнее их одно место в записках, где мечтательность юного поэта, питаемая самыми незначительными обстоятельствами, начинает наполнять его ученическую комнату вымыслами, фантастическими образами и предположениями. Отрывок начинается стихами:

«29-го.

Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался!..
И где веселья быстрый день?
Промчались лётом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкруг меня угрюмой скуки тень!..

Я счастлив был! нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волненьем стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице... сладкая минута!

Он пел любовь, но был печален глас.
Увы! он знал любви одну лишь муку[41].
Жуковский.

Как она мила была! как черное платье пристало к милой Б⟨акуниной⟩!

Я был счастлив 5 минут!»[42]

Лицейские элегии Пушкина «Месяц», «Окно», «Сну»[43] и проч. оставили нам еще другое напоминовение о всех волнениях воображаемой страсти, которая была только едва мерцающей зарей сердечного чувства, так сильно развитого

---

* Вот несколько примеров на выдержку:

На Ш⟨умахера⟩
Скажите мне шастицы,
Как, например: wenn so,
Je weniger und desto —
Die Sonne scheint also.

(Перевод: если так, чем меньше и тем — Итак, солнце светит *(нем.)*. — *Ред.)*

На Л⟨евашова⟩
Bonjour, Messieurs — потише —
Поводьем не играй:
Уж я тебя потешу!
A quand l'équitation?

(Перевод.: Здравствуйте, господа... Когда будет урок верховой езды? *(франц.)*, — *Ред.)*

На К⟨арцева⟩
А что читает Пушкин?
Подайте-ка сюды:
Ступай из класса с богом,
Назад не приходи *и проч.*

впоследствии у Пушкина; но он вспомнил об ней позднее с умилением. Прибавим, что он совершенно забыл впечатления, высказанные им в стихотворениях «К Наташе», «К молодой актрисе» и проч., которые связывались с домашним театром одного из жителей Царского Села[44], и сберег в памяти навсегда только одно: впечатление чистой, детской красоты, случайно встреченной им в годину ученической жизни...

Наконец, заключаем разбор лицейских записок выпиской целого портрета. Это первый полный опыт Пушкина в создании лица, характера — первое чисто литературное его произведение. Полагаем, что эти качества сообщат ему особенную занимательность.

«17.

Вчера провел я вечер с Ик⟨онниковым⟩.

Хотите ли вы видеть странного человека, чудака, — посмотрите на Ик⟨онникова⟩. Поступки его — поступки сумасшедшего; вы входите в его комнату: видите высокого, худого человека, в черном сюртуке, с шеей, окутанной черным, изорванным платком. Лицо бледное, волосы не острижены, не расчесаны; он стоит задумавшись, кулаком нюхает табак из коробочки — он дико смотрит на вас. Вы ему близкий знакомый, вы ему родственник или друг — он вас не узнает. Вы подходите, зовете его по имени, говорите свое имя, он вскрикивает, кидается на шею, целует, жмет руку, хохочет задушевным голосом, кланяется, садится, начинает речь, не доканчивает, трет себе лоб, ерошит голову, вздыхает. Перед ним карафин воды; он наливает стакан и пьет, наливает другой, третий, четвертый — спрашивает еще воды и еще пьет, говорит о своем бедном положении. Он не имеет ни денег, ни места, ни покровительства; ходит пешком из П⟨етербур⟩га в Ц⟨арское⟩ С⟨ело⟩, чтобы осведомиться о каком-то месте, которое обещал ему какой-то шарлатан. Он беден, горд и дерзок; рассыпается в благодареньях за ничтожную услугу или простую учтивость, неблагодарен и даже сердится за благодеянье, ему оказанное, — легкомыслен до чрезвычайности, мнителен, чувствителен, честолюбив. Ик⟨онников⟩ имеет дарования, пишет изрядно стихи и любит поэзию. — Вы читаете ему свою пьесу — наотрез говорит он: такое-то место глупо, без смысла, низко; — зато за самые посредственные стихи кидается вам на шею и называет вас гением. Иногда он учтив до бесконечности, в другое время груб нестерпимо. Его любят иногда, смешит он часто, а жалок почти всегда»[45].

Здесь кончаются записки Пушкина, и мы теперь же переходим к подробному разбору так называемых лицейских его стихотворений, которые составляют довольно многочисленную семью, заслуживающую внимание по многим обстоятельствам. Не говоря уже об интересе, который связывается

даже с незрелыми произведениями истинного художника, они способствуют еще к уразумению нравственной его физиогномии в известную эпоху жизни. За неимением ближайших сведений, погибающих вместе с людьми и даже прежде людей, эти данные имеют сами по себе немаловажное достоинство.

Первыми русскими стихотворениями Пушкина, написанными в лицее, должны считаться его «Послание к сестре»[46], не бывшее в печати, и следующие стихотворения, помещенные в «Вестнике Европы» 1814 года, издававшемся Владимиром Васильевичем Измайловым: 1) «К другу стихотворцу», 2) «Кольна», 3) «Венере от Лаисы, при посвящении ей зеркала», 4) «Опытность» и 5) «Блаженство». За указание этих стихотворений мы обязаны глубокою благодарностию, вместе с читателями нашими, барону М. А. Корфу, сообщившему нам тетрадь стихотворений, где собраны лицейские произведения его бывших товарищей. Без нее, может быть, никогда бы и нельзя было с надлежащей достоверностью разъяснить вопрос о первых произведениях Пушкина. Последние два из приведенных стихотворений очень любопытны как раннее подражание Батюшкову*. К 1814 году принадлежат также стихотворения «Красавице, которая нюхала табак», «Пирующие друзья»[47], пьеса «Путешественнику», настоящее заглавие которой было «К Н. Г. Л⟨омоносо⟩ву», романс «Под вечер, осенью ненастной...» — и, может быть, «Послание к Батюшкову» («Философ резвый и пиит...»).

Ранее этих первых опытов трудно, кажется, сыскать что-либо. По указанию кн. Вяземского, стихотворение «На

---

* Первым *напечатанным* стихотворением Пушкина было послание «К другу стихотворцу» («Вестник Европы», 1814, № 13, подпись Александр Н. к. ш. п.). Известный библиограф наш С. Д. Полторацкий сообщает даже подробности о *дне* появления первого произведения Пушкина *в печати*. Вот слова, извлеченные из тетрадей его, наполненных любопытными заметками и сведениями.

«Сколько мне известно, — говорит он, — это («К другу стихотворцу») первое напечатанное стихотворение Пушкина. Оно появилось в свет *в субботу, 4 июля 1814 года*, потому что 13-я книжка «Вестника Европы», в которой оно напечатано, вышла в свет и раздавалась подписчикам в этот день, что видно из «Московских ведомостей» (№ 53, суббота, 4 июля 1814, стр. 1320, столбец 2-й). Измайлов (Владимир Васильевич), издававший в 1814 году «Вестник Европы», получил это стихотворение еще в апреле месяце, но не хотел его печатать, не узнав прежде имени сочинителя.

Это видно из следующего объяснения, напечатанного в 8-м № «Вестника Европы» (1814, часть 74, стр. 324):

От издателя:

Просим сочинителя присланной в «Вестник Европы» пьесы под названием «К другу стихотворцу», как всех других сочинителей, объявить нам свое имя, ибо мы поставили себе законом не печатать тех сочинений, которых авторы не сообщили нам своего имени и адреса. Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право издателя и не откроем тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики».

смерть Кутузова» («Отечество в слезах познало весть ужасну...»), приписанное одним журналом Александру Пушкину и помещенное в «Вестнике Европы» 1813 года, принадлежит родственнику нашего поэта, Алексею Михайловичу Пушкину.

В 1815 году деятельность молодого поэта расширяется. Кроме двух пьес — «Наполеон на Эльбе», помещенной в «Сыне отечества» на 1815 год (№ XXV и XXVI), и «На возвращение императора Александра из Парижа»[48], напечатанной в «Трудах Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете» (1817, часть IX), — уже 18 пьес Пушкина является в «Российском музеуме, или Журнале европейских новостей на 1815 год», издания того же В. В. Измайлова, который был восприемником первых произведений почти всех лицейских поэтов. Дельвиг поместил в обоих его журналах (1814 и 1815 годов) до 15 пьес. Илличевский 9 и проч. Должно заметить, что А. Д. Илличевский своими эпиграммами и шутками, переделанными с французского, пользовался у товарищей высоким уважением как автор и оспаривал у Пушкина честь первенства до тех пор, пока Державин своим одобрением не решил, кому отдать преимущество.

Из 18 пьес Пушкина, помещенных в «Российском музеуме», только 9 вошли в посмертное издание его сочинений (1838 — 41 г.), а 9 выпущены. Подписаны они были в журнале разными цифрами, буквами и анаграммой, что все указано в примечаниях наших к стихотворениям, ныне вполне собранным.

Далее, в «Трудах Общества любителей российской словесности при им⟨ператорском⟩ Моск. университете» (1818, часть X) помещены были две пьесы Пушкина, написанные им одна в 1815 году, а другая в 1817: 1) «Безверие» (1817), 2) «Гробница Анакреона» (1815), а в журнале П. Корсакова «Северный наблюдатель» 1817 года 5 следующих: 1) «Певец» (1816), 2) «К ней» («Эльвина, милый друг...», 1816), 3) «Послание к Лиде» («Тебе, наперсница Венеры...», 1816), 4) «Пробуждение» («Мечты, мечты...», 1816), 5) «Эпиграмма» («Покойник Клит...», 1816)[49].

Из них только «Послание к Лиде» пропущено было посмертным изданием сочинений Пушкина 1838—41 г.

К лицейским же (в точном смысле слова) должна принадлежать и пьеса «Разлука»[50], напечатанная в «Невском зрителе» 1820 года (часть II) под заглавием «К⟨юхельбекер⟩у», и пять пьес, напечатанных в альманахе «Памятник отечественных муз на 1827», именно: «Романс» (1814), «Желание» (1816), «Фавн и пастушка» (1816), «Заздравный кубок» (1816), «К живописцу» (1815) и наконец семнадцать, впервые помещенных в издании стихотворений Пушкина 1826, именно:

«Друзьям» (1816), «Амур и Гименей» (1816), «Роза» (1816), «Ш⟨ишк⟩ову» (1816), «Пушкину» (1817)[51], «Дельвигу» (1817), «К***» («Не спрашивай, зачем унылой думой...», 1817), «Торжество Вакха» и 9 мелких пьес (эпиграмм и надписей).

Всего же напечатанных при жизни поэта лицейских стихотворений, если включить сюда и «Послание к Каверину» («Московский вестник», 1828, № XVII), считаем мы пятьдесят шесть, между тем как полное число произведений, обозначаемых «лицейскими» и собранных в настоящем издании, восходит до 120, да и то еще нельзя ручаться, чтоб тут не было пропусков.

Лицейские стихотворения не могут быть ограничены июнем месяцем 1817 года, т. е. месяцем выпуска воспитанников, потому что одинаковый тон, сходство стиха и направления связывают с ними неразрывно и произведения нашего поэта второй половины того же самого года. Вот почему, как в нашем издании, так и при исчислении его произведений, мы отнесли к «лицейским» все пьесы до 1818 и только с этого года начинаем другой отдел. Правда, название становится не совсем точно, но, будучи принято по общему соглашению для обозначения духа известной цепи произведений, оно не теряет своей верности и в настоящем случае. Пушкин сделался весьма строг к «грехам отрочества», как он называл стихи своей молодости. Из всей кипы их (120) он выбрал в 1826 году для первого собрания своих стихотворений только 14 значительных пьес («Пробуждение», «Друзьям», «Гроб Анакреона», «Торжество Вакха», «Певец», «Амур и Гименей», «Разлука», «Лицинию», «П⟨ушки⟩ну», «Ш⟨ишко⟩ву», «Дельвигу», «Роза», «Старику», «К***») и 9 эпиграмм и надписей; всего 23 пьесы. Большая часть их была еще, вдобавок, вся пересмотрена и исправлена против прежних редакций и рукописей, так что вряд ли может и дать настоящую идею о лицейских произведениях. Мы имели случай видеть тетрадь, с которой печаталось это собрание стихотворений: там девять пьес, уже одобренные цензором, зачеркнуты рукою самого автора. Некоторые из них, как-то: «Наездник», «Унылие», «Романс», попали в посмертное издание его стихотворений 1838—41 г., в отдел лицейских произведений, однако же совсем в другом виде, нежели в тетради, о которой говорим. Причина ясна: издание это в дополнительном, 9-м томе своем печатало все лицейские стихотворения или с черновых рукописей Пушкина, или с грубых снимков, что еще хуже. Сам Пушкин печатал их уже в обделанном виде. Причина эта понудила нас в настоящем издании подвергнуть все лицейские стихотворения тщательной проверке и показать в примечаниях разницу между испорченным списком и настоящим текстом, где это возможно, а где нет — то сберечь поправки, сохранившиеся в черновых рукописях на стихотворениях

Пушкина, который одно время (1817 г.) хотел привести их в порядок, как свидетельствуют надписи его на многих пьесах: «переделать», «не надо», «переписать»*.

Та же самая строгость выбора присутствовала и при вторичном издании стихотворений его в 1829 году в двух томах. В нем повторены только лицейские стихотворения издания 1826 г. и не прибавлено к ним ни одной новой пьесы из этого времени. Все это показывает значительную осторожность Пушкина в отношении первых своих произведений. Он даже отказывался от некоторых из них. Так, в альманахе Б. М. Федорова «Памятник отечественных муз на 1827» напечатано было, с согласия самого автора, несколько лицейских его опытов. Между ними находился «Романс» («Под вечер, осенью ненастной...»), о котором Пушкин совершенно забыл, хотя и вписал его в тетрадь, приготовленную для печати стихотворений его в 1826[52]. В 1830 году он уже не признавал этого стихотворения своим, говоря: «По крайней мере, не должен

---

* Книжка «Стихотворения Александра Пушкина. 1826 г. С.-Пб. Типография департамента Народного Просвещения, страниц XI и 192» весьма любопытна. Она издана была, когда сам поэт находился в деревне своей, Михайловском, после службы в Кишиневе и Одессе, снабжена эпиграфом из Проперция и небольшим вступлением от имени издателей, которое выписываем:

«Собранные здесь стихотворения не составляют полного издания всех сочинений А. С. Пушкина. Его поэмы помещены будут со временем в особенной книжке. Мы теперь предлагаем только то, что не могло войти в собрание собственно называемых поэм.

В короткое время автор наш успел соединить голоса читателей в пользу своих поэтических дарований. Мы считаем себя вправе ожидать особенного внимания и снисхождения публики к нынешнему изданию его стихотворений. Любопытно, даже поучительно будет для занимающихся словесностию сравнить четырнадцатилетнего Пушкина с автором «Руслана и Людмилы» и других поэм. Мы желаем, чтобы на собрание наше смотрели, как на историю поэтических его досугов в первое десятилетие авторской жизни.

Многие из сих стихотворений напечатаны были прежде в периодических изданиях. Иные, может быть, нами и пропущены. При всем том, это первое, в некотором порядке, собрание небольших стихотворений такого автора, которого все читают с удовольствием. Как издатели мы перед ним и перед публикою извиняемся особенно в том, что по недосмотрению корректора остались в нашей книжке значительные типографические ошибки».

Следуя своему правилу, издатели разделили стихотворения по родам, но к каждой пьесе приложили год ее сочинения, чем значительно облегчили хронологическое распределение пьес, которое нами принято за основание издания. Второе издание стихотворений Пушкина (Стихотворения Александра Пушкина. 2 части. 1829 г. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, стр. 224, 176». Вместо цензурного одобрения на обеих частях: «с дозволения правительства») уже совсем откинуло методу разбора пьес по содержанию и следовало одному чисто хронологическому порядку, что повторяется и в настоящем, предлагаемом публике издании. Кстати, мы увидим позднее, что предисловие к первому изданию 1826, которое приведено выше, было написано по плану и указанию самого Пушкина.

я отвечать за чужие проказы»*[53]. Мы знаем также, что он глубоко был оскорблен, когда, по возвращении в Петербург из путешествия в Арзрум в 1829 году, нашел в альманахе «Северная звезда» г. Михаила Бестужева-Рюмина (а не Марлинского, как напечатано, по странной ошибке, в «смеси» посмертного издания) 7 своих лицейских стихотворений, напечатанных без спроса и дозволения. Издатель альманаха поставил под ними буквы *Ап.* и почел еще за нужное, в предисловии, сделать оговорку: «Издатель, благодаря г. *Ап.*, доставившего к нему тринадцать пьес** (из которых несколько помещены в сей книжке), должным находит просить гг. Неизвестных об объявлении впредь имен своих издателю, ибо, если они желают скрыть их от публики, то в сем отношении совершенно могут быть уверены в *скромности* издателя, а сему последнему необходимо должны быть известны имена особ, доставляющих к нему для напечатания свои пьесы». Под буквами *Ап.* издатель, видимо, подразумевал Пушкина, и поэт, раздосадованный столько же нарушением своей собственности, сколько и неблаговидным изъяснением издателя, хотел даже обратиться к посредничеству ближайшего начальства, но ограничился только заметкой в своих записках 1830 года: «Г. Бестужев в предисловии какого-то альманаха благодарит какого-то г. *Ап.* за доставление стихотворений, объявляя, что не все удостоились печатания... Г. *Ап.* не имел никакого права располагать моими стихами, *поправлять их по-своему* и отсылать их в альманах г. Б. вместе с собственными произведениями»[55] и проч. Вообще обнародование того, что он сам считал недостойным известности, приводило его в немалый гнев, как увидим впоследствии еще несколько примеров. Теперь же, когда слава его упрочена и первые упражнения в поэзии не могут бросить на нее ни малейшей тени, возможно полное собрание лицейских стихотворений должно служить весьма поучительным вступлением к истории литературной деятельности Пушкина вообще и отчасти необходимым к ней пояснением.

Всем известно, что первые опыты Пушкина возбудили толки и ранние надежды современников. Г-н Макаров в

---

* То же самое повторилось и в отношении пьесы «Фавн и пастушка», напечатанной в том же альманахе. Мы находим в «Северных цветах на 1829 год» в статье «Обзор российской словесности за 1828 г.» следующие слова в виде упрека: «Так, еще в «Памятнике муз на 1827 год» напечатаны были отрывки из стихотворения Пушкина «Фавн и пастушка», стихотворения, от которого поэт наш сам отказывается и поручил нам засвидетельствовать сие перед публикой». Обзор подписан О. Сомовым. Но стихотворение сбережено тетрадью барона М. А. Корфа, о которой мы говорили, и таким образом принадлежность его Пушкину несомненна[54].

** В альманахе было всего 7 пьес Пушкина: это тоже уловка издателя альманаха для затемнения дела.

статье «О детстве Пушкина» («Современник», 1843, № 3) собрал весьма любопытные свидетельства о мнениях по этому поводу, ходивших в обществе. «Кто не помнит там (в «Российском музеуме»), — говорит он, — «Воспоминания в Царском Селе», «Послание к Батюшкову», «К***» и проч. Тут светились дарования Пушкина ясно» и проч. Тут уже знаменитый Дмитриев, сравнивая их с обыкновенным родом поэзии, господствовавшей у нас, говорил: «Классическая такта и в стихах и в прозе лишает нас многого хорошего; мы как-то не смеем не придерживаться к "Краткому руководству к Оратории Российстей"»! Василий Львович Пушкин, долго не соглашавшийся признать поэтический талант в племяннике, радовался, однако ж, что «Александровы стихи не пахнут латынью и не носят на себе ни одного пятнышка семинарского». Необычайную прозорливость оказал другой певец, граф Д. И. Хвостов. В ранних опытах Пушкина он почувствовал «перелом классицизму». Восторг Державина при слушании строф из «Воспоминания в Царском Селе» уже известен.

Все похвалы эти имели основание. Тем людям, которые застали Пушкина в полном могуществе его творческой деятельности, трудно и представить себе надежды и степень удовольствия, какие возбуждены были в публике его первыми опытами; но внимательное чтение их и особенно сравнение с тем, что делалось вокруг, достаточно объясняют причину их успеха. Стих Пушкина, уже подготовленный Жуковским и Батюшковым, был в то время еще очень неправилен, очень небрежен, но лился из-под пера автора, по-видимому, без малейшего труда, хотя, как вскоре увидим, отделка пьес стоила ему немалых усилий. Казалось, язык поэзии был его природный язык, данный ему вместе с жизнию. Сам Пушкин как будто верил в эту мысль и в превосходном стихотворении, вновь отысканном, мог по справедливости сказать про свою музу:

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный ум напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила![56]

Часто посреди простых ученических упражнений, стихотворных нецеремонных бесед с друзьями и в подражаниях Державину, Карамзину и Жуковскому — неожиданно встречаешься у Пушкина с оригинальными образами, с приемами, уже предвещающими позднейшую эпоху его развития. Так, в стихотворении 1815 года «Мечтатель» есть строфа, которая может вообще считаться естественной предшественницей антологических его стихотворений.

На слабом утре дней златых
Певца ты* осенила,
Венком из миртов молодых
Чело его покрыла,
И, горним светом озарясь,
Влетала в скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью.

В стихотворении 1816 года «Друзьям» есть уже первые черты той тихой и светлой грусти, которая составляла впоследствии отличительную черту его элегий:

К чему, веселые друзья,
Мое тревожит вас молчанье?
Запев последнее прощанье,
Уж муза смолкнула моя.
Напрасно лиру взял я в руки
Бряцать веселье на пирах
И на ослабленных струнах
Искать потерянные звуки.
Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И на любовь устремлены
Огнем исполненные очи!
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечной; —
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

Пьеса эта, переделанная Пушкиным несколько позднее, приобрела удивительную круглоту и в этом виде вряд ли чем отличается от лучших его произведений. В стихотворении 1817 года «К молодой вдове» кто, хотя немного знакомый с манерой Пушкина, не узнает его руки?

Вечно ль слезы проливать?
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?
Верь мне: узников могилы
Там объемлет вечный сон,
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон.
Не для них весенни розы,
Сладость утра, шум пиров,
Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов.

При некотором старании можно было бы увеличить число таких примеров, но и этих достаточно для оправдания нашей мысли. Лицейские стихотворения полны намеков, беглых линий, теней, которые впоследствии самим Пушкиным обращены в ясные, полные и живые образы. Очень многие из

* Муза.

этих ранних заметок, совершенно преображенных поэтом в эпоху его самобытного развития, нашли себе место в разных его произведениях. Лицейские стихотворения походят на памятную книжку, где записано многое слишком коротко и бегло, многое слишком пространно и слабо. Пушкин нередко черпал материалы из своего старого запаса, чему несколько примеров собрано нами в примечаниях к его лирическим пьесам.

Основной характер юношеской поэзии Пушкина составляет веселый взгляд на жизнь и стремление к беззаботному наслаждению ею, что и доставило ей успех в публике и между товарищами. Если разобрать стихотворения трех годов, с 1815 по 1818, и отделить от них подражания Пушкина всем предшественникам — Державину, Карамзину и Жуковскому, — остается еще большой отдел легких, игривых посланий, застольных, вакхических песен, которые, видимо, обязаны существованием своим влиянию французских, так называемых анакреонтических, писателей. Еще на скамьях лицея Пушкин прочел всех корифеев этой поэзии — Шолье, Шапеля, Берни, Грессе, Грекура и Парни, — и первые его опыты связаны с этими именами и с тем родом произведений, которым занимался отец его, Сергей Львович. Стихотворения 15- и 16-тилетнего Пушкина были только продолжением того рода домашней поэзии, с которым он познакомился у себя в семействе. Не нужно пересчитывать многочисленных произведений этого отдела: они легко узнаются по притязаниям на остроумие, по небрежности картин и самого хода их. Между ними есть даже русская сказка «Бова»[57], которая, несмотря на простонародное свое название и на подражание Карамзину, сильно походит вместе с тем и на сказочку Вуазенона. Правда, некоторые из них уже выступают из ряда холодных, внешне эффектных и остроумных произведений французской поэзии — именно те, где особенно чувствуется влияние Батюшкова, как, например, в пьесах «Гроб Анакреона», «Мечтатель» («По небу крадется луна...») и во всех элегиях Пушкина. Батюшков был первым учителем Пушкина в тонком эстетическом вкусе, в искусстве облекать самые смелые порывы фантазии в грациозные образы и совершенством формы смягчать резкость представления. Пушкин признавал себя учеником Жуковского, но общее впечатление, производимое его юношескими опытами, заставляет перенесть это звание и эту честь скорее на Батюшкова, чем на автора «Людмилы»[58]. Пушкин высоко ценил даже сходство, какое могут представлять некоторые из собственных его стихов с манерой Батюшкова. Рассказывают, что в 1828 году он, по просьбе одного литератора в Москве, написал ему в альбом известное свое стихотворение «Муза» («В младенчестве моем она меня любила...»). На вопрос литератора, почему

пришло ему на ум именно это стихотворение, Пушкин отвечал: «Я люблю его — оно отзывается стихами Батюшкова»[59].

Мы упомянули об элегиях Пушкина 1816 года, каковы «Месяц», «Осеннее утро», «Окно», «Сну» и проч. Нельзя пройти их без внимания. Они, по нашему мнению, составляют переход к более самостоятельным его произведениям, которые появились спустя три года. Напрасно стали бы искать в них глубокого чувства позднейших его произведений: это были первые тревоги поэтической души, первое пробуждение чувства. Отсюда истекал впоследствии тот чудный родник лирических песней, который так освежительно действует доселе на сердце и воображение читателя! Без труда можно видеть, что в основании его элегической задумчивости нет никакого действительного события, еще менее настоящей страсти; но эти неясные и неопределенные жалобы, опережающие жизнь, истинны сами по себе. Лицо, возбудившее их, упоминается в лицейских записках Пушкина, как мы видели. К тому же лицу относится и стихотворение «К живописцу», которое, будучи положено на музыку одним из товарищей Пушкина[60], часто распевалось в лицее хором, хотя пьеса эта есть только перевод известного стихотворения Парни «Peintre, Qu'Hébé soit ton modèle...»*.

К концу своего пребывания в лицее Пушкин уже обратил на себя внимание и надежды не только сотоварищей и родных своих, подозрительно смотревших до того на его обыкновенные занятия**, но и представителей русской литературы: Державина, Карамзина и Жуковского. Слава доставалась ему легко, как человеку, предопределенному на это, а вместе с тем и самая жизнь начинала определяться в тех самых чертах, какие видим и впоследствии. К концу лицейского поприща он предается вполне миру фантазии, как говорит один из его соучеников[61], почти беспрерывно задумываясь и сочиняя в классах, в играх, на прогулках: порывы пылких страстей, которые были в крови его и так сильно ознаменовали его существование, становятся виднее и чаще. К этому надо прибавить, что и воображение молодого Пушкина развилось с необычайной силой в несколько годов пребывания в лицее. Он даже во сне видел стихи и сам рассказывал, что ему приснилось раз двоестишие

«Пускай Глицерия, красавица младая,
⟨Равно всем общая, как чаша круговая...⟩»,

---

* «Художник, пусть же Геба послужит тебе образцом...» *(франц.)*. — *Ред.*

** Примечание и одобрительный вызов на продолжение поэтических упражнений последовал, кажется, за пьесою «Лициний». До тех пор поэзия молодого Пушкина казалась шалостью в глазах близких ему людей и встречала постоянное осуждение.

к которому он и приделал потом целое стихотворение «Лицинию», долго носившее обманчивую ссылку на латинскую словесность, откуда будто бы оно почерпнуто.

С глубоким чувством вспоминал поэт первые беседы свои со вдохновением в стенах лицея и оставил чудное описание их в «Онегине»:

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне... *и проч.*

В дополнение к этим строфам приводим неизданный отрывок «Онегина», где Пушкин еще подробнее и с таким же поэтическим одушевлением рисует свое собственное лицо в стенах лицея. Кроме автобиографического значения, отрывок наш имеет еще и другого рода занимательность: в нем читатели встречаются впервые с черновым оригиналом вдохновенных строф 8 главы «Онегина» о лицее, столь известных публике.

I

В те дни, когда в садах лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно «Елисея»[62],
А Цицерона проклинал,
В те дни, как я поэме редкой
Не предпочел бы мячик меткой,
Считал схоластику за вздор
И прыгал в сад через забор,
Когда порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив.

II

Когда в забвенье перед классом
Порой терял я взор и слух,
И говорить старался басом,
И стриг над губой первый пух,
В те дни... в те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал...

И часто потом возвращался Пушкин к сладким воспоминаниям о первых годах своей молодости, а в неизданном стихотворении «Наперсница волшебной старины...» соединил даже в одной, удивительно изящной, раме лицейские воспоминания своего младенчества, видения семнадцатого года с портретом бабушки, Марьи Алексеевны, занимавшей его ребяческие лета. Вот оно:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных —
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных!
Я ждал тебя. В вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила!
Младенчество прошло как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила —
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила.
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнем улыбка оживилась!
Каким огнем блеснул приветный взор!
Покров, клубясь волною непослушной,
Чуть осенял твой стан полувоздушной.
Вся в локонах, обвитая венком,
Прелестная глава благоухала,
Грудь белая под желтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала...

Выпуск воспитанников назначен был тремя месяцами ранее определенного срока и происходил 9-го июня 1817 года вместо 19-го октября. На публичном экзамене из русской словесности Пушкин прочел свое стихотворение «Безверие». В журналах того времени осталось трогательное описание торжества выпуска воспитанников, описание, которое в простой своей форме весьма много говорит сердцу читателя (см. «Сын отечества», 1817, № XXVI).

Государь император удостоил торжественный акт своим присутствием и повелел представить себе всех выпускаемых учеников. С отеческою нежностью увещевал он их о исполнении священных обязанностей к монарху и отечеству и преподал несколько советов, долженствовавших руководить их на пути жизни. Затем представлены были ему все профессора и начальники лицея. Осмотрев с величайшею подробностию устройство лицея, государь император возвратился к ожидавшим его воспитанникам с новыми милостями. Он наградил каждого из них жалованьем, до получения штат-

ного места на предстоящей службе, смотря по разряду, к которому принадлежит каждый. Выходившие с чином 9-го класса имели право на 800 руб. асс., а получившие 10 класс — на 700 руб. С глубоким умилением и благословениями проводили профессоры и начальники лицея монарха своего, и ни один из них не был забыт в наградах, щедро излившихся на них вслед за сим.

Пушкин, 19-й воспитанник по выпуску, принадлежал ко второму разряду и 13-го июня 1817 определен в Государственную Коллегию иностранных дел с чином коллежского секретаря. Напрасно прежде этого добивался он у отца позволения вступить в военную службу, в Гусарский полк, где уже было у него много друзей и почитателей. Начать службу кавалерийским офицером была его ученическая мечта, сохранившаяся в некоторых его посланиях из лицея. Сергей Львович отговаривался недостатком состояния и соглашался только на поступление сына в один из пехотных гвардейских полков.

Кстати будет сказать здесь, что физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями. Он славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купанья, езды верхом и отлично дрался на эспадронах, считаясь чуть ли не первым учеником у известного фехтовального учителя Вальвиля. Все это, однако ж, не помешало Пушкину несколько позднее предполагать в себе расположение к чахотке и даже чувствовать, по собственным словам его, признаки аневризма в сердце.

ГЛАВА III

Жизнь и литературная деятельность в С.-Петербурге. 1817—1820 г.: Поездка в Михайловское. — Слова утерянного дневника об этой поездке. — Светская жизнь, болезнь 1818 года. — Г-жа Кирхгоф, белые стихи и пародия «Послушай, дедушка...». — Черновые тетради. — Внутренний процесс творчества. — Поправки и рисунки Пушкина. — Отрывки из «Альбома Онегина»: «В сафьяне, по краям окован...» — Послание к Каверину 1817 года как взгляд на самого себя. — Пушкин в обществе литераторов. — Анекдот с Карамзиным. — Жуковский исправляет стихи, забытые Пушкиным. — «Арзамас» и «Беседа любителей русского слова». — Вопрос о романтизме, Каченовский, кн. Вяземский, «Бахчисарайский фонтан». — Общества словесности и литературные кружки. — Чтение «Руслана и Людмилы» на вечерах у Жуковского, слово Батюшкова. — Пушкин и Катенин. — Катенин мирит Пушкина с Шаховским и Колосовой. — Осторожность Пушкина в суждениях о людях, причина непомещения в «Сев⟨ерных⟩ цветах» 1829 ⟨года⟩ стихов Катенина. — Минута недоразумения между Пушкиным и Катениным и письмо первого по поводу этого недоразумения и комедии «Сплетни». — Письмо Пушкина к Катенину (1825 г.) с приглашением заняться романтической трагедией. — Другое письмо к

Катенину с изъявлением участия о поступлении «Андромахи» последнего на сцену и скромным отзывом о своих «Цыганах». — Третье письмо к тому же (1826 г.) с приглашением издавать журнал.— Пушкин и Дельвиг. — Важное значение 1819 года; стихи «Увы, зачем она блистает...». — Настоящая манера и сознание своего таланта. — Разнообразие впечатлений, производящее беспрестанную деятельность вдохновения. — Появление стихотворений «Уединение», «Домовому», «Художник-варвар...». — Ясные признаки самосознания.

По выходе из лицея А. С. Пушкин отправился тотчас же в Михайловское, деревню Псковской губернии, состоявшую тогда из 80 душ[1] и барского дома с красивым и довольно большим садом. Один уцелевший клочок его записок 1824 года, теперь не существующих, сохранил следующие строки: «1824 года, ноября 19-го, Михайловское. Вышед из лицея, я тотчас почти уехал в псковскую деревню моей матери Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу». Семейство его уже покинуло Москву и жило постоянно в Петербурге, уезжая на лето в Михайловское. В деревне молодой Пушкин с первого раза очутился в среде многочисленной дальней своей родни — Ганнибаловых, рассеянных и бедных потомков знаменитого негра Абрама Петровича, награжденного Петром Великим обширными поместьями в тех местах. На обороте того же клочка потерянных записок, о которых мы упомянули, есть слова: «... попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он ее и мне поднести; я не поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз 5 или 6 до обеда...» Старый арап, угощавший молодого Пушкина, есть, по всем вероятиям, Петр Абрамович Ганнибал, последний сын родоначальника этой фамилии, переживший всех своих братьев. Много оригинальных и живых лиц должен был встретить Пушкин тотчас же за порогом лицея. Каждое лето возвращался он в Михайловское. Имя этой деревни, доставшейся Надежде Осиповне Пушкиной после смерти ее отца, уже известного нам Осипа Абрамовича Ганнибала, начинало связываться нераздельно с его собственным именем. Круг знакомства у Пушкина должен был, однако же, охватить все слои русского общества. Как литератор и светский человек, будущий автор «Евгения Онегина» уже поставлен был, с начала зимы 1817 года, в благоприятное положение, редкое вообще у нас, видеть вблизи разные классы общества; но выгода этого положения еще не могла принести тогда всей своей пользы: порывы молодости затемняли дело и мешали какому бы то ни было отчетливому сознанию своего преимущества и своей обязанности как писателя.

С неутомимой жаждой наслаждений бросился молодой Пушкин на удовольствия столичной жизни. С самых ранних

пор заметно в нем было постоянное усилие ничем не отличаться от окружающих людей и идти рядом с ними. Запас страстей, еще не растраченных и не успокоившихся от годов, должен был, разумеется, увлечь его за общим потоком еще более, чем какое-либо правило, наперед составленное для действий. Господствующий тон в обществе тоже совпадал с его наклонностями. Предприимчивое удальство и молодечество, необыкновенная раздражительность, происходившая от ложного понимания своего достоинства и бывшая источником многих ссор; беззаботная растрата ума, времени и жизни на знакомства, похождения и связи всех родов — вот что составляло основной характер жизни Пушкина, как и многих его современников. Он был в это время по плечу каждому — вот почему до сих пор можно еще встретить людей, которые сами себя называют друзьями Пушкина, отыскивая права свои на это звание в общих забавах и рассеянностях эпохи. Для шумных похвал их писал он те легкие заметки, которыми оправдывал недолгое брожение юности, и воспевал вседневные предметы и образы. С людьми, понимавшими достоинство искусства, Пушкин молчал о них или старался отвратить от них внимание. Так, при первом знакомстве своем с П. А. Катениным, выпытывая его мнение о себе, он упорно отказывался прочесть что-нибудь из своих рукописных произведений, говоря: «Показать их знающему стыдно: они не при нем писаны»[2]. Но жизнь шла своим чередом и по заведенному порядку. Водоворот ее, постоянно шумный, постоянно державший его в раздражении, должен был иметь влияние столько же на нравственное состояние его, сколько и на физическую организацию. Спустя 8 месяцев после выхода своего из лицея Пушкин лежал в горячке, почти без надежды и приговоренный к смерти докторами. Это было в феврале 1818 года*.

---

* А не в феврале 1821 года, как сказано, по ошибке, в записках его, приложенных к последнему изданию (1838—41 г.). 1818-й год весьма четко выставлен на рукописи, с которой взят отрывок, там напечатанный. Кстати напомнить здесь один анекдот из этого времени, заслуживающий внимания. Пушкин от природы был суеверен и весьма расположен к объяснению частных событий таинственными, неведомыми причинами, что, может быть, составляет необходимое условие поэтических, восприимчивых организаций. Однажды он зашел к известной тогда гадальщице на кофе, г-же Кирхгоф, которая предсказала ему встречу с другом и весь разговор с ним, потом неожиданное получение денег и, наконец, преждевременную смерть. Скорое исполнение двух первых предсказаний оставило навсегда в Пушкине убеждение, что и последнее должно сбыться непременно... Вот как он сам рассказывал об этом в 1833 году в Казани г-же А. А. Фукс, из статьи которой («Казанские губернские ведомости», 1844 г., № 2) заимствуем эти строки:

«Вам, может быть, покажется удивительным, — начал опять говорить Пушкин, — что я верю многому невероятному и непостижимому; быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н. В. В⟨севоложским⟩ ходить по Невскому проспекту, и, из проказ, зашли к кофейной гадальщи-

Гений молодого поэта, однако ж, возрастал и креп даже в этой сфере и в 1819 году достиг той степени самостоятельности, когда уже можно ясно различить чистое творчество и твердые его приемы. Предшественниками стихотворений 1819 ⟨года⟩ были только даровитые попытки, но и в них ранние черты бодрости и свежести таланта изумляли опытных и зорких людей, следивших за его развитием. Что касается до публики, то автор наш был упоен ее похвалами за все свои произведения безразлично. Он усвоил себе в это время четырехстопный ямб с рифмами и сообщил ему гибкость, множество оттенков и разнообразие, которых он дотоле никогда не имел. Редко прибегал он к другому размеру, а белых стихов и вовсе не понимал, хотя и написал ими еще в лицее две пьесы: «Бова» и «Фиал Анакреона». По прочтении стихотворения В. А. Жуковского «Тленность», начинающегося, как известно, стихами:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль: что, если то ж случится
И с нашей хижиной?..—

Пушкин набросал следующую пародию:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль, что, если это проза,
Да и дурная?..[4]

В. А. Жуковский от души смеялся над пародией молодого человека, но предрекал ему время, когда он переменит мнение свое о белом стихе.

Мерилом, так сказать, всего нравственного бытия нашего поэта остались его тетради: они указывают нам почти без-

---

це. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы, — сказала она мне, — на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место; потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги; а третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественною смертию». . . . .
. . . .
Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве; он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве. Вот первый раз после гадания, когда я вспомнил о гадальщице. Через несколько дней после встречи с знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами; и мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я его обыграл. Он, получив после умершего отца наследство, прислал мне долг, который я не только не ожидал, но и забыл об нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен...» Так передала г-жа Фукс слова Пушкина. Брат поэта, Лев Сергеевич, сообщает подробности анекдота, не совсем сходные с этим рассказом, но сущность его остается одна и та же[3].

остановочно состояние его духа и путь, который он избирал. Этот поэтический рассказ начинается, однако ж, только с выезда Пушкина из столицы. До появления его в Крыму страницы его тетрадей белы и представляют мало пищи изыскателю. С Крыма открывается эта длинная повесть внутреннего хода его мысли; она, как постоянный указатель нравственного его развития, преимущественно взята нами в руководители при настоящем нашем труде. Друзья Пушкина единогласно свидетельствуют, что, за исключением двух первых годов его жизни в свете, никто так не трудился над дальнейшим своим образованием, как Пушкин. Он сам несколько позднее с упреком говорил о современных ему литераторах: «Мало у нас писателей, которые бы учились; большая часть только разучиваются»[5]. Если бы нам не передали люди, коротко знавшие Пушкина, его обычной деятельности мысли, его многоразличных чтений и всегдашних умственных занятий, то черновые тетради поэта открыли бы нам тайну и помимо их свидетельства. Исполненные заметок, мыслей, выписок из иностранных писателей, они представляют самую верную картину его уединенного кабинетного труда. Рядом с строками для памяти и будущих соображений стоят в них начатые стихотворения, конченные в другом месте, перерванные отрывками из поэм и черновыми письмами к друзьям. С первого раза останавливают тут внимание сильные помарки в стихах, даже таких, которые, в окончательном своем виде, походят на живую импровизацию поэта. Почти на каждой странице их присутствуешь, так сказать, в середине самого процесса творчества и видишь, как долго, неослабно держалось поэтическое вдохновение, однажды возбужденное в душе художника; оно нисколько не охладевало, не рассеивалось и не слабело в частом осмотре и поправке произведения. Прибавьте к этому еще рисунки пером, которые обыкновенно повторяют содержание написанной пьесы, воспроизводя ее, таким образом, вдвойне. Вообще тетради Пушкина составляют драгоценный материал для истории происхождения его поэм и стихотворений, и мы часто будем обращаться к ним в продолжении нашего труда. Поэт наш сам представил верную картину их при описании альбома Онегина:

В сафьяне, по краям окован,
Замкнут серебряным замком,
Он был исписан, изрисован
Рукой Онегина кругом.
Среди бессвязного маранья
Мелькали мысли, примечанья,
Портреты, буквы, имена
И думы тайной письмена.

(Из неизданного отрывка «Онегина»)

Но до 1820 года мы почти лишены указания тетрадей Пушкина, и этого одного достаточно для определения характера всей эпохи. Мы думаем, что в одном небольшом послании «К К⟨авери⟩ну», написанном около 1817 ⟨года⟩, выражается лучше и настоящий взгляд автора на самого себя, и вся незатейливая философская система, принятая им в то время:

Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг:
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша смиренный;
Пока живется нам — живи
. . . .
И черни презирай роптанье:
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой[6], с портиком[7], и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

С первого шага своего в свет Пушкин очутился в обществе тогдашних литераторов как известный и заслуженный его член. Он почти совсем не был в положении начинающего. В детстве его В. А. Жуковский нарочно ездил в Царское Село осведомляться о занятиях даровитого питомца лицея и прочитывать ему свои стихотворения. Пушкин обладал необычайной памятью: целые строфы, переданные ему В. А. Жуковским, он удерживал надолго в голове и повторял их без остановки. Жуковский имел привычку исправлять стих, забытый Пушкиным; каждый такой стих считался дурным по одному этому признаку*.

По первым своим произведениям Пушкин занесен был также в список «арзамасцев». Известно, что литературное общество, носившее название «Арзамаса», составилось из некоторого противодействия к торжественности и отчасти к неподвижности другого литературного общества, имевшего название «Беседы любителей российского слова». Важность обстановки, похожей на заседание, чем вообще отличалась «Беседа любителей», заменена была в «Арзамасе» тоном дружества и шутки. Нерасположение «любителей российского

* Сам незабвенный Н. М. Карамзин, принимавший Пушкина часто в кабинете своего царскосельского дома, прочитывал ему страницы своего труда, беседовал с ним об отечественной истории и выслушивал мнения юноши с снисхождением и свойственным ему добродушием[8]. Так как записки Пушкина остались только в отрывках и клочках, рассеянных по разным тетрадям, то мы имеем еще клочок о Н. М. Карамзине, полный глубокого уважения и любви к историографу. В нем Пушкин рассказывает, как одним опрометчивым суждением привел он в гнев всегда ясного, всегда спокойного историка, и как в самой благородной горячности еще выказалась его прекрасная душа[9]. Вообще, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин и А. И. Тургенев всегда стояли к Пушкину в тех постоянно нежных дружеских отношениях, которых не мог изменить он сам, а тем менее посторонние люди или обстоятельства.

слова» к новым явлениям в нашей литературе подало мысль «арзамасцам» назвать своих участников именами и словами, встречающимися в балладах Жуковского, которые особенно не нравились тогда защитникам «серьезной» поэзии и старых форм стихотворства. Таким образом, были усвоены имена «Старушки», «Громобоя» и друг⟨их⟩ многими известными лицами в обществе. В. Л. Пушкин получил однословное «Вот!» в название, а Александру Сергеевичу Пушкину дано имя «Сверчок». Под этим именем напечатал он свою превосходную пьесу «Мечтателю»*, где очерк истинной страсти так далеко оставляет за собой прежние легкие, веселые ее определения. Это уже ступень к мужеству таланта, и как большая часть стихотворений Пушкина, пьеса связывается с действительным лицом и действительным событием. Несколько других подробностей об «Арзамасе» тем более необходимы здесь, что без них трудно понять как деятельность нашей полемики между 1815 и 1825 годами, так и многое во взгляде, привязанностях и убеждениях самого Пушкина.

Всякий, кто изучал отечественную литературу первой четверти нашего столетия, вероятно, чувствовал, что ему недостает ключа для понимания многих намеков тогдашней критики и особенно для уяснения отношений между литературными партиями. Статьи филологического и эстетического содержания этой эпохи и даже стихотворения, послания и эпиграммы покрыты легкой тенью, которая мешает видеть сущность дела. Ключ для разбора недосказанных слов и мыслей может подать только изучение существовавших у нас литературных обществ. В 1815 году еще продолжалась борьба, возникшая по поводу нововведений Карамзина, и противники его направления сосредоточились в обществе «Беседа любителей русского слова», к членам которой принадлежали многие даровитые люди: в числе их был и кн. Шаховской. Все молодое, желавшее новых форм для поэзии и языка и свежих источников для искусства вообще, пристроилось к другому обществу, «Арзамасу». «Арзамас» порожден был шуткой и сохранял основной характер свой до конца. Один веселый и остроумный рассказ под названием «Видение во граде» вызвал его на свет[10]. В рассказе передан был анекдот о некоторых скромных людях, собравшихся раз на обед в бедный арзамасский трактир. Стол их был покрыт скатертью, белизны не совсем беспорочной, и нисколько не был отягчен изобилием брашен. В средине беседы прислужник возвестил им, что какой-то проезжий остановился в трактире и, по-видимому, находится в магнетическом сне. Хотя любопытство и приписывается исключительно прекрасному полу, но

* В «Сыне отечества» 1818 года, № LI. Подпись была «Св..ч.к».

друзья «Арзамаса» доказали противное. Они отправились наблюдать нового ясновидящего у дверей и увидели высокого, толстого человека, который ходил беспрестанно по комнате, произнося непонятные тирады и афоризмы[11]. Последние они тут же записали, но скрыли все собственные имена, потому что незлобливость и добродушие составляли и составляют отличительную черту «Арзамаса». Едва разнеслась эта шутка, в которой нетрудно было отгадать все тонкие намеки ее, как автор получил приглашение от одного из своих друзей на первый «арзамасский вечер»[12]. Продолжая шутку, лица «арзамасского вечера» назвались именами из баллад В. А. Жуковского и, наподобие Французской Академии, положили правило: всякий новоизбранный член обязан был сказать похвальное слово не умершему своему предшественнику, потому что таких не было, а какому-либо члену «Беседы любителей русского слова» или другому известному литератору. Так произнесены были похвальные слова г. Захарову, переводчику «Авелевой смерти» Геснера, «Велисария» г-жи Жанлис и «Странствований Телемака» Фенелона, г. А. Волкову — автору «Арфы стихогласной» и мног⟨им⟩ др⟨угим⟩. Секретарь общества В. А. Жуковский вел журнал заседаний, и протоколы его представляют автора «Людмилы» с другой стороны, еще не уловленной биографии, — со стороны вообще веселого характера. Это образцы самой забавной и вместе самой приличной шутки. Нам неизвестно, кому произнес похвальное слово Александр Сергеевич при вступлении своем, но ему дозволено было сказать первую речь свою стихами[13]. Стихи эти, к сожалению, тоже утрачены. Не должно забывать, что веселое направление «Арзамаса» не мешало ему весьма строго ценить произведения в отношении правильности выражения, верности образов и выбора предметов. Орудием насмешки и остроумия «Арзамас» поражал ложные или неудачно изложенные мысли, и Пушкин, в стихотворной речи своей, недаром упоминал о лозе «Арзамаса», которая достигает провинившихся писателей, несмотря на то, зачислены ли они в список «арзамасцев» или нет.

Отношения «Арзамаса» к другим обществам должны были отразиться на всем литературном движении; но здесь первый повод, а с ним и настоящее значение явлений были уже потеряны для большинства публики; так продолжается и доселе. Например, появление комедий кн. Шаховского «Липецкие воды» — сатиры на произведения В. А. Жуковского — и «Новый Стерн» — сатиры на произведения Н. М. Карамзина — только теперь несколько объясняется в глазах исследователя. С них началась жаркая полемика, в которой особенно отделяется от всех бойкостью и меткостию своих заметок кн. П. А. Вяземский, стоявший, разумеется, на стороне авторитетов, обиженных нашим комиком. Еще в «Сыне

отечества» 1815 года (№ XVI) является его статья «Мнение постороннего», где, не принимая попыток примирения, сделанных М. Н. Загоскиным в комедии своей «Комедия против комедии», он горячо высчитывает ряд оскорблений, нанесенных лилипутами словесности лицам и именам истинных писателей. Сам В. А. Жуковский в послании к Вяземскому и Пушкину (Василью), напечатанном в «Российском музеуме» 1815 года (№ 6) и не попавшем в последнее собрание его сочинений 1848 года, глубоко жалуется на завистников, омрачающих благородное поприще литератора, и дает советы друзьям, как сберечь свое призвание и творческие идеи в шуме людей, не понимающих ни того, ни другого. В известном ответе своем на это послание («К Жуковскому» — «Благослови, поэт!..») А. С. Пушкин рисует картину враждебных личностей и направлений, уже вызвавших столько жалоб и возражений. Наконец даже Батюшков, в первой рукописной редакции своего стихотворения «Видение на берегах Леты», ходившей по рукам и измененной впоследствии, обрекал Лете и забвению те лица, которые упорно держались старых форм и смотрели недоброжелательно на попытки разрабатывать новые стороны искусства. Не говорим уже о многих мелких статьях, эпиграммах, баснях и посланиях.

Когда в двадцатых годах стали обнаруживаться в литературе нашей идеи романтизма, в противоположность идеям классицизма, то «Арзамас» и враждебное ему направление отделились еще резче и явственнее[14]. Можно сказать, что идеи романтизма находились уже в «Арзамасе» прежде появления их в нашей литературе.

Сторона противудействующая нашла тогда представителя в «Вестнике Европы» М. Т. Каченовского и в столкновениях ее с новыми теориями искусства обнаружила последовательность, какой не было прежде. Споры происходили теперь уже преимущественно по поводу произведений Александра Сергеевича, как прежде предметом их были Карамзин и Жуковский, но приемы, направление и мысли почти одинаковы у почитателей нового деятеля. Князь П. А. Вяземский является и здесь первым защитником его. В 1821 г. он напечатал в «Сыне отечества» (№ II) свое едкое послание к Каченовскому, которое, во многих местах, было буквальным переводом Вольтерова стихотворения «De l'Envie»*. К 1824 ⟨году⟩ принадлежит его жаркая полемика с «Вестником Европы» по поводу «Бахчисарайского фонтана» и «Разговора», приложенного к нему[15], и наконец только в 1825 году следы борьбы «Арзамаса» с старой партией защитников прежних форм искусства пропадают совсем или принимают дру-

* «О желании» (*франц.*). — *Ред*

гой вид. Так важно было влияние «Арзамаса» на литературу нашу, и надо прибавить к этому, что Пушкин уже сохранил навсегда уважение как к лицам, признанным авторитетами в среде его, так и к самому способу действования во имя идей, обсуженных целым обществом. Он сильно порицал у друзей своих попытки разъединения, проявившиеся одно время в виде нападок на произведения Жуковского, и вообще все такого же рода попытки, да и к одному личному мнению, становившемуся наперекор мнению общему, уже никогда не имел уважения.

Много и других литературных обществ существовало тогда в обеих столицах; так, в Москве было «Общество любителей словесности», в Петербурге — «Общество любителей словесности, наук и художеств» и «Общество соревнователей просвещения и благотворения»*. Последнее издавало журнал, а второе печатало свои труды по большей части в журнале «Благонамеренный». Московское общество держалось весьма долго, оно также издавало журнал под названием «Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете», в котором, как мы видели, печатались первые опыты Пушкина. Журнал этот прекратился в 1827 году. Кроме самих обществ были еще кружки, составлявшие, так сказать, повторение их, но в уменьшенном виде; таков был незабвенный круг А. Н. Оленина, имевший, как известно, важную долю влияния на современную литературу. Вечера В. А. Жуковского также принадлежат к этой цепи небольших частных академий, где молодые писатели получали и первую оценку, и первые уроки вкуса. Влияние всех этих официальных и неофициальных собраний на просвещение вообще еще не нашло у нас оценки, даже и приблизительной. Хотя Пушкин не принадлежал к некоторым из них, однако же следил равно внимательно за их занятиями. Надо прибавить, что они уничтожены были столько же временем, сколько и распространением круга писателей, вследствие общего разлива сведений и грамотности. С увеличением класса авторов сделались невозможны и те труды сообща, та взаимная передача замыслов и планов литературных, обсуждение начатых произведений всеми голосами, единство направления, — словом, все те особенности, которые заставляют старожилов, по справедливости, вспоминать с умилением об этой эпохе нашего литературного образования. Сам Пушкин, создавший так много новых читателей на Руси и не

* Общество это носило еще название высочайше утвержденного «Вольного общества любителей русской словесности». Журнал его «Соревнователь»[16] снабжался особенной оберткой, по окончании каждой части, с заглавием «Труды высочайше утвержденного и проч.» Пушкин поместил в нем с 1819 года 5 пьес: «Эпиграмму» («Марает он единым духом...»), «Дева» («Я говорил тебе: страшися...»), «Мила красавица», «Желание славы», «Елизавете»[17].

менее того стихотворцев, сильно способствовал уничтожению дружеских литературных кругов; но вместе с тем он сохранил до конца своей жизни, как уже мы сказали, существенные, характеристические черты члена старых литературных обществ и уже не имел симпатии к произволу журнальных суждений, вскоре заместившему их и захватившему довольно обширный круг действия.

Батюшков, проездом в Неаполь, где суждено ему было испытать первые симптомы болезни, отнявшей его еще заживо от света русской поэзии[18], находился в Петербурге и слышал первые песни «Руслана и Людмилы» на вечерах у Жуковского, где они обыкновенно прочитывались. Известно, что после чтения последней из них Жуковский подарил автору свой портрет, украшенный надписью: «Ученику от побежденного учителя»[19]. Батюшков, с своей стороны, нередко с изумлением смотрел, как антологический род поэзии, созданный им на Руси, легко и непринужденно подчиняется перу молодого человека, занятого, по-видимому, только удовольствиями и рассеяниями света. Тогда уже были написаны те замечательные стихотворения Пушкина, для которых содержанием послужил древний, языческий мир: «Торжество Вакха», «Кривцову» и проч. Рассказывают, что Батюшков судорожно сжал в руках листок бумаги, на котором читал «Послание к Ю⟨рье⟩ву» («Поклонник ветреных Лаис...», 1818 г.)[20] и проговорил: «О! как стал писать этот злодей!» И действительно, во многих стихотворениях этой эпохи врожденная сила таланта проявлялась у Пушкина сама собой, заменяя, при случае, гениальной отгадкой то, чего не мог еще дать жизненный опыт начинающему поэту.

Пушкин легко подчинялся влиянию всякой благородной личности. В эту эпоху жизни мы встречаем влияние на него замечательного человека и короткого его приятеля П. А. Катенина. Пушкин просто пришел в 1818 году к Катенину и, подавая ему свою трость, сказал: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей — но выучи!» — «Ученого учить — портить!» — отвечал автор «Ольги»[21]. С тех пор дружеские связи их уже не прерывались. П. А. Катенин был знаток языков и европейских литератур вообще. Можно основательно сказать, что Пушкин обязан отчасти Катенину осторожностию в оценке иностранных поэтов, литературным эклектизмом и особенно хладнокровием при жарких спорах, скоро возникших у нас по поводу классицизма и романтизма. Стойкость суждения Катенина научила его видеть достоинства там, где, увлекаемые спором, уже ничего не находили журналы наши. Независимость убеждений П. А. Катенина простиралась до того, что, сделав несколько опытов в романтической поэзии, он тотчас же перешел к противной стороне, как только число сподвижников нового рода произведений

достаточно расплодилось. Катенин, между прочим, помирил Пушкина с кн. Шаховским в 1818 г. Он сам привез его к известному комику, и радушный прием, сделанный поэту, связал дружеские отношения между ними, нисколько, впрочем, не изменившие основных убеждений последнего. Тогдашний посредник их записал слово в слово любопытный разговор, бывший у него с Пушкиным, когда оба они возвращались ночью в санях от кн. Шаховского. «Savez-vous, — сказал Пушкин, — qu'il est très bon homme au fond? Jamais je ne croirai qu'il ait voulu nuire sérieusement à Ozerow, ni à qui que ce soit». — «Vous l'avez cru pourtant, — отвечал Катенин, — vous l'avez écrit et publié; voilà le mal».—«Heureusement, — возразил Пушкин, — personne n'a lu ce barbouillage d'écolier; pensez-vous qu'il en sache quelque chose?» — «Non, car il ne m'en a jamais parlé». — «Tant mieux, faisons comme lui, et n'en parlons jamais»*. Так точно П. А. Катенин помирил Александра Сергеевича и с А. М. Колосовой, дебюты которой поэт наш встретил довольно злой эпиграммой[22]. Известно его поэтическое раскаяние в грехе, заключающееся в небольшом стихотворении «Кто мне пришлет ее портрет?..» Вообще П. А. Катенин заметил в эту эпоху характеристическую черту Пушкина, сохранившуюся и впоследствии: осторожность в обхождении с людьми, мнение которых уважал, ловкий обход спорных вопросов, если они поставлялись слишком решительно. Александр Сергеевич был весьма доволен эпитетом «le jeune M-r Arouet»**, данным ему за это качество приятелем его, и хохотал до упада над каламбуром, в нем заключавшимся[23]. Может быть, это качество входило у Пушкина отчасти и в оценку самих произведений Катенина. Известно, что вместе с достоинством хладнокровного критика, Пушкин признавал в нем и замечательные творческие способности. Он даже сердился на московских литераторов, не понимавших поэтической важности баллад и переводов его друга, разделяя, впрочем, благоприятное мнение о произведениях П. А. Катенина со многими из известных своих современников. Так, Грибоедов предпочитал «Ольгу» Катенина «Людмиле» Жуковского, с которой она имела одинаковое содержание и которую превосходила, по мнению автора «Горя от ума», цветом народности и планом[24]. Пушкин написал целую статью о сочинениях его[25] («Литературные при-

---

* «Знаете ли, что он, в сущности, очень хороший человек? Никогда я не поверю, что он серьезно желал повредить Озерову или кому бы то ни было». — «Однако вы так думали; так писали и даже обнародовали; вот что плохо». — «К счастью, никто не читал эту мазню школьника; вы думаете, он что-нибудь знает о ней?» — «Нет, потому что он никогда не говорил мне об этом». — «Тем лучше, последуем его примеру и тоже никогда не будем говорить об этом». *(франц.)* — *Ред.*

** «Юный господин Аруе» *(франц.)*. — *Ред.*

бавления к „Русскому инвалиду"» 1833 года, № 26), сохраненную в нашем издании, и прежде того еще сделал лестную заметку в «Северных цветах» 1829 года, посылая туда одно из его стихотворений*.

В дополнение к этому мы прибавим, что, несмотря на приятельские отношения наших авторов, была в жизни их минута недоразумения, которая особенно заслуживает упоминовения по благородству, с каким обе стороны отстранили ее почти тотчас же. Пушкин находился уже в Кишиневе, когда в Петербурге давали переводную комедию Катенина «Сплетни», где, как утверждали, заключается намек на отсутствующего поэта**. П. А. Катенин, живший в деревне,

---

* Это был рассказ П. А. Катенина, под названием «Русская быль», напечатанный в альманахе с следующим примечанием: «За стихотворение сие обязаны мы А. С. Пушкину, который доставил нам оное при следующем письме: «П. А. Катенин дал мне право располагать этим прекрасным стихотворением. Я уверен, что вам будет приятно украсить им ваши „Северные цветы"». Пусть вспомнят читатели, что в рассказе П. А. Катенина князь Владимир присутствует на состязании певцов и присуждает женоподобному греку-певцу коня и латы, а русскому его сопернику заветный кубок, данный Святославу императором Цимисхием. «Старая быль» П. А. Катенина, посвященная Пушкину, еще сопровождалась стихотворным посланием к Александру Сергеевичу, в котором автор рассказа, невинно и тонко посмеявшись над романтиками и археологами, т. е. над двумя литературными кругами нашими, говорит, что заветный кубок не потерян и находится теперь в руках автора «Онегина». Пушкин не решился напечатать это послание вместе с рассказом; оно явилось только в 1832 году в «Сочинениях» Катенина (часть 1-я, стр. 98). Пушкин поместил один свой ответ на него в тех же «Северных цветах» на 1829 ⟨год⟩. Это известная пьеса под названием «Ответ Катенину», которая начинается стихами:

Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь —
И выпить на здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!

и которая без пояснения остается каким-то темным намеком[26]. Всего любопытнее, что когда несколько лет спустя Катенин спрашивал у него, почему не приложил он к «Старой были» и послания, то в ответах Пушкина ясно увидел, что намеки на собратию были истинными причинами исключения этой пьесы[27]. Так вообще был осторожен Пушкин в спокойном состоянии духа!

** «Сплетни, комедия в трех действиях в стихах» Павла Катенина, подражание Грессетовой комедии «Le Méchant» (С.-Пб., 1821) представлена была в Петербурге 31 декабря 1820 г. Клеон Грессета переродился у П. А. Катенина в Зельского, но мы никак не могли угадать в тирадах последнего какого-либо намека на Пушкина. Следует сказать, между прочим, что выходки Зельского против современных странностей и обычаев были предтечами, а может быть, и родоначальниками сатирических вспышек Чацкого... Кто знает связь идей, которая существует в известные эпохи между писателями, тот поймет наше предположение. Мы имели, например, в руках неизданную рукописную комедию в прозе «Студент», соч. Катенина и Грибоедова. Действие в ней очень просто. Взбалмошный и упрямый Звонов[28] хочет выдать воспитанницу свою за студента, который говорит не иначе как тирадами из *модных* писателей. Дело кончается женитьбой молодого, умного человека на воспитаннице. Комедия осталась под спудом, но мысль ее одинакова с «Новым Стерном» князя Шаховского. Все это было только косвенным ответом «арзамасцам».

нашел с своей стороны намек на самого себя в пушкинском послании к Ч⟨аадае⟩ву, написанном в 1821 году, и именно в одном стихе его:

И сплетней разбирать игривую затею.

Но первое объяснение уничтожило все недоразумения. Вот письмо Пушкина по этому поводу:

«Ты упрекаешь меня в забывчивости, мой милый: воля твоя! Для малого числа избранных желаю еще увидеть Петербург. Ты, конечно, в этом числе, но дружба — не италианский глагол piombare*, ты ее также хорошо не понимаешь. Ума не приложу, как ты мог взять на свой счет стих:

И сплетней разбирать игривую затею.

Это простительно всякому другому, а не тебе. Разве ты не знаешь несчастных сплетней, коих я был жертвою, и не твоей ли дружбе (по крайней мере так понимал я тебя) обязан я первым известием об них? Я не читал твоей комедии, никто об ней мне не писал; не знаю, задел ли меня Зельский. Может быть, да, вероятнее — нет. Во всяком случае, не могу сердиться. Если б я имел что-нибудь на сердце, стал ли бы я говорить о тебе наряду с теми, о которых упоминаю? Лица и отношения слишком различны. Если б уж на то решился, написал ли стих столь слабый и неясный, выбрал ли предметом эпиграммы прекрасный перевод комедии, которую почитал я непереводимою? Как дело ни верти, ты все меня обижаешь. Надеюсь, моя радость, что это все минутная туча, и что ты любишь меня. Итак, оставим сплетни и поговорим об другом. Ты перевел «Сида»; поздравляю тебя и старого моего Корнеля. «Сид» кажется мне лучшею его трагедиею. Скажи, имел ли ты похвальную смелость оставить пощечину рыцарских веков на жеманной сцене 19-го столетия?[29] Я слыхал, что она неприлична, смешна, ridicule**. Ridicule! Пощечина, данная рукою гишпанского рыцаря воину, поседевшему под шлемом! ridicule! Боже мой, она должна произвести более ужаса, чем чаша Атреева[30]. Как бы то ни было, надеюсь увидеть эту трагедию зимой, по крайней мере постараюсь. Благодарю за подробное донесение, знаю, что долг платежом красен, но non erat his locus...*** Прощай, Эсхилл[31], обнимаю тебя как поэта и друга... 19 июля»[32].

Прилагаем несколько других писем Пушкина к Катенину, которые чрезвычайно много способствуют к объяснению нравственной физиономии первого. Все они принадлежат 1825

* падать, рушиться; заклепывать *(итал.)*. — *Ред.*
** смешна *(франц.)*. — *Ред.*
*** Здесь не место для этого *(лат.)*. — *Ред.*

году и писаны уже из Михайловского. Кроме прямого свидетельства о влиянии Катенина на поэта нашего, они еще служат примером его уклончивости с людьми, происходившей от тонины чувства и деликатности сердца. Будучи «арзамасцем» по направлению своему, Пушкин находил одобрительные слова для добросовестного труда во всех литературных партиях. Истинную мысль свою берег он только для себя и для немногих, как увидим после.

1) «Ты не можешь себе вообразить, милый и почтенный Павел Александрович, как обрадовало меня твое письмо, знак неизменившейся твоей дружбы... Наша связь основана не на одинаковом образе мыслей, но на любви к одинаковым занятиям. Ты огорчаешь меня уверением, что оставил поэзию — общую нашу любовницу. Если это правда, что ж утешает тебя, кто утешит ее?.. Я думал, что в своей глуши — ты созидаешь; нет — ты хлопочешь и тягаешься — а между тем годы бегут.

Heu fugant, Posthume, Posthume, labuntur anni*.

А что всего хуже, с ними улетают и страсти, и воображение. Послушайся, милый, запрись, да примись за романтическую трагедию в 18-ти действиях (как трагедии Софии Алексеевны). Ты сделаешь переворот в нашей словесности, и никто более тебя того не достоин. Прочел в Булг⟨арине⟩** твое 3-е действие, прелестное в величавой простоте своей. Оно мне живо напомнило один из лучших вечеров моей жизни; помнишь?.. На чердаке к⟨нязя⟩ Шаховского[33].

Как ты находишь первый акт «Венцеслава»? По мне чудно-хорошо***. Старика Rotrou, признаюсь, я не читал, по-гишпански не знаю, а от Жандра в восхищении; кончена ли вся трагедия?

Что сказать тебе о себе, о своих занятиях? Стихи покамест я бросил и пишу свои mémoires****, то есть переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь; 4 песни «Онегина» у меня готовы, и еще множество отрывков; но мне не до них. Радуюсь, что 1-я песнь тебе по нраву — я сам ее люблю; впрочем, на все мои стихи я гляжу довольно равно-

---

* Настоящий стих Горация в его оде к Постуму (книга II, ода XIV) таков:

Heu heu fugaces, Postume, Postume,
Labuntur anni.
(Увы, Постум, утекают бегущие годы.)

** В альманахе «Русская Талия», изд. г. Булгарина (1825), где было помещено несколько явлений 3-го действия «Андромахи» г. Катенина.

*** В том же альманахе г. Булгарина было напечатано несколько сцен из трагедии «Венцеслав», соч. Ротру, переделанной А. А. Жандром.

**** записки (*франц.*). — *Ред.*

душно, как на старые проказы с К⟨авериным?⟩, с театральным маиором[34] и проч.: больше не буду! — Addio, Poëta, a rivederla, ma quando?..»* На адресе штемпель: Опочка 1825, сентября 14.

2) «Письмо твое обрадовало меня по многим причинам: 1) что оно писано из П⟨етер⟩б⟨урга⟩, 2) что «Андромаха» наконец отдана на театр, 3) что ты собираешься издать свои стихотворения, 4) (и что должно было бы стоять первым) что ты любишь меня по-старому... Как бы хорошо было, если нынешней зимой я был свидетелем и участником твоего торжества! Участником — ибо твой успех не может быть для меня чуждым. Мне, право, совестно, что тебе так много наговорили о моих «Цыганах». Это годится для публики, но тебе надеюсь я представить что-нибудь более достойное твоего внимания. — «Онегин» мне надоел и спит; впрочем, я его не бросил. Радуюсь успехам Каратыгина и поздравляю его с твоим одобрением. Признаюсь — мочи нет хочется к вам. Прощай, милый и почтенный, — вспомни меня во время первого представления «Андромахи». 4 декабря».

Гораздо яснее и решительнее высказывает Пушкин свои чувства в третьем прилагаемом здесь письме.

3) «Отвечаю тебе по порядку. Стихи о Колосовой[35] были написаны в письме, которое до тебя не дошло. Я не выставил полного твоего имени, потому что с Катениным говорить стихами только о ссоре моей с актрисою показалось бы немного странным.

Будущий альманах** радует меня несказанно, если разбудит он тебя для поэзии. Душа просит твоих стихов; но знаешь ли что? Вместо альманаха, не затеять ли нам журнала вроде «Edinburgh Review»?*** Голос истинной критики необходим у нас; кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение, и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покамест, кроме тебя, нет у нас критика. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли. Если б согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принес бы ты русской словесности: как думаешь? Да что «Андромаха» и собрание твоих стихов?»[37]

Нельзя пропустить в этом перечете людей, окружавших Пушкина, друга его — Дельвига. Дельвиг был истинный поэт, но поэт в душе, лишенный способности воспроизведения своих созданий. От него чрезвычайно много ожидали и, как

---

* Прощай, поэт, до свиданья, но когда *(итал.)*. — *Ред.*

** «Невский альманах» г. Аладьина, в судьбе которого П. А. Катенин принимал участие[36].

*** «Эдинбургское обозрение» *(англ.)*. — *Ред.*

кажется, особенно за способность развивать планы новых произведений и вообще придумывать содержание поэм. Строгость идеи, глубина чувства, значение лиц и происшествий в его неосуществленных фантазиях были таковы, что раз В. А. Жуковский при рассказе об одной из замышляемых им поэм сказал, обнимая будущего ее творца: «Берегите это сокровище в себе до дня его рождения», — но день рождения не наступил. Известно, что Пушкин с негодованием говорил о невнимании, с каким встретила публика произведения вдохновенного юноши Дельвига, между тем как стихи одного из его товарищей, имевшие, может быть, одно достоинство — гладкость, замечает Пушкин, принимались как некое диво[38]. С юга России он умолял Дельвига написать поэму и говорил: «Поэма мрачная, богатырская, сильная, байроническая — твой истинный удел»[39]. Таков был первый взгляд Пушкина на характер поэзии, доступный его лицейскому товарищу, с которым он делил еще на ученической скамье свои авторские тайны и стремления. Впоследствии взгляд Пушкина на поэтическую способность Дельвига значительно изменился, что можно видеть из следующего отрывка: «Идиллии Дельвига, — писал Пушкин уже спустя несколько лет после смерти его[40], — для меня удивительны: какую силу воображения должно иметь, дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век, и какое необыкновенное *чутье* изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы; эту роскошь, эту негу, эту прелесть, более отрицательную, чем положительную, которая не допускает ничего напряженного в чувствах, тонкого, запутанного в мыслях, лишнего, неестественного в описаниях». В постоянных разговорах с Дельвигом об искусстве и в обществе его Александр Сергеевич достиг замечательного 1819 года.

1819 год весьма важен в биографии и жизни Пушкина. Можно считать его эпохою появления настоящей пушкинской поэзии, проблески которой старались мы уловить и прежде. В этот замечательный год обнаруживается впервые настоящая манера поэта, и сам он, видимо, сознает качества своего таланта. 1819 год открывается стихотворением «Увы! зачем она блистает...»[41], где глубокое чувство облечено в такое простое, трогательное и вместе мелодическое выражение, что пьеса может назваться родоначальником всех последующих лирических песен его в этом роде. Тогда же начинает сильно выказываться другое замечательное качество Пушкина — разнообразие его впечатлений, беспрестанная деятельность, так сказать, вдохновения, порождаемого самыми противоположными предметами. Стихотворения «Уединение», «Домовому» рядом с упомянутой элегией доказывают это как нельзя лучше. Наконец, в конце года, является и

задушевная исповедь Пушкина — это драгоценное достояние русской поэзии, доказывающее одинаково и силу его гения, и глубину его сердца. Задушевной исповедью он и замыкается:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит,
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

* * *

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

* * *

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней[42].

ГЛАВА IV

«Руслан и Людмила». 1820 г.: «Руслан и Людмила». — Анекдот о заклеенной бумажке. — Появление «Руслана» в 1820 г. — Публика, писатели старой школы, И. И. Дмитриев, русская сказка, Каченовский. — Тайная насмешка поэта над чопорностию прежних русских песен и рассказов и над холодной эпической торжественностью. — Поклонники Пушкина. — Отношение «Руслана» к поэме Ариоста. — Холодность поэмы и тщательность обделки. — Вопросы Зыкова. — Критика на «Руслана и Людмилу» в «Сыне Отечества» (1820, часть LXIV). — Эпиграмма Крылова, рецензия в «Невском зрителе» (1820 г., часть 3). — Прием в публике. — Значение Пушкина как воспитателя изящного чувства и вкуса в народе.

В 1819 году кончена была и поэма «Руслан и Людмила», напечатанная только в следующем, 1820 году, но она принадлежит еще к первому отделу поэтической деятельности Пушкина. Задуманная на скамьях лицея, продолжаемая в летние его поездки в село Михайловское, она совершенно была окончена только на Кавказе, откуда (1820 г.) прислан был известный ее эпилог[1]. По мере того как она создавалась, ее обсуживали, как мы видели, голосами известных литераторов на вечерах Жуковского, и она составляла, вместе с другими предметами, содержание долгих бесед Пушкина с Дельвигом и друзьями. Пушкин жил в это время с семейством своим на Фонтанке у Калинкина моста, в доме бывшем Клокачева, и часто провожал Дельвига на квартиру его от себя и от Жуковского, ко Владимирской, толкуя обо всем, что читали и говорили у последнего. Считаем обязанностию сохранить один анекдот, показывающий его уважение к певцу «Людмилы»[2]. В. А. Жуковский часто вместо переписки стиха,

которым был недоволен, заклеивал его бумажкой с другим, новым. Раз на вечере у Д. Н. Б⟨лудова⟩ один из чтецов нового произведения Жуковского, вероятно недовольный переменой, сорвал такую бумажку и бросил на пол. Пушкин тотчас же поднял ее и спрятал в карман, сказав весьма важно: «Нам не мешает подбирать то, что бросает Жуковский».

Появление «Руслана и Людмилы» встречено было с восторгом публикой и с недоумением теми людьми, которые видели в ней унижение поэзии и вообще достоинства литературы, в чем упрекали, как известно, и преобразования Н. М. Карамзина, совершенные им несколько лет назад в русском языке и в русской словесности. К числу недовольных принадлежал и Дмитриев, питавший, впрочем, несомненное уважение к таланту Пушкина. Дело шло, собственно, о русской сказке как о предмете для эпопеи. Теперь всякому ясно, что поэма «Руслан и Людмила» весьма далеко отстоит — по духу, выражению и облику самих героев — от народной сказки; но тогда разница не вполне понималась и подала повод к весьма любопытным спорам.

Когда появился в «Сыне отечества» 1820 года (№№ XV и XVI) первый отрывок из «Руслана и Людмилы», «Вестник Европы» сделался эхом ужаса, возбужденного в некоторых людях этим вводом сказочного русского мира в область поэзии: «Обратите ваше внимание на новый ужасный предмет, — говорил он, — возникающий посреди океана российской словесности... Наши поэты начинают пародировать Киршу Данилова... Просвещенным людям предлагают поэму, писанную в подражание „Еруслану Лазаревичу"» Критик «Вестника Европы» еще допускает собирание русских сказок, как собирают и «безобразные старые монеты», но уважения к ним не понимает. Выписав сцену Руслана с головой, критик восклицает: «Но увольте меня от подробного описания и позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал зычным голосом: «Здорово, ребята!», неужели бы стали таким проказником любоваться?.. Зачем допускать, чтоб плоские шутки старины снова появлялись между нами?» («Вестник Европы», 1820 г., № XI)[3].

Вопрос о народной поэзии был поставлен очень резко, как видим. Журнал, поднявший его, имел явные и тайные симпатии даже и таких людей, которым знакомы были итальянские и немецкие волшебные поэмы, но которым фантастический мир русских народных сказаний казался диким и неблагородным.

В «Руслане и Людмиле» заключалось и другое зерно вражды, именно тайная насмешка поэмы над чопорностию прежних так называемых русских песен и рассказов из народной

жизни. Холодная эпическая торжественность не была и в то время редкостию, но она имела соперницу в элегической и несколько жеманной подделке сказочных лиц и простонародных песен. Ничего подобного не было в поэме «Руслан и Людмила». Она отличалась беспрестанными отступлениями, неожиданными обращениями к разным посторонним предметам, свободным течением рассказа и насмешливостию. Сам автор как будто шутит над сказочными мотивами, которые употребляет в дело, над собственными приемами и образами. При некотором внимании легко можно заметить сатирическое направление поэмы, которое вышло раз наружу само собой и весьма ярко — именно в 4 главе, где помещена пародия на «Двенадцать спящих дев» Жуковского. Все это вместе взятое казалось многим не только дерзким нововведением, но почти разрывом со всеми преданиями искусства.

Поклонники Пушкина особенно были затронуты последним обвинением. Им нельзя было оставить первое произведение любимого поэта бобылем в русской словесности. Они постарались приискать ему знаменитых предков у себя и на стороне: «Душеньку» Богдановича, «Оберона» Виланда, «Неистового Орландо» Ариоста[4]. Мнение о сходстве «Руслана и Людмилы» с «Неистовым Орландом» особенно долго держалось, хотя и оно столь же мало может устоять при поверке, как и предполагаемое сходство поэмы с русскими сказками. Внешней своей формой, оставлением героев своих посреди действия и возвращением к ним после долгого обхода, «Руслан» приближается к манере феррарского поэта, но в нем нет и признака той долгой, постоянной страсти, перемешанной с иронией, какими отличается «Орланд». В русской поэме все молодо, свежо, исполнено порывов чувства, а не страсти, игривой насмешливости, а не иронии. Это был, по нашему мнению, последний блестящий метеор того же французского влияния, под которым Пушкин находился так долго.

Пушкин удивлялся впоследствии, что не заметили *холодности* его поэмы[5], но этому была весьма основательная причина: прелесть картин, свежесть всех молодых ощущений отводили глаза и мешали видеть, что за всем этим нет истинного чувства. Необычайно тщательная отделка лишила ее, может быть, и последних его проблесков. Отделка эта высказалась еще строже во втором издании 1828 года, с которого печатались все последующие; там было пропущено и переделано более 12 мест, но зато присоединено было вступление, которое по сказочному духу и народным краскам превосходит всю поэму. Благодаря такому упорному труду стих поэмы сохраняет постоянно хрустальную прозрачность и плавность изумительную, но лишен точности, поэтического лаконизма и долго извивается вокруг предмета грациозными кругами, прежде чем успеет охватить его со всех сторон.

Все это могли мы заметить благодаря самому Пушкину, научившему нас понимать своими последующими произведениями настоящее достоинство и стиха, и создания. Позднее Пушкин заметил еще, что кроме «Вестника Европы» и *весьма дельных вопросов, изобличающих слабость создания поэмы*[6], поэма «Руслан и Людмила» принята была благосклонно. Эти вопросы, напечатанные в «Сыне отечества» (1820, часть LXIV), принадлежали перу одного молодого человека, дилетанта в нашей литературе, рано похищенного смертию*. Они составляют род лаконического допроса, где истинно дельное перемешивается иногда с весьма капризными и произвольными требованиями, как это можно видеть из начала их, здесь приводимого:

«Зачем Финн дожидался Руслана?

Зачем рассказывает Руслану свою историю, и как может Руслан в таком несчастном положении с жадностию *«внимать рассказы»* (или по-русски рассказам) старца?

Зачем Руслан присвистывает, отправляясь в путь: показывает ли это огорченного человека? Зачем Фарлаф с своей трусостью поехал искать Людмилы? Нам скажут: затем, чтоб упасть в грязный ров: et puis on en rit et cela fait toujours plaisir...»** и проч.

Младенческое состояние тогдашней критики особенно проявилось в разборе поэмы при выходе ее вполне («Сын отечества», часть LXIV, 1820 года), подписанном буквою В[9]. Уже с этой ранней эпохи все рецензии на Пушкина были ниже его, и он имел полное право говорить впоследствии, что ничему от них не выучился. Верное эстетическое чувство в оценке его произведений явилось незадолго до его смерти и было им же воспитано и приготовлено. Рецензент «Сына

---

* Гвардейскому офицеру Дм. Петр. Зыкову, умершему 30 лет от роду, по указанию П. А. Катенина.

Вот как описывает он молодого автора. «Сочинителя статьи открыл я несколько недель спустя в Дм. Петр. Зыкове. Этот умный молодой человек, страстный к учению, несмотря на военного ремесла заботы, успел ознакомиться почти со всеми древними и новыми европейскими языками, известными по изящным произведениям. Он был не только скромен, но даже стыдлив и, не доверяя еще себе, таил свои занятия от всех. Ранняя смерть на 30 году не позволила ему сотворить имя свое общеизвестным и уничтожила надежды его приятелей». Любопытно, однако ж, что Пушкин приписал «Вопросы» Катенину и при первом свидании с ним в театре сказал: «Критика твоя немножно колется, но так умна и мила, что за нее не только нельзя сердиться, но даже...» П⟨авел⟩ А⟨лександрович⟩ перебил его, отказываясь от незаслуженной чести, и даже устроил очную ставку с первым распускателем ложного слуха[7], но, кажется, это не помогло. Пушкин притворился, что верит отречению, но через год писал опять из Кишинева к брату своему, остававшемуся тогда в Петербурге: «Что делает Катенин? Он ли задавал Воейкову вопросы в «Сыне отечества» прошлого года? Кто на ны?»[8]

** и потом над этим смеются, и это всем доставляет удовольствие *(франц.)*. — *Ред.*

отечества» рассказывает содержание поэмы собственною своей прозой, определяет характеры героев общими чертами, вроде следующих: «Руслан великодушен, храбр, чувствителен, ретив, ...но вспыльчив и нетерпелив. Он напоминает Ахиллеса... Людмила веселонравна, резва, верна любви своей, нежна и сильна душа ее, непорочно сердце...» и проч., пересчитывает описательные места и шуточные стихи, прибавляя: *«Ныне сей род поэзии называется романтическим».* Не забыт, разумеется, и упрек в излишней вольности фантазии, который сделался потом избитым орудием литературного спора. Критик заключает свою статью, по обыкновению, разбором выражений, находит непонятным между прочим «могильный голос» («Не голос ли это какого-нибудь неизвестного нам музыкального орудия?» — говорит он) и останавливается с изумлением перед выражением «немой мрак». «Смело до непонятности, — замечает он, — и если допустить сие выражение, то можно будет напечатать: говорящий мрак, болтающий мрак, болтун мрак...» и проч.

И. А. Крылов, часто умалчивавший о странностях в людях и в обществе, но всегда понимавший их, написал эпиграмму, ходившую тогда по рукам:

Напрасно говорят, что критика легка.
Я критику читал «Руслана и Людмилы»:
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно как тяжка!*

Восторг публики и особенно той части ее, которая увлеклась нежными или роскошными описаниями, заключающимися в поэме, должен был с избытком вознаградить автора за несколько придирчивых замечаний. Публика готова была всюду следовать за певцом своим по этой легкой и цветистой дороге; но поэт, которому суждено было сделаться воспитателем эстетического чувства в нашем отечестве, вскоре избрал другой путь. Можно сказать без преувеличения, что учитель изящного, данный в нем публике, был не ниже своих обязанностей. Его неистощимая сила, разнообразие его таланта, овладевшего образами как своей народной, так и чужестранной поэзии с одинаковой мощью, наконец, истина и глубина чувства давали призванию его вид законности, которую

---

* Эпиграмма эта, вместе с другой[10], тогда же была напечатана в «Сыне отечества», 1820, № XXXVIII. Кстати о журнальных толках. Прилагаем еще первые строки рецензии на поэму, какие находим в журнале «Невский зритель» 1820 г. (часть третья, июль). Они особенно замечательны тем, что составляют отголосок мнения даже друзей Пушкина[11]. (Известно, что в числе редакторов журнала были многие короткие приятели поэта): «Чрезвычайная легкость и плавность стихов, отменная версификация составляли бы существенное достоинство сего произведения, если бы пиитические красоты, в нем заключающиеся, не были перемешаны с низкими сравнениями, *безобразным* волшебством, сладострастными картинами и такими выражениями, которые оскорбляют хороший вкус».

тщетно хотели оспорить его противники. Заслуги Пушкина как воспитателя художественного чувства в обществе еще не оценены вполне, но с этой точки зрения литературное его поприще приобретает особенную важность.

ГЛАВА V

Екатеринославль, Кавказ, Крым. 1820 г.: Поводы к удалению Пушкина из С.-Петербурга в 1820 г. — Пушкин в Екатеринославле, болезнь, Инзов, Раевский. — Записка доктора Рудыковского о встрече с Пушкиным. — Отъезд на Кавказские воды, эпилог к «Руслану». — Пушкин выбривает голову и носит оригинальный костюм. — Строфа из «Онегина» о наряде: «Носил он русскую рубашку...». — О Кавказе из «Путешествия в Арзрум». — Обратный путь с Кавказа, Кубань, Тамань, Крым. — Важный переворот в нравственном состоянии. — Стихотворение «Погасло дневное светило...». — Антологические стихотворения как следы сближения с А. Шенье. — Керчь, письмо к Дельвигу о южном береге. — Пребывание на южном берегу, подробное изложение всего путешествия на юг в письме Пушкина к брату из Кишинева от 24 сентября 1820 г. — Черта личного характера.

Одно событие в жизни, удалившее Пушкина из Петербурга на другой конец империи, ускорило развитие его как поэта. В промежуток времени с 1820 по 1826 год, проведенный им сперва в Кишиневе, потом в Одессе и наконец в псковской своей деревне, он понял как важность своего призвания, так и размеры собственного таланта. В это время положено было основание многим произведениям творческого его гения, которые и доселе еще не оценены вполне отечественной нашей критикой. Поводом к удалению Пушкина из Петербурга были его собственная неосмотрительность, заносчивость в мнениях и поступках, которые вовсе не лежали в сущности его характера, но привились к нему по легкомыслию молодости и потому, что проходили тогда почти без осуждения[1]. Этот недостаток общества, нам уже, к счастию, неизвестный, должен был проявиться сильнее в натуре восприимчивой и пламенной, какова была Пушкина. Не раз переступал он черту, у которой остановился бы всякий более рассудительный человек, и скоро дошел до края той пропасти, в которую бы упал непременно, если б его не удержали снисходительность и попечительность самого начальства. Говорят, что наказание, ожидавшее Пушкина за грехи его молодости, было смягчено ходатайством и порукой Н. М. Карамзина. Пушкин был переведен на службу из министерства иностранных дел в канцелярию главного попечителя колонистов Южного края генерал-лейтенанта Ивана Никитича Инзова, благороднейшего старца, прямодушие, честность и доброта которого остались в памяти всех его знавших. 5-го мая 1820 года Пушкин получил из места своего прежнего служения

вид для свободного проезда к новой должности и отправился вслед за сим. Попечительный комитет о колонистах Южного края России находился тогда в Екатеринославле[2]. Почти в одно время с прибытием Пушкина генерал Инзов назначен был исправляющим должность полномочного наместника Бессарабской области, причем и самый комитет о колонистах переведен в Кишинев — главный город области. Генерал Инзов говорил, что и новое назначение, и вновь определенный чиновник равно озаботили его и заставили не раз призадуматься о своих обязанностях.

Вскоре после приезда в Екатеринославль Пушкин заболел лихорадкой, может быть предшественницей той болезни, которая уже посетила его раз в Петербурге, за два года пред тем, но тогда он лежал в недуге окруженный своим семейством и даже утешаемый шалостями своих друзей вместе с их заботами (см. стихотворение «Выздоровление»); теперь было совсем другое дело. Оставшись единственно на попечении своего начальника, занятого делами службы, отнимавшими все его время, и лишенный, по условиям самого края, хороших медицинских пособий, Пушкин боролся с недугом почти одинокий. К счастию, в то же время проезжал через Екатеринославль по дороге к Кавказу генерал Р⟨аевский⟩, один из героев 12-го года, с двумя сыновьями своими и принял больного на свое попечение. Крепкая организация Пушкина быстро возвращала утерянные силы, как только ослабляли влияние на нее душевной или телесной болезни*. Он вскоре

---

* Выписываем здесь из журнала «Русский вестник» (1841, № 1-й) любопытную статью доктора Рудыковского, встретившего Пушкина в Екатеринославле.

«Встреча с Пушкиным.
(Из записок медика)

Оставив Киев 19 мая 1820 года, я, в качестве доктора, отправился с генералом Р⟨аевским⟩ на Кавказ. С ним ехали две дочери и два сына, один — полковник гвардии, другой — капитан. Едва я, по приезде в Екатеринославль, расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала[3]: «Доктор! Я нашел здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь — поспешите со мною!»

Нечего делать — пошли. Приходим в гадкую избенку, и там, на дощатом диване, сидит молодой человек — небритый, бледный и худой.

— Вы нездоровы? — спросил я незнакомца.

— Да, доктор, немножко пошалил, купался: кажется, простудился.

Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе пред ним лежала бумага.

— Чем вы тут занимаетесь?

— Пишу стихи.

«Нашел, — думал я, — и время, и место». Посоветовавши ему на ночь напиться чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня.

Мы остановились в доме губернатора К⟨арагеорги⟩. Поутру гляжу — больной уж у нас: говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Р⟨аевским⟩ по-французски.

После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма.

мог следовать за генералом Раевским на Кавказские минеральные воды, на что, по ходатайству последнего, согласился и начальник Пушкина. Семейство Р⟨аевского⟩ избрало путь чрез Землю донских казаков, и благодаря деятельной жизни, дружбе и нравственному довольству, с ней неразлучному, Пушкин быстро поправился. В июне того же года он послал в Петербург известный эпилог «Руслана и Людмилы»*; единственным признаком тяжелой болезни поэта осталась только бритая голова. Он долго ходил потом в молдаванской феске или красной ермолке, что, между прочим, позд-

---

Пишу рецепт.

— Доктор, дайте что-нибудь получше, — дряни в рот не возьму.

Что будешь делать? Прописал слабую микстуру. На рецепте нужно написать кому. Спрашиваю: «Пушкин». Фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу как самого простого смертного и на другой день закатил ему хины. Пушкин морщится. Мы поехали далее. На Дону мы обедали у атамана Денисова. Пушкин меня не послушался: покушал бланманже[4] и снова заболел.

— Доктор, помогите!

— Пушкин, слушайтесь!

— Буду, буду!

Опять микстура, опять пароксизмы и гримасы.

— Не ходите, не ездите без шинели.

— Жарко, мочи нет.

— Лучше жарко, чем лихорадка.

— Нет, лучше уж лихорадка.

Опять сильные пароксизмы.

— Доктор, я болен.

— Потому что упрямы. Слушайтесь!

— Буду, буду!

И Пушкин выздоровел. В Горячеводск мы приехали все здоровы и веселы. По прибытии генерала в город тамошний комендант к нему явился и вскоре прислал книгу, в которую вписывались имена посетителей вод. Все читали, любопытствовали. После нужно было книгу возвратить и вместе с тем послать список свиты генерала. За исполнение этого взялся Пушкин. Я видел, как он, сидя на куче бревен на дворе, с хохотом что-то писал, но ничего и не подозревал. Книгу и список отослали к коменданту.

На другой день, во всей форме, отправляюсь к доктору Ц..., который был при минеральных водах.

— Вы лейб-медик? приехали с генералом ⟨Раевским⟩?

— Последнее справедливо, но я не лейб-медик.

— Как не лейб-медик? Вы так записаны в книге коменданта; бегите к нему, из этого могут выйти дурные последствия.

Бегу к коменданту, спрашиваю книгу, смотрю: там в свите генерала вписаны — две его дочери, два сына, лейб-медик Рудыковский и недоросль Пушкин.

Насилу убедил я коменданта все это исправить, доказывая, что я не лейб-медик и что Пушкин не недоросль, а титулярный советник, выпущенный с этим чином из Царскосельского лицея. Генерал порядочно пожурил Пушкина за эту шутку. Пушкин немного на меня подулся, а вскоре мы расстались. Возвратясь в Киев, я прочитал «Руслана и Людмилу» и охотно простил Пушкину его шалость.

Рудыковский».

* Эпилог «Руслана» вместе с добавлениями к шестой его песни напечатаны в «Сыне отечества» 1820 года, № XXXVIII. Первый после имени Пушкина имел еще пометку: «26-го июня 1820. Кавказ».

нее, в Кишиневе, принято было за уловку суетного желания казаться оригинальным и поставилось ему в упрек, подобно тому как и Онегин не избег осуждения за свой наряд. Вот одна неизданная строфа романа:

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский нараспашку
И шапку с белым козырьком;
Но только сим убором чудным,
Безнравственным и безрассудным,
Была весьма огорчена
Его соседка Дурина,
А с ней Мизинчиков. Евгений,
Быть может, толки презирал,
Быть может, и про них не знал;
Но всех своих обыкновений
Не изменил в угоду им,
За то был ближним нестерпим.

Кавказ поразил пламенное воображение Пушкина. Вот что писал он 9 лет спустя, при вторичном посещении Георгиевска и Горячих вод:

«В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте: это снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска заехал я на Горячие воды. Здесь я нашел большую перемену. В мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекались с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома...

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд; я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Р⟨аевский⟩, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...»[5]

С Кавказских вод Пушкин отправился Землею черноморских казаков в Крым. Он ехал по Кубани, обок с воинственными и всегда опасными племенами черкесов. Устьлабинская крепость, станица черноморцев Екатеринодар[6] были наполнены свежими воспоминаниями их набегов и геройских подвигов казаков. Путешественников наших во многих ме-

стах сопровождал конвой с заряженной пушкой, и Пушкин радовался военной обстановке своего вояжа, любовался казаками, шумом и говором, сопровождавшим переезд его. Поэма, связанная с Кавказом и бытом его обитателей, уже тогда представлялась его воображению, но он кончил ее только в феврале следующего 1821 года и уже в Киевской губернии, как увидим после. Он успевал только наслаждаться приливом новых, доселе неизвестных ему чувств. В Тамани он увидел впервые южное море, а вскоре и роскошные берега Крыма, о которых так часто и в таких чудных стихах вспоминал потом. Разница между обычными впечатлениями городской жизни и впечатлениями пребывания на Кавказе и самого путешествия была неизмерима. Вседневные удовольствия столицы не имели ничего общего со всем этим движением, с разнообразием картин, встречаемых на каждом шагу, с трудами дня, крепящими тело, и отдыхами, еще исполненными поэтических впечатлений. С изменением природы и внешней обстановки изменилось в нем и течение мыслей. Сам Пушкин оставил нам драгоценную заметку о внутреннем своем перевороте в стихотворении «Погасло дневное светило...», которым он приветствовал Черное море. Пьеса эта, написанная в сентябре 1820 года, названа была им впоследствии «Подражание Байрону»*.

Холодные, хотя и блестящие, образы обычных спутниц всякой молодости, которыми занималась муза Пушкина до 1819 года, теперь совсем пропадают, и место их заступают образы антологических его стихотворений, полные жизни и чувства. Нельзя не согласиться, что большая часть их навеяна чтением Андрея Шенье, но есть между обоими поэтами и существенная разница. Пушкин сокращает представления Шенье, когда берет его за образец, и дает своим переделкам меру и изящество, не всегда сохраняемые подлинником. Качества эти еще сильнее выступают в собственных его созданиях, и тогда к аттической грации очертаний присоединяется у него тонкий психологический анализ. Таковы стихотворения «Нереида», «Дорида», «Дориде» и проч., написанные в это время[7]. Мы имеем полное право сказать, что красота формы, гармония внешних линий были первым навеянием классической Тавриды, первым ее подарком поэту-странствователю.

Переехав пролив, Пушкин очутился в Керчи. Известно его письмо, заключающее в себе беглое описание путешествия по южному берегу Крыма[8]. Оно помещено теперь в примечаниях к «Бахчисарайскому фонтану», но прежде напеча-

---

* В тетради, с которой печатались «Стихотворения» 1826 ⟨года⟩ и о которой мы уже говорили, пьеса названа была просто «Черное море». Пушкин зачеркнул заглавие и написал вместо него «Подражание Байрону».

тано было отдельно в «Северных цветах» на 1826 ⟨год⟩ под заглавием «Отрывок из письма А. С. Пушкина к Д*». Письмо было вызвано появлением в 1823 году новой книги*, но начало его, по желанию самого Пушкина, не попало в печать. Прилагаем его здесь вместе с разбором самого документа, который может подать повод к любопытным соображениям.

«Путешествие по Тавриде» прочел я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время, как и И. М.**. Очень сожалею, что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для поверки оных потребны обширные сведения самого автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? Различие наших впечатлений — посуди сам».

Затем Пушкин излагает довольно равнодушно впечатления, доставленные ему видом Митридатовой гробницы, где он сорвал цветок и потерял его без всякого сожаления на другой день; упоминает о развалинах Пантикапеи[9] как о груде кирпичей со следами улиц и бывшего рва. Из Феодосии он ехал морем до Юрзуфа, бедной татарской деревни. Картина ночного моря не дала ему спать до рассвета. На Чатыр-Даг, показываемый ему капитаном, он взглянул равнодушно; но когда, проснувшись под самым Юрзуфом, увидел берег с его зеленью, тополями, разноцветными его горами, огромным Аю-Дагом[10], — равнодушие поэта пропало, и несколько жарких строк письма оканчивают параграф, начатый совсем в другом тоне.

В Юрзуфе он объедался виноградом; ухаживал с любовью за кипарисом, который рос в двух шагах от его дома; прислушивался к шуму моря по целым часам, и все это, прибавляет он, с равнодушием и беспечностью неаполитанского lazzaroni***.

Но есть другое письмо Пушкина, которое излагает впечатления тогдашней жизни живее и, может быть, откровеннее.

«Корабль плыл, — говорит Пушкин, — перед горами, покрытыми тополями, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа, где находилось семейство Р⟨аевских⟩. Там прожил я три недели. Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства Р⟨аевского⟩. Я не видел в нем героя, славу русского войска; я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков,

---

* Путешествие по Тавриде в 1820 г., соч. Муравьева-Апостола. 1823 г. СПб.

** Иван Матвеевич Муравьев.

*** нищего *(итал.)*. — *Ред.*

с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества... Суди, был я счастлив? Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, которую я так люблю и которою никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море... Друг мой! Любимая моя мечта — увидеть опять полуденный берег и семейство Р⟨аевского⟩»*.

---

* Материалы наши для биографии Пушкина были уже окончательно составлены, когда мы получили это письмо Пушкина вполне. Из него оказывается, что оно писано было к Льву Сергеевичу Пушкину из Кишинева, от 24 сентября 1820 года. Так как вместе с тем оно содержит автобиографическое подтверждение всего сказанного нами о пребывании поэта на Кавказе и в Крыму, то и прилагаем его целиком:

«Милый брат, я виноват перед твоею дружбою. Постараюсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами. Начинаю с яиц Леды. Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал покататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные), сын его предложил мне путешествие к кавказским водам; лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить; Инзов благословил меня на счастливый путь; я лег в коляску больной, чрез неделю вылечился. Два месяца жил я на Кавказе; воды были мне очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие; впрочем, купался в теплых кислосерных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в далеком расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Дикие черкесы напуганы, древняя дерзость их исчезает; дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не приносившая никакой пользы России, скоро сблизит нас с персианами безопасною торговлею. Видел я берега Кубани и сторожевые станицы; любовался нашими казаками. За нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала... Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению. Когда-нибудь прочту тебе мои замечания об черноморских и донских казаках; теперь тебе не скажу об них ни слова. С полуострова Тамани, древнего Тмутараканского княжества открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я. На ближней горе, посреди кладбища, увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дела рук человеческих. Гроб ли это, древние ли основания башни — не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею,— вот все, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками. Какой-то француз приехал для разысканий, но ему недостает ни денег, ни сведений. Из Керчи приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почетного по непорочной

Как превосходно отразилась в этом задушевном письме натура Пушкина, всегда жаждавшая привязанности и наслаждений дружбы! Но будем следить далее за напечатанным письмом. От Юрзуфа Пушкин начинает объезд южного берега Крыма и передает его подробности в том же полуравнодушном — полудовольном духе. Переход по скалам Кикениса оставил в нем только забавное воспоминание о подъеме на гору, причем путешественники держались за хвосты татарских лошадей. Георгиевский монастырь с его крутой лестницей к морю произвел в нем, однако же, сильное впечатление, а баснословные развалины храма Дианы переродили его даже в слепого почитателя народных преданий. Они вызвали известные стихи:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья[14], *и проч.*

«Видно, — замечает Пушкин, — мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических»[15]. Бахчисарай был особенно несчастлив. Пушкин прибыл туда опять больной лихорадкой и едва посмотрел на ржавую

службе и по бедности. Он, подобно старику Виргилию, разводит сад на берегу моря, недалеко от города: виноград и миндаль составляют его доход. Он имеет большие сведения о Крыме, стране важной и запущенной. Отсюда отправились мы морем, мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию, которую тебе присылаю[11]; отошли ее к Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисом; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа; там прожил я три недели, мой друг. Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен[12]. Все его дочери — прелесть; старшая — женщина необыкновенная[13]. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море! Друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. Будешь ли ты со мной? Скоро ли соединимся? Теперь я один в пустынной для меня Молдавии. По крайней мере, пиши ко мне. Благодарю тебя за стихи, более благодарил бы за прозу. Ради бога, почитай поэзию доброй, умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтанием и сказками, но влюбиться в нее — безрассудно...

Прости, мой друг, обнимаю тебя. Уведомь меня об наших; все ли они еще в деревне. Мне деньги нужны, нужны! Прости. Обними же за меня К⟨юхельбекера⟩ и Дельвига. Видишь ли ты иногда молодого Молчанова? Пиши же мне обо всей братии».

Элегия, написанная Пушкиным на корабле, есть, по всем вероятиям, стихотворение «Погасло дневное светило...», о котором уже упоминали.

трубку знаменитого фонтана, из которой капала вода. В развалины гарема и на Ханское кладбище его повели уже почти насильно, но вскоре после этого осмотра он написал увлекательное стихотворение, где те же предметы являются совсем в другом свете:

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы![16] *и проч.*

Окончание письма[17], не попавшее в печать, как и начало его, по требованию — как мы уже сказали — самого Пушкина, содержит в себе неожиданное опровержение всех предшествующих уверений в равнодушии. Вот оно:

«Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные с таким равнодушием? Или воспоминание — самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему... и проч.?»

Таким образом, Пушкин высказывается здесь со всем жаром своей души, со всею своею впечатлительностию и вместе с какой-то осторожностью в передаче чувства. Он вообще любил закрывать себя и мысль свою шуткой или таким оборотом речи, который еще оставляет возможность сомнения для слушателей: вот почему весьма мало людей знали Пушкина, что называется, лицом к лицу.

ГЛАВА VI

Кишинев, поездки, «Кавказский пленник», отдельные стихотворения. 1820—1823 г.: Кишинев. — Поездка в Киев на свадьбу М. Ф. Орлова, пребывание в деревне Давыдовых, Каменке, где в феврале 1821 кончен «Кавказский пленник». — В мае 1821 Пушкин в Одессе. — Доходы Пушкина от поэм, анекдот о Гнедиче. — Стихотворение «Друг Дельвиг, мой парнасский брат...» и письмо к Дельвигу. — Пушкин основывается в Кишиневе. — О переписке Пушкина с друзьями. — Картина Кишинева. — Временные отлучки Пушкина из Кишинева, история происхождения стихотворений «Кто знает край...», «Под небом голубым...», «О, если правда, что в ночи...», «Для берегов отчизны...». — Стихи «Гречанке» и «Иностранке». — Пушкин в обществе. — Пушкин в литературных отношениях, заботливость его о своих произведениях, «Полярная звезда». — Кишиневская жизнь, Пушкин и Инзов, наклонность к резвой шутке у первого и добродушная строгость последнего. — Напоминовения помнить важность своего призвания. — Письмо неизвестного на французском языке и ответ на него: «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел...». — Мелкие стихотворения, написанные в Кишиневе. — Сильная поэтическая деятельность и возрастающая крепость гения. — Появление стихотворений «К Чадаеву», «Наполеон», «Овидию» и проч. — Поездка в Измаил за цыганским табором и стихотворение «За их ленивыми

толпами...». — Замечания о думах Рылеева. — «Братья разбойники» и первая строфа «Онегина». — Стихотворение «Воспоминаньем упоенный...».

В сентябре месяце 1820 г. Александр Сергеевич является впервые в Кишинев, но в конце того же года мы находим его в Киевской губернии, в деревне одного из своих знакомых, где написана была пьеса «Редеет облаков летучая гряда...», с пометкою «Каменка». Он уже собирал там свои воспоминания и писал поэму «Кавказский пленник», в которой сохранил живые впечатления недавно совершенного им объезда. Начало 1821 года застало его уже в самом Киеве, как свидетельствует стихотворение «Морской берег»[1], под которым выставлено в оригинале: «8 февраля 1821. Киев». Мы знаем, что в это время генерал Р⟨аевский⟩, под покровительством которого состоял Пушкин, праздновал в Киеве семейную свою радость[2]. Пушкин скоро возвращается опять в поименованную нами деревню и 20 февраля кончает там «Кавказского пленника»[3]. Посвящение поэмы Н. Н. Р⟨аевскому⟩[4] и эпилог к ней написаны гораздо позднее (в мае месяце) и уже в Одессе. В 1822 году поэма явилась в печати. Петербургские книгопродавцы предлагали весьма скудную сумму за право издания ее, которое окончательно было приобретено переводчиком «Илиады» Н. И. Гнедичем. Пушкин получил один печатный экземпляр поэмы и 500 руб. ассиг. Он был весьма недоволен таким скудным вознаграждением за поэтический труд свой и долго вспоминал об этом с досадой*. О впечатлении, которое произвела поэма на читающую публику, будем говорить впоследствии.

В начале весны 1821 года Пушкин снова является в Кишинев вместе с одним из высших военных чиновников, М. Ф. О⟨рловым⟩, прибывшим к месту своего служебного назначения в Бессарабию тоже из Киева. Генерал Иван Никитич Инзов принял Пушкина в собственный свой дом, где последний и оставался до 1822 года. Пушкин переехал после того в дом одного из своих друзей, Н. С. Алексеева, и жил там до самого отправления своего в Одессу. Вот что писал Пушкин от 23 марта 1821 года к Дельвигу в Петербург,

---

* «Руслан и Людмила» тоже не принесли автору почти ничего, но второе издание двух первых поэм его уже куплено Смирдиным за 7 тысяч рублей ассигнациями. Кстати будет сообщить здесь анекдот о Н. И. Гнедиче, который был одним из первых и самых жарких поклонников зарождающейся славы Пушкина. По прочтении стихов «Бахчисарайского фонтана»

Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи

будущий переводчик «Илиады», один глаз которого, как известно, был поражен давней болезнию, говорил шутя, что готов за них отдать и последнее свое око.

вскоре после своего новоселья, но уже собираясь опять на временную поездку в Одессу, куда через два месяца и прибыл действительно, как мы видели:

«Друг Дельвиг, мой парнасский брат,
Твоей я прозой был утешен;
Но признаюсь, барон, я грешен:
Стихам я больше был бы рад...
Ты знаешь: я в минувши годы,
У берегов кастальских вод
Любил марать поэмы, оды,
Ревнивый зрел меня народ
На кукольном театре моды;
Поклонник правды и ⟨свободы⟩,
Бывало, что ни напишу,
Все для иных *не Русью пахнет;*
Теперь я, право, чуть дышу,
От воздержанья муза чахнет
И редко, редко с ней грешу.
К молве болтливой я хладею
И из учтивости одной
Доныне волочусь за нею,
Как муж ленивый за женой.
Наскуча муз бесплодной службой,
Другой богиней, тихой дружбой
Я славы заменил кумир.
Но всё люблю, мои поэты,
Фантазии волшебный мир
И, чуждым пламенем согретый,
Внимаю звуки ваших лир...

Жалею, Дельвиг, что до меня дошло только одно из твоих писем, именно то, которое мне доставлено любезным Гнедичем вместе с девственной «Людмилою»[5]. Ты не довольно говоришь о себе и об друзьях наших. О путешествиях К⟨юхельбекера⟩ слышал я уж в Киеве. В твоем отсутствии сердце напоминало о тебе; об твоей музе — журналы. Ты все тот же — талант прекрасный и ленивый. Долго ли тебе шалить; долго ли тебе разменивать свой гений на серебряные четвертаки. Напиши поэму славную, только не четыре части дня и не четыре времени года — напиши своего «Монаха». Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая — твой истинный удел; умертви в себе ветхого человека — не убивай вдохновенного поэта. Что до меня, моя радость, скажу тебе, что кончил я новую поэму «Кавказский пленник», которую надеюсь скоро вам прислать, — ты ею не совсем будешь доволен, и будешь прав. Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы — но что теперь ничего не пишу; я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?

Недавно приехал в Кишинев и скоро оставляю благословенную Бессарабию; есть страны благословеннее. Праздный мир не самое лучшее состояние жизни, даже и Скарментадо,

кажется, не прав*. Самого лучшего состояния нет на свете; но разнообразие спасительно для души.

Друг мой, есть у меня до тебя просьба — узнай, напиши мне, что делается с братом. Ты его любишь, потому что меня любишь. Он человек умный во всем смысле слова, и в нем прекрасная душа. Боюсь за его молодость; боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим: другого воспитания нет для существа, одаренного душою. Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца. В этом найдут выгоду; но я чувствую, что мы будем друзьями и братьями — не только по африканской нашей крови. Прощай».

С этого письма начинается литературная переписка Пушкина с друзьями, оставленными им в Петербурге, продолжавшаяся вплоть до 1826 года — времени появления поэта нашего в Москве. Дельвиг, брат Пушкина Лев Сергеевич, П. А. Плетнев и несколько других лиц были поверенными как его дел, так и его мыслей и суждений об отечественной и иностранных литературах. Из этого источника, насколько он нам доступен, будем мы впоследствии приводить черты наиболее яркие; теперь же скажем, что, судя даже по немногим образцам, какие находятся в руках наших, переписка Пушкина с друзьями своими обнимала почти все почему-либо замечательные явления русской жизни и русской словесности.

Город Кишинев представлял в ту эпоху картину чрезвычайно оживленную. Некоторое время по присоединении к империи Бессарабской области последняя была, по замечанию старожилов, сборищем самых разнородных национальностей, театром удивительного смешения костюмов, языков, нравов и физиономий. Восстание греков наполнило город значительным количеством греческих и молдаванских фамилий, искавших убежища от турок или просто от политических смут своей родины. Присутствие их сообщило сильный восточный оттенок Кишиневу и придало сношениям между туземцами и новыми обладателями страны особенный характер, в котором европейская образованность и чуждые ей привычки смешивались весьма оригинально и живописно. Вместе с тем таможенная и карантинная линии, находившиеся тогда еще по Днестру, не защищали Бессарабию и от искателей приключений всех стран — от выходцев французских и итальянских, и проч. Значительное число офицеров Генерального штаба, людей вообще умных и образованных, занимавшихся съемкою планов новоприобретенной местности, увеличивало интерес общей картины, в которой

---

* См. Вольтера: «Histoire des voyages de Scarmentado». («История путешествий Скарментадо» *(франц.). — Ред.*)

немаловажную часть должен еще занимать штаб 16-й пехотной дивизии, постоянно пребывавший в Кишиневе. Пушкин жил в обществе своих военных соотечественников и, говорят, довольно забавно сердился на их военную прислугу, плохо слушавшую его приказания и обносившую его за обедами. Пестрота, шум, разнообразие тогдашнего Кишинева произвели довольно сильное впечатление на Пушкина: он полюбил город.

Частые отлучки Пушкина из Кишинева еще освежали для него удовольствия полуазиатского и полуевропейского общества. В этих отлучках, а может быть, и в сношениях своих с пестрым и разнохарактерным населением его, Пушкин встретил то загадочное для нас лицо или те загадочные лица, к которым в разные эпохи своей жизни обращал песни, исполненные нежного воспоминания, ослабевшего потом, но сохранившего способность восставать при случае с новой и большей силой. Кто не знает этих чистых созданий его лиры — «Под небом голубым страны своей родной...» (1825)[6], «О, если правда, что в ночи...» (1828)[7], «Для берегов отчизны дальной...» (1830)?* Мы еще возвратимся к ним, а здесь заметим, что от пребывания его в Кишиневе осталось еще воспоминание в двух стихотворениях: «Гречанке» («Ты рождена воспламенять...»)[9] и «Иностранке» («На языке, тебе невнятном...»). О первой Пушкин сберег заметку в записках своих, где назвал ее «прелестной гречанкой»[10]. Иностранка, имя которой тоже не сохранилось у нас на Руси, замечательна еще особенной характеристической подробностью, касающеюся Пушкина. После двухлетнего знакомства она узнала, что Пушкин — поэт, только по стихотворению «На языке, тебе невнятном...», вписанному в ее альбом уже при расставании.

---

* Спешим сказать, что со всеми этими стихотворениями не имеет ничего общего одно стихотворение Пушкина, где тоже говорится о юге Европы, об Италии, и всем ее чудесам противопоставляется вдохновенный образ женщины, любующейся ими. Стихотворение это, начинающееся стихами «Кто знает край, где небо блещет...», написано в 1827 году, а сделалось известно только в 1838-м, уже после смерти автора. В рукописи оно носит двойной эпиграф, в следующем виде: сперва написано Пушкиным «Kennst du das Land...» «Vilh. Meist.»[8] («Ты знаешь ли тот край...» «Вильгельм Мейстер» *(нем.). — Ред.*), вслед за тем прибавлено

«По клюкву, по клюкву,
По ягоду, по клюкву...»

Эпиграф, кажется, объясняется известным в свое время анекдотом: одна молодая русская путешественница после долгого пребывания за границей сказала, что по возвращении на родину весьма обрадовалась *клюкве*. Пушкин намеревался выразить в стихотворении каприз красавицы, но отделал только поэтическую часть пьесы, соответствующую эпиграфу из «В⟨ильгельма⟩ Мейстера», и не приступил даже ко второй ее половине... Пародия, мы увидим, не была в его таланте и часто принимала у него серьезные, вдохновенные звуки, ей несвойственные.

«Что это значит?» — спросила она у Пушкина. «Покажите это за границей любому русскому, и он вам скажет!» — отвечал Пушкин.

Действительно, никто так не боялся, особенно в обществе, своего звания поэта, как Пушкин, о чем мы будем еще говорить подробнее. Он искал в нем успехов совсем другого рода. По меткому выражению одного из самых близких к нему людей, «предметы его увлечения могли меняться, но страсть оставалась при нем, одна и та же»[11]. И он вносил страсть во все свои привязанности и почти во все сношения с людьми. Самый разговор его в спокойном состоянии духа ничем не отличался от разговора всякого образованного человека, но делался блестящим и неудержимым потоком, как только прикасался к какой-нибудь струне его сердца или к мысли, глубоко его занимавшей. Брат Пушкина утверждает, что беседа его в подобных случаях была замечательна почти не менее его поэзии. Особенно перед слушательницами любил он расточать всю гибкость своего ума, всё богатство своей природы. Он называл это, на обыкновенном насмешливом языке своем, «кокетничаньем с женщинами». Вот почему, несмотря на известную небрежность его костюма, на неправильные, хотя и энергические черты лица, Пушкин вселял так много привязанности в сердцах, оставлял так много неизгладимых воспоминаний в душе...

Но там, где дело шло о литературе, и в сношениях с литераторами не было человека строже и взыскательнее Пушкина. Он со вниманием прочитывал все, что писали об нем свои и иностранные журналы. Надо видеть из его переписки степень негодования, какое испытал он, когда известная его пьеса «Редеет облаков летучая гряда...» напечатана была в «Полярной звезде» 1824 года с тремя последними стихами, исключенными автором в рукописи своей. Он просто говорит, что его осрамили, и прибавляет: «Я давно уже не сержусь за опечатки, но в старину мне случалось забалтываться стихами и мне грустно, что со мною поступают, как с умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной собственности»[12]. Несправедливо было и уверение, что он не сердится за опечатки. В 1825 году писал он в Петербург: «Надоела мне печать опечатками, критиками, защищениями etc. Однако поэмы мои скоро выйдут. И они мне надоели. Руслан — молокосос; Пленник — зелен, и пред поэзией кавказской природы поэма моя — голиковская проза»*[13]. Еще сильнейший пример ос-

---

* Продолжение этой выдержки из письма от 3 декабря 1825[14] тоже прилагаем здесь: «Кстати: кто писал о горцах в «Пчеле»? Какая поэзия! Я⟨кубович⟩ ли, герой моего воображения?[15] Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним *был* на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметьева[16]. В нем много, в самом деле, романтизма. Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде — поэма моя была бы еще лучше. Важная вещь! Я

корбленного авторского чувства подал Пушкин, когда в той же «Полярной звезде» 1824 года в стихотворении «Нереида» вместо стиха

Над ясной влагою полубогиня грудь... —

было напечатано:

Как ясной влагою полубогиня грудь..., —

а в стихотворении «Простишь ли мне ревнивые мечты...» стих, начинающийся «С боязнью и мольбой...», был заменен «С болезнью и мольбой...». Пушкин тотчас же переслал обе пьесы в другой журнал («Литературные листки», 1824, № IV), прося редактора о перепечатании: «Вы очень меня обяжете, — говорил он, — если поместите в своих листках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в «Полярной звезде», отчего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда не большая, но стихи не люди. Свидетельствую вам искреннее почтение. Одесса. 1-го февраля 1824»[18]. Замечательно, что Пушкин не достиг своей цели. В «Литературных листках» последняя пьеса помещена была с пропусками против редакции альманаха, но такова была взыскательность поэта в отношении своих произведений, и так он дорожил ими вообще.

Шумная жизнь Кишинева не могла обойтись без хлопот. Природная живость Пушкина, быстрота и едкость его ответов, откровенное удальство нажили ему много врагов и иногда, по справедливости, возбуждали жалобы. Генерал Иван Никитич Инзов отрывался от важных занятий, чтоб устраивать дела ветреного своего чиновника. Он разбирал его ссоры с молдаванами; взыскивал за излишне резвые проделки; наказывал домашним арестом; приставлял часовых к его комнате и посылал пленнику книги и журналы для развлечения[19]. Пушкин любил Инзова, как отца. О тогдашних шалостях кишиневской молодежи сохранилось в городе некоторое воспоминание и до сих пор*. Заметим, что остроумная проказа всегда имела особенную прелесть для Пушкина

написал трагедию[17] и ею очень доволен, но страшно в свет выдать: робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма. Под романтизмом у нас разумеют Ламартина. Сколько я ни читал о романтизме — все не то». Последние слова Пушкина мы объясняем далее в наших материалах.

* Так, брат поэта рассказывает в своей записке, что однажды, оскорбясь замечанием одной женщины, он потребовал отчета у мужа ее и на нем выместил обиду. Много и других анекдотов от этой эпохи можно было бы собрать. Раз, заметив привычку одной дамы сбрасывать с ног башмаки за столом, он осторожно похитил их и привел в большое замешательство красивую владелицу их, которая выпуталась из дела однако ж с великим присутствием духа, и проч., и проч.

даже и в позднейшие года жизни. Об этой склонности к замысловатой шутке упоминает и он сам в неизданных строфах «Домика в Коломне».

Но одни увлечения страсти, одни выходки живого ума, даже одни вспышки поэтического гения, несмотря на все их значение, еще не могли составить окончательную форму жизни для человека, столь наделенного природой, как Пушкин. Не для того готовился он сам, не того хотели почитатели его таланта, беспрестанно требовавшие от него деятельности и предрекавшие ему славную будущность в отечестве. Такие вызовы сопровождали все молодые его года. Из этих заботливых напоминовений, которые Пушкин получал со всех сторон вплоть до 1830 года, самое замечательное нам кажется то, выписку которого приводим здесь в переводе. Оно написано было по-французски и уцелело в его бумагах. Только к Пушкину можно было обращаться с подобными требованиями, только с Пушкиным можно было так говорить. Вот этот отрывок:

«Когда видишь того, кто должен покорять сердца людей, раболепствующего перед обычаями и привычками толпы, человек останавливается посреди пути и спрашивает самого себя: почему преграждает мне дорогу тот, который впереди меня и которому следовало бы сделаться моим вожатаем. Подобная мысль приходит мне в голову, когда я думаю об вас, а думаю я об вас много, даже до усталости. Позвольте же мне идти, сделайте милость. Если некогда вам узнавать требования наши, углубитесь в самого себя и в собственной груди почерпните огонь, который, несомненно, присутствует в каждой такой душе, как ваша»*[20].

---

* Может быть, на это письмо Пушкин отвечал стихами, первый оригинал которых, весьма несовершенный, разумеется, остался в его бумагах:

Ты прав, мой друг, — напрасно я презрел
Дары природы благосклонной;
Я знал досуг, беспечных муз удел,
И наслажденье ленью сонной.

* * *

Я дружбу знал и жизни молодой
Ей отдал ветреные годы,
Я верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы.

* * *

Младых бесед оставя блеск и шум,
Я знал и труд и вдохновенье,
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье!

Поэма «Бахчисарайский фонтан», задуманная в 1821 ⟨году⟩, конченная в следующем[23] и напечатанная в Москве в 1824 году, связана еще с Тавридой по своим воспоминаниям. О происхождении ее мы будем говорить после. Обращаясь к стихотворениям, написанным в Бессарабии, мы легко увидим, как быстро рос поэтический гений Пушкина. 6-го апреля 1821 года написано было послание «К Ч⟨аадаев⟩у» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...»), которое по твердости кисти, меткости эпитетов и простоте поэтического языка есть первообраз знаменитого послания «Вельможе» («От северных оков освобождая мир...»). 18 июля 1821 ⟨года⟩ получено было в Кишиневе известие о смерти Наполеона и породило ту превосходную лирическую песнь, которая посвящена его имени. Декабря 26 1821 ⟨года⟩ создано было стихотворение, порожденное другим именем, — «Овидию». Пушкин считал его лучшим своим произведением в то время и предпочитал «Наполеону»[24]. Небольшое предисловие к нему и исторические заметки свидетельствуют, что Пушкин приготовлялся к нему чтением римского поэта[25]. Между тем один за другим следовали те художественно спокойные образы, в которых уже очень полно отражается артистическая натура Пушкина: «Дионея», «Дева», «Муза» («В младенчестве моем она меня любила...»), «Желание» («Кто видел край...»)[26], «Умолкну скоро я...», «М. А. Г⟨олицыной⟩». В последних двух глубокое чувство выразилось в удивительно величавой и спокойной форме, которая так поражает и в пьесе «Приметы» («Старайся наблюдать различные приметы...»), этом образце сельской картины, где впервые проявилось чувство природы, так сильно развитое у него впоследствии. В 1822 году написана была «Песнь о вещем Олеге», которая при появлении своем немногими была оценена по достоинству. Ее летописная простота, ее безыскусственный рассказ, так свойственный легенде, были новостью и слишком резко отличались от кудрявых и замысловатых исторических стихотворений эпохи, которые не всегда отличались и историческою верностью*. В том же году Пушкин на несколько дней

---

* * *

Но все пропало!.. резвый нрав...
Душа час от часу немеет.
В ней чувства нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет[21].

Пьеса еще продолжается у Пушкина, но разбор становится невозможен. Замечательно, что последнее четверостишие попало в «Альбом Онегина»[22].

* Так, например, в одной современной думе Олегов щит имеет герб России[27]. Пушкин заметил несообразность и писал: «Древний герб, св. Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега. Новейший, двуглавый орел, есть герб византийский и принят у нас во времена Иоанна III, не прежде. Летопись просто говорит: «тоже повеси щит свой на вратех на показание

пропал из Кишинева. Он отправился в Измаил и на пути пристал к цыганскому табору, ночевал в шатрах его и жил дикой жизнью кочевого племени[33]. Он сохранил воспоминание об этом путешествии в следующей строфе эпилога к «Цыганам», не попавшей в печать:

За их ленивыми толпами
В пустынях, праздный, я бродил;
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями...
В походах медленных любил
Их песней радостные гулы;
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил[34].

Пушкин доходил тогда до самых границ империи. У нас есть один стихотворный отрывок, свидетельствующий это несомненно и потому драгоценный:

Воспоминаньем упоенный,
С благоговеньем и тоской
Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный!
Не смелый подвиг россиян,
Не слава, дар Екатерине,
Не задунайский великан
Меня воспламеняют ныне...[35]

Отлучки Пушкина из Кишинева не только не мешали вдохновению и занятиям поэзией, а напротив, только возбуждали и множили их. В Бессарабии же написаны были

победы»[28]. Он вообще отзывался об исторических стихотворениях той эпохи довольно строго: «Вообще все слабы изобретением и изложением. Все на один покрой (loci topici) (общие места *(лат.)*. — *Ред.*): описание места действия, речь героя и нравоучение. Национального русского нет в них ничего, кроме имен...»[29] «Милый мой, — пишет Пушкин к брату из Кишинева по поводу тех же стихотворений, — у вас пишут, что «луч денницы проникал в полдень в темницу Хмельницкого». Это не Х⟨востов⟩ написал — вот что меня огорчило. Что делает Дельвиг? Чего он смотрит?»[30] Через несколько времени Пушкин возвращается еще на свои заметки в новом письме к брату: «Душа моя, — говорит он, — как перевесть по-русски bévues (оплошности, промахи *(франц.)*. — *Ред.*)? Должно бы издавать у нас журнал «Revue des bévues» («Обозрение промахов» *(франц.)*. — *Ред.*). Мы поместили бы там выписки из критик В⟨оейко⟩ва, полудневную денницу, герб российский на вратах византийских (во время Олега герба русского не было: двуглавый орел есть герб византийский и означает разделение империи на восточную и западную...). Поверишь, мой милый, что нельзя прочесть ни одной статьи ваших журналов, чтоб не найти с десяток этих bévues. Поговори об этом с нашими, да похлопочи о книгах...»[31] В другой раз он останавливается на стихотворении «Олимпийские игры», напечатанном в «Мнемозине» (1825, т. IV), и снова пишет к брату: «Читал стихи и прозы К⟨юхельбекера⟩ — что за чудак! Только в его голову могла войти мысль воспевать Грецию, великолепную Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом — славянорусскими стихами... Что бы сказал Гомер и Пиндар? Но что говорят Дельвиг и Баратынский?»[32] Мы видим, что близкое знакомство не мешало Пушкину замечать погрешности приятелей, но он не всегда их высказывал начисто.

«Братья разбойники» и набросаны первые строфы «Евгения Онегина»... Если представим себе картину литературной деятельности этой в полном ее объеме, то разнообразие ее частей, особенный характер каждой подробности и самобытность некоторых из них приведут невольно в изумление, как приводили они современников Пушкина.

ГЛАВА VII

Одесса. 1823 — 1824 г.: Переезд в Одессу и потом увольнение от службы. — Письмо к брату от 23 августа 1823 г. с выражением сожаления о покидаемом Кишиневе. — Первая глава «Онегина» кончена 22 октября 1823 г., и зимой 1824 г. начаты «Цыганы». — Лирические стихотворения в сильно возбужденном состоянии духа. — Эстетическое чувство, умеряющее все порывы. — «Демон», его значение. — Письмо к Дельвигу о «Бахчисарайском фонтане» с первым известием об «Онегине». — Стремление собирать книги, изучение итальянского языка. — Итальянские эпиграфы к «Кавказскому пленнику», журнал греческой революции. — Пушкин остепеняется. — Стихотворение «К морю» как прощанье с старым байроновским направлением. — Подробности о появлении в печати «Демона» и стихов «К морю».

28 июля 1823 года генерал Иван Никитич Инзов сдал должность новороссийского генерал-губернатора, которую исправлял с июля 1822 года, новому начальнику, графу М. С. Воронцову, уже славному подвигами в Отечественную и Французскую кампании и который должен был дать новую жизнь краю, вверенному его управлению. Тогда же соединено было в одной власти и управление Бессарабией. Центром правительства сделалась Одесса, куда переехал и Пушкин, зачисленный в канцелярию генерал-губернатора. Некоторое время он скучал по Кишиневу, но пестрое разноплеменное народонаселение Одессы, ее театры, французские ресторации, море, ее омывающее и приносившее толпы иностранцев вместе с товарами и с известиями из Европы, вскоре помирили его с новым местопребыванием. Впрочем, усложнившаяся администрация края требовала особенной деятельности чиновников, в ней числившихся, а Пушкин по роду своих занятий мало был способен к ней. Почти ровно через год, 8 июля 1824 года, уволен он был вовсе от службы, а 11-го того же июля переведен на жительство в Псковскую губернию, в имение своей матери, известное Михайловское[1]. Мы имеем письмо Пушкина из Одессы к брату от 25 августа 1823 года. Из содержания его видно, что Пушкин был в Одессе еще тремя месяцами ранее своего перечисления на службу в этот город, подобно тому как он посетил его два года тому назад. В последний раз, однако же, он узнал о новом своем назначении, вернулся на несколько дней в Кишинев проститься с особами, дорогими его сердцу, и затем уже покинул его

совсем. «Мне хочется, душа моя, — говорит он, — написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело. Здоровье мое давно требовало морских ванн. Я насилу упросил Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем... перехожу на службу и остаюсь в Одессе. Кажется и хорошо, да новая печаль сжала мне грудь. Мне стало жаль моих покинутых ⟨цепей⟩. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически — и выехал оттуда навсегда. О Кишиневе я вздохнул. Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни. Впрочем, я нигде не бываю, кроме театра». Письмо это кончается требованием денег от брата, в которых поэт нуждался почти весь век свой. Весьма оригинально объясняет он причины скудости: «Жить пером мне невозможно ⟨при нынешней цензуре⟩. Ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти, хотя знаю закон ⟨божий⟩ и четыре первые правила...» Он заключает его словами: «Прощай, душа моя, у меня хандра, и это письмо не развеселило меня».

22 октября 1823 г. кончена была в Одессе первая глава «Онегина», начатая в Бессарабии в мае. Осенний месяц тут имеет свое значение. Известно, что осень была временем особенного развития его творческой деятельности вообще. Она приносила ему нравственное спокойствие, равновесие всех сил, необыкновенную бодрость мысли. На севере он радовался туманной и дождливой осени и боялся сухой и светлой, как предательницы, которая влечет к прогулкам и рассеянности. Южная осень с ее чистым небом и освежительно теплым воздухом заставляла его прибегать к хитрости. Он вставал рано и, не покидая постели, писал несколько часов без отдыха. Приятели заставали его часто или в задумчивости, или помирающего со смеха над строфами «Евгения Онегина». Так написаны были три главы этого романа, и зимой 1824 г. начаты «Цыганы».

Лирические стихотворения, писанные в Одессе, приобретают новый оттенок. Вместо прежних обдуманных и потому спокойных созданий являются такие, как «Ненастный день потух...»[2], «Простишь ли мне ревнивые мечты...», «Коварность», исполненные бурь сердца, сомнений страсти и сильного драматического движения. Они вылились из-под пера того человека, который в мучениях ревности и досады мог пробежать пять верст без шляпы по палящему жару в 35°, как это раз случилось с Пушкиным в Одессе[3]. Но мы обязаны сделать заметку, весьма важную для определения общего характера его. Как ни великолепен еще этот ураган уязвленного сердца в поэтическом своем направлении, но здесь,

как и всегда у Пушкина, порывы его умеряются требованиями искусства и выражение его столь же изящно, как и выражение задумчивости и грациозных образов в других произведениях поэта. Вообще поэтическое творчество было у Пушкина как будто поправкой волнений жизни. Оно сглаживало резкие ее проявления, смягчало и облагораживало все, что было в них случайно грубого, неправильного и жесткого. По неизменному закону отражения творческого произведения на самом художнике, умерялся и в последнем пыл увлечения и замолкали струны, которые звучали бы без того тревожно и несогласно, может быть, еще долгое время. Вот почему Пушкин мог выходить из всех порывов еще свежее прежнего, и вот почему в течение всей его жизни мы не видим, чтобы он остановился на каком-нибудь исключительном направлении и окаменел в каком-нибудь любимом представлении. В Одессе, например, написал он своего «Демона» — этот неопределенный образ существа, произвольно и без права старающегося заслонить божий свет от других. При появлении своем в 1823 году пьеса породила живейший восторг[4]. Один журнал, в Москве, хотел посвятить ей целую статью, но не сдержал обещание; другой, в Петербурге, называя произведение гениальным, искал объяснения ему в действительном существовании подобного характера. Но всего замечательнее, что Пушкин истощил всю идею в одном произведении и более к ней уже не возвращался, несмотря на общие похвалы*. Так из произведения, относительно пре-

---

* Можно заметить последний отголосок идеи, породившей «Демона» в стихотворении, принадлежащем к 1827 г. «Ангел» («В дверях эдема ангел нежный...»); но здесь уже представление смягчается под действием жизни и, может быть, личного опыта. Кстати, прилагаем письмо Пушкина из Одессы к Дельвигу[5], замечательное, между прочим, и тем, что тут впервые упоминает он о «Ев. Онегине»: «Мой Дельвиг, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Вчера повеяло мне жизнью лицейскою — слава и благодарение за то тебе и моему П⟨ущину⟩! Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого быка? Душа моя, ты слишком мало пишешь, по крайней мере, слишком мало печатаешь. Впрочем, я живу по-азиатски, не читая ваших журналов. На днях попались мне твои прелестные сонеты, прочел их с жадностью, восхищением и благодарностию за вдохновенное воспоминание дружбы нашей. Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной музе Баратынского[6]. Жду и не дождусь ваших стихов, только их получу, заколю агнца и украшу цветами свой шалаш, хоть Б⟨ируков⟩ находит это слишком сладострастным... Ты просишь «Бахчисарайского фонтана». Он на днях отослан Вяземскому: это бессвязные отрывки, за которые ты меня пожуришь и все-таки похвалишь. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь донельзя[7]. Б⟨ируков⟩ ее не увидит за то, что он фи — дитя, блажное дитя. Бог знает, когда и мы прочтем ее вместе. Скучно, моя радость. Если б хоть брат Лев прискакал ко мне в Одессу. Где он? Что он? Ничего не знаю... Правда ли, что к вам едет Россини и италианская опера? Боже мой! Умру с тоски и зависти. 16-го ноября. Вели прислать мне немецкого «Пленника»[8].

восходного, вышел он не в подчиненности к нему, а, напротив, с другим и более обширным взглядом на мир — процесс беспрестанно повторявшийся и оправдывающий мнение тех людей, которые поэзию Пушкина считают, по преимуществу, существенною, реальною, приносящею с собою бодрость для духа и свежесть для мысли.

К этой же эпохе относится возникшее стремление Пушкина собирать книги, которое заставило его сказать так живописно, что он походит на стекольщика, разоряющегося на покупку необходимых ему алмазов. Большая часть его денег уходила этим путем, и превосходная библиотека, оставленная им после смерти, свидетельствует теперь о разнообразии и основательности его чтения. Пушкин успел выучиться на юге по-английски и по-итальянски и много читал на обоих языках. «Кавказский пленник» украшен в рукописи эпиграфом из Пиндемонте* и немецким: «Gieb meine Jugend mir zurück...»** из Гете[10]. Кроме своих обычных занятий, он еще следил за ходом греческого возрождения[11], которому вел журнал, и мысль его была в постоянной деятельности, даже и тогда, как жаркие лирические произведения свидетельствовали о самом возбужденном состоянии его духа. К концу пребывания поэта в Одессе знакомые его заметили некоторую осторожность в суждениях, осмотрительность в принятии мнений. Первый пыл молодости пропал: Пушкину было уже 25 лет.

В начале осени 1824 года Пушкин простился с южным краем России чудным своим стихотворением «К морю»:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой***.

---

* Oh felice que mai non pose il piede
Fuori della natia sua dolce terra;
Egli il cor non lasciò fitto in oggetti,
Che di più riveder non ha speranza, *etc.*

«О, счастлив, кто никогда не переступал за границу священной земли собственного отечества: сердце его не привязано к предметам, которых нет ему надежды увидеть снова».

Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, замечает, что вместе с итальянским языком сын его учился и по-испански[9].

** «Верни мне мою молодость...» *(нем.). — Ред.*

*** Стихотворение «К морю» напечатано было впервые в альманахе «Мнемозина» (1824 г., Москва, часть IV) и сопровождалось любопытным примечанием издателей. При стихе «Мир опустел», который в альманахе не имел окончания, сделана выноска: «В сем месте автор поставил три с половиною строки точек. Издателям сие стихотворение доставлено кн. П. А. Вяземским и здесь отпечатано точно в том виде, в каком оно вышло из-под пера самого Пушкина. Некоторые списки оного, ходящие по городу, искажены нелепыми прибавлениями. Изд.». Видно, что и эта пьеса не избегла участи многих других стихотворений поэта[12]. Между прочим, она вошла в состав изданий

Этим же стихотворением прощался он и с властителем своих дум — Байроном, посвящая ему, на расставанье, последнюю дань удивления, последнюю свою песнь. Другое направление, другое развитие ожидали его в Михайловском.

ГЛАВА VIII

Обозрение поэм Пушкина, созданных с 1821 по 1824 г.: «Кавказский пленник», два письма Пушкина о недостатках поэмы. — Неизданные стихи из предисловия поэмы. — Стихотворения «Демон», «Я пережил свои желанья...» как части однородного созерцанья. — Журнальная критика. — Известия о стихотворении «Мстислава древний поединок...» и о поэме «Владимир». — Журнальная прицепка к стихам его.—«Бахчисарайский фонтан».— Влияние Байрона и значение его в жизни поэта вообще. — Сочувствие Пушкина к А. Шенье и малое расположение к Ламартину. — Происхождение «Бахчисарайского фонтана» объясняет господствующий тон в поэме. — Письмо Пушкина к Бестужеву с жалобой на самовольную припечатку выпущенных стихов и с разбором произведений, помещенных в «Полярной звезде» 1824 г. — Стихотворение «Печален будет мой рассказ...» — Отсутствие изнеженности в стихе поэмы. — Издание ее. — Почему «Кавказский пленник» не мог быть издан своевременно во второй раз. — Предисловие кн. Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» и полемика, возгоревшаяся по поводу его. Письмо Пушкина в редакцию «Сына отечества» с заявлением своего сочувствия к мыслям кн. Вяземского о романтизме. — Прения о классицизме и романтизме. — «Мнемозина» кн. Одоевского об элегиях. — Сбивчивость понятий. — Пушкин принужден толковать свои создания. — Его объяснения «Песни о вещем Олеге», 1-й главы «Онегина», опровержение мысли, что в стихах стихи не главное. — Заметка Пушкина о Жуковском. — Отношения Пушкина к обеим враждующим партиям. — Как понимал Пушкин классицизм и романтизм в собственной мысли. — Слова его об этом предмете и различение произведений по форме. — Неспособность его к теоретическим тонкостям. — Пушкин часто разумеет под романтизмом творчество и творческое создание. — Идеи Пушкина о классической трагедии. — Суждение Пушкина о переводе «Федры» Лобановым и о Расине вообще из письма 1825 года. — «Братья разбойники». — Стихотворения «Сон» и «Два путника» как части новой поэмы «Вадим».

Остановимся здесь на минуту и сделаем несколько заметок на все поэмы, созданные Пушкиным в этот четырехлетний промежуток времени, столь обильный разнородными впечатлениями, столь плодовитый в литературном отношении. Любопытно видеть тайну их происхождения, значение, которое придавала им публика, и критические убеждения самого автора, вызванные толками и суждениями об них.

1826 г. и 1829 г. с некоторыми изменениями, несмотря на то, что в альманахе печаталась с пушкинского подлинника. (См. примечания наши к стихотворению.) Кстати скажем, что в том же альманахе-журнале «Мнемозина», только в III части (1824 г.), помещено было и стихотворение «Демон», но с такими ошибками, что Пушкин перепечатал его в «Северных цветах» и писал к брату из деревни: «Не стыдно ли К⟨юхле⟩ напечатать ошибочно моего «Демона»! Моего «Демона»!.. Не давать ему за то ни «Моря», ни капли стихов от меня...»[13] Однако же «Море» было дано: поэт, видно, умилостивился над приятелем.

Поэма «Кавказский пленник» была первым опытом Пушкина создать характер, и опытом, как известно, не вполне удачным. Замечательно, что первый, открывший это, был сам Пушкин. Вот что писал он издателю поэмы в то время, как едва успели остыть чернила на его рукописи: «Недостатки этой повести, поэмы или чего вам угодно так явны, что я долго не мог решиться ее напечатать. Простота плана близко подходит к бедности изобретения, описание нравов черкесских не связано с происшествием и есть не иное что, как географическая статья или отчет путешественника. Характер главного лица (а всего-то их двое) приличен более роману, нежели поэме, да и что за характер? Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в каких-то несчастиях, неизвестных читателю? Его бездействие, его равнодушие к дикой жестокости горцев и к прелестям кавказской девы могут быть очень естественны, но что тут трогательного? Легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собой истекали бы из предметов. Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником его избавительницы; мать, отец и братья ее могли бы иметь каждый свою роль, свой характер — всем этим я пренебрег: во-первых, от лени; во-вторых, что разумные эти размышления пришли мне на ум тогда, как обе части поэмы были уже кончены, а сызнова начинать не имел я духа... Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня насчет «Кавказского пленника», но, признаюсь, люблю его, не зная за что: в нем есть стихи моего сердца...»*

Другое письмо Пушкина о том же предмете к одному из друзей, В. П. Г⟨орчако⟩ву, не менее замечательно в своей простодушной откровенности:

«Замечания твои, моя радость, очень справедливы и слишком снисходительны. Зачем не утопился мой Пленник вслед за Черкешенкой? Как человек, он поступил очень благоразумно, но в герое поэмы не благоразумия требуется. Характер Пленника неудачен; это доказывает, что *я не гожусь в герои романтического стихотворения*. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века. Конечно, поэму приличнее было бы назвать «Черкешенкой» — я об этом не подумал.

Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести; но все это ни с чем не связано и есть истинный hors d'oeuvre**. Вообще я своей поэмой очень

* С чернового письма к Н. И. Гнедичу, оставшегося в бумагах Пушкина.[1]

** нечто добавочное *(франц.)*. — *Ред.*

недоволен и почитаю ее гораздо ниже «Руслана» — хоть стихи в ней зрелее. Прощай, моя радость»*[2].

Любопытно следить за самыми усилиями Пушкина пояснить характер, еще смутно представлявшийся его воображению. Эти следы работающей фантазии, эта борьба с образом, беспрестанно исчезающим под рукой, особенно поучительны в будущем образцовом писателе. Надо сказать, что само посвящение поэмы еще составляет как будто ее продолжение по тону и разработке своей. В нем та же мысль и тот же образ, только приложенный к самому автору. Вот стихи из посвящения, не попавшие в печать, но порожденные именно стремлением автора овладеть поэтическим призраком и дать ему жизнь и форму. Они приложены были самим Пушкиным в письме к Г⟨орчако⟩ву, приведенном выше:

Когда я погибал безвинный, безотрадный
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили, —
Я близ тебя...

* * *

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем,
Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но сердце укрепив надеждой и терпеньем...

Переходя к рукописи, мы видим то же самое усилие овладеть характером Пленника. После стиха «В увядшем сердце заключил» Пушкин начинает ближе всматриваться в физиономию героя, но бросает труд на четвертом стихе... Четверостишие это, разумеется, и не попало в печать:

Когда роскошных дев веселья
Младыми розами венчал —
И жар безумного похмелья
Минутной страсти посвящал; —

далее, после стиха «И упоительным мечтам», является новая попытка в том же роде и опять бросается автором на первых четырех стихах:

В те дни, когда луна, дубравы,
Морей и бури вольный шум,
Девичий голос, гимны славы
Еще пленяли жадный ум...

---

* Есть еще и третья заметка Пушкина о «Кавказском пленнике» в письме его к брату из Кишинева от 6 октября 1823 года[3]. «Скажи мне, милый мой, шумит ли мой «Пленник»? Надеюсь, что критики не оставят в покое характера Пленника: он для них создан. Душа моя! я журналов не получаю; — так потрудись, напиши их толки, не ради исправления моего, но ради смирения кичливости моей...»

Не нужно и прибавлять, что это четверостишие составило, в превосходном изменении, начальные стихи пьесы «Демон», которая, следовательно, уже является нам осколком неудавшегося образа. Замечательно, что даже известная пьеса

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты —
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты *и проч.* —

принадлежала целиком поэме, назначаясь, как и все прежние черты, для портрета главного действующего лица. Даже отъятая от нее, она еще носит в рукописи заглавие «Элегия (из поэмы «Кавказ»)». Стольких напряжений, проб кисти, попыток стоил Пушкину первый серьезный характер, на котором он остановил свое внимание.

Недостатки поэмы были так зорко определены самим автором, что критике оставалось только развивать его собственные указания. Это было сделано рецензентом «Сына отечества» (часть LXXXII, 1823)[4], по-видимому, весьма хорошо знавшим мнение Пушкина о своем произведении. В разборе довольно важно для биографии известие, что Пушкин, кроме стихотворения «Мстислава древний поединок...», обещанного в эпилоге самого «Кавказского пленника», пишет еще поэму «Владимир»[5]. Посещение Киева должно было оставить свою поэтическую заметку в жизни Пушкина; но он обманул ожидания. Вместо «Мстиславова поединка», он написал «Песнь о вещем Олеге» и вместо «Владимира» начал драматическую хронику «Борис Годунов».

Величавая картина Кавказа, переданная Пушкиным с такой поэтической верностью и вместе с такой простотой, изумила самих противников его. Они отозвались умеренно о новом произведении... Героизм Черкешенки, не шумный, но удивительно благородный и нежный, привел публику в восторг. Под влиянием всеобщего увлечения критика молчала. Дело ограничилось несколькими советами, как изменить характер Пленника для вящей его пользы и потом указаниями на неправильные выражения. Этот последний отдел критики всегда обращал на себя внимание Пушкина. Он собирал грамматические и синтаксические заметки и часто удостоивал их опровержений, даже в примечаниях к своим поэмам при вторичных изданиях. До 1830 года Пушкин постоянно умалчивал о всех других требованиях критики. Происходило ли это от его беспрерывного изучения русской речи или от лукавого желания показать степень вкуса и познаний у рецензентов — только он составлял для себя коллекцию филологических странностей нашей критики весьма тщательно, хотя далеко не исчерпал своего предмета.

Многое было им забыто, многое он оставил без внимания. Так, пропущены были и следующие поправки одного журнала при стихах:

Пред ним пустынные равнины
Лежат зеленой пеленой...

«Пелена употребляется более в отношении к тому, что под нею находится».

Там холмов тянутся грядой
Однообразные вершины.

«Слова расставлены, кажется, не ясно».

Оделись пеленою туч
Кавказа спящие вершины...

«Не лучше ли покрылись? Иначе гор не будет видно...» и проч. («Вестник Европы», 1823, № 1)[6].

Семь лет спустя после первого появления «Кавказского пленника» Пушкин сказал про него: «Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно»[7]. Это было повторением того, что он говорил о нем на другой день, так сказать, его рождения.

При разборе «Бахчисарайского фонтана», к которому теперь переходим, уже много было толков о влиянии Байрона на нашего поэта. Действительно, лицо Гирея, как и лицо Кавказского Пленника, носят признаки родства с обычными героями Байрона, хотя, при некотором внимании, можно легко заметить, как проглядывает сквозь подражание собственная творческая способность нашего автора, со всеми условиями жизни и местных требований, в которых заключалась. Чуждый облик, невольно положенный на оба характера, объясняется постоянным чтением Байрона, которому предался Пушкин в это время.

Люди, следившие вблизи за постепенным освобождением природного гения в Пушкине, очень хорошо знают, почему так охотно и с такой радостью преклонился он пред британским поэтом. Байрон был указателем пути, открывавшим ему весьма дальнюю дорогу и выведшим его из того французского направления, под которым он находился в первые года своей деятельности. Разумеется, все, что впоследствии говорено было об общей настроенности века, о духе европейских литератур, имело свою долю истины; но ближайшая причина байроновского влияния на Пушкина состояла в том, что он один мог ему представить современный образец творчества. По-немецки Пушкин не читал или читал тяжело; перевес оставался на стороне британского лирика. В нем почерпнул он уважение к образам собственной фантазии, на которые прежде смотрел легко и поверхностно, в нем научил-

ся художественному труду и пониманию себя. Байрон вложил могущественный инструмент в его руки: Пушкин извлек им впоследствии из мира поэзии образы, нисколько не похожие на любимые представления учителя. После трех лет родственного знакомства направление и приемы Байрона совсем пропадают в Пушкине; остается одна крепость развившегося таланта: обыкновенный результат сношений между истинными поэтами! Нельзя сказать даже, чтобы один Байрон исключительно присутствовал при этом процессе развития художнических сил. Рядом с ним стоял в эту эпоху А. Шенье, которым Пушкин восхищался почти столько же, сколько и первым. Пушкин прежде всех в России заговорил об А. Шенье и, конечно, один из первых в Европе вполне угадал прелесть его нежных произведений, особенно антологических, где обычное щегольство его заменено истинным изяществом. Следует вспомнить, что в шуме, который производили тогда элегии Ламартина, одно это обстоятельство показывает, как мало подчинялся Пушкин вообще шуму, хотя бы он шел издалека. Некоторые из приятелей его печатали и писали ему о Ламартине с жаром убеждения, не находя в нем, однако ж, ни малейшего отголоска на всё их увлечение. Можно сказать с достоверностию, что очень долгое время Пушкин восхищался у нас произведениями А. Шенье совершенно уединенно. Со всем тем и Байрон, и Шенье играли одинаковую роль в жизни нашего поэта: это были пометки его собственного, прибывающего таланта; ступени, по которым он восходил к полному проявлению своего гения.

Все оттенки мнений, разделявших литературу нашу, слились при появлении «Бахчисарайского фонтана» в одну похвалу неслыханной еще дотоле гармонии языка, небывалой у нас роскоши стихов и описаний, какими отличалась поэма. В ней видели торжество русского языка, и только дальнейшее развитие автора показало, что русский стих еще более может быть усовершенствован. Критика ограничилась робкой заметкой о недостатке движения, хода в новом создании («Сын отечества», 1824, часть XCII)[8]. Происхождение поэмы достаточно объясняет ее сжатость и почти анекдотическую форму. Пушкин просто переложил в стихи рассказ одной прелестной женщины. В известном письме своем из Тавриды[9] он говорит при первом посещении Бахчисарая: «Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes»*. Позднее он писал из Одессы: «Радуюсь, что мой «Фонтан» шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины:

* Фонтаном слез *(франц.)*. — *Ред.*

Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naive*.

Впрочем, я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги нужны»**. Деньги пришли к Пушкину.

---

* К нежным законам стиха я приноровлял звуки
Ее милых и бесхитростных уст *(франц.)*. — *Ред.*

** Последние строки Пушкина извлечены из журнала Ф. В. Булгарина «Литературные листки» (1824, № IV), где они помещены были в объявлении о скором выходе поэмы[10]. Они составляли часть большого письма Пушкина к одному из своих друзей, которое здесь приводим вполне[11].

Письмо было получено в Петербурге вскоре после выхода альманаха «Полярная звезда» ⟨на⟩ 1824 ⟨г.⟩ и содержит еще беглую оценку произведений, там напечатанных, именно повести «Замок Нейгаузен», статьи Корниловича «Об увеселениях русского двора при Петре I-м», статьи «Об удовольствиях на море», арабской сказки г. Сенковского «Витязь буланого коня», мадригала Родзянки «К милой», где были стихи

Вчера, сегодня, беспрестанно
Люблю — и мыслю о тебе... —

и наконец стихотворения Плетнева «Родина». В этом же письме есть в конце намек о новой поэме Пушкина, именно о «Ев. Онегине».

«Ты не получил, видно, письма моего. Не стану повторять то, чего довольно и на один раз. О твоей повести в «Полярной звезде» скажу, что она не в пример лучше (т. е. занимательнее) тех, которые были напечатаны в прошлом годе, et c'est beaucoup dire (и это много значит *(франц.)*. — *Ред.*)[12]. Корнилович славный малый и много обещает, но зачем пишет он «для снисходительного внимания», «милостивый государь NN», и ожидает «одобрительной улыбки прекрасного пола» для продолжения любопытных своих трудов? Все это старо, ненужно и слишком пахнет шаликовскою невинностию[13]. Булгарин говорит, что Н. Б⟨естужев⟩ отличается новостию мыслей, можно бы с бóльшим уважением употреблять слово «мысли»[14]. Арабская сказка — прелесть. Между поэтами не вижу Гнедича, — это досадно; нет и Языкова — его жаль. «Вчера люблю и мыслю» поместят со временем в грамматику для примера бессмыслицы. Плетнева «Родина» хороша. Баратынский — чудо, мои пьесы плохи[15]. Радуюсь, что мой «Фонтан» шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины:

Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naive.

Впрочем, я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги нужны.

Третий пункт и самый нужный с эпиграфом «без церемонии». Ты требуешь от меня десятка пьес, как будто у меня их сотни. Едва ли наберу их и пяток, да и то не забудь моих отношений с ⟨цензурой⟩. Даром у тебя брать денег не стану; к тому же я обещал К⟨юхельбекеру⟩, которому верно мои стихи нужнее, нежели тебе. Об моей поэме нечего и думать. Если когда-нибудь она будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге. Прощай, поклон Р⟨ылееву⟩, обними Дельвига, брата и братью».

Кстати сказать, чувствительные строки, как называл Пушкин отрывок из этого письма, напечатанный в «Литературных листках», так же точно огорчил Пушкина, при виде их в печати, как прежде опубликование трех стихов в элегии «Редеет облаков летучая гряда...». «Вообрази мое отчаяние, — писал он по этому поводу, — когда увидел их напечатанными, — журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой охотой я беседую об ней с одним из петербургских моих приятелей... Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов...»[16] В первое время он готов был требовать объяснения, но вскоре предал забве-

Поэма напечатана была в Москве в 1824 году князем Вяземским, и все издание куплено потом обществом книгопродавцев за 3000 р. ассиг.

В бумагах Пушкина есть неизданное стихотворение, которое сперва назначено было служить вступлением к поэме. Откинутое при окончательной переправке и совсем забытое впоследствии, оно подтверждает свидетельство письма о происхождении поэмы.

Печален будет мой рассказ!
Давно, когда мне в первый раз
Любви поведали преданье,
Я в шуме радостном уныл —
И на минуту позабыл
Роскошных оргий ликованье.
Но быстрой, быстрой чередой
Тогда сменялись впечатленья!
Веселье — тихою тоской,
Печаль — восторгом упоенья.

Поэтическая передача рассказа должна была, как легко понять, упустить из вида развитие драмы и только сохранить тон и живость впечатления, которыми поражен был сам поэт-слушатель. И действительно, в поэме существенное одно: стихи и благоухание женского чувства, которым она проникнута от начала до конца. Кстати заметить, что поэма сперва называлась «Гаремом», но «меланхолический эпиграф (который, конечно, лучше всей поэмы), — говорит автор в записках своих, — соблазнил меня»[17]. Этот эпиграф, еще находившийся при втором издании поэмы в 1827 году, был из Сади: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет, другие странствуют далече»*.

По поводу «Бахчисарайского фонтана» остается сделать еще одно замечание. Пушкин был мужествен во всех чувствах своих. Он так же мало способен был к нежничанью и к игре с ощущениями, как, наоборот, легко подчинялся настоящей

нию всю эту нескромность журналистики и даже прибавлял в письме к брату из Одессы от 13-го июня 1824 года, чтоб он оставил все дело без внимания, из уважения к самому себе.

* «Кавказский пленник», появившийся в 1822 году, издавался потом 4 раза: в 1824, 28, 36 гг. и в полном посмертном собрании сочинений в 1838 г. «Бахчисарайский фонтан» имел тоже 4 издания кроме первого, именно: в 1827, 30, 35 гг. и в полном посмертном собрании. В 1824 году появился, между прочим, немецкий перевод «Кавказского пленника», к которому, для сличения, приложен был весь русский подлинник целиком. Библиографы (см. «Роспись книгам из библиотеки Смирдина»)[18] считают этот перевод новым изданием «Кавказского пленника», хотя настоящего издания его от автора в 1824 году и не было. Нет сомнения, что немецкий перевод с его «приложениями» сделал невозможным всякую попытку такого рода. Пушкин был огорчен, жаловался на нарушение авторских прав своих и переписывался об этом с друзьями в весьма сердитом расположении духа. Настоящее 2-е издание поэмы напечатано только в 1828 г.

страсти. Мы знаем, что он советовал людям, близким его сердцу, скорее отделываться от неопределенных томлений души, выходить на прямую дорогу и назначать цель своим стремлениям. То же требование бодрости и силы, которое присущно ему было по натуре, перенес он и на самый язык впоследствии. Всякий согласится, что в «Бахчисарайском фонтане», несмотря на всю его негу, нет ничего изнеженного, вымученного и слабосильного. По случаю перемены одного прилагательного в стихе, казавшегося слишком смелым, Пушкин писал к издателю: «Я не люблю видеть в гордом первобытном языке следы европейского жеманства и французской утонченности; сила и простота более пристали ему: проповедую из внутреннего убеждения, а по привычке — пишу иначе»*[19]. Впоследствии он советовал учиться русскому языку у старых московских барынь, которые никогда не заменяют энергических фраз «я была в девках», «лечилась» и т. п. жеманными фразами «я была в девицах», «меня пользовал» и проч. В записках своих он насмешливо советует русским литераторам прислушиваться даже к разговору московских просвирень[20]. Пушкин не замедлил сам представить образцы сжатого и сильного русского слова, которого искал уже с начала своего поприща.

Нельзя пройти молчанием полемики, возбужденной предисловием кн. Вяземского к поэме. Статья кн. Вяземского под названием «Вместо предисловия. Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова», помещенная перед поэмой, заключала как бы наперед опровержение всех критик классической партии, имевшей тогда еще у нас сильных представителей**. Будто предугадывая возражения их, автор статьи говорил, что настоящее *движение* поэмы находится в речи, в течении ее рассказа; что в описаниях ее есть поэтическая ясность и определенность и что довольно видеть красивое здание, а не разбирать его остов. Существеннейший отдел статьи, однако, состоял в ее взгляде на романтизм. Автор, видимо, полагал его в соблюдении *местных красок*, *couleur locale****, тогда сильно прославляемом современными французскими эстетиками.

---

* В первом издании поэмы стих «Твоих язвительных лобзаний...» был заменен стихом «Твоих пронзительных лобзаний...».

** В самом заглавии статьи, написанной вообще очень остроумно, заключался колкий намек. Чтобы понять его, надо вспомнить о многочисленных псевдонимах во вкусе Жуи, появлявшихся тогда беспрестанно в журналах. Критики большею частью скрывались под фирмами «жителей Бутырской слободы», «Тентелевой деревни», «Галерной гавани», «Лужницких старцев» и проч. Страницы повременных изданий испещрены именами Верединковых, Ферулиных, Аристотелидовых и проч. Это был век псевдонимов, никого, впрочем, не скрывавших.

*** местном колорите *(франц.)*. — *Ред.*

«Отпечаток народности, местности, — говорил издатель поэмы от своего лица в статье, — вот что составляет, может быть, главное, существеннейшее достоинство древних и утверждает их права на внимание потомства. Глубокомысленный Миллер недаром во «Всеобщей истории» своей указал на Катулла в числе источников и упомянул о нем в характеристике того времени». Выслушав замечание антиромантика, что таким образом, пожалуй, и Омер с Виргилием попадут в романтики, издатель поэмы отвечает еще решительнее: «Назовите их как хотите, но нет сомнения, что Омер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сходства и соотношений с главами романтической школы, нежели с своими холодными рабскими последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним числом». Несколько сжатое изложение сообщило этой мысли, в сущности справедливой, вид софизма, но уже действительный софизм представляло другое положение автора, особенно возбудившее распрю. Он говорил именно, что появление романтизма в нашей литературе связывается с Ломоносовым, который брал свои образцы у германцев, отчего поэзия романтическая нам должна быть так же сродна, как поэзия Ломоносова или Хераскова. По поводу всех этих положений, выраженных весьма остроумно и отчасти резко, возгорелся сильный спор. «Вестник Европы» (1824, № 4 и 8) напечатал другой разговор, уже между Классиком и Издателем «Бахчисарайского фонтана»[21], где сильно опровергал теоретические афоризмы последнего, а автор разбираемой статьи возражал ему в «Дамском журнале» с энергией и ловкостию, которые еще у многих свежи в памяти[22]. Границы нашей биографии не позволяют рассказать весь ход этой борьбы, весьма любопытной, которая держала в напряженном внимании всю публику, еще занимавшуюся тогда явлениями отечественной словесности, и вовлекла наконец в полемику самого Пушкина*. Вот что писал он из

* Кстати сказать, что смелость произвольных, хотя иногда и блестящих положений была тогда в моде, как убедится всякий, кто проследит за лучшими обозрениями литературы, писанными в ту эпоху, и за возбужденной ими полемикой. Мы представили один довольно резкий образчик ее в мнении «Вестника Европы» о «Руслане и Людмиле». Из того же журнала выбираем и другой. В 1823 году «Черная шаль» Пушкина, первоначально названная им «Молдавскою песнью», положена была на музыку и, под именем кантаты, исполнялась в московском театре. Журнал, отдавая отчет о новом произведении, сильно упрекал композитора (г-на Верстовского) за то, что он расточил так много музыкального таланта на темное злодеяние каких-то неизвестных людей, молдаван, армян. «Достойно ли это того, — спрашивает критик, — чтобы искусный композитор изыскивал средства потрясать сердца слушателей», и что он будет делать, когда представится ему изображение «исторических и мифологических лиц, занимательных для каждого?» («Вестник Евр⟨опы⟩», 1823, № 1)[23]. Критик смешал важность исторического лица с важностью лица в поэтическом отношении, но этому мнению суждено было возрождаться еще не раз по поводу различных произведений Пушкина.

Одессы в журнал «Сын отечества» (1824, № XVIII), откуда извлекаем прилагаемый документ:

«В течение последних четырех лет мне случалось быть предметом журнальных замечаний. Часто несправедливые, часто непристойные, иные не заслуживали никакого внимания, на другие *издали* отвечать было невозможно. Оправдания оскорбленного авторского самолюбия не могли быть занимательны для публики; я молча предполагал исправить в новом издании недостатки, указанные мне каким бы то ни было образом, и с живейшею благодарностию читал изредка лестные похвалы и одобрения, чувствуя, что не одно, довольно слабое, достоинство моих стихотворений давало повод благородному изъявлению снисходительности и дружелюбия.

Ныне нахожусь в необходимости прервать молчание. Князь П. А. Вяземский, предприняв из дружбы ко мне издание «Бахчисарайского фонтана», присоединил к оному «Разговор между Издателем и Антиромантиком», разговор, вероятно, вымышленный: по крайней мере, если между нашими печатными классиками многие силою своих суждений сходствуют с Классиком Выборгской стороны, то, кажется, ни один из них не выражается с его остротой и светской вежливостью.

Сей разговор не понравился одному из судей нашей словесности. Он напечатал в 5 № «Вестника Европы» второй разговор между Издателем и Классиком, где, между прочим, прочел я следующее:

«*Издатель:* Итак, разговор мой вам не нравится? — *Класс.*: Признаюсь, жаль, что вы напечатали его при прекрасном стихотворении Пушкина! Думаю, и сам автор об этом пожалеет».

Автор очень рад, что имеет случай благодарить кн. Вяземского за прекрасный его подарок. «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения.

Не хочу или не имею права жаловаться по другому отношению и с искренним смирением принимаю похвалы ⟨не⟩известного критика.

Александр Пушкин.

Одесса»[24].

Спор о классицизме и романтизме занесен к нам был из Франции и, кажется, потерял на пути свою серьезную и ученую сторону. Известно, что первое основание для последующих прений положили немцы еще в прошлом столетии сравнительной критикой различных литератур: древних,

восточных и староевропейских. Критика эта уже очистила путь двум самостоятельным поэтам Германии — Шиллеру и Гете; но в других странах, не вполне переданная и оцененная, породила ту литературу *подделок*, которая еще недавно казалась высшею степенью искусства. К нам перешли только одни определения романтизма из вторых рук, из Франции, а первоначальная работа науки, которая одна и могла объяснить сущность самого дела, была пренебрежена. Отсюда тот недостаток почвы, дельного содержания, какие чувствуются у нас в большей части статей этой эпохи по предмету, разделившему литературу на две враждебные партии. Всего чаще, например, вопрос о романтизме представляется критикам чем-то вроде любопытной новости, почти как известие о неожиданном случае и так ими и обсуживается. Произвольное понимание его, смотря по случайностям личных впечатлений каждого автора или критика, было уже в порядке вещей. Таким образом иные объясняли его своенравием мысли, скучающей положительными законами искусства, а сущность его определяли смесью «мрачности с сладострастием, быстроты рассказа с неподвижностию действия, пылкости страстей с холодностью характеров» («Вест⟨ник⟩ Евр⟨опы⟩», 1824, № 4)[25]. Другие отстаивали право гения и таланта творить наперекор теориям и поясняли новое направление тем высоким наслаждением, «в котором человек, упоенный очаровательным восторгом, не может, не смеет дать отчета самому себе в своих чувствах», и прибавляли: «в неопределенном, неизъяснимом состоянии сердца человеческого заключена и тайна, и причина так называемой романтической поэзии» («Моск⟨овский⟩ телегр⟨аф⟩», 1825, № 5)[26]. Иные еще полагали, как мы уже видели, истинное содержание романтизма в местных красках и народности, о которой, однако, никто особенно не распространялся по неимению ясного понятия о самом слове. Мы могли бы представить еще более выписок для подтверждения нашего мнения, но ограничиваемся теми, которые приведены здесь. Текущие явления словесности, требования немедленной оценки еще более затемняли дело. Были у нас романтики, восхищавшиеся эпопеями Хераскова и его подражателей, составившие особый отдел классических романтиков, представителем которых сделался журнал кн. В. Одоевского «Мнемозина», и были такие романтики, которые упрекали В. А. Жуковского за наклонность его к поверьям, за мечтательность, неопределенность и туманность его поэзии*.

---

* В журнале «Мнемозина» 1824 года, например, была статья, на которую Пушкин писал свои заметки, как увидим после, и о которой упомянул даже в IV главе своего «Онегина»:

Пушкин весьма остроумно и колко сравнивал последних с ребенком, кусающим грудь своей кормилицы потому только, что у него зубки прорезались[30]. Он сам не мог избавиться от прихотливых толкований собственных друзей и принужден был объяснять смысл своих стихотворений обычным своим поклонникам, приходившим в тупик от неожиданности как содержания, так и приемов их. Подобными объяснениями сопровождались «Песнь о вещем Олеге», 1-я глава «Онегина» и «Цыганы». О последних мы будем говорить пространнее в своем месте, а здесь только приводим отрывок из письма его, касающийся до песни, в котором Пушкин принужден был растолковать ее значение: «Тебе, кажется, Олег не нравится — напрасно. Товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость о его судьбе есть черта трогательного простодушия, да и происшествие само по себе в своей простоте имеет много поэтического»[31]. К таким комментариям еще должен был прибегать поэт наш даже перед судьями, наиболее шумевшими о романтизме.

Любопытно знать, в каком отношении стоял Пушкин к обеим враждующим сторонам и как понимал литературный спор в глубине собственной мысли. Никто тогда еще и не подозревал, что его произведения вскоре сделают спор этот анахронизмом и заменят оба понятия, соединенные с именами классицизма и романтизма, новым и гораздо высшим понятием творчества и художественности, отыскивающих законы для себя в самих себе. Он понимал сущность дела весьма просто, полагая разницу между обоими родами произведений только в *форме их* и говоря, что если различать их *по духу*, то нельзя будет выпутаться из противоречий и насильственных толкований. Вот что писал он для самого себя о вопросе, занимавшем тогда литературу нашу: «Наши критики не согласились еще в ясном различии между родами классическим и романтическим. Сбивчивым понятием о сем

Но тише! слышишь? Критик строгий
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогий, *и проч.*

Статья называлась «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Сочинитель ее принадлежал к романтикам и осуждал элегии вообще и элегии Пушкина в особенности как мелочной род поэзии, не выдерживающий сравнения с парением оды[27]. Мерилом художнического достоинства обоих родов он взял восторг и пришел к заключению, что в оде заключается гораздо более поэзии, чем в элегии.

К тому же разряду запутанных мыслей об искусстве принадлежит и та, о которой упоминает в 1825 г. Пушкин в письме к брату из деревни: «У вас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? Проза? Должно заранее истребить это гонением, кольями, песнями на голос: «Один сижу я во компании...» И тому подоб. ...»[28] О Жуковском тогда же замечает Пушкин в письме к тому же лицу: «Письмо Жуковского наконец я разобрал. Что за прелесть... его небесная душа. Он святой, хотя родился романтиком, и не греком, а человеком, да каким еще!»[29]

предмете обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных. Определение самое неточное. Стихотворение может являть все эти признаки, а между тем принадлежать к роду классическому. К сему роду должны относиться те стихотворения, коих *формы* известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили. Если же, вместо формы стихотворения, будем брать за основание только *дух*, в котором оно написано, то никогда не выпутаемся из определений. Гимн Пиндара духом своим, конечно, отличается от оды Анакреона, сатиры Ювенала от сатиры Горация, «Освобожденный Иерусалим» от «Энеиды»[32] — все они, однако ж, принадлежат к роду классическому. Какие же роды стихотворений должно отнести к поэзии романтической? Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими»[33].

Это простое, нехитрое определение обнаруживает вообще малую способность Пушкина к теоретическим тонкостям, что доказал он многими примерами и впоследствии. Чрезвычайно меткий в оценке всякого произведения, даже и своего собственного, он был чужд по природе той тяжелой работы мысли, какую требует отвлеченная теория искусства. Часто не хотел он доискиваться значения идеи, верность которой только чувствовал, и отрывочно бросал ее на бумагу в своих тетрадях. И вот пример:

Пушкина называли романтиком, и он сам себя называл романтиком, но под этим словом в уме его таилось совсем другое понимание. Так, он постоянно употребляет в письмах к друзьям выражение «романтическое произведение», но, видимо, соединяет с ним значение творческого создания, не принадлежащего к какой-либо системе или одностороннему воззрению. Другого выражения для истинной своей мысли он не находил, да, вероятно, и не искал. Всем известное и принятое слово обозначило у него понятие, о котором еще немногие тогда думали. Мы увидим в письмах его о «Борисе Годунове», что под именем романтической трагедии он разумел совершенно свободное проявление творящего духа в области искусства. Так, он беспрестанно пишет: «Я хотел бы написать что-нибудь истинно *романтическое*». В другой раз, мы уже видели, он говорит: «Важная вещь! я написал трагедию и ею очень доволен, но страшно в свет выдать — робкий вкус наш не стерпит истинного *романтизма*... Сколько я ни читал о романтизме — всё не то»[34]. За этими простыми заметками можно различить мысль о художническом произведении; но он никогда не разбирал ее, предоставляя выразить вполне только своим созданиям. Действительно, они

ясно указали законы, на которых должна основываться истинная теория искусства, и сделали из Пушкина, как уже замечено, настоящего учителя изящного и воспитателя эстетического вкуса в обществе.

Мы видели прежде, что Пушкин в переписке своей с П. А. Катениным отзывался снисходительно как о переводах своего друга, так и о классической трагедии вообще. Со всем тем, это была с его стороны только уступка, вызванная расположением к переводчику и мягкостью его суждений пред всяким дельным трудом. В эпоху пребывания поэта нашего на юге, если идеи его о романтизме выходили уже из разряда существующих тогда идей, то взамен классическая трагедия все еще оставалась для него явлением как бы незаконным и необъяснимым. Только в 1825 году в деревне своей, в Михайловском, за строгим трудом создания хроники «Борис Годунов» и за мыслями, вызванными ею, нашел он, как увидим, настоящее место и классической трагедии в ряду произведений искусства. Годом ранее он еще находился под неотразимым влиянием Байрона и вот что писал брату из Одессы (1824) по поводу нового перевода «Федры», тогда явившегося: «Читал «Федру» Л⟨обано⟩ва. Хотел писать на нее критику, не ради Л⟨обано⟩ва, а ради маркиза Расина. Перо вывалилось из руки. И об этом у вас шумят, и это называют ваши журналисты прекраснейшим переводом известной трагедии г. Расина!

Croyez-vous découvrir la trace de ses pas*.
. . . . . . .Надеешься найти
Тезея жаркий след иль темные пути...

Вот как всё переведено. А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии! План и характеры «Федры» верх глупости и ничтожности в изобретении. Тезей не что иное, как первый Мольеров рогач; Ипполит — le superbe, le fier Hippolyte et même un peu farouche** — Ипполит, суровый скиф... — не что иное, как благовоспитанный мальчик, учтивый и почтительный.

D'un mensonge si noir *etc.****

Прочти всю эту хваленую тираду — и удостоверишься, что Расин понятия не имел об создании трагического лица. Сравни его с речью молодого любовника Паризины Байроновой: увидишь разницу умов. А Терамен? Аббат и ⟨сводник⟩

Vous même où seriez-vous *etc.*****

---

* Полагаете вы отыскать следы его шагов *(франц.)*. — *Ред.*

** надменный, гордый Ипполит, даже несколько дикий *(франц.)*. — *Ред.*

*** Столь черной ложью и т. д. *(франц.)*. — *Ред.*

**** Где были бы вы сами и т. д. *(франц.)*. — *Ред.*

Вот глубина глупости!..»[35]

Остается сказать о «Братьях разбойниках», рассказе, основанном на истинном происшествии, случившемся в Екатеринославле в 1820 году[36]. Он составлял отрывок из поэмы, которую Пушкин начал писать в 1822 году и сжег почти тотчас же, как написал, но план которой сохранился в бумагах его в следующей короткой заметке: «Разбойники, история двух братьев, атаман на Волге, купеческое судно, дочь купца». Чуткому слуху Пушкина сейчас открылось, что сознание душегубца слишком сложно, эффектно и потому не в русском духе, хотя картина разбойничьего стана и лицо рассказчика, выступающего из нее, написаны были мастерскою кистью. При пересылке отрывка в Петербург для напечатания Пушкин замечал: «„Разбойников" я сжег — и поделом. Один отрывок уцелел в руках у Н⟨иколая⟩ Р⟨аевского⟩. Если звуки *харчевня, острог*... не испугают нежных ушей читательниц, то напечатай его. Впрочем, чего бояться читательниц? Их нет и не будет на русской земле, да и жалеть не о чем»[37]. Можно полагать с достоверностию, что из материалов, заготовленных для «Разбойников», вышла впоследствии, в 1825 году, пьеса «Жених», первый образец простонародной русской сказки, написанный уже в Михайловском, куда теперь, вслед за поэтом, и переходим*.

ГЛАВА IX

Михайловское. 1824—1826 г.: Прибытие в Михайловское, нравственное перерождение. — Новый отрывок из пьесы «Опять на родине»: «В разны годы...». — Душевное настроение Пушкина в Михайловском, приезд Языкова в 1826 г. — Стихи Языкова, поясняющие внешнюю жизнь поэта, игра в карты, анекдот в Боровичах. — Образ жизни в деревне. — Сцена Димитрия с Мариной в «Годунове».— Арина Родионовна, ее сказки, обделанные Пушкиным. — «Сказка о царе Салтане», пролог к «Руслану», почерпнутые из михайловских бесед с няней. — Примечание Пушкина к сказкам о царевиче и купце Шелковникове. — Письмо Пушкина 1824 г. к брату о няне. — Тригорское, П. А. Осипова, владетельница его. — Мир в ослабевших страстях и жажда славы. — Переписка и ее характер.

---

* Кроме разобранных нами произведений, к эпохе бессарабско-одесской жизни Пушкина принадлежит еще план поэмы «Вадим» — вскоре уничтоженной, но из которой известны два отрывка: «Сон» (отрывок из новгородской повести «Вадим») и «Два путника»[38]. В дополнение к картине литературной деятельности Пушкина прилагаем еще числовые пометки, сохранившиеся в тетрадях его на поэмах. Первая глава «Онегина» кончена 23 октября 1823 года, в Одессе[39]; вторая—8 декабря того же года и там же; третья начата в Одессе же, 8 февраля 1824 года. В сентябре 1824 года Пушкин находился в Михайловском, и в следующем месяце «Цыганы», еще начатые в Одессе, получили окончательную отделку, которая уже совпадает с первыми сценами «Бориса Годунова».

Пушкин приехал в Михайловское в тревожном состоянии духа. Легко угадать причину нравственного беспокойства его, если вспомним, что четверть жизни прошла для Пушкина и должна была переставить точку зрения на людей и разъяснить взгляд на самого себя. Нравственный переворот, неизбежный в таких случаях, оставляет по себе грусть, чувство раскаяния и тоски; но в сильных и благородных натурах, какова была натура Пушкина, это есть только новое побуждение к деятельности и преобразованию себя. В неизданном отрывке известного стихотворения «Опять на родине»[1] Пушкин оставил нам заметку о душевной настроенности своей в эпоху прибытия его в Михайловское. Раз навсегда скажем здесь, что Пушкин постоянно откидывал из поэм и стихотворений своих все, что прямо, без покрова искусства и художественного обмана, напоминало его собственную личность. Предлагаемый отрывок, в своей необделанной форме, трогателен, как истина:

В разны годы

Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я! Когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был
Веселым юношей. Беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни; годы
Промчалися — и вы во мне прияли
Усталого пришельца! Я еще
Был молод, но уже судьба
Меня борьбой неровной истомила;
Я был ожесточен! В уныньи часто
Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаньях,
О строгости заслуженных упреков,
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной —
И горькие кипели в сердце чувства!

Дальнейшее пребывание в деревне сгладило резкость ощущения; там он нашел и теплую дружбу, и гармонию душевных сил, и главное: наслаждения творчества, сбереженного целиком, благодаря тишине, окружавшей поэта. Одно это обстоятельство примирило бы всякого другого с однообразием деревенской жизни; но как человек, привыкший к движению городского и светского быта, от которого, между прочим, он во всю жизнь отстать не мог, чувство недовольства проглядывает в описаниях этого времени, оставленных им в письмах и в произведениях своих, как, например, в IV главе «Онегина», тогда же начатой. Другая сторона его деревенской жизни, украшенная привязанностию окружающих людей и всеми утехами творчества, сознающего свою силу, была и осталась немногим известна.

Пушкин вызвал из Дерпта Н. М. Языкова, тогда еще

студента, известным своим стихотворением «Издревле сладостный союз...»[2]. Языков, приехавший в Михайловское вместе с молодым В⟨ульфом⟩, соседом Александра Сергеевича по деревне, только в 1826 г., оставил нам любопытное описание самой комнаты, где няня, Арина Родионовна, накрывала им на стол обыкновенно:

Вот там обоями худыми
Где-где прикрытая стена,
Пол нечиненый, два окна
И дверь стеклянная меж ними;
Диван пред образом в углу
Да пара стульев; стол украшен
Богатством вин и сельских брашен,
И ты, пришедшая к столу![3]

Вообще Пушкин был очень прост во всем, что касалось собственно до внешней обстановки. Одевался он довольно небрежно, заботясь преимущественно только о красоте длинных своих ногтей. Иметь простую комнату для литературных занятий было у него даже потребностью таланта и условием производительности. Он не любил картин в своем кабинете, и голая серенькая комната давала ему более вдохновения, чем роскошный кабинет с эстампами, статуями и богатой мебелью, которые обыкновенно развлекали его. Он довольствовался незатейливым помещением в Демутовом трактире, где обыкновенно останавливался в приездах своих в Петербург. Вообще привычки его были просты, но вкусы и наклонности уже не походили на них. Так, поздние обеды в Михайловском были довольно прихотливы, по собственному его свидетельству (4 глава «Ев. Онегина», стр⟨офы⟩ XXXVIII—XXXIX), и кроме книг, куда уходили его деньги, был им еще другой исток: это страсть к игре, которой предавался он иногда с необычайным жаром. Карты поглотили много трудов его, унесли добрую часть доходов, полученных им с сочинений, и, случалось, даже брали в залог будущие, еще не родившиеся произведения. В одном отрывке из своих записок он простодушно рассказывает довольно забавный анекдот из своей жизни: «15 октября 1827. Вчерашний день был для меня замечателен. Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжающего в постеле. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате недостало мне 5 рублей. Я поставил их на карту. Карта за картой, проиграл 1600 рублей. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 рублей и уехал очень недоволен сам собой».

Образ его жизни в деревне чрезвычайно напоминает жизнь Онегина (4 глава «Ев. Онегина», стр⟨офы⟩ XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLIV). Он также вставал очень рано и тотчас же

отправлялся *налегке* к бегущей *под горой речке* и купался)*. Зимой он, как и Онегин, садился в ванну со льдом перед своим завтраком. Разница состояла в том, что везде Пушкин посвящал утро литературным занятиям: созданию и приуготовительным его трудам, чтению, выпискам, планам. Осенью, ⟨в⟩ эту всегдашнюю эпоху его сильной производительности, он принимал чрезвычайные меры против рассеянности и вообще красных дней: он или не покидал постели, или не одевался вовсе до обеда. По замечанию одного из его друзей, он и в столицах оставлял до осенней деревенской жизни исполнение всех творческих своих замыслов и в несколько месяцев сырой погоды приводил их к окончанию. Пушкин был, между прочим, неутомимый ходок пешком и много ездил верхом, но во всех его прогулках поэзия неразлучно сопутствовала ему. Сам он рассказывал, что, бродя над озером, тешился тем, что пугал диких уток сладкозвучными строфами своими[4], а раз, возвращаясь из соседней деревни верхом, обдумал всю превосходную сцену свидания Димитрия с Мариной в «Годунове». Какое-то обстоятельство помешало ему положить ее на бумагу тотчас же по приезде, а когда он принялся за нее через две недели, многие черты прежней сцены изгладились из памяти его. Он говорил потом друзьям своим, восхищавшимся этой встречей страстного Самозванца с хитрой и гордой Мариной, что первоначальная сцена, совершенно оконченная в уме его, была несравненно выше, несравненно превосходнее той, какую он написал. Так оправдываются стихи его:

На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокий,
Как он, без отзыва, утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю[5].

Если случалось оставаться ему одному дома без дела и гостей, Пушкин играл двумя шарами на бильярде сам с собой, а длинные зимние вечера проводил в беседах с няней Ариной Родионовной. Он посвящал почтенную старушку во все тайны своего гения. К несчастию, мы ничего не знаем, что думала няня о стихотворных забавах своего питомца.

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.
(Глава IV, «Евгений Онегин»)

---

* Деревянный дом Михайловского с одним этажом стоит на небольшом косогоре, внизу которого с одной стороны течет река Сороть, впадающая в Великую. Фасад дома обращен задом к реке и лицом к небольшому скверу, сзади которого тянется почти на версту густой парк с цветниками и дорожками.

Арина Родионовна была посредницей, как известно, в его сношениях с русским сказочным миром, руководительницей его в узнании поверий, обычаев и самых приемов народа, с какими подходил он к вымыслу и поэзии. Александр Сергеевич отзывался о няне как о последнем своем наставнике и говорил, что этому учителю он много обязан исправлением недостатков своего первоначального французского воспитания. Простонародный рассказ «Жених» остается блестящим результатом этих сношений между поэтом и *бывалой* старушкой. В тетрадях Пушкина находится семь сказок, бегло записанных со слов няни. Из них три послужили основой для известных сказок Пушкина, писанных им с 1831 года, именно для сказки «О царе Салтане», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О купце Остолопе и работнике его Балде»[6], да, вероятно, и остальные простонародные рассказы Пушкина вышли из того же источника, хотя оригиналов их мы и не находим в его тетрадях*. Для примера, каким образом Пушкин переделывал полученные им материалы, пропуская некоторые подробности, изменяя другие и придумывая совсем новые, укажем на «Царя Салтана». В нем сохранено, например, известие о рождении царевича (Гвидона) и притом, с небольшим изменением, словами самой няни:

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь,
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку, —

но выпущены 33 брата его и введено новое лицо — царевна Лебедь—совершенно необходимое для красоты и грации рассказа. «Мачеха» Арины Родионовны заменена бабой Бабарихой и самые чуда, разведенные царевичем на своем острове, благодаря Лебеди, расходятся у Пушкина во многом с рассказом няни. Так, у ней был кот: «У моря — лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот, вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет». Этот кот заменен у Пушкина белкой, грызущей золотые орешки и выбрасывающей изумруды вместо зерна, но кот не пропал: он очутился при издании «Руслана и Людмилы» в 1828 году в прологе поэмы:

У Лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом:
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит...

---

* См. сказки Арины Родионовны в Приложении II к «Материалам».

Вместе с отсутствием 33-х братьев царевича, брошенных в море, как и он, пропали и все подробности, до них касающиеся, между прочим, и способ, каким церевич узнает после их чудного спасения, что они — его братья. Он просит мать свою напечь лепешек из молока ее грудей: первый брат, отведавший лепешку, тотчас же воскликнул: «Ах, братцы, до сих пор не знали мы материнского молока» — и открыл себя. Много еще и других выдумок, созданных или полученных народом, со всей их затейливостью, с признаками особенной деятельности воображения, тщательно занесено Пушкиным в свои тетради. К некоторым он сделал пояснения. В одной сказке баснословного царевича ведут на казнь по проискам мачехи; он хохочет. А чему? Да тому, что передние колеса едут за лошадью, а задние-то за чем? Когда потом этот же царевич вешает купца Шелковника на шелковой виселице, Пушкин приписывает: «Вот куда каламбуры зашли». Трогательное впечатление производят эти рассказы няни, записанные в той же тетради, где и начало романа «Арап Петра Великого», и «Евгений Онегин», и «Цыганы», и много отдельных мыслей, блещущих умом и проницательностию*.

---

* Вот что писал сам Пушкин осенью 1824 года из деревни к брату: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма. Ах, боже мой! Чуть было не забыл. Вот тебе задача: историческое, сухое известие о Разине...»[7] У нас есть еще весьма любопытный документ о хозяйственных хлопотах Пушкина, когда в 1825 году, по отъезде отца и матери из деревни, он остался один в Михайловском. Документ содержит трогательную черту в отношении Арины Родионовны: «У меня произошла перемена в управлении. Розу Григ⟨орьевну⟩ я принужден был выслать за ⟨непристойное⟩ поведение и слова, которых не должен я был вынести. *А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть.* Я велел Розе подать мне счеты. Она показала мне, что за 2 года (1824 и 25) ей ничего не платили и считает по 200 р. на год — итого 400 р. По моему счету ей следует наличных денег 300 р. Из оных 100 выдам ей, а 200 перешлю в С.-Петербург. Узнай и отпиши обстоятельно, сколько именно положено ей благостыни и заплачено ли что-нибудь в эти два года. Я нарядил комитет из Василья Архипова и старосты[8], велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т. е. несколько утаенных четвертей... покамест я принял бразды правления»[9].

В приложениях к биографическим материалам читатель увидит несколько рассказов Арины Родионовны. Они поражают вообще хитростью и запутанностью содержания, которое иногда трудно и разобрать. Тут есть и Иван-царевич, отправляющийся за смертию Кощея Бессмертного, которая живет на море, на Окияне, на острове Буяне, и притом в дубе, а в дубе — дупло, а в дупле — сундук, а в сундуке — заяц, а в зайце — утка, а в утке — яйцо. Иван-царевич голоден, но не трогает ни собаки, ни ястреба, ни волка, ни барана, ни рака, встретившихся ему, а те служат ему за то верную службу: волк перевозит его через море, баран рогами сваливает дуб, собака ловит зайца, ястреб ловит утку, рак приносит яйцо со дна морского. Так еще подмененный царевич делается сыном кузнеца, удивляет народ ранним умом, разгадывает все загадки и выпутывает из беды названого своего отца, когда царь наказывает ему приехать к себе ни верхом, ни пешком, показать

В двух верстах от Михайловского лежит село Тригорское, известное публике по стихам Н. М. Языкова[11]. Там жило доброе, благородное семейство П. А. О⟨сипово⟩й, с которым Пушкин был в постоянных сношениях, любя его образованную и вместе сельски простую жизнь. Он часто там обедывал, часто туда заходил в своих прогулках и проводил там целые дни, довольный откровенной дружбой, с какой его встречали, и привязанностью всех членов его. Он посвятил П. А. О⟨сипово⟩й свои чудные подражания Корану, написанные, можно сказать, перед ее глазами, и вообще семейство это действовало успокоительно на Пушкина. Он встречал в нем и строгий ум, и расцветающую молодость, и резвость детского возраста. Усталый от увлечений первой эпохи своей жизни, Пушкин находил удовольствие в тихом чувстве и родственной веселости: грациозная гримаса, детская шалость нравились ему и занимали его. Если около этой поры еще встречаются восторженные стансы, как, например, «Я помню чудное мгновенье...», то более в виде мгновенного порыва, чем постоянного душевного настроения. Погруженный в свои воспоминания, Пушкин думал о славе и в ней искал успокоения для своего сердца и отмщения за все волнения и утраты его:

. . . . .И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно; чтоб ты мною
Окружена была; чтоб громкою молвою
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне...[12]

С тех пор действительно началось его постоянное служение славе, хотя цель, выраженная в стихах, давно была утрачена.

Непрерывная литературная переписка с друзьями принадлежала к числу любимых и немаловажных занятий Пушкина в это время. Переписка Пушкина особенно драгоценна тем, что ставит, так сказать, читателя лицом к лицу с его мыслию и выказывает всю ее гибкость, оригинальность и блеск, ей свойственный. Эти качества сохраняет она даже и тогда, когда теряет достоинство непреложной истины или возбуждает вопрос. Мы имеем только весьма малую часть переписки Пушкина, но и та принадлежит к важным биографическим материалам.

ему друга и недруга и поднести дар, которого бы он не взял. Кузнец приезжает на козле, приводит недруга — жену, которая от побой бранится и убегает, друга — собаку, которая от побой визжит и ласкается, в дар приносит ястреба под блюдом и проч. Изложение Пушкина однако же чрезвычайно бегло и едва дает понятие о самом цвете и физиономии, так сказать, няниных рассказов[10].

ГЛАВА X

Создания этой эпохи: «Онегин», «Цыганы», «Годунов»: Первая глава «Онегина» (появилась в 1825 г.). — Пролог к ней «Разговор книгопродавца с поэтом», значение его. — Журнальные толки об «Онегине». — «Московский телеграф» 1825 г. — Отзыв «Сына отечества» 1825 г. — Мнение друзей и почитателей. — Пушкин письменно защищает поэму. — Вопрос о том, «что выше — вдохновение или искусство». — Прение Байрона с Боульсом и применение этого спора к русскому спору по поводу «Онегина». — Предчувствие будущего развития идеи романа и письмо Пушкина об этом. — Заметка о Татьяне. — Осуждение эпитета «сатирический», данного роману в предисловии. — Значение романа. — Появление «Горе от ума», письмо Пушкина с критическим разбором комедии. — «Цыганы», отрывок из письма с заметкой о них и об «Онегине». — Появление отрывков «Онегина» в «Северных цветах».— Появление «Цыган» среди других печатных произведений Пушкина. — Требования по поводу «Цыган». — Создание «Бориса Годунова». — Мнение самого Пушкина о «Борисе Годунове». — Около «Бориса Годунова» сосредоточиваются мысли Пушкина о драме. — Французские письма Пушкина о трагедии вообще и о «Борисе Годунове». — План предисловия к «Борису Годунову». — Второе французское письмо с изменившимся взглядом на Байрона и мыслию сблизиться с Шекспиром. — Отрывок из предполагавшегося предисловия к драме. — Значение и пример полурусских, полуфранцузских фраз у Пушкина «о Валтер-Скотте». — Намерение написать полную картину Смутного времени. — Примеры сочетания размышления с вдохновением. — Программа письма Татьяны к Онегину. — Программа стихотворения «Наполеон», писанного в Кишиневе. — Программа для встречи Онегина с Татьяной. — Как писал Пушкин первые сцены «Годунова». — Процесс создания сцены Григория с Пименом. — Отступления, рисунки, перерывы в сцене, окончательная отделка сцены Пимена. — Первоначальная форма стихов «Не много лиц мне память сохранила...». — Сцена Пимена в печати в «Московском вестнике» 1827 г. и несбывшиеся ожидания успеха. — Новый взгляд на спор о классицизме и романтизме и на потребности публики. — Письмо по поводу «Бориса Годунова» о требованиях публики. — Замечание о летописях. — Несмотря на холодный прием Пушкин возвращается к своему труду. — Аристократизм Пушкина, любовь к предкам. — Пять строф из «Моей родословной» в «Отечественных записках» 1846 г. — Значение «Бориса Годунова». — Пушкин отдаляется от публики и уходит в себя. — Отрывки из французских писем Пушкина касательно его настроения по окончании «Бориса Годунова», он прощается с публикой.

Первая глава «Онегина» появилась в печати в течение 1825 года, предшествуемая известным прологом «Разговор книгопродавца с поэтом», который был окончен в Михайловском 26 сентября 1824 года и о значении которого весьма мало говорили: так затемнен он был романом, поглотившим все внимание публики и журналистов. А между тем в прологе глубоко и поэтически выражено состояние художника, уединенно творящего свои образы посреди шума и внешних волнений, как вообще любил себе представлять художника сам Пушкин. Вскоре мы увидим, что он усвоил себе теорию творчества, которая проводила резкую черту между художником и бытом, его окружающим. Стихи, которыми он очер-

тил свой идеал поэта, весьма основательно прилагались у нас к самому автору их:

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной[1].

Толки о новом романе не замедлили показаться. Журнал, только что основанный тогда в Москве, встретил его похвалами, весьма искренними, но которые не вполне шли к «Онегину« («Московский телеграф», 1825, № 5)[2] по весьма простой причине: угадать в первых чертах «Онегина» всю его физиономию, как она выразилась впоследствии, было бы делом сверхъестественной прозорливости. Предоставляя классикам отыскивать, к какому отделу пиитики принадлежит новый роман Пушкина, рецензент журнала удерживает за собой только право наслаждаться новым торжеством ума человеческого. Что же касается до определения его, то рецензент причисляет роман к тем истинно шуточным поэмам, где веселость сливается с унынием, описание смешного идет рядом с резкой строфой, обнаруживающей сердце человека. Образцы таких поэм представлены были, по его мнению, Байроном и Гете, и они ничего не имеют общего с легкими поэмами Буало и Попе, которые только смешат. Легко заметить, что и похвальная статья о Пушкине была в сущности, хотя и косвенно, только полемической статьей. Это составляло основной характер журнала... Онегина он понимал очень просто: «шалун с умом, ветреник с сердцем — он знаком нам, мы любим его» — и хотя называл произведение Пушкина национальным, но потому, что в нем «видим свое, слышим свои родные поговорки, смотрим на свои причуды, *которых все мы не чужды были некогда*». Противники Пушкина отнесли, наоборот, всю главу к чистому подражанию и притом с оговоркой, которая вообще ставила неизмеримое пространство между способом представлять свои мысли у оригинала и у подражателя его. «Цель Байрона, — говорили они с иронией («Сын отечества», 1825, часть С)[3], — *не рассказ*, характер его героев — *не связь описаний*; он описывает предметы не *для предметов самих*, не для того, чтобы представить *ряд картин*, но с намерением выразить впечатления их на лицо, выставленное им на сцену. Мысль истинно пиитическая, творческая...» «Онегину» критик отказывал в народности следующими резкими словами: «Я не знаю, что тут народного, кроме имен петербургских улиц и рестораций. И во Франции и в Англии пробки хлопают в потолок, охотники ездят в театры и на балы». Но взамен находил ее в «Руслане и Людмиле»: «Приписывать Пушкину лишнее, значит отни-

мать у него то, что истинно ему принадлежит. В «Руслане и Людмиле» он доказал нам, что может быть поэтом национальным».

Оставляя в стороне мнения журналов, должно сказать, что самые друзья Пушкина, которым было знакомо свойство его останавливаться преимущественно на творческих идеях, находили содержание «Онегина» едва-едва достойным поэтического дарования. Подобно некоторым журналам, глава нового романа казалась им только ошибкой гениального человека, увлеченного чтением Байрона. Они видели в его произведении «чертовское», по их словам, дарование, способное сообщить увлекательность и предмету ничтожному в самом себе. Упорно держались они мнения, что «Онегин» ниже и «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана», и готовы были, как сами утверждали, отстаивать свое мнение, хоть до светопреставления[4]. С какой-то недоверчивостью смотрели они на шутку романа и на веселость, разлитую в нем, в которой не замечали ни малейшей примеси сатиры. Длинные письма разменены были по этому поводу; Пушкин защищался с жаром. «Мне пишут много об «Онегине», — сообщал он одному из своих друзей, — скажи им, что они не правы. Ужели хотят изгнать все легкое и веселое из области поэзии? Куда же денутся сатиры и комедии? Следственно, должно будет уничтожить и «Orlando furioso»*, и «Гудибраса», и «Вер-Вера», и «Рейнеке», и лучшую часть «Душеньки»[5], и сказки Лафонтена, и басни Крылова, и проч. Это немного строго. Картина светской жизни также входит в область поэзии, но довольно...»[6] Особенно затрудняло почитателей Пушкина отсутствие всякой торжественности в новом романе или вдохновения, как говорили они. В нем видели они одну победу искусства, и спор перешел к вопросу: что выше — вдохновение или искусство? Пушкин запутался в этом споре, как и следовало ожидать. Он приводил мнение Байрона в известном споре его с Боульсом (Bowles), что человек, мастерски описавший колоду карт, как художник, выше человека, посредственно описывающего деревья, хотя бы их была целая роща; но вскоре почувствовал неловкость примера**. По первому замечанию приятелей он отступил от

---

* «Неистового Роланда» (*итал.*). — *Ред.*

** Остроумная и довольно странная полемика Байрона с посредственным поэтом и лицеприятным биографом Попе Боульсом происходила немного ранее пушкинского спора с приятелями, именно в 1821 году, но там дело шло о вопросе: что выше — изображения ли природы или изображения тленных, искусственных вещей? Байрон держался последнего мнения, и от этого произвольного разделения двух необходимых элементов каждого создания произошел спор, удивляющий теперь богатством ловких и блестящих парадоксов. Боульс говорит, например, что корабль заимствует всю свою поэзию от волн, ветра, солнца и проч., а сам по себе ничего не значит. Байрон, не терпевший поэзии лакистов[7], на сторону которых склонялся его противник,

своего мнения и добродушно признался, что он был увлечен в жару полемики.

Пушкин, как видно, сам предпочитал вдохновение искусству: «Я было хотел покривить душой, — писал он, — да не удалось. И Bowles и Байрон в моем споре заврались. У меня есть на то очень дельное опровержение, переписывать скучно...»[11] В другом отрывке письма, который прилагаем, Пушкин уже находится в полном обладании идеей собственного произведения. Если с одной стороны правда, что он в первой главе «Онегина» еще «не ясно различал» даль своего романа[12], то с другой не менее истинно, что он, по крайней мере, предчувствовал его развитие. Это оказывается из отрывка нашего:

«Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки ты смотришь на «Онегина» не с той точки, все-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с «Д⟨он⟩ Жуаном»[13]. Никто более меня не уважает «Д⟨он⟩ Жуана» (первые пять песней; других не читал), но в нем нет ничего общего с «Онегиным». Ты говоришь о сатире англичанина Байрона, и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня та-

---

утверждал, что волны и ветры сами по себе, без поэзии искусственных предметов, еще не могут составить картины. Воду, говорил он, можно видеть и в луже, ветер слышать и в трещинах хлева, а солнцем любоваться и в медной посудине — от этого еще ни вода, ни ветер, ни солнце не сделаются предметами поэтическими. Спор этот можно назвать истинным предшественником того, о котором говорим теперь в биографии. Нет сомнения, что Байрон выдерживал его с удивительным мастерством, изворотливостью и остроумием. Между прочим он говорил, что много есть морей величественнее архипелага, скал выше, красивее Акрополиса и мыса Суниума, мест живописнее Аттики, но более поэтических предметов, благодаря памятникам искусства, возвышающим их достоинство, нет на свете. Он спрашивал потом: «Отымите Рим, оставьте только Тибр и семь холмов его и заставьте лакистов наших описывать красоту места, спрашиваю: что будет сильнее исполнено поэзии — картина ли их произведений или первый указатель предметов, первый indicateur d'objets, попавшийся вам под руку?» (смотри письмо Байрона к Мурраю из Равенны от 7-го февраля 1821). Переходя к возражению Боульса, который утверждал, что описать деревья достопочтеннее, чем употребить талант на изображение колоды карт, Байрон замечал, что тут есть смешение предметов, но что писатель, умевший сделать поэтический предмет из колоды карт, конечно, выше того, кто вяло описывает деревья, соблюдая, например, только верность и сходство с их внешними признаками. Пушкин обрадовался этой мысли Байрона как благодетельному союзнику в его собственном споре; однако ж она нашла сильный отпор в его приятелях: «Мнение Байрона, — писали они, — тобою приведенное, несправедливо. Поэт, описавший колоду карт лучше, нежели другой деревья, не всегда выше своего соперника. У каждого свой дар, своя муза. Майкова «Елисей» прекрасен[8], но был ли ⟨бы⟩ он таким у Державина — не думаю, несмотря на превосходство таланта его перед талантом Майкова. Державина «Мариамна»[9] никуда не годится. Следует ли из того, что он ниже Озерова? Не согласен и на то, что «Онегин» выше «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника», как творение искусства. Сделай милость, не оправдывай софизмов В⟨оейковых⟩: им только дозволительно ставить искусство выше вдохновения. Ты на себя клеплешь и выводишь бог знает что...»[10]

ковой же. Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня сатира? О ней и помину нет в «Ев. Онегине» ... Самое слово *сатирический* не должно бы находиться в предисловии*. Дождись других песен... Ты увидишь, что если уж и сравнивать «Онегина» с «Д⟨он⟩ Жуаном», то разве в одном отношении: кто милее и прелестнее (gracieuse), Татьяна или Юлия?[15] Первая песнь просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мною случается). Сим заключаю полемику нашу... 12 марта. Михайловское».

Такие-то бури окружали рождение этого детища, которому суждено было пройти, так сказать, рядом с Пушкиным почти через все существование его и выразить взгляд на его современное общество. Основательно сказано было, что роман этот столько же принадлежит поэзии, сколько и истории нашей, как драгоценное свидетельство о нравах, обычаях и понятиях известной эпохи[16].

При появлении «Онегина» внимание публики было разделено между ним и комедией «Горе от ума», с которой она тогда ознакомилась. Это произведение, одно во всей нашей литературе, соперничало по успеху своему с романом Пушкина и имело одинаковую с ним участь. Оба разошлись по лицу России в бесчисленных применениях к ежедневным случаям, сделались родником пословиц, нравственных сентенций и проч. Суждение Пушкина о комедии Грибоедова чрезвычайно замечательно. Оно опередило несколькими годами всю последующую, весьма основательную, критику, какой подвергнута была комедия, и редко случается, как сейчас увидим, встретить в немногих простых словах так много существенного и вызывающего на размышление:

«⟨Рылеев⟩ доставит тебе моих «Цыганов»: пожури моего брата за то, что он не сдержал своего слова— я не хотел, чтоб эта поэма была известна прежде времени; теперь нечего делать — принужден ее напечатать, пока не растаскают ее по клочкам[17]. Слушал Чацкого, но только один раз и не с тем вниманием, коего он достоин. Вот что мельком успел я заметить. Драматического писателя должно судить по зако-

* Первая глава «Ев. Онегина» сопровождалась, кроме «Разговора книгопродавца с поэтом», еще вступлением. (О нем и о некоторых приложениях подробнее сказано в примечаниях наших к роману.) Небольшое вступление это, не имевшее никакого оглавления и писанное самим Пушкиным, заключало слова: «Но да будет нам позволено обратить внимание читателя на достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов». В том же письме Пушкина, первая половина которого будет нами приведена впоследствии, заключаются еще эти замечательные слова: «Надеюсь, что наконец отдашь справедливость Катенину. Это было бы кстати, благородно, достойно тебя. Ошибаться—и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию. Бескорыстное признание в этом требует душевной силы». Это относилось к критику «Полярной звезды»[14].

нам, им самим над собою признанным, — следственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов и Скалозуб превосходны. Софья начертана неясно. Молчалин не довольно резко подл: не нужно ли было сделать из него и труса? Старая пружина, но штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом, мог быть очень забавен. Les propos du bal*, сплетни, рассказ Репетилова о клубе, Загорецкий, всеми отъявленный и везде принятый, — вот черты истинно комического гения. Теперь вопрос: в комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все это говорит он очень умно, но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого раза знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому под. Кстати, что такое Репетилов? В нем 2, 3, 10 характеров. Зачем делать его гадким? Довольно, что он ветрен и глуп с таким простодушием; довольно, чтоб он признавался поминутно в своей глупости, а не в мерзостях. Его смущение чрезвычайно ново на театре; хоть кому из нас не случалось конфузиться, слушая ему подобных кающихся... Между мастерскими чертами этой прелестной комедии недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину прелестна. И так натурально! Вот на чем должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов верно не захотел: его воля! О стихах я не говорю — половина должна войти в пословицу. Покажи это Грибоедову: может быть, я в ином ошибся. Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог я справиться. По крайней мере говорю прямо, без обиняков, как истинному таланту»[18].

«Цыганы», о которых упомянул Пушкин в начале своего письма, впервые являются между второй и третьей главой «Онегина», как уже знаем, но кончены в Михайловском[19], откуда и письмо, приложенное нами, написано. Кажется, то же самое место должны они сохранять и в критической оценке литературной деятельности Пушкина. Подобно тому как Онегин в первой главе романа еще сохраняет какую-то дальнюю, неопределенную родственную черту с типами британского поэта (следующие главы романа уже вступают в самое сердце русской жизни), так и на физиономии Алеко в «Цыганах» еще волнуется тень байроновских героев. Зато

* Бальная болтовня *(франц.)*. — *Ред.*

картина цыганского табора и характер Земфиры отличаются самостоятельностию и выражением строгой красоты, свойственной последнему периоду пушкинского развития. Эти качества не утеряли и доселе своей цены. По прошествии 25-ти лет со времени появления «Цыган» они еще производят обаятельное впечатление на читателя по свежести и теплоте красок, разлитых в них. Не будем говорить о главном действующем лице. Хотя оно и навеяно Байроном, но трагического величия героев его в нем нет нисколько. Философствующий эгоист, с сердцем испорченным, постоянною мыслию о самом себе, он гораздо яснее Кавказского Пленника и гораздо лучше очерчен Пушкиным, чем прежние характеры, им созданные. Поэт весьма ловко противопоставил этот образ существа, не отыскавшего истока чувству гордости и тщеславия, быту простого, дикого племени, которого он, по грубости сердца, еще и недостоин. Скажем только, что ни одно произведение поэта, ни прежде, ни после, не производило такого впечатления на публику, как «Цыганы». Еще ранее печати (1827 г.) они в бесчисленных копиях разошлись по всему читающему миру нашему, что, между прочим, отняло у автора много денежных выгод. Мы видели уже, как беспокоился он преждевременной известностью поэмы. В том же 1824 году Пушкин писал к Дельвигу[20]: «Знаешь ли? Уж если печатать что, так возьмемся за «Цыганов». Надеюсь, что брат их перепишет, а ты пришли рукопись ко мне, я доставлю предисловие и, может быть, примечания — и с рук долой. А то всякий раз, как я об них подумаю, или прочту слово в журнале — у меня кровь портится. В собрании же моих поэм, для новинки, поместим мы другую повесть в роде «Верро»[21], которая у меня в запасе. Жду ответа»*.

Эта повесть в роде «Беппо» был именно «Ев. Онегин», с которым ознакомились петербургские литераторы впервые по отрывкам, напечатанным в «Северных цветах» на 1825 год. Тогда и возгорелась полемика, изложенная нами несколько прежде. Что касается до предисловия к «Цыганам», то в рукописях автора сохраняется, действительно, что-то похожее на предисловие (см. примечания к поэме)[22]. Ни одно из предположений Пушкина, однако же, не состоялось. Поэма «Цыганы» явилась только три года спустя после письма, и ей предшествовало еще собрание стихотворений Александра Пушкина, изданное в 1826 году, а издание всех поэм вместе приведено в исполнение весьма поздно — в 1835 году.

Не можем пропустить без внимания и странных требований, возникших по поводу «Цыган». Они чрезвычайно хоро-

* Переписку поэта с братом своим вообще мы изложим позднее, при описании отношений между ними.

що определяют одностороннее воззрение на искусство, нисколько не потрясенное вводом романтизма в нашу литературу. Один из приверженцев новой школы возмущался тем, что Алеко водит медведя, собирает деньги etc., и сожалел, что автор не сделал из него хоть кузнеца[23]. Это черта характеристическая!

Без всякого посредствующего звена мы переносимся к «Борису Годунову», и, конечно, подобный скачок был бы совершенно невероятен, если бы несомненная хронологическая цепь произведений Пушкина положительно не указывала на него и не приводила к нему. «Борис Годунов» начат и кончен в Михайловском. Следуя нашей системе, прежде всего мы соберем вокруг «Бориса Годунова» все, что думал и писал о нем сам автор.

Начнем с того, что это любимое произведение поэта составляло, так сказать, часть его самого, зерно, из которого выросли почти все его исторические и большая часть литературных убеждений. Не без волнения отдавал он его в свет, не без волнения знакомил с ним друзей своих, и холодный прием, сделанный «Борису Годунову» публикой и журналистами, несмотря на то, что он ожидал его, оставил в авторе надолго глубокое огорчение... Только позднее помирился он с критикой, откровенно и благородно, по обыкновению своему, предоставляя другому времени поправить ошибки настоящего. В бумагах Пушкина есть черновое письмо неизвестно к кому, где мы читаем[24]: «...с отвращением решаюсь я выдать в свет ⟨свою трагедию⟩. И хоть я вообще довольно равнодушен к успеху или неудаче своих сочинений, но, признаюсь, неудача «Бориса Годунова» будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен. Как Монтань, я могу сказать о моем сочинении: «C'est une oeuvre de bonne foi»[25]*. Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, плод добросовестных изучений, постоянного труда, трагедия сия доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено: живое занятие вдохновению, внутреннее убеждение, что мною употреблены были все усилия, наконец, одобрение малого числа избранных... Трагедия моя уже известна почти всем тем, мнением которых дорожу. Одного недоставало в числе моих слушателей: того, кому я обязан мыслию моей трагедии, чей гений одушевил и поддержал меня, чье одобрение представлялось воображению моему сладкою наградой и единственно развлекало посреди уединенного труда»**.

Так много соединялось для Пушкина в «Борисе Годунове» воспоминаний сердца; такими тонкими нитями связан он

---

* «Это добросовестное произведение» *(франц.)*. — *Ред.*

** Это воспоминание о Карамзине показывает, что самые строки написаны гораздо позднее 1825 г.[26].

был с душой самого поэта! Мало того: он собрал вокруг трагедии мысли о драматическом искусстве, рожденные чтением и собственными размышлениями, и оперся на нее в окончательной установке своего взгляда на этот предмет. Мы имеем несколько черновых писем его к разным лицам, которыми и воспользуемся, в ожидании того, когда владетелям их угодно будет ознакомить публику с настоящими, исправленными подлинниками. Цель биографии — уловить мысль Пушкина, и для того она может употребить в дело даже первые, еще бледные очерки.

Мы принуждены, однако же, начать с двух французских писем Пушкина о трагедии: они, может быть, замечательнее всех писанных им по этому случаю. Всякий, кто потрудится сличить перевод наш с оригиналами, отнесенными нами в Приложения, конечно, увидит, как много потеряли они здесь в энергии выражения и в колорите вообще*[27].

«Вот моя трагедия, если уж вы настоятельно того хотите, но прежде всего требую, чтоб вы пробежали последний том Карамзина... Она исполнена шуток и тонких намеков, относящихся к истории того времени. Надо уметь понимать их — sine qua non**.

По примеру Шекспира я ограничился изображением эпох и лиц исторических, не гоняясь за сценическими эффектами, романтическими вспышками и проч. Стиль ее вышел смешанный. Он пошл и низок там, где мне приходилось выводить грубые и пошлые лица. Не обращайте внимания на злоупотребления этого рода — все это писалось очень бегло и может быть исправлено при первой переписке. Не без удовольствия думал я сперва о трагедии *без любви;* но кроме того, что любовь составляла существенную часть романического и страстного характера моего пройдохи, но Лже-Димитрий еще влюбляется у меня в Марину; я принужден был допустить это из желания выказать сильнее странный характер последней. Карамзин собственно только дотронулся до нее. Конечно, это была из хорошеньких женщин самая странная. В жизнь свою она имела одну страсть — честолюбие, но в

---

* Первое письмо, которое теперь приводим, писано Пушкиным в 1829 году[28]. Оно носит пометку «1829 S.P.b.» (т. е. Санкт-Петербург. — *Ред.*) и при ней число 30-е, но с неразборчивым обозначением месяца, которое можно читать одинаково: Juin и Janvier (июнь и январь *(франц.). — Ред.*). Слова «S.P.b.», к удивлению, тоже зачеркнуты, так что мы теперь имеем одно только несомненное указание года, а указания места и числа недостает. С равной основательностью можно думать, что Пушкин написал его до отправления в Арзрум, когда он был в Петербурге, или в самом Арзруме, где он находился в июне месяце 1829 г. Как бы то ни было, но оба письма принадлежат к плану составить предисловие для «Бориса Годунова», явившегося в свет, как известно, в 1831 году. Копии с оригиналов находятся в Приложении III к нашим «Материалам».

** непременное условие *(лат.). — Ред.*

степени энергии, бешенства, какую трудно и представить себе. Посмотрите, как она борется с войной, нищетой, позором и, в то же время, сносится с польским королем, как будто равная с равным и, наконец, постыдно кончает самое бурное, самое необыкновенное существование. Она является только два раза у меня; но я возвращусь к ней, если продлятся дни мои. Она возмущает меня, как страсть.

Гаврила Пушкин — мой предок. Я изобразил его, как нашел в истории и в бумагах моей фамилии. Он обладал большими способностями, будучи в одно время и искусным военным, и придворным человеком. Вместе с Плещеевым он был первый, очистивший путь Самозванцу своей неслыханной дерзостью. Мы находим его потом в Москве в числе 7⟨-ми⟩ начальников, защищавших ее в 1612 году; в 1616 в Думе, рядом с Козьмой Мининым, потом воеводой в Нижнем, наконец посланником. Он был всем. Он выжег один город в виде наказания за какой-то проступок, как я это нашел в одной грамоте «Погорелого Городища».

Я также намерен возвратиться к Шуйскому. Он представляет в истории странное смешение дерзости, изворотливости и силы характера. Слуга Годунова, он один из первых переходит на сторону Димитрия, первый начинает заговор, и, заметьте, — он же первый и старается воспользоваться сумятицей, кричит, обвиняет, из начальника делается сорванцом. Он уже близок к казни, но Димитрий дает ему помилование, изгоняет его и снова возвращает ко двору своему, осыпая честью и щедротами. И что же делает Шуйский, уже стоявший раз под топором? Тотчас же принимается за новый заговор, успевает, захватывает престол, падает и в падении своем уже показывает более достоинства и душевной силы, чем в продолжение всей своей жизни.

Грибоедов недоволен был Иовом.

При сочинении «Годунова» я думал вообще о трагедии — не обошлось бы без шума. Род этот не исследован. Законы его стараются вывести из правдоподобия, а по существу своему драма исключает правдоподобие. Не говоря уже о единстве времени и места, да какое же, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, одна половина которой наполнена 2000 человек, а другая людьми, которые стараются показать, что не замечают первых. 2) *Язык*. Например: Филоктет у Лагарпа чистым французским языком отвечает Пирру, выслушав его тираду: «Увы! Я слышу сладкие звуки эллинской речи!» Все это только условное неправдоподобие. Истинные гении трагедии понимали иначе: они старались достигнуть только правдоподобия характеров и положений. Посмотрите, как Корнель запросто поступил с своим «Сидом». Вам непременно нужен закон 24 часов? Извольте». И в 24 часа он нагромождает событий на 4 месяца. А как

смешны маленькие поправки в принятых уже законах. Алфиери глубоко чувствует смешную сторону a *parte**, уничтожает эту уловку, но вместе с тем растягивает донельзя *монолог*. Какое ребячество!

Длинно мое письмо, более, чем я хотел, но сберегите его. Может быть, оно мне понадобится, если придет на ум сочинить предисловие».

Второе французское письмо Пушкина написано уже в 1825 году и содержит первую мысль того, которое нами приведено. Таким образом, Пушкин думал о предисловии к «Борису Годунову» почти в одно время с его созданием. Это письмо особенно дорого тем, что выражает уже изменившийся взгляд Пушкина на Байрона и сближение нашего поэта с Шекспиром.

«Правдоподобие положений, истина разговора — вот настоящие законы трагедии. Я не читал ни Кальдерона, ни Вегу, но что за человек Шекспир? Я не могу прийти в себя от изумления. Как ничтожен перед ним Байрон-трагик, Байрон, во всю свою жизнь понявший только один характер — именно свой собственный (женщины не имеют характера, они имеют страсти в молодости — от того не трудно и выводить их). И вот Байрон одному лицу дал свою гордость, другому ненависть, третьему меланхолическую настроенность; таким образом из одного полного, мрачного и энергического характера вышло у него множество незначительных характеров. Разве это трагедия?

Существует и еще заблуждение. Придумав раз какой-нибудь характер, писатель старается высказать его и в самых обыкновенных вещах, наподобие моряков и педантов в старых романах Фильдинга. Злодей говорит «дайте мне пить», как злодей, а это смешно. Вспомните Байронова Озлобленного: Ha pagato! (Он заплатил!)[29] Это однообразие, этот придуманный лаконизм и беспрерывная ярость — все это далеко от природы. Отсюда неловкость разговора и бедность его. Но разверните Шекспира. Никогда не выдаст он своего действующего лица преждевременно. Оно говорит у него со всею беззаботливостию жизни, потому что в данную минуту, в настоящее время поэт уже знает, как заставить его говорить сообразно характеру, им выражаемому.

Вы спросите еще: трагедия ли это только с характерами или трагедия с исторической верностью (de costume). Я избрал легчайший путь, но старался соединить оба эти рода. Я пишу и вместе думаю. Большая часть сцен требовала только обсуждения. Когда приходил я к сцене, требовавшей уже вдохновения, я или пережидал, или просто перескакивал через нее. Этот способ работать для меня совершенно нов. —

* ⟨речи⟩ в сторону *(франц.)*. — *Ред.*

Я знаю, что силы мои развились совершенно и чувствую, что могу творить...»[30]

Невольно останавливаешься на этих строках, столь исполненных мысли и по которым пробегает электрическая искра живого ума. Строки эти были исходным пунктом всех последующих статей Пушкина о драматическом искусстве. Положения, в них заключающиеся, он развивал в письмах к другим лицам, в проектах статей, в отдельных заметках, а некоторые из них даже перенес с Байрона на Мольера: «У Мольера, — говорит он, — лицемер волочится за женой своего благодетеля, лицемеря, принимает имение, лицемеря, спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостью, но справедливо и проч. ...» (См. записки Пушкина)[31]. И в обоих случаях Пушкин был прав, потому что и Байрон-трагик, и Мольер сходствуют в манере творчества, заботясь преимущественно о том, чтобы лицо ни на минуту не утеряло идеи и характера, которые призвано выражать. Неоконченная, едва набросанная статья его «О драме»[32], которая помещена была в последнем издании и исправлена нами по рукописи, есть также развитие основной мысли писем о невозможности полной истины на театре, замененной и древними трагиками, и новыми подражателями их, и романтическими писателями, только *условной* правдоподобностью. Нить, связывающая все виды драмы, по мнению Пушкина, есть правдоподобие характеров, истина чувств, и это мнение далеко оставляло за собой тогдашние споры, указывая почетное место в области изящного Расину, Корнелю наравне с Шекспиром, Кальдероном и др.[33]. Каждая строка последующих его изысканий есть только повторение и распространение этих коренных, так сказать, убеждений. Переходим к русскому черновому отрывку. Он едва набросан у Пушкина, с трудом разобран нами, но крайне любопытен: он также принадлежит к цепи предварительных заметок, какие составлял около 1830 г. Пушкин, имея в виду предисловие к «Борису Годунову».

«...о царе Борисе и о Гр. Отрепьеве»[34] писана в 1825 году, и долго не мог я решиться выдать ее в свет. Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль оживить в драматических формах одну из самых драматических эпох новейшей истории. Шекспиру подражал я в его вольном и широком изображении характеров; Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий; в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. Источники богатые! Успел ли ими воспользоваться — не знаю. По крайней мере, труды мои были ревностны и добросовестны.

Долго не мог я решиться напечатать свою драму. Хороший или худой успех моих стихотворений, благосклонное

или строгое решение журналов о какой-нибудь стихотворной повести слабо тревожили мое самолюбие. Читая разборы самые оскорбительные, старался я угадать мнение критика, понять, в чем именно состоят его обвинения, и если никогда не отвечал на оные, то сие происходило не из презрения, но единственно из убеждения, что для нашей литературы *il est indifférent**, что такая-то глава «Онегина» выше или ниже другой**. Но признаюсь искренне, неуспех драмы моей огорчил бы меня; ибо я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не светский обычай трагедии Расина, и что всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены».

Так, предпочтение Шекспира всем другим образцам не было у Пушкина делом увлечения, а результатом обдуманного намерения, и связывалось с довольно трудной задачей, которую он впоследствии, однако ж, совсем отбросил и на которую смотрел даже насмешливо, как увидим вскоре. Следующие затем отрывки не менее любопытны:

1) «Приступаю к некоторым частным объяснениям. Стих, употребленный мною (пятистопный ямб), принят обыкновенно англичанами и немцами. У нас первый пример оному находим мы, кажется, в «Аргивянах»[37]. А. Жандр в отрывке своей прекрасной трагедии, писанной стихами вольными,

---

* безразлично *(франц.). — Ред.*

** Эта полурусская, полуфранцузская фраза принадлежит тоже к особенностям пушкинского таланта. Удивительно развитое чувство русского языка нисколько не портилось и нисколько не потемнялось в нем тем, что он мыслил иногда на чужом языке. В беглых заметках, писанных для себя, наскоро, чудно мешаются у него оба языка, смотря по тому, какой пришел первый на мысль. Пушкин по произволу сбрасывал, когда хотел, всякую чуждую примесь и допускал ее потом без малейшего ущерба для своей народной, русской речи. Почти нет заметки в его бумагах без галлицизмов и французских фраз. Вот, например, замечательный образец этого смешения: «Главная прелесть романов W. Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем, не с enflure (напыщенностью *(франц.). — Ред.*) французских трагедий, не с чопорностию чувствительных романов, не с dignité (достоинством *(франц.). — Ред.*) истории, но современно, но домашним образом. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих la dignité et la noblesse. Ils sont familiers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n'a rien d'affecté, de théâtral, même dans les circonstances solennelles — car les grandes circonstances leur sont familières (Перевод: достоинство и благородство. Они просты в буднях жизни, в их речах нет приподнятости, театральности, даже в торжественных случаях, так как величественное для них обычно *(франц.). — Ред.*)»[35].

Вероятно, эта заметка приготовлялась для какой-либо критической статьи и была бы изложена тем простым и легким русским словом, каким обладал автор ее в высшей степени. Не надо выпускать из вида, однако же, другого обстоятельства. Пушкин сознавался, что писать по-русски все-таки труд. «У нас нет, — говорил он, — готового оборота для самого обыкновенного понятия, а все надо создавать» (см. статью о предисловии Лемонте)[36]. Французский язык был в этом случае уже важным облегчением, особенно для письма, записки, отдельной мысли, на которые нельзя было терять много времени.

преимущественно употребляет его[38]. Я сохранил цезурку французского пентаметра на второй стопе и, кажется, в том ошибся, лишив добровольно свой стих свойственного ему разнообразия.

2) Есть шутки грубые, сцены простонародные. Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если может их избежать; если ж нет, то ему нет нужды стараться заменять их чем-нибудь иным.

3) Нашед в истории одного из предков моих, игравшего важную роль в сию несчастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о щекотливости приличия, con amore»* и проч.

Не одни основные положения французских писем развивал Пушкин в своих статьях, переписке и даже в разговоре с друзьями, но и многие подробности их. Так, обещание возвратиться к Шуйскому и к Марине подтверждается свидетельством коротких знакомых его, что он имел намерение написать хронику из жизни Шуйского, Лже-Димитрия и несколько сцен из междуцарствия, что составило бы полную картину избранной им эпохи[39]. Так, еще собственное его указание о способе работы при создании «Годунова» может быть распространено на все его произведения, и мы приводим здесь поучительные примеры тому глубокому сочетанию размышления и вдохновения, о котором он говорит в них.

Почти каждая строка его стихов свидетельствует об этой особенности его удивительно мужественного таланта. Поучительно видеть, как из страницы, кругом исчерченной и, можно сказать, обращенной в самую мелкую сетку помарок, вытекает стихотворение чистое, как алмаз, с роскошной игрой света и в изумительной обделке. Мы вправе думать, что пьесы, написанные Пушкиным сразу, прошли чрез то же горнило художественного труда, но только в голове его; по крайней мере, так следует заключать из обыкновенной его методы создания. Блестящая память Пушкина, на которую он рассчитывал с основательностию, унесла с собою много его стихотворений. В бумагах остались от этих произведений — вероятно, совершенно конченных в уме поэта, — одни только последние слова каждого стиха, одни только рифмы. В конце биографии нашей собрана большая часть этих следов утерянной мысли поэта, если не все они. Часто даже он излагал основную мысль стихотворения, строфы или монолога в прозе, в предварительных, беглых заметках; они служили ему рассчитанными ступенями, по которым восходило его поэтическое одушевление тихо, ровно, но вместе свободно и легко. Письму Татьяны к Онегину предшествовали, например, следующие, едва разбираемые теперь строки: «Я знаю, что вы презираете... я долго хотела молчать... я дума-

---

* с любовью *(итал.)*. — *Ред.*

ла, что вас увижу... я ничего не хочу — хочу вас видеть... Придите... Вы должны быть — *и то, и то,* ... Если нет — меня обманул...» И вслед за этим Пушкин перелагает эту бедную программку на те чудные стихи, которые, вероятно, живут в памяти всех наших читателей:

Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела,
Хоть редко, хоть в неделю раз,
В деревне нашей видеть вас *и проч.**.

Все письмо, до самого конца, идет, не отступая от первоначальных заметок и развивая только в превосходной картине их сухие указания. Еще поразительнее этот способ творчества в сцене встречи Онегина с Татьяной и его холодных советов. Содержание всей сцены изображено в следующих бессвязных словах: «Когда б я думал о браке, когда бы мирная семейственная жизнь нравилась моему воображению, то я бы вас выбрал — никого другого... я бы в вас нашел... но я не создан для блаженства etc ... (недостоин)... Мне ли соединить мою судьбу с вашей?.. Вы меня избрали: вероятно я первая ваша passion** — но уверены ли... Позвольте вам совет дать». Здесь мы уже видим, что поэту даже представлялась в ту минуту, как он писал свою программу, самая поэтическая форма будущего монолога. В ней встречаете вы уже один полный стих его и словом «недостоин» в скобках обозначено три следующих за ним:

Но я не создан для блаженства:
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе *недостоин я.*

Несмотря на это, поэт не бросил своей программы, уверенный, что найдет свое добро тотчас, как захочет. Спокойно дописал он свои заметки и вслед за ними начал:

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел; ...

и так, не отступая от значков, поставленных на пути своем, дописал он весь превосходный монолог Онегина... Все это

---

* Мы забыли сказать, что первый образец программы для стихотворений мы встретили еще в кишиневской тетради поэта, перед лирической песней «Наполеон». Вот ее содержание: «Народы спрашивают: Тот ли, который... Где он?.. Угас тот, который *то и то* — и Россию... Но да не упрекнет его русский ... Россия славна — бедная Франция в унижении... Он об ней мыслил... Остров Елены — там он думал об России...»

** любовь *(франц.). — Ред.*

принадлежит к сокровенным тайнам творчества, заслуживающим изучения.

К сожалению, мы не имеем полной черновой рукописи «Бориса Годунова». В тетрадях Пушкина остались только четыре первые сцены, начиная с разговора Шуйского и Воротынского в Кремлевских палатах до сцены летописца Пимена в Чудовом монастыре включительно[40]; но и это принадлежит к драгоценным остаткам для тех, кто понимает значение первых планов, по которым выстроились великие произведения. «Борис Годунов» писался вместе с «Цыганами», вместе с IV и другими главами «Онегина», которые перерезывают его, так сказать, во многих местах. Вдобавок еще между первой и второй сценой его находится черновая записка, касающаяся лично до Пушкина и написанная как будто от безделья[41]. Всего замечательнее, что сцена летописца Пимена, проникнутая с начала до конца поэтическим вдохновением, прерывается несколько раз, подтверждая несомненным образом свидетельство автора, что он поджидал вдохновения, когда необходимо было его участие в создании. С первого монолога Пимена, со стиха «Немного слов доходит до меня...», Пушкин покидает летописца, набрасывает строфу из «Цыган», стихотворение «Сожженное письмо», XVII и XXIII строфы «Евгения» (4 главы) и возвращается к нему с пророческим сном Григория, столь удивительно просто изложенным и столь зловещим в устах молодого послушника:

Ты все писал и сном не позабылся,
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил... *и проч.*

Между прочим, эти три превосходные стиха находятся еще в виде одного, не вполне развитого в рукописи. Там вместо их еще читается только: «Три раза в ночь злой враг будил меня». Рассказ Григория написан в первых числах января 1825 г. Он при самом начале оставляется Пушкиным для XXIV строфы «Онегина» (4 главы) и многих других строф, попавших в следующие главы романа. Поэт наш возвращается к Григорию после них и приносит описание его томлений в келье благочестивого отшельника, его мыслей о старце, трудящемся за летописью:

Как я люблю его спокойный вид,
Когда, душой в минувшем погруженный,
Он летопись свою ведет...

Вот начинаются тоскливые, мятежные расспросы его о былом, о дворе Иоанна, его роскоши, о битвах, и раздается величавый голос инока — этот голос, который в тишине отшельнической кельи, ночью, звучит, как умиротворяющий благовест и как живое слово из дальних веков.

Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе Всевышний...

И тут-то невольно поражены вы прозаической строкой, предшествующей всему этому монологу, в котором древняя наша история облачилась в одежду чудной поэзии. Строка эта говорит: «Приближаюсь к тому времени, когда перестало земное быть для меня занимательным». Достаточно было этих бедных слов, чтоб настроить дух поэта и держать пред мысленными его очами и лицо старца, не замечающего преступных волнений послушника, и лицо последнего, страстно следящего за рассказом инока, где уже смутно предчувствуется ему возможность дерзкого замысла и преступления. К несчастию, повествование летописца прерывается в рукописи на 8 стихе, за ним следуют некоторые стихотворные фразы «Онегина» (строфы XXV 4-й главы):

Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой... *и проч.* —

с воображаемым портретом Ольги, тут же нарисованным пером, и т. д., но «Бориса Годунова» мы уже более не находим.

Несмотря на свою первоначальную форму, по-видимому непогрешительную, сцена эта при окончательной отделке получила еще бо́льшую полноту, развитие и устройство. Многие ее стихи добавлены и исполнились содержания, как мы уже видели в одном примере. Произошла удивительная перестановка монолога; так, монолог Григория «Борис! Борис! все пред тобой трепещет...», который в печати превосходно замыкает все явление, стоял прежде в начале его, тотчас после размышления Пимена: «Еще одно последнее сказанье...» Вместе с тем выпущено было и много поэтических фраз, которые современной своей живостью противоречили торжественному и спокойному выражению, какое прилично исторической картине. Два удивительные стиха, например, замыкающие раздумье Пимена над летописью своею:

Немного лиц мне память сохранила,
Немного слов доходит до меня —

в рукописи еще выражаются десятью стихами. Это их первоначальная форма, которую здесь и приводим:

Передо мной опять выходят люди,
Уже давно покинувшие мир,
Властители, которым был покорен,
И недруги и старые друзья —
Товарищи моей цветущей жизни...
Как ласки их мне радостны бывали,
Как живо жгли мне сердце их обиды!

Но где же их знакомый лик и страсти?
Чуть-чуть их след ложится легкой тенью —
И мне давно, давно пора за ними!..

Так создавалась эта гениальная сцена, плод глубокого размышления и неослабного поэтического вдохновения, которая по силе творчества, в ней проявившегося, есть столько же наше достояние, сколько и достояние литератур всех образованных народов.

Сам автор любил ее и предназначил ей роль весьма важную. Он поместил сцену летописца в первом номере журнала, только что появившегося («Московский вестник», 1827), с целью испробовать на ней вкус публики и узнать впечатление, какое произведет первый опыт драмы, основа которой вращается на историческом изучении и на теории творчества, еще не имевшей у нас приложения. Кажется, что опыт был неудачен. Общее мнение поражено было новым направлением, какое принял поэт, но не увлечено им. Весьма немногие угадали в отрывке поэтическое откровение одной народной эпохи. Наиболее расположенные к поэту еще признавали достоинство стиха, но другие, числительно сильнейшие, не видели уже прежнего сладкозвучного певца своего за этим белым стихом и сожалели о юношеских, блестящих его произведениях, где рифма заканчивала образ, всем понятный и увлекательный. Толки, возбужденные отрывком, привели Пушкина к мысли, что весь спор о классицизме и романтизме был оптический обман, созданный журналами, которому и он сам поддался, и что необходимость преобразования литературных форм не лежала в общих потребностях, в действительно возмужалом и изменившемся вкусе публики. Почти с той же минуты стал Пушкин считать трагедию свою анахронизмом и смотреть с иронией на предположение свое создать народную драму. Как ни горек был опыт, но автор нашел ему оправдание в общем французско-классическом воспитании, какое получило все современное поколение. Мы уже знаем, что Пушкину всегда казались смешными маленькие попытки преобразования, а несвоевременность большого преобразования сама собой привела его к заключению, что автор должен подчиняться литературным законам, уже признанным всеми и всех удовлетворяющим. Он начал развивать эту мысль в длинном письме, одна часть которого была уже совсем обделана[42]. Прилагаем ее здесь — и если в строках этих скорее проглядывает ирония и чувство огорчения, чем истинное убеждение, то мы поймем, как тяжело должен был подействовать на Пушкина неуспех его любимой и знаменитой сцены:

«Благодарю вас за участие, принимаемое вами в судьбе «Годунова». Ваше нетерпение видеть его очень лестно для

моего самолюбия; но теперь, когда по стечению благоприятных обстоятельств открылась мне возможность его напечатать, предвижу новые затруднения, мною прежде не подозреваемые*.

С 1820 года, будучи удален от московских и петербургских обществ, я в одних журналах мог наблюдать направление нашей словесности. Читая жаркие споры о романтизме, я вообразил, что и в самом деле нам наскучили правильность и совершенство классической древности и бледные, однообразные списки ее подражателей, что утомленный вкус требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой, народной поэзии. Мне казалось, однако, довольно странным, что младенческая наша словесность, ни в каком роде не представляющая никаких образцов, уже успела немногими опытами притупить вкус читающей публики; но, думал я, французская словесность, всем нам с младенчества и так коротко знакомая, вероятно, причиною сего явления. Искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени. Это первое признание ведет к другому, более важному: так и быть, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не сказать хуже) и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суеверно порабощать литературную совесть? Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы».

Затем следует необделанная, разбросанная часть письма, из которой и приводим следующие отрывки, с трудом прочтенные, но списанные уже со всевозможною точностью:

1) «Между тем, читая мелкие стихотворения, величаемые романтическими, я в них не видел и следов искреннего и свободного хода романтической поэзии, но жеманство лжеклассицизма французского».

2) «Всё это сильно поколебало мою авторскую уверенность: я начал подозревать, что трагедия моя есть анахронизм».

3) «Скоро я в том удостоверился. Вы читали в 1-й книжке «Московского вестника» отрывок из «Бориса Годунова», сцену летописца. Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях; умилительная кротость, младенческое и вместе мудрое простодушие, набожное усердие к власти царя, данной

* Строки эти писаны, по всем вероятиям, тоже в 1829 году.

богом, совершенное отсутствие суетности дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших, между коими озлобленная летопись кн. Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличалась от смиренной жизни безмятежных иноков».

4) «Мне казалось, что сей характер вместе нов и знаком для русского сердца; что трогательное добродушие древних летописцев, столь постигнутое Карамзиным и отразившееся в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателей. Что ж вышло? Обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми; другие сомневались, могут ли стихи без рифм назваться стихами. Г-н З. предложил променять сцену «Бориса Годунова» на картинку «Дамского журнала». Тем и кончился строгий суд почтеннейшей публики».

5) «Что же из этого следует? Что г-н З. и публика правы, но что гг. журналисты виноваты ошибочными известиями, введшими меня в искушение. Воспитанные под влиянием французской критики, русские привыкли к правилам, утвержденным сею критикою, и неохотно смотрят на все, что не подходит под ее законы. *Нововведения опасны и, кажется, не нужны»*.

Не надо и прибавлять, что это заключение, свидетельствующее так положительно о глубокой ране, нанесенной холодностью публики надеждам и ожиданиям поэта, было только делом минуты, первого впечатления. Пушкин не мог остановиться на нем уже и по силе таланта, беспрестанно понуждавшего его к новой деятельности, к новым попыткам и, еще более, по характеру, который не выносил резких определений и неспособен был к долгому упорству в ложной решимости. Он возвратился к драме «романтической», как он называл художественные драматические произведения вообще, уже не рассчитывая на успех и не думая о нем, движимый единственно потребностью творчества, и создал те гениальные сцены, которые стоят в русской литературе до сих пор в уединенном величии[43].

Переходя от литературных убеждений, порожденных или укрепленных «Борисом Годуновым», к историческому созерцанию, которое Пушкин почерпнул в нем же, легко заметить, что оно состояло преимущественно в спокойном, бескорыстно благородном уважении к прошлым деятелям на исторической сцене нашего отечества. Еще в Одессе думал он о важности обязанностей, лежащих вообще на человеке и особенно на писателе, который своим происхождением связан с сословием, наиболее участвовавшим в общем преуспеянии нашего отечества. С жаром объяснял он свою мысль, которая предписывала не байроновскую спесь, а строгое, благородное понимание своего призвания. Работы, предшествовавшие

«Годунову», отделили все случайное, личное, наносное в этом взгляде и превратили его в сочувствие к давно прошедшим лицам, к пониманию их трудов, ошибок и успехов в деле прославления и нравственного развития отчизны. Эта отвлеченная, кабинетная, так сказать, любовь к прошедшему, не связанная ни с какой посторонней, корыстной мыслью, составила основание его суждений об исторических лицах и эпохах и сообщила им теплоту и чувство. Он выразил ее превосходно в одной заметке, помещенной, со многими другими, в «Северных цветах» на 1828 год: «Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами переданное, не есть ли благороднейшая надежда нашего сердца?»[44] Другая рукописная заметка тоже объясняет ее: «Образованный француз или англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, падшего в такой-то битве или в таком-то году возвратившегося из Палестины; но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Только дикость и невежество не уважают прошедшего...»[45] Чем глубже проникали его исторические изыскания, тем более очищалась и светлела эта симпатия к отечественным деятелям и эпохам, которая не исключала сочувствия к достоинству и благородству на всех ступенях общества, а напротив, вызывала и укрепляла его. В той же последней заметке он прибавляет, что потомство Мининых и Ломоносовых, по справедливости, может гордиться сими именами как лучшим своим достоянием. С уважением смотрел он и на собственных предков, говорил об них с любовью и часто возвышался до поэтического представления эпохи, видевшей их деятельность. Так, в «Отечественных записках» 1846 года (апрель, том 45) приведено пять строф неизданного стихотворения, посвященного памяти предков его; об этом произведении мы скажем еще несколько слов впоследствии[46].

Вообще взгляд глубокого сочувствия и глубокого уважения к сошедшим в вечность историческим лицам сделался в Пушкине даже мерилом, по которому он судил степень способностей в других людях к полезному историческому труду вообще.

Собрав, таким образом, почти все свидетельства, какие нужны были для полного уразумения важности этого произведения в жизни Пушкина и в отечественной словесности, мы удерживаемся от оценки его, предоставляя специальному труду критиков. Много и много следует говорить об этих сценах, рисующих нам столкновение двух различных, хотя и одноплеменных народов, сценах, принадлежащих к редким памятникам, где история, оживленная поэтическим вдохновением, проходит перед глазами нашими во всей своей яркости, пестроте и жизни. Начиная с русского величавого понимания властительных обязанностей до блестящего хва-

стовства Самозванца; с начального, ученического труда Феодора Годунова до латинских стихотворцев, сопровождающих станы литовских вельмож; с затворнической любви Ксении до хитрого кокетства Марины; начиная со способа выражать мысли, столь различного в двух партиях, до их понимания своих обязанностей и своего достоинства — все это представляет удивительно яркую картину двух противоположных цивилизаций, поставленных лицом друг к другу и на минуту смешавшихся в общем хаосе, порожденном обстоятельствами. Конечно, всякий, кто прочтет «Бориса Годунова», с глубоким сожалением подумает о продолжении хроники, которое замышлял Пушкин и, может быть, остановился по неуспеху первого опыта. В этом продолжении словесность наша потеряла новое, редкое вообще, пояснение истории поэзией. С «Бориса Годунова» Пушкин ушел в самого себя, распростился на время с прихотливым вкусом публики и ее требованиями, сделался художником про себя, творящим уединенно свои образы, как он вообще любил представлять художника. Следующие задумчивые и трогательные французские строки, найденные нами в двух отрывках, свидетельствуют это несомненным образом. Ими и заключаем все сведения, собранные нами вокруг трагедии, составляющей первое звено самобытных произведений нашего поэта. Скажем только, что и они готовились для предисловия к «Борису Годунову»[47].

Первый отрывок:

«Pour une préface. Le publique et la critique ayant accueilli avec une indulgence passionnée mes premiers essais et dans un tems, oú la sévérité et la malveillance m'eussent probablement dégoûté de la carrière que l'allais embrasser, je leur dois reconnaissance entière, et je les tiens quittes envers moileur rigueur et leur indifférence ayant maintenant peu d'influence sur mes travaux».

Второй отрывок:

«Je me présente ayant renoncé à ma manière première. N'ayant plus à illustrer un nom inconnu et une première jeunesse, je n'ose plus compter sur l'indulgence avec laquelle j'avais été accueilli. Ce n'est plus le sourire de la mode que je brigue. Je me retire volontairement du rang de ses favoris, en faisant mes humbles remerciements de la faveur, avec laquelle elle avait accueilli mes faibles essais pendant dix ans de ma vie»*,

* Первый отрывок: «Для предисловия. Публика и критика, принявшие мои первые опыты с живым снисхождением и притом в такое время, когда строгость и недоброжелательство отвратили бы меня, вероятно, навсегда от поприща, мною избираемого, заслуживают полной моей признательности: они расплатились со мной совершенно. С этой минуты их строгость или равнодушие уже не могут иметь влияния на труды мои».

Второй отрывок: «Представляюсь с новыми приемами в создании. Не

Так прощался Пушкин с публикой, и не на одних словах, как увидим.

ГЛАВА XI

Общая деятельность в Михайловском: Приезд Дельвига в Михайловское (1825). — Отрывок из письма к брату о приезде Дельвига, отъезд его и соседей. — Пушкин в деревне с няней и трагедией. — Пушкин в Пскове изучает народность. — Слова Киреевского о его сборнике песен. — Утерянные послания его. — Полународные-полувымышленные произведения. — Рассказ о медведе «Как весенней порой...». — Монолог пьяного мужика «Сват Иван, как пить мы станем...». — Письмо к Дельвигу от 8 июня 1825 г. с мнением о Державине. — Взгляд Пушкина на русскую литературу прошлого столетия. — Определение Ломоносова, Сумарокова, Тредьяковского как писателей. — Слова Пушкина о 18 столетии и его подражаниях. — Пушкин изменяет с течением времени резкость своих мнений о писателях старой эпохи. — Письмо Пушкина от 12 марта 1825 г. по поводу «Взгляда на русскую словесность», помещенного в «Полярной звезде» 1825 г. — Его опровержения и дополнения к нему: суждение Пушкина о романах Бестужева и о русской полемике вообще. — Снисходительность и ласковость Пушкина к тогдашним литераторам. — Отношения его к Дельвигу, Баратынскому и Языкову. — Впечатление от элегии второго «Признание». Отзыв об «Эде» и о Слепушкине. — Письмо Пушкина о «Вечерах на хуторе близ Диканьки». — Пушкин и Кольцов. — Письмо Пушкина к Шишкову 2⟨-му⟩. — Примеры внимания Пушкина к талантам. — Советы товарищу-моряку, сношения его с Щепкиным, Шевыревым, бар⟨оном⟩ Розеном, Ершовым, Губером; альманах студента. — В Михайловском написаны шесть глав «Онегина» и «Граф Нулин». — Происхождение «Графа Нулина». — Пушкинский перевод Ариостова «Орландо». — История создания «Египетских ночей», тогда же начатых. — Долгий искус, какому они были подвержены. — Заметки при чтении. — Библиотека Пушкина. — Два отрывка из пушкинского труда над Шекспиром. — Заметки при чтении истории Тацита: взгляд на Тиберия, толкование разных мест у Тацита. — Мысль основать журнал. — Знойное лето в Михайловском и ожидание осени.

В 1825 году Пушкин был обрадован посещением некоторых друзей своих, а в том числе и Дельвига. Поэт наш выразил благодарность свою за это внимание дружбы в некоторых стихотворных посланиях к гостям своим, но, к сожалению, мы весьма мало имеем сведений о времяпровождении и вообще об образе жизни их в Михайловском. Касательно Дельвига сохранился только намек в письме Пушкина к брату в Петербург: «Как я был рад баронову приезду. Он очень мил! Наши в него влюбились, а он равнодушен,

---

имея более надобности заботиться о прославлении неизвестного имени и первой своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, с которым был принят доселе. Я уже не ищу благосклонной улыбки моды. Добровольно выхожу я из ряда ее любимцев, принося ей глубокую мою благодарность за все то расположение, с которым принимала она слабые мои опыты в продолжение 10 лет моей жизни».

как колода, любит лежать на постеле, восхищаясь «Чигиринским старостою»[1]; приказывает тебе кланяться; мысленно целуя 100 раз, желает тебе 1000 хороших вещей, например, устриц...»[2] В том же году и семейство поэта, отец и мать его, покинули деревню. С отъездом семейства и друзей вокруг Пушкина образовалось полное уединение, так много способствовавшее развитию его идей и таланта. Единственная деревенская соседка его, в семействе которой любил он отдыхать от трудов и мыслей, волновавших его, тоже покидала Тригорское. Пушкин оставался в деревне совершенно один с няней своей и трагедией, как сам писал. Впрочем, он еще проводил соседей до Пскова, извещая притом друзей, что едет советоваться с докторами об аневризме в сердце, который предполагал в себе[3]. Время пребывания в Пскове он посвятил тому, что занимало теперь преимущественно его мысли, — изучению народной жизни. Он изыскивал средства для отыскания живой народной речи в самом ее источнике; ходил по базарам, терся, что называется, между людьми, и весьма почтенные люди города видели его переодетым в мещанский костюм, в котором он даже раз явился в один из почетных домов Пскова[4].

Неудивительно после того, что П. В. Киреевский в предисловии к своему «Собранию народных песен», напечатанных в «Чтениях общества любителей истории» (Москва, 1848, № 9), говорит следующее: «А. С. Пушкин еще в самом начале моего предприятия доставил мне замечательную тетрадь песен, собранных им в Псковской губернии». Если не ошибаемся, начало предприятия П. В. Киреевского должно отнести к 1830 году. Пушкин в это время уже владел значительным количеством памятников народного языка, добытых собственным трудом.

В бумагах Пушкина сохранилась любопытная записка, писанная карандашом[5]. Это заглавие разных стихотворений, созданных до 1826 года включительно. Некоторые из этих заглавий, измененные или выпущенные в изданиях его сочинений, состоят из собственных имен и таким образом знакомят с лицами, внушившими ему поэтические образы или направившими его вдохновение. Так, известная пьеса «Я помню чудное мгновенье...» носит у Пушкина заглавие «К А. П. К⟨ерн⟩»; другое стихотворение обозначено словами «К кн. Гол⟨ицыной⟩» (это известная его пьеса «Давно об ней воспоминанье...»); третье, тоже весьма известное стихотворение, озаглавлено просто «К Зине»[6].

Но для нас всего важнее в этой записке перечет утерянных или, по крайней мере, еще скрывающихся его стихотворений, которые и в бумагах его не находятся. Таковы послания «К гр⟨афу⟩ О⟨лизару⟩», «К Р⟨одзянке⟩»[7] и, наконец, коллекция песен о С. Разине, обозначенная в записке просто «Пес-

ня о С. Разине». Вероятно, что она принадлежала к тому собранию песен, часть которых послана была П. В. Киреевскому[8].

По поводу песен и вообще народных произведений следует, однако ж, сделать необходимое замечание. Между сборником этих памятников и попытками художественного воспроизведения их манеры и содержания в сказках и в разных других формах поэзии был еще у Пушкина третий отдел народных произведений, большею частию неизвестный публике. По сущности своей отдел этот принадлежит отчасти простому, верному сборнику, а отчасти переходит в область подражания и искусственных соображений своими подделками, украшениями и выправкой подробностей. Эти полународные-полувыдуманные произведения сохраняются у Пушкина в первом, еще необделанном виде и, вероятно, так остались бы и при более долгой жизни поэта. Он забыл об них и, может быть, потому, что сам был недоволен смешением творчества личного и условного с общенародным и непосредственным творчеством, какое в них уже неизбежно. Может статься, он был прав, но надо сказать, сила Пушкина и близкое знакомство с духом русской поэзии выступают тут особенно ясно. Склад и течение речи удивительно близко подходят к обыкновенным приемам народной фантазии, и только по особенной полноте и грации подробностей видите, что тут прошла творческая рука поэта. Они кажутся деревенской песней, пропетой великим мастером. В этом, по нашему мнению, заключается и тайна особенного наслаждения, доставляемого ими. Для образца выписываем песню или, лучше, рассказ о медведе, созданный по этому способу, который так редко удается писателям менее гениальным, менее проникнутым духом народных созданий[9].

Как весенней теплой порою
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, лесу дремучего
Выходила медведица
С малыми детушками-медвежатами
Поиграть, погулять, себя показать.
Села медведица под березкой;
Стали медвежата промеж собой играти,
Обниматися, боротися,
Боротися да кувыркатися.
Отколь ни возьмись, мужик идет:
Он в руках несет рогатину,
А нож-то у него за поясом,
А мешок-то у него за плечами.
Как завидела медведиха
Мужика с рогатиной,
Заревела медведиха,
Стала кликать детушек,
Глупых медвежат своих:
«Ах вы, детушки, медвежатушки!

Перестаньте валятися,
Обниматися, кувыркатися!
Становитесь, хоронитесь за меня.
Уж я вас мужику не выдам,
Я сама мужику брюхо выем!»
Медвежатушки испужалися,
За медведиху побросалися,
А медведиха осержалася —
На дыбы подымалася.
А мужик-от, он догадлив был,
Он пускался на медведиху,
Он сажал в нее рогатину,
Что повыше пупа, пониже печени.
Грянулась медведиха о сыру землю;
А мужик-то ей брюхо порол,
Брюхо порол да шкуру снимал,
Малых медвежат в мешки поклал,
А поклавши-то, домой пошел:
«Вот тебе, жена, подарочек
Что медвежья шуба в 50 рублев,
А что вот тебе подарочек
Трои медвежат по 5 рублев».

* * *

Не звоны пошли по городу,
Пошли вести по всему лесу.
Дошли вести до медведя чернобурова,
Что убил мужик его медведиху,
Распорол ей брюхо белое,
Медвежатушек в мешок поклал.
В ту пору медведь запечалился,
Голову повесил, голосом завыл
По свою ли сударушку,
Чернобурую медведиху:
«Ах ты, свет моя медведиха!
На кого меня покинула...?
Уж как мне с тобой, моей боярыней,
Веселой игры не игрывати,
Милых детушек не родити,
Медвежатушек не качати,
Не качати, не баюкати!»
В ту пору звери собиралися
Ко тому ли медведю — ко боярину:
Прибегали звери большие,
Прибегали тут зверишки ме́ньшие,
Прибегал тут волк ⟨-дворянин⟩,
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые!
Приходил тут бобр, торговый гость,
У него-то, бобра, жирный хвост!
Приходила ласточка-дворяночка[10],
Приходила белочка-княгинечка,
Приходила лисица-подьячиха[11] —
Подьячиха, казначеиха!
Приходил скоморох-горностаюшка,
Прибегал тут зайка-смерд,
Зайка бедненькой, зайка серенькой!
Приходил целовальник — еж[12]:
Все-то он, еж, ежится,
Все-то он щетинится!

. . . .

Гораздо позднее Пушкин написал шутку в этом же роде: *монолог пьяного мужичка*[13], к которому приложил даже и картинку от руки собственного изделия, изображающую веселого рассказчика за стаканом вина, в последней степени вакхического одушевления. Кстати прилагаем здесь и этот отрывок:

Сват Иван, как пить мы станем,
Непременно уж помянем
Трех Матрен, Луку с Петром,
Да Пахомовну потом.
Мы живали с ними дружно;
Уж как хочешь — будь, что будь —
Этих надо помянуть,
Помянуть нам этих нужно
Поминать — так поминать,
Начинать — так начинать,
Лить, так лить, разлив разливом.
Начинай же, сват, пора!
Трех Матрен, Луку с Петром
Мы помянем пивом,
А Пахомовну потом
Пирогами да вином,
Да еще ее помянем —
Сказки сказывать мы станем.
Мастерица ведь была!
И откуда что брала?
А куда разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины!..
Слушать — так душе отрадно;
Кто придумал их так складно?
И не пил бы, и не ел,
Все бы слушал, да глядел.
Стариков когда-нибудь
(Жаль, теперь нам недосужно)
Надо будет помянуть,
Помянуть и этих нужно...
Слушай, сват: начну первой.
Сказка будет за тобой...
. . . .

Отсюда снова возвращаемся к переписке Пушкина. За скудостию подробностей о жизни поэта она, по крайней мере, довольно ясно рисует нравственную его физиономию. Мы начнем прямо с одного письма (к Дельвигу), которое, может статься, более всех других вводит нас прямо во все литературные задушевные убеждения человека, написавшего его. Оно носит почтовый штемпель гор. Опочки с числом «8 июня 1825 г.».

«Жду, жду писем от тебя — и не дождусь. Не принял ли ты опять в услужение покойного Никиту, или ждешь оказии? Проклятая оказия! Ради бога, напиши мне что-нибудь: ты знаешь, что я имел несчастие потерять бабушку Ч⟨ичери-

ну⟩ и дядю Петра Льв⟨овича⟩. Получил эти известия без приуготовления и нахожусь в *ужасном* положении. Утешь меня: это священный долг дружбы (сего священного чувства)![14]

Что делают мои «Разн⟨ые⟩ стих⟨отворения⟩»?[15] От Плетнева не получил ни одной строчки; что мой «Онегин»? Продается ли?[16] По твоем отъезде перечел я Державина всего — и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения: вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает *оды*, но не может выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Что же в нем? *Мысли, картины и движения истинно поэтические*. Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника... Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости] народной не скажем всего, что мы знаем об нем. У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением С⟨уворова⟩. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом[17]. Довольно об Державине*. Что делает Жуковский? Передай мне его мнение о 2-й главе «Онегина» да о том, что у меня в пяльцах. Какую Крылов выдержал операцию![18] Дай бог ему многие лета! Его «Мельник» хорош, как «Демьян и Фока»[19]. Видел ли ты Н⟨иколая⟩ М⟨ихайловича⟩?[20] Идет ли вперед «История»? где он остановился?..»

Письмо это само собой приводит нас к попытке определить вообще взгляд Пушкина на русскую литературу прошлого столетия. Большим пособием для такого труда может служить статья Пушкина «О предисловии г. Лемонте к басням Крылова», изданным во французском и итальянском переводах в Париже, при помощи 89 французских и итальянских писателей, собранных усилиями соотечественника нашего, графа Г. Г. Орлова, напечатавшего потом труды их в двух томах. Статья Пушкина по поводу предисловия Лемонте написана была в 1825 году и тогда же напечатана в «Московском телеграфе» (1825; часть V, № XVII) с подписью «Н. К.»; но в посмертное издание его сочинений не попала. В ней определяет он значение поэта этими превосходными словами:

---

* Приведенное здесь суждение Пушкина о Державине относится к 1825 г., как видим. Далее читатель убедится, что с течением времени, накоплением опытности, идей и развитием мыслящей способности Пушкин изменил свои суждения как о Державине, так и о других старых писателях наших к лучшему. Таким образом, отрывки Пушкина делаются поучительным примером, как истинно замечательный писатель поправляет свои суждения и предостерегает тем других от ранних увлечений, кончающихся неизбежно раскаянием.

«Поэзия бывает исключительною страстию немногих; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни» и проч.

По этому определению, отдавая справедливость заслугам Ломоносова в отношении первого создания стихотворной формы и особенно в отношении ввода в язык величавых оборотов церковного стиля, Пушкин не признает его поэтом. Сам Ломоносов, по другой заметке нашего поэта, не много дорожил славой стихотворца, отвращенный от нее успехами Сумарокова[21], «бездарнейшего из подражателей»[22], по мнению Пушкина. «Стихотворство для Ломоносова, — говорит Пушкин, — было иногда забавою, но чаще должностным упражнением»[23]. Мысль о невозможности предписывать ныне чтение Ломоносова в видах эстетического наслаждения Пушкин выразил чрезвычайно осторожно следующими словами: «Но странно жаловаться, что светские люди не читают Ломоносова, и требовать, чтоб человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики. Как будто нужны для славы великого Ломоносова мелочные почести модного писателя!»[24] Со всем тем как велико было уважение Пушкина к Ломоносову, свидетельствует довольно большая и превосходная статья, посвященная исключительно характеристике знаменитого академика нашего как ученого, писателя и человека и сохраненная настоящим изданием[25]. Нельзя пройти здесь молчанием, что вечный труженик Тредьяковский нашел в Пушкине ценителя чрезвычайно снисходительного, разумеется, не в отношении своих произведений, а за свои намерения и взгляд на словесность. Из программы, набросанной Пушкиным для статьи о русской литературе, извлекаем следующий параграф: «Начало русской словесности; Кантемир в Париже обдумывает свои сатиры, переводит Горация, умирает 28 лет. Ломоносов, плененный гармониею рифма, пишет в первой своей молодости оду, исполненную живости etc., и обращается к точным наукам, dégoeté* славою Сумарокова: Сумароков в сие время. Тредьяковский — *один, понимающий свое дело...*»[26]

Конец восемнадцатого столетия и начало текущего находят в Пушкине судью весьма строгого: «Ничтожество общее, — пишет он в той же программе, — французская обмельчавшая словесность envahit tout**. Знаменитые писатели не имеют ни одного последователя в России, но бездарные писаки, грибы, выросшие у корней дубов, Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, m-me Жанлис овладевают русской словесностию». Здесь еще прибавить следует, что по отрыв-

---

* отвращенный *(франц.). — Ред.*
** захватывает все *(франц.). — Ред.*

кам черновых писем к друзьям можем заключить еще об одной замечательной черте, отличавшей суждение Пушкина в эту эпоху его развития: он не признавал сильного поэтического таланта ни в И. И. Дмитриеве, ни в Богдановиче, объясняя их славу как поэтов общим, отчасти слепым, соглашением и подтверждая свое мнение соображениями, основанными на отсутствии поэтических образов, истинной теплоты и одушевления[27].

Дальнейший ход жизни, умерив в Пушкине первый пыл, как самой мысли, так и слова, изменил отчасти и взгляд его на своих предшественников. Сохранив многое из прежних убеждений, он, однако ж, смягчил большую часть своих приговоров, а в отношении некоторых писателей открыл стороны, упущенные из вида при первоначальной оценке. Это могло казаться противоречием, хотя, в сущности, такие переходы скорее свидетельствуют о бодрости мысли, чем о слабости ее. Может быть, редкий человек представлял столько изменений во взгляде на искусство, как Пушкин; но эти-то изменения и привели его к «Борису Годунову», «Медному всаднику» и проч. С мужеством таланта перемещалась и точка его зрения на предметы. Прежде своих судей понял Пушкин, что оценка старых писателей, чисто отвлеченная, не заботящаяся об условиях времени, положения автора и его отношений к общему развитию эпохи может быть справедлива, но окончательный приговор ее редко бывает основателен. Для достижения известной степени истины критику необходимо еще перейти к исторической точке зрения, при которой все предметы находят свои настоящие места и ровно освещаются в глазах его, причем даже тени и полутени приобретают важное значение и, по большей части, оправдание свое. Противоречия Пушкина основывались именно на ближайшем знакомстве с существом дела и были признаками его развития. Он сам понимал это. Кажется, за год до кончины своей он говорил одному из друзей своих: «Меня упрекают в изменчивости мнений. Может быть: ведь одни глупцы не переменяются»[28].

Пояснив таким образом истинный смысл направления, в котором Пушкин находился некогда, нам уже легко привести большое полемическое письмо его, написанное против одного обозрения русской литературы, в котором заключалось несколько парадоксальных мыслей. Обозрение носило заглавие «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и в начале 1825 ⟨года⟩»[29]. Письмо Пушкина служит ему ответом и писано из Михайловского 12 марта 1825 г.[30]: «Отвечаю на первый параграф твоего «Взгляда...». *У римлян век посредственности предшествовал веку гениев.* Грех отнять это титло у таковых людей, каковы Виргилий, Гораций, Тибулл, Овидий и Лукреций, хотя они, кроме двух последних, шли

столбовой дорогой подражания*. Критики греческой мы не имеем. В Италии Dante и Petrarca предшествовали Тассу и Ариосту; сии предшествовали Alfieri и Foscolo. У англичан Мильтон и Шекспир писали прежде Адиссона и Попа, после которых явились Southey, W. Scott, Moor и Byron. Из этого мудрено вывести какое-нибудь заключение или правило. Слова твои вполне можно применить к одной французской литературе.

У нас есть критика и нет литературы. Где же ты это нашел? Именно критики у нас и недостает. Отселе репутация Ломоносова (уважая в нем великого человека, но, конечно, не великого поэта: он понял истинный источник русского языка и красоты оного: вот его главная услуга) и Хераскова, и если последний упал в общем мнении, то верно уже не от критики Мерзлякова. Кумир Державина $^1/_4$ золотой, $^3/_4$свинцовый, доныне еще не оценен. Ода «К Фелице» стоит наряду с «Вельможей», ода «Бог» с одой «На смерть Мещерского», ода «К Зубову» недавно открыта. Княжнин безмятежно пользуется своею славою. Богданович причислен к великим поэтам, Дмитриев также. Мы не имеем ни единого комментария, ни единой критической книги. Мы не знаем, что такое Крылов, Крылов, который стоит выше Лафонтена, как Державин выше Ж. Б. Руссо! Что же ты называешь критикою? «Вестник Европы» и «Благонамеренный»? Библиографические известия Греча и Булгарина?.. Но признайся, что это все не может установить какого-нибудь мнения в публике, не может почесться уложением вкуса.**... Но где же критика? Нет, фразу твою можешь сказать наоборот: литература кой-какая есть, а критики нет. Впрочем, ты сам немного позже с этим соглашаешься.

Отчего у нас нет гениев и мало талантов? Во-первых, у нас Державин и Крылов; во-вторых, где же бывает много талантов?

Ободрения у нас нет, и слава богу. Отчего же нет? Державин, Дмитриев были в ободрении... Век Екатерины — век ободрений... Карамзин, кажется, ободрен. Жуковский не может жаловаться. Крылов также. Гнедич в тишине кабинета совершает свой подвиг: посмотрим, когда появится его Гомер...[31]

Ободрение может оперить только обыкновенные дарования. Не говорю об Августовом веке. Но Тасс и Ариост оставили в своих поэмах следы княжеского покровительства. Шекспир лучшие свои *комедии* написал по *заказу* Елисаветы. Мольер был камердинером Людовика[32]. Бессмертный «Тар-

---

* Виноват! Гораций не подражатель. *(Прим. Пушкина.)*

** У одного только народа критика предшествовала литературе — у германцев. *(Прим. Пушкина.)*

тюф», плод самого сильного напряжения комического гения, обязан бытием своим заступничеству монарха...[33] Державину покровительствовали три царя. Ты не то сказал, что хотел. Я буду за тебя говорить»*.

Но если Пушкин был строг к прошлым деятелям на литературном поприще, то к современным ему писателям сохранял уже, без изменений и без ограничений, удивительное добродушие и снисходительность. Черта эта уже не может быть пояснена одной известной его осторожностью в обхождении с людьми. Если последнее качество сопутствует ему неразлучно повсюду, то, с другой стороны, выступает при этом новое и гораздо важнейшее — желание пособить всякому труду, и вместе с тем обнаруживается благородный характер, во всю жизнь не знавший зависти, может быть, отчасти и потому, что во всю свою жизнь не знал соперничества. Не говоря о Жуковском и Батюшкове, нападки на которых способны были раздражать Пушкина, но он ободрял всех деятелей на литературном поприще, с бескорыстием, готовностью на совет и услугу, которые не имеют уже других причин, кроме расположения к добру. Многие из наших заслуженных писателей, тогда еще молодые люди и товарищи Пушкина, должны помнить его простое, прямодушное участие, возбуждавшее силы и нравственную бодрость. Даже некоторая запутанность личных сношений с людьми не имела никакого влияния на это расположение

---

* Вот еще дополнение к этому письму, где есть несколько заметок, касающихся того же «Взгляда» и повести «Ревельский турнир». «Все, что ты говоришь о нашем воспитании, о чужестранных и междуусобных (прелесть!) подражаниях — прекрасно, выражено сильно и с красноречием сердечным. Вообще мысли в тебе кипят. Об «Онегине» ты не высказал всего, что имел на сердце,— чувствую почему и благодарю, но зачем же ясно не обнаружить своего мнения? Покамест мы будем руководствоваться личными нашими отношениями, критики у нас не будет, а ты достоин создать ее.

Твой турнир напоминает турнир Walt. Scott'a. Брось немцев и обоготись к нам, православным. Да полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами. Это хорошо для поэмы байроновской. Роман требует *болтовни:* высказывай все начисто. Твой Владимир[34] говорит языком немецкой драмы, смотрит на солнце в полночь (стр. 330) etc., но описания стана литовского, разговор плотника с часовым — прелесть. Конец также. Впрочем, везде твоя необыкновенная живость...» Мы уже видели письменную полемику между литераторами по поводу «Онегина», о которой намекает Пушкин и в этом письме. Замечательно особенно то обстоятельство, что поэт предавался полемике только на письме в это время, а печатной избегал, полагая, что век наступил не полемический. Вот что заметил он вскоре после своего вмешательства в прение между кн. Вяземским и «Вестником Европы»[35]: «Если бы покойник Байрон связался браниться с полупокойным Гете[36], то и тут бы Европа не шевельнулась, чтоб их стравить, поддразнить или окатить холодной водой. Век полемики миновал. Для кого же занимательно мнение Д⟨митрие⟩ва о мнении кн. Вяземского или мнение Пи⟨саре⟩ва о самом себе?[37] Я принужден был вмешаться, ибо призван был в свидетели, но больше не буду... 24 июля 1824. Одесса». Однако же он совершенно изменил свой взгляд на предметы лет шесть спустя, как увидим.

ценить высоко всякий труд и увеличивать его достоинство из опасения не вполне отдать должное ему. Он строго наблюдал за собой и преимущественно за своей врожденной наклонностью к шутке и веселости, боясь изменить чем бы то ни было основному правилу снисхождения к людям. Так, он тщательно избегал разговора о стихах одного из своих знакомых, потому что они имели силу иногда возбуждать в нем неудержимый смех, который старался он истощить в уединении своего кабинета[38]. Несколько эпиграмм, в которых Пушкин долго раскаивался, показали ему необходимость подобной предосторожности с самим собою. Вообще же надо было много самонадеянности, дерзости и непризнания чужих заслуг (последнего Пушкин не мог выносить, если относилось оно даже и к лицам совершенно неизвестным ему), надо было много оскорблений для нравственного чувства и нападок на собственное его признание, чтоб сделать его литературным врагом; но тогда, по другому закону своей природы, он уже слепо и неудержимо предавался негодованию...

Три поэта составляли для него плеяду, поставленную им почти вне всякой возможности суда, а еще менее, какого-либо осуждения: Дельвиг, Баратынский и Языков. На Баратынского Пушкин излил, можно сказать, всю нежность сердца, как на брата своего по музе. Почти нельзя было сделать при нем ни малейшего замечания о стихах Баратынского, и авторы критик самых снисходительных на певца Эды[39] принуждены были оправдываться пред Пушкиным и словесно, и письменно. Еще из Одессы в 1824 г. (от 12 января) писал он по прочтении элегии Баратынского «Признание»: «Баратынский — прелесть и чудо. «Признание» — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий, хотя бы наборщик клялся поступать со мною милостивее»[40]. В самую эпоху, где мы находимся, он уведомлял Дельвига о том, что остался совершенно одиноким в деревне и прибавлял: «Праск⟨овья⟩ Алек⟨сандровна⟩ уехала в Тверь[41]. Сейчас пишу к ней и отсылаю «Эду». Что за прелесть эта «Эда»! Оригинальности рассказа наши критики не поймут, но какое разнообразие!.. Гусар, Эда и сам поэт — всякий говорит по-своему. А описания финляндской природы! А утро после ночи! А сцена с отцом! Чудо! Видел я и Слепушкина[42]. Неужто никто ему не поправил «Святки», «Масленицу» и «Избу»? У него истинный, *свой* талант; пожалуйста, пошлите ему от меня экземпляр «Руслана» и моих стихотворений[43], с тем, чтоб он мне не подражал, а продолжал идти своей дорогой. Жду ответа»[44]. С годами наслаждение Баратынским только росло в Пушкине, но имя Слепушкина, поставленное вслед за именем любимого им поэта и сопровождаемое таким добродушным изъявлением удивления, опять возвращает нас к его готовности на поддержание всякого уси-

лия. Нигде не выразилось это качество благородного характера с такой теплотой, с таким жаром, как при встрече первых произведений Н. В. Гоголя. В одном старом журнале, в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» (1831, № 79), сохранилось письмо Пушкина к издателям его тотчас по выходе «Вечеров на хуторе близ Диканьки»[45]. Приводим его:

«Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор[46] объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов.

Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на *неприличие* его выражений, на дурной тон и проч. Пора, пора нам осмеять les précieuses ridicules*[47] нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского»**.

---

* смешных жеманниц *(франц.)*. — *Ред.*

** Из многих примеров внимания Пушкина к талантам и вообще готовности на ободрительное понуждение и совет выбираем следующие, первые попавшиеся нам на память. В 1827 году он встретил С. П. Шевырева похвалой его стихотворным произведениям и тут же, по изумительной памяти, прочел ему наизусть несколько стихов из его стихотворения «Я есмь...», только что напечатанного[48]. В последующих годах он беспрестанно понуждал известного нашего артиста, М. С. Щепкина, к начатию записок о своей жизни и сценическом поприще своем и однажды, раскрыв белую тетрадь, сам написал ему первую строку будущего его труда[49]. Один из лицейских его товарищей, занимающий ныне почетное место в морской службе[50], получил от Пушкина, при первом своем отправлении вокруг света, длинные наставления, как вести журнал путешествия. Он рассказывал нам, что Пушкин долго изъяснял ему настоящую манеру записок, предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы. Барон Розен одним усилием своим выучиться русскому языку до возможной степени совершенства[51] уже обратил на себя его внимание, а когда первые стихотворные произведения барона Розена показали и присутствие некоторой поэтической способности, Пушкин сделался его покровителем и наставником. Признавая в нем и драматический талант, даже в большей степени, чем у гг. Хомякова и Кукольника (как это видно из небольшой заметки, сохранившейся в записках его)[52], Пушкин особенно направлял его вдохновение на лирический род поэзии, говоря: «Помните, что лирическим поэтом можно быть только до 35 лет, а драмы писать до 70 и далее»[53]. В апо-

Под действием этого снисходительного взгляда на людей и внешние формы жизни должны были приобресть и особенное достоинство, и особенную прелесть. В обхождении Пушкина была какая-то удивительная простота, выпрямлявшая человека и с первого раза установлявшая самые благородные отношения между собеседниками. Поэт Кольцов, введенный в общество петербургских литераторов, был поражен дружелюбной откровенностью приема, сделанного ему Пушкиным. С робостью явился он к знаменитому поэту и не встретил ни тени величавого благоволения, ни тени покровительственного тона, которые тут еще могли бы иметь причину и достаточный повод. Пушкин крепко сжал руку Кольцова в своей руке и заговорил с ним, как с давним знакомым, как с равным себе...[56] Черта эта проявляется, так сказать, наглядным образом в замечательном письме Пушкина к Шишкову 2-му, письме, которым он связывает удивительно просто и благородно дружеские сношения, прерванные временем, и которое поэтому и прилагаем здесь:

«С ума ты сошел, милый Шишков; ты мне писал несколько месяцев тому назад: *Милостивый государь, лестное ваше знакомство, честь имею, покорнейший слуга*, так что я не узнал моего царскосельского товарища[57]. Если заблагорассудишь писать ко мне впредь, прошу тебя быть со мною на старой ноге; не то мне будет грустно. До сих пор жалею, душа моя, что мы не столкнулись на Кавказе; могли бы и стариной тряхнуть, и поповесничать, и в язычки постучать. Впрочем, судьба наша, кажется, одинакова и родились мы, видно, под одним созвездием...[58] Что стихи? Куда зарыл ты свой золотой талант? Под снегами Эльбруса, под тифлисскими виноградниками? Если у тебя есть что-нибудь, пришли мне; право, сердцу хочется. Обнимаю тебя. Письмо мое бестолково, да некогда мне быть толковее»[59].

Сам Пушкин верил в *простодушие гениев* и часто объяс-

гее своей славы Пушкин с живым одобрением встретил известную русскую сказку г-на Ершова «Конек-горбунок», теперь забытую. Первые четыре стиха этой сказки, по свидетельству г-на Смирдина, принадлежат Пушкину, удостоившему ее тщательного пересмотра[54]. Так точно перевод «Фауста» в стихах, сделанный г-м Губером, нашел в нем восторженного ценителя, и несколько часов утра в продолжение нескольких дней посвящены были проверке этого перевода, вместе с молодым его автором[55]. Мы уже не говорим о письмах Пушкина, которыми старался он утешить самую посредственность, обращавшуюся к нему за советами, и направить ее внимание в другую сторону. Вообще ни одного призыва к себе не оставлял он в пренебрежении и без ответа. В эпоху всеобщей страсти к альманахам один молодой человек, еще и не окончивший курса воспитания, обратился к нему за стихами в собственный альманах, для которого приготовлено было только одно заглавие. Пушкин тотчас же послал ему антологическое свое стихотворение «Труд» («Миг вожделенный настал...») при учтивом письме, в котором сожалел, что ничего более важного в эту минуту дать не может. Альманах, разумеется, никогда и не выходил.

нял этим самые хитрые изречения, приписываемые им[60]. Он мог дойти до этого верования и по личному опыту.

Наконец, в Михайловском были написаны Пушкиным шесть глав «Онегина»[61] и «Граф Нулин». О лирических его произведениях и вообще так называемых мелких стихотворениях не упоминаем: хронологический порядок, в котором помещены они в нашем издании, легко укажет читателю поэтическую деятельность двух годов его деревенской жизни. Несколько только слов о «Графе Нулине». Сказочка эта, возбудившая так много толков впоследствии, обязана происхождением забавной мысли, которую сам автор рассказывает на одном клочке бумажки, принадлежащем тоже к разрозненным и вполовину утерянным его запискам:

«В конце 1825 ⟨года⟩ находился я в деревне, — пишет Пушкин, — и, перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить. Лукреция бы не зарезалась, Публикола не взбесился бы, — и мир и история мира были бы не те. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась; я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть»[62]. Так справедливо, что против шутки Пушкин не мог устоять*.

Не все, однако ж, чем ознаменовалось в поэтическом отношении деревенское пребывание Пушкина, отдано было им публике. Так, между прочим, позабыл он в тетрадях своих перевод XXIII песни Ариостова «Орландо»[64]. Он передал двенадцать октав песни, начиная с половины сотой до 112 включительно, именно то место, которое в программе ее обозначается словами Principio della pazzia de Orlando (начало сумасшествия Орландо). Перевод сделан весьма небрежно; видно, что для Пушкина это было скорее упражнением в итальянском языке, чем настоящим творчеством: так, 101⟨-я⟩ октава им не доделана, а 110⟨-я⟩ сокращена в 4 стиха, впрочем, вполне сохраняющие содержание подлинника. Любопытно, что один стих Ариосто в 103 октаве затруднил Пушкина, который после двух приемов и оставил его не побежденным. Стих этот у Ариоста читается:

Va col pensier cercando in milli modi,
Non creder quel che al suo dispetto crede.

(Мысленно изыскивает тысячи способов не верить тому, чему, однако же, верит на беду свою.) Пушкин сперва перевел:

---

* Это уже было почти семейным качеством. Сам Александр Сергеевич рассказывал анекдот из детства своего. Меньшой брат его, Николинька, лежал при смерти. Александра Сергеевича ввели в комнату больного; умирающий ребенок распознал брата, успел показать ему язык и умер[63].

«Еще он силится не верить», потом зачеркнул стих и написал: «Не верить хочет он, хоть верит», а потом замарал и это! Со всем тем поэтический колорит Ариостовой кисти сохранен вполне в этом едва набросанном переводе и был бы истинным подарком публике в то время. Вспомним, что большинству ее поэма Ариоста казалась или сухой волшебной сказкой, благодаря французским переложениям, или напыщенной небылицей — по милости русских переводов; поэтического оттенка ее оно не знало*.

К этому же времени принадлежит и первая мысль о «Египетских ночах». Стихотворение «Чертог сиял...» было написано в 1825 году[65], и если можно удивляться, что «Борис Годунов» пролежал 6 лет в портфеле автора, прежде чем явился в свет, то еще более заслуживает изумления долгий искус, какому подвержена была эта пьеса, явившаяся в печати уже по смерти Пушкина. Правда, в тетради его она исполнена таких помарок, что едва можно разобрать несколько отдельных стихов. Только сбоку весьма четко написано: «Aurelius Victor». Римский писатель IV века, который одним замечанием своим о Клеопатре подал Пушкину первую мысль стихотворения. К этой пьесе поэт наш возвращался уже потом несколько раз, но здесь мы остановимся. История создания «Египетских ночей» до такой степени любопытна по отношению к способу творчества у Пушкина, что мы будем излагать ее в своем месте, с некоторой подробностью. Имя Aurelius Victor указывает нам покамест на разнообразнейшее чтение Пушкина в ту же эпоху. Библиотека его уже росла по часам: каждую почту присылали ему книги из Петербурга. Надо заметить, что Пушкин читал почти всегда с пером в руках: страницы русских альманахов и разных других брошюр были покрыты его заметками, теперь, к сожалению, не существующими. Более важным созданиям посвящал он извлечения и заметки на особых листах: таким образом прочел он в деревне всего Шекспира и «Римскую историю» Тацита. Письма Пушкина о «Годунове», приведенные нами, достаточно показывают его глубокое понимание произведений великого драматурга, но собственно работы над Шекспиром теперь не существует. Блестящим остатком ее могут служить два отрывка: один с разбором Фальстафа[66], напечатанным посмертным изданием в «Записках Пушкина», а другой, касающийся драмы «Ромео и Юлии» и посмертным изданием пропущенный. Он приложен был в «Северных цветах» на 1830 г. к переводу одной части Шекспировой трагедии («Ромео и Юлия», действие III, явление 1-е)

* Перевод из Ариоста находится у нас в Приложении VI к «Материалам».

неизвестного автора*. Отрывок этот сопровождался в альманахе припиской на конце: «Извлечено из *рукописного сочинения* А. С. Пушкина». Этого рукописного сочинения, однако, нет в бумагах поэта, и мы принуждены ограничиться сбережением только самого отрывка, единственного его остатка[68]:

«Многие из трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не принадлежат, а только им поправлены. Трагедия «Ромео и Джюльета» хотя слогом своим и совершенно отделяется от известных его приемов, но она так ясно входит в его драматическую систему и носит на себе так много следов вольной и широкой его кисти, что ее должно почесть сочинением Шекспира. В ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска и *concelli***. Так понял Шекспир драматическую местность. После Джюльеты, после Ромео, сих двух очаровательных созданий шекспировой грации, Меркутио, образец молодого кавалера того времени, изысканный, привязчивый, благородный Меркутио есть замечательнейшее лицо изо всей трагедии. Поэт избрал его в представители итальянцев, бывших модным народом Европы, французами XVI века».

Обращаясь к «Римской истории», мы можем сказать, что Пушкин нашел в ней одно величавое лицо, приковавшее все внимание его, именно Тиберия: «Чем более читаю Тацита, — пишет он, — тем более мирюсь с Тиберием. Он был один из величайших умов древности»[69]. В другой раз в своем *трактате о воспитании*, о котором скоро будем говорить, он прибавляет: «Тацит есть великий писатель, впрочем, исполненный политических предрассудков»[70]. По обыкновению своему, Пушкин стал писать заметки о Тиберии, следя за мыслями кесаря по рассказу знаменитого римского историка и выводя из сжатых его определений те пояснения, образцы которых находятся у Макиавеля в его рассуждениях о книгах Тита Ливия. Как пример этой борьбы с Тацитом и самого способа ведения исторической полемики прилагаем здесь несколько отрывков из толкований Пушкина.

I

«Тиберий не мог быть доволен Германиком, оказавшим много слабости в погашении бунта легионов. Германик соглашается на требования мятежников, ограничивает время службы, допущает самовольные казни, даже междоусобную

---

* В «Северных цветах» на 1829 год из той же трагедии Шекспира помещен был отрывок (лучшее место всего сочинения) по переводу П. А. Плетнева. Не знаем, ему ли принадлежит и тот, о котором здесь идет речь[67].

** блестящими оборотами мысли (*итал.*). — *Ред.*

битву. Блестящие поражения неприятеля при Марсорских селениях не заглаживают столь явных ошибок. Тиберий в своей речи старался их прикрыть риторическими украшениями; меньше хвалил он Друза, но откровеннее и вернее. Счастливые обстоятельства благоприятствовали Друзу, но сей оказал и много благоразумия: не склонился на требования мятежников, сам казнил первых возмутителей, сам водворил порядок».

II

«Германик, тщетно стараясь усмирить бунт легионов, хотел заколоться в глазах воинов. Его удержали. Тогда один из них подал свой меч, говоря: «Он вострее». Это показалось, говорит Тацит, слишком злобно и жестоко самым яростным мятежникам.

Самоубийство было обыкновенно в древности. Мать Мессалины советует ей убиться. Мессалина в нерешимости подносит нож то к горлу, то к груди, и мать ее не останавливает. Сенека не препятствует своей жене Паулине последовать за ним и проч. Предложение воина есть хладнокровный вызов, а не неуместная шутка».

III

«Юлия, дочь Августа, известная ссылкой Овидия, умирает в *изгнании и в нищете*, но не от *нищенства и голода*, как пишет Тацит. Голодом можно заморить в тюрьме...»[71]

IV

«Некто Вибий Серен по доносу своего сына был присужден римским сенатом к заключению на каком-то безлюдном острове. Тиберий воспротивился сему решению, говоря, что человека, коему дарована жизнь, не следует лишать способов к поддержанию жизни. Слова, достойные ума светлого и человеколюбивого!»[72]

Так проводил время Пушкин в беспрерывных занятиях, в беспрерывном творчестве, в беспрерывной беседе с друзьями и в отдохновениях дружбы, которую нашел близ себя. Замыслы на будущее не были пренебрежены им; в это время уже он думал об основании журнала, который мог бы служить выражением как его литературной деятельности, так и взгляда на искусство и на текущие явления отечественной и иностранной словесности. Он поручал кн. В⟨яземско⟩му, находившемуся тогда в Москве, устройство этого дела, но дело устроилось только в 1827 году основанием «Московского вестника» и личным его участием[73].

Лето 1826 года было знойно в Псковской губернии. Недели проходили без облачка на небе, без освежительного

дождя и ветра. Пушкин почти бросил все занятия свои, ища прохлады в садах Тригорского и Михайловского и дожидаясь осени, которая приносила ему, как известно, бодрость и веселье.

10 августа дописал он шестую главу «Онегина», где так трогательно прощается со своею молодостью:

Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары.
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился... и вполне.
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть...

Так оканчивалась шестая глава «Онегина» с заметкой: «10 августа»[74]. Две дополнительные строфы ее с описанием светского общества принадлежат уже к пребыванию поэта в Москве...

ГЛАВА XII

Переезд в Москву и жизнь Пушкина в обеих столицах. 1826—1827 г.: Осенью 1826 (сентября 3) Пушкин получает позволение пользоваться советами врачей в Москве, представлен государю императору. — Пушкин снова в деревне, где получает «Тригорское» Языкова, и в ноябре опять является в Москву. — Письмо к Алексееву с дороги. — Письмо к Языкову с приглашением участвовать в «Московском вестнике». — Стансы «В надежде славы...». — Рассуждение «О воспитании», составленное по поручению начальства. — Зима и весна 1826—1827 г. в Москве, жизнь его там и недовольство жизнию. — Летом 1827 г. Пушкин в Петербурге, а к осени снова возвращается в деревню.

3 сентября получено было во Пскове всемилостивейшее разрешение на просьбу Пушкина о дозволении ему пользоваться советами столичных докторов. Державная рука, снисходя на его прошение, вызвала его в Москву, возвратила его городской жизни, которую он так любил, и, вместе с тем, указала ему обязанности, лежавшие на нем, как на гражданине и писателе, который должен употребить отличные свои способности на предание потомству славы нашего отечества. Тотчас по прибытии в Москву, Пушкин имел счастие быть представлен государю императору. Скажем здесь, что впоследствии, во всех случаях жизни своей, Пушкин вспоминал о наставлениях, преподанных ему в это время отеческою снисходительностью монарха, не иначе как с чувством благоговения и умилением[1].

Москва приняла его с восторгом, и, долго лишенный удовольствий столицы, он предался им с энергией, которая было

заснула в деревне. Всю зиму он почти не брался за перо, наслаждаясь и славой, которая всюду встречала его, и заискивающим вниманием окружающих. Успехи в обществе снова стояли на первом плане в его жизни, и снова овладела им та жажда перемен мест, то искание впечатлений, встреч и происшествий, какими отличалась его первая молодость и, преимущественно, одесская и кишиневская жизнь. Утомление явилось и тут в свою очередь, в конце 1829 года, как прежде мы видели в Михайловском, пять лет тому назад.

Едва осмотревшись в Москве, Пушкин уехал снова в деревню для приведения в порядок дел и, преимущественно, для разбора и укладки книг своих, которые намеревался отправить в одну из столиц*. В ноябре он уже писал из Пскова, собираясь снова на возвратный путь в Москву, послание к *Н. С. А⟨лексее⟩ву*, товарищу своего бессарабского житья-бытья:

«Приди, о друг, дай прежних вдохновений.
Минувшего мне жизнию повей...[3]

Не могу изъяснить тебе мои чувства при получении твоего письма... Кишиневские звуки, берег Быка[4]... милый мой: ты возвратил меня Бессарабии. Я опять в своих развалинах — в моей темной комнате, перед решетчатым окном или у тебя, мой милый, в светлой чистой избушке[5]... Как ты умен, что написал ко мне первый! Мне бы эта счастливая мысль никогда в голову не пришла, хотя и часто о тебе вспоминаю... Был я в Москве и думал: авось, бог милостив, увижу где-нибудь чинно сидящего моего друга, или в креслах театральных, или в ресторации за обедом. Нет — так и уехал в Псков. Так и теперь опять еду в Белокаменную. Надежды нет или очень мало. По крайней мере пиши же мне почаще, а я за новости Кишинева стану тебя потчевать новостями московскими.

Прощай, отшельник бессарабский,
Лукавый друг души моей,
Порадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей»[6].

По прибытии в Москву он опять пишет несколько строк к Языкову, но в этих строках — от 21 ноября 1826 г. — уже заключается любопытное свидетельство, что издание журнала, о котором Пушкин думал еще в деревне, тогда было решено:

---

* В деревне он нашел послание Н. М. Языкова, известное «Тригорское», и с восторгом писал ему: «Милый Н⟨иколай⟩ М⟨ихайлович⟩! Сейчас из Москвы, сейчас видел ваше «Тригорское». Спешу обнять и поздравить вас. Вы ничего лучше не написали, но напишете много лучшего. Дай вам бог здоровья, осторожности, благоденственного и мирного жития!»[2]

«Письмо ваше получил я в Пскове и хотел отвечать из Новгорода — вам, достойному певцу того и другого. Пишу, однако ж, из Москвы, куда вчера привез я ваше «Тригорское». Вы знаете по газетам, что я участвую в «Моск⟨овском⟩ вестнике», следственно и вы также. Адресуйте же ваши стихи в Москву на Молчановку, в дом Ренкевичевой, откуда передам их во храм бессмертия. Непременно будьте же наш. Погодин вам убедительно кланяется.

Я устал и болен — потому вам и не пишу более. В⟨ульфу⟩ кланяюсь, обещая мое высокое покровительство.

21 ноября[7]. «Тригорское» ваше с вашего позволения напечатано будет во 2 № «Моск⟨овского⟩ вестника».

Рады ли вы журналу? Пора задушить альманахи. Дельвиг наш. Один Вяземский остался тверд и верен «Телеграфу» — жаль, но что же делать?»

Итак, Пушкин возвратился в Москву 20 ноября[8] и 22 декабря уже писал в доме Зуб⟨ковых⟩, своих знакомых, известные и превосходные стансы «В надежде славы и добра...». Тогда же представил он свое рассуждение «О воспитании юношества», составленное им по поручению высшего начальства[9]. Небольшое рассуждение это было единственным трудом Пушкина шумной зимой 1826—1827 года, если исключим всегдашние его занятия своим «Онегиным». Несколько черновых бессвязных отрывков трактата о воспитании, сохранившихся в его бумагах, не дают никакой ясной идеи о сочинении; но из отзыва, воспоследовавшего на рассуждение, можно заключить об односторонности основной мысли автора. Изъявляя ему признательность за некоторые отдельные истины, высшее начальство поставило ему на вид, что правило, принятое сочинителем, будто просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило неверное; ибо при сем упущены из виду нравственные качества и, наконец, примерное служение, усердие, которые должно предпочесть просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному[10]. Сам Пушкин сознавал недостатки своего труда, извиняя их малым знакомством с предметом, который дотоле никогда не занимал его мыслей, и прося позволения заняться чем-либо, более ему близким и известным[11].

Всю зиму и почти всю весну Пушкин пробыл в Москве; в начале мая месяца 1827 г. он получил дозволение на пребывание и в Петербурге. В июне он уже был на берегах Невы и 14-го июля написал там послание к Языкову («К тебе сбирался я давно...»)[12], а 27 июля стихотворение «Три ключа»[13].

Московская его жизнь, как мы уже сказали, была рядом забав и вместе рядом торжеств. Впервые ознакомил он тут друзей с своей «Комедией о Борисе Годунове»: удивление и похвалы были общие. Пушкин еще не пришел к тому сомне-

нию о возможности ее успеха, в котором находился после, и не без основания, как известно. Вечер 1826 года, когда в первый раз прочел он свое произведение в доме Вен⟨евитиновых⟩, если не ошибаемся, доселе вспоминается многими с восторгом. Неожиданность появления этой народной драмы, не имевшей связи ни с настоящими, ни с прошедшими явлениями русской словесности, да и оставшейся без последователей и продолжения; сам чтец, получивший какую-то удивительно смелую и оригинальную красоту в собственном вдохновении, — все это осталось неизгладимо в памяти свидетелей[14]. В первое время Пушкин жил с одним из своих приятелей на Собачьей площадке, в доме, кажется, принадлежащем теперь г-ну Левенталю. После кратковременной отлучки он уже поселился, как мы видели, на Молчановке, в доме Ренкевичевой[15]. Он вставал поздно после балов и вообще долгих вечеров, проводимых накануне. Приемная его уже была полна знакомых и посетителей, между которыми находился один пожилой человек, не принадлежавший к обществу Пушкина, но любимый им за прибаутки, присказки, народные шутки[16]. Он имел право входа к Пушкину во всякое время и платил ему своим добром за гостеприимство. В городской жизни, в ее шуме и волнении, Пушкин был в настоящей своей сфере. Это можно видеть даже из нескольких строк, начертанных карандашом на перебеленной копии «Бориса Годунова»: «Voici ma tragédie. Je voulais vous l'apporter moi-même, mais tous ces jours — j'ai fait le jeune homme...»*[17]

ГЛАВА XIII

«Московский вестник»: Письмо к Погодину со стихами «Пока не требует поэта...» для его журнала. — Основание «Московского вестника», его направление, сущность теорий «Московского вестника». — Теория отражается в стихотворениях поэта «Чернь», «Поэт, не дорожи любовию народной...» и проч. — Перстень, бережно хранимый Пушкиным. — Пушкин по призванию и по теории становится художником про себя. — Его внутренний мир. — Стихи «Миг вожделенный настал...» и неизданная строфа «С толпой не делишь ты ни гнева...». — Мысль о призвании истинного поэта успокаивает Пушкина в волнениях жизни. — Заботливость Пушкина об издании «Московского вестника». — Альманах «Урания» 1826 ⟨г.⟩, отрывок из письма к Погодину с осуждением альманаха. — Другое письмо, свидетельствующее о важности, какую, наоборот, придавал он журналу.

Только неожиданные удары и неразрешимые противоречия, в которых он сам запутывался, возвращали его от времени до времени к самому себе. В непрерывной цепи удо-

* «Вот моя трагедия. Я хотел сам занести ее к вам, но все это время я вел себя, как юноша...» *(франц.)*. — *Ред.*

вольствий, которые подчас имеют свои тяжелые обязанности, а иногда понуждают к тем опрометчивым шагам, для исправления которых нужно так много энергии, пролетела зима 1827 г. для Пушкина, оставив ему несколько сладких воспоминаний и много горечи на душе. Он уехал из Москвы весной, сперва в Петербург, потом в деревню, но недовольный собой и недовольный другими. Светлый взгляд на себя и внутренняя тишина возвращались к Пушкину почти тотчас, как он сходил с почвы, на которой страсти его приобретали всегда особенную силу. Примеров этому много в жизни его. Прибыв в Михайловское, он писал оттуда М. П. П⟨огодин⟩у, посылая несколько стихотворений в журнал «Московский вестник»:

«Что вы делаете? Что наш «Вестник»? Посылаю вам лоскуток «Онегина» ему на шапку. «Фауст»[1] и другие стихи не вышли еще из цензуры. Я убежал в деревню, почуя рифмы»[2].

И вслед за этими словами Пушкин начинает свое превосходное стихотворение:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен... —

которое в одно время представляет и общий поэтический образ, и частное изображение его нравственного состояния в то время.

Скажем несколько слов о новом журнале, существование которого Пушкин признавал одно время совершенно необходимым как для себя, так и для литературы. Особенно важно для биографии его то обстоятельство, что направление журнала укрепило и развило в нем тот взгляд на художника и искусство, который он выразил в известных своих стихотворениях «Чернь», «Поэт», «Эхо», «Поэт, не дорожи любовию народной...» и который заслуживает подробного рассмотрения.

Вероятно, еще многие помнят усилия «Московского вестника» ознакомить публику прямо с немецкими теориями изящного помимо толкований и изменений французских критиков. Такие же попытки альманаха «Мнемозина» остались безуспешны, особенно за туманность языка, еще необразованного тогда для логических тонкостей и отвлечений. «Московский вестник» открыл другой путь: он обратил преимущественно внимание на осязательную сторону немецких теорий, их страстную любовь к предмету и романтическое одушевление. Без всякой последовательности и строгой системы журнал прилагал отрывки из Жан-Поля, Тика и Шеллинга. Правда, что отрывочность эту тогда же ставили в упрек журналу даже его приверженцы, как мы имели случай видеть в неизданной переписке Туманского с Пушкиным.

Статьи сотрудников перерабатывали только положения немецких писателей, облекая их в ту восторженную и отчасти сентиментальную форму, которая составила цвет журнала и тайну его влияния на молодых людей. Лирический язык, каким писались эти вообще короткие статьи, был, может статься, тогда способнее, чем всякое другое изложение, держать в напряжении пробуждающееся эстетическое чувство и порождать стремление к изящному, в чем и состояла цель журнала. Пушкин принял деятельное участие в судьбе его, посвятил ему много своих произведений и как человек, понимавший практическую сторону всякого дела, рассчитывал на 10 тысяч дохода за свое сотрудничество[3]. Коммерческие его соображения удались только вполовину, но важнее всего этого то обстоятельство, что из круга молодых людей, содействовавших успеху журнала, вынес он свой полный, установившийся взгляд на художника и искусство[4]. Тем быстрее усвоил он себе их теорию творчества, что она только развила и дополнила собственное его понимание предмета, уже высказанное им в известном «Разговоре книгопродавца с поэтом», появившемся за три года до основания журнала.

Сущность теории состояла в весьма строгом взгляде как на призвание художника, так и на задачу самого искусства. Последнее определяла она проявлением *бесконечного* в ограниченных или *конечных* формах и создавала ему таким образом цель высокую, независимую от требований современности. Идеальное понимание искусства само собой приводило к мысли об исключительном и важном значении художника, посвятившего ему жизнь свою. Как служитель изящного, он не принадлежал толпе, не разделял ее стремлений и не признавал ее нужд. Под действием этой теории, имевшей на Пушкина сильное влияние, написал он свое стихотворение «Чернь», названное им в рукописи «Ямб». Заключительные стихи его превосходно выражают сущность всего воззрения:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв[5].

В дальнейшем своем развитии учение ставило художника и единственным верным ценителем своего произведения. По сущности теории, художник не нуждался в сочувствии окружающих, не имел надобности отдавать отчета в своих сношениях с идеалом и один знал первую причину и настоящую цель своих произведений. В превосходном стихотворении «Поэт, не дорожи любовию народной...» Пушкин отвергал всякое постороннее вмешательство этими гордыми словами, обращенными к художнику:

.....Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам — свой высший суд[6]...

Условия самого таланта и внешние обстоятельства еще более укрепили в поэте нашем этот взгляд на художника и, по отражению идеи, на собственное призвание. Талант Пушкина был тайною для него самого, которую он не мог объяснить иначе, как сравнением с явлениями физической природы, действующими по законам, им неведомым. Вспомним его описание поэта в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный *и проч.*,

вспомним еще его сравнение поэта с эхом в известной пьесе «Эхо»:

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
    На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
    Родишь ты вдруг.

«Таков и ты, поэт!» — восклицает Пушкин в конце стихотворения[7]. Действительно, его поэтическая способность должна была ему самому казаться неизъяснимым предопределением, потому что если обширное чтение, образованность, размышление давали ей материалы и пищу, то породить ее были не в силах. Он так хорошо чувствовал это, что, по известной склонности своей к суеверию, соединял даже талант свой с участью перстня, испещренного какими-то кабалистическими знаками и бережно хранимого им. Перстень этот находится теперь во владении В. И. Даля[8]. Не менее высоко должен он был ценить и искусство вообще в приложении к самому себе. Кроме славы и обширных средств существования, какие были ему всегда потребны, только в искусстве находил он благотворное разрешение противоречий собственного своего существования, только в нем примирялся он с самим собой и сознавал себя в высоком нравственном значении. Так теория искусства сходилась здесь с самой жизнью. Впоследствии холодность публики и невнимание ее к лучшим, зрелым его произведениям еще глубже погрузили его в художническое уединение, которое он воспевал. Действительно, Пушкин сделался и творцом, независимым от вкуса и расположения публики, и единственным верным судьей своих произведений. Обстоятельства много способствовали к оправданию и укоренению в нем отвлеченной теории, которая

получила впоследствии еще сильнейшее развитие. К концу своего поприща Пушкин пришел к мысли и убеждению, что самый труд, как предмет, назначенный для общего достояния всех, ничего не значит в глазах поэта, а важны для последнего только высокие наслаждения, доставленные течением труда. Мы находим уже эту мысль в антологическом стихотворении «Миг вожделенный настал...», но ярче выразилась она в одном неизданном стихотворении, которое прилагаем здесь в точности:

С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни удивленья, ни напева,
Ни нужд, ни смеха, ни труда.
Глупец кричит: *«Куда, куда?
Дорога здесь»*, — но ты не слышишь,
Идешь, куда тебя влекут
Мечты невольные. Твой труд
Тебе награда — им ты дышишь,
*А плод его бросаешь ты
Толпе — рабыне суеты...*[9]

Воззрение это принесло существенную пользу в жизни Пушкина. Оно отчасти успокоило его в виду кривых толков, скоро возбужденных его произведениями. Не надо забывать, однако ж, что все отвлеченное и неприложимое к жизни в теории, исправлено было практическим смыслом самого поэта, который никогда не мог отделиться от исторического и действительного быта родины, от окружающих явлений природы, и никогда не мог уйти в самого себя до того, чтоб случайные, местные явления не тревожили его сердца и не пробуждали его вдохновения*.

---

* Есть и еще неизданное стихотворение Пушкина, в котором выражается его воззрение на поэта, но оно особенно важно для истории, так сказать, его стихотворений. Кому не известна превосходная его пьеса «К Н.» («С Гомером долго ты беседовал один...»)?[10] Известно также, что ее величавый и суровый тон переходит в конце к тихому, грациозному образу, сообщающему всей пьесе неуловимую прелесть:

Нет! Ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой;
Ты любишь гром небес, а также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой.

Но здесь еще пьеса не кончается у Пушкина. На другой странице он продолжает ее, но как будто уже для самого себя, как будто для того, чтоб не потерять случая дополнить свое воззрение на поэта новой чертой. Он продолжает:

Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены —
И улыбается забаве площадной,
И вольности лубочной сцены.

И надо видеть в переписке его с издателем «Московского вестника»[11], напечатанной в «Москвитянине» (1842, № 10), сколько усилий, поощрения, заботливости и увещаний истощил Пушкин на поддержание бодрости в редакции и на утверждение журнала. Когда издатель его, вероятно, по недостаточности средств, доставляемых «Вестником», хотел опять приступить к альманаху «Урания», уже изданному им раз в 1826 г., Пушкин пришел почти в ужас. Цель журнала была именно уничтожить бесплодные сборники, так сильно размножившиеся в это время. Пропускаем начало письма и приводим существенную часть его:

«Нет, вы не захотите марать себе рук альманашной грязью. У вас *много накопилось статей, которые не входят в журнал;* но каких же? *Quod licet Uraniae, licet* тем паче Вестнику; не только *licet*, но *decet**. *И другие причины*. Какие? Деньги⟨?⟩ Деньги будут, будут. Ради бога, не покидайте «Вестника»; на будущий год обещаюсь вам *безусловно* деятельно участвовать в его издании; для того разрываю непременно все связи с альманашниками обеих столиц. Главная ошибка наша в том, что мы хотели быть слишком дельными; стихотворная часть у нас славная, проза, может быть, еще лучше, но вот беда: в ней слишком мало вздору. Ведь, верно, есть у вас повесть для «Урании»? Давайте ее в «Вестник». Кстати о повестях: они должны быть непременно существенной частью журнала, как моды у «Телеграфа». У нас не то, что в Европе, — повести в диковинку. Они составили первоначальную славу Карамзина, у нас про них еще толкуют. Ваша индейская сказка «Переправа»**[12] в европейском журнале обратит общее внимание, как любопытное открытие учености; у нас тут видят просто повесть и важно находят ее глупою. Чувствуете разницу? «М⟨осковский⟩ вестник», по моему беспристрастному, совестному мнению, — лучший из русских журналов. В «Телеграфе» похвально ревностное трудолюбие, а хороши одни статьи Вяземского; но зато за одну статью В⟨яземского⟩ в «Телеграфе» отдам 3 дельных статьи «Московского вестника». Его критика, положим,

---

* * *

То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с детской легкостью меж тем летает он
Вослед Бовы иль Еруслана.

Следует помнить, что эти строфы были и зачеркнуты самим автором как портящие стихотворение, но они принадлежат к его любимому представлению о той свободе вдохновения, какая прилична поэту.

* Что дозволено Урании, дозволено ⟨...⟩; ⟨...⟩ дозволено, ⟨...⟩ подобает *(лат.)*. — *Ред.*

** Индейская сказка, переведенная, кажется, с немецкого г-м Титовым.

несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны: он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться. Важное достоинство, особенно для журналиста!.. 31-е августа. Михайловское». Письмо писано в 1827 году, стало быть, шесть месяцев после основания журнала*.

ГЛАВА XIV

«Московский телеграф» и история первого издания стихотворений Пушкина в 1826 г.: «Московский телеграф», его значение и отношение к Пушкину. — Сочувствие Пушкина к «Телеграфу» в первое время, изменившееся влиянием Веневитинова. — Смерть Веневитинова и его характер. — Веневитинов направляет мысль Пушкина к Гете. — «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем», перо от Гете. — Перечень поэм и времени их появления в печати с 1825 по 1829 г. — История первого полного издания мелких стихотворений. — Письмо из Одессы в 1824 г. о притязаниях Гнедича на издание стихотворений. — Стихотворения обещаны трем лицам. — Письмо к Я. Н. Толстому с отклонением нового предложения и стихами «Горишь ли ты, лампада наша...». — Отрывок из письма к Бестужеву из Одессы 1824 ⟨г.⟩ о выкупе стихотворений у Всеволожского, другой к брату из Кишинева в 1823 г. о том же. — Получение рукописи от Всеволожского в 1824 ⟨г.⟩ и восторг, произведенный окончанием этого дела. — Письмо к брату из Михайловского в 1825 ⟨г.⟩ с возвращением исправленной рукописи, с советами, как печатать ее, и с заметкой на стихи Жуковского «Мотылек и цветы». — Выход в свет собрания стихотворений в 1826 г. — Письмо из Михайловского в 1825 г. с указанием, как писать предисловие к изданию стихотворений 1826 г.

---

* Так точно и другое письмо Пушкина к издателю, написанное двумя месяцами ранее и еще из Петербурга (1-го июля), отличается тем же характером[13]. Пушкин старается поддержать в сотрудниках силы и добрые намерения всеми средствами: обещаниями, похвалой, резким приговором общим противникам: «Простите мне долгое мое молчание, любезный М⟨ихайло⟩ П⟨етрович⟩; право, всякий день упрекал я себя в неизвинительной лени, всякий день собирался к вам писать и все не собрался. По сему самому и не посылаю вам ничего в «М⟨осковский⟩ в⟨естник⟩». Правда, что и посылать было нечего; но дайте сроку, осень у ворот; я заберусь в деревню и пришлю вам оброк сполна. Надобно, чтоб наш журнал издавался и на следующий год. Он, конечно, будь сказано между нами, первый, единственный журнал на Руси: должно терпением, добросовестностию, благородством и особенно настойчивостию оправдать ожидания известных друзей словесности и *одобрение великого Гете*[14]. Честь и слава милому нашему ⟨Шевырев⟩у. Вы прекрасно сделали, что напечатали письмо нашего германского патриарха. Оно, надеюсь, даст ⟨Шевырев⟩у более весу во мнении общем... За разбор «Мысли», одного из замечательнейших стихотворений текущей словесности[15], уже досталось нашим северным шмелям[16] от Крылова, осудившего их каждого по достоинству. Вперед! И да здравствует «М⟨осковский⟩ в⟨естник⟩»!» Из слов «оправдать одобрение великого Гете» можно заключить, что Гете знал не один только разбор «Елены» (из 2 части «Фауста»), сделанный С. П. Шевыревым, но отчасти знаком был и с журналом вообще, а следо⟨вательно⟩, и с некоторыми произведениями Пушкина. Кстати, приводим еще приписку Пушкина. «На днях пришлю вам прозу, да Христа ради, не обижайте моих

Нельзя оставить без упоминовения другой журнал, «Московский телеграф», который так часто приходит на ум и на язык Пушкина в его переписке с друзьями. В холодности поэта к этому изданию открываются, между прочим, черты характера, не лишенные своего значения и занимательности. Пушкин находил в нем более хлопотливости вокруг современной науки, чем изучения какой-либо части ее, и не одобрял хвастовства всякой чужой системой при первом ее появлении, не дозволявшем еще зрелого обсуждения. По существу своему, журнал вообще представляет более наружный вид всякого дела, чем настоящий, истинный его смысл, и преследовать это — значило именно отвергать жизненное условие журнала. Всего же более оскорбляло Пушкина то уничтожение авторитетов и литературных репутаций, которое происходило от немедленного приложения вычитанных идей к явлениям отечественной словесности. Несмотря на ловкость и остроумие, с какими иногда производились эти опыты, Пушкин не имел к ним ни малейшего сочувствия. Притом не должно упускать из вида и весьма важного обстоятельства. Журнал «Московский телеграф» был совершенною противоположностию духу, господствовавшему у нас в эпоху литературных обществ; он их заместил, образовав новое направление в словесности и критике. С его появления журнал вообще приобрел свой голос в деле литературы, вместо прежнего назначения — быть открытой ареной для всех писателей, поприщем для людей с самыми различными мнениями об искусстве. Расположение литературных обществ к своим сочленам, прямое участие, так сказать, в их замыслах, близкое знакомство с существенными качествами и недостатками их таланта, отчего похвала и осуждение принимаемы были добродушно и покорно самими подсудимыми, — все это уже сделалось тогда достоянием истории нашей литературы. Пушкин, можно сказать, сохранял долее многих своих товарищей основные убеждения старого члена литературных обществ. К новому порядку вещей, где личное мнение играло такую роль, он уже не мог привыкнуть всю свою жизнь. С первых же признаков его появления он начал свою систему рассчитанного противодействия, забывая иногда и то, что высказывалось по временам дельного и существенного противниками, и постоянно имея в виду только одно: возвратить критику в руки малого, избранного круга

сирот-стишонок опечатками и т. п. ⟨Шевырев⟩у пишу особо. Грех ему не чувствовать Баратынского, но бог ему судья!»[17] Мы не знаем прозы Пушкина в «Московском вестнике», а что касается до стихов, то с 1827 по 1830 год включительно Пушкин поместил в журнале 33 стихотворения, включая сюда отрывок из «Бориса Годунова», отрывок из «Нулина» и два из «Е⟨вгения⟩ Онегина».

писателей, уже облеченного уважением и доверенностью публики*.

В марте 1827 года умер в Петербурге Д. В. Веневитинов. Он именно принадлежал к тому кругу молодых людей, которые искали в науке и в строгих занятиях удовлетворения своему благородному стремлению к идеалу, добру и красоте. Вся его литературная деятельность проникнута этим стремлением, и он имел свою долю влияния на Пушкина, как почти каждая замечательная личность, встречавшаяся ему на пути. В порывах Веневитинова к истине, в его томительном желании полноты знания, даже в нравственном упадке сил, следующем за напряжением мысли и чувства, лежало много залогов будущности и развития... За несколько времени до смерти своей Веневитинов написал «Послание Пушкину», в котором призывал певца Байрона и Шенье воспеть великого германского старца, Гете. Пушкин в превосходной сцене, созданной в это же время и названной им «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем», изменил отчасти образы германского поэта, но с замечательной силой, энергией поэзии[2]. Есть предположение, что Гете знал об этой сцене. Рассказывают, что он послал Пушкину поклон чрез одного русского путешественника и препроводил с ним в подарок собственное свое перо, которое, как мы слышали, многие видели в кабинете Пушкина, в богатом футляре, имевшем надпись: «Подарок Гете»[3].

Между тем с 1826 по 1829 год, в течение трех лет, Пушкин выдавал одно за другим новые свои произведения и перепечатывал старые. В 1826 изданы были стихотворения его в одной книжке, о которых мы уже говорили, и II глава «Онегина» (первая появилась в 1825 году); в следующем 1827 г. изданы III глава «Онегина» и «Цыганы»; затем 1828 г. видел появление IV, V и VI глав «Онегина» и новое издание «Руслана и Людмилы» с прологом и предисловием; наконец, в 1829 году перепечатан из «Северных цветов» «Граф Нулин» в одной

---

* В первое время появления «Московского телеграфа» Пушкин еще не разделял тех убеждений, которые заставили его переменить отношения свои к журналу. С. Д. Полторацкий привел в статье своей («Иллюстрация», 1846, № 9) учтивое письмо его к издателю журнала[1] от 2 августа 1825 ⟨г.⟩, когда поэт жил еще постоянно в Михайловском: «Радуюсь, что стихи мои могут пригодиться вашему журналу (конечно, лучшему из всех наших журналов). Я писал кн. В⟨яземскому⟩, чтоб он потрудился вам их доставить. У него много моих бредней. Надеюсь на вашу снисходительность и желаю, чтоб они понравились публике». Действительно, в 1825 году в «Московском телеграфе» были помещены две эпиграммы Пушкина, отрывок из «Цыган», стихотворения «Телега жизни» и «В альбом» («Если жизнь тебя обманет...»). В 1826 году только одно стихотворение Пушкина находилось в журнале — «Элегия» («Люблю ваш сумрак неизвестный...»), а затем он уже помещал в нем одни эпиграммы на «Вестник Европы». Влияние Д. В. Веневитинова сильно способствовало направлению его мыслей и предпочтений в другую сторону.

книжке с повестью Е. Баратынского «Бал»[4], явилась «Полтава», сделано второе издание первой главы «Онегина» и выдано новое собрание стихотворений в двух книжках. Все это, при сотрудничестве в «Московском вестнике» и «Северных цветах», приносило Пушкину способы на роскошное существование, но деньги исчезали в руках его прежде, чем он мог сделать из них употребление... Первое появившееся собрание его стихотворений 1826 г. перешло через несколько рук, проданное или уступленное им, пока не возвратилось опять к одному из друзей поэта, преимущественно занимавшемуся его интересами.

Несколько подробностей об этом издании покажут убедительным образом, что добродушная ветреность его не раз вредила всем его расчетам и надеждам на несомненные выгоды.

Прежде чем П. А. Плетнев и отчасти брат поэта Л. С. Пушкин приступили в 1825 году к собранию стихотворений, долженствовавших войти в новое издание, оно уже наперед и в разные времена обещано было трем лицам, именно Н. И. Г⟨неди⟩чу, Я. Н. Т⟨олст⟩ому и Н. В. Все⟨воложск⟩ому. Всех больше прав, кажется, имел последний, выдавший Пушкину еще в 1820 году 1000 руб. вперед за издание до будущих окончательных расчетов. Требования первого кандидата на издание Пушкин отстранил очень решительно в письме из Одессы от 12 января 1824 ⟨г.⟩, к Б⟨естужеву⟩. «Гнедич, — говорит он в нем, — шутит со мной шутки в другом роде. Он разгласил, будто бы все новые стихи, обещанные мною Т⟨олсто⟩му, проданы уже ему, Г⟨неди⟩чу. Т⟨олсто⟩й написал мне письмо пресухое, в котором он справедливо жалуется на мое легкомыслие, отказался от издания моих стихотворений, уехал в Париж, и мне об нем нет ни слуху ни духу. Он переписывается с тобою в «Сыне отечества»; напиши ему слово обо мне, оправдай меня в его глазах, да пришли его адрес. Повторяю тебе в последний раз мои пени и просьбы и обнимаю тебя *sans rancune** и с благодарностью за все остальное...» Мы видим, что Я. Н. Т⟨олст⟩ому были обещаны все новые стихи; но из другого письма Пушкина к тому же лицу (Кишинев, 1823) оказывается, что в это же время настоящий покупщик, Н. В. Всеволожский, сохранял все свои права, да была еще, кроме того, отдельная подписка на них, что уже требовало двух разных изданий. Путаница еще увеличивается, когда из того же письма видим, что Т⟨олст⟩ой предлагал четвертого или пятого покупщика, князя Л⟨обано⟩ва, которому Пушкин тоже не вполне отказывает. Вот это любопытное письмо: «Милый Яков Николаевич. Приступаю тотчас к делу. Предложение князя Л⟨оба-

---

* без злопамятства *(франц.). — Ред.*

но⟩ва льстит моему самолюбию, но требует с моей стороны некоторых объяснений. Я сперва хотел печатать мелкие свои сочинения по подписке, и было роздано уже 30 билетов; обстоятельства принудили меня продать свою рукопись Никите Все⟨воложско⟩му и самому отступиться от издания. Разумеется, что за розданные билеты я должен заплатить, и это первое условие. Во-вторых, признаюсь тебе, что в числе моих стихотворений иные должны быть выключены, многие переправлены, для всех должен быть сделан новый порядок, и потому мне необходимо нужно пересмотреть свою рукопись. Третье: в последние три года я написал много нового. Благодарность требует, чтоб я все переслал князю Александру, но ⟨цензура, цензура⟩, милый друг! Подождем еще два, три месяца. Как знать? Может быть, к новому году мы свидимся, и тогда дело пойдет на лад. Покамест прими мои сердечные благодаренья: ты один из всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне. Кстати или некстати, два года и шесть месяцев никто ни строки, ни слова:

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?
Все те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?
Часы любви, часы похмелья
По-прежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?
В изгнанье скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас.
Вот он, приют гостеприимный,
. . . .
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
От искр и шуток, и вина.
Я слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы!
Желай мне здравия, калмык!»[5]

После этого уклончивого письма в прозе и стихах обстоятельства переменились. Н. И. Г⟨неди⟩ч был отстранен от издания, Я. Н. Т⟨олст⟩ой сам отказался от него; оставался Н. В. Всеволожский и 30 подписчиков. В отношении первого Пушкин опять пишет к Б⟨естужеву⟩ из Одессы от 24 июня 1824 ⟨г.⟩[6]: «Кончу дружеской комиссией. Постарайся видеть Н. Все⟨воложско⟩го, лучшего из минувших друзей моей минутной молодости. Напомни этому милому... эгоисту,

что существует некто А. Пушкин, такой же эгоист и приятный стихотворец. Оный Пушкин продал ему когда-то собрание своих стихотворений за 1000 руб. ассигнациями. Ныне за ту же цену хочет у него купить их. Согласится ли Аристипп В⟨севолодович⟩? Я бы в придачу предложил ему дружбу, *mais il l'a depuis longtemps, d'ailleurs cela ne fait que 1000 roubles**. Покажи ему мое письмо». Совсем другой тон является в письме Пушкина к брату из Кишинева от 4-го сентября 1823 г.[7] о том же предмете. Вот с какой заботливостию выражается он, когда говорит от сердца и, что называется, с глазу на глаз: «Теперь, моя радость, поговорю о себе. Явись от меня к Н. Все⟨воложско⟩му и скажи ему, чтоб он, ради Христа, погодил продавать мои стихотворения до будущего года. Если же они проданы, явись с той же просьбой к покупщику. Ветреность моя и ветреность моих товарищей наделала мне беды. Около 40 билетов розданы. Само по себе разумеется, что за них я буду должен заплатить. В послании «К Овидию» перемени таким образом:

Ты сам дивись, Назон, дивись судьбе превратной,
Ты, с юных лет презрев волненья жизни ратной,
Привыкнул *и проч.*

Кстати об стихах. То, что я читал из «Шильонского узника», — прелесть[8]. С нетерпением ожидаю успеха «Орлеанской девы»[9]. Но актеры, актеры! Пятистопные стихи без рифмы требуют совершенно новой декламации... Трагедия будет сыграна тоном «Смерти Роллы»[10]. Что сделает великолепная Семенова, окруженная так, как она окружена... Боюсь! Не забудь уведомить меня об этом и возьми от Жуковского билет для первого представления на мое имя...» Наконец, только 14 марта 1825 года пришло известие в Михайловское, где тогда жил поэт, о том, что рукопись наконец выручена, и надо видеть при этом восторг Пушкина. Вот в каком духе отвечает он брату своему: «Брат! Обнимаю тебя и падаю до ног. Обнимаю также и Александра Все⟨воложско⟩го. Перешли же мне проклятую мою рукопись и давай уничтожать, переписывать и издавать. Как жаль, что тебя со мною не будет! Дело бы пошло скорее и лучше. Дельвига жду, хоть он и не поможет: у него твой вкус, да не твой почерк. Элегии мои переписаны, потом послания, потом смесь, потом благословясь ⟨и в цензуру⟩.

Душа моя! Горчицы, рому; что-нибудь в уксусе, да книг: Conversations de Byron, Mémoires de Fouché, «Талию», «Старину», да Sismondi (Littérature) да Schlegel (dramaturgie)[11], если есть у St. Florent.**Хотел бы я также иметь новое изда-

* но он располагает ею уже давно, вообще же дело идет только о 1000 рублях *(франц.)*. — *Ред.*

** Беседы Байрона, Мемуары Фуше ⟨...⟩ Сисмонди (Литература) ⟨...⟩ Шлегель (драматургия) ⟨...⟩ Сен-Флорана *(франц.)*. — *Ред.*

ние: «Собрание русских стихотворений» — да дорого, 75 р. ... Посмотри, однако ж.

Каченовский восстал на меня. Напиши мне, благопристоен ли тон его критик. Если нет — пришлю эпиграмму...

Тригорское 14 марта.

Достань... мои мелкие стихотворения и перешли мне скорее. Что же ты обещал мне прислать Парни?» Через четыре дня после этого письма Пушкин, получивший между тем рукопись, возвращает ее назад в Петербург уже в исправленном виде и с приложением новых стихотворений. Письмо его по этому поводу чрезвычайно оригинально и, как видно из приписки, составлено тотчас после веселой и обильной трапезы, что не мешает ему отличаться остроумием, живостию и здравомыслием: «Брат Лев, брат Пл⟨етне⟩в, третьего дня получил я мою рукопись. Сегодня отсылаю все мои новые и старые стихи. Я выстирал черное белье наскоро, а новое сшил на живую нитку. Но с вашей помощью, надеюсь, барыня-публика не прибьет меня ..., как прачку. Ошибки правописания, знаки препинания, описки, бессмыслицы прошу самим исправить. У меня на то глаз не достанет. В порядке пиес держитесь также вашего благоусмотрения, только не подражайте изданию Батюшкова. Исключайте, марайте сплеча. Позволяю, прошу даже, но для сего труда возьмите себе в помощники Жуковского, не во гнев Бул⟨гари⟩ну, и Гнедича, не во гнев Гри⟨боедо⟩ву. Эпиграфа или не надо или из А. Шенье. Виньетку не худо, даже можно, даже должно, даже, ради неба, сделайте; именно: *Психея, которая задумалась над цветком* (кстати: что прелестнее строфы Жук⟨овского⟩: «*Он мнил, что вы с ним однородные*...» и следующей; конца не люблю*. Что, если б волшебная кисть Ф. Толстого?

---

* В «Северных цветах» на 1825 год напечатано было стихотворение Жуковского «Мотылек и цветы» с таким объяснением: «Стихи, написанные в альбом Н. И. И., на рисунок, представляющий бабочку, сидящую на букете из pensées ⟨анютины глазки *(франц.)*. — *Ред.*⟩ и незабудок. В третьей строфе пьесы говорится о мотыльке, слетевшем с высоты и прельщенном цветами:

Он мнил, что вы с ним однородные
Переселенцы с вышины,
Что вам, как и ему, свободные
И крылья, и душа даны...

В четвертой строфе — ошибка мотылька:

Не рождены вы для вниманья,
Вам не понятен чувства глас *и проч.*

и приговор поэта цветам:

Пускай же к вам, резвясь, ласкается,
Как вы, минутный ветерок:
Иною прелестью пленяется
Бессмертья вестник, мотылек...»

Предпоследний стих опять приводится Пушкиным немного далее.

Нет, слишком дорога!
А ужасть, как мила!..[12]

К тому же, кроме Уткина, ничей резец не достоин его карандаша. Впрочем, это все наружность. *Иною прелестью пленяется...*

Что сказать вам об издании? Печатайте каждую пиесу на особенном листочке, исправно, чисто, как последнее издание Жук⟨овского⟩ и пожалуйста без — и без — и без*. Вся эта пестрота безобразна и напоминает Азию. Заглавия крупными буквами и *à la ligne***, но каждую штуку особенно, хоть бы из четырех стихов состоящую (разве из двух, так можно *à la ligne* и другую). 60 пиес? Довольно ли будет для 1-го тома?..»[13]

Книжка стихотворений вышла в 1826 ⟨г.⟩ действительно без типографской пестроты и без сбивки многих пьес на одном листе, но эпиграф к ней взят из Проперция, а желаемой виньетки совсем не было приложено. Таким образом, наконец разрешилось дело, продолжавшееся не менее шести лет и которое замечательно тем, что показывает в Пушкине соединение необычайной заботливости к своим выгодам с такой же точно непредусмотрительностию и растратой своего добра. В этом заключается и весь характер его.

В дополнение к этой истории одного издания, открывающей любопытные черты из самой жизни поэта, приводим еще одно письмо, которое заканчивает ее весьма живым и оригинальным образом. Мы уже видели, что собрание стихотворений 1826 года снабжено было предисловием от издателей, где об авторе говорится как о третьем, постороннем лице, но это предисловие составлено по указаниям самого Пушкина и вдобавок еще им же и исправлено. Вот что писал он брату из Михайловского в том же 1825 г.: «Получил ли ты мои стихотворения? Вот в чем должно состоять предисловие: «Многие из сих стихотворений дрянь и недостойны внимания российской публики, но как они часто бывали печатаны бог весть кем, бог знает под какими заглавиями, с поправками наборщика и с ошибками издателя, так вот они, извольте кушать-с, хоть это-с дрянь» (сказать это помягче). 2) «Мы (сиречь издатели) должны были из полного собрания выбросить многие штуки, которые могли бы показаться темными, будучи написаны в обстоятельствах неизвестных или малозанимательных для почтеннейшей публики (российской) или могущие быть занимательными единственно некоторым частным лицам, или слишком незрелые, ибо г. Пушкин изволил печатать свои стихи в 1814 г. (т. е. 14 лет). 3) По-

---

* Здесь изображены разные типографские украшения, бывшие тогда в моде.

** с красной строки *(франц.)*. — *Ред.*

жалуйста, без малейшей похвалы мне. Это непристойность, и в «Бахчисарайском фонтане» я забыл заметить это Вяземскому. 4) Все это должно быть выражено романтически, без буффонства — напротив. Во всем этом полагаюсь на Пл⟨етне⟩ва. Если я скажу, что проза его лучше моей, ведь он не поверит. Ну, по крайней мере, столь же хороша: доволен ли он? Да перешли на всякий случай это предисловие ко мне, а я пришлю вам замечания свои...»[14] Предисловие действительно написано было в том смысле, как указал поэт наш, и первое издание его стихотворений наконец принадлежало ему одному безраздельно. К сожалению, мы имеем весьма мало сведений для истории других его изданий, а она могла бы представить много любопытного и важного в биографическом отношении.

ГЛАВА XV

Торговая сторона деятельности Пушкина и история происхождения некоторых лирических его произведений. — Пушкин как прозаик: Пушкин развил нашу книжную торговлю. — Продажа стихов Пушкина в книжной торговле. — Отвращение являться в обществе в звании поэта. — Стихи «На это скажут мне с улыбкою неверной...». — Письменные выговоры Пушкина в 1824 г. друзьям за преждевременное распространение его стихотворений и нарушение тем его денежных выгод. — Письмо к Дельвигу 1827 г. с присылкой стихотворения «Под небом голубым...» и других. — Значение стихотворений «Под небом голубым...», «Для берегов отчизны дальной...», «Заклинание» в жизни поэта. — Стихотворение Туманского «На кончину Ризнич». — Пушкин зачеркивает или действительно слабые места произведений, или такие, которые содержанием своим слишком резко выражали задушевную его мысль. — История создания пьесы «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...») как образец того, что Пушкин соединял осторожность с искренностию в своих произведениях. — Неизданное окончание стихотворения «Я вижу в праздности, в неистовых пирах...». — Пушкин-прозаик. — «Мысли и замечания» его, помещенные в «Северных цветах» ⟨на⟩ 1828 г. — «Арап Петра Великого», задуманный в 1826, пишется в 1827 ⟨г.⟩ — Пушкин издает свои сочинения непоследовательно, с перескоками, затруднявшими правильную их оценку. — Появление «Полтавы», «Годунова», «Повестей Белкина», «Арапа Петра Великого». — Пушкин еще в Михайловском склоняется к роману из старых русских преданий. — С первой попытки в «Арапе» находит свой оригинальный стиль, который отражается и в «Капитанской дочке» 9 лет спустя.

Пушкин сам гордился тем, что один из первых развил у нас книжную торговлю, что было совершенно справедливо. Еще в 1825 году писали ему из Москвы в Михайловское, что за право вторичного издания трех тогда уже вышедших поэм его г. Селивановский предлагает 12 тысяч руб. ассигнациями[1]. Сделка, кажется, не состоялась, и право издания перешло к г. Смирдину, который перекупил издание «Бахчиса-

райского фонтана» за 3 тысячи ассиг. и заплатил 7 тысяч за право перепечатания двух других поэм. Мы не знаем, сколько автору принесли остальные его произведения, но первое полное издание «Евгения Онегина»[2] куплено у него было за 12 тысяч руб. ассиг., и, вероятно, вдвое, если не более, доставила ему отдельная продажа глав. В 1828 году уже сам Пушкин писал из Петербурга: «Здесь мне дают (à la lettre)* по 10 руб. за стих»[3]. Вообще торговая сторона нашей литературы, еще весьма мало известная, могла бы сообщить цифры весьма любопытные и привести к немаловажным заключениям. Статистические данные книжной торговли, изложенные с некоторым знанием дела, объяснили бы историю нашей письменности в таких наклонностях, которые или мало, или совсем не замечены журнальной оценкой. Книжная торговля была важным делом для Пушкина: он никогда не упускал ее из вида и с нее начинал даже многие литературные свои предприятия. Кто несколько ближе мог вникнуть в характер Пушкина, того не удивит мнение, которое с особенною настойчивостью долго старался он укоренить в друзьях и знакомых, что он пишет и печатает *единственно* для денег. Это уверение, расточаемое упорно и с какой-то претензией, уже показывало тем самым нетвердость своего основания. Дело в том, что оно поясняется, с одной стороны, теорией творчества про самого себя, о которой недавно говорили, а с другой — жизненным противоречием, в котором долго находился наш поэт. Известно, что он всего более опасался, в виду света, своего настоящего призвания и титла поэта. Обязанный лучшими минутами жизни уединенному кабинетному труду, он искал успехов и торжеств на другом поприще и считал помехой все, что к нему собственно не относилось. Уверением, что он пишет из расчета, как другой заводит фабрику или занимается агрономией, старался он перед светом закрыть свое достоинство писателя, в котором никак не хотел явиться перед ними, хотя доброй частью своих успехов обязан был именно блеску, сопровождающему необыкновенный талант. Только в последних годах своей жизни теряет он ложный стыд этот и является в свете уже как писатель. Важные труды, принятые им на себя, и знаменитость самого имени освобождают его от предубеждения, отличавшего его молодые года. В эпоху, которой занимаемся, всякое смешение светского человека с писателем наносило ему глубокое оскорбление. С одушевлением читал он свои произведения людям, занимающимся литературой, но когда в одном и весьма любимом им доме высшего круга просили его прочесть что-нибудь, он с жаром и негодованием прочел только что написанное стихотворение «Чернь», и говорил

---

* в буквальном смысле слова *(франц.)*. — *Ред.*

потом: «В другой раз не будут просить у меня стишков»[4]. Это двойственное положение в обществе превосходно выражено им самим в том отрывке, который, со многими другими, предшествовал созданию «Египетских ночей». Художественно передана там в лице Чарского борьба различных направлений в одном человеке, и образ Чарского как произведение искусства гораздо лучше объяснит читателю лицо поэта, чем все наши разборы и описания. Такое значение имеют постоянные уверения Пушкина, что он пишет для себя, печатает для денег и не думает о славе или известности. У нас есть продолжение неизданного и утерянного стихотворения поэта, написанное им на одной стороне печатного объявления, оторванного, вероятно, от какого-нибудь французского романа.

На это скажут мне с улыбкою неверной:
— «Смотрите! Вы поэт; уклонкой лицемерной
Вы нас морочите. — Вам слава не нужна:
Смешной и суетной вам кажется она;
Зачем же пишете?» — Я? для себя! — «За что же
Печатаете вы?» — Для денег! — «Ах мой боже!
Как стыдно!» — Почему ж?..[5]

На другой стороне листка, где набросаны эти стихи, не лишенные, как кажется, некоторого иронического оттенка, напечатано объявление французского книгопродавца: Ouvrages sous presse: Contes Noires, I Volume in 8°. — Aloïse ou le testament de Robert*, и проч. и проч.**

---

* Печатаются: Темные истории, 1 том in 8°.— Алоиз, или Завещание Робера *(франц.)*. — *Ред.*

** В 1824 году, в то время как книгопродавец Смирдин только что купил за 3000 р. ас. все издание «Бахчисарайского фонтана», напечатанного кн. Вяземским, Пушкин получает известие в Одессе, что поэма его уже читается в рукописях почти всем Петербургом. Пушкин пришел в неописанное волнение и начертил два сильных выговора брату и друзьям своим. Вот первый: «Вот что пишет ко мне Вяз⟨емск⟩ий:

«В «Благонамеренном» читал я, что в каком-то ученом обществе читали твой «Фонтан» еще до напечатания (на что это похоже?) и что в П⟨етер⟩бурге ходят тысячи списков с него. Кто ж после будет покупать? Я на совести греха не имею и проч.».

Ни я. Но мне скажут: а какое тебе дело? Ведь ты взял свои 3000 р., а там хоть трава не расти. Все так, но жаль, если книгопродавцы, в первый раз поступившие по-европейски, обдернутся и останутся внакладе; да вперед невозможно и мне будет продавать себя с барышом. Таким образом, обязан я про все, друзьям *моей славы* — ч⟨ерт⟩ их возьми и с нею! Тут смотри как бы ⟨с голоду не околеть⟩, а они кричат *слава*! Видишь, душа моя, мне на всех вас досадно. Требую от тебя одного — напиши мне, как «Фонтан» расходится, или запишусь в гр⟨афы⟩ Х⟨востов⟩ы и сам раскуплю половину издания»[6]. — Вот второй выговор: «... были бы деньги, а где мне их взять? Что до славы, то ею мудрено довольствоваться... Слава льстить может какому-нибудь В. К⟨озло⟩ву, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех, и других. Mais pourquoi chantais-tu? (Но почему ты пел? *(франц.)*. — *Ред.*) На сей вопрос Ламартина отве-

Вместе с письмами к Погодину мы имеем еще из Михайловского и одно любопытное письмо Пушкина к Дельвигу (от 31 июля 1827 г.). Посылая ему пьесу «Под небом голубым страны своей родной...» для «Северных цветов», Пушкин написал:

«Вот тебе обещанная элегия, душа моя. Теперь у тебя отрывок из «Онегина», отрывок из «Бориса», да эта пьеса — постараюсь прислать еще что-нибудь. Вспомни, что у меня на руках «Московский вестник» и что я не могу его оставить на произвол судьбы. Если кончу послание к тебе о черепе твоего деда, то мы и его тиснем[8]. Я в деревне и надеюсь много писать; к концу осени буду у вас — вдохновения еще нет; покамест принялся за прозу. Пиши мне о своих занятиях. Что твоя проза и что твоя поэзия? Рыцарский Ревель разбудил ли твою заспанную музу? Кстати: С⟨омов⟩ говорил мне о «Вечере у Карамзина»...[9] Не печатай его в своих «Цветах»... Наше молчание о Карамзине и так неприлично: не ⟨Булгарину⟩ прерывать его. Это было бы неприличнее. Что твоя жена? Помогло ли ей море? Няня ее целует, а я ей кланяюсь. Пиши же. 31 июля. Михайловское».

Стихотворение, приложенное к этому письму, наводит мысль нашу на два другие стихотворения Пушкина, именно: на пьесу «Для берегов отчизны дальной...» и на «Заклинание», которые, будучи взяты все вместе, представляют одну трехчленную лирическую песнь, обращенную к какому-то неизвестному лицу или, может быть, к двум неизвестным лицам, умершим за границей. Это одни из всех песен Пушкина, жизненного источника которых отыскать весьма трудно, но что они не принадлежат к области чистого вымысла, свидетельствуют его рукописи. Там, над первою из них, «Под небом голубым страны своей родной...», поставлено было у Пушкина число: «29 июля 1826 года», а внизу ее начертаны следующие загадочные слова:

«Усл....о. см. 25.
У.о.с.Р.И.М.К.Б.: 24»[10].

В обеих строчках первые слова мы читаем: «услышал о смерти», но буквы Р. И. М. К. Б. и цифры остаются тайной, которую объяснить теперь с достоверностью весьма затруд-

---

чаю: я пел, как булочник печет, портной шьет, К⟨озло⟩в пишет, лекарь морит — за деньги!.. Пл⟨етне⟩в пишет мне, что «Бахчисарайский фонтан» у всех в руках. Благодарю вас, друзья мои, за ваше милостивое попечение о моей славе!.. Остается узнать, раскупится ли хоть один экземпляр печатный теми, у которых есть полные рукописи, но это безделица. Поэт не должен думать о своем пропитании, а должен, как Кор⟨нилови⟩ч, писать, с надеждою сорвать улыбку прекрасного пола!..»[7] Та же, впрочем, история повторилась и с «Цыганами», со II-й главой «Онегина» и со многими другими произведениями поэта и опять вызвала словесные и письменные укоры его. Пушкин никак не мог понять, что мудрено было удержать в секрете новинку, вышедшую из-под пера его, как только попадалась она в чьи-либо руки.

нительно*. Пьеса замечательна и тем, что первый стих ее читается в рукописи: «Под небом *сладостным Италии своей...»* Это был, так сказать, настоящий стих, ближе выражавший самую мысль поэта, но он не имел рифмы в соответствующем ему третьем стихе, почему и переменен на тот, который теперь стоит в начале пьесы. Гораздо труднее объяснить перемену, сделанную Пушкиным во втором стихотворении. Он начинал его так:

Для берегов *чужбины* дальной
Ты покидала край *родной* —

и почти тотчас же сделал поправку на рукописи:

Для берегов *отчизны* дальной
Ты покидала край *чужой*, —

сохранившуюся в печати. Трудно теперь решить, которая из двух редакций ближе к исторической истине. Всего более свидетельствует, что стихотворения эти связаны какой-либо стороной с действительностью, одна помарка в третьем из них — «Заклинании». Там Пушкин просто зачеркнул всю вторую превосходную строфу, начиная со стиха «*Явись, возлюбленная тень...*». Подобным уничтожениям подвергались у Пушкина или действительно слабые места пьес, или такие, которые содержанием своим уже слишком резко и очевидно выражали задушевные мысли его самого. К счастию, зачеркнутое место восстановлено было издателями Пушкина. Для образца, как лирический поэт наш умел соединять и необычайную искренность, и необычайную осторожность в своих произведениях, можем рассказать историю создания чудной пьесы его «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»). Кто не помнит ее?

Эта уединенная исповедь, открывающая читателю, по-видимому, все душевные тайны поэта, останавливается там, где вместо общего выражения чувства человеческого должно явиться выражение чувства отдельного лица. Пьеса принадлежит к 1828 году. Семена, брошенные суетой света и собственными погрешностями, вырастают часами томительного

---

* Темный намек на нее заключает одно стихотворение В. Туманского, которое мы нашли в альманахе «Северная лира» на 1827 ⟨г.⟩, изд. гг. Раича и Ознобишина. Стихотворение имеет такое оглавление: «На кончину Р.... Сонет. Посвящ. А. С. Пушкину». Выписываем первые стихи сонета:

Ты на земле была любви подруга:
Твои уста дышали слаще роз,
В живых очах, не созданных для слез,
Горела страсть, блистало небо Юга.

В конце сонета является пометка: «Одесса, Июль, 1825»[11].

бдения в ночи, муками и слезами раскаяния. С чудным двоестишием:

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю, —

кончается исповедь для света, но Пушкин еще продолжает ее, уже не из потребности творчества, а из потребности высказаться и полнее определить себя. Несколько замечательных строф посвящает он еще разбору своей жизни, но эти строфы, как представляющие частные подробности, уже выпускаются из печати.

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
 В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
 Мои утраченные годы!
Я слышу вновь друзей предательский привет
 На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
 Неотразимые обиды.
И нет отрады мне — и тихо предо мной
 Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
 Мне ангела во дни былые!
Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
 И стерегут... и мстят мне оба.
И оба говорят мне мертвым языком
 О тайнах вечности и гроба!

19 мая 1828.

Так пьеса эта представляет нам образец художнического очищения произведений и вместе их родства с душой поэта, чем и объясняется тайна их теплоты и неотразимого влияния на читателя.

Возвращаясь к письму, остановимся на словах автора «...вдохновения еще нет; покамест принялся за прозу». Он точно принялся за прозу, и это была первая проза, выражаясь его словами, которую представил он публике на другой год в форме «Мыслей и замечаний», напечатанных в «Северных цветах» на 1828 год[12]. Отрывочные заметки эти пройдены были публикой без особенного внимания, но сколько в них живого ума и способности брать новую сторону всякого предмета, теперь нетрудно заметить. Довольно странно, что беглые мысли Пушкина, набросанные с твердостию руки, обличающей мастера, и драгоценные по отношению к нему самому, пропущены были последним, посмертным изданием его сочинений, которое не обратило даже внимания на стихи его, помещенные между ними. В то же лето и началом осени 1827 года Пушкин написал уже большую часть исторической повести «Арап Петра Великого», которая задумана была еще в 1826 году. Романом этим Пушкин положил основание

простому, безыскусственному, но точному и живописному языку, который остался его достоянием и не имел подражателей. Должно сознаться, что сам поэт наш виноват несколько в тех смутных мыслях, которые рождались в публике при каждом новом его произведении. Он выдавал их не последовательно, с перескоками, скрывавшими связь и зависимость их один от другого. Так, «Полтава» двумя годами явилась ранее «Бориса Годунова», между тем как она написана три года спустя после хроники[13]. Стих «Полтавы», доведенный до изумительной простоты и выразительности, может быть, скорее нашел бы сочувствие в читателях, если бы они были приготовлены хроникой к его появлению. Добродушный и тонкий юмор «Повестей Белкина», написанных два года спустя после «Арапа»[14], может статься, был бы замечен ранее, если бы читатели могли сперва познакомиться вообще со слогом автора посредством романа «Арап Петра Великого». Один отрывок его помещен был в «Северных цветах» на 1829 г., а другой в «Литературной газете» (1830, № 13). Первый носил заглавие «IV глава из исторического романа», второй — «Ассамблея при Петре Первом» и содержал указание на источники — Голикова и «Русскую старину»[15]. По бумагам видно, что роман писался с строфами VII главы «Онегина», который еще прежде, в III главе, содержал известное предвещание:

...Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы:
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины...

Пушкин не перестал быть поэтом, и еще далеко ему было до заката, но мысль о романе, которым хотел он завершить свою литературную деятельность, уже не оставляла его с 1827 года. Много начатков повестей и рассказов осталось в его бумагах, но исторический роман из русской жизни был в это время его любимым предположением. Он говорил друзьям: «Бог даст, мы напишем исторический роман, на который и чужие полюбуются». И никто более его не был способен к созданию такого романа: его ровный, невозмутимо-спокойный рассказ, в котором без всякого усилия являются на сцену лица и происшествия, вполне живые и доконченные; твердые стопы, какими ведет он происшествие, не замазывая пустых мест, не изукрашая и не пестря подробностей,

что уже стало ныне необходимым условием успеха, — все это упрочивало за Пушкиным возможность полного достижения задуманной им цели. Даже теперь, после мощных произведений Гоголя, рассказ Пушкина, светлый и мерно льющийся, как прозрачная струя, имеет обаятельную прелесть для чувства, эстетически развитого. Поэт любил предания родной старины с детской любовью; известно, что он заслушивался рассказов о старом житье-бытье, о нравах, ближайших к Петру Первому и появившихся за ним. Однажды, со слов приятеля своего, передававшего ему предания собственного своего семейства, составил он записку, помещенную в посмертном издании и у нас под названием «Отрывки из биографии Н‹ащокина›»[16]. Несомненно, что по тону рассказа «Арап Петра Великого» и «Капитанская дочка» так схожи, как будто написаны вместе, хотя их разделяют целые 9 лет. Так с первого раза нашел Пушкин свой оригинальный стиль, чего другие не находят всю жизнь, несмотря на множество усилий. Однако ж, если мы имеем право заключить, что последний период жизни пушкинской, по всем вероятиям, был бы занят романом, то, с другой стороны, уже нельзя утвердительно сказать, какого рода мог быть роман. Наравне с историческим и роман современный с яркими, характерными чертами общества имел в нем, как и во всем другом, мощного представителя. Образец последнего, так много обещающий, дан был Пушкиным в 1832 году известной повестью «Дубровский».

ГЛАВА XVI

З и м а 1 8 2 7 — 1 8 2 8 г. и «П о л т а в а»: Зима 1827—28 г. — Стихи «To Dawe». — Существование Пушкина порывисто и беспокойно. — Просьба участвовать в открывшейся тогда Турецкой кампании. — Мысли его тревожны и смутны, упреки самому себе, стихотворения «Воспоминание», «Дар напрасный...», «Снова тучи надо мною...». — Отъезд в деревню летом 1828 г. и внезапное возвращение осенью в Петербург. — «Полтава». — История создания «Полтавы» в октябре 1828 г. — Личность Матрены — Марии Кочубей. — Стихи «Рифма, звучная подруга...». — Два пропуска в «Полтаве»: «Убитый ею, к ней одной...» и монолог Марии «Ей-Богу, — говорит она...». — Значение последнего, появление «Полтавы». — Впечатление, произведенное ею, замечания журналов. — Критика «Полтавы» в «Вестнике Европы» 1829 г. — Эпиграммы на Каченовского, «Отрывок из литературных летописей». — Дух, тон и манера Надоумки. — Замечания его на «Графа Нулина» и «Бал». — Подробности его разбора «Полтавы». — Суждение Надоумки о Пушкине при разборе VII главы «Онегина». — Суждение «Северной пчелы» 1830 г. о VII главе «Онегина». — Положение Пушкина в отношении к критикам и публике. — Отрывки из писем его по этому предмету. — Предисловие к «Полтаве», суждение альманаха «Денница» 1831 г. о поэме и двойственность ее плана, им указанная.

В начале зимы Александр Сергеевич покинул Михайловское, но мы уже лишены данных, чтобы хронологически сле-

дить за его переездами из столицы в столицу в конце 1827 и зимой 1828 г.: следы людей пропадают скоро, если не помечены особенными обстоятельствами. По бумагам Пушкина и, преимущественно, по собственноручным числовым заметкам его на стихотворениях, которые нам служат руководствующей нитью, мы знаем только с достоверностью, что в мае месяце 1828 года был он в Петербурге и провожал тогда одного из своих приятелей за границу. На самом пароходе написано было стихотворение «To Dawe, Esq-r»* и в тетрадях Пушкина помечено: «9-го мая 1828 года. Море». В это время существование Пушкина делается порывистым и беспокойным. Месяц тому назад Пушкин, вероятно утомленный столичной жизнью, просил позволения участвовать в открывшейся тогда кампании против турок, но, разумеется, желание его не могло исполниться. Без сведений и необходимого приготовления к военному поприщу нельзя было разделять и славу войны. Мысли его становятся тревожны и смутны в это время, и часто возвращается он к самому себе с грустью, упреком и мрачным настроением духа. Стихотворение «Воспоминание» написано 19 мая, «Дар напрасный...» — 26 мая[1], а за ними следовало «Снова тучи надо мною...».

На лето он, по обыкновению, уезжает в Михайловское, но, против всех привычек, мы его снова уже находим в Петербурге в первых числах октября. Этот месяц всегда заставал его в деревне; теперь было наоборот: Пушкин является в Петербург и, в шуме дел, с неописанным жаром принимается за создание новой поэмы. В один октябрь месяц оканчивает он ее, не выезжая из города. Поэма эта была «Полтава»[2].

Чрезвычайно быстро писалось новое творческое произведение под действием постоянного, неизменного вдохновения, в котором Пушкин нашел, как и всегда, отдохновение и целительную силу для нравственного своего существа. Как велико было напряжение его поэтического гения при создании «Полтавы», можно судить по цифрам, выставленным в конце каждой из песен ее и сохранившимся на клочках черновой рукописи. Там мы видим, что первая песнь кончена 3-го октября, вторая — 9-го, третья — 16-го; другими словами, две песни «Полтавы» написаны были в 13 дней, исполненных еще, как видно по тем же бумажкам, обычных дел для Пушкина: посещения гостей и приемов. Со всем тем другой черновой оригинал ее, находящийся в тетрадях Пушкина, опять обнаруживает всегдашний труд поэта и нам уже известную манеру его: ставить указательные знаки своему вдохновению. Так, в первой песни, перед изображением Мазепы, мы встречаем коротенькие строчки: «Портрет Мазепы, его ненависть, его замыслы, его сношения с П. и К.

---

* Господину Дау *(англ.)*. — *Ред.*

(с Петром и Карлом), пиры, ночи» и вслед за ними стихи:

Кто снидет в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной? *и проч.*

В той же песни, последним ее страницам, именно путешествию казака с доносом на Мазепу (казак называется в заметках Пушкина по имени — Зуйкевич), описанию переговоров Мазепы с иезуитом и наконец первой вести о доносе* — всему этому предшествуют строки: «Зуйкевич едет, между тем сношения с иезуитом, известие о доносе». Такая же программа является у Пушкина и для Марии, и для подробностей, предшествующих Полтавской битве: «Мария, Зуйкевич, донос, ночь перед казнью, мать Марии, казнь, сумасшедшая, измена, Полтава». Тут обозначен весь ход поэмы, которого автор держался уже неизменно, со строгостию и властию над собственной фантазией, свойственными ему. Чрезвычайно любопытно следующее обстоятельство. В самом начале поэмы описание красоты Марии стоило, как видно, некоторых усилий Пушкину. Надо было обрисовать личность и поэтический образ Марии с простотой народного рассказа, но не входя в подделку сказочной речи. Пушкин марал свои стихи, возвращался к ним и снова заменял их другими. Как будто удивленный этой досадной остановкой на одном лице, он вдруг покидает его и под стихами о Марии начинает писать совсем другое:

Рифма — звучная подруга
Вдохновенного досуга,
Вдохновенного труда,
Ты умолкла, улетела,
Изменила навсегда!

Твой привычный, звучный лепет
Усмирял сердечный трепет,
Усыплял мою печаль!
Ты ласкалась, ты манила
И от мира уводила
В очарованную даль!

Ты, бывало, мне внимала:
За мечтой моей бежала,
Как послушное дитя;
То—свободна и ревнива,
Своенравна и ленива —
С нею спорила шутя.

. . . . **

* Но как он вздрогнул, как воспрянул,
Когда пред ним внезапно грянул
Упадший гром! *и проч.*

** Точки заменяют и не дописанные Пушкиным, и не разобранные нами стихи.

Сколько раз повиновался
Резвой прихоти твоей,
Как любовник добродушный,
Снисходительно послушный
. . . .

О, когда бы ты явилась
В дни, как еще толпилась
Олимпийская семья!
Ты бы с ними обитала,
И как пышно бы блистала
Родословная твоя!

Взяв божественную лиру,
Так поведали бы миру
Гезиод или Омир:
«Феб однажды у Адмета,
Близ тенистого Тайгета,
Стадо пас, угрюм и сир.

Он бродил во мраке леса
И никто, страшась Зевеса,
Из богинь или богов
Навещать его не смели —
Бога лиры и свирели,
Бога света и стихов!

Помня первые свиданья
Утолить его страданья
Мнемозина лишь одна
. . . . .притекла
. . . .

Далее следуют бессвязные строки, которые, вероятно, хорошо понимал автор их, но из которых теперь мы можем только извлечь приблизительную догадку о конце стихотворения: Диана сокрыла от гневного Зевеса, ночью и в чаще леса, дочь, рожденную Мнемозиной от Аполлона: дочь эта и была Рифма*. Набросав свое стихотворение, Пушкин возвращается к Марии и продолжает ее портрет:

Но не единая краса
(Мгновенный цвет!) молвою шумной
В младой Марии почтена... *и проч.*

Так-то, по богатству фантазии, с первого стиха, написанного почти из шалости, представилась автору полная пьеса, которую он и докончил, и так-то справедливы были его жалобы на непокорность рифмы!

Критический осмотр произведения, неразлучный у Пушкина с самим созданием, выразился в двух замечательных пропусках, тогда как уже поэма, переписанная набело, готова была поступить в типографию. К характеристике

* Мысль этого стихотворения воспроизведена была потом в антологической пьесе «Рифма», принадлежащей уже к 1830 году.

казака, тайно любившего Марию (первая песнь), принадлежали еще следующие стихи, которые сообщали ему романический, несколько ложный оттенок, замеченный проницательным взглядом автора:

Убитый ею, к ней одной
Стремил он страстные желанья,
И горький ропот, и мечтанья
Души кипящей и больной.
Еще хоть раз ее увидеть
Безумной жаждой он горел:
Ни презирать, ни ненавидеть
Ее не мог и не хотел.

Второе выпущенное место принадлежит к сцене сумасшествия Марии, т. е. концу третьей песни. После стихов:

С горестью глубокой
Любовник ей внимал жестокий,
Но, вихрю мыслей предана...—

следовал монолог Марии, здесь прилагаемый:

«Ей-богу, — говорит она, —
Старуха лжет. Седой проказник
Там в башне спрятался. Пойдем,
Не будем горевать о нем,
Пойдем... Какой сегодня праздник?
Народ бежит, народ поет —
Пойду за ними; я на воле,
Меня никто не стережет...
Алтарь готов; в веселом поле
Не кровь... О нет, вино течет!
Сегодня праздник. Разрешили...
Жених — не крестный мой отец,
Отец и мать меня простили:
Идет невеста под венец!»
Но вдруг, потупя взор безумный,
Виденья страшного полна;
«Однако ж, — говорит она...

Далее сохранено все окончание песни, но это место четырежды зачеркнуто Пушкиным, и собственной рукой своей написал он сбоку его для типографии: «Не набирать этого». Чуткий слух его, вероятно, был поражен театральным, отчасти мелодраматическим тоном монолога, и тотчас же отсек он неправильный нарост, случайно, в недосмотре создания, привившийся к произведению. Так внимательно должен следить за собой всякий писатель. Сам Пушкин иногда не мог избегнуть, при всей своей зоркости, уклонений от прямого пути, нечаянных пятен в создании!

Поэма явилась в 1829 году, и мы скажем правду, если скажем, что за ней последовало всеобщее недоумение: почти никто не узнал в ней Пушкина! Блестящий, огненный стих его, который так справедливо сравнивали с красавицей,

уступил место сжатому и многовесному стиху, поражавшему своей определенностию. Трудно было осмотреться и проникнуться величием этих стихов после сладких и задушевных строф «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган».

Как барельеф великолепного памятника, создана была вся историческая часть поэмы, и непривычному глазу трудно было обнять его содержание, насладиться его спокойствием, его художническим распределением частей, особливо если еще вспомним, что в большинстве публики с названием «поэма» связывалось понятие о страсти, движении, живописи сердца.

Склад поэтической речи, употребленный для описания и связи исторических событий, был тоже непонятным явлением. Сильно окрашенный эпическим тоном народного рассказа, он был нов не только для массы читателей, но и для критиков. Так, самые яростные противники Пушкина находили в ответе Кочубея перед пыткой:

> Так, не ошиблись вы: три клада
> В сей жизни были мне отрада... *и проч.*—

проблеск самостоятельного вдохновения (См. «Вестник Европы», 1829, № 9, Изящн⟨ая⟩ словес⟨ность⟩, стр. 30)[3], между тем как один из приверженцев его осуждал это место под предлогом, что Кочубей в страшную минуту жизни не мог говорить каламбурами и загадками (См. «Северные цветы» на 1830, «Обозр⟨ение⟩ словес⟨ности⟩»)[4]. Но ответ Кочубея, как и другие места, идут параллельно с фигуральным выражением народных эпопей и порождены их духом и приемами. Правда, один журнал («Московский телеграф», часть XXVII, стр. 219)[5] утверждал за поэмой качество русской поэмы по преимуществу, но до такой степени неопределенно, что из слов его заметно скорее предчувствие дела, чем настоящее понимание его. «В «Полтаве», — говорит он, — господствует спокойствие совершенно шекспировское, и сквозь мерное течение всей поэмы чувствуется только *невидимая сила духа русского*, которою поэт оживил каждое положение, каждую речь действующих лиц». Так, по этому определению, и Карл XII, и Мазепа награждены силою духа русского, которая действительно еще могла назваться невидимкой как в отношении этих лиц, так и в отношении многих рецензентов поэмы.

Но как полный образец той чудной и весьма обыкновенной, к сожалению, критической слепоты, какая часто отличает современников, можно представить статью о «Полтаве», напечатанную в «Вестнике Европы» (1829, № 8 и 9) и тем более заслуживающую упоминовения, что она имела силу волновать Пушкина, возражавшего на многие из ее обвинений[6]. «Вестник Европы», умерший в 1830 г., как будто со-

брал к концу своего поприща все негодование, накопленное в нем долгими годами насмешек и оскорблений, нанесенных ему тогдашним молодым поколением писателей, и отвечал им в последний раз с удвоенным жаром и энергией... Прежде всего следует здесь отстранить лицо редактора[7], о котором мы можем судить теперь беспристрастнее и находить, преимущественно в ученых его трудах, многие права на уважение и почетное место в истории литературы*. С 1828 года является другой деятельный сотрудник на помощь журналу и дает старым жалобам его на легкость современной литературы, на самонадеянность ее, неуважение к старым образцам, на безначалие и отсутствие торжественности в ее произведениях новую силу, едкость и переменяет оборонительное положение журнала на смелое, наступательное движение[13]. Он пишет не заметки, а большие статьи в странной драматической форме, где одно лицо обязано говорить вздор, а другое быть постоянно умником. Место действия этих критических пословиц происходит в каморках, косморамах, на буйных вечерах, на прогулках. Все это обличало отсутствие вкуса в авторе, который, с другой стороны, владел несомненными признаками критической способности, мыслящего ума, начитанности и ловкого анализа. Один только существенный недостаток для критика изящных произведений — недостаток эстетического чувства — уничтожал все его качества и приводил к неимоверным странностям как в форме статей, так и в содержании их. Всю деятельность молодых писателей, под которыми всегда подразумевался только Пушкин, определял он этими бойкими словами, показывавшими заносчивость без оглядки: «Главнейшими из пружин, приводящими в движение весь пиитический машинизм их (новейших поэтов. ⟨ — прим. Анненкова⟩), обыкновенно бывают: пунш,

---

* Известны эпиграммы Пушкина на «Вестник Европы», которыми утешал он самого себя и людей, задетых суждением журнала[8], но это еще не полный пример страстного увлечения в споре. Сам «Вестник Европы» великодушно перепечатал из «Сына отечества» (1820, № 2) послание к себе, где первые два стиха содержат резкое обращение к лицу, едва прикрытое литературным оборотом[9]. Послание принадлежало перу одного из почетнейших наших писателей и остается примером полемических уклонений. Мы уже об нем упоминали. Кроме стихов, Пушкин написал еще целую довольно большую статью в прозе против направления журнала, напечатанную в «Северных цветах» на 1830 год под названием «Отрывок из литературных летописей». Она не вошла в последнее посмертное собрание его сочинений 1838—41 ⟨гг.⟩, по правилу, принятому тогда, исключать все полемические статьи, рожденные современными спорами, правилу, которого и настоящее издание придерживается. Замечательно, однако ж, что посмертное издание, собрав эпиграммы Пушкина, касавшиеся «Вестника Европы», откинуло все, к нему не относившиеся, каковы две напечатанные в альманахе «Денница» (1831)[10], одна в журнале «Московский наблюдатель» (1836, том VII) под названием «*Синоним: Гостиная, Салон*[11], одна в «Антологии» М. Яковлева 1828 года под названием «Русскому Икару» и проч.[12] Этим нарушалась верность принятой системе.

аи, бордо, дамские ножки, будуарное удальство, площадное подвижничество. Самую любимую сцену действия составляют муромские леса, подвижные бессарабские наметы, магическое уединение овинов и бань, спаленные закоулки и фермопилы. Оригинальные костюмы их:

Копыта, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные!

(IV глава «Онегина», стр⟨офа⟩ XIX)

Торжественный оркестр их:

Визг, хохот, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ...

(IV глава «Онегина», стр⟨офа⟩ XVIII)»[14]

(«Вестник Европы», 1828, № 21 и 22, статья «Литературные опасения за будущий год»).

Не продолжаем выписок, но таков был взгляд критика на Пушкина, и когда после вздоров Тленского (лица, обязанного говорить вздор) он пишет несколько дельных страниц о необходимости изучения как самой природы, так и великих произведений духа человеческого для укрепления и развития творческой способности в себе, то совсем и не предполагает, что Пушкин посвящал им многие и лучшие часы своей жизни.

Известен разбор того же критика повестей «Бал» и «Граф Нулин» («Вестник Европы», 1829, №№ 2 и 3). Шутка нашего поэта, само собой разумеется, не могла найти пощады у строгого судьи, который и вообще в поэзии искал, кажется, громких слов и внешнего эффекта, но разбор написан был чрезвычайно живо и до сих пор вызывает улыбку, если не остроумием, то ловкой пародией содержания и стихов пьесы. Это самая удачная вещь критика. Но разбор «Полтавы», явившийся в том же 1829 году (№№ 8 и 9), лишен уже и последнего качества — веселости: он сухо-странен, чтоб не сказать более. Действие его происходит в косmораме, где мужичок показывает народу самые лучшие фонтаны бахчисарайские, а фигуру мудрости представляет отставной корректор университетской типографии Пахом Силыч Правдин. На вопрос: «Что «Полтава»?» — Пахом отвечает: «И ничего!» Затем сравнивает он Мазепу Байрона[15] — «олицетворенный идеал буйной независимости, посмеивающейся всем ударам и козням враждебной жизни» с Мазепой Пушкина, который «есть не что иное, как лицемерный, бездушный старичишка», нисколько не схожий с известным историческим лицом. Матрена Кочубей также искажена в характере, как и в имени, по мне-

нию критика. Любовь ее к Мазепе-старику — невозможность, любовь старика Мазепы — фарс. Происхождение Полтавской битвы объяснено в поэме, по словам Правдина, только пострадавшими усами Мазепы. «Ай да усы! Это был бы клад для покойного выворачивателя «Энеиды» наизнанку»[16], — прибавляет Пахом Силыч. Казнь Кочубея написана с хладнокровным самоуслаждением, по толкованию Правдина; Карл неприлично назван бойким мальчишкой и притом он еще по-бурлацки кричит над ухом гетмана:

«...ого! Пора!
Вставай, Мазепа»; —

сумасшествие Марии и визг ее непристойны: «эдак говорят только об обваренных собаках», и в заключение Пахом Силыч определяет музу Пушкина*: «Ето есть, по моему мнению, резвая шалунья, для которой весь мир ни в копейку; ея стихия пересмехать все худое и хорошее... не из злости или презрения, а просто из охоты позубоскалить. Ето то сообщает особую физиономию поэтическому направлению Пушкина, отличающему оное решительно от Байроновой мизантрофии и от Жан-Полева юморизма. Поэзия Пушкина есть просто *пародия*...» и проч. и проч. Как будто устыдясь приговора своего, критик на следующий год, при разборе 7 главы «Онегина» («Вестник Европы», 1830, № 7) смягчает его, уделяя Пушкину славу Скаррона, Пиррона, Берни, Аретина и находя, что *из-под его кисти выпадают нередко если не картины, то картинки, на которые нельзя не насмотреться*. Он сызнова переделывает мнение о музе Пушкина и переходит только к другой странности: «В одном «Онегине» только, — говорит он, — после «Руслана и Людмилы» вижу я талант Пушкина на своем месте... в своей тарелке. Ему не дано видеть и изображать природу поэтически, с лицевой ее стороны, под прямым углом зрения: он может только мастерски выворачивать ее наизнанку. Следовательно, он не может нигде блистать, как только в *арабесках*. «Руслан и Людмила» представляет прекрасную галерею физических *арабесков;* «Е. Онегин» есть *арабеск* мира нравственного». И вся эта непрерывная цепь заблуждений, все это изворотливое, хотя и не совсем ловкое искание дела, произошло от недостатка художнического чувства и от мысли заменить живую поэзию представлениями философско-эфического рода!

Таковы были статьи «Вестн⟨ика⟩ Европы», резкий тон которых был нов для слуха и оскорбителен вообще для поэта. Вскоре нашлись и подражатели молодому критику. Спустя несколько времени одна газета представила разбор VII главы «Онегина», написанный как будто под влиянием реши-

---

* Правописание журнала сохранено в выписках наших.

мости, оказанной «Вестником Европы». Разбор («Северная пчела», 1830, №№ 35 и 39) объявлял совершенное падение творца «Руслана», новую главу романа — пустословием, предметы описаний — низкими, стихи — прозаическими и непонятно модными, но этот разбор уже не заслуживает подробного изложения[17]. Образец его выражал литературное мнение и ошибочную теорию творчества (вот почему мы и остановились на нем); подражание выражает только произвол и уже не имеет корня ни в каком вопросе науки или искусства. Долго не мог Пушкин вполне постигнуть свое положение в литературном мире. Как человек, открывавший новый и обширный горизонт искусства на Руси, он должен был поднять против себя много возражений и вражды и считать их естественным следствием, необходимостию своего призвания; но они волновали и сердили его. Только с 1832 года видит он свое место и назначение, умолкает для всех толков и распрей; но уже от горького чувства, оставленного ему журналистикой и пересудами публики, избавиться не может. Чувство это таится в нем, несмотря на молчание и наружное спокойствие, которым он обрек себя. Часто является оно невольно в дружеской переписке. Так, в 1831 году, на уведомление одного из своих приятелей о новом появившемся разборе его «Годунова», он отвечает: «Ты пишешь мне о каком-то критическом разговоре, которого я еще не читал. Если бы ты читал наши журналы, то увидел бы, что все, что называется у нас критикой, одинаково ⟨глупо и⟩ смешно. С моей стороны я отступился; возражать серьезно невозможно, а плясать перед публикою не намерен... 21 июля 1831»[18]. Три года спустя, именно в апреле 1834 ⟨г.⟩, он повторяет ту же мысль в другом письме: «Вообще пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег: охота являться перед *людьми*, которые вас не понимают, чтобы... ругали вас потом шесть месяцев в журналах. Было время — литература была благородное, аристократическое поприще. Нынче это *иначе*. Быть так»[19].

При выходе в свет «Полтава» снабжена была замечательным предисловием, сохраненным в нашем издании, и красовалась эпиграфом из Байрона, напечатанным, однако ж, с ошибкой во втором стихе, что лишило его смысла (см. примечания к «Полтаве»)*.

---

* Настоящий недостаток поэмы состоял в двойственности ее плана, и это было замечено тогда же критиком, написавшим «Обозрение литературы» в альманахе «Денница» на 1831 год[20]. Всю историю любви Марии считал он отдельной поэмой, которая вредит впечатлению, оставляемому настоящей исторической поэмой. К этому можно прибавить, что в подобных случаях недостаток чувствуется тем сильнее, чем ярче и превосходнее краски эпизода, поднятого на высоту, ему не свойственную. Пушкин сам показал в «Медном всаднике» пример, как должно вводить в историческую раму частное лицо и событие.

ГЛАВА XVII

Осень 1828 г., зима 1829 г. и отъезд на Кавказ: Отъезд из С.-Петербурга в Маленники, деревню гг. Вульфов тотчас по окончании «Полтавы». — Посвящение поэмы, неизданные стихи «Я думал, сердце позабыло...». — В ноябре 1828 г. кончена последняя строфа «Онегина», тогда же «Анчар». — Мысли Пушкина становятся светлее и покойнее. — «Ответ Катенину», «Ответ Готовцевой», «Послание к Великопольскому», значение всех этих стихотворений. — Письмо к Дельвигу с анекдотом о сахарном Пушкине. — Письмо о деревенской жизни. — Возвращение в Петербург, утомление и нравственная усталость овладевают Пушкиным снова. — Мысль о «Годунове» и предисловии к нему.

Окончив «Полтаву», Пушкин тотчас же уехал из Петербурга, и притом в ясном состоянии духа, а 27 октября был уже в Тверской губернии, в деревне Маленники, принадлежавшей соседям Пушкина по Михайловскому — владетелям Тригорского. В этот день написано там посвящение поэмы:

Тебе... но голос музы тайной
Коснется ль слуха твоего? *и проч.* —

с эпиграфом: «I love this sweet name» (люблю это нежное имя)*. 4 ноября 1828 г. окончена там же последняя шуточная строфа VII главы «Онегина»; 9 ноября написан «Анчар»; за ним (10 ноября) «Ответ Катенину», о котором уже говорили; потом «Ответ Готовцевой», в весьма милых стихах упрекавшей Пушкина (см. «Северные цветы» на 1829 г.) в непонимании женского достоинства, поводом к чему послужил, вероятно, отрывок из «Ев⟨гения⟩ Онегина», напечатанный в «Московском вестнике» (1827, № XX) под названием «Женщины»[2], а может быть, и несколько строк в «Мыслях и заметках» Пушкина 1828 г. Ранее «Ответа Катенину» написано и веселое «Послание к В⟨еликопольскому⟩, сочинителю «Сатиры на игроков», послание, не попавшее в полное собрание сочинений нашего автора, но напечатанное в «Северной

---

* Может быть, к этому времени относится следующее неизданное восьмистишие Пушкина:

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать.
Я говорил: «Тому, что было,
Уж не бывать, уж не бывать!

* * *

Прошли любовные печали,
Смирились легкие мечты...»
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты!..[1]

пчеле» (1828 г., № 9)[3], с выноской издателей: «Имени сочинителя сих стихов не подписываем: ex ungue leonem»*

В поименованных произведениях нет и следов нравственного беспокойства, какие отличают его произведения, писанные весной и летом: они ясны и спокойны. В дружеской переписке с Дельвигом, посылая ему свои стихотворения, Пушкин беззаботно шутит и рассказывает детский анекдот с удовольствием человека, готового веселиться при малей-

---

* по когтям узнают льва *(лат.)*. — *Ред.*

Выписываем здесь эту шутку, которая, впрочем, относится к началу 1828 года, а не к концу его, в котором мы находимся. Любопытно, как добродушно высказывалось веселое расположение духа в поэте.

Послание к В⟨еликопольскому⟩, сочинителю «Сатиры на игроков».

Так элегическую лиру
Ты променял, наш моралист,
На благочинную сатиру?
Хвалю поэта — дельно миру!
Ему полезен розги свист.
Мне жалок очень твой Арист.
С каким усердьем он ⟨молился⟩
И как несчастливо играл!
Вот молодежь: погорячился,
Продулся весь и так пропал!
Дамон твой человек ужасный.
Забудь его опасный дом,
Где, впрочем, сознаюся в том,
Мой друг, ты вел себя прекрасно:
Ты никому там не мешал,
Эраста нежно утешал,
Давал полезные советы
И ни рубля не проиграл.
Люблю: вот каковы поэты!
А то, уча безумный свет,
Порой грешит и проповедник.
Послушай, Персиев наследник,
Рассказ мой:
Некто мой сосед,
В томленьях благородной жажды,
Хлебнув кастальских вод бокал,
На игроков, как ты, однажды
Сатиру злую написал.
И другу с жаром прочитал.
Ему в ответ его приятель
Взял карты, молча стасовал,
Дал снять, и нравственный писатель
Всю ночь, увы, понтировал!
Тебе знаком ли сей проказник?
Но встреча с ним была б мне праздник:
Я с ним готов всю ночь не спать,
И до полдневного сиянья
Читать моральные посланья
И проигрыш его писать[4].

Послание относилось к г. Великопольскому, издавшему в Москве в 1828 году книжку «К Эрасту, сатира на игроков».

шем поводе: «Вот тебе в «Цветы» ответ Катенину вместо ответа Готовцевой, который *не готов.* Я совершенно разучился любезничать. Не знаю, долго ли останусь в здешнем краю. Жду ответа от Баратынского. К новому году, вероятно, явлюсь к вам, в Чухляндию. Здесь мне очень весело. П⟨расковью⟩ А⟨лександровну⟩ я люблю душевно — жаль, что она хворает и не беспокоится. Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Мунито[5] — скажи это графу Х⟨востову⟩. П⟨етр⟩ М⟨аркович⟩[6] здесь повеселел и уморительно мил. На днях было сборище у одного соседа, я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться, но П⟨етр⟩ М⟨аркович⟩ их взбудоражил. Он к ним прибежал: дети, дети! мать вас обманывает; не ешьте черносливу, поезжайте с нею. Там будет Пушкин — он весь сахарный... его разрежут, и всем вам будет по кусочку. Дети разревелись: не хотим чернослива, хотим Пушкина. Нечего делать, их повезли, и они сбежались ко мне, облизываясь, но увидев, что я не сахарный, а кожаный, — совсем опешили... Я толстею и поправляюсь в моем здоровье...» и проч.[7].

В другом письме, следовавшем вскоре за этим, он повторяет, что весело ему и даже, противореча прежним своим признаниям, прибавляет, что душевно любит деревенскую жизнь. «Вот тебе ответ Готовцевой... Как ты находишь ces petits vers froids et coulants?..* Правда ли, что ты едешь зарыться в смоленской крупе?[8] Видишь, какую ты кашу наварил. Посылаешь меня за Баратынским, а сам и драла. Что мне с тобой делать? Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю. Здесь думают, что я приехал набирать строфы в «Онегина», и стращают мною ребят, как букою. А я езжу на пароме и играю в вист по 8 гривен роббер... Скажи это нашим... — я приеду к ним. Полно. Я что-то сегодня с тобою разоврался.

26 Ноября 1828.

Что «Илиада» и что Гнедич?»

К новому 1829 году Пушкин явился в Петербург[9], но здесь опять покидает его то расположение духа, в каком видим его в деревне. Через два месяца по приезде утомление и какая-то нравственная усталость снова нападают на Пушкина. Он начинает томиться жаждой физической деятельности, которая всегда являлась у него, как верный признак отсутствия деятельности духовной. Единственной и постоянной мыслию его делается уже в это время издание «Годунова». Он пишет тогда известные свои письма о нем и сильно занят планом и сущностью предисловия, которое кажется ему со-

---

* эти холодные и гладенькие стишки *(франц.).* — *Ред.*

вершенно необходимо для объяснения хроники. Мысль эта занимает его круглый год и не покидает в самом Арзруме, как увидим. «Борис Годунов» явился, однако ж, только через год, к 1 января 1831 г.

ГЛАВА XVIII

«Путешествие в Арзрум» 1829 г. и кавказские стихотворения: Неожиданная поездка на Кавказ в марте 1829 г. — Пребывание в Москве в эту эпоху, жажда покоя. — 15 мая Пушкин в Георгиевске. — «Путешествие в Арзрум», эпоха его появления. — Причина путешествия, обстоятельства поездки в Тифлис и в действующую армию. — Мысли о «Годунове». — Возвратный путь, русский журнал в Владикавказе с разбором «Полтавы». — Пушкин был на возвратном пути на Горячих водах 8 сентября 1829 г., в начале ноября в деревне, по свидетельству стихов «Зима, что делать нам в деревне...». — Стих⟨отворение⟩ «Зимнее утро» с замечательной поправкой и другие. — Пушкин в Петербурге около 16 ноября, газетные известия о путешествии поэта. — Корреспонденция «Северной пчелы» по этому предмету. — Известие «Северной пчелы» о возвращении Пушкина в Петербург. — Стихи, писанные на Кавказе: «Дон», «Делибаш», «Монастырь» и проч.; их значение. — Появление кавказских стихотворений в печати. — Почему напечатаны они были не скоро и вразбивку. — Мысли, навеянные случаем и сохранившиеся в бумагах поэта. — Неизданные стихи «Был и я среди донцов...», «Критон, роскошный гражданин...», «Напрасно видишь тут ошибку...». — Поэтическая беседа с самим собой — «Зорю бьют — из рук моих...».

Пушкин вдруг весьма круто и неожиданно отрывается от общества и в марте 1829 г. уезжает из Петербурга на Кавказ, не испросив даже разрешения на поездку у кого следовало. В бумагах его сохранился только вид, данный ему от спб. почт-директора 4 марта 1829 г. на получение лошадей по подорожной, без задержания, до Тифлиса и обратно. Вид этот на обороте листа носит свидетельство, что был заявлен на Горячих Минеральных Водах уже 8 сентября того же года, на возвратном пути поэта.

В Москве останавливался он в это время большею частию у одного из самых коротких ему людей — П. В. Н⟨ащоки⟩на. Чрезвычайно любопытны рассказы последнего об образе жизни поэта нашего во время его приездов в Москву в последние годы его холостой жизни и во все продолжение женатой. Из слов П. В. Н⟨ащоки⟩на можно видеть, как изменились привычки Пушкина, как страсть к светским развлечениям, к разноречивому говору многолюдства смягчилась в нем потребностями *своего угла* и семейной жизни. Пушкин казался домоседом. Целые дни проводил он в кругу домашних своего друга, на диване, с трубкой во рту и прислушиваясь к простому разговору, в котором дела хозяйственного быта стояли часто на первом плане. Надобны были даже усилия со стороны заботливого друга его, чтоб заставить

Пушкина не прерывать своих знакомств, не скрываться от общества и выезжать. Пушкин следовал советам П. В. Н⟨ащоки⟩на нехотя: так уже нужда отдохновения начала превозмогать все другие склонности. Но в 1829 году наслаждения семейственности еще смутно представлялись ему. Цель была впереди, а запас страстей, еще не покоренный правильному течению жизни, утихал только на короткое время. Из дому Н⟨ащокин⟩а Пушкин выехал в Тифлис и 15 мая был уже в Георгиевске, где впервые начал известный свой журнал, приведенный в порядок только в 1835 году и напечатанный уже в «Современнике» 1836 года под заглавием «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года».

Несколько пояснительных слов к этому равно драгоценному и по содержанию, и по изложению своему документу не будут лишними. В черновой рукописи его Пушкин изъясняет первую причину своего путешествия следующим образом: «В 1829 году отправился я на Кавказ, лечиться на водах. Находясь в таком близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось туда съездить для свидания с некоторыми из моих приятелей и с братом, служившим тогда в Нижегородском драгунском полку. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел: армия выступила в поход. Желание видеть войну и сторону малоизвестную побудило меня просить позволения приехать в армию. Таким образом, видел я блестящую войну, конченную в несколько недель и увенчанную переходом через Саган-Лу и взятием Арзрума». Слова эти взяты из предисловия в то время, как уже Пушкин начал приводить журнал свой в порядок (1835). Журнал этот, как видели, начат был в Георгиевске; Александр Сергеевич возвратился к нему во второй раз в Владикавказе 22 мая. В июне, переехав Кавказ, он уже был в Тифлисе, где прожил около двух недель, ожидая позволения явиться в действующую против турок армию. Получив его, он тотчас же выехал и 13 июня прибыл в русский лагерь, расположенный за хребтами Саган-Лу, на берегу Карса-Чая. «Тифлисские ведомости» разноречат с этим показанием самого поэта, говоря, что он прибыл только 16-го июня в лагерь наш при Искан-Су: как бы то ни было, но с этого времени он разделял труды и походы армии, находился при разбитии сераскира[1] Арзрумского, при поражении Гаки-Паши и при взятии самого Арзрума 27 июня. Он был один во всем лагере в статском платье и довольно забавно писал в Москву, что солдаты величают его пастором, когда он проезжает мимо их верхом. 19 июля покинул он Арзрум, начертив в тот же самый день строки, выражавшие основную мысль, которую должно было развить будущее предисловие к «Борису Годунову». После долгих рассуждений с приятелями он опять еще пишет для себя в Арзруме: «С величайшим отвращением решаюсь я выдать

в свет «Бориса Годунова». Успех или неудача моей трагедии будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы. Боюсь, чтоб собственные ее недостатки не замедлили хода...»[2] 1-го августа находим Пушкина снова в Тифлисе на возвратном пути в Россию; он выезжает оттуда 6-го августа, а 10-го нападает во Владикавказе на русский журнал, разбиравший его «Полтаву» в том духе, как мы показали[3]. Он с горечью замечает: «Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве»[4]. 8-го сентября он уже находится на Горячих Минеральных Водах, по свидетельству почтамтского вида; в ноябре — в деревне, где 2-го ноября написано стихотворение «Зима! Что делать нам в деревне? Я встречаю...», между тем как «Дорожные жалобы» обозначены еще числом 4-го октября в рукописи и, если судить по первоначальному их заглавию «Дорожные стихи», может быть, писаны в повозке или на станции. В Петербург он является в половине ноября месяца*.

---

* Весьма трудно определить теперь, где находился Пушкин с 8-го сентября, дня отъезда из Горячеводска, до 16-го ноября — вероятного дня прибытия его в Петербург. Некоторый свет дает следующая приписка Пушкина к одной главе «Онегина» (восьмой, выпущенной): «Моск. Павл. Болдино. 1829». В Москве он был, как знаем, в марте месяце; место, обозначенное словом Павл., нам совершенно неизвестно, а Болдино — есть название села Нижегородской губернии (Лукояновского уезда), принадлежавшего его отцу и о котором будем еще много говорить. Таким образом, можно полагать, что Пушкин проехал с Кавказа в Болдино[5]. На возвратном пути в Петербург из деревни он пробыл в Москве только несколько дней и почти никуда не показывался. Пребывание на Кавказских минеральных водах известно нам по темным слухам. Он там лечился, был в обществе друзей, играл... Стихотворения, связанные с Кавказом и с его природой, написаны им в течение сентября и октября месяца 1829 ⟨г.⟩ — стало быть, посреди беспокойной, странствующей жизни и в самых хлопотах вояжа. Пьеса «Зима! Что делать ⟨нам⟩ в деревне?..» и затем «Зимнее утро» уже проникнуты поэзией домашнего очага и северной природы. Во втором стихотворении, помеченном 3-м числом ноября[6], сделана Пушкиным замечательная поправка. Конец четвертой его строфы читается в рукописи:

. . . . . .Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Коня черкасского запречь?

Пушкин изменил последний стих, при печати, в другой:

Кобылку бурую запречь? —

и таким образом из довольно пышного образа сделал простую сельски тихую картину. Он всегда так исправлял свои стихотворения. Что касается до стихотворения «Стамбул гяуры нынче славят...», находящегося в тексте «Путешествия в Арзрум» и там приписанного Пушкиным какому-то небывалому янычару Амин-Оглу, то оно принадлежит к 1830 году, и мы упомянем о нем при описании жизни Пушкина в селе Болдине.

В дополнение к этим заметкам да позволят нам привести несколько журнальных известий о путешествии поэта. Мы начнем прямо с местных «Тифлисских ведомостей», которые содержат довольно любопытные известия о пребывании поэта в столице Грузии. Вот что заключал в себе № 29 (28 июля 1829, пятница) «Тифлисских ведомостей»:

«Надежды наши исполнились. Пушкин посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе: желая видеть войну, он испросил дозволение находиться в походе при действующих войсках и 16 июня прибыл в лагерь при Искан-Су. Первоклассный поэт наш пребывание свое в разных краях России означил произведениями славного его пера: с Кавказа дал он нам «Кавказского пленника», в Крыму написал «Бахчисарайский фонтан», в Бессарабии — «Цыган», во внутренних провинциях писал он прелестные картины «Онегина». Теперь читающая публика наша соединяет *самые приятные надежды* с пребыванием А. Пушкина в стане кавказских войск и вопрошает: чем любимый поэт наш, свидетель кровавых битв, подарит нас из стана военного? Подобно Горацию, поручавшему друга своего опасной стихии моря, мы просим судьбу сохранить нашего поэта среди ужасов брани».

32⟨-й⟩ № «Тифлисских ведомостей» (9 августа 1829) в том же тоне извещал о вторичном посещении Тифлиса Пушкиным:

«6 августа А. Пушкин, возвратившийся из Арзрума, выехал из Тифлиса к Кавказским минеральным водам. Любители изящного должны теперь ожидать прелестных подарков, коими гений Пушкина, возбужденный воспоминаниями о закавказском крае, без сомнения, наделит нашу литературу».

Корреспондент «Северной пчелы» писал ей из крепости Владикавказа от 10 августа («Северная пчела», № 110, 12 сентября 1829 года):

«Сего числа был здесь проездом А. С. Пушкин. Он приехал к нам из Арзрума и на другой день отправился далее с намерением побывать на Кавказских минеральных водах и потом отправиться чрез Моздок и Кизляр в Астрахань». (?)

Почти в одинаковом тоне и одинаковыми словами, как и «Тифлисские ведомости», извещала «Северная пчела» о приезде Пушкина в Петербург («Северная пчела», № 138, 16 ноября):

«А. С. Пушкин возвратился в здешнюю столицу из Арзрума. Он был на блистательном поприще побед и торжеств русского воинства, наслаждался зрелищем, любопытным для каждого, особенно для русского. Многие почитатели его музы надеются, что он обогатит нашу словесность каким-нибудь произведением, вдохновенным под тенью военных шатров,

в виду неприступных гор и твердынь, на которых мощная рука эриванского героя[7] водрузила русские знамена».

Пушкин не обманул ожидания; он написал «Дон», «Делибаш» (7 сентября)[8], «Монастырь на Казбеке» (20 сентября). «Кавказ» (того ж числа и месяца), «Обвал» с французским пояснением заглавия в скобках: «Avalanche»* (29 октября) — все эти необычайно свежие и вместе смелые картины природы, составляющие драгоценные перлы описательной поэзии. Природа вообще отражалась удивительно полно и ясно в душе художника и на его произведениях. Он не ловил впечатлений ее с усилием, с боязнью недосмотреть или недосказать чего-либо. Картины природы у Пушкина немногословны, но всегда рождаются вместе с впечатлением и даже в стихах отражают характер каждого явления, возбудившего их. Стих пьесы «Дон» исполнен блеска и радости; он сжат и суров в «Обвале», мерен и торжественно спокоен в «Кавказе». Чудная песнь «Олегов щит» была патриотической песнью Пушкина, довершившей эту вдохновенную передачу впечатлений славной войны, гремевшей вокруг него; но довольно странно, что все эти произведения стали появляться уже спустя два года после своего создания, именно в 1831 году, и притом отдельно и в разных изданиях, как-то: в «Северных цветах», «Литературной газете» и «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду». Причину этой медленности и разрозненности появления должно преимущественно искать в самих воззваниях газет, какие сопровождали путешествие нашего поэта. Поэт сделал наперекор ожиданиям их. Он не терпел постороннего вмешательства в дело творчества, как мы уже знаем, и обращения газет к его музе производили на него неприятное впечатление. Он никак не мог понять, а еще менее допустить права распоряжаться его вдохновением, назначать предметы для труда и преследовать жизнь его таким образом до самых тайных ее помыслов и побуждений. Мысль эту перевел он, по обыкновению, на поэтический свой язык и выразил в 1830 году в превосходном своем стихотворении «Ответ анониму» («О, кто бы ни был ты...»), о котором мы скажем еще несколько слов. В самом описании своего путешествия он посвятил ей еще несколько строк: «*Искать вдохновения*, — говорит он в предисловии, — всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта». Еще свободнее изъяснялся он об этом предмете в дружеских разговорах: «Чего нельзя сказать ни о ком, — утверждал он, — то можно сказать о поэте. Ведь никто не позволит себе написать: мы думали, что такой-то поехал на Кавказ за отличием, а он вывез оттуда одну лихорадку? Почему же можно сказать в печати: мы

* лавина, глыба снега *(франц.)*. — *Ред.*

думали, что поэт напишет такое-то стихотворение, а он написал совсем другое?»[9]

Несколько беглых мыслей, навеянных случаем, встречей, минутной вспышкой вдохновения, сохранились в тетрадях поэта от этой эпохи. К числу таких произведений, как известно, принадлежит послание «К калмычке» («Прощай, любезная калмычка...»), о которой Пушкин говорит еще в рукописи своей, что она имела довольно приятный голос и смуглое, темно-румяное лицо. На обратном пути из Арзрума в Тифлис 30 человек линейных казаков, сопровождавших Пушкина и возвращавшихся на родину, встретили казачий полк, шедший им на смену. Приветственные выстрелы из пистолетов загремели с обеих сторон в знак радости, а потом земляки наскоро обменялись новостями, которые внушили Пушкину несколько строчек:

Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память боев и пиров,
Я привез домой нагайку.
Дома... в тишине
Сохранил я балалайку —
С нею рядом, на стене
Я повешу и нагайку...
Что таиться от друзей?
Я люблю свою хозяйку:
Часто думал я об ней
И берег свою нагайку.

В самом Арзруме 14 июня промелькнула в голове его мысль, не оставившая потом никакого следа:

Критон, роскошный гражданин
Очаровательных Афин,
Во цвете жизни предавался
Всем упоеньям бытия...
Однажды — слушайте, друзья!
Он по Керамику скитался,
И вдруг из рощи вековой,
Красою девственной блистая,
В одежде легкой и простой
Явилась Нимфа молодая...[10]

По сю сторону Кавказа он встречает где-то бюст завоевателя и пишет к нему:

Напрасно видишь тут ошибку:
    Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку
    И гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
    Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен
    В лице и в жизни *арлекин*.

Все это походит как будто на поэтическую беседу с самим собой, которой вообще Пушкин часто предавался. Подобные стихотворные заметки превращались у него иногда в полные, художественные создания. Кстати уже будет привести здесь и стихотворение, порожденное внезапным звуком военной зори, поразившим поэта:

Зорю бьют... Из рук моих
Ветхий Данте выпадает;
На устах начатый стих
Недочитанный затих...
Звук далече улетает.
Звук привычный, звук живой!
Сколь ты часто раздавался
Там, где тихо развивался
Я... давнишнею... порой!..

ГЛАВА XIX

«Галуб» и «Путешествие Онегина»: Программа «Галуба». — Посмертные названия, данные его ⟨Пушкина⟩ произведениям издателями. — В «Галубе» первое проявление эпического настроения. — Анализ «Галуба». — О выпущенной странице в «Путешествии в Арзрум», где говорится о значении христианской проповеди для диких племен. — Вторая программа «Галуба». — В декабре 1829 г. начаты первые строфы VIII главы «Онегина», которая заключала в себе странствование Онегина. — Как писался «Онегин». — Пропущенные строфы. — Перечень глав с хронологическими указаниями. — Связь идеи «Демона» с I главой «Онегина» по рукописи. — Неизданные стихи «Мне было грустно, тяжко, больно...». — Отрывок из «Странствований Онегина», помещенный в «Московском вестнике» 1827 г. — Заметка об этой выдержке. — «Онегин» в производительном отношении столько же замечателен, как и в художественном.

По возвращении своем в С.-Петербург Пушкин приступил к новой поэме «Галуб»*. Правда, в это время набросал он только программу ее и первый очерк; он принялся снова за поэму после долгого промежутка времени, который с досто-

* Заглавия некоторых произведений Пушкина, особенно тех, которые явились после смерти его, придуманы издателями его сочинений. К числу таких принадлежат «Галуб» и «Русалка», не имевшие у автора нашего никакого обозначения. Название «Галуб» дано «Современником» 1837 года и, по нашему мнению, не совсем счастливо. Поэма должна бы назваться скорее «Тазитом», именем настоящего своего героя[1]. В позднейших лирических произведениях встречается то же. Стихотворение «Лицейская годовщина» («Была пора, наш праздник молодой...») названо так «Современником» 1837 г. по отсутствию заглавия у самого автора, но пьеса должна бы скорее именоваться «19 октября 1836 года». Притом же она причислена журналом к трем последним стихотворениям Пушкина, вместе с пьесами «Опять на родине» и «Молитва»[2]. Тут есть важная ошибка. Стихотворение «Опять на родине» в рукописи имеет пометку: «26 сентября 1835 года», стало быть, написано за 16 с лишком месяцев до смерти автора, к последним стихотворениям принадлежать не может и нарушает вместе с тем истину всего заглавия, данного «Современником» (см. примечания к пьесе).

верностью определить нельзя, но который полагать можно в 3 или 4 года, да и тогда еще оставил он новое произведение свое без окончания и отделки. Все это объясняется теперь направлением, какое стала принимать творческая способность Пушкина в последние годы его жизни. «Галуб» был первым и еще не совсем ясным проблеском эпического настроения духа, поражающего в Пушкине особенно с 1833 года. Поэма осталась в отрывке, потому что не вполне еще установилось самонаправление автора. Изложение ее программы пояснит наши слова, но скажем наперед, что Кавказ и в это время был поводом к новым соображениям для поэта, как за 9 лет перед тем.

Поэма навеяна историческим горным хребтом, но в этот раз Пушкин взял героя из самой среды племени, населяющего его. Тазит, может быть, одной беглой чертой связывается с европейским миром: поэт вскользь упоминает, что это ребенок, неизвестно где найденный; но затем герой поэмы уже составляет часть того народа, с которым вскоре начинает расходиться в характере и в требованиях нравственной природы. Поэт даже и не описывает, как это случилось, какой цепью мыслей приведен он был к разноречию с своим племенем:

Как знать? Незрима глубь сердец!
В мечтаньях отрок своеволен,
Как ветер в небе...
Но отец
Уже Тазитом недоволен.

Такое молчание есть замечательная черта силы творческого соображения. Пушкин не останавливается над тайной работой духа, неуловимой, как подземная, скрытая работа природы. Он тотчас переходит к описанию трех дней отсутствия Тазита из отцовского дома и с первых стихов уже вполне выражает в чудной картине неспособность Тазита к так называемым доблестям племени: мщению, жажде корысти и наконец отвращение его от всей нравственной основы народного существования единокровных. Сцены между Тазитом и отцом принадлежат к разительнейшим сценам драматического искусства. Отвергнутый отцом, Тазит ищет любви и сватается за дочь одного чеченца. На этом месте отрывок кончается, но уже читатель предвидит неуспех дела: Тазит выступил из принятого круга понятий и войти снова в общую жизнь народа не может. В том виде, в каком дошла до нас поэма, читатель остается в совершенном недоумении, где и какой исток найдет вся эта тревога мощной души, пробужденной к истине, чем и когда может завершиться эта неожиданная драма? Программа отвечает на вопрос и сообщает настоящее слово поэмы, ее истинную мысль: вся драма долж-

на была объясниться и закончиться христианством. Вот как составлена программа у Пушкина:

«Обряд похорон.

Узден[3] и меньшой сын.

I день (отутствия Тазита). Лань — почта — грузинские купцы.

II день. Орел — казак.

III день. Отец его гонит».

По обыкновению, Пушкин в точности следует своей программе, изменив только некоторые события в днях отсутствия Тазита из отцовского дома, что читатель легко заметит, но затем уже программа говорит:

«Юноша и *монах*.

Любовь отвергнута.

Битва и *монах*».

Оба раза слово, означающее инока, проводника мира и благовестия, подчеркнуто в рукописи: он и действительно должен был завершить благодатное дело сердца и обстоятельств. К нему-то исподволь, но с замечательной твердостью руки, ведет поэт героя своего с самого начала. Здесь останавливаемся из опасения впасть в произвольные толкования и догадки; но полагаем, что немногих слов наших достаточно для показания, какой обширный круг должна была захватить поэма, навеянная Пушкину Кавказом, и чем она могла кончиться. Если принять в соображение одну жаркую страницу, написанную Пушкиным в своем «Путешествии в Арзрум» и выпущенную неизвестно почему, где он говорит о значении вообще христианской проповеди для диких племен, то даже представляется возможность думать, что просветленный и умиротворенный Тазит является снова между народом своим в качестве учителя и, по всем вероятиям, искупительной жертвы... Начиная с Шатобриана[4], европейские литературы нередко представляли нам развитие той же мысли, какая преобладает в поэме Пушкина; но верность характеру, местности и нравственным типам края, истина и трагическое величие сделали бы ее, вероятно, явлением совершенно другого рода и непохожим на предшествовавшие образцы*.

---

* В тетрадях Пушкина отыскана еще и вторая программа «Галуба», которая показывает, что Тазит был уже христианином еще в ауле своего отца. Иногда кажется, из сличения обеих программ, что поэт имел двоякое намерение в отношении своего героя. По первой можно предполагать, что он хотел сделать *инока* орудием его просветления; по второй, что сам инок или миссионер, упоминаемый в ней, есть Тазит, решившийся на распространение христианства в собственной своей родине[5].

1. Похороны.
2. *Черкес-христианин.*
3. Купец.
4. Раб.
5. Убийца.

В Петербурге же начата и первая строфа 8 главы «Онегина»[6], именно 24 декабря 1829 г. Строфы «Онегина» писались вразбивку и ложились в естественный свой порядок уже по окончании каждой главы. Этим обстоятельством изъясняется множество пропущенных строф в «Онегине», обозначенных только римскими цифрами. Некоторые из них действительно были выкинуты, но немало есть и таких, которые совсем не были написаны, а если и существовали, то единственно в памяти поэта. Пустые места, оставляемые ими в романе, обозначались римскими цифрами, и цифры эти служили, таким образом, скрытной связью между строфами. Много примеров подобной работы вразбивку находим в рукописях Пушкина. Рукописи же его дополняют и тот небольшой, но весьма занимательный листок, где сам автор делает обзор своему роману с показанием времени происхождения глав и порядка, какой он хотел сообщить им при полном издании. Порядок был, однако ж, изменен в 1833 г., когда «Онегин» действительно вышел вполне. Вот листок наш:

«Онегин»

«*Часть первая. Предисловие.*

I песнь. — *Хандра*, Кишинев. Одесса.

II — — *Поэт*. Одесса. 1824.

III — — *Барышня*. Одесса. Михайловское. 1824.

Часть вторая.

IV песнь. *Деревня*. Михайловское. 1825.

V — *Именины*. Мих. 1825. 1826.

VI — *Поединок*. Мих. 1826.

Часть третья.

VII песнь. *Москва*. Москва. Мих. С.-Пб. Маленники. 1827. 1828.

VIII — *Странствие*. Москва, Павл. Болдино, 1829[7].

IX — *Большой свет*. Болдино. *Примечания*».

---

6. Изгнание.
7. Любовь.
8. Сватовство.
9. Отказ.
10. Миссионер.
11. Война.
12. Сражение.
13. Смерть.
14. Эпилог.

Довольно любопытно, что по мере исполнения программы Пушкин зачеркивал в ней номера, соответствовавшие частям поэмы, уже написанным. Так зачеркнуты были семь первых цифр программы. Остались нетронутыми семь других. Цифры эти и следовало еще обратить в живую речь и поэтические образы.

Известно, что в Болдине в 1830 году кончена последняя глава (девятая) «Онегина», и Пушкин в конце своего листка помечает весь итог времени, употребленный на его создание:

Кишинев 1823 года, 9 мая.
Болдино 1830 года, 25 сентября.
7 лет, 4 месяца, 17 дней.

Как ни положительно указание цифр в документе, но он еще не может быть принят без оговорки. Составляя его, Пушкин имел в виду издание романа для публики и сообщил главам хронологическую последовательность, какой они не имеют в рукописях. Сличая последние с печатным текстом, мы видим, что все песни пополняются одна другой: строфы 1825 года переходят в строфы 1826 и т. д. Один пример из этой расстановки поэтического труда, уже после его окончания, будет достаточен для читателей. Нынешняя осьмая глава романа была девятой в рукописи, а настоящая осьмая — «Странствие Онегина» — выпущена автором. Строфы этой главы, однако же, составили порядочную часть нынешней 8-й главы или «Большого света». Таким образом, указание документа, приведенного нами, что «Странствие Онегина» написано в 1829, а «Большой свет» в 1830 году, не имеет строгой математической точности. Переходя к отдельным строфам, мы замечаем то же. Строфа, например, печатной 8 главы:

В те дни, когда в садах лицея
Я безмятежно расцветал... —

написана, как было уже сказано, 24 декабря 1829, а последующие за ней строфы X, XI, XII помечены в рукописях тремя месяцами ранее, именно 2-м числом октября; другими словами, они написаны еще прежде первой строфы. Поэт, как видим, предоставил совершенную свободу вдохновению своему и заключал его в определенную раму уже по соображениям, являвшимся затем. Даже время окончания «Онегина», показанное Пушкиным в Болдине 1830 года, не совсем точно: он дополнял или, может быть, переправлял последнюю главу «Онегина» еще в 1831 году, в Царском Селе. Письмо Онегина к Татьяне помечено в рукописи: «5 октября 1831». Правда, в Болдине написаны годом ранее, 25 сентября, четыре окончательные строфы «Онегина», но тут мы опять видим работу наизворот. Спустя год Пушкин создал звено, которое должно было предшествовать им. Всего любопытнее, что некоторые места «Онегина» перенесены в другие сочинения его или сделались черновыми оригиналами отдельных стихотворений. Нам уже известно, в каких близких, родственных отношениях находится пьеса «Демон» с «Кавказским пленником», но об ней есть намек и в первой

главе «Онегина». При описании своего знакомства с героем романа в Петербурге Пушкин прибавляет в рукописи:

Мне было грустно, тяжко, больно...
Но, одолев мой ум в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе;
Я стал взирать его очами:
С его печальными речами
Мои слова звучали в лад...[8]

Синтаксическая ошибка в четвертом стихе доказывает, что это не более как беглая, черновая заметка, но она содержит основную мысль «Демона» и важна еще для нас сознанием Пушкина, что представляемый им идеал действовал болезненно на него самого. Действительно, в жизни поэта влияние подобной личности могло быть только минутным, скоропреходящим случаем. В той же первой главе мы находим одно недописанное четверостишие, перенесенное потом в «Графа Нулина»:

Так резвый баловень служанки,
Анбара страж, усатый кот
За мышью крадется с лежанки,
Протянется...... идет ....

Место относится к XI строфе[9]. Мы еще будем говорить подробнее о черновом, рукописном «Онегине». Есть даже *печатное* свидетельство этого способа создания. Несколько строф выпущенной 8 главы напечатаны были в «Московском вестнике» 1827 года, № VI, под названием «Одесса». Таким образом, «Странствие Онегина», может быть, написано еще в 1826 году, вместе с 6-й главой романа[10]. Заметка к этой выдержке из романа не менее любопытна. В журнале было оговорено в скобках: «Из 7 главы «Онегина». Так, Пушкин в это время еще не знал даже о содержании будущих песен своей поэмы: седьмая глава «Онегина» наполнена портретом Татьяны, отъездом ее в Москву и описанием Москвы. Кроме всех других качеств, «Евгений Онегин» есть еще поистине изумительный пример способа создания, противоречащего начальным правилам всякого сочинения. Только необычайная верность взгляда и особенная твердость руки могли при этих условиях довершить первоначальную мысль в таком единстве, в такой полноте и художнической соразмерности. Несмотря на известный перерыв (выпущенную главу), нет признаков насильственного сцепления рассказа в романе, нет места, включенного для механической связи частей его. Из всех произведений Пушкина «Евгений Онегин» наиболее понятен иностранцам, которых поражают прелесть его развязки, теплота его чувства и, особенно, мастерство и грация основного его рисунка. Последнее делается для нас вдвойне

замечательным после всего сказанного. Оставляем на время знаменитое произведение Пушкина; мы скоро возвратимся к нему еще с другими подробностями.

ГЛАВА XX

Значение первой половины 1830 г. в жизни поэта, история его сношений с братом Л. С. Пушкиным: Декабрь 1829 г. — Мысль о смерти, стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». — Выпущенная строфа из него и его значение. — Прогулка пешком в Царское Село и неизданное стихотворение «Воспоминаньями смущенный...». — Значение стихотворения. — Пушкину 30 лет. — Новое настроение духа в его произведениях. — «Ответ анониму», близость семейной жизни. — Отношения к брату Льву. — Братская любовь поэта, неизданные стихи «Брат милый...». — Французское напутственное письмо к брату при вступлении его в свет. — Русские письма А. Пушкина к брату в 1822 г., укор за употребление французского языка. — Нежные письма к брату тогда же. — Он делает брата редактором своих стихотворений. — Письмо к брату в 1823 г. о различных стихах, напечатанных в «Полярной звезде» 1823 г. — Препоручения всех возможных родов.— Письмо 1824 г. о доставлении «Эды», «Русской старины», «Талии», спора между Дмитриевым и князем Вяземским, «Чернеца» Козлова, высокое мнение о последнем. — Продолжение переписки, заметка о Хмельницком. — Заметка о наводнении 1824 г. — Черты сострадания в Пушкине. — Переписка с братом об издании первой главы «Онегина» в 1825 г. — Переписка о переменах в стихах «Онегина». — Мысль о втором издании «Кавказского пленника», предупрежденная самовольным изданием г. Ольдекопа при переводе его на немецкий язык. — Как брат Лев смотрел на стихи и на авторские комиссии поэта. — Как начались литературные связи с Плетневым. — Пушкин поручает Плетневу издание своих сочинений. — Лев Пушкин и Плетнев издатели их. — Первый оказывается неисправным комиссионером. — Укор брату за равнодушие и легкомыслие в делах. — Замечание Пушкина о повести Погорельского «Лафертовская маковница». — Отношение Пушкина к брату Льву после 1825 г. — Возвращение к биографии. — Стихи Гульянова, писанные в июне 1830 г. и вызвавшие стихотворение «Ответ анониму». — 1830 г. и разница в настроении в двух его половинах. — Беспокойное искание цели существования в первой его половине. — Желание ехать за границу и определиться в Китайскую миссию. — Стихи об этом и примеры, как большая часть произведений его вызвана жизнью.

Замечательно, что в среде этой живой деятельности, в цвете сил и таланта, мысль о смерти стала мелькать перед глазами Пушкина с неотвязчивостию, которая так превосходно выражена в стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и проч., написанном «26 декабря 1829 года». Оно имеет пометку: «С.-Петербург, 3 часа, 5 минут», и одна строфа его, выпущенная впоследствии, еще сильнее подтверждает общую мысль поэта:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.

В середине самого стихотворения есть еще одна недоделанная строфа, из которой ярко выходят два стиха, содержащие темное предчувствие:

Но не вотще меня знакомит
С могилой ясная мечта...

Известно, что эта пьеса кончается радостным примирением с законами, положенными природе и человеку; но предчувствия обманули Пушкина. Еще целых 8 лет жизни с ее наслаждениями и с ее горем назначала ему судьба, но стихотворение само по себе остается как памятник особенного душевного состояния поэта. Часто и часто возвращался он к самому себе в эту эпоху и всегда с грустной мыслию. Усталое, неудовлетворенное чувство, жизнь, разобранная на множество целей, беспрестанно откидывали его к прошлому и к собственному сердцу. Голос, которым он говорил в эти минуты тайного расчета с самим собою, поразителен скорбью, жаром и глубокой поэзией души. Одной из таких чудных песен проводил он и 1829 год, предпоследний год холостой своей жизни.

Пушкин, как известно, был неутомимый ходок и иногда делал прогулки пешком из Петербурга в Царское Село. Он выходил из города рано поутру, выпивал стакан вина на Средней Рогатке и к обеду являлся в Царское Село. После прогулки в его садах он тем же путем возвращался назад. Может быть, в одно из таких путешествий задуманы были «Воспоминания в Царском Селе», помеченные в тетради его: «Декабря 1829 года. С. П. Б.» Только значительный навык, приобретенный нами в разборе его рукописей, помог нам списать в точности и сохранить это драгоценное во многих отношениях стихотворение.

ВОСПОМИНАНИЯ В Ц⟨АРСКОМ⟩ С⟨ЕЛЕ⟩

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой!
Так отрок Библии — безумный расточитель —
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал!

В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном вихре суеты,
О, много расточил сокровищ я сердечных
За недоступные мечты!
И долго я блуждал, и часто, утомленный,
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,
Я думал о тебе, приют благословенный.
Воображал сии сады!

Воображал сей день счастливый,
Когда средь них возник лицей
И слышал...* снова шум игривый,
И видел вновь семью друзей!
Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитался по лугам, по рощам молчаливым...
Поэтом ... забывался я!

И славных лет передо мною
Являлись вечные следы:
Еще исполнены великою женою
Ее любимые сады!
Стоят населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами богов,
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининых орлов!

14 Декабря 1829. С.-Петербург.

Уже написав стихотворение, Пушкин снова возвращается к нему и добавляет его новой строфой:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов;
Глядите: вот герой, стеснитель ратных строев,
Перун кагульских берегов![1]
Вот, вот могучий вождь полунощного флага,
Пред кем морей пожар и плавал, и летал![2]
Вот верный брат его, герой Архипелага[3],
Вот наваринский Ганнибал![4]

Вся строфа эта действительно необходима была для завершения пьесы, но и с ней еще оно представляет, как легко заметить, первый, невыправленный очерк — слабую тень того, чем оно могло бы сделаться, если бы художнический резец прошел еще раз по нем. Однако же и в том виде, в каком имеем его, оно еще дорого по истине чувства, по задушевному голосу, пробегающему в первых двух его строфах. Так провожал Пушкин последний год молодости своей: ему уже было 30 лет, и три четверти жизни для него промчались.

Совсем другие звуки, совсем другое настроение духа является в стихотворениях Пушкина следующего, 1830, года. Вспомним превосходную его пьесу «Ответ анониму»:

О кто бы ни был ты, чье ласковое пенье
Приветствует мое к блаженству возрожденье, —

которое с глубокой жалобой на участь поэта, покупающего внимание публики ценою собственных горьких дум и страданий, содержит намек на обстоятельство, переменившее как жизнь Пушкина, так и течение его мыслей[5]. «Но счастие

* Точки везде замещают неразобранные стихи. Просим читателей не забывать этого и при других выписках наших.

поэта, — говорит он в конце своего превосходного стихотворения, —

Меж ними не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно...»

Для Пушкина наступило то счастие, о котором, по свидетельству покойного Льва Сергеевича Пушкина, всегда мечтал поэт наш, — счастие семейной жизни. Кстати сказать здесь, что дружеское расположение поэта к Льву Сергеевичу началось весьма рано и долго продолжалось. Как старший в семье, Александр Сергеевич часто обращался к брату с советами, деятельною помощью, иногда выговорами и упреками, в которых чувство нежности и любви, может быть, выражалось еще сильнее, чем в положительном изъявлении его. Для брата своего, при вступлении его в свет, Александр Сергеевич написал длинное наставление, которое, может быть, составляет лучшую характеристику как нравов времени, так и его собственного душевного состояния в эпоху пребывания на юге России. Тогда же, именно из Кишинева, умолял он Дельвига принять молодого Льва Сергеевича под свое покровительство, как мы уже знаем из письма к первому от 23 марта 1821 года. Но так как почти ни одно чувство не проходило в душе Пушкина без поэтического отзвука, то в бумагах его сохранилось небольшое стихотворение, может быть и оконченное позднее, но нам доставшееся в отрывке:

Брат милый! отроком расстался ты со мной;
В разлуке протекли медлительные годы:
Теперь ты юноша и полною душой
Цветешь для радостей, для света, для свободы.
Какое поприще отверзлось пред тобой!
Как много для тебя восторгов, наслаждений,
И сладостных забот, и милых заблуждений...[6]

Да позволено нам будет остановиться на несколько минут. В жизни Пушкина струна братской привязанности звучала сильно, и нельзя покинуть ее без внимания; но для изложения дела следует возвратиться опять к страннической жизни поэта на юге России и к пребыванию его в деревне в 1824—1825 годах.

Мы можем привести несколько строк из того дружеского письма, о котором упомянули выше и которым Александр Сергеевич напутствовал брата при вступлении его в свет. Оно писано по-французски и в целом представляет систему, изложенную очень остроумно, но весьма мало сходную с правилами самого автора ее, когда установился его взгляд на предметы. Система эта просто была модный лоск того времени, которым прикрывались старые и молодые люди для эффекта. Вот что извлекаем из письма:

«Vous êtes dans l'âge où l'on doit songer â la carrière que l'on doit parcourir. Je vous ai dit les raisons, pourquoi l'état militaire me parait préférable à tous les autres. En tout cas votre conduite va décider pour longtemps de votre réputation et peut-être de votre bonheur.

Vous aurez affaire à des hommes que vous ne connaissez pas encore... Ne les jugez pas par votre coeur, que je crois noble et bon, et qui de plus est encore jeune... Soyez froid avec tout le monde. La familiarité nuit toujours, mais surtout gardez-vous de vous y abandonner avec vos supérieurs, quelques soient leurs avances... Point de petits soins... Défiez-vous de la bienveillance, dont ovus pouvez être susceptible. Les hommes ne la comprennent pas et la prennent volontiers pour de la bassesse, toujours charmés de juger les autres par euxmêmes... N'acceptez jamais de bienfaits. Un bienfait pour la plupart du temps est une perfidie. Point de protection, car elle asservit et dégrade. J'aurais voulu vous prémunir contre les séductions de l'amitié, mais je n'ai pas le courage de vous endurcir l'âme dans l'âge de ses plus douces illusions... N'oubliez jamais l'offense volontaire... Peu ou point de paroles et ne vengez jamais l'injure par l'injure... Si l'état de votre fortune ou bien les circonstances ne vous permettront pas de briller, ne tâchez pas de pallier vos privations. Affectez plutôt l'excès contraire. Le cynisme dans son âpreté en impose à la frivolité de l'opinion, au lieu que les petites friponneries de la vanité nous rendent ridicule et méprisables. N'empruntez jamais; souffrez plutôt la misère. Croyez qu'elle n'est pas aussi terrible qu'onse la peint et surtout que la certitude, où l'on peut se voir d'être malhonnête ou d'être pris pour tel. Un jour vous entendrez ma confession; elle pourra coûter à ma vanité, mais ce n'est pas ce qui m'arréterait lorsqu'il s'agit de l'ntérêt de votre vie»*[7].

---

* «Ты в том возрасте, когда следует подумать о выборе карьеры. Я уже изложил тебе причины, по которым военная служба кажется мне предпочтительнее всякой другой. Во всяком случае, твое поведение надолго определит твою репутацию и, может быть, твое благополучие.

Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь... Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, еще молодо... Будь холоден со всеми. Фамильярность всегда вредит, особенно же остерегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой... Не проявляй услужливости... Обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать. Люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе... Никогда не принимай одолжений. Одолжение чаще всего — предательство. Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает. Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить твою душу в пору наиболее сладких иллюзий... Никогда не забывай умышленной обиды... Будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление... Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скры-

Письмо это было послано из Кишинева в Петербург, где тогда находился Лев Сергеевич Пушкин, и замечательно, что не только мысли, изложенные в нем, были чужды природе самого поэта, как скоро увидим, но он даже не любил французской формы в братской и дружеской переписке. Вот что писал он из того же Кишинева к молодому брату от 24 января 1822 года:

«Сперва хочу с тобой побраниться. Как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо: ты не московская кузина. Во-вторых, письма твои слишком коротки: ты или не хочешь, или не можешь мне говорить откровенно обо всем. Жалею. Болтливость братской дружбы была бы мне утешением. Представь себе, что до моей пустыни не доходит ни один дружеский голос, что друзья мои как нарочно решились оправдать элегическую мою мизантропию — и это состояние несносно...» Вероятно, еще ранее Пушкин уже обращал внимание брата на неприятную смесь языков в его письмах: «Здравствуй, Лев! Не благодарю тебя за письмо твое, потому что ты мне дельного ничего не говоришь. Я называю дельным все то, что касается до тебя. Пиши ко мне, покамест я еще в Кишиневе. Я тебе буду отвечать со всевозможною болтливостию и пиши мне по-русски, потому что, слава богу, с моими... друзьями я скоро позабуду русскую азбуку. Если ты в родню, так ты литератор (сделай милость, не поэт). Пиши же мне об новостях нашей словесности. Что такое «Сотворение мира» Милонова?[8] Что делает Катенин? Он ли задавал вопросы Воейкову в «Сыне отечества» прошлого года?[9] Кто на ны? «Черная шаль» тебе нравится — ты прав, но ее ч⟨ерт⟩ знает как напечатали*[10]. Кто ее так напечатал?..»[11] После этих двух писем получен был новый ответ Льва Сергеевича, который, как видно, остался недоволен замечаниями брата. Поэт возражает шутливо и снисходительно, но вместе с признаками горячей, истинно братской любви к молодому человеку! «Ты на меня дуешься, милый: нехорошо. Пиши мне, пожалуйста, и как тебе угодно — хоть на шести языках: ни слова тебе не скажу. Мне без тебя скучно. Что ты делаешь? В службе ли ты? Пора, ей-богу, пора. Ты меня в пример не бери. Если упустишь время, после будешь тужить... Тебе скажут: учись, служба не про-

---

вать лишений. Скорее избери другую крайность. Цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света, между тем как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения. Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду. Поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь; она дорого будет стоить моему самолюбию, но меня это не остановит, если дело идет о счастии твоей жизни» *(франц.). — Ред.*

* Смотри в примечаниях наших к этому стихотворению.

падет. Конечно, я не хочу, чтоб ты был такой же невежда, как ⟨В. И. Козлов⟩, да ты и сам не захочешь. Чтение — вот лучшее учение. Знаю, что теперь не то у тебя на уме, но все к лучшему.

Скажи мне — вырос ли ты? я оставил тебя ребенком, найду молодым человеком. Скажи — с кем из моих приятелей ты знаком более? Что ты делаешь? Что ты пишешь?.. Что мой «Руслан»? Не продается? Дай знать. Если же Слёнин купил его, то где же деньги? А мне в них нужда. Каково идет издание Б⟨естужева⟩?[12] Читал ли ты мои стихи, ему посланные? Что «Пленник»?[13] Радость моя! Хочется мне с вами увидеться: мне в Петербурге дело есть; не знаю — буду ли к вам, а постараюсь. Мне писали, что Батюшков помешался — быть нельзя[14]. Уничтожь это вранье... Отвечай мне на все вопросы, если можешь — и поскорее. Пригласи Дельвига и Баратынского...»[15]

Оставляя в стороне смешение языков, которому не чужд был и сам Александр Сергеевич в своих заметках для памяти, как мы видели, скажем, что молодой Лев Пушкин имел еще родственную черту с поэтом. Он обладал счастливой памятью и хорошим почерком. Оба эти качества сделали его привилегированным комиссионером поэта по части переписки стихотворений, исправления их и отдачи в журналы и альманахи. В такой должности и находился он действительно с 1821 по 1825 год, живя почти постоянно в Петербурге, между тем как другой брат его был вдалеке от столицы. Мы уже имели случай много раз в продолжение нашего труда черпать сведения и подробности из тогдашней переписки их. Приведем здесь еще несколько выдержек из нее для лучшего показания тех дружеских, коротких отношений, какие установились между обоими братьями с самого начала жизни.

По получении альманаха «Полярная звезда» 1823 г., где помещено было стихотворение Александра Сергеевича «К Овидию», помеченное там только двумя звездочками, его же пьеса «Мечта воина»[16], элегия Гнедича «Тарентинская дева» и несколько пьес Дельвига, поэт наш беседует из Кишинева с братом о себе и других в таком удивительно простодушном и нежном тоне:

«*Благоразумный* Левинька! Благодарю за письмо. Жалко, что прочие не дошли. Пишу тебе, окруженный деньгами, афишками, стихами, прозой, журналами, письмами — и все то благо, все добро. Пиши мне о Дидло, об черкешенке Истоминой[17], за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому Пленнику. Б⟨естужев⟩ прислал мне «Звезду»... Каковы стихи «К Овидию»? Душа моя! И «Руслан», и «Пленник» — все дрянь в сравнении с ними. Ради бога, люби две звездочки: они обещают достойного соперника знаменитому Па⟨нае⟩ву, знаменитому ⟨Рылееву⟩ и прочим знаменитым

нашим поэтам. «Мечта воина» привела в задумчивость *воина,* что служит в иностранной коллегии и находится ныне в бессарабской области*. Эта «Мечта» напечатана с ошибочного списка: «призванье» вместо «взыванье», «*тревожных* дум», слово, употребляемое знаменитым Р⟨ылеевым⟩[18], но которое по-русски ничего не значит; «Воспоминание и брата и друзей» — стих трогательный, а в «Звезде» просто плоский. Но все это не беда, были бы деньги. Я рад, что Глинке полюбились мои стихи; это была моя цель...[19] Гнедич перебивает у меня лавочку:

Увы! Напрасно ждал тебя жених печальный...**—

непростительно прелестно. Знал бы своего Гомера, а то и нам не будет места на Парнасе. Дельвиг, Дельвиг! Пиши ко мне и прозой, и стихами; благословляю и поздравляю тебя. Добился ты наконец до точности языка — единственной вещи, которой у тебя не доставало. En avant! Marche!*** —

30 генваря (1823)».

Препоручения всех возможных родов сыпались градом на Льва Сергеевича от странствующего брата его: «Mon père a eu une idée lumineuse, — пишет он ему из Кишинева в 1823 году[20], — c'est celle de m'envoqer des habits; rappelez — là lui de ma part****. Еще слово: скажи Слёнину, чтоб он мне прислал... «Сына отечества» вторую половину года. Может вычесть, что стоит, из своего долга». Слёнин, как известно, купил первое издание «Руслана», но выплачивал деньги по частям и даже книгами. «Друг мой, — повторяет Пушкин из Кишинева в том же 1823 году[21], — попроси И. В. Слёнина, чтоб он, за вычетом остального долга, прислал мне два экземпляра «Людмилы», 2 экземпляра «Пленника», один «Шильонского узника», книгу Греча[22] и Цертелева древние стихотворения[23] — поклонись ему от меня». О книгах вообще шла переписка весьма жаркая. Так, в 1824 году из Михайловского Пушкин пишет: «Брат! Ты мне перешлешь немецкую критику «Кавказского пленника» ⟨?⟩[24] (спросить у Греча) да книг, ради бога книг! Если п⟨етер⟩б⟨ур-

* Пушкин говорит о себе. Далее следуют у него заметки об ошибках альманаха. Действительно, там было напечатано: «Огни врагов, их чуждое призванье» вместо «взыванье»; «ничто не заглушит моих *тревожных* дум» вместо «...*привычных* дум». Стих «Воспоминание и брата и друзей», напечатанный в альманахе так: «Воспоминанье и братьев и друзей», показывает, что в эпоху сочинения пьесы «Война» (1821) Пушкин думал о брате, как о предмете, дорогом его сердцу наравне с священным сердца жаром, высокими стремлениями и волнениями творческих дум. Дальнейшее развитие нашего языка не подтвердило мнения Пушкина о нелепости *тревожных* дум.

** Стих из «Тарентинской девы» Гнедича.

*** Вперед! Марш! *(франц.). — Ред.*

**** Отцу пришла в голову блестящая мысль ⟨...⟩ прислать мне одежду, напомни ему от меня об этом *(франц.). — Ред.*

гские⟩ издатели не захотят удостоить меня присылкою альманахов, то скажи Слёнину, чтоб он мне их препроводил, в том числе и «Талию» Булгарина... Стихов, стихов, стихов!.. Conversations de Byron, Walter Scott*: эта пища для души[25]. Что ж Чухонка** Баратынского? Я жду...»[26] Все эти комиссии не так скоро исполнялись, как желал бы поэт. О «Чухонке» он повторяет свою просьбу несколько раз, один за другим, хотя она еще не выходила из печати. «Торопи Дельвига***, присылай мне чухонку Баратынского — *не то, прокляну тебя*» (1824)[27]. «Пришли же мне «Эду» Баратынского. Ах, он, чухонец! Да если она милее моей Черкешенки, так я повешусь у двух сосен и с ним никогда знаться не буду» (1824)[28]; а раз поэт вышел даже из терпения: «Да пришли же мне «Старину»**** и «Талию». Господи помилуй, не допросишься!»[30] В следующем затем письме Александр Сергеевич излагает уже свои поручения стихотворно: «Брат, здравствуй! Писал тебе на днях, с тебя довольно. Пришли мне «Цветов»*****, да «Эду», да поезжай к Энгельгардтову обеду. Кланяйся господину Жуковскому, заезжай к П⟨ущи⟩ну и Малиновскому. Поцелуй Матюшкина, люби и почитай Александра Пушкина (декабрь 1825)»[31]. Получив наконец «Эду» и «Талию», альманах г. Булгарина, он пишет о первой то письмо к Дельвигу, которое уже нам известно, а о второй упоминает в приводимом нами теперь (1825): «Между тем пришли мне тот № «Вестника Европы», где напечатан второй разговор ⟨лже-⟩ Дмитриева******. Это мне нужно для предисловия к «Бахчисарайскому фонтану». Не худо бы мне переслать и весь процесс (и «Вестник», и «Дамский журнал»).

Подпись слепого поэта тронула меня несказанно[32]. Повесть его******* прелесть. Сердись он, не сердись, а «хотел простить — простить не мог» достойно Байрона. Видение, конец — прекрасны. Послание, может быть, лучше поэмы; по крайней мере, ужасное место, где поэт описывает свое затмение, останется вечным образом мучительной поэзии. Хочется отвечать ему стихами. Если успею, пошлю их с этим письмом********.

Если можно, пришли мне... Child-Harold********* Ламар-

---

* «Беседы» Байрона, Вальтер Скотта *(франц.)*. — *Ред.*

** «Эда», поэма Баратынского, вышедшая только в 1826 г.

*** Насчет выдачи «Северных цветов» — первой книжки.

**** «Русская старина», альманах Калайдовича 1824—1825 гг.[29]

***** Первую книжку «Северных цветов» на 1825 г.

****** Известный разговор по поводу статьи князя Вяземского, приложенной к первому изданию «Бахчисарайского фонтана». О полемике между г. Дмитриевым и кн. Вяземским мы уже прежде упоминали.

******* «Чернец, Киевская повесть» Козлова. 1825.

******** Поэт действительно отвечал ему из Михайловского стихами. См. стих⟨отворение⟩ «Козлову» («Певец, когда перед тобой...»).

********* Чайльд-Гарольда. — *Ред.*

тина[33]. То-то чепуха должна быть! Да вообще что-нибудь новенького, да и «Старину». «Талию» получил и письмо от издателя. Не успел еще пробежать: «Ворожея»* показалась мне du bon comique**. А Хмельницкий — моя старинная любовница. Я к нему имею такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в первую песнь «Онегина». Да кой ч⟨ерт⟩, говорят, он сердится, если об нем упоминают, как о драматическом писателе!..»[34] Комиссии относились иногда и к весьма обыкновенным вещам: «Пришли мне бумаги почтовой и простой, — пишет Пушкин, — если вина, так и сыру; и (говоря по-делилевски)[35] витую сталь, произающую засмоленную главу бутылки, т. е. штопор» (1824)[36]; иногда также очень дельные комиссии перемешаны бывали с обыкновенными, и притом весьма оригинальным образом: «№ 3. Пришли мне: 1) Oeuvres de Lebrun, odes, élégies etc. найдешь у St. Florent***. 2) Серные спички. 3) Карты, т. е. картежные (об этом скажи Михайле[37]: пусть он их и держит и продает). 4) «Жизнь Е. Пугачева»[38]. 5) «Путешествие по Тавриде» Муравьева. 6) Горчицы и сыру, но это ты мне и сам привезешь...»[39] В другой раз Пушкин начинает лаконически: «Фуше, Oeuvres dram⟨atiques⟩ de Schiller, Schlegel, Don Juan (последние 6 и проч. песни)[40], нового Walter Scott, «Сибирский вестник» весь — и всё это через St. Florent, а не через Слёнина. Вино, вино, ром (12 бутылок), горчицы, Fleur d'orange, чемодан дорожный, сыру лимбургского, книгу об верховой езде, — хочу жеребцов выезжать: вольное подражение Alfieri**** и Байрону» (1825)[41]. Бывали, однако ж, комиссии у Александра Сергеевича, которые, по существу своему, стояли несравненно выше всех других поручений. Так, при получении известия о наводнении в Петербурге он предается и серьезным размышлениям, и шутливости, но вдруг прерывает и то и другое следующим замечанием: «Этот потоп с ума мне нейдет. Он вовсе не так забавен... Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из онегинских денег, но прошу, без всякого шума: ни словесного, ни письменного...» (8 декабря 1824)[42]. В другой раз он делает такую приписку к брату: «P. S. Слепой священник перевел Сираха[43] (см. «Инвалид» № какой-то), издает

* В «Русской Талии», драматическом сборнике г. Булгарина (1825), было напечатано несколько явлений из комедии-водевиля кн. Шаховского «Ворожея, или Танцы духов» и отрывки из трех произведений Н. И. Хмельницкого: из перевода его «Школа женщин», из комедии «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе» и куплеты из водевиля «Суженого конем не объедешь».

** в хорошем комическом роде *(франц.)*. — *Ред.*

*** произведения Лебрена, оды, элегии и проч. ... Сен-Флорана *(франц.)*. — *Ред.*

**** Драматические сочинения Шиллера, Шлегеля, Дон Жуан... Вальтер Скотта... Сен-Флорана... Флер д'оранж... Альфиери *(франц.)*. — *Ред.*

по подписке; подпишись на несколько экземпляров» (1825)[44]. Эта комиссия родилась уже без всякого вызова или побуждения с какой-либо стороны.

По отношению к литературе весьма важны хлопоты Пушкина о собственных своих произведениях. Мы уже видели прежде, каких трудов стоило ему первое его собрание стихотворений. Не менее забот доставило ему издание первой главы «Евгения Онегина» в 1825 г., которое препоручено было Льву Пушкину вместе с П. А. Пл⟨етне⟩вым. Он беспрестанно пишет об этих изданиях, о перемене в них стихов, о расположении пьес и строф, о скорейшем окончании дела и проч. Вот выдержки из этой переписки: «Что «Онегин»? Перемени стих «звонок раздался». Поставь «Швейцара мимо он стрелой...»*. В «Разговоре», после «искал вниманья красоты», пусти непременно:

Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви,
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои**.

Не забудь *Фон*-Визина писать Фонвизин. Что он за нехрист? Он русский, из перерусских русский» (1824)[45]. «Прошу скорее вытащить «Онегина» из ⟨-под цензуры⟩ ... Долго не торгуйся за стихи, режь, рви, кромсай хоть все 54 строфы, но денег, ради бога!»[46]

«*ЛВ*. г. издатель «Онегина»!

Стихи для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть***.

Понимаете? Да нельзя ли еще под «Разговором» поставить число 1823 г.? Стих «Вся жизнь одна ли, две ли ночи» надобно бы выкинуть, да жаль — хорош. Жаль еще, что поэт не побранил потомства в присутствии своего книгопродавца: Mes arrières — neveux me devraient cet ombrage****[47]. С журналистами делай что угодно. Дарю тебе мои мелочи на пряник; продавай или дари, что упомнишь, а переписывать мочи нет»***** (1824)[48]. В том же году хотел он составить и второе издание «Кавказского пленника», указал даже перемены

---

* Этот стих действительно находится в XXVIII строфе первой главы «Онегина».

** Эти стихи и попали по указанию поэта в «Разговор между поэтом и книгопродавцем», которым открывается «Ев. Онегин».

*** Так эти стихи и напечатаны в «Разговоре между поэтом и книгопродавцем».

**** Мои потомки были бы мне обязаны этой тенью *(франц.)*. — *Ред.*

***** Пушкин в другом месте отстраняет критическое вмешательство брата в новую поэму очень добродушно: «Ты, голубчик, не находишь толку в моей луне — что ж делать? А напечатай уж так»[49].

в стихах, которые впоследствии и введены были в поэму*, назначил цену, за какую уступал его книгопродавцам — 2000 р., но неожиданное появление немецкого перевода с полным русским текстом, как уже говорили мы, помешало предприятию. Так точно в следующем 1825 году, по выходе первой песни «Онегина», Пушкин думал о втором издании ее, которое тоже не состоялось: «Читал объявление об «Онегине» в «Пчеле». Жду шума. Если издание раскупится, то приступи тотчас к изданию другому или условься с каким-нибудь книгопродавцем. Отпиши о впечатлении, им произведенном»[50]. Наконец, Пушкина сильно занимала мысль издать в 1825 году «Цыган» своих, столь долго ожидаемых публикой, но мысль могла быть приведена в исполнение только гораздо позднее — через два года.

Большая часть этих остановок происходила от свойств молодого комиссионера, которому Пушкин вверил литературные свои дела. Комиссионер был беспечен от природы и никак не мог принудить себя смотреть серьезно на поручения брата своего. Они служили ему средством к сообщению интересных новостей приятелям, к веселому препровождению времени, к приобретению новых знакомств, к шуму, к дружеским прениям и проч. Разумеется, Александр Сергеевич смотрел иначе на цель своих произведений и крепко сердился, видя, что поэтические труды его обращены в забаву. Легкое понимание обязанностей своих приводило иногда комиссионера к нескромностям, весьма досадным. Так, мы можем рассказать анекдот, переданный нам П. А. Плетневым и в котором он сам был действующим лицом. В 1821 году П. А. Плетнев напечатал в «Сыне отечества» № VIII стихотворение под названием: «Б...ов из Рима», в котором описывал участь какого-то поэта, потерявшего вдали от родины друзей, жар и вдохновение. Подозрительный и уже больной Батюшков, находившийся тогда в Риме, принял стихотворение на свой счет и горько жаловался на тайных врагов, распускающих об нем неприятные слухи[51]. А. С. Пушкин взял его сторону и в письме к брату едко и с негодованием разобрал как мысль стихотворения, так и форму его. Письмо это было показано Львом Сергеевичем автору разобранной пьесы. Тогда П. А. Плетнев отвечал известным своим посланием к Пушкину:

Я не сержусь на едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой силы *и проч.*,—

где так благородно и прямо высказал свое оправдание[52]. Для Александра Сергеевича достаточно было откровенного объяснения, чтоб он признал вину свою и постарался загла-

* См. примечания к «Кавказскому пленнику».

дить ее. С послания Плетнева образовалась между ним и поэтом нашим тесная дружеская связь, но вот что заметил последний о поступке брата: «Если бы ты был у меня под рукой, моя прелесть, то я бы тебе уши выдрал. Зачем ты показал Плетневу письмо мое? В дружеском обращении я предаюсь резким и необдуманным суждениям. Они должны оставаться между нами. Вся моя ссора с Т⟨олсты⟩м происходит от нескромности кн. Шаховского. Впрочем, послание Плетнева, — может быть, первая его пиеса, которая вырвалась от полноты чувства; она блещет красотами истинными. Он умел воспользоваться своим выгодным против меня положением: тон его смел и благороден. На будущей почте отвечу ему... 6 октября 1823; Кишинев»[53].

Из переписки, разбираемой нами теперь, оказывается всего яснее, что Лев Сергеевич имел непреодолимую страсть к чтению новоприсылаемых произведений брата на вечерах и ужинах и за этим упражнением часто забывал об выпуске их в свет правильным образом. Мы видели уже, как сердился поэт за преждевременное распространение в публике «Бахчисарайского фонтана»; то же самое случилось и с «Цыганами». Лев Сергеевич передавал их целиком, на память и в рукописи, всем почитателям таланта своего брата, а почитателем его тогда был весь свет. Поэт принужден был перенесть поручение издавать свои сочинения на одного П. А. Плетнева. Шутливо писал он к Дельвигу из Михайловского от 8 декабря 1825 г.[54]: «Кстати: скажи Плетневу, чтоб он Льву давал из моих денег на орехи, а не на комиссии мои, потому что это напрасно. Такого бессовестного комиссионера нет и не будет». Так, еще, от 23 июля 1825, он прибавляет к тому же лицу: «Если брат захочет переписать мои стихи вместо того, чтобы читать их на ужинах и украшать ими альбом В⟨оейко⟩вой, то я ему буду благодарен; если нет, то пусть отдаст он рукопись мою тебе, а ты уж похлопочи с Плетневым». Последняя заметка касается издания стихотворений Пушкина 1826 г. Мы видели прежде, что рукопись стихотворений была переслана из Михайловского 18 марта 1825 г. в Петербург, но до 28 июля 1825 поэт не получал от комиссионера своего никакого известия об участи ее, а также и об участи других своих предприятий. В этот день он написал брату выговор, который оправдывает его предшествовавшие заметки к друзьям. «Если бы Пл⟨етне⟩в показал тебе мои письма, так ты бы понял мое положение. Теперь пишу из необходимости. Ты знал, что деньги мне нужны. Я на тебя полагался как на брата; между тем год прошел, а у меня ни полушки. Если б я имел дело с одними книгопродавцами, то имел бы тысяч 15.

Ты взял от Пл⟨етне⟩ва для выкупа моей рукописи 2000 р., заплатил 500; заплатил ли остальные 500?[55] и осталось ли что-нибудь от остальной тысячи?

Я отослал тебе мои рукописи в марте. Они еще не собраны, не цензурованы. Ты читаешь их своим приятелям до того, что они наизусть передают их моей публике. Благодарю.

Дельвига письма до меня не доходят. Издание поэм моих не двинется никогда. Между тем я отказался от предложения Заикина. Теперь прошу, если возможно, возобновить переговоры.

Словом, мне нужны деньги... Ты знаешь это, ты обещал мне капитал прежде году, а я на тебя положился.

Упрекать тебя на стану, а благодарить — ей-богу, не за что. 28 июля.

При сем письмо Заикина. Не утруждаю тебя новыми хлопотами. Прошу единственно вполне истолковать П⟨летневу⟩ мои обстоятельства. Полагаюсь на его дружбу. Если ты захочешь продиктовать «Цыганов» для отдачи в ценсуру, покамест не перешлю своего списка, я почту себя очень обязанным...»*

Таким образом, только в 1825 г. открылась совершенная неспособность Льва Сергеевича к обязанности комиссионера, которую он исполнял с 1821 года. Дальнейшее описание сношений между братьями уже не может относиться к нашему труду, так как в них, по большей части, уже нет ничего, касающегося литературы, и много такого, что исключительно принадлежит семейному кругу. К концу жизни голос Александра Сергеевича становился все строже и строже. Беспечность и отдача самого себя течению жизни, как пришлось, не пропадали с годами в брате его. Прежние и новые советы оставались без действия, но взамен Александр Сергеевич принимал на себя несколько раз устройство дел своего любимца, как денежных, так и жизненных вообще. Во всех кризисах своего существования (а их было немало), Лев Сергеевич тотчас же обращался к надежной своей опоре, к брату, и даже писал ему при одном из таких случаев: «Нравоучения, если я их заслуживаю, могут быть и после, а теперь — надобно пособить». И никогда не обманывала его надежда. Александр Сергеевич платил его долги, очищал ему дорогу и приводил в движение все свои обширные связи и сношения

* В «Новостях литературы», журн⟨але⟩ Воейкова (1825 г., книжка XI), была повесть г. Погорельского «Лафертовская маковница», где одно действующее лицо, «бабушкин кот», привело Пушкина в восторг. Немного поранее укоризненного письма своего, Александр Сергеевич еще писал к брату: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! я прочел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр⟨ифоном⟩ Фал⟨елеичем⟩ Мурлыкиным, выступаю плавно, повертывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перов⟨ск⟩ий. Не правда ли? От Вяземского получил известие. Перешли ему, душа моя, все, что ты имеешь на бумаге и в памяти из моих новых сочинений. Этим очень обяжешь меня и *загладишь пакости своего чтеньебесия*»[56].

в обществе, чтоб выпутать его из ожиданной или неожиданной беды. Он предоставлял себе только право, в виде вознаграждения, прочесть ему добрую *нотацию* в сухом, часто весьма остроумном письме (большею частию на французском языке), да шутливо сообщал друзьям о своих новых хлопотах... Даже и эта небольшая доля строгости пропадала еще, когда судьба сталкивала их опять вместе. По рассказам свидетелей, Александр Сергеевич напрасно старался сохранить при личных свиданиях с братом серьезное выражение: шутка, веселость, даже просто шалость одолевали его. И Лев Сергеевич сошел уже с земного поприща: он скончался в Одессе в июле месяце 1852 г.

Возвращаемся к покинутой нами пьесе «Ответ анониму». Признание о блаженстве, к которому, по собственным его словам, возрождался Пушкин, было вызвано стихотворным посланием неизвестного автора, в котором многие отгадывают ученого нашего египтолога г-на И. А. Гульянова. Он написал к Пушкину довольно длинное стихотворение, где благородная мысль и жаркое сочувствие к таланту поэта заменяет всякое другое достоинство. Приводим две строфы этого стихотворения, породившего чудный ответ Пушкина. Следует сказать, что это не единственный еще пример того, как поэт наш своим прикосновением возвышал до себя, до собственного гения чужую мысль. Вот стихи г-на Гульянова:

Олимпа девы встрепенулись!
Сердца их в горести сомкнулись,
И гул их вопли повторил:
«Поэт высокий, знаменитый
Взглянул на светлые ланиты —
И деве сердце покорил.

Не будет больше вдохновений!
Не будет умственных парений!
Прошли свободные часы.
Как отблеск утренних сияний,
Блеснула радость ожиданий
У ног возлюбленной красы!»

Уймите дух ваш сокрушенный,
О музы! Друг ваш вожделенный
Небесным пламенем горит.
Источник новых откровений
Залогом будет вдохновений —
И снова гений воспарит!

15 июня 1830. Москва

Число, выставленное под этим анонимным посланием, соответствует эпохе той московской жизни Пушкина, которая завершилась его браком и которой посвятил он несколько лирических песен, исполненных тихого, сосредоточенного чувства. Оно указывает нам грань, откуда успокоенные

страсти его нашли в предмете, исполненном молодости, грации и красоты, свой тихий, светлый и ровный исток. Вспомним чудные стихотворения поэта «Мадонна», «Безумных лет угасшее веселье...» и проч. Необходимо, однако ж, прибавить, что первая половина этого года, столь замечательного в жизни Пушкина характером своим, далеко не походила на вторую. Начало 1830 года застало поэта в Петербурге и носит еще общий характер жизни, как она определилась для него в последнее время. То же искание цели для своего существования, выхода из обыкновенной вседневности, какое мы заметили и прежде, и та же невозможность избежать волнений жизни, которые и томили, и привлекали его. Естественным следствием этого колебания мысли и воли были неисполнимые предположения и замыслы. Так, в генваре 1830 года он просил дозволения ехать за границу или, в случае невозможности заграничного вояжа, сопровождать нашу миссию в Китай. Заботливость начальства о судьбе его отклонила оба плана с тем снисходительным добродушием, с каким оно всегда вело и сдерживало порывы Пушкина. На поездку за границу, которая расстроила бы его денежные обстоятельства, всегда запутанные, и отвлекла бы его от обыкновенных занятий, не воспоследовало согласия, а путешествие в Китай отклонено по причине полного комплекта чиновников в нашей миссии. В марте месяце, может быть, даже обрадованный отказом, он быстро собрался и уехал в Москву, намереваясь еще посетить старого своего друга Н. Р⟨аевского⟩ в Полтаве; но в Москве нашел он разгадку своих волнений и разрешение своих порывов в чистой любви и семейной жизни, вскоре последовавшей за ней. Нельзя умолчать, что в стихотворениях Пушкина, этой поэтической биографии его самого, есть пьеса, сохранившая даже и черту из жизни, о которой сейчас говорили:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи...
и проч.[57]

Так, по большей части, мотивы пушкинских стихотворений даны ему были самой жизнью и действительностию*.

* Не говоря уже о лицейских стихотворениях Пушкина, где сохранены многие личные обстоятельства автора, остающиеся теперь почти без возможности пояснения, но и в других его произведениях беспрестанно слышится живой голос события и сквозь поэтическую призму их беспрестанно мелькает настоящее происшествие. В разных местах нашего труда мы уже привели доказательства этому и пояснили некоторые из его стихотворений че-

ГЛАВА XXI

«Литературная газета»: «Литературная газета» и участие в ней Пушкина. — Цель издания. — Эпиграмма на современную критику «Глухой глухого звал к суду...». — Мнение Пушкина о «Юрии Милославском», драматической сцене Фонвизина, «Записках» Самсона и Видока. — Отдельные заметки там же. — Значение критических статей Пушкина. — Противодействие современных журналов направлению газеты. — Мысль Пушкина о необходимости возражать на всякую брань. — Значение полемических статей Пушкина, псевдоним Феофилакта Косичкина. — Стихотворение «Вельможе» (к кн. Н. Б. Юсупову), значение этой пьесы и суждение о ней публики, «Телеграфа» и «Славянина».

К началу 1830 года и к петербургской жизни относится деятельное участие Пушкина в основании «Литературной газеты», предпринятом Дельвигом. Появление этой газеты, совпадающее с прекращением журнала «Московский вестник»[1], объясняется потребностию нового органа для литературной деятельности Пушкина и друзей его, что подтвердила и сама редакция в одном из своих №№, сказав прямо, что газета издается для тех литераторов, которые не могут участвовать ни в одном из петербургских и московских журна-

---

тами и анекдотами из жизни. Подобным комментариям со временем могут быть подвергнуты почти все лирические песни Пушкина. Приводим здесь наудачу еще несколько примеров близкого родства пушкинской поэзии с явлениями общественного быта и с личными обстоятельствами автора. Стихотворение «Мечтателю» («Ты в страсти горестной...»), напечатанное в «Сыне отечества» 1818 г. с подписью «Св.... ч. к.» («Сверчок»), вызвано было любовью одного молодого человека, утверждавшего, что он не ищет взаимности и доволен чувством своим.[58] Пушкин не понимал этого изворота сердца, ищущего успокоения в обмане, и отвечал на него своим стихотворением. В другой раз знаменитый композитор, хорошо известный публике нашей, играл на фортепьяно грузинскую мелодию с свойственным ему выражением и искусством. На замечание присутствующих, что ей недостает стихов или романса для всеобщей известности, Пушкин написал стихотворение:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной...[59]

Подробности, находящиеся в стихотворении «Он между нами жил...», все взяты из действительности. Лицо, к которому оно написано, отличалось даром импровизации и раз в самой квартире Пушкина, в Демутовом трактире, долго и с жаром говорило о любви, которая некогда должна связать народы между собою[60]. Чудная пьеса «В часы забав иль праздной скуки...» была только ответом на укоризненное опровержение некоторых мыслей в другом пушкинском произведении; опровержение, сделанное духовным лицом высокого сана[61]. Затем все стихотворения Пушкина, имеющие форму посланий или обращения к лицам, неизменно связаны с каким-либо характеристическим поводом, с какой-либо замечательной чертой его жизни или с особенностию его душевного состояния. Даже антологические его пьесы ⟨18⟩20—22 годов не лишены этой близости к ходу действительности. Она может быть усмотрена, наконец, и в таких пьесах, которые, по глубокому вдохновенному своему содержанию, кажется, совершенно отделяются от обычного течения жизни, каковы «Н*» («С Гомером долго ты беседовал один...»), «Туча» «Пир Петра Великого» и проч.

лов[2]. Основная мысль ее вернее выражена в рукописной заметке Пушкина[3], где он изъясняет право публики требовать уже от известных писателей (Жуковского, Баратынского, князя Вяземского и друг.) оценки произведений литературного мира. Кроме прямой пользы молодым талантам, они, по мнению Пушкина, могли бы вырвать критику из рук судей, положивших в основание своему призванию только собственный произвол и личные отношения к писателям. Состояние критики в его время он объяснял следующей довольно забавной эпиграммой, похожей, впрочем, на известную шутку Пелиссона «Les trois sourds»*:

Глухой глухого звал к суду судьи глухого.
Глухой кричал: «Моя им сведена корова».
— «Помилуй, — возопил глухой тому в ответ, —
Сей пустошью владел еще покойный дед». —
Судья решил: «Почто идти вам брат на брата?
Не тот и не другой, а девка виновата!»[4]

Подавая сам пример наставлению, Пушкин высказал свое мнение о «Юрии Милославском», романе покойного М. Н. Загоскина («Литерат⟨урная⟩ газета», 1830, № 5); написал замечание о новооткрытой тогда драматической сцене из Фонвизина («Литерат⟨урная⟩ газета», 1830 год, № 7)[5]; с восторгом приветствовал появление «Илиады», в переводе Гнедича («Литер⟨атурная⟩ газета», 1830 год, №№ 2 и 12)[6] и, наконец, уже прозревая безобразные произведения французской словесности 30-х годов, не замедлившие появиться, встретил резким, энергическим осуждением два журнальных парижских объявления о выходе «Записок» Самсона и «Записок» Видока («Литер⟨атурная⟩ газета» 1830 года, №№ 5 и 10)[7]. Кроме всего этого, много отдельных заметок, метких, исполненных остроумия, было помещено на листках новой газеты, но мы уже не можем указать их читателям. Они не были им подписаны и не сохранились, к сожалению, в рукописях поэта; а заверения и свидетельства его друзей, как предания словесные, не придают делу той юридической достоверности, которая необходима для определения литературной собственности. Статьи Пушкина чрезвычайно важны в биографическом отношении: они носят тот характер уважения к заслугам людей, противодействия личному, произвольному мнению и стремления к образованию общественного вкуса посредством избранных представителей в науке и словесности, какой отражается на всех последующих его суждениях. Направление газеты встретило сильное противодействие в журналах того времени: никто не хотел признавать непогрешительность избранных судей там, где судьей была публика. В увлечении спора подверглась разбору даже

* «Трое глухих» *(франц.)*. — *Ред.*

и система обозначения периодов старой отечественной словесности нашей именами главных деятелей. Противники «Литературной газеты» отказывали одним именам в праве представительства, а влияние других объясняли совокупным участием многих менее известных лиц[8]. Спор, как всегда бывает, обратился в простую журнальную полемику и, наконец, в намеки и в разбор личностей. К несчастию, вместо молчания, которым следовало бы отвечать на этот новый вид, принятый журнальной критикой, Пушкин полагал, что зло должно быть истреблено его же собственным оружием. «Некоторые писатели, — говорил он, — ввели обыкновение, весьма вредное литературе: не отвечать на критики. Редко кто из них отзовется и подаст голос, и то не за себя. Разве и впрямь они гнушаются своим братом-литератором?.. Если они принадлежат хорошему обществу, как благовоспитанные и порядочные люди, то это статья особая и литературы не касается... Один писатель извинялся тем, что-де с некоторыми людьми неприлично связываться человеку, уважающему себя и общее мнение, что разница-де между спором и дракой, что, наконец, никто-де не вправе требовать, чтоб человек разговаривал с кем не хочет разговаривать. Все это не отговорка. Если уже ты пришел на *сходку*, то не прогневайся — какова компания, таков и разговор; если шалун швырнет в тебя грязью, то смешно вызывать его биться на шпагах, а не поколотить его просто, а если ты будешь молчать с человеком, который с тобой заговаривает, то это с твоей стороны обида и недостойная гордость...»[9] Со всем тем неосновательность этого мнения и его парадоксальный характер оказались на самом деле. Несмотря на огромную долю остроумия, едкости и ядовитого сарказма, расточенных Пушкиным в эпиграммах, принудивших противников его к молчанию, вся деятельность его на этом поприще разноречит с обыкновенным изяществом его произведений. Сатирические статьи его, как те, которые напечатаны были в «Телескопе» (1831, №№ 13 и 14) под именем *Феофилакта Косичкина*[10], не искупают своей веселостью некоторой жесткости в форме и в языке. Спешим, однако ж, оставить весь этот период страсти и увлечения, побуждаемые к тому и хронологическим порядком, которому следуем. Почти с первых номеров «Литературной газеты» Пушкин находился уже в Москве[11]. Нет никакой надобности подтверждать слова наши выписками из самых журналов, начавших это долгое, бесполезное прение: поводов к объяснению убеждений и мыслей тут уж нет, а сказанного достаточно для предостережения будущих писателей от дурного примера, остающегося на страницах истории литературы, как поучение и как заслуженное наказание. В полном разгаре полемики, в 1831 году, Пушкин слышал предостерегательные слова,

которые, казалось, произносимы были самой мудростию: «Всякая брань бесчестит того, кто произносит ее, а не того, на кого направлена она. Оружие против нее — презрение. В сатирах Пушкина можно найти ум, но еще более желчи. Для чести его пера, а особенно для чести его *рассудка* — лучше было бы, если бы остались они в неизвестности»[12].

Возвращаясь к литературному отделу газеты, упомянем, что сверх уже поименованных статей да отрывка из романа «Арап Петра Великого» под названием «Ассамблея при Петре I-м» («Литер⟨атурная⟩ газ⟨ета⟩», 1830, № 13) и еще отрывка из «Путешествия в Арзрум» под названием «Военная Грузинская дорога, из путевых записок А. С. Пушкина» («Литер⟨атурная⟩ газ⟨ета⟩», 1830, № 8)[13], в ней было помещено много стихотворений его, и с подписью имени, и с пометкой их одними буквами *Крс*. Буквы эти составляют сокращенную анаграмму его арзамасского прозвища «сверчок». Почти все стихотворения «Литературной газеты», принадлежащие Пушкину, находятся в сборниках его сочинений с некоторыми вариантами*. Между ними блестит послание к к⟨нязю⟩ Н. Б. Ю⟨супову⟩ («Вельможе»), написанное уже в Москве, — образец мастерской живописи исторических лиц и эпох, где часто, в одном двустишии, полно и определенно выражается вся сущность их. При появлении своем оно, как и многие другие произведения поэта, возбудило недоумение. В свете считали его недостойным лица, к которому писано; в журналах, наоборот, недостойным лица, которого обвиняли в намерении составить панегирик. Любопытно суждение одного повременного издания об этой пьесе, одинаково поражающей и совершенством формы, и совершенством содержания. При разборе «Бориса Годунова» журнал («Московский телеграф», 1833, часть 49, № 1) замечал: «Мы уверены, что со временем сам Пушкин выбросит из собрания своих сочинений многое, как-то: «Загадку», «Собрание насекомых», «Дорожные жалобы», «Послание к вельможе» — все это недостойно его»[14]. Понимание эстетических произведений, связывающее журнал 1833 г. с журналами 1820 г.! Столько же, если не более, представляет странности и форма, в которую облеклась самая похвала. Журнал «Славянин» (1830 г., часть 14), перепечатывая стихотворение из «Литературной газеты», сделал к нему следующее примечание: «В сем классическом послании Протей Пушкин являет нам Шолье и Вольтера. Оно напоминает нам послание нашего блестящего Батюшкова к И. М. Муравьеву-Апостолу и взято нами из № 30 «Литературной газеты»» и проч.[15] Понятно, отчего Пушкин в последнее время с одинаковым равнодушием встречал и укоры, и одобрения журналов.

---

* Они указаны в нашем издании, в примечаниях к стихотворениям.

ГЛАВА XXII

Общее обозрение кабинетных заметок и трудов поэта за протекший период: Кабинетные труды, заметки, мысли, соображения, выписки, изучение языка, пословиц, старинных терминов. — Правдоподобие мысли, что Пушкин, изучавший книгу царя Алексея Михайловича, собирался написать что-либо по поводу соколиной охоты. — Заметка Пушкина о современном языке. — Разборы книг и заметки при их чтении. — Понятие Пушкина о критике. — Критические заметки о «Трех повестях» Павлова, «Недовольных» Загоскина и проч., сделанные во время чтения. — Мысли Пушкина о разнице между восторгом и вдохновением. — Значение этих мыслей и заметка на мнение «Телеграфа», делившего Европу на классическую и романтическую. — Заметка Пушкина об А. Шенье как классическом писателе. — О драме Олина «Корсар» и по поводу ее о Байроне. — Заметка Пушкина по поводу толков о народности в поэзии. — Объяснение мысли Пушкина по этому предмету. — План Пушкина изложить свой взгляд и понятие об отечественной словесности и о романтизме, приведение в систему отрывков по этому предмету. — Отрывок о скудости светской литературы в древнем отечестве нашем. — Тот же отрывок вчерне. — Значение этих мыслей. — Отрывок Пушкина о Петре и его преобразованиях. — Мысли Пушкина о французской средневековой поэзии. — Продолжение того же и переход к веку Людовика XIV. — Анализ этих мнений. — В параллель с изображением французской литературы Пушкин составил программу и для статьи о русской словесности. — Программы исторического содержания. — Очерк видоизменений феодализма. — Повод к этому очерку. — «История русского народа». — Слова Пушкина о той же «Истории» по выходе II-го тома. — Пушкинский разбор начальных стихов «Слова о полку Игореве». — Статьи «О драме», «Мысли на дороге». — Литературные соображения в отдельных заметках. — Роман в 10 письмах, приблизительное изложение его содержания. — Два отрывка из неоконченных повестей Пушкина. — Драматический этюд.

Мы достигли того времени, которое составляет перелом в существовании Пушкина. Прежде чем пойдем далее, находимся в необходимости остановиться на одной подробности, весьма важной в его жизни. До сих пор мы видели вдохновенную поэтическую деятельность Пушкина и цепь обстоятельств, в которых она вращалась. Кабинетный труд автора «Годунова» нам еще неизвестен, но он, гораздо ранее трудов по сбору исторических материалов для эпохи Петра Великого, составлял уже часть его деятельности и не может оставаться в неизвестности. Заметки, мысли, соображения, выписки из сочинений были невидимым, подземным основанием, на котором созидались и образ его мыслей, и понимание предметов, и самое настроение духа, направлявшее поэтический дар его.

Прежде всего является тут постоянное изучение русского языка. Как прежде служили для этого сказки, так теперь выступают народные пословицы, фразы и термины старой нашей литературы. Вот записка Пушкина по первому предмету, заключающая собственные его пояснения и заметки:

«Не твоя печаль чужих детей качать, т. е. не твоя забота.

Бодливой корове бог рог не дает. Пословица латинская.

Нужда научит калачи есть, т. е. нужда — мать изобретения и роскоши.

Кто в деле, тот и в ответе. В деле, т. е. в должности; в ответе, т. е. в посольстве.

Не суйся середа прежде четверга. Смысл иронический и относится к тем, которые хотят оспаривать явные, законные преимущества; вероятно, выдумана во время местничества.

Горе лыком подпоясано. Разительное изображение нищеты, см. «Др⟨евние⟩ стих⟨отворения⟩».

Иже не вриже, его же пригоже. Насмешка над книжным языком: и в старину над этим острились» и проч.[1].

Можно полагать, что эти заметки, теперь не новые, но свидетельствующие о скромном уединенном занятии поэта, будут занимательны для читателей. Между прочим, заметка о пословице «*Кто в деле, тот и в ответе*» помогла Пушкину указать М. Н. Загоскину одну обмолвку в его романе «Юрий Милославский» (См. «Литера⟨турную⟩ газ⟨ету⟩», 1830, № 5)[2]. Не менее живое впечатление производят и выписки терминов соколиной охоты, из которых большая часть принадлежит книге царя Алексея Михайловича «Урядник, или Новое уложение и устроение чина сокольничья пути» (1668), а другие — летописям и актам. Вот пояснения Пушкина:

«Семеновский потешный двор.

Светлица для выдерживания птиц.

Челиг — самец, *дикомыть* — самка.

Обносцы — ремешок олений, с красным сукном.

Кречет больше и серее сокола. Сокол посизее.

Должик — в два аршина ремень сыромятный.

Вобил, вобила — гусиные крылья, с сырым мясом.

Шалгачь — мешок для живой птицы, на ремне.

Вертлуг железный, на нем вертится вобила.

Стул — где сначала сидят кречеты.

Толунбасы — род барабана для пуганья птиц.

Помцы
Тайник } Сети»[3] и проч.*.

---

* Двенадцать приведенных терминов этой выписки находятся в «Уряднике» царя Алексея Михайловича в разных местах, но преимущественно в последней статье его «Роспись охотничьему снаряду», где они все собраны. «Урядник», с своим церемониалом посвящения в должность нововыборного начального сокольника, представляет такую превосходную картину, что можно удивиться, как ни один из наших писателей не воспользовался ею для исторической сцены или другого художественного произведения. Почти с достоверностию можно сказать, что Пушкин имел в виду дать поэтическую жизнь старому литературному памятнику и представить вместе с тем картину любимой забавы царей и бояр... Как не пожалеть, что мысль не была приведена в исполнение? Но мы еще найдем много таких неосуществленных мыслей у нашего поэта.

Может быть, эти сухие комментарии имели еще другую цель у Пушкина, кроме изучения самого предмета. Картина старой соколиной охоты нашей в поэтическом описании, вероятно, уже носилась перед его глазами, когда он составлял свои выписки, и труд его был, статься может, только ступенью для вдохновения. Мы скоро увидим, что самые строгие занятия разрешались художественными произведениями у Пушкина: натура поэта в нем никогда не ослабевала, и поэтическая струя не иссякала даже и в кропотливом сборе и проверке ученых материалов.

К числу заметок его о языке, уже известных публике, принадлежит еще следующая, неизданная:

«Множество слов и выражений, насильственным образом введенных в употребление, остались и укоренились в нашем языке. Например, *трогательный* от слова *touchant* (см. справедливое о том рассуждение г. Шишкова). *Хладнокровие*. Это слово не только перевод буквальный, но еще и ошибочный; настоящее выражение французское есть *Sens froid* — хладномыслие, а не Sang froid. Так и писали это слово до самого 18-го столетия. *Dans son assiette ordinaire*. *Assiette* значит положение, от слова *asseoir*, но мы перевели каламбуром — *не в своей тарелке*:

Любезнейший, ты не в своей тарелке.

«Горе от ума»[4].

Весьма важный отдел пушкинских замечаний представляют его разборы книг и статей, почему-либо казавшихся ему замечательными. Мы уже знаем его привычку читать с пером в руке и приводить на книге свои собственные мысли и соображения. Множество остатков этой работы за чтением теперь утеряны, но последние образчики ее, разбросанные по разным тетрадям его и в разных клочках, тем драгоценнее становятся для собирателя. Критику вообще, мы уже видели, Пушкин понимал весьма строго. Он не любил в ней характера дилетантизма, легкого понимания вещей и требовал от нее специального знакомства с предметом и серьезного изложения. Для критики художественных произведений искусства он прибавлял к этому еще другое качество — чистую любовь к искусству. «Где нет любви к искусству — там нет и критики», — говорил он. Но в коротких своих заметках о книгах и статьях он отстранял требования науки и являлся без претензий только с своей мыслию. Существенными качествами таких заметок остаются проницательность, остроумие и особенно способность чувствовать неверность всякой абстрактной идеи, как бы она блестяща ни была. Он всегда старался отыскать взамен ее истину практическую, приложимую к делу, сторону предмета, которой он наиболее связывается с жизнью, — качества, не всегда сопутствующие и специальному знанию!.. Переступая на этот раз хро-

нологический порядок, скажем, что в таком духе набросаны были Пушкиным заметки о «Трех повестях» Павлова, которые упрекал он за *идеализацию челядинства*[5]; о комедии М. Н. Загоскина «Недовольные», в которой не находил веселости и любезного прямодушия других его произведений. Заметка его о драме г. Погодина «Марфа Посадница» напечатана была только в 1842 году в 10⟨-м⟩ № «Москвитянина». Даже большая часть всех напечатанных критических статей его принадлежат к непосредственным впечатлениям чтения и сделаны, так сказать, в самом пылу его. Таковы статьи «Вольтер», «Баратынский», «Лорд Байрон», о «Фракийских элегиях» Теплякова и проч. Это не более как собственноручные отметки Пушкина, и характер их проявляется столько же в их сжатой форме, сколько и в содержании, прямо излагающем одну мысль без отступлений и осмотра ее со всех сторон, как бывает в настоящем критическом разборе. Таков был вообще способ чтения у Пушкина.

Сберегая все, что осталось после нашего автора, мы присоединяем к уже известным и напечатанным его отрывкам еще следующие, не менее первых важные для определения его взгляда на предметы.

Возражая на статью одного журнала 1824 года («Мнемозина», часть II, статья «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»), где поэзия русская делилась на лирическую и элегическую[6] и первой отдавалось преимущество, как содержащей более силы и признаков восторга — главного зиждителя поэзии, — Пушкин отвергал важность, какую вообще придают последнему в деле творчества. Заметка эта особенно любопытна в устах Пушкина:

«Критик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение *души* к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии*. Восторг исключает *спокойствие* — необходимое условие *прекрасного*. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг не продолжителен, не постоянен, следовательно, не в силах произвесть истинное, великое совершенство. Гомер неизмеримо выше Пиндара. Ода стоит на низших ступенях творчества. Она исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого. Трагедия, комедия, сатира — все более ее требуют творчества, fantaisie, воображения, знания природы. И *плана* не может быть в оде! Единый *план* Дантова «Ада» есть уже плод

---

* Мысль эта повторена Пушкиным в статье его, напечатанной в «Северных цветах» на 1828 г. под названием «Отрывки из писем, мысли и замечания».

высокого гения! Какой план в одах Пиндара? какой план в «Водопаде», лучшем произведении Державина?»[7]

Строки эти имеют в глазах наших особенную важность, они принадлежат к разряду автобиографических материалов; так Пушкин выразил в них характер собственного таланта и даже историю будущего его развития! Спокойствие и обсуждение, как условие прекрасного, положены им были в основу многих собственных произведений и сроднили их с типами изящного, оставленными классической древностию. Значение труда в его произведениях мы уже видели и еще не раз будем видеть, а удивление его перед гениальным планом объяснится еще впоследствии для читателей теми долгими, глубокими соображениями, какие предшествовали у него самого изложению предмета. В заметках Пушкина открывается даже, по нашему мнению, и то расположение к эпическому роду произведений, которому он подчинился уже так полно незадолго до смерти своей.

В ответ на мнение другого журнала 1825 года («Московский телеграф»), делившего Европу на классическую, к которой принадлежали, по его определению, народы латинского юга, и романтическую, которой предоставлены были германские племена, Пушкин замечал: «Победа будет несомненно принадлежать классицизму, благодаря неожиданной помощи, доставленной журналом. Данте (il gran padre Alighieri)*, Ариосто, Лопец, Кальдерон, Сервантес попали в классическую фалангу»[8].

К книжным заметкам Пушкина принадлежит еще и следующая:

«Французские критики имеют свое понятие об романтизме. Они относят к нему все произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности. Иные даже называют романтизмом неологизм и ошибки грамматические. Таким образом Андрей Шенье — поэт, напитанный древностью, коего даже недостатки проистекают от желания дать французскому языку формы греческого стихосложения, попал у них в романтические поэты»[9].

Опровержение не вполне справедливое: Шенье, несмотря на форму свою, ничего общего не имел с классическою поэзией и сам выразил это в четырех замечательных стихах своей поэмы «L'Invention»:

Changeons en notre miel leurs plus antiques fleurs,
Pour peindre notre idée empruntons leurs couleurs;
Allumons nos flambeaux à leurs feux poétiques,
*Sur des pensées nouveaux faisons des vers antiques***.

---

* великий отец наш Алигьери *(итал.)*. — *Ред.*

** Превратим в наш мед их самые старые цветы,
Возьмем их краски, чтобы изобразить нашу мысль;
Зажжем наши факелы от их поэтических огней,
О новых мыслях сложим стихи в античном стиле *(франц.)*. — *Ред.*

Но известно, что Пушкин, во избежание недоразумений, судил о роде произведения по одной форме его, хотя это, как видим, не было верным средством избавиться от ошибок. Впрочем, недосмотр еще маловажен в сравнении с запутанностию тогдашних суждений о романтизме. Мы уже видели несколько примеров тому, и увеличивать число их нет надобности. Были и у нас критики, не уступавшие французским; трагик Озеров, например, причислялся некоторыми из них к романтикам за изображение томлений страсти и любви. Suum cuique!*

В 1827 году вышла драма г. В. Олина под заглавием «Корсар, драма в 3-х действиях с хором, романсами и двумя песнями: турецкою и аравийскою, заимствованная из английской поэмы лорда Байрона под названием «The Corsair». Пушкин, по обыкновению, написал о драме свою заметку. Она особенно важна тем, что выражает уже ясный взгляд на Байрона и спокойное, твердое обсуждение образца, влияние которого было в 1827 году совсем побеждено.

«Ни одно из произведений лорда Байрона не сделало в Англии такого сильного впечатления, как его поэма «Корсар», несмотря на то что она достоинством уступает многим другим: «Гяуру» в пламенном изображении страстей, «Осаде Коринфа», «Шильонскому узнику» в трогательном развитии сердца человеческого, «Паризине» в трагической силе, «Чайльд-Гарольду» в глубокомыслии и высоте парения лирического, и в удивительном шекспировском разнообразии — «Д⟨он⟩ Жуану». «Корсар» неимоверным своим успехом был обязан характеру главного лица, таинственно напоминающего нам человека, коего роковая воля правила тогда одной частью Европы, угрожая другой. По крайней мере английские критики предполагают в Байроне сие намерение, но вероятно, что поэт и здесь вывел на сцену лицо, являющееся во всех его созданиях, и которое наконец принял он сам на себя в «Ч⟨айльд-⟩Гарольде». Как бы то ни было, поэт никогда не изъяснил своего намерения: сближение с Наполеоном нравилось его самолюбию!

Байрон мало заботился о планах своих произведений или даже вовсе не думал о них. Несколько сцен, слабо между собою связанных, было ему достаточно для бездны мыслей, чувств и картин. Что же мы подумаем о писателе, который из поэмы «Корсар» выбирает один только план, достойный нелепой повести, и по сему детскому плану составляет длинную трагедию, заменив очаровательную и глубокую поэзию Байрона прозой надутой и уродливой, достойной наших несчастных подражателей покойному Коцебу? Спрашивает-

---

* Каждому свое *(лат.)*. — *Ред.*

ся: что же в Байроновой поэме его поразило? Неужели план? О Miratores!»*[10]

Весьма любопытна, в отношении здравого практического смысла, заметка Пушкина о толках, возбужденных требованиями народности, показавшимися у нас вместе с понятием о романтизме. Вопрос еще был темен. Вот что говорил Пушкин:

«С некоторого времени у нас вошло в обыкновение говорить о народности, жаловаться на отсутствие народности; но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность.

Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории**. Другие видят народность в словах, оборотах, выражениях, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения***.

Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками: для других оно или не существует, или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость героев Расина; француз смеется, видя в Кальдероне — Корио⟨ла⟩на, вызывающего на дуэль своего противника, и проч. Все это, однако ж, носит печать народности. Есть образ мыслей и чувствований; есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается и в поэзии. В России...»[11]

Пушкин не докончил своей заметки, но легко видеть, что народность он полагал естественным, природным качеством всякого истинно замечательного писателя. Только посредственный талант или выбравший ложную почву деятельности не народен, потому что заимствует или подделывает свой взгляд, чувство, язык. Сам Пушкин был, именно в этом смысле, народен без сознания, оставаясь народным и в то время, как переносился в Испанию, в рыцарский замок и проч. В дальнейшем развитии своей мысли он говорит, что Шекспир народен в «Отелло» и «Гамлете»; Вега и Кальдерон во всех частях света, где действуют их герои; Ариост в описании китайских своих красавиц; но мысль эта передана им так коротко и неразборчиво, что здесь выражена ее сущность, а собственных слов автора невозможно было выписать, без лишних и непозволительных прибавок.

Постоянное изучение отечественной словесности и внимание к живому, современному вопросу о романтизме, под

* О поклонники! (*лат.*) — *Ред.*

** Здесь встречается в рукописи пустое место, оставленное Пушкиным для выписки мнения.

*** То же.

которым он подразумевал, как уже мы знаем, весьма многое, чего в нем не могло заключаться, приводило его не раз к мысли изложить свой взгляд и понятие об этих предметах подробно. Свидетелями несостоявшегося намерения остаются многочисленные разрозненные заметки, предуготовительные объяснения, отдельные мысли. Постараемся собрать все эти материалы, затерянные доселе в массе его бумаг, и сообщить некоторую целость, некоторое единство труду, хотя отрывочному, разбитому на множество неровных частей, но постоянному и, как видно, сильно занимавшему его ум.

Прежде всего должен следовать отрывок, в котором Пушкин говорит о скудости *светской* литературы в древнем нашем отечестве. Литературу летописей, юридические памятники, тогда еще не собранные попечениями правительства в таком изобилии, и высокое развитие литературы духовной он отстраняет из рассуждения. Вот слова его:

1) «Долго Россия оставалась чуждою Европе. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния, рыцарство не одушевило чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в нравах. Но России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары, не осмелясь оставить у себя в тылу порабощенную Русь, возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией, а не Польшей, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа, в отношении России, всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна. Духовенство, пощаженное удивительной сметливостию татар, одно, в течение двух мрачных столетий, питало искру образованности. В безмолвии монастырей иноки вели свою беспрерывную летопись; архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами, утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности. Татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля. Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили драгоценные, полуизглаженные черты народности, и «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей словесности»[12].

Мысль этого отрывка изложена Пушкиным предварительно в заметке, имеющей почти одинаковое содержание с ним. Прилагаем этот черновой отрывок для сличения с первым и лучшего пояснения его:

2) «Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники, сравнить их с этою бездной поэм, романсов ироических, и любовных, и простодуш-

ных, и сатирических, коими наводнены европейские литературы средних веков. В сих первоначальных играх творческого духа нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа, сравнить влияние завоевания скандинавского с завоеванием мавров. Мы бы увидели разницу между простодушною сатирою французского трувера и лукавой насмешливостию скомороха, между площадной, полудуховной мистерией и затеями нашей старой комедии. Но, к сожалению, старой словесности у нас не существует, за нами степь, и на ней возвышается единственный памятник — «Песнь о полку Игореве»[13].

С первого взгляда может показаться странным сожаление об отсутствии таких явлений, которые в условиях древнего нашего быта и существовать не могли; но ключ для объяснения этого требования находится в практическом смысле Пушкина. Он весьма любит сличения и поверки одного предмета с другим. Таким путем старался он достигнуть ясных выводов, избегая, сколь возможно, системы отвлеченного толкования посредством идеи, случайно явившейся или заготовленной прежде. Мы имеем еще один пример его расположения к аналогическому способу исследований, о котором скоро будем говорить, а теперь продолжаем наши выписки:

3) «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль: при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы.

Петр I не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный. Он возвысил Феофана[14], ободрил Копиевича, не поладил с Татищевым за его легкомыслие, угадал в бедном школьнике вечного труженика Тредьяковского. Сын молдавского господаря[15] воспитывался в его походах, а сын холмогорского рыбака, убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот Заиконоспасского училища[16].

В начале 18 столетия французская литература обладала Европою. Она должна была иметь на Россию долгое, решительное влияние. И так, прежде всего, надлежит нам ее исследовать»[17].

Отсюда начинается у Пушкина цепь коротких и сильно перемаранных заметок, которые, видимо, составляют только программу будущего труда, первые вехи, показывающие уже определенное направление пути, но не составляющие еще самый путь.

4) «Когда в XII столетии, под небом полуденной Франции, отозвалась рифма в провансском наречии — ухо ей обра-

довалось: трубадуры стали играть ею, придумывать для нее всевозможные изменения стихов, окружили ее самыми затруднительными формами. Таким образом изобретены рондо, вирле, баллада и триолет. (Балладой называлось небольшое стихотворение, в коем рифма сочеталась известным образом и которое начиналось и оканчивалось теми же словами.)»

5) «Рассматривая бесчисленное множество мелких стихотворений, коими наводнена была Франция в конце 16 столетия, нельзя не сознаться в бесплодной ничтожности сего мнимого изобилия. Трудность, искусно побежденная, счастливо подобранное повторение (refrain), легкость оборота, простодушная шутка, искреннее изречение редко вознаграждают усталого исследователя».

6) «Труверы обратились к новым источникам вдохновения: аллегория сделалась любимою формою вымысла. Церковные празднества и темные предания о древней трагедии породили мистерии. Явились лё, роман, фаблио».

7) «Романтическая поэзия, коей изобразили мы смиренное рождение, пышно и величественно расцветала во всей Европе. Италия имела свою тройственную поэму[18], португальцы — «Луизиаду», Испания — Лопе де Вега, Кальдерона, Сервантеса, Англия — Шекспира, а у французов Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и почитался народным поэтом. Наследник его Марот, живший в одно время с Ариостом и Камоэнсом, rima de triolets, fit fleurir la ballade»*.

8) «Проза имела решительный перевес: скептик Монтань, циник Рабле были современники Тассу».

9) «Люди, одаренные талантами, будучи поражены *ничтожностью* французского стихотворства, думали, что скудость языка была тому виною, и стали стараться пересоздать его по образцу древнего греческого. Образовалась новая школа, коей мнения, цель и усилия напоминают школу наших славянорусов, между коими также были люди с дарованиями. Но труды Ронсара, Жоделя и Дюбелле остались тщетными. Язык отказался от исправления, ему чуждого, и пошел опять своей дорогой. Наконец пришел Малерб, с такой строгой справедливостию оцененный великим критиком Буало:

Enfin Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence ... *etc.***.

Но Малерб ныне забыт подобно Ронсару. Сии два таланта истощили силы свои в борении с механизмом языка, в усовершенствовании стиха. Такова участь, ожидающая писа-

---

* слагал триолеты, содействовал расцвету баллады *(франц.)*. — *Ред.*
** Наконец, пришел Малерб и первый во Франции
Дал почувствовать в стихах точную гармонию *(франц.)*. — *Ред.*

телей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли — истинной жизни его, не зависящей от употребления!»

10) «Каким чудом посереди общего падения вкуса вдруг явилась толпа истинно великих писателей, покрывших таким блеском конец XVII века! Политическая ли щедрость кардинала Ришелье, покровительство ли Людовика XIV причиною такого феномена, или каждому народу предназначена судьбою эпоха, в которой созвездие гениев вдруг является, блестит и исчезает⟨?⟩ Как бы то ни было, вслед за толпой бездарных или несчастных стихотворцев, заключающих период старинной французской поэзии, тотчас выступают Корнель, Буало, Расин, Мольер и Лафонтен. И владычество их над умами просвещенного мира гораздо легче может объясниться, нежели их неожиданное пришествие!»

11) «У других европейских народов поэзия существовала прежде появления гениев, одаривших человечество своими созданиями. Сии гении шли по дороге уже проложенной, но возвышенные умы 17-го столетия застали у французов народную поэзию в пеленках, справедливо презрели ее бессилие и обратились к образцам классической древности. Буало — поэт, одаренный мощным талантом, резким умом, — обнародовал свое уложение, и словесность ему покорилась. Старый Корнель один остался представителем романтической трагедии, которую так славно вывел он на французскую сцену».

12) «Между тем великий век миновался. Новые мысли, новое направление отзывалось в умах, алкавших новизны. Пренебрегая цветы и благородные игры воображения, словесность...»[19]

Здесь прекращаются отрывки. Позднее мы увидим, что Пушкин называл французов народом антипоэтическим, оставляя за ними только качество положительного народа. Особенно к новым поэтам их не имел он никакого расположения, но для писателей Франции 17-го столетия было у него исключение. Его уважение к Расину и Буало, которые так мало имели сходного с собственным его направлением, и в творчестве, и в критике, свидетельствует уже это достаточным образом. Легкомысленное презрение к этим людям было у нас тогда в общем ходу; но Пушкин и здесь сохранил основную черту характера своего — не останавливаться на крайностях и не подчиняться определениям исключительным и потому неверным, которую он только покидал в минуты своих порывов... Кстати сказать, что программы, о которых так часто упоминаем здесь, служили Пушкину не только указателями для разного рода трудов, но он прибегал к ним даже для направления своих чтений. Один такой образчик мы имеем в следующей записке:

«Что ныне называется Малороссия? Что составляло прежде Малороссию? Когда отторгнулась она от России? Долго ли находилась под владычеством татар? От Гедимина до Сагайдачного, от Сагайдачного до Хмельницкого, от Хмельницкого до Мазепы, от Мазепы до Разумовского?»[20]

Что же касается вообще до кратких планов, какими очерчивал он, так сказать, размеры своих будущих занятий, не можем покинуть отрывков без одного замечания. Пусть читатель вспомнит о программе обозрения русской словесности, которую мы видели гораздо прежде. Приведенная нами теперь программа обозрения *французской* словесности составляет только часть первой. Любимая критическая система Пушкина, как сказано, была система сближений и поверки подражания на образце или разбора двух произведений, навеянных одним направлением: тут открывалась обильная пища его меткому уму и практическому смыслу. Программа обозрения русской словесности, вместе с изложением хода французской ее предшественницы, показывает намерение автора определить характеристические особенности каждой и сравнением источника с подделкой пояснить обоих в существеннейших качествах их. Таково было намерение Пушкина. Переходим к программам чисто исторического содержания. То же самое намерение усматривается и здесь, хотя и в другой сфере изысканий. Вот какой отрывок представляется тут прежде всего:

«Феодальное право, основанное на праве завоевания.
Что были предводители?
Что был народ?
Телохранители.
Власть королевская.
Продажа вольности городам.
Парламенты.
Vénalité des charges*.
Ришелье.
Споры аристократии с парламентами.
Уничтожение феодализма»[21].

Затем Пушкин развивает свою программу еще подробнее:

1) «Феодальное правление — система простая и сильная, была основана на праве завоевания. Победители, присвоив себе землю и собственность побежденных, обратили их самих в рабство и разделили все между собою. Предводители получили бóльшие участки. Слабые прибегнули к покровительству сильнейших, и феодальная иерархия установилась».

2) «Каждый владелец управлял в своем участке по-своему, устанавливая свои законы, соблюдая свои выгоды и стараясь окружить себя достаточным числом приверженцев,

* Продажа должностей *(франц.)*. — *Ред.*

для удержания в повиновении своих вассалов или для отражения хищных соседей. Для сего избирались большею частию вольные люди, составлявшие некогда войско завоевателей. Со временем они смешались с побежденными, и таким образом установились взаимные обязательства между владельцами и вассалами».

3) «Короли, избираемые вначале владельцами, были властителями только в собственном своем участке. В случае войны с неприятелем, новых налогов или споров между двумя могущими соседями, они созывали сеймы. Сеймы сии составляли сначала одни знатные владельцы и военные люди: духовенство было призвано впоследствии властолюбивыми Палатными мэрами (Maire du Palais), а народ гораздо позже, когда королевская власть почувствовала необходимость противопоставить новую силу дворянству, соединенному с духовенством».

4) «Судопроизводство находилось в руках владельцев. Для записывания их постановлений избирались грамотеи из простолюдинов, ибо знатные люди занимались единственно военной наукою и не умели читать. Когда же война призывала баронов к защите королевских владений или собственных замков, то в их отсутствие сии грамотеи чинили суд и расправу, сначала от имени баронов, а впоследствии сами от себя. Продолжительные войны дали им время основать свою самобытность. Таким образом родились парламенты».

5) «Нужда в деньгах заставила баронов и епископов продавать вассалам права, некогда присвоенные завоевателями. Сначала откупились рабы от вассалов, затем общины приобрели привилегии. В последствии времени короли, для уничтожения власти сильных владельцев, непрестанно покровительствовали общины, и когда мало-помалу народ откупился, владельцы обеднели и стали проситься на жалованье королей. Они выбрались из феодальных своих вертепов...»

9) «Короли чувствовали всю выгоду нового положения. Дабы покрыть новые, необходимые расходы, они прибегнули к продаже судебных мест, ибо доходы от прав, покупаемых городами, начали истощаться и казались уже опасными. Сия мера утвердила независимость гражданских чиновников (de la Magistrature), и сие сословие вошло в соперничество с дворянством, которое возненавидело его».

7) «Продажа гражданских мест упрочила влияние достаточной части народа, следовательно, столь же благоразумна, как и другие законы. Напрасно вопили против сей меры, будто бы варварской и нелепой».

8) «Но вскоре заметили, до какой степени сия мера укрепила независимость чиновников. Ришелье установил комиссаров, т. е. временных сановников, уполномоченных коро-

лем. Законники возроптали как на нарушение прав своих и злоупотребление общественной доверенности. Их не послушали, и могущество министра подавило и их, и феодализм»[22].

Этот очерк видоизменений феодализма был сделан Пушкиным не для одного сохранения идей и фактов, почерпнутых в книгах, но еще и с другой целью, как оказывается по бумагам. Незадолго до 1830 года появилась у нас система приложения мыслей западных историков к событиям отечественной истории. Книга, наделавшая в свое время много шума, — «История русского народа», — явилась представительницею направления, которое не могло выдержать поверки, что было почувствовано и самим автором ее в последних частях его труда. Хотя заметки Пушкина не имели в виду этой книги, но он уже встречал ими первые признаки ошибочного взгляда на русскую историю. Из сближения основных причин, действовавших на Западе, с причинами, породившими у нас ряд исторических явлений, намеревался он вывести различие их и несостоятельность мысли переносить их с одной почвы на другую. Выписки Пушкина помогли ему почувствовать эту несообразность весьма полно и опровергать ее с энергией, когда появилась книга, особенно грешившая ею. Вот что писал он в 1830 году, после выхода II тома «Истории русского народа»:

«Г-н П⟨олево⟩й предчувствует истину, но не умеет ее отыскать. Он чувствует, что Россия была совершенно отделена от Западной Европы. Он предчувствует тому причину, но вскоре желание приноровить систему новейших историков к России увлекает его. Он видит опять феодализм (называет его *семейным*) и полагает его необходимым для развития сил новой России. Дело в том, что в России *еще не было феодализма*, а были уделы, князья и их дружина, что Россия *не окрепла* и не развилась в удельные междоусобия, но, напротив, ослабела и сделалась легкою добычею татар, что боярство не есть феодализм:

Феодализм — *частность*, боярство — *общность*.
бояре жили в городах при дворе княжеском,
не укрепляя своих поместий,
не сосредоточиваясь в малом семействе,
не враждуя противу королей,
не продавая своей помощи городам;
но
они были вместе придворные и товарищи,
составили союзы,
считались старшинством,
соперничали.

Вы поняли великие достоинства французского историка, поймите ж и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою, что история ее требует другой мысли,

другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. Не говорите: *иначе нельзя было быть*. Коли было бы это правда, то историк был бы астрономом и события жизни человеческой были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение — не алгебра; ум человеческий, по простонародному выражению, — *не пророк, а угадчик*. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно предвидеть ему *случая*. Один из остроумных людей прошлого столетия предсказал могущество России, но Наполеона никто не мог предсказать»[23].

Таков был постоянный кабинетный труд поэта нашего. Некоторые из заметок его имеют уже все значение первых соображений важного ученого исследования. Разбор начальных стихов «Слова о полку Игореве», памятника русской словесности, о котором с таким удивлением отзывался всегда Пушкин, принадлежит уже к этому роду. По обширности и значению своему, он должен был составить отдельную статью в нашем издании, а необходимость разъяснения его текста, вообще сбивчивого и часто недописанного, заставила нас приложить к нему довольно многочисленные примечания (смотри приложение IX к «Материалам»)[24]. Скажем еще здесь, что статья «О драме», напечатанная в «смеси» посмертного издания его сочинений, относится также к заметкам Пушкина. Перед разбором «Марфы Посадницы», трагедии г. Погодина, он набросал в отрывках своих взгляд на драму вообще. Отрывки эти были напечатаны в посмертном издании с искажением во многих местах настоящего их смысла, что требовало уже не примечаний, а приложения почти совсем новой статьи. В дополнение скажем, что ряд статей Пушкина, озаглавленных в настоящем издании так: «Мысли на дороге» («Шоссе», «Москва», «Ломоносов» и проч.) — представляет еще другой пример книжных заметок его[25]. Они действительно вызваны были чтением, написаны в позднейшие годы его жизни и превосходно выражают твердое, установившееся, совершенно зрелое мнение автора о предметах. Сообразив все сказанное, читатель получит довольно полную картину как непрерывных ученых и умственных занятий поэта, так и самого способа, каким он осуществлял их.

Переходим к литературным соображениям: отдельные заметки и тут встречаются в изобилии. Иногда являются они совершенно неожиданно. Так, читаем мы заметку карандашом на боку одного чернового стихотворения: «Переводчики суть подставные лошади просвещения»[26]. В другой раз Пушкин, на заглавном листе статьи о Байроне, делает выписку: «Ma chi cerea sinceramente la verità, invece de lasciarsi spaventare del ridicolo, deve far un ogetto di esame del ridicolo stes-

so». («Но кто чистосердечно отыскивает истину, тот не должен отступать перед смешным, а напротив, смешное сделать предметом своего исследования»)[27]. Один клочок бумаги носит строки: «Первый обожатель возбуждает чувствительность женщины, прочие бывают едва замечены. Так в начале сражения первый раненый производит болезненное впечатление и истощает сострадание наше»[28]. На обороте листка с неконченным стихотворением читаем: «On a admire le Cynique, qui marcha devant celui qui niait le mouvement. Le soleil fait tius les jours le meme chose que Diogène, mais ne persuade personne»[29]. («Удивлялись цинику, который вздумал пройти пред тем, кто опровергал движение; но солнце делает каждый день то же, что Диоген, и никого не убеждает)*. На оторванном листке начертано: «мнение М⟨итрополита⟩ Пл⟨атона⟩ о Дмитрии Самозванце, будто бы воспитан у езуитов, удивительно детское и романтическое. Всякий был годен, чтоб разыграть эту роль. Доказательство после смерти Отрепьева — Тушинский вор»[30] и проч. и проч. и проч.

Не обинуясь, относим мы к заметкам поэта и несколько отрывков повествовательного рода. Эти беглые, мимолетные образы составляют также программы его и особенно важны тем, что указывают род предметов и идей, занимавших его в известные эпохи. Между бумагами Пушкина сохранился недоконченный роман в 10 письмах, которые не могут быть сообщены по бессвязности их, бесчисленным пропускам целых периодов, обозначенных иногда только первым словом и вообще перепутанному изложению. Для восстановления смысла во многих местах и какого-либо порядка в целом, необходимы уже приделки и произвольные изменения, на которые нельзя решиться. Мы должны ограничиться посильным изложением содержания романа, которое еще и добыто нами не без труда. Роман начинается перепиской двух приятельниц, одной—принадлежащей к светскому обществу, а другой — бедной компанионки, настоящей героини романа. Остроумные описания столичной жизни и меткие картины деревенской жизни, которыми исполнены письма приятельниц, вместе с чертами, выражающими их собственные характеры, начинают живописный контраст, который все более и более развивается. В деревню, где живет компанионка, является герой романа, тоже светский человек, и начинает рисовать в письмах к другу свои впечатления, рожденные противоположностию быта, привычек, понятий с тем, что он видел доселе. Картина становится полнее, но на этом и прерывается. По отдельным чертам, едва обозначенным, можно судить, как глубоки и верны были бы все заметки романа и как оригинальна сама его завязка[31]. Но, обращаясь

* Эта мысль породила небольшое стихотворение «Движение».

к тому, что может быть приведено в известность, прежде всего укажем на продолжение «Рославлева», хотя и не обделанное и писанное с чрезвычайною скоростию, но представляющее уже достаточную степень ясности для разбора. Читатель найдет его в нашем издании вслед за этими материалами, в приложении VIII[32]. Затем приводим здесь два новых отрывка неконченных повестей Пушкина, которые, кажется, должны быть разделены довольно значительным пространством времени. Вот первый из них, рисующий впечатления молодости:

«4 мая 18⟨25⟩ произведен я в офицеры и получил повеление отправиться в полк, в местечко В. Давно ли я был еще кадетом? Давно ли будили меня в 6 часов утра, давно ли твердил немецкий урок при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 руб., делаю что хочу и скачу на перекладных в местечко В., где буду спать до 8 часов и где уже никогда не промолвлю ни единого немецкого слова. В ушах моих все еще отзываются шум и крики играющих кадетов и однообразное жужжание прилежных учеников, повторяющих вокабулы: le bluet, le bluet — василек; amarante — амарант, amarante, amarante. Теперь один стук тележки, да звон колокольчика... я все еще не могу привыкнуть к этой тишине.

Дорогою при мысли о моей свободе, об удовольствиях пути и приключениях, меня ожидающих, чувство несказанной радости наполняло мою душу... Утомясь мало-помалу, принялся я наблюдать движение передних колес и делать математические исчисления. Занятие нечувствительным образом меня утомило, и путешествие уже показалось не столь приятным, как сначала. Я попытался было завести речь с моим ямщиком, но он как будто избегал порядочного разговора. На вопросы мои отвечал одними: «Не можем знать, в⟨аше⟩ благородие», «а бог знает», «а ни что». Приехав на станцию, я отдал кривому смотрителю свою подорожную, но с неизъяснимым неудовольствием услышал, что лошадей нет. Я заглянул в почтовую книгу. Генеральша Б* *с будущим* взяла 12 лошадей, две тройки пошли с почтою, наш брат прапорщик взял остальные две лошади: на станции стояла одна курьерская тройка. Нечего делать: я покорился необходимости.

«Не угодно ли чаю или кофею?» — спросил меня смотритель. Я благодарил и занялся рассмотрением картин, украшающих его смиренную обитель. В них изображена была история блудного сына. Почтенный старец в колпаке и в шлафроке отпускает беспокойного юношу, который принимает поспешно его благословение и мешок с деньгами. В другой изображено яркими чертами развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзья-

ми и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша во французском кафтане и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние: он воспоминает о доме отца своего, *где последний раб* etc... Наконец представлено возвращение его к отцу своему. Добрый старик, в том же колпаке и шлафроке, выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленях — вдали повар убивает тельца, а старший брат с досадой вопрошает о причине таковой радости. Под картинками напечатаны немецкие стихи. Я прочел их с удовольствием и списал, чтобы на досугах перевести.

Прочие картины не имеют рам и прибиты к стене гвоздиками. Они изображают погребение кота, спор красного носа с сильным морозом и в нравственном, как и в художественном отношении, не стоят внимания образованного человека.

Я сел под окно. Виду никакого. Тесный ряд однообразных изб, прислоненных одна к другой, кое-где две-три яблони, две-три рябины, окруженные худым забором, отпряженная телега с моим чемоданом и погребцом, развалившийся колодец около и мелкая лужица: в ней резвятся желтенькие утята под надзором глупой утки, как балованные дети при французской мадаме. Какая скука! Пойду в поле.

Я пошел по большой дороге. Справа тощий озимь, слева кустарники и болото. Кругом плоское пространство, навстречу одни полосатые версты, на небе кое-где облако и медленное солнце. Какая скука! Дошед до 3-й версты, иду назад и удостоверяюсь, что до следующей станции оставалось еще 22.

Я сел опять под окном. День жаркий. Ямщики разбрелись; на улице златовласые, замаранные ребятишки играют в бабки, против меня старуха сидит перед избою подгорюнившись, изредка поют петухи, собаки валяются на солнце или бродят, высунув язык и опустя хвост, да поросята с визгом выбегают из-под ворот и бросаются в сторону без всякой видимой причины.

Я спросил у толстой работницы, которая бегала поминутно мимо меня то в задние сени, то в чулан: «Нет ли чего почитать?» Она принесла мне несколько книг. Я обрадовался и стал с жадностью их разбирать, но вскоре охладел и успокоился, увидев затасканную азбуку и арифметику, изданную для народных училищ. Сын смотрителя, буян лет 9, обучался по ним, как говорила она, всем наукам, да выдрал затверженные листы, за что, по закону справедливого возмездия, подрали его за волосы...»

Отрывок писан или в 1825 году, или вскоре после того. Кисть Пушкина, вообще тонкая, легко узнается в нем[33]. Также замечателен и следующий теперь отрывок. Он естественным образом становится в параллель с предшествующим

по тону и способу рассказа и писан уже, вероятно, около 1830 г.:

«*С французского*

Участь моя решена... Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, она, она — почти моя! Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание замешкавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — все это ничего не значит...

Большая часть людей видят в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок; другие— приданое и степенную жизнь, третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им 30 лет...

Я никогда не хлопотал о счастии. Я мог обойтись и без него. Теперь его мне нужно на двоих, а где я возьму его?

Что значат мои обязательства? Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему, он очень рад; нет, так он извинит меня: «Повеса мой молод: ему не до меня». Я ни с кем не в переписке. Долги свои выплачиваю каждый месяц. Утром встаю, когда хочу; принимаю, кого хочу. Вздумаю гулять — мне седлают мою умную, смирную Женни. Еду переулками, смотрю в окна низеньких домиков. Здесь сидит семейство за самоваром, там слуга метет комнаты, далее девочка учится за фортепьяно. Подле нее ремесленник-музыкант. Она поворачивает ко мне рассеянное лицо, учитель ее бранит, я шагом еду мимо. Приеду домой, разбираю книги, бумаги, привожу в порядок мой туалетный столик. Одеваюсь небрежно, если еду в гости; со всевозможной старательностию, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы. Если Валтер-Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылку шампанского, смотрю, как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуясь, что обед мне стоит 17 рублей и что могу позволить себе эту шалость. Вечером еду в театр, отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный наряд, черные глаза: я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в мужском обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и где меня никто не замечает, или в любезном избранном кругу, где я говорю про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно, засыпаю, читая хорошую книгу. На другой день опять еду верхом переулками мимо дома, где девочка играла на фортепьяно; она твердит на фортепьянах вчерашний урок. Она взглянула на меня, как на знакомого, и засмеялась. Я кланяюсь и проезжаю мимо. Вот моя холостая жизнь — счастья тут не нужно...»[34]

В заключение представляем еще драматический этюд Пушкина и на нем покидаем выписки того, что осталось из

заметок и программ поэта. Труд наш может дать приблизительное понятие читателю о богатстве и значении тех мыслей и предположений его, которые уже утеряны навсегда или еще скрываются.

«— И ты тут был? Расскажи, как это случилось?

— Изволь; я только расплатился с хозяином и хотел уже выйти, как вдруг слышу страшный шум; и граф сюда входит со всею своею свитою. Я скорее снял шляпу и по стенке стал пробираться до дверей, но он увидел меня и спросил, что я за человек. — «Я кровельщик, Гаспар Дик, готовый к вашим услугам, милостивый граф», — отвечал я с поклоном и стал пятиться к дверям, но он опять со мной заговорил и без всякого ругательства. — «А сколько ты вырабатываешь в день, Гаспар Дик?» — Я призадумался: зачем этот вопрос? На всякий случай я отвечал ему осторожно: «Милостивый граф, день на день не похож; в иной вырабатываешь пять и шесть копеек, а в другой и ничего». — «А женат ли ты, Гаспар Дик?» — Я тут опять призадумался: зачем ему знать, женат ли я? Однако отвечал ему смело: «Женат». — «И дети есть?» — ⟨«И дети есть».⟩ (Я решился говорить всю правду, ничего не утаивая.) Тогда граф оборотился к своей свите и сказал: «Господа! Я думаю, что будет ненастье; моя абервильская рана что-то начинает ныть. Поспешим до дождя доехать; велите скорее седлать лошадей»[35].

ГЛАВА XXIII

Вторая половина 1830 г., отъезд в Болдино осенью и целые труды, там возникшие или оконченные: Сватовство и эпоха его. — С апреля по август Пушкин в Москве. — Письмо отца с согласием на брак. — В августе Пушкин в Петербурге на короткое время. — Он отправляется в Болдино, Дельвиг его провожает, записка Пушкина об этом последнем свидании с другом. — Холера, рассказ Пушкина о ней и как получил он первые сведения об эпидемии. — Пушкин остается в Болдине до декабря 1830 г. — Происхождение стихов «Герой». — Плодовитость творчества в Болдине, исчисление того, что написано им в Болдине в письме к Плетневу и в письме к Дельвигу. — «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «реестр драм» с упоминанием о неизданных.— «Пир во время чумы» из Уильсона с переменами. — Мнимый подлинник «Скупого рыцаря», выдуманный «Ченстон». — Пушкин приписывает и другие свои произведения иностранным писателям, как «Рославлева», «Цыган» (лирическое стихотворение) и др.—Подробности о создании «Моцарта». — Подробности создания «Каменного гостя». — О деятельности Пушкина в Болдине вообще. — «Русалка». — Он признает в себе драматический талант еще с «Цыган». — О драмах Пушкина вообще и о тех, которые не сохранились. «Беролъд Савойский». — «Повести Белкина», тогда же написанные, и «Летопись села Горохина», написанная в это же время. — Он оканчивает «Домик в Коломне».

Пушкин познакомился с семейством Н. Н. Гончаровой еще в 1828 году, когда будущей супруге его едва наступила шестнадцатая весна. Он был представлен ей на бале и тогда

же сказал, что участь его будет навеки связана с молодой особой, обращавшей на себя общее внимание. Два года, однако ж, протекли для Пушкина в тех беспрерывных трудах и разъездах, какие мы старались описать. В 1830 г. прибытие части высочайшего двора в Москву оживило столицу и сделало ее средоточием веселий и празднеств. Наталья Николаевна принадлежала к тому созвездию красоты, которое в это время обращало внимание и, смеем сказать, удивление общества. Она участвовала во всех удовольствиях, которыми встретила древняя столица августейших своих посетителей, и, между прочим, в великолепных живых картинах, данных г. московским генерал-губернатором князем Дмитрием Владимировичем Голицыным. Молва об ее красоте и успехах достигла Петербурга, где жил тогда Пушкин. По обыкновению своему, он стремительно уехал в Москву, не объяснив никому своих намерений, и возобновил прежние свои искания. В самый день Светлого Христова Воскресенья, 21-го апреля 1830 года, он сделал предложение семейству Натальи Николаевны, которое и было принято[1]. Вероятно, Пушкин уже мог надеяться на успех в первом деле, где сердце его испытывало чувство живое и благотворное вместе. Еще до предложения своего он уже писал к собственному семейству, оставленному им в Петербурге, прося его благословения и извещая о происшествии, изменяющем жизнь его[2].

Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, отвечал ему из Петербурга от 16-го апреля 1830 года письмом, выражавшим живую радость: «Béni soit mille et mille fois le jour d'hier, mon cher Alexandre, pour la lettre, que nous avons reçue de toi. Elle m'a pénétré de joie et de reconnaissance. Oui, mon ami, c'est le mot. Depuit longtemps j'avais oublié la douceur des larmes, que j'ai versées en la lisant. Que le ciel répande sur toi toutes ses bénédictions et sur l'aimable compagne qui va faire ton bonheur. J'aurais désiré lui écrire, mais je n'ose encore le faire, crainte de n'en avoir pas le droit... Mon bon ami, — прибавлял Сергей Львович далее в письме, — j'attends ta réponse avec la même impatience que tu pourrais éprouver en enttendant l'assurance de ton bonheur de la bouche de M-lle Гончаров elle-même, car si je suis heureux — c'est de votre bonheur, fier de vos succès, calme et tranquille, quand je vous crois tels. Adieu. Puisse le ciel te combler des ses bénédictions, mes prières journalières ont été et seront toujours pour implorer de lui votre bien-être. Je t'embrasse bien tendrement et te prie, si tu le juges à propos de me recommander à M-lle Гончаров, comme un ami bien et bien tendre*.

* «Тысячу, тысячу раз да будет благословен вчерашний день, дорогой Александр, благодаря письму, которое мы получили от тебя. Оно преиспол-

Судьба определила Сергею Львовичу пережить сына, которого он так трогательно и так красноречиво благословлял на счастие и длинный путь радостей.

Между тем, в исходе лета, А. С. Пушкин сам отправился в Петербург для устройства своих дел и личного переговора с Сергеем Львовичем касательно основания будущего своего дома и состояния. Друзья его едва успели встретить и поздравить с новым переворотом в жизни, как Пушкин покинул Петербург. В августе 1830 года он отправился из столицы через Москву в Нижегородскую губернию, в родовое имение отца своего, село Болдино, для принятия и оценки той части его, которая была отдана ему Сергеем Львовичем во владение. Краткое пребывание в Петербурге осталось в памяти Пушкина весьма долго. Тут в последний раз виделся он с Дельвигом, который при отъезде провожал его за заставу. Ни тот, ни другой не могли и подумать, что дружеское расставанье их, еще исполненное разговоров о литературе, будет вечным. Вот что писал Пушкин об этой последней беседе их:

«Я ехал с В⟨яземским⟩ из Петербурга в Москву. Дельвиг хотел проводить меня до Царского Села. 10-го августа поутру мы вышли из города. В⟨яземский⟩ должен был нас догнать на дороге.

Дельвиг обыкновенно просыпался очень поздно, и разбудить его преждевременно было почти невозможно. Но в этот день встал он в осьмом часу, и у него с непривычки кружилась и болела голова. Мы принуждены были зайти в низенький трактир. Дельвиг позавтракал. Мы пошли далее. Ему стало легче, головная боль прошла. Он стал весел и говорлив.

Завтрак в трактире напомнил ему повесть, которую намеревался он написать. Дельвиг долго обдумывал свои произведения, даже самые мелкие. La raison de ce que Delvig a si peu écrit tient à sa maniere de composer*. Он любил в раз-

---

нило меня чувством радости и благодарности. Да, друг мой, это самое подходящее выражение. Давно уже слезы не приносили мне такой отрады, как пролитые при его чтении. Да благословит небо тебя и твою милую подругу жизни, которая составит твое счастье. Я хотел бы написать ей, но покуда еще не решаюсь из боязни, что не имею на это права... Мой дорогой друг, я жду твоего ответа с таким же нетерпением, какое мог бы испытывать ты в ожидании подтверждения своего счастья из уст самой м-ль Гончаровой, ибо я счастлив лишь вашим счастием, горд лишь вашими успехами и спокоен только тогда, когда предполагаю, что вы спокойны. Прощай. Да благословит тебя небо, каждодневно молюсь и буду молиться о том, чтобы оно даровало тебе счастье. Нежно обнимаю тебя и прошу, если ты сочтешь это уместным, засвидетельствовать м-ль Гончаровой мою очень, очень нежную дружбу» *(франц.)*. — *Ред.*

* Причина, почему Дельвиг так мало писал, заключается в его способе писать *(франц.)*. — *Ред.*

говорах развивать свои поэтические помыслы, и мы знали его прекрасные создания несколько лет прежде, нежели были они написаны, но когда наконец он их читал, облеченные в звучные гекзаметры, они казались нам новыми и неожиданными. Таким образом, русская его идиллия, напечатанная в самый год его смерти*, была в первый раз рассказана мне еще в лицейской зале, после скучного математического класса»[3].

Москва уже опустела, когда Пушкин посетил ее на пути в деревню. Прекратились веселья и замолкли праздники ее. Слухи о тяжелой болезни, еще в первый раз явившейся тогда в России и в Европе, распространяли всеобщий страх, который теперь уже не имеет прежних поводов, а с усилиями науки, вероятно, сделается и вполне неосновательным. Но тогда холера занимала все умы и, как бывает обыкновенно с неожиданными явлениями в мире физическом и нравственном, получала толкования несбыточные, преувеличенные и нелепые. Сам Пушкин смотрел на действие болезни с недоумением и страхом, много думал и писал о ней и вообще удостоивал ее внимания, которое теперь, при частом ее появлении, уже истощилось у современников наших. Едва приехал он в деревню, как очутился будто на острове, отделенный от города и столиц карантинами. Вот что писал он несколько времени спустя о болезни, поразившей его воображение, как и воображение почти всех его современников. Это вместе с тем и замечательный отрывок из записок его:

«В конце 1826 года я часто виделся с одним дерптским студентом (ныне он гусарский офицер и променял свои немецкие книги, свое пиво, свои поединки на гнедую лошадь, на польские грязи). Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всем затверженное понятие, в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял. Однажды, играя со мною в шахматы и дав конем мат моему королю и королеве, он мне сказал: *«Холера — morbus* подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас». О холере имел я довольно темное понятие, хотя в 1822 году старая молдаванская княгиня, набеленная и нарумяненная, умерла, при мне в этой болезни. Я стал его расспрашивать. Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей, но и животных, но и самые растения, что она железной полосой стелется вверх по течению рек, что, по мнению некоторых, она зарождается от гнилых плодов и прочее — всё, чему после мы успели наслышаться.

---

* «Отставной солдат. (Русская идиллия)». — «Северные цветы» на 1830 год. Дельвиг скончался, однако ж, 14-го января 1831 года.

Таким образом, в дальнем уезде ⟨Псковской⟩ губернии молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно одни во всей России, беседовали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслию всей Европы.

Спустя 5 лет я был в Москве: домашние обстоятельства требовали непременно моего присутствия в Нижегородской деревне. Перед моим отъездом В⟨яземский⟩ показал мне письмо, только что им полученное: ему писали о холере, уже перелетевшей из Астрахани в Саратовскую губернию. По всему видно было, что она не минует и Нижегородской (о Москве мы еще не беспокоились). Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами. Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности. Приятели, у коих дела были в порядке (или в привычном беспорядке, что совершенно одно), упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество.

На дороге встретил я Макарьевскую ярмарку, прогнанную холерой. Бедная ярмарка! Она бежала, разбросав вполовину свои товары, не успев пересчитать свои барыши. Воротиться в Москву казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случилось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой.

Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляются деревни, учреждаются карантины. Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказочки и не ездя по соседям. Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине. Вдруг (2 октября) получаю известие, что холера в Москве... Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава!

Несколько мужичков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку. Я стал расспрашивать их и доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учрежден карантин, что не сегодня, так завтра на него наеду и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета»[4].

Этот листок записок еще не вполне досказывает происшествие: если действительно Пушкин выехал из Болдина вскоре после 2 октября, то он вернулся с дороги назад, потому что в ноябре и декабре месяцах мы находим его, по другим бумагам, все еще в нижегородской деревне*. Как бы то ни было, но взоры Пушкина постоянно устремлены были на Москву.

Когда государь император соизволил в самом разгаре по-

---

* Замечание это подтверждается письмами к М. П. Погодину, из которых видно, что Пушкин еще два раза пробовал уехать в Москву и всякий раз возвращался назад.

ветрия собственным личным присутствием в Москве утешить и ободрить опечаленный народ, Пушкин излил свое восторженное удивление в известном стихотворении «Герой», которое послал в Москву при письме к М. П. Погодину. Письмо это, от декабря 1830 года, сделалось известным только после смерти поэта[5]. Пушкин хотел, чтобы глубокое чувство удивления было сбережено, как святыня его сердца.

Между тем, отделенный от всех близких людей, Пушкин предался творчеству с жаром и постоянством, которые поистине могут привести в изумление. Ни одна еще осень в его жизни не порождала столько разнородных произведений, и это обстоятельство само по себе свидетельствует уже о свободном состоянии его духа. Беспокойство о положении особ, драгоценных его сердцу, в Москве одно нарушало гармонию его. Мы не имеем никаких сведений об образе жизни поэта нашего в Болдине. Полагаем, что глухое уединение, на которое он обрек себя в продолжение трех месяцев, еще развило его обыкновенные привычки по осени: долгие прогулки верхом, поздний обед, ночи, отданные чтению, и творческие часы утра, проведенные в постеле или по крайней мере в спальне, с пером и бумагой! Как бы то ни было, но Пушкин сам удивлялся своей производительности. Извлекаем из краткой биографии поэта, напечатанной в «Современнике» 1838 года (том X, стр. 45)[6], письмо его к П. А. Плетневу, там помещенное и писанное уже по возвращении Пушкина в Москву:

«Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: две последние главы «Онегина», совсем готовые для печати; повесть, писанную октавами («Домик в Коломне»); несколько драматических сцен: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон-Жуан». Сверх того, я написал около тридцати мелких стихотворений. Еще не все: написал я прозою (весьма секретное!) пять повестей («Повести Белкина»)»[7].

Мы имеем другое письмо Пушкина к барону Дельвигу с выражением, может быть, сильнейшего довольства самим собою. Писано оно 4 ноября из Болдина и дополняет первое в отношении известий о литературных его занятиях:

«Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочною, по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов[8]. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна и что коли твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, холерой именуемого и занесенного нам крестовыми воинами, т. е. бурлаками, то в замке твоем, «Литературной газете», песни трубадуров не умолкнут круглый год. Я, душа моя, написал пропасть полемических статей, но не получал журналов, *отстал от века* и не знаю, в чем дело. Отец мне ничего про тебя не

пишет, а это беспокоит меня, ибо я все-таки его сын, т. е. мнителен и хандрлив (каково словечко?). Скажи Плетневу, что он расцеловал бы меня, видя мое осеннее прилежание. Прощай, душа моя; на другой почте я, может быть, еще что-нибудь тебе пришлю. 4 ноября. *P. S.* Я живу в деревне, как в острове, окруженный карантинами. Жду погоды, чтоб жениться и добраться до Петербурга, но я об этом не смею еще подумать».

В перечете своих произведений Пушкин пропустил только «Летопись села Горохина»[9] и едва намекнул на весь тот перебор журнальных мнений, который содержит собственное его воззрение на них и так необходим для понимания литературного образа мыслей поэта. Вскользь упомянул он и о мелких стихотворениях, но некоторые из них сами по себе представляют большие поэмы по внутреннему содержанию своему. Деятельность, поистине удивляющая разнообразием мыслей, тонов, красок и приемов своих!

Нам предстоит еще объяснить и дополнить ее подробностями из черновых рукописей Пушкина. Начинаем с драм:

«Скупой», «Моцарт и Сальери», «Дон-Жуан» принадлежат к ряду небольших, но удивительно изящных по форме и необычайно живых по содержанию драм, которых у Пушкина было гораздо более, чем сколько напечатано. Мы имеем несомненное доказательство тому. На оборотной странице стихотворения «Под небом сладостным Италии своей...»[10] мы нашли перечет всех драм, написанных им, из которых только половина нам известна; другая или была истреблена автором, или изложена вчерне и затеряна потом. Пушкин никогда не делал перечета произведениям, еще не существующим. Любопытный реестр, о котором говорим, написан карандашом рукой Пушкина и здесь представляется читателям:

«Скупой.
Ромул и Рем.
Моцарт и Сальери.
Дон-Жуан.
. . . .
Берольд Савойский.
. . . .
Влюбленный бес.
Дмитрий и Марина.
Курбский»[11].

К реестру должна принадлежать и одна переводная сцена «Пир во время чумы» (четвертая сцена 1-го акта Уильсоновой трехактной драмы «The City of the Plague»*, но и тут песня

* «Чумный город» *(англ.)*. — *Ред.*

Мери и песня президента принадлежат Пушкину, который покидает своего автора еще до окончания сцены его. У английского поэта Мери поет длинную песню на шотландском наречии, не имеющую ничего общего с простодушной и сердцераздирающей песней, вложенной Пушкиным в ее уста. Неизмеримая разница в талантах и крепости поэтического гения между обоими авторами открывается особенно в песне президента. Уильсон начинает ее описаниями двух кораблей, сражающихся на море, и двух армий, бьющихся на земле, бедствия и страсти которых противополагаются ощущениям заразы. Ни одного признака подобного *придумыванья* мотивов и искусственного распространения их у Пушкина. Свободно и сильно вылетает лирическая песнь его, полная отваги, без применений и исканий по сторонам, хотя и сберегает некоторые черты подлинника*:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане...

Это единственная переводная сцена Пушкина. Что касается до другой, то она требует особенного пояснения. Пушкин, как известно, приписывал и «Скупого», как прежде называлась драма, Ченстону и указал на трагедию «The caveteous Knigth**»[12] как на первую мысль своего произведения, но до сих пор все справки наши для отыскания этого источника остались безуспешны. В списке предшественников и современников Шекспира на драматическом поприще, обыкновенно прилагаемом к полным изданиям творений его, в числе 39 имен не находится ни имени Ченстона, ни трагедии, ему приписываемой Пушкиным. В конце 17 столетия после перерыва, произведенного Реформацией, являются опять в Англии трагики шекспировской школы, но между именами Драйдена, Роу, Конгрева, Отвая etc. напрасно стали бы искать имени и трагедии Ченстона. С Адиссона наступает подражание французским классикам, и об этом периоде английской словесности говорить нечего. Точно такое же молчание в отношение Ченстона сохраняют и все диксионеры: «Conversations Lexicon», «Biographie universelle» и проч.***.

---

* Любопытные могут поверить наши слова в сборнике, изданном в Париже в 1829 году под названием «The poetical works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall».

** «Скупой рыцарь» *(англ.). — Ред.*

*** В английской литературе есть имя, похожее на имя, выдуманное Пушкиным — это Шенстон (Shenstone), автор довольно приторных идиллий, живший в прошлом столетии. Лучшим его произведением, и весьма справедливо, считается пьеса, под названием «Школьная учительница» (The schoolmistress).

Сам Пушкин в бумагах своих никогда не обозначал драму свою как перевод, между тем как «Пир во время чумы» он постоянно называет по-английски в сокращенном виде: «The Plague». Немаловажно для разъяснения дела и то, что Пушкин сочинял, придумывал название Ченстоновой трагедии, чего, разумеется, не могло бы случиться, если бы трагедия действительно существовала. Так, он написал на заглавном листе после титла «Скупой» и эпиграфа из Державина, следующую фразу в скобках: «The cavetous Knight» без имени Ченстона. Не довольствуясь этим, он зачеркнул прилагательное «cavetous», однако ж при печатании драмы в «Современнике» 1836 г. (том первый) прилагательное снова очутилось, но с другим правописанием «The caveteous Knigth». Всего этого, разумеется, не могло бы случиться, если бы нужно было только списать просто заглавие подлинника. Тогда же явилось и имя Ченстона, да и самый «Скупой» сделался уже «Скупой рыцарь». Такого рода проба заглавия указывает на соображение и придумывание источника уже после создания, особенно когда вспомним, что рукопись наша, помеченная числом «23 октября 1830, Болдино», есть последняя перебеленная рукопись, с которой драма уже печаталась в журнале. Причину, понудившую Пушкина отстранить от себя честь первой идеи, должно искать, как мы слышали, в боязни применений и неосновательных толков, что у него часто было поводом к неизъяснимому потворству толпе, которую с другой стороны он так много презирал в стихах своих...[13] Мы уже видели несколько примеров подобной суеверной робости в литературных его произведениях. Вот еще новые: «Рославлева» своего, написанного просто из негодования на вялую передачу г-м Загоскиным происшествия, весьма живого и романического в самом себе, он назвал: «Отрывок из записок одной дамы» и еще прибавил: «С французского» (см. «Современник» 1836 года, том III)[14]; к известной, прекрасной своей пьесе «Цыганы» («Над лесистыми брегами»...) сделал также указание «с английского», хотя она принадлежит к поэтическим воспоминаниям из его собственной жизни. Мы имеем одно неизданное стихотворение Пушкина, где объясняется его манера произвольных указаний очень ясно и наивно. Сверху пьесы своей Пушкин написал сперва: «Из Alfred Musset», а потом заменил это другим указанием: «Из VI Пиндемонте»[15], но стихотворение все-таки не имеет ничего общего с обоими выбранными и столь противоположными между собой авторами*.

---

* Для окончательного объяснения дела, мы сносились посредством одного из наших знакомых[16] с издателями «Athaenaeum» в Англии, прося у них сведений о загадочном Ченстоне. Ответ был таков вкратце: «Ваш великий поэт подшутил над своей публикой, сославшись на небывалого в Англии писателя».

«Моцарт и Сальери» явился в альманахе «Северные цветы» на 1832, с пометкой «26 октября 1830», однако же без обманчивой ссылки на источник, хотя это была еще первая драматическая сцена Пушкина, с которой знакомилась публика, если исключим «Новую сцену к Фаусту», напечатанную прежде («Московский вестник», 1828 г.). Клочок бумажки, оторванный от частной и совершенно незначительной записки, сохранил несколько слов Пушкина, касающихся до сцены. Любопытно видеть, на каком незначительном основании создан был этот превосходный драматический отрывок:

«В первое представление «Дон-Жуана», — пишет Пушкин, — в то время, когда весь театр безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист: все обратились с изумлением и негодованием, а знаменитый Сальери вышел из залы в бешенстве, снедаемый завистью.

Сальери умер лет 8 тому назад*. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении, в отравлении великого Моцарта.

Завистник, который мог освистать «Дон-Жуана», мог отравить его творца»[17].

Слова эти, может быть, начертаны в виде возражения тем из друзей его, которые беспокоились насчет поклепа, взведенного на Сальери в новой пьесе**. Только этим обстоятельством можно объяснить резкий приговор Пушкина о Сальери, не выдерживающий ни малейшей критики. Вероятно, к спору, тогда возникшему, должно относиться и шуточное замечание Пушкина: «Зависть — сестра соревнования, стало быть, из хорошего роду»[19]. Не входя теперь в разбор вопроса о степени предположений, дозволенных автору при выводе исторического лица, скажем, что если со стороны Пушкина было какое-либо преступление перед Сальери, то преступления такого рода совершаются беспрестанно и самыми великими драматическими писателями. Так, Елизавету Английскую сделали типом женской ревности и преимущественно одной этой страстью объясняли погибель Марии Стюарт, едва упоминая о всех других поводах к тому. Если тут есть порок, то он уже скрывается в сущности исторической драмы вообще, которая, взяв лицо из истории или из действительной жизни, принуждена заниматься развитием только одной основной черты его характера и пренебречь всем прочим. Пушкин, как будто чувствуя это, колебался в выборе заглавия для своей пьесы. Первоначально он назвал ее просто «Зависть», словно желая отстранить или ослабить историчес-

---

* В 1825 году 7 мая. (Из «Conversations L⟨exicon⟩»).

** К числу их принадлежал, напр., П. А. Катенин. В записке своей он смотрит на драму Пушкина с чисто юридической стороны. Она производила на него точно такое же впечатление, какое производит красноречивый и искусный адвокат, поддерживающий несправедливое обвинение[18].

кую проверку лиц, в ней действующих. Вероятно, поняв бесполезность уловки, он дал уже ей настоящее ее заглавие «Моцарт и Сальери».

Почти несомненно, что «Каменный гость» или «Дон Гуан», по правописанию Пушкина, употребленному только в этот раз, был выведен на свет мыслию о Моцарте, с именем которого так неразлучно он связан[20]. Драма эта окончена Пушкиным в Болдине 4-го ноября 1830, а не 1836 года, как указано прежними издателями, что произошло от ошибочного чтения последней цифры. В 1836 году Пушкин не был в Болдине. Между прочим, в посмертном издании его сочинений пропущена одна строфа из монолога Дон Гуана, находящаяся как в рукописи Пушкина, так и в альманахе книгопродавца Смирдина 1839 года «Сто русских литераторов», где драма впервые была напечатана уже два года спустя после смерти ее автора. Дальнейшие замечания о различных редакциях этого произведения читатель найдет в наших примечаниях к нему. Что касается до самой драмы, то, по правилу, принятому нами, мы удерживаемся от оценки и разбора ее, но не можем не сказать, что глубокое, поэтическое проникновение автора в жизнь и нравы Испании затемнило в глазах читателей других понятий и другого неба существенную часть ее красоты. Быстрый переход Доны Анны от недоверчивости к забвению своего долга и к примирению, притворная любовь героя, еще выражающаяся мелодическим, увлекательным языком истинной страсти, — все это было ново. Пушкин видел в Дон Гуане почти то же, что Моцарт: гениального человека, обратившего только все свои дары в одну сторону, Рафаэля любви и нежных связей, если смеем так выразиться. Изящный, вкрадчивый и вдохновенный в минуты исканий и замыслов своих, Дон Гуан Пушкина принадлежит ему одному и ничего общего с другими созданиями, известными под этим именем, не имеет.

Читатель уже заметил, что «Скупой рыцарь» носит пометку «23-го октября 1830 года», «Моцарт и Сальери» — «26-го октября 1830», «Каменный гость» — «4-го ноября 1830 года». Все это не более как пометки, означающие время окончательного исправления рукописей и нисколько не указывающие настоящей эпохи создания. Иначе приходилось бы три дня труда для «Моцарта», восемь дней для «Каменного гостя», что, при известном, долгом осмотре своих произведений у Пушкина, допустить нельзя. Время настоящего создания могли бы только указать черновые рукописи его, но их нет в бумагах поэта, а сохранились одни уже перебеленные копии их. Таким образом, мы имеем ключ для пояснения многообразной производительности Пушкина в Болдине, которая без того была бы непонятна. Некоторые части драм, статься может, написаны были им вчерне ранее 1830 года; к болдин-

скому пребыванию относится только их окончательное исправление. С полным убеждением можно, по крайней мере, утверждать, что план и содержание их заготовлены прежде и на долю осени 1830 года приходится только их художественное исполнение. Самый реестр драм, недавно приведенный нами, кажется, составлен не только ранее 1830, но даже ранее 1829 года. В нем пропущен один драматический отрывок «Русалка», вероятно потому, что не было и мысли о нем, но первые стихи, первые зачатки «Русалки» мы нашли в тетрадях поэта, принадлежащих к 1829 году. Так, самый реестр, по нашему мнению, должен предшествовать этому году и, тем правдоподобнее становится это заключение, что мысль о «Димитрии и Марине» и о «Курбском» должна была занимать Пушкина вскоре после «Бориса Годунова». Все это не покажется странным, если мы вспомним, что Пушкин признал в себе драматический талант еще с «Цыган». Он говорил друзьям своим, что после «Цыган» ему самому вдруг открылась новая дорога, о которой он и не помышлял прежде. Цепь драм, созданных им с 1825 по 1830 год, была естественным результатом этого вдохновенного открытия, и ограничивать ее одним годом нет уже никакой возможности.

С 1831 г. являются у Пушкина признаки другого направления. Драма была уже пережита, и ее место мало-помалу начинает заступать эпопея, на что укажем еще в своем месте, но драмы Пушкина остаются по-прежнему одним из многих прав его на нашу благодарность. В каждой из них заключена основная поэтическая мысль, к которой стремятся, как к путеводной звезде, все сцены и лучи которой проникают все частности, мысли и заметки произведения. Простая, весьма несложная постройка их обдумана изумительно и составляет особенное наслаждение для тех, которые умеют наслаждаться *планами* сочинений, так высоко ценимыми и самим Пушкиным. В 1830 году он думал собрать драматические отрывки и издать их отдельной книжкой. Он уже приготовлял заглавный листок для них, разукрашенный, по известному его обыкновению разрисовывать свои рукописи, изображением рыцаря в доспехах и головы пожилого мужчины. На листке этом мы читаем слова, которыми Пушкин приноровлялся к оглавлению и, так сказать, пробовал его: «Драматические сцены», «Драматические очерки», «Драматические изучения», «Опыт драматических изучений». Невольно представляется вопрос: как было бы принято тогда неожиданное появление драм Пушкина вполне, если бы намерение его состоялось?

Переходим к тем сценам или отрывкам реестра нашего, которые утеряны для нас, чему, может статься, причиною был и сам Пушкин. Нельзя не подумать, что он сам истребил опыты, которыми был недоволен, выбрав в Болдине для

окончательной отделки только такие, которые удовлетворяли собственному его взыскательному чувству. Остается сказать немного по поводу этих уже не существующих произведений. Заметим, например, что между заглавиями их встречается одно необъяснимое «Берольд» или «Беральд Савойский». Имя это нам совершенно незнакомо. Предоставляем людям, более нас опытным, и библиофилам, объяснить его, что напрасно старались сделать мы сами, и пока остаемся при мнении, что герой предполагавшейся сцены — лицо выдуманное[21]. Проект написать драматическую сцену «Димитрий и Марина» был уже известен и до открытия списка драм. Вспомним обещание, изложенное Пушкиным во французских письмах 1829 года по поводу «Годунова»: там он говорит, что намерен еще возвратиться к обеим этим личностям, которые сильно занимали тогда его воображение. Весьма жалко, что при имени Курбского Пушкин не объяснил, которого Курбского имел он в виду: исторического ли изгнанника или того молодого красавца, который является в хронике «Борис Годунов», и с европейским образованием, с западным воспитанием своим, должен был составлять лицо трагическое в настоящем своем отечестве. Вот все, что можно заметить по поводу неизвестных драм Пушкина.

Драмы были настоящим высоким трудом этой осени; а отдохновением поэта можно считать «Повести Белкина», «Летопись села Горохина», «Домик в Коломне», написанные в то же время. «Повести Белкина» должно разбирать теперь только со стороны слога, изложения, а не содержания, которое от качеств того и другого заимствовало все свое значение. Так понимал их и сам автор. Тонкая ирония, лукавый и вместе добродушный юмор их, простота языка и средств, употребляемых автором для сцепления и развития происшествий, заслуживают и теперь внимания. Очерки и краски «Повестей Белкина» чрезвычайно нежны, и после яркой живописи Гоголя надо уже внимание и зоркость любителя, чтоб оценить их по достоинству. В «Летописи села Горохина», начатой 31-го октября, они заметно крепчают, особливо с перехода к рассказу о баснословной эпохе Горохина. Для нас эта, к сожалению, неконченная повесть еще замечательна и тем, что в ней поэт обратился к простой действительности и к быту, в котором прежде, да и потом, искал только родников поэзии и тайн живописного языка. Прозаическая сторона этого быта нашла в летописи Горохина, несмотря на веселый, насмешливый ее тон, истинное сочувствие, как и должно было ожидать от человека с многосторонним умом и сердцем, но в повести особенно заметно, что автор осматривает свой предмет свысока, описывает его и глядит на него постоянно сверху вниз. Ирония его добродушна и благородна, но это еще не юмор, порождаемый тесною, родственной жизнию с

предметом. Читая изображение деревенского быта у Пушкина, невольно вспоминаешь превосходные строфы «Онегина», в которых с таким сожалением замечает поэт наш, что мысль его уже клонится к простым, непышным картинам, к действительности скромной и не мечущейся в глаза:

Иные нужны мне картины,
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор *и проч.*

С каким горьким чувством подметил он, что быт, далеко противоположный поэзии Байрона и Шенье, тянет его к себе неведомой силой:

Порой дождливою намедни
Я завернул на скотный двор...
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор!
Таков ли был я, расцветая?
Скажи, фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Зарему я воображал...[28]

То же самое чувство, по нашему мнению, сквозит и в самой веселости Пушкина, когда чертит он картины, подходящие к пестрому сору фламандской школы. Мы полагаем даже, что тайное раскаяние поэта и особенно опасение злых сближений, были причинами, почему «Летопись села Горохина», пренебреженная и забытая самим автором, явилась уже после смерти его в том неоконченном виде, какой знаем*. Нельзя не пожалеть искренно об этом обстоятельстве. По довольно запутанной программе ее, которую затем и не прилагаем, видно, что Пушкин хотел заставить владетеля Горохина, г. Белкина, рассказать жизнь и хозяйство своего прадеда, деда и отца. Всем известно, как дорожил Пушкин известиями о нравах и быте старины, с какой любовью и вниманием собирал черты для характеристики прошлых времен и как мастерски воспроизводил их. Пренебрежение, в котором оставил он свою «Летопись», лишило нас, вероятно, и тут, как во многих других случаях, нескольких мастерских страниц, которые являлись у него тотчас, как переходил он на почву исторического романа. Ранее своей «Летописи» и «Повестей Белкина» Пушкин написал еще стихотворную повесть «Домик в Коломне», которая кончена в Болдине 9-го октября. Каждый день октября месяца, по-видимому, преисполнен

---

* «Летопись Села Горохина» напечатана впервые в 1837 году («Современник», том VII).

был неистощимого вдохновения. «Домик в Коломне», впрочем, начат был еще в предшествующем году[23], а напечатан в альманахе «Новоселье» (1833 г.) с выпуском 13-ти октав*. Над этими выброшенными строфами Пушкин надписал в рукописи: «Сии октавы служили вступлением к шуточной поэме, уже уничтоженной». Из этих слов можно заключить, что он хотел поделиться ими с публикой, но обязанность эта уже выпала на нашу долю**. В них Пушкин представляется нам с новой стороны. Не заботясь о достижении художнической цели, он отдается вполне течению мыслей и перу своему, но какая тонина и беззлобивость шутки, какой превосходный нравственный профиль прикрыты этой сетью октав, едва набросанных, и как они светятся в этом стихе нараспашку! Тот же характер отражается и в самой повести. Когда в сокращенном виде напечатана она была в «Новоселье» 1833 года, то почти всеми принята была за признак конечного падения нашего поэта. Даже в обществах старались не упоминать об ней в присутствии автора, щадя его самолюбие и покрывая снисхождением печальный факт преждевременной потери таланта. Пушкин все это видел, но уже не сердился и молчал. Толки и мнения он предоставил тогда собственной их участи — поверке и действию времени.

ГЛАВА XXIV

Продолжение того же. Болдино 1830 г. Пересмотр полемических статей журналов: Заметки Пушкина на критики его сочинений. — Возражения, собранные в его «Записках». — Заметки Пушкина по поводу упреков в бесчинности и неприличии его сочинений. — Слова его об этом предмете. — Слова его по поводу первых произведений Альфреда де Мюссе. — Замечания Пушкина о современной французской литературе, о Беранже, Ламартине, Сент-Беве. —Признание Пушкина, что критические статьи журналов волновали его. — Из филологических опровержений Пушкин воспользовался пятью указаниями.

В 1830 году он решился на досуге, в деревне, пересмотреть все, что о нем было писано в журналах наших литературного и нелитературного. Плодом этого занятия остались те заметки, которые в посмертном издании его сочинений напечатаны под рубрикой «Отрывки из записок Пушкина»[1], и притом напечатаны довольно беспорядочно: оглавления

---

* Первая мысль об этом стихотворении должна быть отнесена даже ко времени прибытия автора из Царского Села в Петербург тотчас по выпуске из лицея. Он тогда жил действительно у Покрова, в соседстве той пышной красавицы, которая, как он выразился в стихотворении,

Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!)[24].

** См. Приложение VII к «Материалам»[25].

статей вошли там в текст, заметки о двух разных предметах сбиты вместе, собственные имена перепутаны и проч. Приведенные в некоторый хронологический порядок и проверенные с рукописями, заметки эти составляют теперь довольно любопытную картину современных толков и мнений и драгоценны как материал для истории литературы и как материал для биографии. Правда, они далеко еще не исчерпали всего, что произвела отечественная критика в отношении произведений нашего поэта, оставив без внимания самый любопытный отдел ее: поводы и причины ее восторга при первых опытах его. Пушкин обратил преимущественно внимание только на две яркие черты современной ему критики: филологические прицепки к словам и на требование *чинности*, преследовавшие его с самого вступления на литературное поприще. Мы говорим *чинности* — в отличие от *приличия*, которое есть первый долг каждого писателя и которому Пушкин с умыслом никогда не изменял, как только выходил перед публикой. Требования *чинности*, или, лучше, *чопорности*, начавшиеся с появления «Руслана и Людмилы», затем уже не умолкали: они не оставили в покое, как уже видели, самую «Полтаву» и не отступили даже перед «Борисом Годуновым». В одном из довольно дельных разборов «Бориса Годунова», которому только вредит его противоэстетическая форма (см. журнал «Телескоп», 1831, часть I, критика, стр. 571), сцена свидания Самозванца с Мариной еще найдена неприличной[2]. *«Возрастающее безумие Самозванца и возрастающая наглость Марины»* выводят критика из терпения, который восклицает наконец: «Ну на что это похоже?» и проч. Около 1830 года легкая ежедневная рецензия уже почти только и производилась во имя *дам высшего круга*, *молодых людей* и проч., но это была только уловка полемики, потому что никаких основательных поводов к защите их не было и не могло быть, особенно у Пушкина. В своем широком, ясном и благородном творчестве он был доступен всем чтецам и вот что писал в том же 1830 году: «Хорошее общество может существовать не в одном кругу, а везде, где есть люди честные, умные и образованные. Жеманство и напыщенность более оскорбляют, чем простонародность. Откровенные, оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха, между тем как чопорные обиняки провинциальной вежливости возбудили бы общую улыбку. Не забавно ли видеть наших опекунов высшего общества?»[3] В словах этих, извлеченных из неконченной полемической статьи, хорошо виден человек, поражавший соединением гениальности с простотой характера, обращения и языка.

В 1830 году Пушкин встретил первые произведения Альфреда де Мюссе с особенным участием. Находя возможность

сказать по поводу французского автора несколько слов о своих отношениях к тогдашней полемике, он написал в Болдине следующие строки, с которыми, конечно, нельзя согласиться во всем. Они порождены досадою на журнальные придирки и принадлежат скорее к плану косвенного отражения их, чем к настоящему обсуждению предмета, но и в этом виде еще земечательны: «Между тем как сладкозвучный, но однообразный Ламартин готовил новые благочестивые размышления под заслуженным названием «Harmonies réligieuses»*; между тем как важный Victor Hugo издавал свои блестящие, хотя и натянутые «Восточные стихотворения» (Les Orientales); между тем как бедный скептик Делорм воскресал в виде исправляющегося неофита, и строгость приличий была объявлена в приказе по всей французской литературе, вдруг явился молодой поэт с книжечкой сказок и песен и произвел *недоумение*... Как приняли молодого проказника? За него страшно. Кажется, видишь негодование журналов и все ферулы, поднятые на него. Ничуть не бывало. Откровенная шалость любезного повесы так изумила, так понравилась, что критика не только его не побранила, но еще сама взялась его оправдать, объявила, что можно описывать разбойников и убийц, даже не имея целью объяснить, сколь непохвально это ремесло, — и быть добрым и честным человеком, что, вероятно, семейство его, читая его стихи, не станет разделять ужаса некоторых и видеть в нем изверга, что, одним словом, поэзия — вымысел и ничего с прозаической истиной жизни общего не имеет. Давно бы так мм. гг.»**[4].

---

* «Религиозные гармонии» *(франц.)*. — *Ред.*

** Пушкин еще продолжает в отрывке разбор сочинений Альфреда де Мюссе: «Итальянские и испанские сказки Мюссе отличаются живостию необыкновенной. Из них «Portia» («Порция» *(франц.)*. — *Ред.*), кажется, имеет более всего достоинства: сцена ночного свидания, картина ревнивца, поседевшего вдруг, разговор двух любовников на море — всё это прелесть. Драматический очерк «Les marrons du feu» («Каштаны с жару» *(франц.)*. — *Ред.)* обещает Франции романтического трагика. А в повести «Mardoche» («Мардош» *(франц.)*. — *Ред.*) Musset, первый из французских поэтов, умел схватить тон Байрона в его шуточных произведениях, что вовсе не шутка. Если мы будем понимать слова Горация «Difficile est proprié communia dicere» («Трудно хорошо выразить общие вещи» (*лат.*).—*Ред.*), как понял их английский поэт в эпиграфе к «Дон Жуану»[5], то мы согласимся с его мнением: *трудно прилично выражать обыкновенные предметы.* «Communia» значит не *обыкновенные* предметы, но *общие всем.* (Дело идет о предметах трагических, всем известных, общих, в противоположность предметам вымышленным)»... Таким образом известный стих Горация в его послании к Пизону («Ars poet⟨ica⟩» («Искусство поэзии» *(лат.)*. — *Ред.*) выражает, по мнению Пушкина, не то, чтобы тяжело было говорить о маловажных предметах, а мысль, что тяжело говорить о предметах общеизвестных.

Кстати уже изложить здесь мнение поэта о современных писателях Франции вообще. С 1831 года становится в нем заметно нерасположение к представителям ее поэтической деятельности. «Всем известно, — пишет он около этого времени в виде программы для статьи, — что французы народ самый антипоэтический. Славнейшие представители сего остроумного и по-

Можно удивляться по прошествии уже довольно долгого промежутка времени тому, что неосновательная молва способна была так сильно занимать Пушкина, но при этом не следует упускать из вида пылкого, сангвинического характера его, на который горько и глубоко ложились все жизненные, даже ничтожные, противоречия. С удивительным добродушием выразил он сам эту способность принимать к сердцу и такие стрелы, которые не должны были бы, по-видимому, касаться его. «Будучи русским писателем, — говорил он, — я всегда почитал долгом следовать за текущей литературой и всегда читал с особенным вниманием критики, коим подавал я повод. Чистосердечно признаюсь, что похвалы трогали меня как явные и, вероятно, искренние знаки благосклонности и дружелюбия. Читая разборы самые неприязненные, смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего противника и следовать за его суждениями, не отвергая оных с самолюбивым нетерпением. К несчастию, замечал я, что по большей части мы друг друга не понимали. Что касается до критических статей, написанных с одною целию оскорбить меня каким бы то ни было образом, скажу только, что они очень сердили меня, по крайней мере, в первые минуты, и что, следственно, сочинители оных могут быть довольны, *удостоверясь, что труды их не пропали*»[11]. Еще сильнее и, может быть, еще добродушнее выразилось это качество приимчивого и необычайно чувствительного сердца

ложительного народа — Монтань, Монтескье, Вольтер — доказали это. Монтань, путешествовавший по Италии, не упоминает ни о Микель-Анджело, ни о Рафаэле; Монтескье смеется над Гомером; Вольтер, кроме Расина и Горация, кажется, не понял ни одного поэта... Если обратим внимание на критические результаты, обращающиеся в народе и принятые за литературные аксиомы, то мы изумимся их бедности...»[6] По статье Пушкина «О Мильтоне» мы уже знаем его мнение о Викторе Гюго и об Альфреде де Виньи. Вот что писал он о Ламартине: «Ламартин скучнее Юнга и не имеет его глубины. Не знаю, признались ли они в тощем однообразии, в вялой бесцветности своего Ламартина, но тому лет 10 его ставили наравне с Байроном и Шекспиром»[7]. Всего замечательнее, что Пушкин не признавал поэтом и Беранже, по причине весьма характеристической. Он ставил в упрек веселому и остроумному песеннику, произведения которого ценил ниже «прелестных шалостей Коле», особенно то обстоятельство, что «не имеет ничего страстного, вдохновенного»[8]. Присутствие этих качеств было так важно в глазах Пушкина, что, предполагая их в Делорме, он считал произведение С⟨ент⟩-Бева чуть ли не самым замечательным явлением во французской литературе после сочинений Мюссе[9]. Черта, много объясняющая и самого Пушкина как писателя. Кстати сказать, «Литературная газета» 1830 и 1831 года заключает две статьи, подписанные буквою «Р», какой были подписаны впоследствии «Скупой рыцарь» Пушкина и «Пиковая дама». Первая статья есть разбор «Истории русского народа» г. Полевого («Литер⟨атурная⟩ газ⟨ета⟩», 1830, № 4). Вторая есть рецензия произведений С⟨ент⟩-Бева» Vie, poésies et pensées de Delorme» («Жизнь, стихотворения и мысли Делорма» *(франц.). — Ред.*) и «Les Consolations» («Утешения» *(франц.). — Ред.*) («Литер⟨атурная⟩ газ⟨ета⟩», 1831, № 32). Мы не приписываем их Пушкину, не имея для этого никаких данных, но находим в них сходство с его образом мыслей[10].

в следующей откровенной заметке: «В одной газете объявили, что я собою весьма неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, *хотя она меня глубоко тронула*»[12]. И наконец общую мысль всех напечатанных его заметок, которыми теперь занимаемся и в которых читатель должен особенно заметить отсутствие всякого раздражения и мелкой злобы, очень хорошо выражает эпиграф из Соутэ, каким хотел начать их Пушкин. Вот он: «Сколь ни удален я моими привычками и правилами от полемики всякого рода, но еще не отрекся я совершенно от права самозащищения. Southey»[13]. Прибавим, что заметки начаты в Болдине 2 октября, стало быть, вместе с рядом всех художественных произведений, написанных или доконченных в том же месяце.

В отношении филологических указаний и исследований критики Пушкин подвел им общий итог и благодарил за указание 5-ти грамматических ошибок в его сочинениях. Вся груда журнальных рассуждений, весьма любопытных, как мы видели уже из некоторых примеров, сводится, по мнению поэта, на эту скромную цифру и сам он в рукописи прилагает перечень своим недосмотрам: «1) *Остановлял взор на отдаленные громады*. 2) *На теме гор* вм⟨есто⟩ «темени». 3) *Воил* вм⟨есто⟩ «выл». 4) *Был отказан* вм⟨есто⟩ «ему отказали» и 5) *игумену* вм⟨есто⟩ «игумну»*[14]. Таков результат многих годов письма, многого шума и многих соображений тогдашней филологии: он все-таки значительнее того, что осталось после эстетической критики этого времени!

ГЛАВА XXV

Продолжение того же. Болдино 1830 г. Вопрос об аристократизме, связанный с воззре-

---

* В «Кавказском пленнике», в первом издании, находим стих:

Остановлял он долго взор
На отдаленные громады,

который заменен был впоследствии таким:

Вперял он неподвижный взор etc.

В стихотворении «Буря» попался странный стих «И ветер *воил* и летал», исправленный потом так: «И ветер *бился* и летал». В примечаниях к «Полтаве» была совершенно неправильная фраза: «*Мазепа сватал свою крестницу, но был отказан*». Посмертное издание исправило вторую половину фразы так: «но ему отказали», а первую оставило по-прежнему. При появлении сцены летописца из «Бориса Годунова» в «Московском вестнике» 1827 г. в ней был стих «*Он говорил игумену и братье*». Этот стих изменен Пушкиным в 1831 г., при полном издании хроники, в следующий: «*Он говорил игумну и всей братье*». Кстати об ошибках. Самая странная была сделана «Современником» 1837 года при передаче «Медного всадника». В примечаниях к нему у Пушкина было сказано, что описание памятника Петру Великому заимствовано было одним польским поэтом из Рубана. «Современник» 1837 г. напечатал: «из *Рыбака*», что не имело смысла. Так перешло и в посмертное издание сочинений Пушкина.

нием на историю: «Моя родословная». — Копия с письма Екатерины II к Ганнибалу. — «Родословная Пушкиных и Ганнибаловых», помещенная в «Записках» Пушкина. — Взгляд на Карамзина как выражение собственных его потребностей. — Отношение Пушкина к историческим трудам и исследованиям эпохи. — Причина высокого уважения к ученым трудам и историческим драмам Погодина. — Свидетельство того же в письме к Погодину о «Марфе Посаднице».

В одно время с заметками Пушкин составлял известную родословную своей фамилии и писал ту стихотворную повесть своего дома, о которой покойный библиофил Бессонов так верно говорил, что она, кажется, подслушана у истории. Пьеса эта, известная под названием «Моя родословная», отличается, по замечанию того же критика, спокойным, светлым состоянием духа, несмотря на обманчивые полемические приемы свои[1]. Действительно, первая ее мысль принадлежит проекту отражения какого-то намека, стало быть, бесплодным и темным отношениям эпохи, но в процессе творчества поэтический элемент одолел первое побуждение и совершенно уничтожил его в собственной своей мысли. Основная причина, породившая пьесу, до того пропадает из глаз, что поэту надо упоминать об ней отдельно от своей пьесы. Так он писал в Болдине: «Где-то сказано было, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник его (как видно из собственноручного письма Екатерины II), генерал-аншеф, отец Ганнибала, покорившего Наварин и проч., был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой, если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался он шкиперу, коего имя всякий русский произносит не всуе...»[2] На другом листке, носящем пометку «16 октября 1830 года, Болдино», он повторяет то же самое замечание в четверостишии, но в следующих за ним строфах совершенно освобождается от всякого полемического направления и переходит в область чистой поэзии:

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Корме родного корабля.

* * *

Сей шкипер деду был доступен.
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царя наперсник, а не раб.
И был отец он Ганнибала,

Пред кем, средь гибельных пучин,
Громада кораблей вспылала
И пал *впервые* Наварин!

Так и написана была вся эта пьеса, принадлежащая, по первому замыслу, к заносчивым спорам того времени, по исполнению — миру светлого искусства.

Здесь покидаем на несколько минут наш сбор биографических материалов, чтоб представить читателям любопытный документ, упоминаемый Пушкиным: копию с письма императрицы Екатерины II к А. П. Ганнибалу. Письмо, во-первых, объясняет значение Ганнибала как сподвижника Петра I-го и его отношения к великому преобразователю России, а во-вторых, само по себе принадлежит истории и, может быть, не всем известно. Копия найдена в бумагах Пушкина; мы не знаем, в чьих руках находится теперь подлинник его.

Копия с письма
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

«Абрамъ Петровичъ! Мнѣ не безъизвѣстно, что многіе чертежи въ сохраненіи вашемъ находилися, когда блаженныя памяти Государь Петръ Великій, по способности вашей, употреблялъ васъ по многимъ дѣламъ; почему я думаю, что вы, сохраняя память сего Великаго Государя и своей тогдашней при Немъ службы, сберегли въ своихъ рукахъ всѣ любопытства достойныя бумаги. А какъ мнѣ извѣстно же, что Онъ помышлялъ о строеніи канала отъ Москвы до Петербурха и ктому уже и проектъ здѣланъ былъ, то вы Мнѣ особливую благодарность здѣлаете, ежели, чертежъ тому отъискавъ (когда онъ у васъ былъ), пришлете ко Мнѣ со всѣми принадлежащими къ нему бумагами, хотя бы онъ въ чернѣ только былъ здѣланъ. Но ежели вы ничего о семъ дѣлѣ въ рукахъ своихъ не имѣли, то по крайней мѣрѣ укажите Мнѣ, гдѣ оный отъискать можно, который Я съ нетерпѣніемъ видѣть хочу.

собственноручно { Также естьли вы о семъ проектѣ отъ Его Величества разсужденіи слышали, прошу сколь вы о томъ вспомните, ко Мнѣ отписать. Остаюсь вамъ доброжелательная.
Екатерина
2-го сентября 1765 года. Царское Село»[3].

Отметка «собственноручно» и скобка при ней сделаны рукой А. С. Пушкина.

Возвращаемся к предмету нашему. От стихотворной пьесы «Моя родословная» к известной статье Пушкина в прозе, содержащей краткую повесть о Пушкиных и Ганнибаловых, переход был естествен, особливо у человека, который почти всякое исследование пояснял еще поэзией и наоборот. Мы уже знаем, что Пушкин уважал справедливую гордость

родом и происхождением везде, где она делается источником нравственного достоинства и сочувствия к прошлому своего отечества. Уважение к предкам считал он единственной платой, на какую имеют заслуженное право лица, исчезнувшие с земли. С другой стороны, Пушкин был весьма далек от мысли гордиться даже пороками своих предшественников, что иногда бывает от неправильного понимания достоинства истории и своего собственного. Это доказывается самой «Родословной Пушкиных и Ганнибаловых»[4], где так откровенно и просто рассказал он, без всякой утайки, все, что знал о ближайших своих предках. «Родословная» эта, под названием «Отрывки из дневника А. С. Пушкина», напечатана была впервые после смерти автора в «Сыне отечества» (1840, № 7), и некоторые ошибочные показания ее вынудили известное опровержение отца поэта, Сергея Львовича, опровержение, напечатанное в «Современнике» (1840, № 3). По изъявленному тогда Сергеем Львовичем убеждению в несправедливости некоторых анекдотов, касающихся Пушкиных и Ганнибаловых, они были выпущены при перепечатке статьи в посмертном издании 1838—41 года. Со всем тем «Родословная» остается образцом ясного взгляда на предмет и образцом мастерского исторического изложения нашего автора.

Здесь представляется возможность сказать несколько слов вообще об отношениях его к историческим исследованиям и трудам той эпохи.

По свойству своего ума и особенно по свойству своего таланта, преобладавшего над всеми другими способностями, Пушкин искал везде ясных образов и положительных результатов; отсюда его безграничное уважение к светлому труду Н. М. Карамзина и равнодушное отношение к критической школе, появившейся за ним. Кто знает, что Пушкин во всю свою жизнь никогда не был скептиком, тот поймет эту черту его жизни. Он не мог долго стоять на полпути и предпочитал всякое объяснение продолжительному недоумению спора и запутанности его. К Карамзину приведен он был и требованиями эстетического рода. Теперь уже ясно, что нет никакой возможности созидать образы из недосказанных намеков критики, неразрешенных определений и вообще из всего тяжелого, предуготовительного труда ее. Для поэта необходимо лицо, совсем обделанное или историей, или преданием: только тогда начинает он свою работу открытия в нем психических сторон, дополняющих и ту, и другое, и только тогда избегает он ошибки тех драм и романов, которые написаны с целью представить собственные соображения авторов на запутанные исторические темы. Таким образом, требования нравственной природы, практической по преимуществу, и требования таланта равно привели Пушкина к Карамзину. Ими же отчасти поясняются

и все прочие его предпочтения и наконец даже его ученые вражды*.

Пушкин высоко ценил труды известного историка нашего М. П. Погодина, с которым находился в дружеских сношениях. Уважение его к точному смыслу и к самой букве летописей было, в глазах Пушкина, ручательством за истину и достоверность выводов, хотя, с другой стороны, Александр Сергеевич любил спорить с ученым профессором о данных, представляемых летописями, толковать их по-своему и объяснять с своей точки зрения лица и происшествия. Как бы то ни было, но он писал ему, приглашая в 1834 году разделить с собой труды по сбору материалов для истории Петра Великого: «С вашей вдохновенной деятельностию, с вашей чистой добросовестностию — вы произведете такие чудеса, что мы и потомство наше будет за вас бога молить, как за Шлецера и Ломоносова»[6]. Исторические драмы заслуженного профессора нашего ценились им чрезвычайно высоко, почти наравне с его учеными трудами — и по одной и той же причине, имевшей в глазах Пушкина необыкновенную важность: они представляли характеры и лица, которых можно распознать и о которых потому судить можно; словом, существенность, которой он добивался во всяком произведении. Он писал к М. П. Погодину в 1832 году: «Мне сказывают, что вас где-то разбранили за «Посадницу», надеюсь, что это никакого влияния не будет иметь на ваши труды. Вспомните, что меня лет 10 сряду хвалили бог весть за что, а разругали за «Годунова» и «Полтаву». У нас критика ниже даже и публики, не только самой литературы, сердиться на нее можно, но доверять ей в чем бы то ни было — непростительная слабость. Ваша «Марфа», ваш «Петр» исполнены истинной драматической силы, и если когда-нибудь могут быть на сцене, то предрекаю вам такой народный успех, какого мы, холодные северные зрители Скрибовых водевилей и Дидлотовых балетов, и представить себе не можем»[7]. Драма г. Погодина «Марфа Посадница» была переслана автором ее в Болдино осенью 1830 по просьбе самого Пушкина, писавшего оттуда: «Из «Московских ведомостей», единственного журнала, доходящего до меня, вижу, любезный и почтенный М⟨ихаил⟩ П⟨етрович⟩, что вы не оставили матушки нашей[8]. Дважды порывался я к вам и опять *возвращался* на мой несносный островок, откуда простираю к вам руки и вопию гласом велиим: пошлите мне слово живое, ради бога... Никто мне ничего не пишет. Ради бога, отпишите мне в Лукояновский уезд, в село Абрамово, для пересылки в село Болдино. Если

---

* Нелишним будет упомянуть здесь, что заметка о II томе «Истории русского народа» г. Полевого[5], приведенная нами выше, написана тоже осенью 1830 года в Болдине.

притом пришлете мне вечевую свою трагедию, то вы будете мне благодетелем, истинным благодетелем: я бы на досуге вас раскритиковал, а то ничего не делаю»*[9]. Пушкин не раскритиковал трагедию, но написал разбор ее, впервые напечатанный по смерти его в «Москвитянине» (1842, § 10), он очень любопытен как образец понимания Пушкиным приличий и эффектов русской драмы. За разбор «Марфы Посадницы» он взялся чрезвычайно серьезно и хотел предпослать ему полную теорию драмы — почти то же, что предполагал он сделать для собственного «Бориса Годунова». Из заметок его, набросанных для будущей статьи, составилась та статейка о драме, о которой мы уже упоминали. В рукописи она кончается словами: «Но перед нами лежит опыт народной драмы...» — т. е. «Марфа Посадница» г. Погодина.

Имя «Бориса Годунова» напоминает, что в печатных литературных заметках Пушкина находятся эти слова: «Вероятно, трагедия моя не будет иметь никакого успеха. Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не имею главной привлекательности: молодости и новизны литературного имени. К тому же главные сцены уже напечатаны или искажены в подражаниях»[11]. Слова эти требуют пояснения. Когда писались они осенью в Болдине, трагедия Пушкина

---

* Оба отрывка эти извлечены из переписки Пушкина с М. П. Погодиным, о которой уже было говорено. Вот в дополнение к ним еще третий, где восторг Пушкина после чтения «Марфы» доходит до необыкновенных размеров: «Я было опять к вам попытался; доехал до первого карантина, но на заставе смотритель протурил назад в Болдино. Как быть! В утешение нашел я ваше письмо и «Марфу» и прочел ее два раза духом. Ура!.. Я было, признаюсь, боялся, чтоб первое впечатление не ослабело потом; но нет — я всетаки при том же мнении: «Марфа» имеет европейское, высокое достоинство. Я разберу ее как можно пространнее. Это будет для меня изучение и наслаждение. Одна беда — слог и язык. Вы неправильны до бесконечности. Ошибок грамматических, противных духу его, усечений, сокращений — тьма. Но знаете ли? И это беда не беда. Языку нашему надобно дать воли более. Разумеется, сообразно с духом его. И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность. Не посылаю вам замечаний... Покамест скажу вам, что антидраматическим показалось мне только одно место: разговор Борецкого с Иоанном. Иоанн не сохраняет величия (не в образе речи, но в отношении к предателю). Борецкий (хотя и новгородец) с ним слишком запанибрата; так торговаться мог бы он разве с боярином Иоанна, а не с ним самим... Вы принуждены были даже заставить его изъясняться слогом, несколько надутым. Вот главная критика моя... О слоге упомяну я вкратце... Для вас же пришлю я подробную критику надстрочную... Что за прелесть сцена послов! Как вы поняли русскую дипломатику! А вече? А Посадник? А князь Шуйский? А князья удельные? Я вам говорю, что это все достоинства Шекспировского»[10].

Кроме причины, указанной выше, восторг Пушкина еще поясняется и действием, какое производили на него сочинения, отличавшиеся живою страстию, пафосом. Такова была и трагедия г. Погодина. Участие личных отношений в суждении людей, столь впечатлительных, каков был вообще Пушкин, тоже не должно быть забыто. Отвлеченная критика, почти всегда выпускающая из вида это обстоятельство, тем самым и лишена возможности оценить правильно образ мыслей писателя.

печаталась в Петербурге и вышла в свет 1-го января 1831 года[12], без предисловия, которое замышлял он присоединить к ней, и даже без обозначения: трагедия ли это, драма или хроника. Заглавный лист носит только имя: «Борис Годунов» и после пометки места печатания, года и типографии, слова: «С дозволения начальства». «Борис Годунов» вышел при всеобщем молчании. Общественное мнение, никем не направляемое, притихло. Лучший современный разбор «Бориса Годунова», как уже мы сказали, в «Телескопе» 1831 года, принадлежал перу старого противника Пушкина, критика, разбиравшего «Графа Нулина» и «Полтаву» в «Вестнике Европы», и действительно произвел некоторое впечатление тем, что прежний хулитель обратился, с некоторыми оговорками, в поклонника его, между тем как всегдашние поклонники Пушкина мало-помалу отходили от него и скрывались*.

ГЛАВА XXVI

Продолжение того же. Болдино 1830 г. Отдельные стихотворения: «Паж, или 15⟨й⟩ год»; «Безумных лет угасшее веселье...»; «Разлука»; «Расставанье»; «Мадонна»; «Каприз»; «Бесы». — «Осень», четыре последние строфы «Онегина», «Труд». — Появление нового рода произведений с характером спокойно-поэтических рассказов. — Первый образец: «Странник», «Подражания Данту». — Дальнейшее развитие эпического направления, стихотвор<ения> «Полководец», «Он между нами жил...», «С Гомером долго ты беседовал один...», начало поэмы «Стамбул гяуры нынче славят...». — Что значило у Пушкина заимствовать и подражать. — «Пью за здравие Мери...»; «Я здесь, Инезилья...»; значение этих заимствований. — Заметка об отношениях Пушкина к Шенье. — Еще образец подражания: «Как с древа сорвался...». — О других подражаниях. — Конец деятельности Пушкина в Болдине.

Переходим к отдельным стихотворениям.

«В замке твоем, «Литературной газете», песни трубадуров не умолкнут круглый год»[1], — пишет Пушкин другу своему, с чувством гордости указывая на вдохновенную деятельность

---

* Впрочем, это относится только к литературным мнениям. Материальная сторона предмета не испытала ущерба. «Борис Годунов» раскупался хорошо — может быть, по причине любопытства, возбужденного долгим его ожиданием. Почти в самый месяц его выхода Пушкин был в Москве и сказал в одной частной записке: «Мне пишут из Петербурга, что «Годунов» имел успех. Вот еще для меня диковинка!»[13]. Через полгода один из друзей, заведовавший его литературными доходами, писал Пушкину в Царское Село (от 25 июля 1831 года), что за «Бориса» выручено 10 000 р. ассигн.[14]. Наконец, мы находим в «Литературной газете» (1831, том III, № 1), в «смеси», следующие слова: «Бориса Годунова» соч. А. С. Пушкина в первое утро раскуплено было, по показаниям здешних книгопродавцев, до 400 экземпляров. Это доказывает, что неприветливые журналисты напрасно винят нашу публику за равнодушие к истинно хорошему в нашей литературе и вообще ко всему отечественному».

свою в деревне. И действительно, в это время перепробовал он множество разнообразнейших тонов своей лиры. Глядя на изобилие мотивов в стихотворениях, принадлежащих к его осенней болдинской жизни, на беспрестанную перемену метров их, на чудные переходы к самым противоположным мыслям и настроениям поэтического духа, кажется, видишь художника, безгранично предающегося в уединении многосложной импровизации своей. Тут есть даже аккорд, напоминающий Альфреда де Мюссе[2], как, например, в неконченном стихотворении «Паж, или Пятнадцатый год», названном в посмертном издании «Паж, или 15-тилетний король». Затем являются его песни, исполненные глубокого и вместе бодрого чувства, как «Безумных лет угасшее веселье...» (8-го сентября), «Разлука» («Для берегов отчизны дальной...»), «Расставанье» («В последний раз твой образ милый...») (5-го октября), «Мадонна» («Не множеством картин...»). Рядом с этими нежными, изумительно чистыми созданиями блистают фантастические рисунки, в которых своевольно запутаны черты народной жизни и фантазии, стихотворения «Каприз» («Румяный критик мой, насмешник толстопузый...») (1-го октября)[3] и «Бесы» («Мчатся тучи, вьются тучи...») (7-го сентября), из которых над последней Пушкин надписал: «шалость» — заметка, не сохраненная посмертным изданием. В замечательной противоположности с этими фантастическими созданиями возвышается картина природы, переданная Пушкиным в пьесе «Осень» («Октябрь уж наступил...»), написанной вчерне тогда же[4]. «Евгений Онегин», неразлучный спутник поэта в продолжение нескольких лет, и здесь не покидает его. 25-го сентября, как уже знаем, окончены в Болдине 4 последние прощальные строфы VIII главы, между тем как предшествующие им строфы доделаны, по обыкновению Пушкина, год спустя, в октябре 1831 года, и уже в Царском Селе. В середине всех этих созданий набросано несколько антологических отрывков, как будто для пробы своего таланта, но между ними встречается превосходная пьеса «Труд» («Миг вожделенный настал...») и, наконец, в эту же эпоху появляются совершенно новые, еще неслыханные доселе звуки: мы говорим о тех спокойных, поэтических рассказах, которые в невозмутимом своем течении открывают мысли читателя далекое, необозримое пространство...

Высокий образец таких рассказов мы имеем в стихотворении «Странник» («Однажды, странствуя среди долины дикой...»), принадлежащем к 1833 году[5]. От болдинского пребывания Пушкина сохранился в бумагах его замечательный листок. На одной стороне своей он носит крупные слова «Зависть» (прежнее оглавление драмы «Моцарт и Сальери»), а на другой вчерне написаны известные стихи, сочиненные Пушкиным ночью во время бессонницы, тоже в Болдине:

«Мне не спится, нет огня...» (октябрь). Рядом с этими стихами начинается рассказ:

В начале жизни школу помню я.
Там, маленьких детей, нас было много.
Как на гряде одной — цветов семья,
Росли не ровно мы; за нами строго
Смотрела некая жена...

Рассказ пропадает здесь в бесчисленных помарках, но из него вышло то самое повествование, которое у Пушкина начиналось потом уже следующим образом:

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много:
Неравная и резвая семья!
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена,
Над школою надзор хранила строго.

Конец этого сочинения утерян или не дописан, да и вообще оно не получило последней художнической обделки. Это не мешает усмотреть в нем вместе с глубокими чертами поэзии и первый проблеск того эпического настроения, которое впоследствии развилось у Пушкина и определило всю поэтическую его деятельность, о чем мы будем еще иметь случай говорить подробнее. С 1830 года мысль автора начинает преимущественно выбирать *повествование* для проявления своего и вместе с тем подчиняется величавому, строгому, спокойному изложению, которое порабощает читателя невольно, неудержимо и беспрекословно. Таковы стихотворения «Полководец», «Он между нами жил...», «С Гомером долго ты беседовал один...» и проч. и проч. Эпический тон этих стихотворений ясен для слуха наименее изощренного. Сочетание в одном *поэтическом рассказе* картин поразительного величия с строгою мыслью, положенной в основание их, обличает самые законы, по которым могла бы создаться современная эпопея, в отличие от народной, имеющей другие требования и условия. Стремление Пушкина к эпосу, по всей вероятности бессознательное, обнаруживается впервые с 1830 года и затем уже не оставляет его до конца поприща, как увидим.

Стихотворение, сейчас покинутое нами («В начале жизни школу помню я...»), напечатано было в посмертном издании вместе с другой пьесой под общим оглавлением «Подражания Данту», чего совсем нет у Пушкина. Эта вторая пьеса, начинающаяся стихом «И дале мы пошли — и страх обнял меня...», написана, по всем вероятиям, позднее своей предшественницы, — может быть, в 1832 году. Она останавливает особенно внимание наше тем, что может служить разительным свидетельством как артистической способности Пушкина усвоить все формы, так и подвижности его таланта. Для простой

шутки, какую предполагал он написать, Пушкин избрал форму дантовского рассказа[6] и так овладел ею, что шутка совсем пропала в изложении. Всякий согласится, что печеный ростовщик, лопающийся на огне и испускающий серный запах, уже не имеет признаков пародии: он ярко освещен лучами поэзии. Немного яснее выражается она в жене с ее сестрой, выведенных на страшную казнь даже без пояснения их преступлений, но здесь опять удивительное описание казни их отводит глаза и устраняет всякое подозрение о первом поводе стихотворения. Со всем тем рукопись свидетельствует несомненно, что все стихотворение порождено скорее сатирической мыслию, чем какой-либо другою, но в развитии своем необычайная поэтическая мощь автора подавила первое намерение и вместо насмешки произвела картину превосходную, исполненную величия и ужаса. Так обыкновенно гениальный талант изменяет самому себе*.

Мы уже видели прежде, что всякий незначительный в самом себе случай, всякое явление жизни будили творческий дух Пушкина и доставляли материал для его вдохновения. Вот еще пример. На рукописи известного стихотворения «Стамбул гяуры нынче славят...», названного, бог знает по каким причинам, в посмертном издании «Началом поэмы», мы находим слова: «17 октября 1830 года, *перед раз. ст.*», которые должно, кажется, читать: «перед разбитой статуей»[7]. Стихотворение это в исправленном виде помещено автором гораздо позднее в его «Путешествии в Арзрум», и читатель может сличить в нашем издании первую мысль пьесы с последней отделкой ее. Сближения подобного рода весьма поучительны. Из нескольких таких образчиков, собранных нами в издании, внимательный исследователь может извлечь предмет для эстетических соображений и для статьи о законах, какие художник должен полагать самому себе. Та же самая артистическая способность останавливаться на одной черте, принимать и развивать ее по-своему, не оставляла Пушкина и в чтении. Один стих писателя, одна мысль его порождали стихотворение, которое в дальнейшем ходе покидает обыкновенно подлинник и к концу уже не имеет с ним ничего общего. Вместе с Кольриджем, Уордсворсом, Пушкин читал в деревне поэта Берри Корнуоля (псевдоним г. Уаллера Проктора). Он остановился на начальных стихах двух его стихотворений и создал две известные пьесы: «Пью за здравие Мери...» («Here's a health to thee, Mary...») и «Я здесь, Инезилья...» («Inesilla! I am here...»). Первая сохра-

---

* Посмертное издание напечатало эту превосходную пьесу небрежно, с одним неконченным стихом: в третьем терцете «жир должников сосал сей злой...» пропущено слово старик, отчего терцет лишился рифмы, а стих меры (см. том IX, стр. 175). В рукописи пьеса разделена на два стихотворения. Второе начинается со стиха: «Тогда я демонов увидел черный рой...».

няет тон подлинника до конца, хотя и разнится в содержании, но во второй сбережен только начальный стих его, и сама она кажется художнической поправкой его. Подобные творческие создания Пушкин обыкновенно называл своими подражаниями*. Даже в раннюю эпоху деятельности, в

* В подтверждение наших слов решаемся привести из сборника английских поэтов, вышедшего в Париже, о котором уже говорили, самую пьесу Корнуоля «Серенада» (стр. 177 и 178). Вот ее подстрочный перевод:

«Серенада.

Инезилья, я здесь! Внизу твоего решетчатого окна поет кавалер твой; что же ты медлишь?

Много миль проскакал он, чтоб видеть твою улыбку. Юный свет дня уже блестит на цветах, но кавалер твой ропщет.

Что ему утренняя звезда, когда нет *любви* его? Что ему благоухание цветов, когда горит его сердце?

Милая дева! зачем скрываешься ты? Красота обязана показываться ранее очей утра и не заботиться о своем наряде.

Теперь, когда все звездные блестящие духи ждут появления твоего, чтоб от тебя занять блеска, зачем медлишь ты?»

Перевод этот достаточно показывает некоторую ухищренность манеры, что происходило вообще у Корнуоля от старания как можно ближе держаться образцов Шекспировой школы, но у последних она являлась как результат обилия страсти и обилия мыслей. Пушкин поступил иначе с «Серенадой», и тем охотнее выписываем мы здесь стихотворение его, что, известное всем на память, оно пропущено было посмертным изданием его сочинений:

Я здесь, Инезилья,
Стою под окном!
Объята Севилья
И мраком и сном!

Исполнен отвагой,
Окутан плащом,
С гитарой и шпагой
Я здесь под окном!

Ты спишь ли? Гитарой
Тебя разбужу!
Проснется ли старый —
Мечом уложу.

Шелковые петли
К окошку привесь...
Что ж медлишь?.. Уж нет ли
Соперника здесь?

Я здесь, Инезилья,
Стою под окном!
Объята Севилья
И мраком и сном!

Пушкин до последнего времени сохранял особенное расположение к Barry Cornwall, вероятно столько же за энергию его произведений, сколько и за его подражания стилю и приемам старых драматургов Англии. За два дня до трагической смерти своей, в полном спокойствии духа, он писал к А. О. Ишимовой, сочинительнице известной «Истории России в рассказах

1820—23 гг., мы видим совершенно одинаковые отношения Пушкина к Андрею Шенье. За исключением двух, чисто переводных пьес, остальные подражания его французскому поэту имеют тот же характер. Один стих из элегии последнего «Tel j'étais autrefois et tel je suis encore...» рождает стихотворение «Каков я прежде был, таков и ныне я...»[10], которое едва-едва напоминает содержание подлинника. В другой раз Пушкин отымает из довольно длинной элегии Шенье один только стих «Et des noms caressants la mollesse enfantine...» («И ласковых имен младенческая нежность...») и созидает на нем легкий, грациозный образ (см. стихотворение «Дориде»). В эпоху мужества и крепости таланта подражания Пушкина значительно расширяют образы и мысли подлинника; таково его подражание сонету Франческо Джиани «Sopra Guida», известное под названием «Подражание итальянскому» («Как с древа сорвался предатель ученик...»)[11]. Картина Пушкина приобретает энергию, которая затмевает превосходный образец, лежавший перед ним. Заключительные стихи итальянского поэта исполнены силы и красок:

Poi fra le braccia si reco quel tristo,
E con la bocca fumigante e nera
Gli rese il bacio, che avea dato a Cristo.

(«И приняв несчастного в свои объятия, дымящимися, черными устами он (Сатана) возвратил ему поцелуй, данный им Христу».)

Пушкин воспроизвел картину художника так:

И Сатана, привстав, с веселием на лике;
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

Ничего не можем сказать об антологических его подражаниях, по незнанию греческого языка и самих переводов, с которых они взяты Пушкиным; но между ними есть пьеса «Кобылица молодая...», принадлежащая, кажется, к тому же

для детей»: «Мне хотелось бы познакомить публику с произведениями Barry Cornwall. Не согласитесь ли вы перевести несколько из его «Драматических очерков»? В таком случае буду иметь честь препроводить к вам его книгу»[8]. Накануне своей смерти он посылает самую книгу А. О. Ишимовой и в том же самом состоянии духа, помышляя о своем журнале, пишет к ней: «Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покамест, честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall.

Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю вас, что переведете, как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать»[9]. Исполняя завещание поэта, А. О. Ишимова перевела пять драматических очерков Корнуоля, вероятно, тех самых, которые были отмечены Пушкиным. Они помещены, вместе с небольшим вступлением английских издателей Корнуоля, в «Современнике» (1837, том 8), когда «Современник» издавался уже друзьями покойного нашего поэта.

отделу творческих переделок, о которых говорим. Характеры самобытных произведений носят и пьеса «Не пленяйся бранной славой...», взятая с арабского, и подражания Пушкина Корану. Полный образец как способа переделки, так и гениальных добавлений подлинника представляют знаменитые его подражания, известные под именем «Песни западных славян», но об них мы будем говорить подробнее в своем месте.

Здесь кончаем описание деятельности нашего поэта осенью 1830 года в Болдине. Картина требовала бы и заслуживала большего развития. Как будто перед началом строгого эпического направления Пушкин в последний раз отдался в уединении своей деревни всему упоению творчества, без цели и преднамеренного плана. Трехмесячное пребывание его в Болдине остается памятником артистической импровизации, безграничного наслаждения своим талантом, гибкости, многосторонности и неистощимости средств его.

ГЛАВА XXVII

1831 год. Женитьба. Царское Село, деятельность в нем и конец года: Пушкин в Москве 1831 г. — Приготовление к женитьбе. — Известие о смерти Дельвига, письмо к Плетневу по этому поводу. — Бодрость духа в Пушкине. — Отрывки о Дельвиге из других писем. — Женитьба. — Лето 1831 г. Пушкин в Царском Селе, жизнь там. — Залог доставшегося ему имения. — Пушкину дозволен вход в государственные архивы для собирания материалов к истории Петра Великого. — Пушкин вновь зачислен на службу в Коллегию иностранных дел с жалованьем по 5000 р. ас. — Он пишет патриотические стихи «Клеветникам России», «Бородинская годовщина». — Перевод первой на французский язык кн. Голицыным. — Заметка Пушкина о трудности подобных переводов. — Другие виды литературной деятельности: «письмо Онегина к Татьяне». — Условие с Жуковским написать по русской сказке; «Сказка о царе Салтане», «О купце Остолопе». — Другие сказки в том же роде. — Заканчивает этот род в 1833 г. сказкой «О рыбаке и рыбке». — Подражания, ими вызванные. — Неизданное послание Гнедича к Пушкину по поводу «Царя Салтана». — Конец 1831 года. — Пушкин переезжает в Петербург. — Квартиры его в столице. — Письмо в Москву об издании «Северных цветов» для братьев Дельвига и выход «Повестей Белкина». — Поездка в Москву и возвращение назад к 1-му января 1832 г. — Письмо к П. В. Нащокину о пересылке опекунского билета и счастливой серебряной копеечки. — Золотое кольцо с бирюзою как талисман от внезапной беды.

Только в декабре месяце Пушкин успел пробраться в Москву со свидетельством для залога в Опекунском совете части имения, выделенного ему в Болдине Сергеем Львовичем. Новый 1831 год застал его в приготовлениях к женитьбе, но за месяц до свадьбы он получил неожиданное известие о смерти Дельвига, скончавшегося 14 января 1831 года. Трогательное письмо его по этому случаю к П. А. Плетневу со-

общено в «Современнике» 1838 года (том IX, стр. 63, статья «Александр Пушкин»): «21 января, 1831 года, Москва.

Что скажу тебе, мой милый! Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову* объявить ему все — и не имел духу. Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд: я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? Ты, я, Б⟨аратынски⟩й — вот и все. Вчера провел я день с Н⟨ащокиным⟩, который сильно поражен его смертию. Говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столько же странен, как и страшен. Нечего делать! Согласимся: покойник Дельвиг — быть так; Б⟨аратынски⟩й болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров, и постараемся быть живы».

Письмо это, как видно, оканчивается характеристической чертой. Какая-то особенная бодрость духа не покидала Пушкина в минуты самых тяжелых ударов. Она не изменила ему и в муках смертного одра, как известно, и всегда находила исток болезненному чувству, возбраняя жалобу, уныние и нравственную слабость. Через месяц с небольшим, именно 31 января, Пушкин писал, вероятно к тому же лицу, следующие строки, уже отличающиеся тихой грустию: «Я знал его (Дельвига) в лицее, был свидетелем первого, незамеченного развития его поэтической души и таланта, которому еще не отдали мы должной справедливости. С ним читал я Державина и Жуковского, с ним толковал обо всем, *что душу волнует, что сердце томит*![1] Жизнь его богата не романическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым, чистым разумом и надеждами...»[2] В третьем письме по поводу Дельвига, от 24 февраля, чувство Пушкина перерождается уже в воспоминание: «Я женат. Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Память Дельвига есть единственная тень моего светлого существования»[3].

Пушкин был обвенчан с Н. Н. Гончаровой февраля 18 дня 1831 года, в Москве, в церкви Старого Вознесенья, в среду. День его рождения был тоже, как известно, в самый праздник Вознесенья Господня. Обстоятельство это он не приписывал одной случайности. Важнейшие события его жизни, по собственному его признанию, все совпадали с днем Вознесенья. Незадолго до своей смерти он задумчиво рассказывал об этом одному из своих друзей и передал ему твердое свое

---

* М. А. Салтыков — тесть барона А. А. Дельвига.

намерение выстроить со временем в селе Михайловском церковь во имя Вознесения Господня. Упоминая о таинственной связи всей своей жизни с одним великим днем духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, что все это произошло недаром и не может быть делом одного случая». В конце своей жизни Пушкин был проникнут весьма живым и теплым религиозным чувством.

Новобрачные жили еще в Москве до весны, но после святой недели выехали в Петербург. Пушкин остановился, по обыкновению, в Демутовом трактире. Довольно долгое время употребил он на выбор и приискание себе дачи. Не желая тратить денег на временный наем квартиры в городе, он переехал с супругой своей в Царское Село прямо из Демутова трактира и поселился там на все лето. 26 марта он уже писал оттуда в Петербург к П. А. Плетневу: «Мысль благословенная! Лето и осень, таким образом, я проведу в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и *тому подобных удобностей;* с тобою буду видеться всякую неделю, с Жуковским также. Петербург под боком. Жизнь дешевая; экипажа не надобно. Чего лучше?»[4] Жуковский вскоре, однако ж, сам прибыл в Царское Село. Развитие поветрия в столице вслед за тем затруднило сношения с городом. Пушкин предоставлен был небольшому обществу друзей, великолепным садам дворца, молодой семейной жизни и уединению. Он чувствовал себя довольным, хотя письма его от этого времени носят следы мысли, сильно занятой устройством своих дел и будущности. Новые тяжелые обязанности лежали на нем, да и наступила та пора расчета с прошлой жизнию, поправок ее промахов и увлечений, которая рано или поздно наступает для всякого. Он начинал ликвидацию ⟨долгов⟩ своих молодых годов, и притом с беспокойством и часто с неопытностию, которая по временам выражалась весьма простодушно. Для залога своего имения, что препоручено было вместе со многими другими делами одному из самых близких ему людей в Москве, он не мог составить доверенности и писал: «До сих пор я не получал еще черновой доверенности, а сам сочинить ее не сумею. Перешли поскорее»[5]. По совершении залога и получении 40 000 р. асс. он пишет к тому же лицу: «Да растолкуй мне, сделай милость, каким образом платят в ломбард? Самому ли мне приехать? Доверенность ли кому прислать? Или по почте отослать деньги?»[6] Любопытны его заметки о мелких подробностях домашней жизни, которые так близко выводят людей перед глаза наши: «Теперь, кажется, все уладил и буду жить потихоньку без экипажа, следовательно, без больших расходов... Прощай, пиши и не слишком скучай по мне. Кто-то говаривал: если я теряю друга, то еду в клуб и беру себе другого. Мы с женой тебя всякий день поминаем. Она

тебе кланяется. Мы ни с кем еще незнакомы, и она очень по тебе скучает. 1 Июня»[7]. «Жду дороговизны, — прибавляет он в другом письме, — и скупость наследственная и благоприобретенная во мне тревожится»[8]. «Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской: насилу до нас и вести доходят»[9]. — «Холера прижала нас, и в Царском Селе оказалась дороговизна. Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят»[10] и проч.*. Немалую сумму забот и беспокойства доставляли ему московские его кредиторы, о которых он беспрестанно сносится с тем же лицом, принявшим на себя труд устройства его дел: им посвящена и добрая часть всей его переписки из Ц⟨арского⟩ Села.

В июле месяце, однако же, он извещает своего московского корреспондента, что ему дозволен вход в государственные архивы для собирания материалов к истории Петра Великого, прибавляя: «Нынче осенью займусь литературою, а зимой зароюсь в архивы»[12]; а в сентябре месяце сообщает ему известие о своем определении на службу[13]. 14-го ноября 1831 года он действительно зачислен был снова на службу в ведомство государственной Коллегии иностранных дел, но с особенною высочайшею милостию — жалованьем по пяти тысяч рублей ассиг. в год, которая была предтечей многочисленных щедрот и благодеяний, излившихся потом как на самого поэта, так и на все семейство его.

Но жизнь в Царском Селе не могла пройти у Пушкина без минут, отданных вдохновению, несмотря на преимущественные занятия по устройству своей будущности, несмотря на силу первых наслаждений семейной жизни, которая, может статься, и была причиной сравнительно меньшей литературной его деятельности в этот год. В виду смущенной Европы и укрощения польского мятежа в пределах самой империи[14], Пушкин возвысил патриотический голос, исполненный энер-

---

* Очень забавен шуточный рассказ Пушкина о хозяйственных делах своих. «У меня, слава богу, всё тихо, жена здорова... Дома произошла у меня перемена управления. Бюджет Алекс⟨андра⟩ Григорьевича оказался ошибочен — я потребовал отчетов; заседание было столь же бурное, как и то, в коем уничтожен был Иван Григорьевич; вследствие сего Алекс⟨андр⟩ Григорьевич сдал управление Василью (за коим блохи другого рода). В тот же день повар мой явился с требованием отставки; сего управляющего хотят отдать в солдаты, и он едет хлопотать о том в Москву — вероятно, явится к тебе. Отсутствие его мне будет ощутительно, но может быть всё к лучшему. Забыл я тебе сказать, что Алекс⟨андр⟩ Григорьевич при отставке получил от меня в роде аттестата плюху, за что он было вздумал произвести возмущение и явился ко мне с военною силою, т. е. с квартальным, но это обратилось ему же во вред, ибо лавочники, проведав обо всем, засадили было его в тюрьму, от коей по своему великодушию избавил я его... Мои дела идут помаленьку, печатаю incognito мои повести**; первый экземпляр перешлю тебе. Прощай, душа. Да не позабудь о ломбарде порасспросить. 3-го сентября»[11].

** «Повести Белкина».

гии. С Державина Россия не слыхала столь мощных звуков. 5-го августа написано было в Царском Селе стихотворение «Клеветникам России»[15], за которым вскоре последовала «Бородинская годовщина»*. С вершины патриотического одушевления он сошел к безразлучному своему труду — «Евгению Онегину» — и 5-го октября написал известное письмо Онегина к Татьяне, уже блестящей светской женщине:

Предвижу все — вас оскорбит
Печальной тайны объясненье *и проч.*

Наконец в это же время, по какому-то дружелюбному состязанию, Пушкин и Жуковский согласились написать каждый по русской сказке. Кому принадлежит первая мысль этого поэтического турнира, мы можем только догадываться. Пушкин уже ознакомился с миром народных сказаний, как было говорено, и много думал об нем про себя. Он владел уже значительной коллекцией народных песен, переданных им П. В. Киреевскому, но до сих пор приступал к этому новому источнику творчества только урывками, как, например, в стихотворениях «Жених», «Утопленник», «Бесы». Первая полная русская сказка, написанная им — «Сказка о царе Салтане»[16], — тотчас выказала давнишнее знакомство его с народной речью и поразила многих развязностью, так сказать, своих приемов, подмеченных у народа. Со всем тем это была только мастерская подделка. Насмешливое выражение, которое постоянно проглядывает на физиономии самого сказочника, ироническая беззаботность, с какой кладет он чудеса на чудеса, скорее свидетельствовали о гибкости авторского таланта, чем выражали настоящий дух народной сказки. Один стих был чисто и неподдельно русский. После

---

* Оба эти стихотворения вместе с патриотической пьесой Жуковского «Русская слава» напечатаны были тогда же отдельной книжкой под названием «На взятие Варшавы, три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина. С.-Петербург. 1831 года». Пушкин гораздо позднее, в 1836 году, выразил во французском письме (от 10 ноября) к князю Н. Б. Голицыну (переводчику по-французски «Чернеца» Козлова и пьесы «Клеветникам России»), чувства, одушевлявшие его во время создания самого стихотворения: «Merci mille fois, — говорит он, — cher Prince, pour votre, incomparable traduction de ma pièce de vers, lancée contre les ennemis de notre pays... Que ne traduisites-vous pas cette pièce en temps opportun? Je l'aurais fait passer en France pour donner sur le nez à tous ces vociférateurs de la Chambre des députés». («Тысячу раз благодарю вас, любезный князь, за ваш несравненный перевод моей пьесы, устремленный на врагов нашей земли... Зачем не перевели вы ее вовремя, — я бы тогда переслал ее во Францию, как урок всем этим крикунам палаты...») В конце письма Пушкин делает замечание о трудности, предстоящей переводчику русских стихов по-французски: «A mon avis rien n'est plus difficile que de traduire de vers russes en vers français, car vu la concision de notre langue, on ne peut jamais être assez bref». («По моему мнению, чрезвычайно трудно перелагать русские стихи на французские. Язык наш сжат и краткости его выражения достичь мудрено».) Перевод кн. Голицына напечатан в Москве в 1839 году.

сказки о Салтане Пушкин, особенно замечавший и любивший юмористическую сторону народных рассказов, написал сказку «О купце Остолопе и работнике его Балде»[17], которая так смешила В. А. Жуковского и друзей его*. Может быть, ловкость Пушкина в переимке народного жеста и ухватки нравилась ему: он написал в духе первой своей сказки еще «О мертвой царевне», «О золотом петушке»[19]; но в 1833 году создал сказку «О рыбаке и рыбке», где уже нашел речь до того безыскусственную, что трудно заметить в ней малейший признак сочинительства, и рассказ до того простой и добродушный, что нет в нем и тени подозрения о собственном достоинстве и ни тени щегольства самим собою. Нельзя не подивиться этой мастерской стихотворной передаче, не имеющей почти ни размера, ни версификации и сохраняющей один только свободный ритм народного языка с его созвучиями и оборотами. Но первая сказка еще далеко не походила на последнюю, хотя, может быть, произвела более восторга в публике. За ней последовали бесчисленные подражания. Иначе было с двумя произведениями Жуковского. Его «Спящая царевна» и «Берендей» не произвели впечатления, какое следовало бы ожидать от их прекрасных, гармонических стихов. Причина понятна. Они совершенно покинули местный, сказочный колорит и скорее принадлежали германской легенде и романтической поэзии, чем русскому миру. Между прочим, сказка о Берендее взята Жуковским из рассказов Арины Родионовны, вероятно переданных ему Пушкиным. В дополнение можно сказать, что «Салтан» Пушкина породил особенное впечатление в кругу литераторов, мечтавших о народной поэзии из кабинета, и писателей, преимущественно занимавшихся изучением иностранных словесностей. В «Салтане» находили они зародыш нового периода в литературе, возможность нового в ней направления[20]. Много толков, шума и споров произвела между ними первая сказка Пушкина. Памятником живого участия, возбужденного ею, осталось неизданное послание Н. И. Гнедича к Пушкину. Автор известной русской идиллии «Рыбаки» был одним из самых восторженных поклонников нового произведения. Он послал к Пушкину стихи с надписью: «Пушкину по прочтении сказки про царя Салтана», которые мы здесь и выписываем:

---

* Вообще, пребывание поэта в Царском Селе было цепью дружеских веселых бесед, в которых царствовало постоянно одинаковое, ровное состояние духа. Случалось, что В. А. Жуковский спрашивал в этом кругу совета, не рассердиться ли ему на то или другое обстоятельство. Пушкин почти всегда отвечал одно: непременно рассердиться, но ни сам он, ни искавший его совета не следовали приговору. Пушкин был любезен, добродушен и радовался всякому счастливому слову от души. Так, он пришел в восторг от замечания одной весьма умной его собеседницы[18], что стих в пьесе «Подъезжая под Ижоры...» как будто в самом деле едет *подбоченясь* и проч.

Пушкин, Протей[21]
Гибким твоим языком и волшебством твоих песнопений!
Уши закрой от похвал и сравнений
Добрых друзей!
Пой, как поешь ты, родной соловей!
Байрона гений иль Гете, Шекспира —
Гений их неба, их нравов, их стран;
Ты же, постигнувший таинства русского духа и мира,
Ты наш Баян!
Небом родным вдохновенный,
Ты на Руси наш певец несравненный!

Так высоко ценился первый опыт Пушкина в народной поэзии.

В октябре, и именно 22-го числа, Пушкин покинул Царское Село и переехал в Петербург*. «Вот я в Петербурге, где был принужден переменить нанятый дом, — уведомляет он московского своего корреспондента, — пиши мне: на Галерной, в доме Брискорн. Все это очень изменит мой образ жизни, и обо всем надо подумать. Не знаю, не затею ли чего-нибудь литературного, журнального альбома или тому подобного: лень! Кстати, я издаю «Северные цветы» для братьев покойного Дельвига — заставь их разбирать. Доброе дело сделаем. Повести мои напечатаны; на днях получишь. Поклон твоим; обнимаю тебя от сердца»[23].

Вскоре за письмом этим, но уже приготовив альманах «Северные цветы» к печатанию (альманах, семь лет пользовавшийся живым, неослабным вниманием публики и в продолжение этого времени поместивший до 56 стихотворений нашего поэта), Пушкин наскоро уехал в Москву, куда призывали его дела, никак не укладывавшиеся в должный порядок. Он пробыл там недолго и к 1-му января 1832 года был уже снова в Петербурге, откуда 5-го числа уведомлял о своем приезде П. В. Н⟨ащокин⟩а, которому вообще отдавал

* Пушкин часто переменял квартиры. В Царском Селе он жил в доме Китаева. По приезде в Петербург он съехал с квартиры почти тотчас же, как нанял (она была очень высока), и поселился в Галерной в доме Брискорн. В 1832 году он жил на Фурштатской, у Таврического дворца, в доме Алымова, где его нашло послание графа Хвостова под заглавием «Соловей в Таврическом саду», из которого выписываем последний куплет:

Любитель муз, с зарею майской
Спеши к источникам ключей;
Ступай подслушать на Фурштатской,
Поет где Пушкин-соловей.

Песенка положена была и на музыку. Пушкин отвечал на нее учтивым письмом в прозе (см. «Стихотворения гр. Хвостова», том 7, прим. 151). Оттуда он переехал в октябре 1832 в Морскую, в дом Жадимировского. В 1833 и 34 гг. он жил на Дворцовой набережной, в доме Балашевой, у Прачечного моста; в 1834 же — у Летнего сада, в доме Оливиера; в 1836 у Гагаринской пристани, в доме Баташева и в 1836 же у Певческого моста, в доме Волконской, где и умер[22].

подробный отчет во всех своих делах и помыслах. Переписка Пушкина с ним, между прочим, открывает, так сказать, оборотную сторону жизни, иногда столь живой и блестящей с виду. «Да сделай одолжение, — прибавляет Пушкин в конце своей записки 1832 г., — перешли мне опекунский билет, который я оставил в секретном твоем комоде; там же выронил я серебряную копеечку. Если и ее найдешь, и ее перешли. Ты их счастью не веруешь, а я верую»[24]. Прибавим к этой простодушной и весьма живой черте, что друг Пушкина, не веровавший счастью серебряной копеечки, верил в оберегательную силу колец. Незадолго до смерти поэта он заказал для него золотое кольцо с бирюзой, которое долженствовало предохранить его от внезапной беды, и просил носить, не скидывая. Пушкин повиновался, и перстень был снят уже с мертвой руки его К. К. Д⟨анзасо⟩м, как дорогой и незаменимый памятник о товарище и человеке[25].

ГЛАВА XXVIII

1832 год. Появление последней главы «Онегина» в печати. Изложение способа его создания: Тройное значение «Онегина». — Обозрение всех глав его. — Строфы XIII и XIV, выпущенные из первой его главы: «Как он умел вдовы смиренной...», «Нас пыл сердечный...». — Пример, как растянутое место рукописи изменено в легкую черту: «По всей Европе в наше время...». — Глава 2-я, Ленский, сочувствие к нему поэта, стихи «И моря новый блеск и шум...». — X-я строфа 2-й главы, посвященная поэтическому дару Ленского, по рукописи: «Не пел порочной он забавы...». — Ленский читает Онегину отрывки северных поэм, образчики их: «Придет ужасный миг...», «Надеждой сладостной...». — Еще несколько мест из 2-й главы, не вошедших в печать: «Мелок оставил я в покое...» — Портрет Ольги за строфою XXII: «Ни дура английской породы...». — Конец второй главы по рукописи: «Но может быть... ».— Третья глава. — Строфа, пропущенная в печати после XXV: «Внук нянин воротился...». — О строфах из «Евгения Онегина» в посмертном издании. — Четвертая глава. — Пропущенные строфы; их заменяют строфы о женщинах. — Наряд Онегина, приведенный выше. — С четвертой главы нить создания романа потеряна. — Строфы XIII и IX, пропущенные в седьмой главе: «Раз вечернею порою...», «Нагнув широкие плеча...». — Стихи к XI строфе той же главы: По крайней мере из могилы...»; целомудренность музы Пушкина — Альбом Онегина. — Отрывчатые заметки вроде тех, которые составляют альбом Онегина; семь образчиков их. — К пропущенной главе о странствованиях Онегина, четверостишие о Москве. — Встреча Онегина с Пушкиным в Одессе. — Отрывок, описывающий эту встречу: «Не долго вместе мы бродили...». — Восьмая глава. — Описание первых томлений творческой силы. — Четыре строфы ее, из которых две приведены выше: «В те дни, во мгле дубравных сводов...», «Везде со мной, неутомима...». — Пробы письма Онегина к Татьяне. — Все смутное и неопределенное выпущено из него: «Я позабыл ваш образ милый... ». — Мысль продолжать «Онегина». — Ответ друзьям, советовавшим это, и начало самих строф: «Вы за Онегина советуете, други...»,«В мои осенние досуги».

Мы видели, что 1831 год ознаменован был появлением «Бориса Годунова» и «Повестей Белкина». Следующий за тем год принес последнюю, VIII, главу «Онегина»[1]. Роман был кончен, и хотя полное издание его уже относится к 1833 ⟨г.⟩, но мы здесь остановимся, чтоб обозреть по черновым рукописям поэта историю его создания. Читатель, следивший вместе с нами за отдельным появлением каждой главы, найдет дополнительные сведения в примечаниях, приложенных к роману. Там собраны варианты различных редакций его и все указания, нужные для определения вида и времени изменений, полученных им. Здесь будем говорить только о способе, каким он созидался.

Тройное значение романа, как художественного произведения, как картины нравов наших и как взгляда на предметы самого автора, делает его поистине драгоценным достоянием литературы. В 1833 году публика имела его вполне и могла любоваться всем ходом его, весьма строго рассчитанным, несмотря на одну пропущенную главу и на манеру писать строфы вразбивку[2]. Во все продолжение труда нашего следили мы за романом по первым чертам измаранных и перекрещенных рукописей Пушкина и сколько находили мыслей, еще в жесткой форме, еще в дикой энергии начального замысла, разбитой и смягченной потом искусством, и сколько, наоборот, видели легких, едва внятных намеков, получивших затем содержание и сильный удар кисти, обративший их в крупные поэтические черты. Немалое количество отдельных мыслей разбросано было Пушкиным в течение своего рассказа и не поднято им: они остаются в тетрадях его как быстрые, неопределенные этюды художника, и роман указывает на места, им назначенные, только римскими цифрами. (В числе последних есть, как было сказано, и такие, которые выражают одно намерение автора, мысль, оставшуюся без исполнения.) Довольно странное действие производят, однако ж, эти покинутые строфы Пушкина. Ни на чем нельзя остановиться в них, хотя в каждой чувствуется зародыш превосходного стихотворения. В первой главе романа выпущены строфы XIII и XIV; они относились к Онегину и набросаны были так (точки заменяют у нас везде стихи, не разобранные нами или не дописанные автором):

XIII

Как он умел вдовы смиренной
Привлечь благочестивый взор
И с нею скромный и смущенный
Начать, краснея, разговор.
. . . .
Так хищный волк, томясь от глада,
Выходит из глуши лесов

И рыщет близ беспечных псов,
Вокруг неопытного стада.
. . . .

XIV

Нас пыл сердечный рано мучит,
Как говорит Шатобриан.
Не женщины любви нас учат,
А первый пакостный роман.
Мы алчны жизнь узнать заране,
И узнаем ее в романе:
. . . .
Уйдет горячность молодая,
Лета пройдут, а между тем,
Прелестный опыт упреждая,
Не насладились мы ничем[3].

Все это недоделано и было брошено, может быть, самим поэтом как не заслуживающее обделки, но он сберег воспоминание о первой своей мысли в римских цифрах, обозначающих пропуск ее в самой главе. Почти вслед за тем находим мы там же пример, как растянутое место рукописи обращалось при поправке в легкую черту. В строфе XXV мы читаем:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком;
Обычай — деспот меж людей.

Но в рукописи это место еще очень слабо и растянуто:

По всей Европе в наше время,
Между воспитанных людей,
Не почитается за бремя
Отделка нежная ногтей;
И нынче воин и придворный,
И журналист задорный,
Поэт и сладкий дипломат
Готовы...

Пушкин не дописал стиха и самой строфы, почувствовав тотчас же недостаток содержания в них, но подобных мест, совершенно измененных последующей отделкой, много находится в рукописях его*.

Со второй главы начинается портрет Ленского. Несмотря на легкий оттенок насмешливости, с каким автор иногда говорит о молодом восторженном поэте, видно, что Пушкин любил своего Ленского, и притом любовью человека, уважаю-

---

* Кстати заметить, что строфы IX, XXXIX, XL, XLI первой главы, пропущенные в печати кажется, совсем не были написаны поэтом; по крайней мере, их нет в черновой рукописи[4].

щего высокое нравственное достоинство в другом. Иногда кажется, будто Пушкин ставит Ленского неизмеримо выше настоящего героя романа и все странности первого, как и все его заблуждения, считает почтеннее так называемых истин Онегина. По крайней мере, в едва набросанных и недоделанных строфах он обращается к Ленскому с жарким выражением любви и удивления. Черта, в нравственном отношении замечательная, и которой биография пренебречь не может. Мы знаем почти все, что Пушкин отдал свету по расчету и своим соображениям, и мало знаем, что думал он про себя. Так, в VII-й строфе 2 главы вместо нынешних стихов ее рукопись сохраняет еще следующие:

И мира новый блеск и шум
Обворожили юный ум.
Он ведал труд и вдохновенье
И освежительный покой.
...К чему-то жизни молодой
Неизъяснимое влеченье...
Страстей кипящих... пир
И бури, их сладкий мир.

Но особенно проявляется сочувствие Пушкина к Ленскому в X строфе, посвященной его поэтическому таланту. Вся эта сжатая и отчасти ироническая строфа в печати отличается, наоборот, многословием и лирическим характером в рукописи:

Не пел порочной он забавы,
Не пел презрительных цирцей:
Он оскорблять гнушался нравы
Прелестной лирою своей.
Поклонник истинного счастья,
Не славил неги, сладострастья,
Как тот, чья хладная душа,
Постыдной негою дыша,
. . . .
Преследует, в тоске своей
Картины тайных наслаждений
И свету в песнях роковых
Безумно обнажает их.
Напрасно шалостей младых
Передаете впечатленье
Вы нам в элегиях своих!
. . . .
Напрасно ветреная младость
Вас любит славить на пирах;
Хранит и в сердце, и в устах
Стихов изнеженную сладость
И на ухо стыдливых дев
Их шепчет, робость одолев!
Пустыми звуками, словами
Вы сеете развратно зло...
Певцы любви, скажите сами,
Какое ваше ремесло?
Перед судилищем Паллады
Вам нет венца, вам нет награды.

Замечательно, что вторая глава «Онегина», как известно, окончена 8-го декабря 1823 года; к этому времени относится и самая строфа*.

Живое участие к Ленскому и еще раз является весьма значительным образом у Пушкина. Ленский, как известно, читал Онегину отрывки «северных поэм»,

И снисходительный Евгений,
Хоть их немного понимал,
Прилежно юноше внимал
(Глава II, строфа XVI).

В рукописях находим, что вместо этих последних стихов Пушкин вздумал приложить и образчики самих поэм в двух отрывках, которые уже покидали стихотворный размер, принятый для «Онегина», и выходили из рамы, так сказать, самого романа. Оба отрывка не что иное, как шуточное подражание Макферсону, роду поэзии, к какому особенно склонна была муза Ленского, по мнению Пушкина. Они, разумеется, не дописаны, лишены во многих местах необходимых стоп и походят скорее на заметку в стихотворной форме, чем на стихотворения:

Придет ужасный миг... Твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста —
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почиют мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду печально за тобой
И сяду близ тебя, недвижный и немой...

Далее нельзя разобрать. Так точно и во втором отрывке можно сберечь только несколько стихов:

---

* Кстати упомянем, что в одном старом и забытом журнале «Северный Меркурий» (1830, № 54) мы нашли стихотворение, подписанное буквами А. П. и помеченное 1827 годом. Пьесы этой нет в рукописях нашего автора, но мы выписываем ее как имеющую сходство с основной мыслию, изложенной в неизданных отрывках «Онегина»:

ПОЭТАМ

Блажен, кто принял от рожденья
Печать священную Харит,
В ком есть порывы вдохновенья,
В ком огнь поэзии горит!
Он стройной арфе поверяет
Богинь заветные мечты,
И жизни лучшие цветы
В венок свой гордо заплетает...
Блаженней тот, кто посвящал
Певцам великим дни досуга,
Кто дар к высокому питал;
Но снисходительного друга
Своим стихом не искушал[5].

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
Могилу пережив, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, —
Клянусь! давно бы я покинул грустный мир...
. . . .
Узнал бы я предел восторгов, наслаждений,
Предел, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна живет в небесной чистоте;
Но тщетно предаюсь пленительной мечте!
. . . .
Мне страшно... и на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой*.

Оба отрывка содержат, как видно, пародию на тяжелые шестистопные элегии, бывшие некогда в моде, и вместе лукавую насмешку над туманными произведениями Ленского[6]. Замечательно, однако ж, что точно в таком же духе есть несколько лицейских стихотворений самого Пушкина, так что он мог набросать свои отрывки по одному воспоминанию. Читатель, вероятно, уже заметил, что поэт наш сообщил отрывкам Ленского, полагаем — не без намерения, искру чувства и души и тем отличил их от подражаний другого рода, столь же тяжелых и притом лишенных уже всякой теплоты, от подражаний анакреонтических, какие являлись у нас вместе с Оссиановскими элегиями и какими также обнаружилась впервые авторская деятельность самого Пушкина. Не без удивления видим мы вместе с тем, что Пушкин гораздо позднее возвратился к стихам Ленского и взял от них отчасти мысль, которая является в знаменитой пьесе «Безумных лет угасшее веселье...»:

Но не хочу, о други, умирать...
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, —

но уже какое необъятное пространство лежит между первым опытом Ленского и последней формой, данной его мысли Пушкиным в 1830 году.

Прибавим, что оба приведенные отрывка, набросанные в самом ходу сочинения, заменены в XVI строфе шестью стихами[7], но что поэт наш только в 6 главе (строфа XXI), пред дуэлью Ленского, решился дать новый, настоящий образчик поэзии его. Это уже романтическая, журнальная элегия двадцатых годов, писанная ямбами, как и «Онегин».

Есть еще несколько мест во второй главе, уже не оставивших ни малейшего следа в самом романе. Это все те невольные и незаметные приросты в создании, которые Пушкин

---

* Не нужно указывать читателю, что этот отрывок есть карикатура на Макферсоновского Оссиана и, видимо, написан с целью осмеять все подобные философствования.

отсекал тотчас же при появлении их, но и в них еще легко усмотреть его руку и свойства его таланта. После XVII строфы:

Блаженней тот, кто их не знал
. . . .
И дедов верный капитал
Коварной тройке не вверял, —

Пушкин пишет еще две строфы с шуточным изображением волнений азартной игры, которое заключается стихами:

Мелок оставил я в покое.
«Атанде» — слово роковое —
Мне не приходит на язык.
От рифмы тоже я отвык.
Что буду делать? Между нами,
Всем этим утомился я.
На днях попробою, друзья,
Заняться белыми стихами.

Так, еще в 1823 году Пушкин шутил над белыми стихами, которыми через два года написал «Бориса Годунова». Далее, за строфой XXII, встречается портрет Ольги:

Ни дура английской породы,
Ни своенравная мамзель
(Благодаря уставам моды
Необходимые досель)
Не баловали Ольги милой.
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель...
Она ж за Ольгою ходила,
Стлала ей детскую постель,
«Помилуй мя» читать учила,
Бову средь ночи говорила,
Поутру наливала чай —
И баловала невзначай.

Все это отброшено в романе и заменено совсем другой мыслью:

.... Но любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет: он очень мил;
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
(Глава II, стр⟨офа⟩ XXIII)

Само окончание главы еще сильно разнится с черновой рукописью поэта. Вместо задушевного голоса, вместо благородной надежды, теперь уже превратившейся в существенность, какие слышатся в этой строфе:

Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда.
Без неприметного следа
Мне было б грустно свет оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук...

Вместо этого прекрасного конца вторая глава завершается в рукописи шуткой, как любил оканчивать Пушкин свои сердечные излияния, по известной своей пугливости перед толками и пересудами людей.

Но может быть (и это даже
Правдоподобнее сто раз),
Изорванный, в пыли и саже,
Мой недочитанный рассказ,
. . . .
С ⟨лужанкой⟩ изгнан из уборной,
В передней кончит век позорный,
Как «Инвалид», иль «Календарь»,
Или затасканный букварь.
Ну что ж? в гостиной иль передней
. . . .
(Не я первой, не я последний)
Равны читатели —
. . . .
Над книгой их права равны...

Пушкин недоделал и выбросил строфу, победив на этот раз свою осторожность и врожденную уклончивость.

Третья глава открывается в рукописи пометкой: «8 février, la nuit*. 1824». В ней также есть выпущенное место, особенно характеристическое в отношении Онегина. После отправления известного письма Татьяны к Онегину со внуком няни (стр⟨офа⟩ XXXV) следует еще строфа:

...Внук нянин воротился.
«Ну что ж сосед?» — «Верхом садился
И положил письмо в карман,
Татьяна». — Вот и весь роман!
Теперь как сердце в ней забилось!
О боже, страх и стыд какой!
В груди дыхание стеснилось...
. . . .
На мать она глядеть не смеет;
То вся горит, то вся бледнеет,
При ней, потупя взор, молчит...
И чуть не плачет...

В посмертном собрании сочинений Пушкина 1838—41 было приложено под названием «Новые строфы из «Евгения

* 8 февраля, ночью *(франц.)*. — *Ред.*

Онегина»» — несколько образчиков подобных выпусков. Все они относятся к III главе и притом указаны в издании как принадлежащие к строфам X, XXV и XXVI[8]. Строфы эти, однако ж, замещены в тексте романа другими, так что приложения эти уже составляют не черновую, а двойную работу поэта: на некоторые строфы приходилось у него по две редакции, и, вероятно, даже по нескольку редакций. Всего замечательнее, что их нет в оставшихся бумагах его. Этим уже доказывается существование другой, полной копии «Евгения Онегина», которую, несмотря на старания наши, мы уже не могли видеть*.

Четвертая глава романа начинается в печати прямо с пропуска шести строф (стр⟨офы⟩ I, II, III, IV, V, VI), но читатель может заместить их в уме своем теми строфами Онегина, которые известны под заглавием «Женщины». По нашему мнению, они принадлежат к этому месту. Мы уже выписали прежде из IV главы романа наряд Онегина, не попавший в печать, может быть, и потому, что, говорят, он очень походил на тот, который усвоил себе сам Пушкин в Кишиневе. Это, кажется, единственное место в главе, откинутое автором при исправлении.

С VI главы мы уже теряем нить романа. Он писался, вероятно, с этой поры в особенной тетради, не сохранившейся в бумагах, где остаются только отдельные клочки и этюды его. Но и тут попадаются беспрестанно подробности, заслуживающие полного внимания; так, в VII главе есть место, где как будто начиналась картина, брошенная на половине. В смутных ее красках видны все пробы, так сказать, художнической кисти, и в этом отношении она особенно любопытна. После описания уединенной гробницы Ленского и выхода замуж Ольги, предмета его поэтических восторгов, следует отрывок неконченный и необделанный, который в печати заменен одними римскими цифр⟨ами⟩: VIII, IX. Эти римские цифры выражают черновую работу, покинутую автором:

---

* Эти строфы третьей главы перешли в посмертное издание сочинений Пушкина из «Современника» (1838, т. 12-й), где также носили заглавие «Новые строфы из «Евгения Онегина». В том же журнале (1838, том 1-й) помещен был и неизданный отрывок «Онегина»: «Сокровища родного слова...»[9], но он сопровождался примечанием издат⟨еля⟩, которое уже, несомненно, свидетельствует о существовании полной рукописи «Евг. Онегина», к сожалению, не бывшей под глазами составителя этих материалов. Вот примечание: «Веселые и грациозные шутки, составляющие отличительность этой поэмы покойного Пушкина, не всегда, как увидят читатели в новых строфах, приходили прямо под перо поэта. Он писал и в расположении строже-сатирическом, но так умел владеть своим предметом, что обрабатывал его долго, прежде нежели оканчивал труд совершенно. Приводимые здесь строфы *списаны в его оригинале* особо против XXVII и XXVIII строф главы III».

Раз, вечернею порою,
Одна из дев сюда пришла;
Казалось, тайною тоскою
Она встревожена была.
Объятая невольным страхом*,
Она в слезах пред милым прахом
Стояла, голову склонив
И руки с трепетом сложив;
Но тут поспешными шагами,
Красуясь черными усами,
Ее настиг младой улан,
Затянут, статен и румян.

Здесь следуют отдельные стихи, которых иначе нельзя считать, как следами фантазии, предоставленной себе самой, чтоб иметь случай проверить ход ее впоследствии:

Нагнув широкие плеча,
И гордо шпорами звуча
. . . .
. . . .
. . . .
Она на воина взглянула:
Горел досадой взор его,
. . . .
И тихо руку протянула,
Но не сказала ничего.

Затем уже описание снова продолжается:

И молча Ленского невеста
От сиротеющего места
С ним удалилась, и с тех пор
Уж не являлась из-за гор.

Из таких еще перепутанных линий составлялись потом у Пушкина те грациозные и трогательные картины, которыми наполнены страницы романа. Нет сомнения, что и приведенный отрывок, если бы удостоен был отделки, превратился бы в картину, столь же простую и изящную, как эта:

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок;
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги,
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
(Глава VII, стр⟨офа⟩ VII)

Так точно в XI строфе той же главы, после стихов:

* В подлиннике «объятая невольным» зачеркнуто и заменено фразой, недоступной разбору.

Или над Летой усыпленной
Поэт, бесчувствием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем, —

Пушкин еще рисует:

По крайней мере, из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень,
И в поздний час, Гимену милый,
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых...

Но эту подробность он уже просто выбрасывает, не обозначая ни римскими цифрами, ни точками.

В седьмой же главе романа, при осмотре кабинета Онегина, Татьяна встречает и альбом его. Выдержки из этого альбома, описание которого, не бывшее в печати, уже приведено нами прежде, были приложены к последнему, посмертному изданию сочинений Пушкина, но мы имеем повод думать, что действительного «альбома Онегина» не существовало. То, что под этим именем оставалось у автора в бумагах, есть только собрание отдельных мыслей и заметок, большая часть которых предназначалась войти в состав самого романа[10]. Вот почему мы встречаем в «альбоме» стихи, повторенные и исправленные романом. Так, первый отрывок «альбома» «Меня не любят и клевещут...» есть только черновой оригинал одной из строф (IX) осьмой главы самого романа, где сохранены почти и все его стихи; так, еще последний его отрывок:

Часы бегут; она забыла,
Что дома ждут ее давно:
Уже ль загадку разрешила,
Уже ли слово найдено?.. —

отрывок, не имеющий отдельно почти никакого смысла[11], есть буквально повторение стихов седьмой главы (ст⟨рофа⟩ XXV), только в другом порядке — и в главе они имеют настоящее значение. Все это мало похоже на действительный альбом; но если под этим именем собрать отрывочные заметки Пушкина, падавшие с пера его во время труда над романом, то «альбом Онегина» может быть значительно расширен. Много этих блесток, этих поэтических искр рассеяно по всем его тетрадям, и, как пример, сообщаем теперь же некоторые из них:

I

Когда бы груз меня гнетущий
Был страсть... несчастие —
Так напряженьем воли твердой

Мы страсть безумную смирим,
Беду снесем душою гордой,
Печаль надеждой усладим...
Но скуку? чем ее смирим?[12]

Эта стихотворная заметка Онегина с недописанными стихами и с дважды повторенными рифмами принадлежит к ряду подобных же быстрых заметок, брошенных без всякого осмотра, почти без малейшего внимания к ним. Вот другие:

II

Вчера был день довольно скучный;
Чего же так хотелось ей?
Сказать ли первые три буквы;
Клю... клю... Возможно ль? — Клюквы![13]

III

Конечно, презирать не трудно
Отдельно каждого глупца,
Сердиться также безрассудно
И на отдельного срамца;
Но чудно!
Всех вместе презирать их трудно[14].

IV

Строгий свет
Смягчил свои предубежденья
Или простил мне заблужденья
Давно минувших темных лет...[15]

К такому же роду может относиться и сатирическое обращение Онегина к женщинам:

V

Смешон, конечно, важный модник,
Систематический фоблаз,
Красавиц записной угодник
(Хоть поделом он мучит вас);
Но жалок тот, кто без искусства
Души возвышенные чувства,
Прелестной веруя мечте,
Приносит в жертву красоте!..[16]

Следующее послание уже гораздо более носит признаков отделки:

VI

Т.... прав, когда так верно вас
Сравнил он с радугой живою:
Вы милы, как она, для глаз
И, как она, пременчивы душою.
И с розой схожи вы, блеснувшею весной:
Вы так же, как она, пред нами
Цветете пышною красой
И так же колетесь — бог с вами!

Но более всего сравнение с ключом
Мне нравится: я рад ему сердечно!
Да, чисты вы, как он, и сердцем, и умом,
И так же холодны, конечно!
Сравненья прочие не столько хороши:
Поэт не виноват — сравненья неудобны.
Вы прелестью лица и прелестью души,
К несчастью, бесподобны[17].

Льстивая заметка Онегина, может быть, вызвана была пьесой В. Туманского «К Ней», из которой выписываем несколько стихов:

Не цвета небесного очи твои;
Не розы уста твои, дева;
Не лилии — перси и плечи;
Но что б за весна в стороне той была,
Где б розы такие, лилеи
Цвели на зеленых лугах?.. *и проч*[18].

Наконец, вот еще пример сатирических наблюдений Онегина над нравами, которыми и кончаем выписки из его «альбома», еще далеко не истощенного:

VII

Увы!.. Язык любви болтливый,
Язык невинный и простой,
Своею прозой нерадивой
Тебе докучен, ангел мой!
Ты любишь мерные напевы,
Ты любишь рифмы гордый звон,
И сладок духу милой девы
Честолюбивый Аполлон!
Тебя страшит любви признанье:
Письмо любви ты разорвешь,
Но стихотворное посланье
С улыбкой нежною прочтешь![19]

Мы знаем, что одна глава, по сознанию самого Пушкина, выпущена и только несколько отрывков ее, содержавших описание вояжа Онегина по России, приложены были к последней, 8-й главе романа, вышедшей в 1832 году, но какие отрывки! Это превосходные картины разных местностей и вместе это поэтические записки (мемуары) самого автора. По некоторым признакам мы полагаем, однако ж, несмотря на уверения самого автора и даже на таблицу глав, виденную нами прежде, что собственно отдельного описания «Странствий Онегина» в полном, оконченном виде не существовало[20]. В черновой рукописи странствования Онегина начинаются с XII строфы нынешней 8-й главы, и этому *эпизоду* ее[21] Пушкин хотел дать отдельную и самостоятельную форму; но, по нашему мнению, не исполнил намерения, а только выбросил эпизод свой целиком из поэмы. Теперь весьма мало остается прибавить к тому, что уже сообщено самим автором из эпи-

зода. Рукопись в этом месте исполнена помарок непобедимых. Вот одно четверостишие, касающееся до Москвы, которое еще выступает из общего хаоса:

Москва Онегина встречает
Своей всечасной суетой,
Старинной кухней угощает,
Стерляжьей потчует ухой...

Затем вся добыча прилежного разбора уже ограничивается несколькими словами, обломками стихов, не вяжущимися между собою. Одно только место эпизода успели мы разобрать в рукописи, но оно особенно замечательно. Судя по этому месту, Онегин должен был встретиться с самим Пушкиным в Одессе! Известно, что выдержки из пропущенной главы кончаются у Пушкина стихом «Итак, я жил тогда в Одессе...»[22].

После этого стиха начиналось у него описание встречи с Онегиным. Нельзя не пожалеть о потере этого описания. Тут должны мы были видеть беседы героя романа с своим летописцем, тут должны они были сойтиться на короткой ноге. Пушкин знал Онегина еще в Петербурге (глава 1, стр⟨офы⟩ XLVI, XLVII, XLVIII). Вторая встреча, после довольно долгой разлуки, вероятно, много изменила взгляд историка на главное действующее лицо романа и на нравственную физиономию его. Не развиваем далее предположений наших. В каком виде, в каком душевном состоянии нашел Пушкин утомленного и уже стареющего Онегина в Одессе — остается неизвестным и, вероятно, так и останется навсегда. Приводим отрывок, составляющий конец утерянного описания их встречи:

Недолго вместе мы бродили
По берегам эвксинских вод:
Судьбы нас снова разлучили
И нам *назначили поход.*
Онегин, очень охлажденный
И тем, что видел, пресыщенный,
Пустился к невским берегам,
А я от милых южных дам
От... устриц черноморских,
От оперы, от темных лож
. . . .
Уехал в тень лесов тригорских,
В далекий северный уезд —
И был печален мой приезд*.

Нам остается еще сказать по поводу 8-й главы самое замечательное. Кто не знает чудного лирического порыва,

* Не можем пропустить забавной фразы, встреченной в эпизоде о странствиях Онегина после стиха «Я жил тогда в Одессе пыльной...». Вот она:

... Я жил поэтом
Без дров зимой, без дрожек летом.

которым она начинается? В этой картине, объемлющей воспоминания первых томлений творческой силы, богатство, роскошь кисти приводят в изумление:

В те дни, когда в садах лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.

Следующие затем строфы содержат изображение самого хода и развития творческих замыслов поэта, но до этой полной картины Пушкин восшел через низшую ступень создания, сохранившуюся в его бумагах как новый пример сочетания труда и вдохновения. Одну часть этой первой пробы стихотворения мы уже знаем. Она приведена была нами в описании его лицейской жизни, и читатель вспомнит, что там отрывок еще имеет форму простого рассказа, только в конце окрашенного фантазией и живительным лучом поэзии. Две другие строфы, прилагаемые теперь, уже гораздо более освещены ею, но вдохновение еще не вполне ровно лежит на всех частях этого этюда.

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

I. . . . .
II. . . . .

III

В те дни, во мгле дубравных сводов,
Близ вод, текущих в тишине,
В углах лицейских переходов,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась! Муза в ней
Открыла пир своих затей.
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт...
В душе моей едины звуки
Переливаются, живут,
В размеры сладкие бегут.

IV

Везде со мной, неутомима
Мне муза пела, пела вновь
(Amorem canat aetas prima)*,

* «Юность поет про любовь». Этот стих Проперция имел у Пушкина еще другой, так сказать, подставной стих. Сверху отрывка карандашом написано:

«И первой нежностью томима».

Всё про любовь, да про любовь...
Я вторил ей; младые други
В освобожденные досуги
Любили слушать голос мой.
Они, пристрастною душой
Ревнуя к братскому союзу,
Мне первый поднесли венец,
Чтоб им украсил их певец
Свою застенчивую музу.
О, торжество невинных дней:
Твой сладок сон душе моей!

Отсюда уже Пушкин перешел к той великолепной поэтической картине, которую мы знаем и которая по блеску и яркости везде выдержанного в одинаковой степени колорита не имеет подобной себе как в самом романе, так и в русской литературе.

Нам остается еще сказать несколько слов о письме Онегина к Татьяне. Пушкин не пожалел выкинуть из него все места, которые носили печать неопределенности, неясности, может быть и оправдываемой свойством самой страсти, какую испытывал Онегин, но Пушкин ни в чем не любил смутных представлений и образов. Вот что отбросил он в разных местах письма:

Я позабыл ваш образ милый,
Речей стыдливых нежный звук
И жизнь сокрыл в душе унылой,
Как искупительный недуг...

Так, я безумец — и ужели
Я слишком многого прошу?
Когда б хоть тень вы разумели
Того, что в сердце я ношу...

И что же? Вот чего хочу:
Пройду немного с вами рядом,
Упьюсь по капле сладким ядом
И, благодарный, замолчу...

Так создавался «Онегин», любимое дитя Пушкина, в котором сберег он добрую часть своей собственной мысли, своего чувства и даже своей жизни.

И еще долго после окончания «Онегина» Пушкина влекло к нему против воли. Поэту нашему как будто недоставало своего постоянного труда, с которым он сжился в продолжение стольких лет. Он жалел о романе и скучал по нем. Возвратиться к нему и связать опять свое вдохновение с его строгим и вместе свободным ходом не было возможности. «Онегин» кончился совершенно, и трудно было выискать благовидную причину, чтоб начать новые приделки к нему. Пушкин чувствовал это невольно, и потому от всех его порывов к старому и любимому труду сохранилась только добродушная шутка, где он слагает даже с себя ответственность

за мысль восстановить опять «Онегина» и ссылается на друзей. Вот она:

Вы за «Онегина» советуете, други,
Опять приняться мне в осенние досуги;
Вы говорите мне: «Он жив и не женат —
Итак, еще роман не кончен: это клад!
В его свободную, вместительную раму
Ты вставишь ряд картин, откроешь диораму;
Прихлынет публика, платя тебе за вход,
Что даст тебе еще и славу и доход».
Пожалуй, я бы рад[23].

Последние слова зачеркнуты Пушкиным в рукописи, но они свидетельствуют о тайной наклонности его к прежнему труду своему, которую он победил не без усилий, как видно*.

Приведенные отрывки составляют часть тех многочисленных стихотворных заметок, какие разбросаны по всем тетрадям поэта. Они напоминают нам обязанность познакомить читателя со всеми этими материалами, заготовленными Пушкиным, из которых многие остались без употребления. Вся-

---

* Выписываем здесь еще две черновые строфы этого отрывка. Может быть, ими он даже хотел начать снова роман свой, но потом одумался и покинул намерение...

I

В мои осенние досуги,
В те дни, как любо мне писать,
Вы мне советуете, други,
Рассказ забытый продолжать.
Вы говорите справедливо,
Что странно, даже неучтиво
Роман, не конча, прерывать...
. . . .
Что должен своего героя,
Как бы то ни было женить,
По крайней мере — уморить,
И лица прочие пристроя,
Отдав им дружеский поклон,
Из лабиринта выслать вон.

II

Вы говорите: «Слава богу!
Покамест твой Онегин жив,
Роман не кончен. Понемногу
Пиши ж его — не будь ленив.
Со славы, вняв ее призванью,
Сбирай оброк хвалой и бранью,
Рисуй и франтов городских,
И милых барышень своих,
Войну и бал. . . . . . .
Чердак, и келью, и хоромы —
И с нашей публики за то
Бери умеренную плату:
За книжку по пяти рублей —
Налог не тягостный, ей-ей!»

кий поймет, как важно и как любопытно собрать и сохранить первые проблески поэтических мыслей его, образы и стихотворные фразы, набегавшие мимолетом, так сказать, на способность воображения и фантазию его. Богатство поэтических средств, обилие творческого материала не мешали Пушкину постоянно записывать мотивы, зарождавшиеся сами собой, звуки, мгновенно восстававшие в душе его.

ГЛАВА XXIX

Общее обозрение всех оставшихся стихотворных отрывков Пушкина: Стихотворные заметки Пушкина, разбросанные в его бумагах. — Их значение. — Первый отдел: обломки впечатлений, данных природою, три образчика. — Пример фантастического представления явлений: «Колокольчики звенят...». — Программка стихотворения, второй отдел — чисто лирические звуки и выражение одного душевного порыва, семь отрывков. — Стихотворные фразы, записанные на лету. — Переводы иностранных поэтов и подражания им в отрывках. — Перевод из «Орландо», отнесенный в приложения; подражание Буало, романс трубадура, отрывок из трагедии Альфиери, подражания тону французской комедии, подражания древним и другие как результат чтений Пушкина. — Разные отрывки: «Послание к М.»; стихотворение «Циклоп». — Стихотворения, обозначенные единственно рифмами. — Очерк пьесы «Везувий зев открыл...». — Начало стихов к Мордвинову: «Под хладом старости...», отношение их к оде Петрова. — Окончание стихов к Мордвинову.

Вероятно, Пушкин считал себя не вправе бросать без внимания эти невольные проявления зиждущей способности даже в минуты ее наружного покоя. Звуки, по собственному его выражению, беспрестанно переливались и жили в нем; но следует прибавить, что он внимательно прислушивался к ним, что он наслаждался ими почти без перерыва. Это было важное дело его жизни, несмотря на все усилия его скрыть тайну свою от света и уверить других в равнодушии к поэтической своей способности. Отдельные листки и страницы его тетрадей поражают этими стихотворными нотами разных метров и разных ключей, возникшими мгновенно и сбереженными самим художником в минуту их рождения. Постараемся разобрать их.

Прежде всего останавливают здесь внимание обломки, так сказать, впечатлений, данных природой, краски и черты, подобранные наскоро, чтоб сохранить явления, быстро и мгновенно скользнувшие по фантазии поэта:

I

Надо мной в лазури ясной
Светит звездочка одна;
Справа — запад темно-красный,
Слева — бледная луна[1].

II

Стою печально на кладбище,
Гляжу — кругом обнажено
Святое смерти пепелище,
И степью лишь окружено.
И мимо вечного ночлега
Дорога сельская лежит:
. . . . .телега
. . . . .стучит[2].

III

Стрекотунья белобока,
Под калиткою моей
Скачет пестрая сорока
И пророчит мне гостей.
Колокольчик небывалый
У меня звенит в ушах...
Луч зари сияет алой...
Серебрится снежный прах![3]

Фантастический, едва уловимый образ этого стихотворения особенно мог бы поддаться переложению на музыку. Оно имеет некоторое сходство по духу с тем, которое следует ниже, но в последнем уже капризно и свободно замешано явление действительного быта, как это не раз делал Пушкин:

IV

Колокольчики звенят,
Барабанчики гремят,
А люди-то, люди —
Ай, люшеньки-люли! —
А люди-то, люди
На цыганочку глядят.
А цыганочка-то пляшет.
В барабанчики-то бьет,
И шириночкой-то машет,
Заливается-поет:
«Я певунья, я певица,
Ворожить я мастерица!»[4]

Мы могли бы увеличить еще выписки, если бы не останавливала нас совершенная невозможность уловить иногда мысль и стих во многих из них. Заметки эти автор только писал для самого себя и один знал настоящий смысл и форму их.

Вот один пример этих гиероглифов, остающихся еще в значительном количестве между рукописями его:

V

Только что на проталинах весенних
Показались ранние цветочки,
Как из царства воскова,

Из душистой келейки медовой
Вылетает первая пчелка.
Полетела по ранним цветочкам
О красной весне разведать:
Скоро ль будет гостья дорогая?
Скоро ли луга зазеленеют...
Распустятся клейкие листочки...
Зацветет черемуха душиста?..[5]

Ко второму отделу заметок должно уже отнести все чисто лирические звуки, в которых заключен один порыв души, одна мысль, тревожно мелькнувшая в голове поэта. Они писаны в разное время, и в цепи стихотворений настоящее место их известно было только самому автору. Теперь уже нет возможности определять их порядок и сообщать какую-либо классификацию.

VI

Там на берегу, где дремлет лес священный,
Твое я имя повторял,
Там часто я бродил уединенный
И в даль глядел... и милой встречи ждал[6].

VII

И чувствую, душа
Твоей любви, тебя достойна;
Зачем же не всегда
Чиста, печальна и покойна?..[7]

VIII

Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей[8].

IX

Счастлив тот, кто близ тебя, любовник упоенный,
Без томной робости твой ловит светлый взор,
Движенья милые, игривый разговор
И след улыбки незабвенной[9].

X

Два чувства дивно близки к нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам[10].

XI

Забыв и рощу, и свободу,
Невольник — чижик надо мной
Зерно клюет, и брызжет воду,
И песнью тешится живой[11].

XII

«Все кончено; меж нами связи нет».
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени:
«Все кончено» — я слышу твой ответ[12].

Читатель, вероятно, заметил, что некоторые из приведенных нами стихотворных фраз принадлежат уже к известной поэтической деятельности автора; так, обозначенная цифрой IX — к ряду антологических его произведений, писанных в Крыму, а XII, может быть, — к тем лирическим песням, в числе которых считается «Заклинание». Но есть между ними и такие, которые не тронуты с минуты их изложения. Пушкин, вероятно, забыл об них, вместе, может быть, с чувствами, возбудившими поэтическую мысль. Поблеклые от времени и пренебреженные самим автором, они сохранились в бумагах его, как сохраняется у знаменитого художника старый рисунок его, на который, при случае, он бросит взгляд с участием...

К третьему отделу заметок мы относим все стихотворные фразы, записанные Пушкиным на лету, для печати. Они уже не относятся к какому-либо впечатлению извне или к душевной его повести, а представляют только подробности, орнаменты, части созданий, замышленных в тиши кабинета. Работающая фантазия поэта тотчас помечала оборот или идею, мелькнувшие в голове, для употребления их в дело, когда наступит час творчества. К некоторым он сам приложил указания, куда следует отнести их, а другие очертил кругом, отделявшим их от всего написанного рядом. Значительное количество таких заметок рассеяно по разным местам всей его кипы бумаг.

(По расчислению философических таблиц.
«Евгений Онегин». Песнь VII)

Как нянька бедная,
За вами я слежу[13].

Порой воспоминанье
Как тень опять бежит ко мне...
. . . .
Грызет мне сердце в тишине[14].

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран;
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман[15].

Без труда можно было бы увеличить объем этого отдела, в котором записаны первые проблески поэтических идей или оборотов, развитых впоследствии автором их, но цель, какую имели в виду, достигается и этими немногими приложениями.

Весьма значительную часть в отрывках составляют все те переводы иностранных поэтов, все те подражания им, посредством которых Пушкин любил испытывать свою способность усваивать чуждые приемы и принимать, по произволу, различные формы и оттенки стихотворства. Это была, так сказать, его поэтическая забава. К этому отделу должно отнести и перевод из «Орландо», о котором уже говорено. Так точно он в шуточном виде перенимал александрийский важный стих Буало, после него старался подделаться под ребяческую сентиментальность трубадура, затем переходил к риторической торжественности Альфиери и, наконец, даже пробовал передать бесцветную текучесть светского разговора во французской комедии. По всему этому остались образцы в тетрадях его. Вот подражание Буало:

XIII

Французских рифмачей суровый судия,
О классик Депрео, к тебе взываю я!
Хотя, постигнутый неумолимым роком,
В своем отечестве престал ты быть пророком,
Хоть дерзких умников простерлася рука
На лавры твоего густого парика,
Хотя, растрепанный новейшей вольной школой,
К ней в гневе обратил ты свой затылок голый, —
Но я молю тебя, поклонник верный твой,
Будь мне вожатаем! Дерзаю за тобой
Занять кафедру ту, с которой в прежни лета
Ты слишком превознес достоинство сонета,
Но где торжествовал твой здравый приговор
Минувших лет глупцам, вранью тогдашних пор!
Новейшие врали вралей старинных стоят,
И слишком уж меня их бредни беспокоят!
Ужели все молчать да слушать?.. О беда!
Нет, все им выскажу однажды навсегда.
О вы, которые, восчувствовав отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу,
Тисненью предавать труды свои спеша,
Постойте! Наперед узнайте, чем душа
У вас исполнена...[16]

Надо прибавить, что отрывок этот, как и отрывок из комедии, едва набросан карандашом. Вот романс трубадура:

XIV

«С португальского: Gonzago»

Там звезда зари взошла,
Пышно роза процвела:
Это время нас, бывало,
Друг ко другу призывало

На постеле пуховой
Дева сонною рукой

Протирала темны очи,
Удаляя грезы ночи.

И являлася она
У дверей иль у окна
Ранней звездочки светлее,
Розы утренней свежее.

Лишь ее завижу я,
Мнилось, легче вкруг меня
Воздух утренний струился;
Я вольнее становился.

Я красавицы моей,
Меж овец деревни всей,
Знал любимую овечку
И водил ее на речку.

На тенистые брега,
На зеленые луга;
Я поил ее, лелеял,
Перед ней цветочки сеял.

И певал, бывало, ей
Пред красавицей моей;
Она песне улыбалась,
Но блаженство миновалось!

Где красавица моя?
Одинокий плачу я.
Заменили песни нежны
Стон и слезы безнадежны[17].

От этих детских томных излияний переходим к отрывку из Альфиери. Это перевод монолога Изабеллы из лучшей его трагедии «Филипп II», но здесь останавливает нас весьма любопытная подробность. Мы можем определить время изложения отрывка. В 1827 году Пушкин перечитывал трагедию Альфиери в переводе адмирала Шишкова и остановился на первом явлении ее, содержащем, как известно, монолог Изабеллы. А. С. Шишков передал белые стихи итальянского драматурга так:

ДЕЙСТВИЕ I. ЯВЛЕНИЕ 1

Изабелла

«Желание, страх, сомнительная и преступная надежда, ступайте из груди моей! — Филиппова сына, неверная Филиппу жена, дерзаю я любить? я! — Но кто может видеть его и не любить? Смелое, исполненное человеколюбия сердце, благородная гордость, высокий ум и в прекрасном теле прекраснейшая душа — ах! для чего природа и небо сотво-

рили тебя таковым?.. Увы! что я говорю? Так ли сладкий образ его вырываю из глубины моего сердца? О! ежели бы о сем пламени кто-нибудь из живущих на земли был известен! О! ежели бы мог он сам подозревать его! Он всегда печальну меня видит... печальну, правда, но в то же время и убегающу от лица его; и знает, что всякое веселие изгнано из Гишпании — а в сердце у меня кто может прочитать? Ах! когда бы сама я, что происходит в нем, столько же, как и другие, не знала! о! если бы могла обманывать себя, убегать от себя самой так же, как от других!.. Несчастная! слезы одна мне отрада; но и слезы преступление. — Сокроем далее внутрь храмин моих печаль мою; там свободнее... Что я вижу? Карл? Ах, уйдем: каждое слово мое, каждый взгляд могут мне изменить: о небо! уйдем».

В параллель с этим переводом и почти следуя за всеми его выражениями, с некоторыми изменениями в конце, Пушкин передал в пятистопных белых стихах монолог Альфиери. Это столько же прямой перевод с итальянского, сколько и обращение прозы А. С. Шишкова в метр и стопы.

XV

(Из Alfieri)

Сомненье, страх, порочную надежду
Уже в груди не в силах я хранить;
Неверная супруга ⟨я⟩ Филиппу —
И сына я его любить дерзаю!
Но как же зреть его и не любить?
Нрав пылкий, добрый, гордый, благородный,
Высокий ум с наружностью прелестной...
Прекрасная душа!.. Зачем природа
И небеса таким тебя создали?
Что говорю? Ах, так ли я успею
Из глубины сердечной милый образ
Искоренить? О, если пламень мой
Подозревать он станет! Перед ним
Всегда печальна я; но избегаю
Я встречи с ним. Он знает, что веселье
В Испании запрещено. Кто может
В душе моей читать? Ах, и самой
Не должно мне!.. И он, как и другие,
Обманется — и станет, как другие,
Он убегать меня... Увы мне, бедной!..
Другого нет мне в горе утешенья,
Окроме слез, и слезы — преступленье!
Иду к себе; там буду на свободе...
Что вижу? Карл! Уйдем. Мне изменить
И речь и взор — все может. Ах, уйдем.

Подражание тону французской комедии, и притом еще в приложении ее к русскому быту, также принадлежит, по нашему мнению, к капризу художника и к мысли посмотреть, как составляются подобные произведения у нас. Может

быть, и этот любопытный отрывок порожден какой-нибудь ближайшей причиной, которая уже для нас потеряна.

Всё жалобы, упреки, слезы — мочи нет;
Откланяюсь пока, она мне надоела;
К тому ж и без нее мне слишком много дела:
Я отыскал за Каменным мостом
Вдову с племянницей; пойду туда пешком
Под видом будто бы невинного гулянья.
Ах, матушка! Предвижу увещанья!
А, здравствуйте, maman. — «Куда же ты, постой.
Я шла к тебе, мой друг. Мне надобно с тобой
О деле говорить». — Я знал. — «Имей терпенье,
Мой друг. Не нравится твое мне поведенье...» —
А в чем же? — «Да во всем; во-первых, ты жены
Не видишь никогда — точь-в-точь разведены:
Адель всегда одна, все дома; ты в карете,
На скачке, в опере, на балах, вечно в свете;
Или нельзя никак с женою посидеть?..»[18]

Так забавлялся про себя поэт наш всеми видами стихотворства и бросал некоторые черты, наиболее остановившие его внимание, на бумагу, как скиццы или очерки. Между прочим, к этому отделу принадлежат почти все его позднейшие подражания древним. Собранные посмертным изданием его сочинений без порядка и без всякой оговорки, они давно уже поражали читателей слабостию стиха и отделки, не имевших ничего общего с обыкновенными признаками его произведений: силой содержания и оконченностью внешней формы. Дело в том, что антологические пьесы Пушкина есть точно такие же отрывки, записанные наскоро и без особенного внимания, как и те, которые приведены здесь. Это опять программы произведений, но не произведения; результат первого впечатления от чтения древних поэтов и артистической потребности воспроизвести содержание и манеру их. Таковы «LVII ода Анакреона», «Отрывок из Анакреона»[19], «Бог веселый винограда...», «Юноша, скромно пируй...», «Мальчик»[20], «Юношу, горько рыдая...», «От меня вечор Леила...», «Не розу Пафосскую...», «Подражание арабскому». Все эти пьесы найдены нами в особенном пакете, куда вложены были, вероятно, самим Пушкиным. Можно бы присоединить к отрывочным стихотворениям и такие, как «Паж, или 15-й год», романс «Пред испанкой благородной...» и несколько других. Они стоят теперь рядом со всеми изящнейшими произведениями его и по качествам своим сильно отличаются от этих полных и обдуманных созданий*.

---

* В бумагах Пушкина сохранилось еще несколько отрывков из посланий к друзьям, нигде не напечатанных: лица, имеющие их в руках своих в полном и оконченном виде, вероятно, сообщат публике эти весьма любопытные произведения нашего поэта. Мы не имеем возможности приводить здесь

Последний отдел отрывков составляют, наконец, стихотворения, обозначенные единственно рифмами, которые, таким образом, походят как будто на раму, заготовленную для принятия поэтической мысли. Нужно ли говорить, что стихотворение у Пушкина не цеплялось за рифмы, изготовленные прежде, чтоб выйти на свет, как это делается у тружеников стихотворства, а что рифмы были у него такие же пометки для сбережения мысли в целости, какие представляют нам все его программы? Из многих примеров этого способа создания, находящихся у нас под руками, приведем один. Под живым впечатлением знаменитого произведения К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» Пушкин начал поэтическую картину извержения Везувия и гибели древнего города, с ясным намерением идти не только параллельно с живописным рассказом художника, но и передать его одушевление, его энергию и краски. И вот как записал Пушкин свою собственную картину, которая должна была соперничать, в другом роде изящного, с созданием художника:

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом, пламя
Широко развилось, как боевое знамя...
Земля волнуется... с... колонн
Кумиры падают! ...стон
.... народ, гонимый страхом,
(Под каменным дождем)...
И воспаленным прахом
Бежит...... пожар блеща...[23]

урывки, которые, статься может, совсем не похожи на настоящие стихотворения. Вот пример такого послания к одному из товарищей поэта:

К М*

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!
Спокойной пристани давно ли ты достиг?
Давно ли тишины вкусил отрадный миг?
И снова ты бежишь Европы обветшалой...[21]

В «Москвитянине» 1841 года (№ 10) г. И. Добр-н, в письме к издателю его о сочинениях Пушкина, приводит неизданное стихотворение Пушкина «Циклоп»:

Язык и ум теряя разом,
Гляжу на вас единым глазом:
Единый глаз в главе моей.
Когда б судьбы того хотели,
Когда б имел я сто очей,
То все бы сто на вас глядели.

Г. Добр-н сопровождает это стихотворение замечанием, которое остается для нас необъяснимым. «Оно (стихотворение. —⟨*П. А.*⟩) напечатано, — говорит он, — вместе с другими французскими и немецкими стихами, сделанными на тот же случай в немногих экземплярах. Я имел удовольствие видеть один из них и читал между ними русские стихи И. А. Крылова, которых, к сожалению, не могу припомнить»[22]. Таких отдельных произведений, таящихся в руках знакомых и приятелей поэта, вероятно, еще много.

С опасением докучных повторений скажем, что из таких бессвязных намеков, где только слышатся окончания стихов, создавал Пушкин картины высокого пластического совершенства, и сейчас же приводим замечательный пример этому.

Перебирая бумаги поэта, мы встретили одно стихотворение его, принадлежащее к тому же отделу черновых отрывков, которыми теперь занимаемся, но уже в нем заключен образ столь яркий и смелый, что, кажется, недостает только самой легкой отделки для превращения его в полную и превосходную поэтическую картину в классическом роде. Можно подивиться, как пьеса эта затерялась в бумагах Пушкина и не заслужила его внимания. Представляем здесь первые три ее строфы:

Под хладом старости угрюмо угасал
Единый из седых орлов Екатерины.
В крылах отяжелев, он небо забывал
И Пинда острые вершины.

В то время ты вставал: твой луч его согрел:
Он поднял к небесам и крылья и зеницы —
И с шумной радостью взыграл и полетел
Во сретенье твоей денницы.

М⟨ордвинов⟩! Не вотще Петров тебя любил:
Тобой гордится он и на брегах Коцита.
Ты лиру оправдал: ты ввек не изменил
Надеждам вещего пиита!..

Отрывок этот, писанный, вероятно, в 1825 году[24], кроме своего достоинства и интереса, связанного с историей его происхождения, имеет еще интерес по отношению к старой литературе нашей. Угасавший орел Екатерины, поэт Петров, на 60-м году своей жизни написал известную свою оду «Его высокопревосходительству адмиралу Николаю Семеновичу Мордвинову» 1796 г. (см. сочинения Петрова, часть 2, стр. 182, изд. 1811 года), которая блестит если не изяществом внешней отделки, то глубоким чувством дружбы и расположения. Они делают ее трогательной, несмотря на отсутствие поэтических красок... Теплота и одушевление оды Петрова становятся тем заметнее, чем труднее уже старцу-поэту справиться с непокорным материалом, с версификацией строфы. Вся пьеса есть образец истинного чувства, не обретающего поэтической формы для выражения своего. Стихотворение Пушкина указывает не только на послание Петрова, но еще как будто особенно связано с одной строфой его, которую здесь выписываем:

Твоя, о друг, еще во цвете раннем младость,
Обильный обещая плод,
Лила во мысли мне живу, предвестну радость:
Ты будешь отчества оплот!

Свершение надежды,
Моими зря днесь вежды
И славу сбытия,
Не возыграю ль я!

Пушкин, подхватив мысль поэта-старца, развивает ее в духе стремления к пластической передаче явлений, что составляет отличительное качество так называемой классической поэзии. Строфа, изображающая пробуждение старого орла, есть как будто дополнение строфы Петрова, сделанное спустя 30 лет и поэтом, в котором идеи предшественников обнаруживают только новую сторону творческой силы. Следующие за ней уже пять — не более как стихотворные заметки, и характер этот обнаруживается даже в самом механизме их:

Как славно ты сдержал пророчество его,
Сияя доблестью, и славой, и наукой,
В советах недвижим у места своего
Стоишь ты, новый Долгорукий!

Так, ... с вершины горы скатясь,
Стоит седой утес. Вотще брега трепещут,
Вотще грохочет гром и волны, вкруг мутясь,
И увиваются и плещут!

Один, на рамена подъявши мощный труд,
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною!
Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою...

На этом замечательном произведении кончаем пересмотр отрывков. Мы видели прежде кабинетную деятельность поэта; теперь покидаем вместе с читателем обширную мастерскую художника, где навалены груды разнородных материалов с неясными пометками его и где со всех сторон бросаются в глаза рисунки, модели, частности и обломки произведений, вполне возбуждающие внимание, но иногда не вполне удовлетворяющие его.

ГЛАВА XXX

Продолжение 1832 года. Весна и лето 1833 года. Плодовитость обоих в литературном отношении: Возвращение к 1832 г. — Пушкин продает Смирдину право полного издания «Онегина». — Третья часть собрания стихотворений Пушкина. — Проект основать политико-литературную газету. — Мысли Пушкина по поводу этого проекта. — В какой мере издание газеты соглашалось с характером Пушкина. — Дозволение на газету и ответ Пушкина друзьям на вопросы их по этому предмету. — Статейки, заготовленные в виде образчика для газеты. — Работа в архивах с зимы 1832 г. — 7 января 1833 г. Пушкин — член Российской Академии; статьи его «Российская Академия», «О мнении

М. А. Лобанова». — Весною 1833 г. Пушкин живет на Черной речке. — Труды и купание его. — К осени 1833 г. у Пушкина готовы «Материалы для истории Пугачевского бунта», черновые оригиналы «Капитанской дочки», «Русалки», «Дубровского».

Возвращаемся назад к 1832 году. Существование Пушкина в это время расширялось все более и более, и жизнь начинала принимать размеры, для поддержания которых требовалась постоянная деятельность и усиленная работа. Продав полное издание «Онегина» книгопродавцу Смирдину, он вместе с тем выдал третью часть собрания стихотворений своих (первые две явились в 1829 г., а четвертая, последняя, в 1835). В поисках своих для обеспечения новых потребностей жизни и покрытия старых недочетов он остановился на мысли основать политико-литературную газету наподобие тех, какие уже существовали у нас[1]. На все это дело он смотрел преимущественно с коммерческой стороны и в поводах, изложенных им для осуществления своей мысли, она же стоит на первом плане. Мы имеем вчерне весьма любопытный документ, прилагаемый здесь:

«10 лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности: читателей было еще мало. Книжная торговля ограничивалась переводами кой-каких романов и перепечатыванием сонников и песенников.

Человек, имевший важное влияние на русское просвещение, посвятивший жизнь единственно на ученые труды, Карамзин первый показал опыт торговых оборотов в литературе. Он и тут (как и во всем) был исключением из всего, что мы привыкли видеть у себя.

Литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, т. е. торговое. Ныне составляет она часть частной промышленности, покровительствуемой законами.

Из всех родов литературы периодические издания более приносят выгод, и чем разнообразнее по содержанию, тем более расходятся.

Одна «Газета», издаваемая двумя известными литераторами, имея около 3000 подписчиков, естественно, должна иметь большое влияние на читающую публику, следственно, и на книжную торговлю.

Всякий журнал имеет право говорить мнение свое о нововышедшей книге столь строго, как угодно ему. «Газета» пользуется сим правом, и хорошо делает.

Автору осужденной книги остается ожидать решения читающей публики или искать управы и защиты в другом журнале, но журналы чисто литературные вместо 3000 подписчиков имеют едва ли и 500, — следственно, голос их в его пользу был бы вовсе не действителен.

Для восстановления равновесия в литературе необходим журнал, коего средства могли бы равняться средствам «Газеты»[2].

Неопытность Пушкина в собственном деле обнаружилась здесь сильнее, чем когда-либо, хотя мы имеем и кроме того множество других доказательств, что результаты его финансовых предприятий почти всегда были в обратном отношении с надеждами и первой пылкой мыслию, их порождавшей. Практический смысл Пушкина, о котором мы часто упоминали, проявлялся в мире умственных требований весьма ясно, но часто изменял ему, когда дело шло о требованиях другого рода. Никогда не мог быть поэт наш издателем журнального листка. Необходимость ежедневного выхода перед публикой, отдачи своей мысли по мелким частям — все это было уже противно его природе. Не говорим о том, что Пушкин не мог бы приобресть, даже с помощию долгого времени, той сноровки издателя газеты, которая заменяет ему часто знание и размышление и так необходима в его спешной работе. Однако же просьба и домогательства его увенчались успехом. Он получил дозволение на издание газеты, но почти на другой же день писал с досадой к друзьям, отвечая на их любопытные расспросы: «Какую программу хотите вы видеть? Известие о курсе, о приезжающих и отъезжающих — вот вам и вся программа. Я хотел уничтожить монополию... Остальное мало меня интересует»[3] и проч. Вместе с тем, откладывая день за день исполнение своего предприятия, Пушкин наконец совсем потерял его из виду и забыл об нем, как и следовало ожидать[4]. Некоторое время еще оставались в руках его друзей статейки, приготовленные им для газеты в виде образчика. Эти последние свидетели намерения его теперь сохраняются в бумагах его, как примеры мастерского изложения событий[5].

Другого рода занятия, более строгие и более плодотворные, ожидали поэта в ту же эпоху. С зимы 1832 года он стал посвящать все свое время работе в архивах, куда доступ был ему открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей в Морской (дом Жадимеровского) отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью. Так протекла зима 1832 года. 7-го января следующего, 1833, года он был принят в число членов императорской Российской Академии, и диплом, выданный ему на звание это 13-го числа того же месяца, скреплен подписью тогдашнего президента ее, адмирала Александра Семеновича Шишкова. В остальную часть зимы Пушкин прилежно посещал заседания Академии по субботам: он вообще весьма серьезно смотрел на труды и обязанности ученого сословия, что доказывается и некоторыми статьями его, каковы «Российская Ака-

демия» и «О мнении М. А. Лобанова»*. Весной 1833 года он переехал на дачу, на Черную речку, и отправлялся пешком оттуда каждый день в архивы, возвращаясь таким же образом назад. Как только истощались его силы от усиленного физического и умственного труда, он шел купаться, и этого средства уже достаточно было, чтоб снова возвратить ему бодрость и способности. При такой непрерывной и страстной деятельности немудрено, что к осени 1833 года были у него готовы материалы для «Истории Пугачевского бунта», написана вчерне «Капитанская дочка»[6], и в портфелях лежали почти совсем обделанные «Русалка» и «Дубровский».

ГЛАВА XXXI

«История Пугачевского бунта», «Капитанская дочка», «Русалка», «Дубровский». Пушкин и Гоголь: «История Пугачевского бунта». — Перечисление архивов и книгохранилищ, которые открыты были для Пушкина. — Характер его работ. — Работа и свет. — «Капитанская дочка» идет об руку с «Историей Пугачевского бунта». — Она служит предлогом к поездке в Казань и Оренбург. — Черновой отрывок, из коего составлена просьба об отпуске. — «Русалка», черновой оригинал в тетрадях 1829 г. — Пометка после первой сцены, ее значение. — Программа драмы. — Родство драмы с песнию «Яныш-королевич». — Время появления в свет «Капитанской дочки», «Русалки», «Дубровского». — Когда написан и издан в свет «Арап Петра Великого». — (1827—37). — Сцена, выброшенная из «Русалки». — Двойная редакция песен русалок в IV действии, либретто для оперы. — Значение «Русалки» в истории пушкинского творчества. — Значение «Дубровского» и отношение к Гоголю. — Явление Гоголевых «Вечеров». — Знакомство Гоголя с Пушкиным. — Слова Гоголя об отношениях Пушкина к нему. — Сюжет «Мертвых душ» и «Ревизора». — Мнение Пушкина о Гоголе. — Анекдот 1829 г., касающийся последнего. — Отрывки из письма Пушкина 1832 г., касающиеся «Дубровского», издания «Сочинений Баратынского», оперы Вельтмана «Летняя ночь», компониста Есаулова.

При собирании документов для истории Петра Великого Пушкин встретился с материалами, которые показались ему столь важными, что он положил их в основание побочного исследования, нисколько не упуская из вида главного предмета своих розысков. Второстепенный, эпизодический труд этот породил «Историю Пугачевского бунта», вышедшую в 1834 году[1]. Здесь кстати будет перечислить все места, с ко-

---

* Мы еще не упомянули, что весной 1830 г. Пушкин был выбран также членом и «Общества любителей российской словесности», существовавшего тогда в Москве. Известно, что в периодическом издании этого общества появились некоторые из первых его произведений. Однако ж Пушкин ни разу не присутствовал в заседаниях общества и шутя говорил о нем, что оно уже до излишества выказывает отличительное свойство Москвы — гостеприимство.

торыми Пушкин вошел в сношения после всемилостивейшей доверенности, облекшей его правом пользования сокровищами государственных архивов. Вслед за первым дозволением, он получил высочайшее согласие на рассмотрение библиотеки Вольтера, находящейся в императорском Эрмитаже (29 февраля 1832); затем получил право сноситься с С.-Петербургским архивом инспекторского департамента и с московским отделением его, препроводившим к нему три книги, касавшиеся до истории графа Суворова-Рымникского, вместе с донесениями и реляциями фельдмаршала во время кампаний 1794, 1799 и частию 1800 года. Вместе с тем ему открыт был главный Московский архив министерства иностранных дел, которому, между прочим, посвятил он несколько месяцев 1836 года — последнего года своей жизни. С сокровищами государственного архива он ознакомился под руководством и наблюдением его сиятельства графа Димитрия Николаевича Блудова. Так разнообразны были археологические занятия Пушкина. Во всем этом особенно изумительно распоряжение его своим временем, способность сохранять неослабно строгую задачу жизни в среде обширного знакомства, какое он имел, и между разнообразнейшими требованиями и наслаждениями общества, которыми никогда не пренебрегал. Мысль его сберегалась без ущерба в шуме забот и во всем ходе великолепной столичной жизни. Несмотря на непрерывную деятельность свою, он еще находил время (и много времени) для исполнения условий и необходимостей личного своего положения. Редко изменяла ему нравственная сила, потребная для того, чтобы сохранять равновесие между противоположными впечатлениями такой жизни и не допускать развития менее важной стороны ее на счет другой. Эти редкие минуты наступали особенно тогда, когда, по стечению случайных обстоятельств, рассеяния и заботы слишком выдавались вперед. Никогда не следовал он, да и не мог следовать, афоризму, произнесенному им в статье о Вольтере: «Настоящее место писателя есть его ученый кабинет». Правда, он жаловался, если на некоторое время одна сторона жизни его перемогала другую, но это принадлежало к минутным случайностям жизни. Так, в 1833 году писал он в Москву: «Заботы о жизни мешают мне скучать, но нет у меня досуга... необходимого для писателя... Кручусь в свете... все это требует денег: деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения»[2]. После таких жалоб Пушкин снова возвращался к обыкновенному течению жизни и старался восстановить равновесие между ее противоположными элементами. В такой раме заключена была его поэтическая и ученая деятельность. Рядом с своим историческим трудом Пушкин начал, по неизменному требованию артистической природы, роман «Капитанская дочка», который представлял

другую сторону предмета — сторону нравов и обычаев эпохи[3]. Сжатое и только по наружности сухое изложение, принятое им в истории, нашло как будто дополнение в образцовом его романе, имеющем теплоту и прелесть исторических записок. Оба произведения были кончены в одно время[4], и когда в августе 1833 г. собрался он посетить Оренбург и Казань, то в числе причин, побуждающих его к этой поездке, представлял и необходимость довершить роман на тех самых местах, где происходит его действие. Коммерческие соображения занимают тут, как и всегда, свою долю. Все это можно видеть из чернового отрывка, с которого, вероятно, составлена была просьба об отпуске, поданная им своему начальству по службе: «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но они доставляют мне способ проживать в С.-Петербурге, где труды мои, благодаря начальству, имеют цель более важную и полезную. Если угодно будет знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии... 30 июля. Черная речка»[5].

«Русалка», мы уже знаем, не имела оглавления у Пушкина. В рукописях его сохраняется одна перебеленная копия ее, с пометкой после первой сцены: «12 апреля 1832»[6], хотя первые неясные черты драмы встречаются уже в тетрадях 1829 года[7]. Это превосходное создание особенно поражает соединением фантастического сказочного содержания с истинно драматическим положением лиц, отчего в одно время и в удивительной гармонии развивается чудное и сверхъестественное обок с самым определенным содержанием и с картиной старого русского быта. Изящество отделки в этом отрывке достаточно известно публике, но прямое участие фантастического мира в делах земли, обещавшее новое развитие страстей и положений, новые откровения человеческого сердца, внезапно прерывается с появлением молодой Русалочки и со словами Князя: «Откуда ты, прекрасное дитя?» Программа не открывает нам ничего далее. Вот в каком виде находится она в бумагах:

Мельник и его дочь.
Свадьба.
Княгиня и мамка.
Русалки.

Князь, старик и Русалочка.
Охотники.

Только «охотники» еще не тронуты были автором, но теперь они ничего не выражают и не дают ни малейшей пищи любопытству исследователя. Дальнейшее развитие фантастической драмы должно искать не тут, а в чешском сказании «Яныш-королевич», которое переведено было Пушкиным и помещено в «Песнях западных славян». В пьесе «Яныш-королевич» находим первую мысль «Русалки», и замечательно, что Пушкин перевел из сказания столько, сколько переложил в драму, а об остальной части вскользь упомянул в примечаниях к «Песням западных славян»: «Песня о Яныше-королевиче в подлиннике очень длинна и разделяется на несколько частей. Я перевел первую, и то не всю»[8]. Перебеленная рукопись Пушкина сохраняет еще множество помарок и исправлений карандашом, из которых одни вошли в текст при печатании драмы, а другие не могли войти, будучи только непонятными намеками на поправки*. Между прочим, и в ней встречается одно место, зачеркнутое Пушкиным крест-накрест и которое действительно принадлежит к уклонениям фантазии, принявшей незаметно боковой, неправильный ход. По обыкновению, приводим это место для поучения молодым писателям. Во второй сцене драмы, после свадьбы Князя и укорительных слов Дружки девушкам за несвадебную песню их, в рукописи сцена еще продолжается:

Дружко

Уж эти девушки! Никак нельзя им
Не напроказить. Статочно ли дело
Мутить нарочно княжескую свадьбу.
Ба! это что? Да это голос князя...
(Девушка под покрывалом переходит через комнату.)
Ты видела?

Сваха

Да, видела.
Князь *(выбегает).*
Держите!
Гоните со двора ее долой!
Вот след ее — с нее вода течет.

---

* «Капитанская дочка» напечатана была при жизни автора в «Современнике» 1836 года, том четвертый. «Русалка» — в «Современнике» 1837 г., после смерти поэта, том шестой, а «Дубровский» уже сообщен был посмертным изданием сочинений Пушкина в 1841 году. Таким образом, первое произведение оставалось неизвестным публике 4 года, второе 5 лет, третье почти 9. Кстати сказать, что и «Арап Петра Великого» не имеет оглавления у Пушкина. Он был написан в 1827—1828 году, напечатан после смерти автора в «Современнике» же 1837 года, том шестой, и пролежал в тетрадях Пушкина тоже с лишком 9 лет.

Дружко

Юродивая, может статься. Слуги,
Смеясь над ней, ее, знать, окатили.

Князь

Ступай прикрикни ты на них. Как смели
Над нею издеваться и ко мне
Впустить ее? *(Уходит.)*

Дружко

Ей-богу, это странно.
Кто там? *(Входят слуги.)* Зачем пустили эту девку?

Слуга

Какую?

Дружко

Мокрую.

Слуга

Мы мокрых девок
Не видали.

Дружко

Куда ж она девалась?

Слуга

Не ведаем.

Сваха

Ох, сердце замирает.
Нет, это не к добру.

Дружко

Ступайте вон,
Да никого, смотрите, не впускайте.
Пойти-ко мне садиться на коня.
Прощай, кума.

Сваха

Ох, сердце не на месте.
Не в пору сладили мы эту свадьбу.

Взамен обаятельные песни русалок в 4 сцене драмы имеют еще у Пушкина двойную редакцию. Рядом с первым текстом, принятым всеми изданиями:

Поздно. Волны охладели,
Петухи вдали пропели,
Высь небесная темна,
Закатилася луна, —

у Пушкина еще стоит другой:

Поздно. Рощи потемнели,
Холодеет глубина,
Петухи в селе пропели,
Закатилася луна[9].

В первой песне русалок, после стихов:

И зеленый, влажный волос
В нем сушить и отряхать, —

Пушкин сбоку, словно намереваясь еще продолжать ее, написал:

Слушать ухом ненасытным
Шумы разные земли...

Следующий затем речитатив русалок, начинающийся во всех изданиях так:

Тише! птичка под кустами
Встрепенулася во мгле,—

может быть читан еще и так:

Тише, тише! под кустами
Что-то дрогнуло во мгле[10].

Нам кажется даже, что эти вторые редакции еще лучше первых. По некоторым рассказам, сообщенным недавно публике, можно заключить, что Пушкин смотрел на «Русалку» свою как на либретто для оперы[11]. В таком случае ни одна страна Европы не имеет либретто, более исполненного чудной поэзии, более близкого к гениальному воспроизведению в искусстве народных представлений. Нам кажется, однако ж, что «Русалка» Пушкина есть вместе и его лебединая песнь, которой он прощался с вольным артистическим взглядом своим на предметы, переходя к определенному строгому направлению, где артист уже подчиняется идее, им самим избранной для себя.

Повесть «Дубровский» тоже не имела заглавия у Пушкина, место которого занимает пометка «21-го октября 1832 года»[12]. Затем уже автор помечал каждую главу до последней (см. примечания к роману), конченной 3 января, так что вся повесть была написана с небольшим в три месяца, и притом еще карандашом для скорости[13]. Эта быстрота сочинения объясняет некоторые перерывы и отчасти романический конец ее, который разноречит с сущностию всего остального содержания, замечательного строгой верностию с дей-

ствительным бытом и нравами описываемого общества. Пушкин нарисовал свою картину с особенной энергией, а в характере Троекурова явился глубоким психологом. Вся повесть его и теперь поражает соединением истины и поэзии. В русской литературе мало рассказов, отличающихся таким твердым выражением физиономии: это живопись мастера. Весьма важно для литературных соображений и то, что «Дубровский» написан ранее произведений Гоголя из русского быта, веден иначе, чем они, и совсем в другом тоне; но мысль поставить современную жизнь на главный план, сохраняя ей те черты поэзии, драмы и особенностей, какие она заключает в себе, им обща.

В конце 1832 года Н. В. Гоголь жил неподалеку от Пушкина, в Малой Морской[14]. Он издал тогда вторую часть своих «Вечеров на хуторе», за которыми последовали «Миргород», «Арабески» и «Ревизор». Все это выходило под глазами, так сказать, Пушкина и друзей его*. Таким образом, со многими из произведений, заключавшимися в сборниках Гоголя, Пушкин знаком был еще до появления их: Н. В. Гоголь читал ему предварительно свои рассказы. Мы уже видели, с каким живым одобрением встретил он «Вечера на хуторе»; дальнейшее развитие Гоголя только увеличивало надежды его на будущность молодого писателя. Он понуждал его к начатию какого-либо большого создания, и Н. В. Гоголь сохранил нам слова поэта в одной из неизданных своих записок, слова, которые мы буквально переписываем здесь:

«Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и, наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего, мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение: это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за «Дон-Кишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями; и в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы, которого, по словам его, он бы не отдал друго-

* Издание «Вечеров» и самое заглавие этой книги (как ныне известно) задумано и совершено по совету П. А. Плетнева[15], который говорил тогда не умевшим ценить этот талант: «В его произведениях хранятся цельные куски золота».

му никому; это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.)»[16]

Итак, по сознанию самого Гоголя, и «Ревизор» и «Мертвые души» принадлежали к вымыслам Пушкина. В 1835 году, когда Гоголь знакомил петербургских друзей своих с первым из сих произведений и довольно часто читал комедию на вечерах у разных лиц, Пушкин не уставал слушать его. Наклонность поэта к веселости (самому драгоценному и самому редкому свойству в писателе, по его мнению) нашла здесь полное удовлетворение, как прежде в рассказе о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем — и над обоими произведениями смех его был почти неистощим. Серьезную сторону в таланте Гоголя постигал он, однако ж, с замечательной верностью. Он считал одно время «Невский проспект» лучшею повестью его[17]. В ней находил он замечательный шаг от идиллической, комической и даже героической живописи малороссийского быта к более близкой нам действительности, которая под своею ровною поверхностию таит множество источников поэзии и разработка которой делается тем почетнее, чем она труднее. Взгляд Гоголя на способ создания, его манера представления лиц и образов прямо, без оговорок и умствований, совпадала с мыслями, какие имел Пушкин о сущности и достоинстве рассказа. Даже неправильность языка, иногда так сильно бросающаяся в глаза, особенно в первых произведениях Гоголя, находила оправдание у человека, который писал к Погодину: «Надо дать языку нашему более воли»[18], а про себя говорил: «Прозой пишу я гораздо неправильнее*, а говорю еще хуже и почти так, как пишет Гоголь»[19]. Все это показывает несомненно одно: с ранних пор Пушкин прозревал в Гоголе деятеля, призванного дать новую жизнь той отрасли изящного, которую он сам пробовал с славой, но для которой потребен был другой талант, способный посвятить ей одной все усилия свои и подарить ее созданиями, долго и глубоко продуманными. На это и указывал он Гоголю, представляя тем самым еще раз подтверждение мысли, что в нравственном, как и в физическом, мире нет внезапных перескоков. То, что кажется явлением, отрезанным от всего прошедшего, при ближайшем рассмотрении оказывается естественным следствием предшествующего развития**.

---

* Т. е. стихов. Заметка, однако ж, не подтверждаемая прозаическими сочинениями Пушкина.

** Не можем удержаться, чтоб не привести здесь забавного рассказа самого Гоголя о попытках его познакомиться с Пушкиным, когда он еще не имел права на это в своем звании писателя. Впоследствии он был представлен ему на вечере у П. А. Плетнева, но прежде и тотчас по приезде в С.-Петербург (кажется, в 1829 году), Гоголь, движимый потребностью видеть поэта, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо

С другой стороны (и это весьма важно для большего пояснения самой личности нашего поэта), он не мог быть вполне доволен всем содержанием Гоголя в эту эпоху его развития. От зоркости пушкинского взгляда не могли укрыться и резкое по временам изложение мысли, и еще жесткое проявление силы, не покоренной искусством. И та и другая часто еще у Гоголя вырывались наружу помимо эстетических условий, ограничивающих и умеряющих их. Притом же Гоголь не обладал тогда и необходимою многосторонностию взгляда. Ему недоставало еще значительного количества материалов развитой образованности, а Пушкин признавал высокую образованность, как известно, первым, существенным качеством всякого истинного писателя в России. Но мысли свои о людях Пушкин высказывал чрезвычайно осторожно, ценя всего более лицевую сторону их жизни, как знаем. Наедине, однако ж, с особами, которым хотел показать признаки всей своей доверенности, он любил представлять образцы своего меткого определения характеров и наблюдательной способности. Отсюда и причина некоторых недоразумений как в отношении самого Гоголя, так и в отношении других его знакомых. Люди, слышавшие доверчивые его суждения, принимали их за нечто противоположное с теми, какие высказывал он перед светом, публично, когда собственно никакого противоречия между ними не существовало и одни не исключали других. Пишущий эти строки сам слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру: «Пушкин, — говорил Гоголь, — дал мне порядочный выговор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму и что куда бы он ни положил добро свое — бери его, а не ломайся»[20]. И таково было обаяние личности поэта нашего, что когда за три месяца до смерти Гоголя составитель этих материалов напомнил ему о Пушкине, то мог видеть, как переменилась, просветлела и оживилась его физиономия...*

из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера... Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «Дома ли хозяин», услыхал ответ слуги: «Почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал». — «Как же, работал, — отвечал слуга, — в картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения.

* В 1832 году Пушкин еще оторвался от всех важных своих занятий и уехал в Москву на 28 дней (с 12-го сентября) для приведения в порядок та-

ГЛАВА XXXII

Осень 1833 г. Поездка в Оренбург и Болдино: Стихотворение «Странник», написанное на Черной речке. — Пушкин получает разрешение ехать в Казань и Оренбург, заезжает в Болди-

---

машних дел, которые сильно беспокоили его. По возвращении своем в Петербург он написал к П. В. Нащокину письмо, которое вкратце передает почти все, что гораздо подробнее рассказано нами прежде: «Сие да будет моим оправданием, — пишет он, — в неаккуратности. Приехав сюда, нашел большие беспорядки в доме, принужден был выгонять людей, переменять поваров, наконец нанимать новую квартиру и, следственно, употреблять суммы, которые в другом случае остались бы неприкосновенными... Долг получишь в январе, как я уже распорядился, продав Смирдину второе издание «Онегина». Sur ce (засим *(франц.)*. — *Ред.*) — поговорим о деле. Честь имею тебе объявить, что первый том «Островского» кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение и под критику г. К⟨ороткого⟩. Я написал его в две недели, но остановился по причине жестокого ревматизма, от которого прострадал другие две недели, так что не брался за перо и не мог связать две мысли в голове. Что твои мемории? Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятно, да и тебе легче — незаметным образом вырастет том, а там, поглядишь, и другой. Мой журнал остановился, потому что долго не приходило разрешения. Нынешний год он издаваться не будет... Я и рад. К будущему успею осмотреться и приготовиться, покамест буду жаться понемногу. Мою статую я еще не продал, но продам во что бы то ни стало. К лету будут у меня хлопоты... Я такого мнения, что Петербург был бы для тебя пристанью и ковчегом спасения. Скажи Баратынскому, что Смирдин в Москве и что я говорил с ним об издании «Полных стихотворений Евгения Баратынского». Я говорил о 8 и 10 тысячах, а Смирдин боялся, что Баратынский не согласится, следственно Баратынский может с ним сделаться; пускай он попробует. Что Вельтман? Каковы его обстоятельства и что его опера? Прощай! 1832 года 2-го Октября, С.-П⟨етер⟩б⟨ург⟩»[21]. Письмо это требует некоторых пояснений. Во-первых, «Дубровский» назван в нем «Островским»[22], а во-вторых, место о статуе совсем не относится к «Медному всаднику», как замечено в «Москвитянине» (1851, № 23) в выноске, а к действительной бронзовой статуе, которой владел Пушкин и собирался продать. Опера г. Вельтмана носила название, если не ошибаемся, — «Летняя ночь». Содержание автор заимствовал, вероятно, из известной пьесы Шекспира. Она писалась для молодого музыканта А. П. Есаулова, замечательным способностям которого отдают справедливость все знавшие его коротко. Пушкин сам принимал в нем живейшее участие, и мы думаем, что, несмотря на оперу г. Вельтмана, он для А. П. Есаулова начал свою «Русалку». Он хотел вывести в люди неизвестного композитора... Романическая жизнь А. П. Есаулова заслуживала бы описания. От него известен нам один только романс на слова Пушкина «Расставание» («В последний раз твой образ милый...»), свидетельствующий о глубине чувства, даровании автора и его познаниях в гармонии. Вероятно, об этом романсе Пушкин писал в Москву: «Что ж не присылаешь ты есауловского романса, исправленного во втором издании? Мы бы его в моду пустили между фрейлинами»[23]. Не знаем, что помешало дальнейшему развитию и успехам музыканта, покровительствуемого Пушкиным. В письмах последнего, напечатанных в «Москвитянине» (1851), есть еще характеристика художника, неизвестно к кому относящаяся: «NN умирал с голоду и сходил с ума. SS и я — мы помогали ему деньгами скупо, увещаниями щедро. Теперь думаю отправить его в полк — камельмейстером. Он художник в душе и привычках, т. е. беспечен, нерешителен, ленив, горд и легкомыслен, предпочитает всему независимость. Но ведь и нищий независимее поденщика. Я ему ставлю в пример немецких гениев, преодолевших столько горя, дабы добиться славы и куска хлеба...»[24]

но. — В сентябре прибывает в Казань. — А. А. Фукс. — Сведения, сообщенные ею о пребывании Пушкина в Казани. — Портрет Каменева. — Выезд из Казани и путь в Оренбург. — Пребывание в Оренбурге, Даль, Пьянов, еще сведения об Есаулове. — Пушкин выезжает из Оренбурга 25 сентября и 2 октября является опять в Болдино. — Месяц творческой деятельности в Болдине. — Новый и последний вид творчества.

Мы видели, что с дачи своей на Черной речке, где, между прочим, написан был 26 июня «Странник» («Однажды, странствуя...»), к которому скоро возвратимся[1], Пушкин просил позволения ехать в отпуск, в Казань и Оренбург. Он получил разрешение на поездку 12-го августа[2], но начал свое путешествие, кажется, с Дерпта, где тогда жила К. А. К⟨арамзин⟩а[3]. В конце этого месяца мы уже находим его в Нижегородской губернии, в селе Болдине[4], откуда он и предпринял дальнейшее путешествие по губерниям. 6-го сентября Александр Сергеевич прибыл в Казань и на другой день рано утром отправился за 10 верст от города к Троицкой мельнице, где Пугачев стоял лагерем, а вечером посетил купца Крупеникова, бывшего в плену у самозванца. А. А. Фукс, супруга К. Ф. Фукса, замечательного человека, оставившего такую благодарную память по себе в Казани, рассказала нам пребывание Пушкина в городе и в ее доме («Казанские ведомости», 1844 г., № 2). Пушкин говорил с ней о значении магнетизма, которому верил вполне, передал анекдот о сделанном ему предсказании одной гадальщицей в Петербурге, разбирал и оценял современных ему литераторов и людей, прибавив по обыкновению: «Смотрите, чтоб все осталось между нами — сегодня была моя исповедь». Он хвалил также стихи самой хозяйки и, как будто скучая заботами, сопряженными с ученым трудом, заметил: «Как жалки те поэты, которые начинают писать прозой; признаюсь, ежели бы я не был вынужден обстоятельствами, я бы для прозы не обмакнул пера в чернилы». Всего замечательнее, что он два раза возвращался к портрету Гаврилы Петровича Каменева, находившемуся в кабинете хозяйки, и просил сведений о нем, обещаясь написать его биографию: «Это замечательный человек, — сказал он, — и сделал бы многое, ежели бы не умер так рано. Он первый отступил от классицизма, и мы, русские романтики, обязаны ему благодарностью»[5]. Известно, что означали эпитеты классический и романтический у Пушкина. С живою благодарностию покинул он и Казань, и семейство Фукса. На другой день, 8-го сентября, он до света еще уехал в Симбирск и 12-го числа был в селе Языкове (Симбирской губернии), принадлежащем поэту Н. М. Языкову. 14-го числа выехал он из Симбирска по направлению к Оренбургу и возвратился опять назад с третьей станции, выбрав другой тракт для путешествия, чему причиною была

случайная задержка в лошадях. Заяц, перебежавший ему дорогу и которого, по его словам, хотелось бы ему затравить на месте, — накликал ему эту помеху[6]. 19-го сентября прибыл он в Оренбург. Там останавливался он, как мы слышали, в доме самого генерал-губернатора и вместе с В. И. Далем объехал Оренбургскую линию крепостей, ища везде живых преданий и свидетельства очевидцев[7]. Подобно тому как он провел полтора часа у купца Крупеникова в Казани, так в Оренбургской губернии он разговаривал со стариком Дмитрием Пьяновым, сыном того Пьянова, о котором упоминается в «Истории Пугачевского бунта»; а в селении Берды встретил старую казачку, помнившую происшествия того времени очень живо. Он пишет, что чуть-чуть в нее не влюбился, несмотря на малопривлекательную наружность[8]. В Уральске Пушкин был принят с необычайным радушием всем обществом города, соединившимся в одном обеде, данном в честь поэта. 23-го выехал он из Оренбурга и через Саратов и Пензу возвратился в Болдино, где был 2-го октября. Таким образом, на поездку в Оренбург, на тамошние исследования и на возвращение к себе в Нижегородскую губернию Пушкин употребил не более одного месяца. С начала октября до самого ноября месяца Пушкин уже не оставлял деревни и 28-го числа последнего месяца прибыл в С.-Петербург к месту служения, как обозначено в его формуляре. В этот промежуток времени написано им в глухом уединении Болдина несколько произведений, которые по характеру своему составляют новый вид творчества, в каком уже застала его и смерть*.

ГЛАВА XXXIII

Деятельность в Болдине 1833 г. Окончание «Медного всадника», «Родословной моего героя», «Сказки о рыбаке», «Песен западных славян». Новое и последнее направление музы Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке». — «Медный всадник» кончен в Болдине 1833 г. — «История Пугачевского бунта» довершена там же. — Окончание «Песен западных славян» в эту же эпоху. — История происхождения «Песен»; книга Мериме, ее определение. — Источники песен Мериме. — Песни, заимствованные у Мериме Пушкиным. — Как Пушкин передавал его текст. — Французский текст пьесы «Конь»; три французские куплета из похоронной песни Магдановича. — Песни, заимствованные у Вука Стефановича и других источников. — Отрывок из 17 сербской песни: «Что белеется на горе зеленой...». — Развитие эпической стороны пушкинского таланта в эту эпоху. — «Родословная моего героя» и «Медный всадник» — части одной поэмы. — Общее начало обеих; различные редакции этого начала. — Личность Евгения в «Медном всаднике». — Стихи, выпущенные из

---

* Еще с дороги восвояси Пушкин писал в Петербург: «Рифмы и стихи не дают мне покоя в кибитке. Что же будет, когда очучусь дома и в постеле?»

«Медного всадника», о мечтаниях Евгения: «Что вряд еще через два года...». — Личность Евгения или Ивана Езерского в «Родословной». — Поправка стиха о «толстобрюхой старине». — Выпущенные строфы из «Родословной». — Заключительная мысль. — Религиозное настроение духа в Пушкине с 1833 г. — Первый образчик его в стихотворении «Странник». — Родство «Странника» с одним местом в «Прологе».—Переложение некоторых мест «Пролога» на простой язык и участие в издании «Словаря о святых российской церкви». — Легендарная поэзия Запада и «Сцены из рыцарских времен». — Повествовательная форма делается господствующей в творчестве Пушкина. — Ею объясняется переложение Шекспировой драмы «Мера за меру» в повесть «Анджело».

Прежде всего является тут «Сказка о рыбаке и рыбке», написанная в Болдине 14 октября 1833 и имеющая пометку: «18 песня сербская»[1]. В Болдине же кончен «Медный всадник» и на первой перебеленной его рукописи подписано: «31 октября 1833. Болдино». Наконец, «История Пугачевского бунта» была тогда же приведена в окончательный порядок. Предисловие к ней помечено у Пушкина: «2 ноября 1833, Болдино». Ограничиваясь одними поэтическими произведениями, мы видим, что село Болдино имеет в жизни поэта свою долю поэтического влияния. Если в Михайловском написан «Борис Годунов», то в Болдине обдуман и завершен «Медный всадник».

«Рыбак и рыбка, 18-я песня сербская» сама собой свидетельствует, что «Песни западных славян» написаны были Пушкиным ранее осени 1833 и, по всем вероятиям, летом этого года, на даче Черной речки. Другие, как «Яныш-королевич», может, написаны еще и ранее — в 1832 г.[2]. Известно, что некоторая часть этих песен взята из книги г. Мериме «La Guzla, ou choix de poésies illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégowine» (Paris, 1827)*, но поэт наш, как видно, нисколько не соблюдал критического разделения народных славянских произведений по племенам. Он давал общее генерическое название сербских всем песням южного славянского происхождения.

Книга г. Мериме наделала в Европе шума между учеными и остается памятником ловкой, остроумной и вместе весьма явной подделки народных мотивов[3]. Довольно странно, что немногие заметили тогда весьма важное обстоятельство. Почти все примечания книги Мериме взяты целиком, а иногда слово в слово из «Путешествия по Далмации» аббата Форти («Voyage en Dalmatie par l'abbé Fortis, traduit de l'Italien», 2 v. Berne. 1778)**, а также и все названия гор, рек, деревень и даже собственные имена. Это могло бы навести и на тайну

* «Гузла, или Сборник иллирийских стихотворений, собранных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине» (Париж) *(франц.)*. — *Ред.*

** Мы не могли достать итальянского подлинника этой книги; примечания Мериме переданы в сокращении и Пушкиным.

ее происхождения. Самым положительным доказательством подлога служит манера автора возводить каждую черту народного характера, встреченную в книге Форти, до образов и легенды, между тем как в настоящей народной поэзии они проходят легкими намеками, никогда не имеют самостоятельности и брошены невзначай, без внимания и разработки. Так, у Мериме есть песни на *дурной глаз;* на *свадебные обряды;* да и самое *вурдалаки или вукодлаки*, в известном сербском сборнике Вука Стефановича, не имеют отдельных песен как представление низшее, не выросшее до песни. Подобное замечается и в русских песнях, где леший, домовой еще иногда входят как подробность в песню, но никогда не составляют главных лиц ее, на которых сосредоточена мысль произведения. Взамен лучший и совершенно обработанный образ южной славянской поэзии — *вилы*[4], — совершенно упущен из вида Мериме, потому что о нем едва упоминает и аббат Форти. Вся биография Маглановича[5] удивительно ловко составлена из этнографических данных, почерпнутых в том же путешествии, но песня, названная Мериме «Improvisation de Maglanovich»*, совершенно теряет местный колорит. Хвастовство старого гусляра своими поэтическими способностями не может никак принадлежать славянскому миру. Вообще же на всех лицах, выведенных Мериме, весьма ясны, при внимательном наблюдении, следы раскраски, и притом с ученым пониманием эффекта и освещения, редким в простых соображениях народа. В одной песне («Maxime et Zoé»)** Мериме вывел даже человека *с дурным глазом*, распевающего вечером на гуслях под окном Зои, как настоящий испанец, и сам принужден был оговориться в примечании: «Cette ballade peut donner une idée du goût moderne. On y voit un commencement de prétention qui se mêle à la simplicité des anciennes poésies illyriques», etc.***. По всем этим причинам зоркий глаз Гете не был обманут мастерским подлогом[6], да и Пушкин никогда не верил подлинности песен Мериме: просьба к приятелю снестись об этом с автором «Гузлы», вызвавшая известный ответ последнего, скорее доказывает его сомнение, чем что-либо другое[7]. При втором издании «Гузлы» Мериме, с простительным самодовольством исчисляя людей, обманутых его произведением, упоминает: 1-е, об англичанине Боуринге, издавшем в 1825 году русскую антологию, который просил у Мериме подлинников его подражаний; 2-е, о немце Герхарде, который уведомлял Мериме, что в его прозе открыл даже самый метр иллирийских стихов, и 3-е, о

---

* «Импровизация Маглановича» *(франц.)*. — *Ред.*

** «Максим и Зоя» *(франц.)*. — *Ред.*

*** «Эта баллада может дать представление о современных вкусах. В ней имеются элементы жеманства, примешивающиеся к простоте старинных иллирийских песен» *(франц.)*. — *Ред.*

Пушкине. Вот его слова о последнем: «Enfin m. Pousckine a traduit en russe quelques — unes de mes historiettes et cela peut se comparer à «Gil Blas» traduit en espagnol et aux «Lettres d'une religieuse portugaise» traduites en portugais»*.

В словах Мериме, может, заключается более истины, чем сколько он сам предполагал**. Мы сейчас это увидим.

Пушкин взял из сборника Мериме 11 песен, включая сюда и пьесу «Конь» («Что ты ржешь, мой конь ретивый?»), напечатанную сперва отдельно от «Песен западных славян». Затем две перевел он из сборника сербских песен Вука Стефановича («Сестра и братья», «Соловей»); одну из чешских народных сказаний («Яныш-королевич») и две почерпнул из современной сербской истории («Песня о Георгии Черном», «Воевода Милош»). Источника последних мы не знаем и весьма наклонны думать, что они принадлежат самому Пушкину безраздельно[8].

При передаче 11 песен Мериме, действительно лучших из всей его книги (содержащей 29 подражаний), Пушкин наложил на них печать славянской народности, в которой основная идея каждой, откуда бы ни взята она была первоначально, получила общий племенный облик, близкий всякому, кто его знает и в себе носит***. Под рукой его образовался ряд небольших народных эпопей, и каждое звено этой цепи могло бы быть понятно для всякой славянской группы, которая еще не утеряла воспоминания о своем происхождении. Склад их, приемы, способ выражения, передавая иногда буквально образ или мысль французской подделки, вместе с тем отходят к общему славянскому источнику слова и мысли. Не говорим о пьесах с рифмами, каковы «Вурдалак», «По-

* «Наконец, г. Пушкин перевел на русский язык некоторые из моих вещиц, и это можно сравнить с «Жиль Бласом», переведенным на испанский язык, или с «Письмами португальской монахини» в португальском переводе» *(франц.). — Ред.*

** Впрочем, при первом издании «Гузлы» сам Мериме хорошо объясняет свою книгу, называя ее следствием того стремления к местным краскам, *couleur locale*, которое завладело французской литературой около 1825 года. Действительно, книга его есть только эта заветная *couleur locale*, разбитая на много пьес, более или менее остроумных. Вместе с тем нужно заметить, что кроме аббата Форти могли быть у Мериме и другие источники, например, изустные рассказы славянских путешественников и эмигрантов. Может быть, в книге его таится и несколько действительных преданий или былей, не облеченных в песню, но живущих в среде племени, которому принадлежат. Разобрать и отличить предоставляем тем из наших соотечественников, которые знакомы лично со славянскими национальностями, разумеется, если они труд этот считают полезным для литературы нашей. Любопытно было бы знать, похоже ли, например, «Видение короля» на настоящее южнославянское предание, или создано Мериме на мученической смерти короля Фомы II, которая есть исторический факт.

*** В издании 1840 г. Мериме присоединил к ним еще три песни подделъных и одну настоящую сербскую, найденную, как он говорит, в библиотеке Арсенала в Париже.

хоронная песнь Маглановича», «Бонапарт и черногорцы», «Конь»; здесь у нашего поэта, вышедшего совсем из роли своей переводчика, начертаны яркие образы, между тем как у подлинника они обозначены только слабыми намеками*.

---

* Вот, например, пьеса «Конь» у Мериме:

LE CHEVAL DE THOMAS II.

Pourquoi pleures-tu mon beau cheval blanc? Pourquoi hennistu douloureusement? N'es-tu pas harnaché assez richement à ton gré? N'a-tu pas des fers d'argent avec des clous d'or? N'a-tu pas des sonnettes d'argent à ton cou? Et ne portes-tu pas le roi de la fertille Bosnie? — Je pleure, mon maitre, parce que l'infidèle m'ôtera mes fers d'argent et mes clous d'or et mes sonnettes d'argent. Et je hennis, mon maitre, parce que avec la peau du roi de Bosnie le mécréant doit me faire une selle. (**Перевод.**: Почему плачешь ты, прекрасный мой белый конь? Почему так жалобно ржешь? Разве сбруя на тебе не богатая? Разве у тебя не серебряные копыта с золотыми гвоздями? Разве на шее твоей не висят серебряные бубенцы? Разве не носишь ты на себе короля плодородной Боснии? — Плачу я, мой хозяин, потому, что басурман сорвет с меня серебряные подковы, и золотые гвозди, и серебряные бубенцы. И оттого я жалобно ржу, мой хозяин, что проклятый басурман сделает мне седло из кожи боснийского короля *(франц.)*. — *Ред.*).

Пусть читатель потрудится сличить это со стихотворением Пушкина. Вот еще три куплета Мериме из «Похоронной песни Маглановича»:

V

Dis à mon père que je me porte bien, que je ne me ressens plus de ma blessure et que ma femme Hélène est accouchée d'un garçon.

VI

Je l'ai appelé Wladin comme lui. Quand il sera grand je lui apprendrai à tirer le fusil, à se comporter comme doit le faire un brave guerrier.

VII

Chrusich a enlevé ma fille ainée et elle est grosse de six mois. J'espére qu'elle accouchera aussi d'un garçon beau et fort.

(**Перевод**: V

Передай моему отцу, что я в добром здоровье и рана давно не болит. Елена, моя жена, родила мальчика.

VI

Я его назвал Владин, по имени деда. Когда он вырастет, я научу его стрелять из ружья, научу быть храбрецом.

VII

Старшую дочь мою умыкнул Хрузич. Носит она под сердцем уже шестой месяц. Надеюсь, дочка мне родит красивого, сильного внука *(франц.)*. — *Ред.*)

Это соответствует стихам Пушкина:

Ты скажи ему, что рана
У меня уж зажила *и проч.*

Вся песня у Мериме порождена замечанием аббата Форти, что морлаки дают умершим комиссии на тот свет, и наполнена разными подобранными чертами их нравов (как, напр., «Chrusich a enlevé ma fille ainée»), от которых Пушкин ее освободил.

Гораздо труднее уяснить себе, каким образом, следуя неотступно за книгой Мериме в других пьесах, Пушкин расходится в тоне и рассказе с нею так, что близкий перевод уже делается нисколько не похожим на свой оригинал. Тут все дело в обороте речи, в постановке мысли и образа — словом, в том неуловимом проявлении творчества, которое чувствуется, но мало поддается разбору и критике.

Можно только заметить систему обширного упрощения подлинника. Так, в лучшей пьесе Мериме, в легенде «Видение короля» (у Мериме она названа «La vision de Thomas II, Roi de Bosnie», par H. Maglanovich)*, Пушкин встречает при описании ужаса короля, отправляющегося ночью в божию церковь, следующую фразу: «il a pris de sa main gauche une amulette d'une vertue éprouvée et plus tranquille alors il entra dans la grande église de Kloutsch». (В переводе: «Тогда он взял левой рукою амулет испытанного свойства и уже спокойнее вошел в большую церковь Ключа-города».) Этот амулет есть опять черта нравов, вычитанная в путешествии Форти и довольно хитро введенная в рассказ, но Пушкин минует ее, замещая другой, совершенно народной подробностью:

Ужасом в нем замерло сердце,
Но великую творит он молитву
И спокойно в церковь божию входит.

Так, еще в рассказе «Федор и Елена» Мериме всю половину первой части («La belle Hélène»)** своего повествования занимает грубым разговором Елены со Стамати, чтоб сказать только потом, как сильно Елена толкнула навязчивого любовника. Это было опять воспроизведением замечания путешественников, что женщины морлаков высоки и сильны и иногда своеручно расправляются с обидчиком, но Пушкин всю эту половину сжал в 6 стихов, так народно оканчивающихся:

Поделом тебе, старый бесстыдник!
Ай да баба! Отделалась славно!

Вместе с тем из двух частей меримеевского рассказа он составил одну, притом еще небольшую, песню и выпустил лицо самого песенника. У французского автора именно гусляр *Иван Битко* (Jean Bietko) перед началом своего повествования обращается к публике с приветствием, а в середине его, на занимательном месте, прерывает повествование, прося доброхотного подаяния. Этот чисто сценический эффект,

---

* «Видение Фомы II, короля Боснии», И. Маглановича *(франц.)*. — *Ред.*

** «Прекрасная Елена» *(франц.)*. — *Ред.*

может быть, даже верен и в жизни, но ложен, искусственен в песне. Так исправлял Пушкин свой образец. Много и других подобных заметок можно было бы представить, но все они еще не дадут понятия о том живительном действии таланта, который преобразует и то, что хочет сохранить по-видимому. Это его сущность и вместе его тайна.

О буквальном и вместе удивительно поэтическом переводе двух настоящих сербских песен нам ничего не остается сказать. У Пушкина есть еще и песня чешского происхождения: «Яныш-королевич». Ей мы обязаны, между прочим, идеей «Русалки», которая приняла в себе уже элементы чисто русские при осуществлении своем. Сохраняя, как нам известно, общее имя сербских всем 16-ти песням своим, взятым из разных источников, Пушкин хотел присоединить к ним 17-ю и 18-ю сербскую песню. Семнадцатую должна была составлять известная южнославянская эпопея из сборника Вука Стефановича: «Жалобная песнь о благородной жене Ассан-аги», которой так посчастливилось в Европе. Форти перевел ее по-итальянски еще в прошлом столетии, французы имеют два ее перевода (гг. Нодье и Мериме), немцы несколько, и самый лучший из них перевод Гете. Последний передал, согласно с итальянским переложением аббата Форти, первый стих песни так: «Что там белеется в *роще зеленой*?» («Was ist weisses dort am grünen Walde?».) Нодье, передавая первый стих ее, совсем исказил его смысл. Он уже говорит: «Что белеется *в зеленой равнине*?» Мериме, заметив промах соотечественника, исправляет его, но не вполне основательно. По его мнению, стих сербской песни «Sto se bjeli na gorie selenoi?» должен быть переведен: «Что это белое на *зеленой горе*?» Толкованию Мериме последовал и Пушкин в своем опыте переложения сербской эпопеи, но гора по-сербски означает возвышенное место, *покрытое лесом*. Таким образом, Гете и аббат Форти были правы, и вот почему А. Х. Востоков*,

* А. Х. Востоков напечатал впервые свой перевод в «Северных цветах» на 1827 год с замечанием: «Из первого издания сербских песен «Мала простонародна славено-сербска песнарица», у Виени. 1814, стр. 113...» Вот переложение Востокова для сличения с пушкинским:

Что белеется у рощи — у зеленыя?
Снег ли то, или белые лебеди?
Кабы снег, он скоро растаял бы;
Кабы лебеди были, улетели бы прочь.
Не снег то, не белые лебеди,
А белеется шатер Ассан-аги,
Где он лежит тяжко раненный.
Его мать и сестра посещали там;
Молода жена прийти постыдилася.
Когда легче ему стало от тяжких ран,
Он послал сказать молодой жене:
Не жди меня больше в дому моем,
Ни в дому, ни во всем роду-племени!
Вняла жена таковы слова *и проч.*

подобно им, передал первый стих песни так: «Что белеется у *рощи — у зеленья?*» Наконец, под «Сказкой о рыбаке и рыбке» мы видели подпись: «18-я песня сербская». Таким образом, он зачислил в один разряд с ними народный аполог[9], принадлежащий столько же русскому миру, сколько славянскому вообще и германскому, потому что корень его скрывается уже в индейских представлениях. Мысль поэта о пристройке сказки к ряду сербских песен могла только родиться из убеждения, что она приняла под рукой его родовые признаки славянской поэмы, как и многие другие пьесы, взятые им, так сказать, со всех сторон.

Затем приводим отрывок Пушкина (17-ю серб. песню), превосходно сохраняющий дух подлинника и заставляющий сожалеть невольно о том, что он не имеет продолжения.

Что белеется на горе зеленой?
Снег ли то, али лебеди белы?
Был бы снег — он давно б растаял,
Были б лебеди — они б улетели:
То не снег и не лебеди белы,
А шатер Аги Ассан-аги:
Он лежит в нем, весь изранен.
Посетили его сестра и мать:
Его *люба* не пришла, застыдилася.
Как ему от боли стало легче,
Приказал он своей верной жене:
«Ты не жди меня в моем белом доме,
В белом доме — ни во всем моем роде»...

Так уже развилась эпическая сторона пушкинского таланта в 1833 году, но понимание особенностей народного творчества еще не исчерпывало всего, что составляет сущность эпической поэмы, как она представляется критическому соображению. Художественное и потому уже искусственное произведение в этом роде, кажется, должно сверх того заключать и исторический взгляд поэта на прошедшее и его религиозное созерцание. Первобытная, чисто народная поэзия может обойтись без заявления этих качеств, потому что она сама есть и наивная история, и младенчески твердое убеждение. Для поэта высшей образованности это уже приобретение, в котором он и себе, и другим отдает отчет, увеличивая тем значение своих произведений и созидая мощно-поэтические образы на глубоком изучении и обсуждении их.

Переходим теперь по порядку к «Медному всаднику». «Медный всадник» составлял вторую половину большой поэмы, задуманной Пушкиным ранее 1833 года и им не конченной[10]. От первой ее половины остался отрывок, известный под названием «Родословная моего героя», напечатанный еще при жизни автора в «Современнике» (1836, том III). Сама поэма «Медный всадник» явилась уже после смерти его. Как отрывок, так и поэма родились вместе или, лучше, составля-

ли одно целое до тех пор, пока Пушкин, по своим соображениям, не разбил их надвое. Свидетельство рукописей в этом отношении не оставляет ни малейшего сомнения. «Родословная моего героя»[11] начинается там описанием бурного вечера над Петербургом, которое, впоследствии дополненное и измененное, перешло в поэму. Начало это здесь и приводим:

Над омраченным Петроградом
Осенний ветер тучи гнал;
Дышало небо влажным хладом;
Нева шумела; бился вал
О пристань набережной стройной,
Как челобитчик беспокойный
Об дверь судейской. Дождь в окно
Стучал печально. Уж темно
Все становилось. В это время
Иван Езерский, мой сосед,
Вошел в свой тесный кабинет.
Однако ж род его и племя,
И чин, и службу, и года
Вам знать не худо, господа!
Начнем ab ovo: мой Езерский *и проч.**.

Иван Езерский обратился просто в Евгения при переходе своем в «Медного всадника»[12]. Его родословная, так мастерски

* По обыкновению Пушкина, стихам этим еще предшествовал начальный опыт, который тоже выписываем здесь:

Над Петербургом омраченным
Осенний ветер тучи гнал;
Нева в теченьи возмущенном,
Шумя, неслась. Угрюмый вал,
Как бы проситель беспокойный,
Плескал в гранит ограды стройной
Ее широких берегов.
Среди бегущих облаков
Вечерних звезд не видно было.
Огонь светился в фонарях;
На улицах взвивался прах,
И буйный вихорь выл уныло,
Клубя капоты дев ночных
И заглушая часовых.

Порой той поздней и печальной
В том доме, где стоял и я,
Неся огарок свечи сальной,
В конурку 5-го жилья
Вошел один чиновник бедный,
Задумчивый, худой и бледный;
Вздохнув, свой осмотрел чулан,
Постелю, пыльный чемодан,
И стол, бумагами покрытый,
И шкап со всем его добром;
Нашел в порядке все — потом,
Дымком своей сигарки сытый,
Разделся сам и лег в постель
Под заслуженную шинель.

изложенная в отрывке, едва-едва отсвечивается в поэме легким намеком:

Прозванье нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало, *и проч.*

Даже самые стихи эти еще представляют отзвук одной строфы «Родословной», выпущенной в печати, которую приводим:

Могучих предков правнук бедный,
Люблю встречать их имена
В двух-трех строках Карамзина.
От этой слабости безвредной,
Как ни старался — видит бог —
Отвыкнуть я никак не мог[13].

Расчленив таким образом на два состава поэму свою, Пушкин преимущественно занялся отделкой второго звена, забыв первое или оставив его только при том, что было уже для него сделано. Само собой разумеется, что действующее лицо в поэме — Евгений или Иван Езерский — должно было при этом утерять много в ясности и в тех основных чертах, которые составляют портрет лица. Действительно, Евгений «Медного всадника» окружен полусветом, где пропадают и сглаживаются родовые, характерные линии физиономии. Иначе и быть не могло. Во второй части своей поэмы, или «Медном всаднике», Пушкин уже приступает к описанию катастрофы, которая одна должна занимать, без всякого развлечения, внимание читателя. Всякая остановка на частном лице была бы тут приметна и противухудожественна. По глубокому пониманию эстетических законов, Пушкин даже старался ослабить и те легкие очертания, которыми обрисовал Евгения. Так, он выпустил в «Медном всаднике» все мечтания Езерского накануне рокового дня:

...Что вряд еще через два года
Он чин получит; что река
Всё прибывала, что погода
Не унималась, что едва ль
Мостов не снимут, что, конечно,
Параше будет очень жаль...
Тут он разнежился сердечно
И размечтался, как поэт:
«Жениться! что ж? Зачем же нет?
И в самом деле? — Я устрою
Себе смиренный уголок
И в нем Парашу успокою.
Кровать, два стула, щей горшок,
Да сам большой... чего мне боле?

Не будем прихотей мы знать:
По воскресеньям летом в поле
С Парашей буду я гулять!
Местечко выпрошу; Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят —
И станем жить... и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
И внуки нас похоронят».
Так он мечтал...[14]

Совсем другое дело в «Родословной». Там он занимается Езерским чрезвычайно подробно, с любовью, с теплым сочувствием к нему. Из напечатанных уже строф и тех, которые еще не изданы, видно, что потомок старинного и, как говорилось некогда, *захудалого* рода приковывал весьма сильно его поэтическое внимание. Прежде чем представим эти остатки поэмы, мы обязаны сделать замечание касательно одного стиха «Родословной»[15], нарушающего весь ее тон. Особенно неприятен он тем, что противоречит тому сочувствию к предмету описания, какое мы везде замечаем у Пушкина:

Но каюсь: новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине.

Кому бы ни принадлежала эта поправка, хотя бы самому автору, но она неверна и в отношении к нему, и в отношении к созданию. Рукопись поэта в этом месте ясно и без помарки говорит:

... толки о родне,
Об отдаленной старине.

Вот затем неизданные строфы «Родословной» еще в первоначальной форме, какую приводили мы не раз и прежде:

Какой вы строгий литератор!
Вы говорите, критик мой,
Что уж коллежский регистратор
Никак не должен быть герой,
Что выбор мой всегда ничтожен,
Что в нем я страх неосторожен,
Что должен брать себе поэт
Всегда возвышенный предмет,
Что в списках целого Парнаса
Героя нет такого класса...
Вы правы!.. Но божиться рад —
И я совсем не виноват.

Скажите: *экой вздор!* иль *bravo!*
Иль не скажите ничего —
Я в том стою: имел я право
Избрать соседа моего
В герои повести смиренной,

Хоть малый он обыкновенный,
Не второклассный Дон-Жуан,
Не демон, даже не цыган,
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму,
От нашей братьи не отличный[16].

В бумагах есть еще одна недоконченная строфа с исторической картиной, столь же яркой, как и другие этого рода, заключающиеся в «Родословной».

Во время смуты безначальной,
Когда то лях, то гордый швед
Одолевал наш край печальный
И гибла Русь от разных бед,
Когда в Москве сидели воры,
А с крулем вел переговоры
Предатель хитрый Салтыков,
И средь озлобленных врагов
Посольство русское гладало,
И за отчизну стал один
Нижегородский мещанин,
В те дни Езерский...[17]

Наконец, несколько строф, набросанных карандашом, представляют много отдельных фраз, но выписка их потребовала бы еще объяснений, которые так легко переходят в произвольные толкования и от которых поэтому удерживаемся.

Сообразив все сказанное, читатель легко соединит в уме своем отрывок, известный под именем «Родословная моего героя», с поэмой «Медный всадник». Нет сомнения, что пополненные таким образом один другим, оба произведения представляются воображению в особенной целости, которой теперь им недостает. Из соединения их возникает идея об обширной поэме, имеющей уже очертания и сущность настоящей эпопеи.

Религиозное настроение духа в Пушкине начинает проявляться особенно с 1833 года теми превосходными песнями, основание которым положило стихотворение «Странник», написанное летом того же года, как знаем[18]. Стихотворение это, составляющее поэму само по себе, открывает то глубокое духовное начало, которое уже проникло собой мысль поэта, возвысив ее до образов, принадлежащих, по характеру своему, образам чисто эпическим. Что это не было в Пушкине отдельной поэтической вспышкой, свидетельствуют многие последующие его стихотворения, как «Молитва»[19], «Подражание итальянскому» и несколько еще неизданных. Лучшим доказательством постоянного, определенного направления служат опять рукописи поэта. В них мы находим, что он прилежно изучал повествования «Четьи-Минеи» и «Пролога» как в форме, так и в духе их[20]. Между прочим, он выписал из

последнего благочестивое сказание, имеющее сильное сходство с самой пьесой «Странник». Осмеливаемся привести его здесь:

«Вложи (диавол) убо ему мысль о родителях, яко жалостию сокрушатися сердцу его, воспоминающи велию отца и матере любовь, юже к нему имеша. И глаголаше ему помысл: что ныне творят родители твои без тебя, колико многую имут скорбь и туту и плачь о тебе, яко неведающим им отшел еси. Отец плачет, мать рыдает, братия сетуют, сродницы и ближнии жалеют по тебе и весь дом отца твоего в печали есть, тебе ради. Еже воспоминаше ему лукавый богатство и славу родителей, и честь братий его, и различная мирская суетствия во ум его привождаше. День же и нощь непрестанно таковыми помыслами смущаше его яко уже изнемощи ему телом, и еле живу быти. Ово бо от великаго воздержания и иноческих подвигов, ово же от смущения помыслов изсше яко скудель крепость его и плоть его бе яко трость ветром колеблема»[21].

В другой раз Пушкин переложил на простой язык, доступный всякому человеку, даже весьма мало искушенному в грамоте, повествование «Пролога» о житии преподобного Саввы Игумена. Записка эта сохраняется в его бумагах под следующим заглавием: «Декабря 3, преставление преподобного отца нашего Саввы, игумена святые обители пресвятой богородицы, что на Сторожех, нового чудотворца (Из Пролога)»[22]. В 1835 году он участвовал и советом и, если не ошибаемся, самим делом в составлении «Словаря исторического о святых, прославленных в российской церкви», который предпринял тоже один из бывших лицейских воспитанников[23]. Когда вышла книга (в 1836 году), он отдал отчет об ней в своем журнале «Современник», где удивляется, между прочим, людям, часто не имеющим понятия о жизни того святого, имя которого носят от купели до могилы[24]. Все эти свидетельства совершенно сходятся с показаниями друзей поэта, утверждающих, что в последнее время он находил неистощимое наслаждение в чтении Евангелия и многие молитвы, казавшиеся ему наиболее исполненными высокой поэзии, заучивал наизусть.

Легендарная поэзия Запада сама собой должна была обратить его внимание, потому что всякий предмет, представившийся его уму, Пушкин любил осматривать со всех сторон. Конечно, в ней изучал он не романтический элемент, уже исчерпанный до него Жуковским, а преимущественно способ создания картин и представлений религиозного содержания. Это оказывается из выбора, который он сделал между многочисленными образцами, какие были у него под рукой. Он перевел старый испанский романс «Родриг» («На Испанию родную...»)[25] и другой — «Жил на свете рыцарь бедный...»[26],

помещенный посмертным изданием в так называемых «Сценах из рыцарских времен»*. Вообще всякого рода изучение отражалось в фантазии Пушкина поэтическим представлением или картиной: это свойство его природы не терялось никогда, даже, как уже мы видели, при исторических и ученых изысканиях. Тем менее могло оно измениться или ослабеть в предмете, столь сильно возбуждающем вообще вдохновение. Таким образом, имеем мы несколько отрывков, ясно свидетельствующих, что пораженное воображение его крепло и приобретало особенную мощь вместе с ходом его направления и по мере того, как он углублялся в него. Вот один из них:

Когда владыка ассирийский
Народы казнию казнил,
И Олоферн весь край азийский
Его деснице покорил, —
Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в бога сил,
Перед сатрапом горделивым
Израиль выи не склонил.
Во все пределы Иудеи
Проникнул трепет... Иереи
Одели вретищем олтарь;
Главу покрыв золой и прахом,
Народ завыл, объятый страхом,
И внял ему всевышний царь.

Пришел сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным,
Грозой грозится высота,
И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине,
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине!

Сатрап смутился...[28]

О других отрывках после, а здесь скажем только, что повествовательная форма сделалась любимой поэтической формой для Пушкина с этого времени и что в ней заключено качество настоящего эпоса: строгая мысль, порожденная двойным вдохновением исторического и религиозного свойства. Пушкин не успел выразить последнее свое направление в одном целом, образцовом создании, но оставил глубокие и многозначительные следы его в отдельных стихотворениях, как мы уже сказали, писанных с 1833 г.: «Странник», «К

* Мы еще до сих пор ничего не сказали о драматической пьесе Пушкина «Сцены из рыцарских времен». По бумагам его видно, что это собственно не настоящее произведение, а только план произведения[27]. Сверху рукописи написано: «План» и затем вместо того, чтоб изложить программу драмы в описании, Пушкин прямо начал сцены и, раз начав, дописал их. Так составились они, не получив последующего развития и представляя еще один остов произведения и сухость, свойственную плану вообще, хотя бы он был и в драматической форме.

Н*», «Полководец», «Пир Петра Великого», «М⟨ицкевичу⟩», «Подражание итальянскому», «Молитва», «Лицейская годовщина»*.

ГЛАВА XXXIV

Характер жизни в 1834 и 1835 годах и некоторые жизненные обстоятельства: В декабре 1833 года «История Пугачевского бунта» представлена начальству. — Пушкин—камер-юнкер.—20 000 руб. ас. на напечатание «Истории». — Слова Пушкина из письма к Нащокину о ней по выходе в свет осенью 1834 года. — Весной 1834 ⟨г.⟩ Пушкин отправляет семейство в Калужскую губернию, а сам остается в Петербурге.— Лето в Петербурге. — Новое издание «Повестей Белкина». — Пушкин в Калужской губернии, потом в Болдине и в Петербурге. — Три отрывка из писем к Нащокину. — Семейные дела, затруднительные обстоятельства, мысль поселиться в деревне. — Ссуда в 50 000 руб. ас. от милостей государя. — В мае 1835 г. Пушкин в Москве проездом в Михайловское. — Деревня эта только по смерти поэта делается исключительною собственностию его семейства. — Письма к Нащокину с известием о намерении издавать журнал. — Обширное участие Пушкина в тогдашней «Библиотеке для чтения». — Перечень его стихотворений, там помещенных. — «Кирджали» и «Пиковая дама», отданные в «Библиотеку».

По прибытии в Петербург Пушкин представил (декабрь 1833) на рассмотрение начальства свою «Историю Пугачевского бунта»[1] и получил дозволение на напечатание ее вместе с двумя наградами: 31 декабря 1833 года всемилостивейше пожалован он в камер-юнкеры двора его императорского величества[2] и на печатание книги дано ему заимообразно 20 тысяч руб. асс. с правом избрать для сего одну из казенных типографий. Осенью 1834 г. «История» отпечаталась и поступила в продажу. Через три месяца Пушкин шутливо писал к П. В. Нащокину: «Пугачев сделался добрым, исправным плательщиком оброка... Денег принес он мне довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего не остается у меня за пазухой и все идет на расплату»[3].

Весной 1834 года Александр Сергеевич отправил семейство свое к родным, в Калужскую губернию, проводив его до Ижоры. Здесь попадается нам листок из семейной переписки его. Благоухание тихой домашней жизни, которым он

* До сих пор многие критики еще затрудняются определением намерений поэта при переложении в рассказ Шекспировой драмы «Measure for measure» («Мера за меру»). Рассказ «Анджело» написан Пушкиным тоже в 1833 году. Только одним обстоятельством и поясняется мысль Пушкина — именно последним направлением его. Эпический рассказ сделался столь важен и так завладел всей творческой способностью его, что, может быть, хотел он видеть, как одна из самых живых драм нового искусства отразится в повествовании. Сознаемся, что предположение это имеет для нас уже очевидность, не подлежащую сомнению[29].

проникнут, вероятно, оправдает сообщение этой тайны. «Вторник. Благодарю тебя, мой ангел, за письмо из-под Торжка. Ты умна, ты здорова, ты детей кашей кормишь; ты под Москвою. Все это меня очень порадовало и успокоило, а то я был сам не свой. У нас святая неделя, шумная, бурная. Вчера был у К⟨арамзин⟩ой. Сегодня поеду к тетке с твоим письмом. Завтра напишу тебе много. Покамест целую тебя и всех вас благословляю»[4]. Все лето пробыл Пушкин в Петербурге, сделав только новое издание «Повестей Белкина»[5] и написав 10 августа стихотворение «М⟨ицкевичу⟩» («Он между нами жил...»). В половине этого месяца он поехал сам за своим семейством. В Москве пробыл он тогда всего-навсе⟨го⟩ несколько часов. «Потом отправился в Калугу, — говорит он в одной записке, — на перекладных, без человека. В Тарутине пьяные ямщики чуть меня не убили, но... я поставил на своем. В Зав⟨оде⟩* прожил я две недели, потом привез Нат⟨алью⟩ Ник⟨олаевну⟩ в Москву, а сам съездил в нижегородскую деревню, где управители меня морочили, а я перед ними шарлатанил и, кажется, неудачно»**[6]. 14 ноября Пушкин уже возвратился к месту служе-

---

* Село, где проживало его семейство.

** Все это черты добродушия, которые иногда идут рядом с обыкновенной его решимостью и пылким характером, а иногда рядом с самым простосердечным выражением благородного характера, ясной и любящей души. Мы имеем еще три письма 1834 года к Нащокину, в которых качества эти обнаруживаются с особенной силой.

Первое письмо: «Vous êtes éminemment un homme de passion («Ты, по преимуществу, человек страстный» *(франц.). — Ред.*) — и в страстном состоянии духа ты в состоянии сделать то, о чем и не осмелился бы подумать в трезвом виде... как некогда переплыл ты реку, не умея плавать. Нынешнее дело на то же похоже... Теперь скажу тебе о своем путешествии. Я совершил его благополучно. При выезде моем из Москвы Гаврила мой так был пьян и так меня взбесил, что я велел ему слезть с козел и оставил его на большой дороге в слезах и в истерике; но это все на меня не подействовало; я подумал о тебе. Вели-ка своему Гавриле... слезть с козел — полно ему воевать. Дома нашел я все в порядке... Денежные мои обстоятельства без меня запутались, но я их думаю распутать. 24 ноября 1834 »[7].

Второе письмо: «Все лето рыскал я по России и нигде тебя не заставал; из Тулы выгнан ты был пожарами, в Москве не застал я тебя неделю, в Торжке никто не мог о тебе дать известие. Рад я твоему письму, по которому вижу, что твое добродушие, удивительная и умная терпеливая снисходительность не изменились ни от хлопот новой для тебя жизни, ни от виновности дружбы перед тобою. Когда бы нам с тобою увидеться? Много бы я тебе наговорил, много скопилось для меня в этот год такого, о чем не худо бы потолковать у тебя на диване, с трубкой в зубах... Пиши мне, если можешь, почаще: на Двор⟨цовой⟩ набереж⟨ной⟩ в доме Балашева у Прачеч⟨ного⟩ моста (где жил Бяз⟨емский⟩). С любопытством взглянул бы я на твою семейственную и деревенскую жизнь. Я знал тебя всегда под бурею и в качке. Какое действие имеет на тебя спокойствие? Видел ли ты лошадей, выгруженных на С.-П⟨етербургской⟩ бирже? Они шатаются и не могут ходить. Не то ли и с тобою?..»[8]

Третье письмо: «Ты не можешь вообразить, милый друг, как обрадовался я твоему письму. Во-первых, получаю от тебя тетрадку: доказательство, что у тебя и лишнее время, и лишняя бумага, и спокойствие, и охота со мною

ния, а по письму к А. А. Фукс видно, что в город прибыл он еще ранее, именно 18 октября. Посещение Болдина в 1834 г. напоминает нам, что в это время Пушкин принял уже на себя распоряжение всем достоянием своей фамилии, которая видела в нем теперь главу свою и человека, способного поправить дела, довольно запутанные долгим небрежением. Все это присоединяло еще новые обязанности к тем, которые уже лично до него касались и так много озабочивали его. Вот почему неудивительно, что в том же 1834 году он помышлял о необходимости поселиться на некоторое время в деревне. Одно только неизбежное следствие этого плана — выход в отставку и с тем вместе потеря права на посещение архивов, что так дорого было ему, — мешало исполнению предприятия и уничтожало всю решимость Пушкина[10].

Но здесь, как и всегда в затруднительных случаях жизни, вызванных или им самим, или порожденных обстоятельствами, высочайшая милость снова обращена была на Пушкина, уже столько раз испытавшего ее действие. Августа 16 дня 1835 г. пожаловано было ему в ссуду 30 тысяч руб. асс. без процентов, с обращением в уплату этой суммы получаемого им по 5000 руб. жалованья в год. Вместе с прежним долгом, вновь пожалованная сумма представляет цифру в 50 000 руб. асс. Чрез год, в ноябре 1836 ⟨г.⟩, за вычетом в первый раз годового жалованья Пушкина, она уменьшилась до 45 000 руб. асс. В это время он просил частным письмом бывшего министра финансов, его сиятельство графа Егора Францевича Канкрина, содействия его на принятие в окончательную уплату этого долга 220 душ, принадлежащих лично ему, Пушкину, в Нижегородской губернии, из коих 200 были уже заложены в московском Опекунском совете[11]. Вскоре за тем последовавшая смерть Пушкина остановила дальнейший ход этого дела, но при кончине его весь долг был снят с имений наследников, да сверх того всемилостивейше пожаловано было 50 000 руб. асс. на напечатание его сочинений, сбор с которых уже определен на составление отдельного капитала для детей покойного. Тогда же и два сына его зачислены были в Пажеский корпус и как им, так и вдове поэта назначены пенсии. Отеческое покровительство, начавшееся с 1826 года, не оставлявшее Пушкина во всю его жизнь, продолжается и по смерти его до настоящей минуты, перенесенное на лица, которые так дороги были его сердцу.

В 1835 году Пушкин еще раз уезжал в отпуск в Москву на 28 дней, по своим делам (с мая 3 по 24 мая)[12], а осенью отправился, по обыкновению, в Михайловское для доверше-

---

болтать... Говорят, что несчастие хорошая школа; может быть. Но счастие есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному, какова твоя, мой друг, какова и моя, как тебе известно...»[9]

ния планов и трудов предшествующих месяцев, взяв увольнение с 27 августа по 23 декабря, но из этой поездки возвратился он ранее предположенного срока в город, по болезни матери своей, Надежды Осиповны[13]. Он написал только в деревне (26 сентября) последнюю, чудную песнь свою, обращенную к Михайловскому и известную под заглавием «Опять на родине», которое, между прочим, вряд ли принадлежит Пушкину[14]. Надежда Осиповна скончалась в следующем, 1836 году. Александр Сергеевич положил тело ее в Святогорском Успенском монастыре и тут же сделал вклад обители на собственную свою могилу, которая недолго и ожидала его. Михайловское, как собственность Надежды Осиповны, доставалось всем законным наследникам ее. Александр Сергеевич хотел оставить любимую деревню свою за собою, но условия исключительного приобретения тяжело было согласить и тяжело было вынести. По смерти поэта опека, высочайше утвержденная над имуществом покойного, скупила все части Михайловского и таким образом отдала потомству Александра Сергеевича деревню, им любимую и прославленную.

В письме к П. В. Н⟨ащокин⟩у, уже из Петербурга, А. С. Пушкин, радуясь, что тот не собрался к нему в деревню, где б не застал его, опять уведомляет о стеснительном положении своих дел и о намерении издавать в будущем году журнал. Он прибавляет еще, что Смирдин уже дает ему 15 000 руб. асс. для возвращения его снова к сотрудничеству в журнале «Библиотека для чтения»[15]. Последние строки письма особенно замечательны: «Желал бы я взглянуть на твою семейную жизнь и ею порадоваться: ведь и я тут участвовал, и я имел влияние на решительный переворот твоей жизни. Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку на свете скучно: ему досадно видеть новые молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились...»[16]

До основания журнала «Современник» Пушкин два года печатал почти беспрерывно произведения свои в журнале «Библиотека для чтения», появившемся, как известно, в 1834 году. За первое произведение его, «Гусар», помещенное там вместе с стихотворениями Жуковского и Козлова, издатель журнала А. Ф. Смирдин, говорят, заплатил ему 2000 р. ас. После того в «Библиотеке для чтения» явились «Песни западных славян», три сказки («О мертвой царевне», «О золотом петушке», «О рыбаке и рыбке»), два подражания древним, написанные 1-го и 12-го января 1833, две баллады из Мицкевича, написанные в Болдине 28-го октября 1833[17], пьесы «Красавица»[18] и «Элегия» («Безумных лет угасшее ве-

селье...»), из которых последняя написана в Болдине же, но 8 сентября 1830 года. Все эти стихотворения вошли в состав четвертой части стихотворений А. Пушкина, выданной им в 1835 году в апреле месяце. Кроме поэтических своих произведений, Пушкин поместил в журнале г. Смирдина и два рассказа в прозе: «Пиковая дама» и «Кирджали». Наконец, в 1835 же году написал он и «Египетские ночи», явившиеся уже после смерти его в «Современнике» 1837 года.

ГЛАВА XXXV

1835 г. История создания «Египетских ночей»: «Египетские ночи». — Связь с ними: a) «Одной главы из романа», напечатанной в альманахе «Сто русских литераторов»; b) начала повести в форме светской беседы; c) отрывка о писателе — светском человеке; d) повествования о Петронии, из древней римской жизни. — Текст самого повествования. — Программа его, стихотворения, в него вошедшие, стихи «Поредели, побелели...». — Заключение о «Египетских ночах».

«Пиковая дама» произвела при появлении своем в 1834 г. всеобщий говор и перечитывалась, от пышных чертогов до скромных жилищ, с одинаковым наслаждением. Общий успех этого легкого и фантастического рассказа особенно объясняется тем, что в повести Пушкина есть черты современных нравов, которые обозначены, по его обыкновению, чрезвычайно тонко и ясно. То же самое видим и в «Египетских ночах», но они уже здесь подчинены глубокой поэтической мысли[1]. Впечатление, производимое «Египетскими ночами», так полно и сильно, что должно возбудить само собой исследование читателя, отдающего отчет в своих чувствах. Всякий, кто внимательно рассматривал это небольшое образцовое произведение, вероятно, заметил, что все его краски и все его очертания необычайно глубоко продуманы, строжайше взвешены и оценены предварительно и потом уже воспроизведены в минуту вдохновения, сообщившую всем им свежесть, блеск первого впечатления. Действительно, такова история создания «Египетских ночей».

Для того чтобы ввести стихотворение свое «Чертог сиял: гремели хором...» — или, лучше, поэтическое изображение древнего предания в современную эпоху, столь противоположную нравам языческого мира, Пушкин начинал много повестей[2]. Из противоположности понятий, какая должна была оказаться между взглядом древних на известный предмет и нынешними требованиями вкуса и приличий, хотел он извлечь сильный романический эффект. Он начал повесть из светской жизни, которая напечатана была в альманахе «Сто русских литераторов 1839 г.» под заглавием «Одна глава из неоконченного романа» и в посмертное издание его сочи-

нений не попала[3]. Не докончив своей повести, Пушкин перешел к разговору, который сохраняется в бумагах его и не может быть приведен здесь по сбивчивости и запутанности рукописи. — Вот его начало:

«Мы проводили вечер на даче у княгини Д.

Разговор коснулся как-то до m-me de Staël*. Барон*** на дурном французском языке очень дурно рассказал известный анекдот — вопрос ее Бонапарту: кого почитает он первою женщиною в свете, и забавный его ответ: «Ту, которая народила более детей» («Celle qui a fait le plus d'enfants»).

— Какая славная эпиграмма! — заметил один из гостей.

— И поделом ей! — сказала одна дама. — Как можно так неловко напрашиваться на комплименты?

— А мне так кажется, — сказал Сорохтин, дремавший в гамбсовских креслах, — мне так кажется, что ни m-me de Staël не думала о мадригале, ни Наполеон об эпиграмме. Одна сделала вопрос из единого любопытства, очень понятного, а Наполеон буквально выразил настоящее свое мнение. Но вы не верите простодушию гениев.

Гости начали спорить, а Сорохтин задремал опять.

— Однако в самом деле, — сказала хозяйка, — кого почитаете вы первою женщиною на свете?

— Берегитесь, вы напрашиваетесь на комплименты.

— Нет, шутки в сторону.

Тут пошли толки. Иные называли m-me de Staël, другие Орлеанскую деву, третьи — Елисавету, английскую королеву, m-me de Maintenon, m-me Roland** и проч.

Молодой человек, стоявший у камина (потому что в Петербурге камин никогда не лишний), в первый раз вмешался в разговор:

— Для меня, — сказал он, — женщина самая удивительная — Клеопатра.

— Клеопатра! — сказали гости, — да, конечно... однако почему ж?..»[4]

Можно прибавить к этому, сколько позволяет состояние рукописи, что из толков о Клеопатре Пушкин хотел извлечь именно тот контраст, о котором задумал, но он бросил разговор свой неконченным, как и отрывок, напечатанный в альманахе «Сто русских литераторов», да вскоре бросил он и самую мысль, подавшую повод к сочинению их. Он перешел к другому и более художественному роду противопоставления картин, именно к огненной импровизации бедного заезжего итальянца в виду блестящего общества его спокойных и взыскательных слушателей. Самый переход этот был сделан, однако ж, не без одного посредствующего звена.

---

* госпожи де Сталь *(франц.)*. — *Ред.*

** госпожу де Ментенон, госпожу Ролан *(франц.)*. — *Ред.*

«Египетским ночам» предшествовал еще один опыт, именно мастерское изображение писателя — светского человека, некоторые черты которого приняты были потом и в повесть. Опыт этот под именем «Отрывка» и с объяснительным примечанием П. А. П⟨летнева⟩ напечатан был в посмертном издании[5]. Так наконец образовались «Египетские ночи» в их изумительной оконченности и отделке.

Замечания наши, однако же, относятся к мысли Пушкина о *современной* повести и о превращениях, какие она получала у него до полного своего выражения, но кроме того у поэта было еще и другое намерение по поводу «Египетских ночей». Оно, может, еще и предшествовало всем описанным здесь. Мы видим, что Пушкин начал повествование из быта *древнего мира* с намерением выразить его ложное, языческое понятие о смерти[6]. Отрывки этого повествования, бессвязные и набросанные по разным листкам, весьма любопытны. Одна подробность, являющаяся в программе повести, объясняет много самую сущность ее. Пушкин хотел ввести в рассказ свой лицо раба — христианина, который должен был, вероятно, служить живым осуждением равнодушия или упоения, с каким языческий мир встречал смерть, оскорбляя тем величество и значение ее, и живым опровержением потех язычества и лжемудрствований его философов. К сожалению, Пушкин набросал только первую половину, да и та представляется нам в таком необделанном и отрывочном виде, что едва сохранена в ней необходимая связь рассказа. Приводим эти клочки, так сказать, его мысли по порядку. Одно объяснение: главное действующее лицо в рассказе Пушкина есть тот знаменитый Петроний, который был и поэтом, и блестящим человеком века Нерона и кончил жизнь тем же родом смерти, как и Сенека. Он открыл себе жилы, избегая зависти и подозрений Нерона.

I

«Цезарь путешествовал; мы с Титом Петронием следовали за ним издали... По захождении солнца нам разбивали шатер, расставляли постели — мы ложились пировать и весело беседовали. На заре снова пускались в дорогу и сладко засыпали каждый в лектике своей, утомленные жаром и ночными наслаждениями.

Мы достигли Кум и уже думали пуститься далее, как явился к нам посланный от Нерона. Он принес Петронию повеление цезаря возвратиться в Рим и там ожидать решения своей участи вследствие обвинения. Мы были поражены ужасом: один Петроний выслушал равнодушно свой приговор; отпустил гонца с подарком и объявил свое намерение остановиться в Кумах. Он послал своего любимого раба вы-

брать ему дом и стал ожидать его возвращения в кипарисной роще, посвященной эвменидам.

Мы окружали его с беспокойством. Флавий Аврелий спросил его: долго ли думает он оставаться в Кумах и не страшится ли раздражать цезаря ослушанием?

— Я не только не думаю ослушаться его, — отвечал Петроний с улыбкою, — но даже намерен предупредить его желания. Но вам, друзья мои, советую возвратиться: путник в ясный день отдыхает под тенью дуба, но во время грозы от него благоразумно удаляется, страшась ударов молнии.

Мы все изъявили желание с ним остаться, и Петроний ласково нас благодарил. Слуга возвратился и повел нас в дом, уже выбранный. Он находился в предместье города...»

Второй отрывок начинается у Пушкина программой, которая важнее всего, что им сделано было для своей повести, потому что она только и сообщает настоящее значение ее чертам, неясным и пропадающим из глаз. Программа изложена так:

«Описание дома. Мы находим Петрония с своим лекарем, он продолжает рассуждение о роде смерти — избирает теплые ванны. Греч⟨еский⟩ философ исчез. Петроний улыбается и сказывает *оду*. Описание приготовлений, он перевязывает рану, и начинаются рассказы. *Первый вечер:* о Клеопатре — наши рассуждения о том. *Второй вечер:* Петроний приказывает разбить драгоценную чашу — диктует Satirycon — рассуждение о падении человека — о падении богов, об общем безверии — о превращениях Нерона. *Раб — христианин...*»

Затем набросан у Пушкина второй отрывок:

II

«Им управлял старый отпущенник в отсутствие хозяина, уже давно покинувшего Италию. Несколько рабов под его надзором заботились о чистоте комнат и садов. В широких сенях нашли мы кумиры девяти муз; у дверей стояли два кентавра. Петроний остановился у мраморного порога и прочел начертанное на нем приветствие: здравствуй! Печальная улыбка изобразилась на лице его. Старый управитель повел его в библиотеку, где осмотрели мы несколько свитков и вошли потом в спальню хозяина. Она убрана была просто. В ней находились только две семейные статуи: одна изображала матрону, сидящую в креслах, другая девочку, играющую мячом. На столике подле постели стояла малень-

кая лампада. Здесь Петроний остался и отпустил нас, пригласив вечером к нему собраться.

Я не мог уснуть. Печаль наполняла мою душу. Я видел в Петронии не только благодетеля, но и друга, искренно ко мне привязанного. Я уважал его обширный ум, любил его прекрасную душу. В разговорах его почерпал я знание света и людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. Его суждения обыкновенно были быстры и верны: равнодушие избавляло его от пристрастия. Искренность в отношении к самому себе делала его проницательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового: чувства его дремали, притупленные привычкою, но ум его хранил удивительную свежесть. Он любил игру мыслей, как и гармонию слов, охотно слушал философические рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла.

Я сошел в сад и долго ходил по излучистым его тропинкам, осененным старыми деревьями. Я сел на скамейку под тень широкого тополя, у которого стояла статуя молодого сатира, прорезывающего тростник. Желая развлечь какнибудь печальные мысли, я вынул записные дощечки и перевел одну из од Анакреона, которую и сберег в память этого печального дня.

Поредели, побелели
Кудри — честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели,
И потух огонь очей,
Сладкой жизни мне не много
Провожать осталось дней:
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей.
Страшен хлад подземна свода:
Вход в него для всех открыт,
Из него же нет исхода:
Всяк на веки там забыт».

Это неизданное стихотворение Пушкина написано им 6-го января 1835-го отдельно, с заглавием «Ода LVI (из Анакреона)». В повествовательном отрывке находится только ссылка на него; так точно и все стихотворения, введенные Пушкиным в отрывок, теперь следующий, обозначены в нем только ссылками.

III

«...Солнце клонилось к западу: я пошел к Петронию. Он расхаживал в библиотеке, с ним был его домашний лекарь Септимий. Петроний, увидя меня, остановился и произнес шутливо:

Узнаем коней ретивых
Мы по выжженным таврам,
Узнаем парфян кичливых
По высоким клобукам:
Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам.

— Не скромничай, — продолжал Петроний, — вынимай из-под тоги свои дощечки и прочти. — «Ты угадал», — отвечал я Петронию и подал дощечки. Он прочитал мои стихи. Облако задумчивости прошло по его лицу и тотчас рассеялось.

— Когда читаю подобные стихотворения, — сказал он, — мне всегда любопытно знать, как умерли те, которые так сильно были поражены мыслию о смерти. Анакреон уверяет, что Тартар его ужасает, но не верю ему, так же как не верю трусости Горация. Вы знаете оду его:

. . . .
Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! Как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей...

Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецената своею трусостию, чтоб не напомнить им о другом...»

Здесь кончаются начальные отрывки повести или, лучше, начальный план ее. Читатель, вероятно, уже заметил, что из стихотворений, там помещенных, только одно пропущено посмертным изданием («Поредели, побелели...»), но вместе с тем из напечатанных последнее, известное под заглавием «Гораций», отнесено им к числу «Лицейских стихотворений» Пушкина. Пьеса есть перевод или, лучше, превосходное подражание оде Горация «К Помпею» («Pompeium», ода VII, кн⟨ига⟩ II) и написана, как видим, в последних годах жизни поэта нашего[7]. Что касается до самих отрывков, то пусть вспомнят читатели, что мысль о «Египетских ночах» родилась у Пушкина еще в 1825 году[8]. Она обрела себе настоящую форму только спустя 10 лет. В числе проб и очерков, ей предшествовавших, мы видим, находился и такой, который, судя по намерению автора, должен был поднять предмет до философско-поэтического значения. Теперь, когда мы имеем произведение в художественной полноте и оконченности, трудно и представить себе вид, который могло бы оно иметь с другой идеей в основании и в другой форме. Нам остается

только заметить, что черновая подготовка материалов длилась у Пушкина иногда чрезвычайно долго. Затем уже вдохновение скоро обращало их в светлые и мощные произведения искусства. Так оправдывается глубокая истина любимой поговорки самого Пушкина: «Вдохновение нужно в поэзии так же точно, как и в геометрии»[9].

ГЛАВА XXXVI

1835 г. Деятельность общественная и деятельность кабинетная. «Материалы для Истории Петра Великого». Развитие сношений поэта в обществе в 1834—5 годах. — Наблюдательность его, отношение к нему литературных партий. — Пушкин — воспитатель художественного чувства в отечестве. — Выдержки из записок Пушкина, ясный характер заметок Пушкина при возрастающей запутанности обстоятельства. — «Материалы для истории Петра Великого», способ работы. — Одна система с 1672 по 1689 г. — Другая система с 1689 г. — Невозможность представления их публике в том виде, как они остались от Пушкина. — Первый отрывок из «Материалов» об основании Петербурга. — Второй отрывок о кончине преобразователя.

1834 и 1835 годы замечательны в жизни поэта нашего еще и развитием его сношений в обществе. Даже по одним бумагам можно судить о том, какой обширный круг деятельности нашла его наблюдательность и какой широкий горизонт представлялся вообще его глазу. Почти ни одно явление жизни не ускользает от него. Он собирает исторические анекдоты от очевидцев или от людей, близких к очевидцам, и помечает вместе с тем всякое слово или мысль, как только вышли они, по своему значению, из безразличного говора людей. Еще важнее для него были сами люди. Мы знаем, что в это время находился он в сношениях почти со всеми знаменитостями светского, дипломатического, военного и административного круга. Гораздо реже и не совсем охотно спускается он в круг литераторов: разнородные требования и стремления их уже не имеют для него важного значения, но он не остается равнодушным к нападкам и выходкам, которые еще показываются в это время, хотя уже и робко, хотя и с заметным чувством недоверия к успеху попыток. Неравнодушно встречает он и противоположное явление в литературе, именно *постоянное изучение его собственных созданий*, которое тоже начинает выказываться в эту эпоху, рядом со стремлением отыскать в самых этих созданиях живые эстетические законы... Он уже мог тогда прозреть свое значение как воспитателя художнического чувства в отечестве... Это было естественным результатом его деятельности. Никогда великий иностранный образец, если бы даже и был понятен всему кругу читателей, не даст и вполовину того, что дает со-

временникам художник родного слова, творящий, так сказать, перед ними и перед ними поправляющий себя в каждом новом создании. С мыслию производителя растет и мысль читателей. Кстати, приводим здесь две отдельные заметки Пушкина, касающиеся тогдашних литературных явлений: «Моя «Пиковая дама», — говорит он раз, — в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза»[1]. В другой раз он замечает: «Вчера Гоголь читал мне сказку, как Иван Иванович поссорился с Иваном *Тимофеичем* — очень оригинально и очень смешно»[2]. Мы сохранили ошибку Пушкина в названии сказки. Вслед за этими строками Пушкин прибавляет: «Гоголь по моему совету начал историю русской критики»*[3]. Заметки Пушкина выражены чрезвычайно просто, откровенно и отличаются ясностью сердца и ума, как вообще и все его поступки до минуты, когда пылкие порывы темнили все в глазах его и сбивали с дороги. Им не чужда была и эта эпоха его жизни. Не надо забывать, однако ж, что из смешения противоположностей состоит весь поэтический облик Пушкина. Как еще ни старались мы изложить в посильном описании эти необычайно подвижные черты его характера, но они не поддаются описанию и требуют для объяснения и примирения своего уже творческой кисти настоящего художника. Прибавим к этому, что поэт, чувствуя слабость свою, знал цену *нравственного принуждения*, вызванного участием, и охотно подчинялся ему; оно возвращало ему душевное спокойствие, без которого нет труда и творчества. Снова уходил он тогда в кабинет свой, где совокуплялись, так сказать, все нити, которыми связан он был с окружающими, и где разрешались все его наблюдения, поступки и приобретения мыслями, заметками, поэзией. Там копились также и материалы для истории Петра Великого; важнейший труд Пушкина в эти года, к описанию которого приведены мы теперь хронологическою последовательностию биографических материалов.

Какое значение придавал Пушкин труду своему, можно видеть из этих строк письма его к М. П. Погодину от 7-го апреля 1834 г.: «К Петру приступаю со страхом и трепетом, как вы к исторической кафедре». Поэт, однако ж, еще не приступал собственно к «Истории»[4]. В бумагах его остались только материалы для нее, о которых и говорит В. А. Жуковский в описании последних минут Пушкина в примечании: «Если напечатать все найденное в рукописях Пушкина, то, конечно, составится два хороших тома или и *пять* если

---

* Гоголь если и принялся за историю русской критики, то вскоре покинул ее. Из критического его труда осталась только статья «О движении журнальной литературы в 1834—1835 годах», написанная им для первого № «Современника» 1836 года, где она и помещена.

присоединить к литературным отрывкам все материалы, приготовленные для «Истории Петра Великого». Ж.»[5]. Эти материалы действительно были переписаны и собраны для печати еще в 1840 году. Шесть тетрадей их одобрены цензором для тиснения тогда же (с 30-го мая по 19-е июля 1840). Причина невыхода их доселе заключается в них самих[6].

То, что у Пушкина называется «Материалами для Истории», не представляет собственно материалов, но только выписки из них и ссылки[7]. Это черновая работа, свидетельствующая о добросовестности, с какой приступал он к задаче своей: Пушкин употребил 5 лет на один первый, подготовительный труд. Конечно, не менее времени потребовала бы и полная разработка его. Способ работы, употребленный Пушкиным, замечателен. С рождения преобразователя до объявления его единодержавным самодержцем России, то есть с 1672 по 1689 год, Пушкин делает свод всем летописям, запискам и документам, какие находились у него в руках, не прибавляя ничего. Это последовательный рассказ материалов, который должен был находиться под глазами его в эпоху настоящей исторической работы. Само собой разумеется, что в нынешнем виде он не может иметь ни значения исторической картины, ни критической оценки документов, будучи только основанием для той и другой. В средине этого рассказа, иногда подробного, иногда сжатого и прерывающегося, стоят вопросительные знаки и заметки для привлечения мысли при будущем обсуждении труда. Вот несколько примеров: «Он подружился с иностранцами; женевец Лефорт, 23-мя годами (?) старше его, научил его голландскому (?) языку». — «Хованскому послана была особая *похвальная* грамота, в коей повелевалось ему и сыну немедленно, для нужных советов, отправиться к государям (куда?)». — «Вины князей Голицыных сказаны были: что они без указу великих государей имя сестры их установили писать самодержицею и что в Крымском походе пользы никакой не учинили (тут есть несообразности)». Подобными заметками испещрен весь рассказ, и они лучше всего свидетельствуют сущность его как памятной записки, которая без поверки не могла быть представлена публике.

Начиная с 1689 г. своего исторического труда, Пушкин принимает другую систему. Под каждым годом излагает он свод событий, ознаменовавших его, и потом еще присоединяет к нему перечень указов, изданных в течение его. Эта система продолжается уже через все 5 с половиною тетрадей до года самой смерти великого императора — 1725 года. Описание ее, как и все прочее, лаконическими, краткими указаниями, имеет вид программы. Вот последние слова его: «8-го марта возвещено народу погребение. Через два дня оно совершилось. См. Голикова». Под этими словами стоит пометка:

«15-го декабря 1835». В этот день кончился для Пушкина первый черновой свод известий писателей своих и чужестранных о Петре Великом.

Но при этом новом порядке труда уже почти нет страницы, которая могла бы обойтись без поправки. Беспрестанно встречаетесь вы с недоумением или вопросом самого собирателя, знавшего, где найти разрешение им, но не оставившего тайны своей в бумагах. К этому присоединяется еще неправильное название лиц или мест, сделанное первыми источниками и везде обозначенное знаками вопрошения у Пушкина. В самое время переписки пушкинских материалов, в 1840 году, тогдашняя редакция обозначила сомнительные места отметками «справ.» (справиться), но, по многочисленности своей, справки эти требуют уже почти всех средств и всех трудов настоящего историка.

В отношении указов собиратель поступал так же точно, как и в отношении материалов: он выписывал сущность их и имел пред собой важнейшую часть законодательства каждого года вполне, а менее важную отбрасывал словами: «и проч. и проч.». Будущие объяснения и выводы и здесь обозначены вопросительными *знаками*, пометками NB и иногда сжатым определением в скобках, как: «Монополия казны» — «Cour de cassation»*, а перед положением о компаниях купеческих следующей выпиской: «*В супрядке не пряжа, в складчине не торг*» и проч. Все это отрывки мыслей, которые трудно теперь и пояснить. Представляем опять один образец изложения указов у Пушкина, как прежде сделали для исторического рассказа: «Тогда же (1699) состоялся указ всем русским подданным, кроме крестьян (?) и духовных, брить бороду и носить платье немецкое: сперва венгерское, а потом мужескому полу верхнее — саксонское и французское, а нижнее и камзолы — немецкие (?) (с ботфортами?), женскому полу (немецкое). С ослушников брать пеню в воротах (московских улиц), с пеших 40 к., с конных по 2 р. Запрещено было купцам продавать, а портным шить русское платье под наказанием (каким?)». К этим чертам, уже требующим отдельного и обширного труда для их пояснения, надо еще присоединить и то, что в некоторых местах листы мешаются и один рассказ повторяется два раза, затрудняя читателя, к которому году отнести событие и иногда затемняя самый ход повествования.

После всего сказанного понятно, отчего так долго ожидаемые материалы «Истории Петра Великого» до сих пор не были изданы и еще не скоро могут явиться в свет. Не говоря уже о новом труде, который они вызывают и который делается почти равным специальному, обширному труду настоящей

---

* «Кассационный суд» (*франц.*). — *Ред.*

исторической задачи, но теперь уже потеряна и своевременность их выхода. «История Петра Великого» приводится к окончанию одним из известных наших ученых[8]. Данные, собранные Пушкиным только для будущего развития их, должны скоро явиться в полной критической разработке. Тяжелый труд исправителя не может иметь никакого значения перед трудом историка, вооруженного и необъятными средствами, и долгим изучением предмета. Вместе с материалами для «Истории Петра Великого» в бумагах Пушкина должны остаться и так называемые «Камчатские дела» — другой памятник его деятельности[9]. Это также свод всех сказаний и данных о приобретении Камчатки и укреплении там русского владычества, с теми случайностями завоевания и казачьих похождений, какими исполнена история этой отдаленной земли. Они тоже требуют поверок, объяснений и дополнений, хотя и менее обширных, чем эпоха преобразователя, почему и могут быть сообщены публике впоследствии, вместе с половиной первой тетради самой «Истории Петра», которая наиболее отделана у Пушкина[10]. Ограничиваясь здесь покамест общим описанием ученого труда нашего автора, мы в дополнение к тому, что сказано, приводим два большие отрывка из тетрадей. Первый, из II тетради, касается основания Петербурга (1703), второй, из VI тетради, описывает кончину великого императора (1725 г.). Читатель легко заметит, что оба отрывка не имеют вида настоящего исторического рассказа, а только, как и все прочее у Пушкина, представляют одну программу его; но да позволено нам будет сказать здесь, что, несмотря уже на их характер, кажется достаточно объясненный нами, все эти заметки вместе, начинающиеся со дня рождения преобразователя и кончающиеся смертию его, исполнены еще интереса, привлекательности и поучения. В них видишь модель огромного, истинно великого произведения. Значение их еще возвышается короткими, отрывочными словами Пушкина, обнаруживающими его собственное суждение и взгляд на предметы, но оторвать их теперь же от тела, к которому принадлежат, нет никакой возможности.

1703

«Посреди самого пылу войны Петр Великий думал об основании гавани, которая открыла бы ход торговле с северозападною Европою и сообщение с образованностию. Карл XII был на высоте своей славы; удержать завоеванные места, по мнению всей Европы, казалось невозможно. Но Петр Великий положил исполнить великое намерение и на острове, находящемся близ моря, на Неве, 16 мая заложил крепость С.-Петербург *(одной рукою заложив крепость, а другой ее защищая.* Голик⟨ов⟩). Он разделил и тут работу. Первый

болверк взял сам на себя, другой поручил Меншикову. 3-й — графу Головину, 4-й — Зотову (? *Канцлеру*, пиш⟨ет⟩ Голик⟨ов⟩), 5-й — князю Трубецкому, 6-й — кравчему Нарышкину. Болверки были прозваны их именами. В крепости построена деревянная церковь во имя Петра и Павла, а близ оной, на месте, где стояла рыбачья хижина, деревянный же дворец на 9 саженях в длину и 3-х в ширину, о 2 покоях с сенями и кухнею, с холстинными выбеленными обоями, с простой мебелью и кроватью. Домик Петра в сем виде сохраняется и поныне.

В крепости определен комендантом полковник Рен. Меншикову, как генерал-губернатору завоеванных городов и земель, поручено надзирание над новоначинавшимся городом. Отведено место для гостиного двора, пристани, присутственных мест, адмиралтейства, государева дворца, саду и домов знатных господ. Город Нейшанц был *упразднен*, и жители оного переведены, и были первые петербургские поселенцы.

Петр послал Шереметьева взять крепость Копорье, а генерал-майора ф⟨он⟩ Вердена под Ямы. Обе крепости вскоре сдались на капитуляцию; гарнизоны выпущены в Нарву.

Когда народ встречался с царем, то, по древнему обычаю, падал перед ним на колена. Петр Великий в Петербурге, коего грязные и болотистые улицы не были вымощены, запретил коленопреклонение, а как народ его не слушался, то Петр Великий запретил уже *сие под жестоким наказанием, дабы*, пишет Штелин, *народ ради его не марался в грязи.*

Петр ездил в Ямы и Копорье, наименовал первый Ямбургом и повелел его укрепить. Там узнал он, что Крониорт из Лифляндии идет с 12 000 в намерении напасть на Петербург. Петр его предупредил с полками своей гвардии и 4 драгунскими и, нашед его в крепких местах у реки Сестры, прогнал его до Выборга, положив 2000. В то же время под Ямбург подступал нарвск⟨ий⟩ ком⟨ендант⟩ генерал-майор Горн, но прогнан с уроном от Шереметьева; в разных местах сверх того шведы были побиваемы.

Вслед за сим на Олонецкой верфи, в присутствии Петра, заложены 6 фрегатов; отправлено к Шереметьеву четыре наставления, между прочим о вымерении Ладожского устья и как подымается полая вода, *понеже зело нужны и там некоторые суда*. К Апраксину писал он, чтобы к весне *исправлялся пушками* и заготовлял *сие* для кораблей, но не зачинал их строить.

Из Олонца прибыл государь на новопостроенном фрегате «Штандарте» *с 6-ю ластовыми* судами в Петербург, куда вскоре пришел первый корабль голландский с товарами, напитками и солью. Обрадованный Петр велел отвести шкиперу и матросам постой в доме Меншикова; они обедали за его

столом, и Петр сидел с ними («С.-Петербургские ведомости», 1703 года, декабря 15), подарил шкиперу 500 черв⟨онцев⟩, а каждому матросу 300 ефим⟨ков⟩; второму кораблю вперед обещано тоже (300 черв⟨онцев⟩ шкиперу). Товары, по приказанию государя, тотчас были раскуплены.

Петр всегда посещал корабельщиков на их судах. Они угощали его водкой, сыром и сухарями. Он обходился с ними дружески. Они являлись при его дворе, угощаемы были за его столом... Их уважали и, вероятно, не любили. (Анекдот об оладьях. Кухмистер государев звался Фелтен. Летний дворец. См. *Штелина и Голикова.*)

1-го октября в третий раз Петр заключил условия с Августом, обязавшись усилить его саксонцев 12 000 пехоты, да дать 300 000 руб. Все было исполнено. Деньги посланы с обер-комиссаром кн. Дм. Голицыным.

Петр видел еще нужду в пространной гавани, в кою могли бы входить большие корабли, и крепости для прикрытия Петербурга. В октябре, когда шел уже лед, он ездил осматривать остров Котлин, лежащий в Финском заливе, в 30 верстах от Петербурга. Он вымерил фарватер между сим островом и мелью, против него находившеюся; на той мели, в море, определил построить крепость, а на острове сделать гавани и оные укрепить, и сам сделал тому *план и проспект.*

Потом государь с Шереметьевым отправился в Москву, оставя у Ямбурга окольничего П. Апраксина с 5-ю полками.

В Москву выехал он торжественно. По указу его сделаны были трое триумфальных ворот. Четвертые выстроил Меншиков. Потом занялся гражданским устройством государства, особенно финансами. *Доходы не составляли и 6 или 7 миллионов (?). Беер и другие (?), Щербатов. NB».*

1725

«1-го января Феофан говорил проповедь в присутствии Петра Великого.

1-го же издан указ о снятии лишних караулов.

Король испанский Филипп V заключил торговый союз с императором австрийским Карлом VI и женил Дона-Карлоса на эрцгерцогине Марии-Терезии.

Георгий I был недоволен. Он подозревал тайные статьи в пользу претендента. Франция завидовала выгодам торговым Австрии.

Фридерик-Вильгельм неохотно платил Австрии люгдебургские пошлины. Отселе ганноверский договор, оборонительный.

Франция и Англия обязывались поддерживать права на *Бергское* наследство короля прусского.

Швеция, Дания и Голландия приступили к тому же союзу.

Австрия вступила в союз с Россиею. Петр начал переговоры с Пруссией...

Петр послал в Архангельск корабельному мастеру Баженову приказ строить три корабля *груландских*, 3 бота и 18 шлюпок.

Он назначил *Беринга* (капитана) для открытия пути в восточную Индию через Ледовитый океан. Петр получил известие от Матюшкина.

Шамхал, собрав 30 000 войска, осадил крепость Св. Креста. Генерал-майор Кропотов его разбил и землю его разорил. Петр Великий уничтожил звание шамхала (см. «Ежем⟨е-сячные⟩ сочин⟨ения⟩». 1760, II — 38 и проч.).

Петр (по свидетельству Катофора) на Иордане простудился и занемог горячкою.

Петр повелел сало, юфть, воск и проч. в чужие края сухим путем не возить.

Издан полицейский указ о продаже съестных припасов.

О размещении солдат, где есть пустые строения в городах.

Объяснен указ об утайке душ.

О сборах.

16-го января Петр начал чувствовать предсмертные муки. Он кричал от рези.

Он близ своей спальни повелел поставить церковь походную.

22-го исповедовался и причастился.

Все петербургские врачи собрались у государя. Они молчали; но все видели отчаянное состояние Петра. Он уже не имел силы кричать и только стонал...

При нем дежурили три-четыре сенатора.

25-го сошлись во дворец весь сенат, весь генералитет, члены всех коллегий, все гвардейские и морские офицеры, весь синод и знатное духовенство.

Церкви были отворены: в них молились за здравие умирающего государя, народ толпился перед дворцом.

Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала в обморок; она не отходила от постели Петра и не шла спать, как только по его приказанию. Петр царевен не пустил к себе.

26-го утром Петр повелел освободить всех преступников, сосланных на каторгу (кроме 2-х первых пунктов и убийц), *для здравия государя*.

Тогда же дан им указ о рыбе и клее *(казенные товары)*.

К вечеру ему стало хуже, его миропомазали.

27-го дан указ о прощении не явившимся дворянам на смотр. Осужденных на смерть по Артикулу по делам Военной коллегии (*кроме* и проч.) простить — дабы молили они о здравии государевом.

Тогда-то Петр потребовал бумаги и перо и начертал не-

сколько слов, неявственных, из коих разобрать было можно только сии: «Отдайте всё»... перо выпало из рук его. Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать... Она вошла — но он уже не мог ничего говорить.

Архиереи псковский и тверской и архимандрит Чудова монастыря стали его увещевать. Петр оживился — показал знак, чтоб они его приподняли, и, возведши очи вверх, произнес засохлым языком и невнятным голосом: «Сие едино жажду мою утоляет; сие едино услаждает меня».

Увещевающий стал говорить ему о милосердии божием беспредельном. Петр повторил несколько раз: «Верую, и уповаю».

Увещевающий прочел над ним причастную молитву: «Верую, господи, и исповедую, яко ты еси» и прочее. Петр произнес: «Верую, господи, и исповедую; верую, господи: помози моему неверию» и *сие всё, что весьма дивно* (сказано в рукописи свидетеля), *с умилением, лице к веселию елико мог устроевая, говорил — по сем замолк...*

Присутствующие начали с ним прощаться. Он приветствовал всех плохим взором; потом произнес с усилием: «После»... Все вышли, повинуясь в последний раз его воле.

Он уже не сказал ничего. 15 часов мучился он, стонал, беспрестанно дергая правую свою руку — левая была уже в параличе. Увещевающий от него не отходил. Петр слушал его и несколько раз силился перекреститься.

Троицкий архимандрит предложил ему еще раз причаститься. Петр в знак согласия приподнял руку: его причастили опять. Петр казался в памяти до 4 часа ночи. Тогда начал он охладевать и не показывал уже признаков жизни. Тверской архиерей на ухо ему продолжал свои увещевания и молитвы об отходящих. Петр перестал стонать, дыхание остановилось; в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины. Екатерина провозглашена императрицей.

В тот же день обнародован манифест.

Полкам в Петербурге роздано жалованье, генерал-майор Дмитриев-Мамонов послан в Москву к сенатору графу Матвееву.

2-го февраля напечатана присяга и разослана по всему государству.

Тело государя вскрыли и бальзамировали. Сняли с него гипсовую маску.

Тело положено в меньшую залу. 30-го января народ допущен к его руке.

4-го марта скончалась 6-тилетняя царевна Наталия Петровна. Гроб ее поставлен в той же зале.

8-го марта возвещено народу погребение. Чрез два дня оное совершилось. (См. *Голик⟨ова⟩*.)

15 декабря (1835 г.)»

ГЛАВА XXXVII

1836 г. «Современник» и последние дни Пушкина: Командировка Пушкина в Москву для занятия в главном архиве в марте 1836 г., возвращение его назад. — Стихотворение «Художнику». — «Современник». — Причина его издания; содержание первой книжки. — В начале апреля Пушкин в Михайловском. — Смерть матери, письмо к Погодину и Языкову из Михайловского. — Критические статьи Пушкина в первой книжке «Современника». — Пушкин ревностно собирает исторические записки и предания. — Отрывок из письма Дениса Давыдова о знакомстве с Вилтер-Скоттом. — В мае Пушкин снова в Москве и тогда же возвращается назад. — Письмо к Нащокину с анекдотом о сыне. — Вторая книжка «Современника», как и первая, выходит в его отсутствие. — Лето 1836 года Пушкин на даче Каменного острова. — Он собирается посвятить всю деятельность журналу. — Последние стихотворения «Подражание итальянскому», «Молитва» и проч. — Первые строки неизданного стихотворения «Когда великое свершалось торжество...», последние строки пьесы «Когда за городом, задумчив, я брожу...», несколько других стихов: «По прихоти своей скитаться...». — Третий том «Современника» под редакцией самого Пушкина. — Переезд с Каменноостровской дачи в Петербург в октябре месяце. — Беспокойство духа. — Первые признаки неблагонамеренной и ложной молвы. — Раздражительность Пушкина, мысль уехать в Михайловское. — Последний лицейский праздник с товарищами и в ноябре появление четвертой книжки «Современника» с романом «Капитанская дочка».

В начале 1836 года (февраля 26) Пушкин, как объясняется в формулярном его списке, командирован в Московский Главный архив для занятий по делам службы[1]. Занятия эти были — дополнительный сбор исторических материалов, несмотря на то, что он полагал его оконченным в прошлом году Мы увидим, что Александр Сергеевич и еще раз в течение этого года посетил Москву с тем же намерением, но оба раза пробыл в ней недолго. Из февральской поездки он возвратился в марте месяце назад в Петербург: 25 марта написано в Петербурге стихотворение «Художнику». Первый том «Современника», журнала, который должен был состоять всего из четырех томов и материалы для которого заготовил он прежде, уже печатался[2]. Одобрение цензора на первом появившемся номере его имеет пометку: «31 марта 1836».

Причины основания этого журнала или обозрения, как называл его Пушкин, должно прежде всего искать в противодействии тому насмешливому, парадоксальному взгляду на литературу нашу, который высказался в последних годах и, поддерживаемый с остроумием и замечательной диалектической ловкостью, имел сильное влияние, особенно на людей полуобразованных, из которых везде и состоит большинство читателей[3]. Пушкин думал, вместе со многими из друзей своих, что, несмотря на безобразие многих отдельных явлений, литература наша в общности всегда была сильным орудием образованности, что легкое, постоянно шутливое обращение с ней лишено и основания, и цели, если не полагать

цель в доставлении одной забавы праздному чтению. Как будто для показания важного значения литературы нашей, Пушкин в первом же томе своего обозрения поместил «Пир Петра Великого», «Скупой рыцарь», «Из А. Шенье»[4], а в прозе — «Путешествие в Арзрум» и разбор сочинений Георгия Конисского! Не говорим уже о стихах Жуковского, о повести, статье и сценах Гоголя, о разборе парижского математического ежегодника кн. Козловского и «Хронике русского» А. Тургенева.

Еще книжка «Современника» не выходила из печати, как Пушкин уехал из Петербурга в Михайловское. Поводом к этой поездке в необычное весеннее время года была кончина матери его Надежды Осиповны. Он провожал тело ее до могилы, заготовленной ей рядом с родителями ее, Осипом Абрамовичем и Марьей Алексеевной (сконч. 1819) Ганнибалами, в Святогорском Успенском монастыре. 14 апреля Пушкин собрался опять в Петербург. В самый день отъезда своего из Михайловского он написал два письма: одно к М. П. Погодину, другое к Н. М. Языкову. Последнее особенно любопытно. Приводим их по порядку.

1) *К М. П. Погодину.*

«Пишу к вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. Журнал мой вышел без меня, и, вероятно, вы его уж получили. Статья о ваших афоризмах писана не мною, и я не имел времени, ни духа ее порядочно рассмотреть[5]. Не сердитесь на меня, если вы ею недовольны. Не войдете ли вы со мною в сношения литературные и торговые? В таком случае прошу вас объявить без обиняков ваши требования. Если увидите Н⟨адеждина⟩, благодарите его от меня за «Телескоп». Пошлю ему «Современник». Сегодня еду в С.-П⟨етербург⟩, а в Москву буду в мае — порыться в архиве и свидеться с вами. 14 апреля. Михайловское».

2) *К Н. М. Языкову.*

«Отгадайте, откуда пишу к вам, мой любезный Николай Михайлович? Из той стороны, где ровно тому десять лет пировали мы втроем: вы, В⟨ульф⟩ и я; где звучали ваши стихи и бокалы, где теперь вспоминаем мы вас и старину. Поклон вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти, от Е⟨впраксии⟩ Н⟨иколаевны⟩... у которой я в гостях. Поклон вам ото всего и от всех вам преданных сердцем и памятью. Алексей В⟨ульф⟩ здесь же, попрежнему милый, но уже перешагнувший за тридцатый год. Пребывание мое в Пскове не так шумно и весело ныне... но оно так живо мне вас напомнило, что я не мог не написать вам несколько слов в ожидании, что и вы откликнетесь. Вы получите мой «Современник»; желаю, чтобы он заслужил ваше одобрение. Из статей критических моя одна: о Конис

ском[6]. Будьте моим сотрудником непременно. Ваши стихи — вода живая; наши — вода мертвая; мы ею окатили «Современника»: опрысните его вашими кипучими каплями. Послание к Давыдову — прелесть![7] Наш боец чернокудрявый скрасил было свою седину, замазав и свой белый локон, но после ваших стихов опять его вымыл — и прав. Прощайте, пишите мне, да и кстати уж, напишите и к Вяземскому ответ на его послание, напечатанное в «Новоселье» (помнится), и о котором вы и слова ему не молвили. Будьте здоровы и пишите, то есть: *живи и жить давай другим*[8].

14 Апреля.

P. S. Пришлите мне, ради бога, *стих об Алексее бож⟨ием⟩ человеке* и еще какую-нибудь легенду — *нужно*».

Последнее слово «нужно» нам уже понятно... Направление Пушкина в эти года дает ему значение и смысл...[9]

Но из критических статей Пушкина, помещенных в первом томе «Современника», не одна только о сочинениях Конисского, как он утверждает, принадлежит ему. В известиях о новых книгах есть, например, две заметки, уже несомненно составленные им, и две другие, которые, по некоторым внешним и внутренним признакам, могут быть отнесены на его счет, хотя положительных доказательств их принадлежности издателю мы не нашли в бумагах. Начинаем с заметок первого рода:

1) «*Вастола, или Желания. Повесть в стихах*, *сочинение Виланда*, *издал А. Пушкин. С.-Пб., в тип. Д⟨епартамента⟩ Внеш⟨ней⟩ торг⟨овли⟩, 1836, в 8, стр. 96*».

В одном из наших журналов дано было почувствовать, что издатель «Вастолы» хотел присвоить себе чужое произведение, выставя свое имя на книге, им изданной. Обвинение несправедливое: печатать чужие произведения, с согласия или по просьбе автора, до сих пор никому не воспрещалось. Это называется *издавать;* слово ясно; по крайней мере, до сих пор другого не придумано.

В том же журнале сказано было, что «„Вастола" переведена каким-то бедным литератором, что А. С. П. только дал ему напрокат свое имя и что лучше бы сделал, дав ему из своего кармана тысячу рублей».

Переводчик Виландовой поэмы, гражданин и литератор заслуженный, почтенный отец семейства, не мог ожидать нападения столь жестокого. Он человек небогатый, но честный и благородный. Он мог поручить другому приятный труд издать свою поэму, но конечно бы не принял милостыни, от кого бы то ни было.

После такового объяснения не можем решиться здесь наименовать настоящего переводчика. Жалеем, что искреннее желание ему услужить могло подать повод к намекам, столь оскорбительным»[10].

Не видя никакой существенной надобности изъяснять теперь происшествие, о котором говорится в заметке, мы только прибавим, что право Пушкина издать поэму могло основываться и на том, что он пересмотрел ее и, вероятно, исправил в некоторых местах. Под заметкой его должна была стоять и подпись изд⟨ателя⟩, выпущенная только от типографского недосмотра.

Второй отрывок касается нового издания «Вечеров на хуторе» Н. В. Гоголя.

2) «*Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. Издание второе. Две части, в 8 д⟨олю⟩ л⟨иста⟩, XIV, 203 и X, 233, в типогр. Д⟨епартамента⟩ Внеш⟨ней⟩ тор⟨говли⟩*.

Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над нами появлением «Вечеров на хуторе». Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его произведений. Вслед за тем явился «Миргород», где с жадностию все прочли и «Старосветских помещиков», эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Валтер-Скотта. Г-н Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале»*.

Этот отзыв подтверждает все то, что говорили мы прежде о покровительстве, какое оказал Пушкин начинающему писателю, и о самих поводах к нему. Тут уже можно заметить мысль, высказанную впоследствии самим Гоголем по поводу только «Ревизора»: честное лицо в моей комедии — есть смех[11].

Переходим к заметке, которая может и не принадлежать Пушкину, но удивительно совпадает с его образом мыслей и с направлением вообще.

«*Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год, артиллерии полковника И. Р.... Москва, 1835—1836, в 8 д. четыре части. Стр. 296—348—354—375*.

---

* На днях будет представлена на здешнем театре его комедия «Ревизор». — *Прим. Пушкина.*

Когда возвратились наши войска из славного путешествия в Париж, каждый офицер принес запас воспоминаний. Их рассказы все без исключения были занимательны, все наблюдаемо было свежими и любопытными чувствами новичка, даже постой русского офицера на немецкой квартире составлял уже роман. Доныне, если бывший в Париже офицер, уже ветеран, уже во фраке, уже с проседью на голове, станет рассказывать о прошедших походах, то около него собирается любопытный кружок. Но ни один из наших офицеров до сих пор не вздумал записать свои рассказы в той истине и простоте, в какой они изливаются изустно. То, что случилося с ними как с людьми частными, почитают они слишком неважным и очень ошибаются. Их простые рассказы иногда вносят такую черту в историю, какой нигде не дороешься. Возьмите, например, эту книгу: она не отличается блестящим слогом и замашками опытного писателя; но все в ней живо и везде слышен очевидец. Ее прочтут и те, которые читают только для развлечения, и те, которые из книг извлекают новое богатство для ума»[12].

В последнее время Пушкин был одним из самых ревностных собирателей записок, преданий, изустных исторических рассказов. Он отыскивал их всюду, где только мог — с жаром и неутомимостию, которыми вообще отличались его предприятия. Он заводил переписку по первому слуху о существовании какого-либо документа в этом роде, какого-либо семейного сказания или откровенной повести из жизни действительного лица. Пусть вспомнят читатели наши участие, с которым он встретил записки Н. А. Дуровой, помещенные во II-м томе «Современника» с объяснением от собственного лица[13]. Оно сохранено нами в примечаниях к статьям, взятым из «Современника». Так точно по первому известию, что Д. В. Давыдов находится в близких сношениях с Валтер-Скоттом, Пушкин просил его рассказать всю историю его знакомства с знаменитым шотландцем. Отрывок из ответа Д.В.Давыдова сохранился в бумагах Пушкина; он любопытен.

«...Мне писал племянник мой Владимир Петрович Давыдов, который учится в Эдинбурге, что он часто видится с Валтер-Скоттом и часто бывает у него в деревне, что Валтер-Скотт долго его обо мне расспрашивал и показывал ему портрет мой, находящийся у него в кабинете. Это польстило моему самолюбию, и я написал Валтер-Скотту благодарное письмо, на которое он немедленно отвечал. Сверх того, он спустя несколько времени прислал мне свой портрет, с надписью «Валтер-Скотт Денису Давыдову». Теперь я ему пишу благодарное письмо за портрет, а между тем, узнав, что он составляет себе кабинет разного оружия, на днях посылаю ему куртинский дротик, черкесский лук и стрелы и кинжал. Вот вся история моего знакомства с Валтер-Скоттом»[14].

Наконец, выписываем шутку Пушкина, в которую отчасти примешивается и чувство грусти. Что она принадлежит поэту, свидетельствует одно обстоятельство. При перечете имен старых деятелей в литературе, пропущено его собственное имя.

«*Мое новоселье. Альманах на 1836 год, В. Крыловского. С.-Пб. в типогр. издат⟨еля⟩, 296 стр.*

Это альманах! Какое странное чувство находит, когда глядим на него; кажется, как будто на крыше опустелого дома, где когда-то было весело и шумно, видим перед собою тощего мяукающего кота. Альманах! Когда-то Дельвиг издавал благоуханный свой альманах! В нем цвели имена Жуковского, князя Вяземского, Баратынского, Языкова, Плетнева, Туманского, Козлова. Теперь все новое, никого не узнаешь: другие люди, другие лица. В оглавлении, приложенном к началу, стоят имена гг. Куруты, Варгасова, Крыловского, Грена; кроме того, написали еще стихи буква С., буква Ш., буква Щ. Читаем стихи — подобные стихи бывали и в прежнее время; по крайней мере в них все было ровнее, текучее, сочинители лепетали вслед за талантами. Грустно по старым временам!..»[15]

В мае месяце А. С. Пушкин снова уехал в Москву, порыться в архивах, как он говорит в письме к М. П. Погодину, но вместе с тем, вероятно, и по собственным делам. В это время одно из них, кончившееся к полному его удовольствию, свидетельствует, что боязнь толков и пересудов света начинала уже сильно развиваться в нем[16]. В мае же месяце вернулся он в Петербург и 27-го числа написал то доброе, простосердечное письмо, которое, вместе с другими к П. В. Нащокину, уже напечатано было в «Москвитянине» (1851 г., № 23).

«Любезный П⟨авел⟩ В⟨оинович⟩, я приехал к себе на дачу 23-го в полночь. Дай бог не сглазить, все идет хорошо. Теперь поговорим о деле. Я оставил у себя два порожних экземпляра «Современника». Один отдай князю Гагарину, а другой пошли от меня Б⟨елинскому⟩[17] *(тихонько от наблюдателей, NB)*[18], и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться. *Во-вторых*, я забыл взять с собою твои записки, перешли их, сделай милость, поскорее[19].

Путешествие мое было благополучно, хотя три раза чинил я коляску, но слава богу — на месте, т. е. на станции, и не долее 2-х часов *en tout**.

Второй № «Современника» очень хорош, и ты скажешь мне за него спасибо. Я сам начинаю его любить и, вероятно, займусь им деятельно.

27 мая 1836.

Вот тебе анекдот о моем Сашке. Ему запрещают (не знаю

---

* в общем *(франц.)*. — *Ред.*

зачем) просить, чего ему хочется. На днях говорит он своей тетке: «Азя! дай мне чаю: я просить не буду».

Итак, мы видим, Пушкин с мая месяца жил уже на даче — на Каменном острову. В отсутствие его[20], материалы, приготовленные им для II-го № «Современника», были приведены в порядок и напечатаны людьми, которым он поверил эту работу. Он нашел второй том «Современника» очень хорошим. Книжка вышла в июне месяце. Одобрение цензора на ней помечено 30-м числом июня 1836 года.

Из собственных его статей второй № «Современника» содержал известие о Российской Академии[21], предисловие к запискам Н. А. Дуровой и, вероятно, то объявление от редакции журнала, в котором она принимает на себя вину напечатания «Хроники русского в Париже» (А. Тургенева) без исправлений в слоге и отвечает на нападки журналов, усмотревших в записках Эоловой Арфы[22] только погрешности против языка и внешней формы. Последние слова этого объявления, имеющие совершенно характер пушкинский, выписываем:

«...Можно было бы, и по некоторым отношениям следовало бы для порядка, дать этим разбросанным чертам стройное единство, облачить в литературную форму. Но мы предпочли сохранить в нем* живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, булеварных, академических, салонных, кабинетных движений, так сказать, *стенографировать* эти горячие следы, эту лихорадку парижской жизни; впрочем, кажется, мы и не ошиблись в своем предпочтении. По всем отзывам образованных и просвещенных людей, парижская хроника возбудила живейшее любопытство и внимание. Даже и тупые печатные замечания подтвердили нас в убеждении, что способ, нами избранный, едва ли не лучший. Вкус иных людей может служить всегда надежным и неизменным руководством, стоит только выворотить вкус их наизнанку. То, чего они оценить не могли, что показалось им неприличным, неуместным, то, без сомнения, имеет внутреннее многоценное достоинство, следовательно, не их имеем в виду в настоящем объяснении. Но мы желали только, по обязанности редакторской, приняв на себя всю ответственность за произвольное напечатание помянутых выписок, отклонить ее от того, который писал их, забывая, что есть книгопечатание на белом свете»[23].

Впрочем, второй том «Современника» имеет преимущественно критический характер. Он наполнен разборами замечательных книг и литературных явлений, как своих, так и чужестранных. В нем находим отчеты о заседании Французской Академии, о «Наполеоне», поэме Кинэ, о войнах Цеза-

---

* В журнале.

ря, писанных Маршаном под диктовку Наполеона, о комедии Гоголя «Ревизор» и проч.[24].

С жаром принялся Пушкин летом на Каменноостровской даче своей за приготовление нового тома журнала, которым еще недавно обещался деятельно заняться. Первые два №№ хотя и составлены были им, но печатались, как мы видели, без личного надзора издателя: только третий № вышел под собственными его глазами*. Неутомимо работал поэт-журналист над материалами и содержанием новой книжки. Один из друзей, посетив его в воскресенье, застал его за статьей «Джон Теннер». Поэт работал над ней уже целое утро и, встречая приятеля, сказал ему, потягиваясь, полушутливо и полугрустно: «Плохое наше ремесло, братец. Для всякого человека есть праздник, а для журналиста — никогда». От пребывания его на даче Каменного острова осталось, однако ж, и несколько поэтических, последних песен его: «Подражание итальянскому», написанное 22 июня, «Молитва», написанная ровно через месяц, 22-го июля, и несколько неизданных. Все они уже ознаменованы тем особым состоянием духа, которое в высоких образах, граничащих с религиозным эпосом, ищет пищи и удовлетворения себе. Заметно, что воображение поэта обставлено, так сказать, картинами исторического и духовного содержания и беспокойно живет между ними, еще выбирая предмет для полного поэтического усвоения. В неизданных стихотворениях можно видеть, как явления жизни начинают представляться мысли его той стороной, которая чем-либо соприкасается с исторической или религиозной идеей. 5 июня Пушкин начал стихотворение, первые строки которого здесь приводим:

Когда великое свершалось торжество
И в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа —
    Мария-грешница и пресвятая дева —
    Стояли две жены
В неизмеримую печаль погружены!..[25]

Картина в 6-ти стихах, мерно и величественно восстающая пред глазами вашими!.. Другая, ей подобная, писана

---

* Пушкин объяснил это сам в третьем томе «Современника», уведомляя, что обещание разобрать все книги, помеченные в реестре новых книг звездочкой, дано было не им и не может быть исполнено: «*Обстоятельства*, — говорит он, — *не позволили издателю лично заняться напечатанием первых двух нумеров своего журнала;* вкрались некоторые ошибки, и одна довольно важная, происшедшая от недоразумения: публике дано обещание, которое издатель ни в каком случае не может и не намерен исполнить, — сказано было в примечании в статье «Новые книги», что книги, означенные звездочкой, будут со временем разобраны. В списке вновь вышедшим книгам звездочкою означены были у издателя те, которые показывались ему замечательными или которые намерен он был прочитать; но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике: многие не входят в область литературы, о других потребны сведения, которых он не приобрел».

в последнем месяце лета. В одну из прогулок своих Пушкин завернул на кладбище и 14-го августа выразил впечатления свои в стихотворении, которое начинается стихами:

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу...

Весь предмет, возбудивший сначала тяжелое и смутное волнение в душе его, тотчас же освещается кротким светом религиозной мысли и выходит уже преобразованный совершенно идеальным пониманием и представлением его. Исполненный тихой задумчивости, он в новом своем виде приносит с собой умиротворение всех требований и порывов:

Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое:
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широкий дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя!..
14-го августа, 1836. Камен⟨ный⟩ остр⟨ов⟩.

Наконец, немного ранее, 5-го июля, набрасывает Пушкин отрывок, где высказывает в чудных стихах все потребности свои как художника. Созерцание природы и наслаждение искусством признает он единственной целью своей жизни, пренебрегая и откидывая все другие, многоразличные цели, которые волнуют его современников. Он ставит цель положительно и твердо:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья...
— Вот счастье! вот права![26]

То же самое говорил он и прежде, но теперь мы уже знаем, что не прежнее вольное, артистическое наслаждение всеми явлениями жизни скрывается в его словах, но сближение с теми величавыми образами, которые предчувствовала и по которым томилась душа его...

В сентябре месяце вышел третий том «Современника». Постоянная работа лета не прошла даром, и Пушкин сдержал обещание. Третий том есть чуть ли не лучший том всего издания по разнообразию и существенности своего содержания. В нем, вместе со стихами Ф. Т⟨ютчева⟩, Давыдова и Вязем-

ского, поместил он собственные свои пьесы «Родословная моего героя», «Полководец», «Сапожник (Притча)». В прозе мы уже находим 7 статей Пушкина: «О мнении М. А. Лобанова», «Об «Истории Пугачевского бунта», «Вольтер», «Фракийские элегии», «Анекдоты», «Отрывок из неизданных записок дамы» и «Джон Теннер». В разборе книг мы извлекли уже, для напечатания в виде отдельных статей, его заметки «Об обязанностях человека» Сильвио Пеллико» и «О словаре святых, прославленных в российской церкви»; они проникнуты тем же нравственным чувством, какое овладело и умом его вместе с творческой его способностию, что в настоящем художнике почти всегда неизбежно*. Есть и несколько небольших полемических объяснений Пушкина в том же номере. Известный библиограф И. А. Бессонов прислал в «Современник» свои заметки на статью Гоголя «О движнеии журнальной литературы». Он противопоставлял некоторым обвинениям ее свои соображения и, называя ее программой журнала, ждал от «Современника» исполнения всех упущений в журналистике, как-то: определения, что такое Валтер-Скотт, французская литература, наши писатели и наша публика?[28] Осторожный Пушкин сделал такую выноску к заметкам г. Бессонова: «С удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б.**, нахожусь в необходимости дать моим читателям некоторые объяснения. Статья «О движении журнальной литературы» напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, чтобы все мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямодушием, были совершенно сходны с моими собственными. Во всяком случае, она не есть и не могла быть программою «Современника»». В другой раз, отвечая на догадки журналов о программе журнала и цели его, он останавливается при иронической заметке одной газеты[29], что «Современник» будет только продолжением «Литературной газеты» барона Дельвига. С гордостию и чувством уважения к другу Пушкин подтверждает слова газеты: «„Современник",— говорит он, — по духу своей критики, по многим именам

---

* Между прочим, вслед за реестром новых книг было еще в третьем томе «Современника» объявление о новом романе: «Недавно одна рукопись под заглавием «Село Михайловское» ходила в обществе по рукам и произвела большое впечатление. Это роман, сочиненный дамою. Говорят, в нем много оригинальности, много чувства, много живых и сильных изображений. С нетерпением ожидаем его появления». Кому мог принадлежать этот роман, носивший имя села Пушкиных, нам неизвестно. В бумагах поэта, по крайней мере, не осталось никаких признаков существования его. Его нет и в русской литературе. Несмотря на расспросы наши, мы не могли даже узнать намерения, понудившего Пушкина к такому объявлению или к допущению такого объявления[27].

** Заметки были изложены в письме за подписью: «А. Б. Тверь. 23-го апреля 1836».

сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, *будет* продолжением „Литературной газеты"»[30].

Выдав книжку «Современника», Александр Сергеевич в октябре месяце переехал в город, на Мойку, к Певческому мосту, дом Волконской. С этого времени становится в нем заметно особенное беспокойство духа; первые признаки неблагонамеренности и лживой молвы, тогда показавшиеся, начинают тревожить его. Он делается раздражителен и наконец с трудом таит в себе муку гнева и досады, которые вскоре и одолевают его. Как будто предчувствуя катастрофу, он сбирался уехать в конце этого года в Михайловское и пробыть там всю зиму с семейством своим. Исполнение плана предотвратило бы, может статься, бедствие, которое поразило его в первом месяце следующего, 1837 года*.

Между тем в ноябре выдал он 4-й, последний, том «Современника», имеющий цензурное одобрение от 11 ноября 1836 г. Существенной частью этой книжки был роман «Капитанская дочка», напечатанный в нем целиком, да «Хроника русского в Париже». Отдельных стихов Пушкина в нем не было, но он напечатал тогда объяснение по поводу «Полководца», в котором заключил три строфы в честь вождя 12-го года князя Кутузова, бывшие дотоле неизвестными[32]. Затем, в «Новых книгах», Пушкин сделал одобрительную заметку на «Записки» Н. А. Дуровой, вышедшие отдельно под заглавием «Кавалерист-девица»: «Читатели «Современника» видели уже отрывки из этой книги. Они оценили, без сомнения, прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь далекого от авторских притязаний, и простоту, с которою пылкая героиня описывает самые необыкновенные происшествия...» Другая заметка касается труда г-на Строева «Ключ к «Истории государства Российского» (2 части. Москва)». Мы не

---

* Один из лицейских товарищей Пушкина передал нам трогательный анекдот. Известно, что воспитанники лицея всегда собирались 19 октября — день основания лицея — к одному из товарищей, читали стихи, беседовали о прошлом и *записывали слова и речи присутствующих,* обозначая последних школьными именами и указывая, где находились те из них, кого не было налицо. Пушкин писал к этому дню все свои пьесы, известные под заглавиями «19 октября». По обыкновению, и к 1836 году он приготовлял лирическую песнь, но не успел ее докончить. В день праздника он извинился перед товарищами, что прочтет им песню, не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что начал, при всеобщей тишине, свою удивительную строфу:

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался, —

как слезы покатились из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, на диван... Другой товарищ уже прочел за него последнюю «лицейскую годовщину»[31].

знаем достоверно, принадлежит ли она Пушкину, но по мысли своей она совершенно сходна с тем, что он обыкновенно думал и говорил:

«Издав сии два тома, г. Строев оказал более пользы русской истории, нежели все наши историки с высшими взглядами, вместе взятые. Те из них, которые не суть закоренелые верхогляды, принуждены будут в том сознаться. Г. Строев облегчил до невероятной степени изучение русской истории. «Ключ» составлен по второму изданию «Истории государства Российского», *самому полному и исправному»*, — пишет г. Строев. Издатели «Истории государства Российского» должны будут поскорее приобрести право на перепечатание «Ключа», необходимого дополнения к бессмертной книге Карамзина»[33].

ГЛАВА XXXVIII

Январь 1837 года. Дуэль Пушкина и кончина его: Наступление нового года. — Пушкин не выдерживает жала клеветы и злоречия. — Дуэль его с г. Гекерном и смертельная рана. — Некоторые подробности дуэли. — Смерть и похороны его. — Впечатление, произведенное явлением его посмертных стихотворений в «Современнике» 1837 года. — Заключение.

Так наступил 1837 год, в котором смерть неожиданно свела Пушкина с жизненного и литературного поприща. Причины и обстоятельства, породившие катастрофу, еще всем памятны. Легкомысленное понимание жизни и характеров, неосновательный, злоречивый говор молвы, какой часто бывает в городах и исчезает по собственному ничтожеству своему и по презрению, которое рано или поздно наказывает его, произвели здесь гибельные последствия. Они встретили пылкий характер, который придал им значение гораздо более того, какое они заслуживали, и сделал их орудием собственной преждевременной и мучительной смерти. Раздраженный упорством клеветы, Пушкин не сохранил рассудительности и хладнокровия, нужных для предоставления ее собственному позору. В праздной и неблагородной насмешке он видел мнение света, а мнение света было в его глазах делом первой важности. Энергия, неутомимость и сосредоточенный в себе гнев, с какими выступил он против первых легкомысленных проявлений злоречия, уже предвещали неминуемую катастрофу. С ходом всего дела Пушкин воспламенялся все более и, наконец, ослепленный гневом и негодованием, сделался жертвой столько же чужого легкомыслия, сколько и своего огненного, неукротимого характера[1]. Смертельно раненный на поединке с г. Дантесом (Георг Гекерн) 27-го января

1837 года, он скончался без малого через два дня — 29 января, в пятницу, в три четверти третьего часа пополудни.

Все попытки друзей отвратить этот удар остались тщетны. В самый день поединка они везли обоих противников чрез место публичного гулянья, несколько раз останавливались, роняли нарочно оружие, надеясь еще на благодетельное вмешательство общества, но все их усилия и намеки остались безуспешны[2]. Только по окончании гулянья на Каменном острове одна дама, знакомая Пушкину, получив известие, что видели его и г. Дантеса, торопившихся друг за другом и опоздавших на общее веселие, только она догадалась о событии и воскликнула с живым выражением страха: «Тут должно случиться несчастие. Поезжайте за ними»[3]. Но уже было поздно.

Пушкин был смертельно ранен выстрелом противника, упал и несколько мгновений лежал без чувств в снегу. Поднявшись, он переменил пистолет, потребовал, чтоб противник, подбежавший к нему, возвратился опять на свое место, и, собрав все силы, послал ему выстрел. Известно радостное восклицание Пушкина при виде упавшего соперника, легко пораженного им в руку. Мы упоминаем здесь об этом обстоятельстве, чтоб показать степень страсти, овладевшей всем существом его.

Радость была столько же напрасна, сколько и противна нравственному чувству. Покамест противник садился в сани Пушкина и отправлялся домой, самого Пушкина переносили в карету, заранее приготовленную семейством его соперника на случай несчастия. Пушкин еще поглядел вслед удаляющегося врага и прибавил: «Мы не все кончили с ним», но уже все было кончено, и другой ряд более возвышенных и более достойных мыслей ожидал умирающего в дому его.

Карета медленно подвигалась на Мойку, к Певческому мосту. Раненый чувствовал жгучую боль в левом боку, говорил прерывистыми фразами и, мучимый тошнотою, старался преодолеть страдания, возвещавшие близкую, неизбежную смерть. Несколько раз принуждены были останавливаться, потому что обмороки следовали довольно часто одни за другими и сотрясение пути ослабляло силы больного. По прибытии к дому Пушкин остался в карете, между тем как спутник его сошел для исполнения одной из самых тяжких обязанностей — предуведомления домашних о случившемся несчастии. Камердинер Пушкина вынес его на руках из кареты, и раненый ласково спросил его: «Грустно тебе нести меня?»

Супруга поэта, спокойно занимавшаяся в своей гостиной, при первом намеке о бедствии стремительно бросилась к кабинету мужа. Пушкин не допустил ее к себе в первое время, боясь неожиданности впечатления. Он уже лежал на диване, когда она вошла в кабинет, взял ее руки, поднес к губам

своим и молвил: «Благодарю бога: я еще жив и ты возле меня».

Отсюда начинается трогательная драма его кончины, описание которой заключено в письме В. А. Жуковского к отцу поэта, Сергею Львовичу[4]. Крепость духа, борющаяся в продолжение 45 часов с нестерпимыми физическими страданиями и часто побеждающая их; мысль, сохраняющая всю свежесть в горькие минуты распадения организма; мягкость сердца и чувства, идущие рядом с изумительной энергией характера; наконец религиозное одушевление, разрешающееся полным внутренним примирением со всеми врагами своими и благодарственным воззванием к монарху, венценосному благодетелю своему, — все это делает кончину Пушкина поистине событием, исполненным драматической силы и глубокой нравственной идеи. Письмо В. А. Жуковского передает ее в поразительной картине: к нему и отсылаем читателей наших*.

Пушкин скончался 37 лет, 8 месяцев и трех дней. Известие о смерти его распространилось по всему городу. Люди всех сословий приходили поклониться гробу того человека, который так много доставлял всем высоких духовных наслаждений в жизни. Дом его с утра до вечера наполнен был народом, который видел в прахе этом утрату надежд своих на будущее...

Пушкин не оставил после себя почти никакого состояния. Нам уже известны все щедроты монарха, излившиеся на семейство поэта тотчас по кончине его. На самые похороны его было отпущено 10 тысяч руб. ассигн. и высочайше повелено препроводить прах его в Святогорский Успенский монастырь, в 4-х верстах от Михайловского (Псковской губернии, Опочковского уезда), причем исполнение сего повеления возложено было на того человека, который открыл Пушкину первый путь в жизни определением его в лицей, — на А. И. Тургенева. При стечении многочисленного народа отпевание тела умершего происходило в придворной Конюшенной церкви, 1-го февраля. Площадь перед нею была покрыта толпами, которые не могли поместиться в самой церкви. Там, после разрешительного благословения религии, прах Пушкина принял последнее целование родных и друзей. В. А. Жуковский обнял бездыханное тело его и долго держал его безмолвно на груди своей. Гроб перенесен был в склеп самой церкви, в ожидании времени отправления его в Святогорский монастырь, что произошло два дня спустя, 3-го февраля. Там возвышается теперь могила, с надгробным памятником

---

* Вместе с описанием В. А. Жуковским мы прилагаем и рассказ г. Бантыш-Каменского из его биографии Пушкина, который дополняет первое многими подробностями и замечательными чертами[5].

из белого мрамора и надписью: «Александр Сергеевич Пушкин» в лавровом венке. Памятник состоит из обелиска на четвероугольном основании, имеющем вид древних гробниц. Он находится перед жертвенником на внешней стороне старинной церкви монастыря. Площадка, где покоится Пушкин, всего-навсего имеет 25 шагов по одному направлению и около 10 по другому. Она кончается обрывом и начинает зарастать липами и деревьями... место молчаливо и строго.

«Современник» появился и в 1837 году, но уже изданный друзьями покойного[6] и в пользу семейства прежнего своего основателя. Тут впервые ознакомилась публика со многими произведениями поэта, несколько лет уже сберегавшимися в тетрадях его. Посмертный, загробный голос Пушкина, длившийся целый год в новом «Современнике», показал окончательно всю великость понесенной утраты и погибших с поэтом надежд. В «Современнике» 1837 года напечатаны были, кроме небольших стихотворений и прозаических отрывков, «Медный всадник», «Русалка», «Галуб», «Арап Петра Великого», «Летопись села Горохина», «Египетские ночи». Будем говорить только о произведениях стихотворной формы. Каждое из них, кроме своего художнического значения, имело еще и другой голос в то время. За мощными стихами их, достигшими некрушимой, будто сквозь огонь проведенной формы, за образами их, доведенными до отчетливости исполнения, перерождавшей их в совершенно живые явления, слышалось такое обилие творческой неистощимой силы, что они казались скорее начатками богатой деятельности, чем окончанием ее. Являясь как последнее слово поэта, как предел, за который он уже не перейдет, все эти создания опровергали собственными качествами характер, сообщенный им неожиданной и преждевременной смертью.

Но будем довольны и тем, что сделано Пушкиным.

Как дуб, предназначенный на долгое существование, Пушкин вначале развивался тихо, раскидывая ветви с каждым годом все шире и шире. В зачатках его уже можно было видеть все признаки медленного возрастания, какое бывает уделом мощных организаций. Эфемерное поэтическое существование, скоро выбегающее для изумленных глаз и скоро пропадающее от них, начинается и кончается несколькими произведениями одинакового значения и равного достоинства, но Пушкин начинал тяжело. Корни его поэзии постепенно, медленно и глубоко проникали в глубь жизни и души человеческой. Он и в последнее время еще далеко не достиг предела, какой положен был собственной его природой, и по оставшимся начаткам легко видеть обширные размеры, какие мог бы он принять впоследствии. Обозревая всю деятельность его вполне, невольно приходишь к заключению, что мы имеем только приготовление Пушкина к последнему

фазису развития его, который должен был и определить все значение его, и довершить весь его образ, но повторяем слова наши: будем довольны и тем, что нам осталось от него.

Нам осталась вполне сущность его поэзии. Общий голос уже прежде нас определил ее значение, назвав ее исключительно художническим созерцанием природы и человека. Мысль, что Пушкин приступал ко всем явлениям физического и нравственного мира, как к предметам искусства, сделалась у нас общим местом. Будущим критикам предстоит, однако ж, труд вполне определить способ, каким выражалось это направление, потому что способ выражения в художнике и есть мерило настоящего его достоинства. Во многих из наших поэтов, предшественников Пушкина, видим мы первобытную поэтическую силу еще в грубом своем величии, которая иногда смягчается сердечным чувством, иногда особенною настроенностию души, иногда, как у Батюшкова, сочувствием к древним образцам, но весьма редко самим чувством изящного, пониманием красоты формы, требованиями умеренности и эстетической постройки в создании. Энергия, составляющая отличительную черту всего русского искусства, выступает и после Пушкина с особенной ясностию, господствуя над всеми другими условиями творчества. Из соединения внутренней силы с изяществом планов и всех очертаний родились поэтические создания его. Самый стих его, который по общему, не заготовленному наперед согласию, называется генерическим именем «пушкинского стиха», выходит из того же сочетания красоты и мощи: отсюда и право Пушкина на имя *народного* поэта, которое подтвердил он и еще другими качествами своими: ясностию всех своих представлений, прямым, бодрым взглядом на предметы и на жизнь. Многосторонность его поэзии еще более укрепляет за ним почетное название, присужденное ему общим голосом. Он не вращался в ограниченной сфере, которая бы завистливо держала его на одного рода представлениях и тем самым умалила призвание: национальная способность понимания чужих идей и образов и усвоения их не имела бы в нем тогда своего представителя! Крупная черта, отличающая Пушкина от предшественников, есть его близость к действительной жизни, которая так превосходно соответствует практическому смыслу, лежащему в основе русского характера. Никогда не забывал он художнической идеализации, без которой нет изящных произведений, но он не имел понятия о той низшей идеализации, которая одной данной краской расписывает все предметы. Материалы для биографии Пушкина, представляемые теперь публике, передают только в слабом очерке внутреннюю и внешнюю жизнь поэта. Настоящая, полная жизнь его заключается в самых его произведениях, порожденных, так сказать, ходом ее. В них читатель может

изучать и душу поэта, и обстоятельства его существования, переходя от одного художнического образа к другому: так писал Пушкин свою биографию. По распределению статей, принятому настоящим собранием его сочинений, читатель может иметь наслаждение проследить этот поэтический рассказ о самом себе, начиная с первых подражаний поэта нашего эротическим писателям Франции, до тех пор, пока после ряда могущественных созданий он мог воскликнуть в справедливой гордости:

Я памятник воздвиг себе нерукотворный:
К нему не зарастет народная тропа.

КОММЕНТАРИИ

«Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина» были впервые опубликованы в 1855 году (цензурное разрешение от 22 октября 1854 года) в качестве первого тома подготовленного П. В. Анненковым издания сочинений поэта. В 1857 году к седьмому, дополнительному тому «Сочинений Пушкина» был приложен «подробный указатель к «Материалам для биографии А. С. Пушкина», представляющий собой пересказ основного содержания этого труда. Новая публикация исследования была осуществлена в 1873 году под названием «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений» (СПб., изд. т-ва «Общественная польза», 1873), причем в этом издании, в отличие от предыдущего, текст был разделен на главы, и каждая из них предворена указателем ее содержания. В целом же второе издание практически повторяло редакцию 1855 года.

В настоящем, третьем издании текст исследования П. В. Анненкова приводится по его публикации 1873 года (с исправлением опечаток по первому изданию 1855 года). Пушкинские тексты, а также биографические и иллюстративные материалы, помещенные П. В. Анненковым в разделе «Приложения»*, не перепечатываются. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам, за исключением случаев, когда отклонения имеют экспрессивно-смысловой характер либо передают колорит эпохи. Приведенные в «Материалах» тексты сочинений Пушкина, а также произведений других авторов даются в чтении, принятом П. В. Анненковым. Имена современников поэта, обозначенные начальными буквами либо замененные звездочками, раскрываются в ломаных скобках. Купюры, сделанные П. В. Анненковым в пушкинских текстах по цензурным или редакторским соображениям,

* I. Родословная А. С. Пушкина (таблица); II. Сказки Арины Родионовны, записанные Пушкиным; III. Французские письма Пушкина по поводу «Бориса Годунова»; IV. Последние минуты Пушкина, описанные В. А. Жуковским в 1837 г.; V. Выписка из биографии А. С. Пушкина, составленной г. Бантыш-Каменским; VI. Пушкинский перевод XXIII песни Ариостова «Orlando furioso». Октавы 100—112; VII. Дополнительные октавы к повести «Домик в Коломне»; VIII. Продолжение повести «Рославлев», найденное в бумагах Пушкина; IX. Замечания на «Песнь о полку Игореве»; а также снимки с почерка Пушкина и его рисунки.

восстанавливаются (также в ломаных скобках) лишь в тех случаях, когда выпуски ведут к неясностям или ложному истолкованию цитируемых произведений. При переводе части иноязычных текстов было использовано издание: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. 4-е изд. Л.: Наука, 1977—1979; переводы отрывков из «Гузлы» даны по кн.: Мериме Проспер. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 1. М.: Правда, 1963 (перевод Н. Рыковой).

Указанные П. В. Анненковым даты создания пушкинских произведений уточнены в комментариях, главным образом, на основании «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловского (т. 1. М., 1951) и десятитомного собрания сочинений издательства «Наука». Это собрание лежит также в основе комментария к цитированным П. В. Анненковым текстам пушкинских художественных произведений. При комментировании писем поэта были учтены материалы изданий: Пушкин. Письма. Т. I—II. 1815—1830. Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926—1928; Пушкин. Письма. Т. III. 1831—1833. Под ред. и с прим. Л. Б. Модзалевского. М. — Л., 1935; Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969. Использованные П. В. Анненковым документальные источники в комментариях раскрываются выборочно. Не в полном объеме фиксируются и мелкие хронологические неточности, встречающиеся в тексте «Материалов».

К «Комментариям» приложен «Указатель произведений А. С. Пушкина», а также «Указатель имен», содержащий краткие биографические сведения об упоминаемых в тексте «Материалов» лицах (более подробно о современниках Пушкина см. в кн.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л.: Наука, 1975).

Список условных сокращений, принятых в комментариях

Анненков — Анненков П. Александр Сергеевич Пушкин в александровскую эпоху. 1799—1826. СПб., 1874.

ВЕ — «Вестник Европы».

Временник — Временник Пушкинской комиссии. 1962—1979. М. — Л.: Наука, 1963—1982.

ЛГ — «Литературная газета».

Лернер — Лернер Н. О. Труды и дни Пушкина. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1910.

Летопись — Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. М., 1951.

ЛН — «Литературное наследство».

МВ — «Московский вестник».

Модзалевский — Модзалевский Б. Л. Работы П. В. Анненкова о Пушкине. — В кн.: Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929, с. 275—398.

Мс — «Москвитянин».

МТ — «Московский телеграф».

ОЗ — «Отечественные записки».

П. в восп. — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1974.

ПЗ — «Полярная звезда».

ПиС — Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. I—XXXIX. СПб., 1903—1930.

Рукописи П. — Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание. Сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М. — Л., 1937.

Рукою П. — Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М. — Л., 1935.

РЛ — «Русская литература».

РС — «Русская старина».

С — «Современник».

СО — «Сын отечества».

СПч — «Северная пчела».

СЦ — «Северные цветы».

Томашевский — Томашевский Б. Пушкин. Кн. I. (1813—1824). М. — Л., 1956.

Якушкин — Якушкин В. Е. Рукописи Александра Сергеевича Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве. — Русская старина, 1884, т. XLI—XLIV.

Глава I

[1] Биографическое известие об А. С. Пушкине до 1826 года. (Впервые: Мс, 1853, ч. III, № 10. См. также: П. в восп., т. 1, с. 58—65.)

[2] Воспоминания о детстве А. С. Пушкина (см.: П. в восп., т. 1, с. 47—57). Анненков использовал также устные рассказы Ольги Сергеевны (запись одного из них см.: Модзалевский, с. 372—373).

[3] Воспоминания о Пушкине (см.: П. в восп., т. 1, с. 183—193).

[4] Речь идет о публикации П. И. Бартенева «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии» (Московские ведомости, 1854, № 71). (Историю этой публикации см.: Модзалевский, с. 305—317.)

[5] Сведения о месте рождения Пушкина впоследствии неоднократно уточнялись. Согласно новейшим архивным разысканиям, поэт родился в доме И. В. Скворцова на Малой Почтовой улице, угол Госпитального переулка (см.: Романюк С. Где родился Пушкин? — Моск. правда, 1980, 14 сентября).

[6] В современных изданиях печатаются под названием «Начало автобиографии».

[7] Выделяя в набросках автобиографии имя Григория Гавриловича Пушкина, поэт, однако, имел в виду его отца Гаврилу Григорьевича — воеводу, думного дворянина, сторонника Лжедмитрия — изображенного также в трагедии «Борис Годунов» (см.: Пушкин. Полн. собр. соч. Т. VII. Драматические произведения. Коммент. Г. О. Винокура. [Л.], Изд-во АН СССР, [1935], с. 464).

[8] Имеется в виду статья Александра Юрьевича Пушкина (двоюродного дяди поэта по матери) «Для биографии Пушкина».

[9] П. А. Ганнибал родился в 1742 году, умер около 1825 года.

[10] Свадьба родителей поэта действительно состоялась в Петербурге в 1796 году. Ольга Сергеевна Пушкина-Павлищева родилась 20 декабря 1797 года.

[11] Иван Абрамович Ганнибал скончался 12 октября 1801 года.

[12] Кобрино было продано в 1800 году, Захарово куплено в 1804 году.

[13] Цитируемое ниже письмо датируется 6 марта 1827 года.

[14] Стихотворение «Няне» («Подруга дней моих суровых...») относится к 1826 году и, таким образом, не является в точном смысле ответом на приведенное выше письмо.

[15] Николай Пушкин родился 26 марта 1801 года.

[16] Ср.: Шевырев С. П. Рассказы о Пушкине. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 38.

[17] Анненков цитирует пушкинское «Послание к Юдину» (1815).

[18] Посещение Пушкиным Захарова относится к июлю 1830 года (см.: Лернер, с. 215).

[19] Ошибка Анненкова: автором статьи, которую он имеет в виду, был Н. В. Берг (Н. Б. Сельцо Захарово. — Мс, 1851, № 9 и 10, с. 29—39).

[20] То есть в чине статского советника.

[21] Эти сведения неточны: повар В. Л. Пушкина торговцем не стал, умер не ранее 1838 года (см.: ЛН, т. 58, с. 350).

[22] С. Л. Пушкин познакомился с Шимановской в Варшаве, где служил в 1814 году; в 1827—1831 годах знаменитая пианистка вместе с дочерьми проживала в России, к этому времени и относится ее знакомство с А. С. Пушкиным.

[23] В. Л. Пушкин отправился в заграничное путешествие в конце апреля 1803 года и в течение 1803—1804 годов посетил Германию, Францию и Англию. В начале 1803 года написана и шутливая поэма И. И. Дмитриева, опубликованная позднее: «Путешествие NN в Париж и Лондон. Писанное за три дня до путешествия» (М., 1808; отпечатано тиражом 50 экз.).

[24] *В. Л. Пушкин* — автор широко известной юмористической поэмы «Опасный сосед» (1811).

[25] У Дмитриева *«в Лицее»* — одном из только что появившихся тогда во Франции средних учебных заведений классического типа. Далее в приведенном отрывке «Путешествия» упоминаются модные имена тогдашнего Парижа, новинки парижской жизни.

[26] *Пантеон* — место погребения выдающихся деятелей Франции, был открыт в 1802 году.

[27] Отряд телохранителей Наполеона, привезенный им во Францию из Египта.

[28] Цитируемая заметка написана в 1836 году, в современных изданиях публикуется под названием «Путешествие В. Л. П.».

Глава II

[1] «Дух Массильйона, епископа Клермонского, или Мысли, избранные из его творений о различных предметах нравственности и благочестия».

[2] Речь идет о сестре А. С. Пушкина О. С. Пушкиной-Павлищевой.

[3] Имеются в виду «Сравнительные жизнеописания» Плутарха во французском переводе Амио (издание 1783—1787 или 1801—1806) и французский прозаический перевод «Илиады» и «Одиссеи» (издание 1780—1785 и 1787—1788).

[4] См. «Биографическое известие об А. С. Пушкине» Л. С. Пушкина (П. в восп., т. 1, с. 58).

[5] Анненков имеет в виду Мольера.

[6] *«Генриада»* (1723—1728) — эпическая поэма Вольтера, прославляющая короля Генриха IV; в сознании русских читателей XVIII века — центральное произведение писателя.

[7] См.: Макаров М. Н. Александр Сергеевич Пушкин в детстве. (Из записок о моем знакомстве). — С, 1843, т. 29, с. 375) (то же: П. в восп., т. 1, с. 55).

[8] Такое чтение было в ту эпоху приметой высокой речи.

[9] О чтении стихов на лицейском экзамене Пушкин пишет во фрагменте «Державин» своих воспоминаний, а также во второй строфе VIII главы «Евгения Онегина».

[10] Список воспитанников лицея был утвержден Александром I 22 сентября 1811 года.

[11] В Благородном пансионе при Царскосельском лицее воспитывались, в частности, Л. С. Пушкин и П. В. Нащокин (см.: П. в восп., т. 2, с. 184).

[12] Из стихотворения «В альбаум» (напечатано в 1820 году). По свидетельству П. А. Плетнева (не вполне, впрочем, достоверному), эти стихи были написаны на другой день после выхода из лицея (см.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896, с. 538).

[13] См. «Воспоминания о детстве Пушкина» С. Д. Комовского, написанные специально для Анненкова (П. в восп., т. 1, с. 67).

[14] См.: Гаевский В. Дельвиг. Статья первая. — С, 1853, февраль, отд. III, с. 72. Ср. также в неоконченной лицейской поэме Пушкина «Бова» (1814): «Разбирал я немца Клопштока // И не мог понять премудрого!»

[15] См. записку Комовского и примечания к ней М. Л. Яковлева (П. в восп., т. 1, с. 66).

[16] Речь идет о литературных играх в доме лицейского преподавателя музыки Теппер де Фергюссона. Приведенные куплеты написаны, вероятно, во 2-й половине 1816 — 1-й половине 1817 года.

[17] Ср. с «Воспоминаниями» Комовского (П. в восп., т. 1, с. 68). Не следует, однако, преувеличивать реального или возможного влияния на Пушкина архаиста и педанта Кошанского. Об ироническом отношении, установившемся к Кошанскому среди лицеистов, говорит, в частности, адресованное ему стихотворение Пушкина «Моему Аристарху» (1815).

[18] Точнее — «Юные пловцы». О лицейских журналах и сборниках см.: Томашевский, с. 705—718.

[19] Ср. с набросками неоконченной статьи Пушкина «Дельвиг» (не позднее 1834 года).

[20] Этим источником была «старинная повесть в двух балладах» В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» (1810—1817; первая часть опубликована в 1811-м, полное издание — в 1817 году).

[21] Речь идет о так называемой «программе автобиографии» (иначе — «первой программе записок»), предположительно датируемой 1830 годом.

[22] Сад в Москве, около дома кн. Н. Б. Юсупова, место прогулок маленького Пушкина.

[23] На официальном открытии лицея 19 октября 1811 года А. П. Куницын произнес речь, имевшую большой успех.

[24] Вероятно, следует читать «Чачков».

[25] Согласно признанию самого Пушкина, записки, над которыми поэт работал в 1821 году, были уничтожены им после подавления восстания декабристов (см. «Начало автобиографии»). Вероятно, это произошло в апреле — августе 1826 года (см.: Левкович Я. Л. Когда Пушкин уничтожил свои записки? — Временник, 1979. Л., 1982, с. 102—106). Видимо, в то же время Пушкиным были уничтожены и его записи лицейских лет.

[26] См.: «Table-talk» (1830-е гг.).

[27] У Пушкина «28 ноября».

[28] «Венчанье» драматурга А. А. Шаховского происходило в доме А. П. Буниной 24 сентября 1815 года — на следующий день после первого представления пьесы Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», осмеивающей Жуковского. Появление этого произведения было воспринято окружением Жуковского как открытый вызов и стало поводом для создания литературного общества «Арзамас».

[29] То есть Шаховского — автора широко известной комедии «Полубарские затеи, или Домашний театр» (1808).

[30] Речь идет о «Беседе любителей русского слова» (1811—1816) — объединении консервативно настроенных петербургских литераторов; активными членами «Беседы» являлись Бунина, Шишков, Шаховской.

[31] Пародийно переиначенная фамилия Шаховского.

[32] *Хлыстов* — член «Беседы» поэт-эпигон Д. И. Хвостов.

[33] Автором сатирического гимна «Венчанье Шутовского» был арзамасец Д. В. Дашков.

[34] Видимо, имеется в виду лицейский товарищ Пушкина Семен Семенович Есаков (1798—1831).

[35] Вероятно, речь идет о книге Антуана Кондорсе (1787).

[36] Несохранившуюся комедию «Философ».

[37] Философский роман Пушкина «Фатам, или Разум человеческий» не сохранился. (См. о нем: Томашевский, с. 35—38.)

[38] Работа Пушкина над неоконченной поэмой «Вадим» и замысел трагедии на тот же политически острый сюжет о герое—защитнике новгородской свободы относятся к 1821—1822 годам.

[39] См.: Пушкин С. Л. Замечания на так называемую биографию Александра Сергеевича Пушкина, помещенную в «Портретной и биографической галерее». — ОЗ, 1841, т. XV, с. III (приложение).

[40] Записанные Пушкиным куплеты (так называемые «национальные песни» лицеистов) являются продуктом коллективного творчества воспитанников лицея.

[41] Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Певец» («В тени дерев, под чистыми водами...», 1811).

[42] Запись в лицейском дневнике (29 ноября 1815 г.).

[43] «Сон» («К сну») — лицейская редакция стихотворения «К Морфею».

[44] Стихотворение «К Наташе» (1814 или 1815) обращено к горничной фрейлины В. М. Волконской; стихотворение «К молодой актрисе» (1815) — к крепостной актрисе домашнего театра графа В. В. Толстого.

[45] Запись от 17 декабря 1815 года.

[46] Стихотворение «К сестре» («Ты хочешь, друг бесценный...»), как и перечисленные далее, относится к 1814 году. Первые же из дошедших до нас лицейских произведений Пушкина — стихотворения «К Наталье», «Несчастие Клита» и неоконченная поэма «Монах» (датируются 1813 годом); при жизни Пушкина эти сочинения (см. рукопись) опубликованы не были.

[47] Имеется в виду стихотворение «Пирующие студенты».

[48] Первоначальное название стихотворения «Александру» («Утихла брань племен; в пределах отдаленных...»), написанного Пушкиным по заказу начальства.

[49] Год написания этого, а также ряда перечисленных ниже стихотворений Пушкина точно не известен.

[50] Среди лицейских стихотворений Пушкина два носят название «Разлука». В данном случае имеется в виду «В последний час, в сени уединенья...»

[51] Стихотворение «В. Л. Пушкину» («Что восхитительней, живей...») было впервые опубликовано в альманахе «Полярная звезда» на 1824 год.

[52] Это раннее стихотворение было напечатано Б. Федоровым (вероятно, без ведома Пушкина) в неполном и неточном виде.

[53] Измененная цитата из статьи «Опровержение на критики» (1830).

[54] Стихотворение было напечатано без разрешения Пушкина.

[55] Из статьи «Опровержение на критики».

[56] Из стихотворения «Наперсница волшебной старины...» (1822).

[57] Неоконченная лицейская поэма (1814), написанная под влиянием сказки в стихах «Илья Муромец» Н. М. Карамзина, поэмы А. Н. Радищева «Бова», «Орлеанской девственницы» Вольтера и других произведений. К сюжету сказки о Бове-королевиче Пушкин возвращался и позднее (1822).

[58] В. А. Жуковский, автор баллады «Людмила» (1808).

[59] Речь идет о записи, сделанной Пушкиным 30 декабря 1828 года в альбоме поэта и прозаика, литературного критика Н. Д. Иванчина-Писарева (1790—1849) (см.: Иванчин-Писарев Н. Д. Альбомные памяти. I. Уважение Пушкина к стихам Батюшкова. — Мс, 1842, ч. 2, № 3, с. 147).

[60] Музыку на пушкинские слова написали лицеисты Яковлев и Корсаков, сочиненный таким образом романс был очень популярен в Царском Селе в 1815—1817 годах.

[61] С. Д. Комовский (см.: П. в восп., т. 1, с. 66—67, 69).

[62] «Елисей» — ироикомическая поэма В. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771).

Глава III

[1] Имеются в виду только мужчины.

[2] См.: П. в восп., т. 1, с. 184, 187.

[3] См.: П. в восп., т. 2, с. 220; т. 1, с. 59—60.

[4] Пародия Пушкина датируется 1818 годом.

[5] Измененная цитата из письма к А. А. Бестужеву от 30 ноября 1825 года («Ты — да, кажется, Вяземский — одни из наших литераторов — учатся; все прочие — разучаются»).

[6] *Кифера* — одно из наименований богини любви и красоты Афродиты в Древней Греции.

[7] *Портик* — крытая галерея, место бесед античных философов с учениками.

[8] См. «Биографическое известие...» Л. С. Пушкина (П. в восп., т. 1, с. 58—59).

[9] См. отрывок «Карамзин» пушкинских воспоминаний.

[10] Речь идет о памфлете Д. Н. Блудова «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых людей», направленном против Шаховского и его сторонников. Содержание памфлета подало мысль об учреждении литературного общества «безвестных любителей словесности» «Арзамас» (1815—1818), объединившего В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Д. В. Давыдова, Д. Н. Блудова, В. Л. Пушкина, А. И. Тургенева и других.

[11] Под видом тучного человека, остановившегося в арзамасском трактире, был изображен А. А. Шаховской.

[12] Он состоялся 14 октября 1815 года по инициативе С. С. Уварова (см.: Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933, с. 38—39).

[13] Участником литературных схваток «Арзамаса» Пушкин ощущает себя уже в лицейские годы. Формально поэт был принят в общество по выходе из лицея; заседание, на котором Пушкин выступил с речью в стихах «Венец желаниям! Итак, я вижу вас...», состоялось в сентябре — октябре 1817 года. До нас дошли лишь отрывки этой речи, сохранившиеся в памяти слушателей.

[14] Точнее, следует говорить не об «Арзамасе» как таковом (общество прекратило свое существование в 1818 году), а о деятельности писателей-арзамасцев.

[15] Речь идет о предисловии Вяземского к первому изданию «Бахчисарайского фонтана», написанном по просьбе Пушкина, — программной статье «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова».

[16] Полное название журнала, издававшегося близким к декабристским кругам «Вольным обществом» (с 1819 года его председателем являлся Ф. Глинка), — «Соревнователь просвещения и благотворения».

[17] *«Елизавете»* — стихотворение «К Н. Я. Плюсковой» («На лире скромной, благородной...», 1818), впервые опубликованное в 1819 году под названием «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны».

[18] Батюшков отбыл на дипломатическую службу в Италию 19 ноября 1818 года. Последние десятилетия жизни поэта (после 1812 года) были омрачены психическим заболеванием.

[19] Шестая (последняя) песнь поэмы «Руслан и Людмила» была завершена Пушкиным в ночь на 26 марта 1820 года и в тот же день прочитана у Жуковского. После чтения Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный

день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820, марта 26, великая пятница».

[20] Послание «Юрьеву» («Любимец ветреных Лаис...») написано весной 1820 года.

[21] *«Ольга»* (1816) — баллада Катенина. Описанный эпизод см. в «Воспоминаниях» Катенина (П. в восп., т. 1, с. 183). О литературной позиции Катенина см.: Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин. — В кн.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969, с. 23—121.

[22] «Все пленяет нас в Эсфири...» (1820).

[23] «Я в шутках называл его ⟨...⟩ le jeune Mr. Arouet; сближение с Вольтером (наст. фамилия Аруэ. — *А. К.*) и каламбур: à rouer, где бранное слово, как у нас *лихой*, *злодей* и тому подобное, принимается в смысле льстивом», (Катенин П. А. Воспоминания о Пушкине. — В кн.: П. в восп., т. 1, с. 185).

[24] Имеется в виду статья Грибоедова «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора» (1816).

[25] «Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина».

[26] «Старая быль» Катенина и сопровождавшее ее послание «А. С. Пушкину» были полны намеков на последекабрьские стихотворения Пушкина «Стансы» и «Друзьям» и позицию поэта по отношению к Николаю I. Подобный характер произведений Катенина и вызвал стихотворный «Ответ Катенину», в котором Пушкиным отвергалось предложение Катенина «пить» из его «кубка»: «Товарищ милый, но лукавый, // Твой кубок полон не вином, // Но упоительной отравой...». О тайной полемике между Катениным и Пушкиным см.: Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин, с. 73—85.

[27] См. об этом в «Воспоминаниях» Катенина (П. в восп., т. 1, с. 188).

[28] Имя героя «Студента» — Звездов.

[29] Имеется в виду сцена, в которой граф Гормес дает пощечину престарелому дону Дьегу. Она была сохранена в переводе Катенина.

[30] *«...чаша Атреева»* — чаша, которую мифический царь Аргоса Атрей подал своему брату Фиесту, наполнив ее кровью убитых детей Фиеста.

[31] Пушкин называет Катенина Эсхилом, имея в виду его работу в жанре трагедии, «отцом» которой считается древнегреческий драматург.

[32] Письмо к Катенину от 19 июля 1822 года.

[33] Квартира Шаховского помещалась на верхнем этаже.

[34] *«Театральный майор»* — майор Денисевич, ссора Пушкина с которым в театре зимой 1819/20 года едва не привела к дуэли.

[35] «Катенину» («Кто мне пришлет ее портрет...»).

[36] В действительности речь идет об альманахе, задуманном Катениным и его другом — критиком Н. И. Бахтиным.

[37] Письмо датируется 1-й половиной февраля 1826 года.

[38] Имеются в виду наброски неоконченной статьи о Дельвиге (1834), опубликованные в 1841 году в посмертном издании сочинений Пушкина. *«Стихи одного из его товарищей»* — поэтические опыты А. Д. Илличевского.

[39] Письмо к А. А. Дельвигу от 23 марта 1821 года из Кишинева.

[40] Ошибочное утверждение: цитируемый фрагмент, входящий в состав

пушкинских «Отрывков из писем, мыслей и замечаний», написан не позднее 1827 года. Дельвиг же умер в январе 1831 года.

[41] В действительности написано в августе 1820 года.

[42] Стихотворение известно под названием «Возрождение».

Глава IV

[1] Поэма «Руслан и Людмила» была завершена весной 1820 года (см. прим. 13 к гл. III), эпилог написан летом 1820 года, а вступление — в 1824—1825 годах в Михайловском.

[2] В. А. Жуковскому (см. прим. 43 к гл. II).

[3] Автором критического разбора отрывков «Руслана и Людмилы» был сотрудник ВЕ, ученик Каченовского А. Г. Глаголев (см.: ЛН, т. 58, с. 352).

[4] СО, 1820, ч. 63, № 31, с. 231. О связях «Руслана и Людмилы» с литературной традицией см.: Томашевский, с. 356—365.

[5] См. «Опровержение на критики».

[6] «Опровержение на критики».

[7] Речь идет о редакторе СО Н. И. Грече (см.: Катенин П. А. Воспоминания о Пушкине. — В кн.: П. в восп., т. 1, с. 186).

[8] Письмо к Л. С. Пушкину от 27 июля 1821 года.

[9] Автором рецензии был А. Ф. Воейков.

[10] Автором этой второй эпиграммы («Хоть над поэмою и долго ты корпишь...») был А. А. Дельвиг.

[11] На протяжении 1820 года в истории «Невского зрителя» выделяется несколько периодов: с января по апрель ведущими сотрудниками журнала являются Пушкин и Кюхельбекер, с мая по сентябрь их сменяют консервативно настроенные литераторы (именно в тот момент и появляются анонимные «Замечания на поэму «Руслан и Людмила»), в октябре 1820 года в «Невский зритель» приходят Рылеев и Сомов (см.: Березина В. Г. Русская журналистика первой четверти XIX века. [Л.], 1965, с. 72—73).

Глава V

[1] Анненков по необходимости туманно говорит о причинах высылки Пушкина на юг. (Подробнее об этом см.: Анненков, с. 139—142.) Ни в коей мере не скрывавший своей оппозиционности и даже бравировавший ею, Пушкин являлся одним из наиболее заметных вольнодумцев Петербурга; широкое распространение получили его резкие антиправительственные стихи, дошедшие до самого императора. В 1820 году поэт стал жертвой репрессий против политической оппозиции. Первоначально предполагалось сослать его в Сибирь или в Соловецкий монастырь, но в результате хлопот друзей Пушкина (Н. М. Карамзина, Ф. Н. Глинки, П. Я. Чаадаева и других) наказание было смягчено, формально же ссылка получила вид служебного перевода.

[2] *Екатеринославль* (Екатеринослав) — ныне Днепропетровск.

[3] Н. Н. Раевский-младший.

[4] Род желе, приготовленного из сливок или миндального молока.

[5] «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года».

[6] Ныне Краснодар.

[7] Стихотворения «Дорида» (1819) и «Дориде» (1820) написаны еще в Петербурге.

[8] Это описание поездки в Крым, состоявшейся в 1820 году, было написано Пушкиным в 1824 году специально для альманаха Дельвига «Северные цветы».

[9] *Пантикапея* (Пантикапей) — античный город в Крыму (VI в. до н. э. — IV в. н. э.), столица Боспорского царства (современная Керчь).

[10] *Аюдаг, Чатырдаг* — горы в Крыму.

[11] «Погасло дневное светило...».

[12] Речь идет об А. Н. Раевском.

[13] Имеется в виду Е. Н. Раевская (в замужестве Орлова).

[14] Начало стихотворения «Чаадаеву», напечатанного в 1826 году в составе «Отрывка из письма к Д.» и, по словам Пушкина, написанного в Крыму на развалинах храма Дианы. В действительности это произведение датируется 1824 годом, хотя вполне вероятно, что часть его была написана в 1820 году (см.: Громбах С. О датировке стихотворения Пушкина «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья...»). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка, 1980, т. 39, № 3, с. 264—265). «Холодные сомненья» — мнение И. М. Муравьева о том, что храм Дианы находился не у Георгиевского монастыря.

[15] «Отрывок из письма к Д.».

[16] Начало стихотворения «Фонтану Бахчисарайского дворца» (1824).

[17] Речь идет об «Отрывке из письма к Д.».

Глава VI

[1] Речь идет о стихотворении «Земля и море» («Когда по синеве морей...»).

[2] Вероятно, речь идет о помолвке Е. Н. Раевской и М. Ф. Орлова.

[3] Под беловым текстом «Кавказского пленника» стоит помета: «23 февр‹аля› 1821. Каменка».

[4] Посвящена Н. Н. Раевскому-младшему.

[5] Имеется в виду экземпляр поэмы «Руслан и Людмила», изданной летом 1820 года при участии Гнедича.

[6] Это стихотворение, написанное 29 июля 1826 года, было вызвано известием о смерти одесской знакомой Пушкина Амалии Ризнич (умерла в 1825 году во Флоренции). Связь с этим событием подчеркивает пушкинская датировка текста 1825 годом в издании «Стихотворений» (1829). Эта датировка и принята в данном случае Анненковым.

[7] Стихотворение «Заклинание» («О, если правда, что в ночи...») написано 17 октября 1830 года. Предположения о возможном адресате этого стихотворения см. в кн.: Анненков, с. 243—245.

[8] Эпиграф — начальная строка песенки Миньоны — героини романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера». Об истории создания пушкинского стихотворения см. также: Модзалевский, с. 341—342.

[9] Стихотворение «Гречанке» (1822) обращено к кишиневской знакомой Пушкина Калипсо Полихрони (1804—1827).

[10] Имеется в виду дневниковая запись от 2 апреля 1821 года. Отождествляя упомянутую в ней «прелестную гречанку» и героиню стихотворения «Ты рождена воспламенять...», Анненков основывается на показаниях Данзаса (см.: Модзалевский, с. 338). Однако знакомство Пушкина с Калипсо Полихрони произошло лишь в июле 1821 года (см.: Летопись, с. 301—302).

[11] Измененные слова Л. С. Пушкина из его «Биографического известия об А. С. Пушкине до 1826 года» (П. в восп., т. 1, с. 62; см. также последующие страницы).

[12] Из письма к А. А. Бестужеву от 12 января 1824 года.

[13] Из письма к А. А. Бестужеву от 30 ноября 1825 года. *«...голиковская проза»* — отличающиеся затрудненным, тяжеловесным языком многотомные «Деяния Петра Великого...» историка И. И. Голикова.

[14] Там же.

[15] Пушкин говорит о статье «Отрывки о Кавказе. (Из походных записок)», напечатанной в СПч (1825, 17 ноября, № 138) за подписью А. Я., что и дало поэту основания полагать, что автором статьи был Александр Иванович Якубович — известный бретер, участник боевых действий против горцев, впоследствии декабрист.

[16] Якубович был участником знаменитой «четверной» дуэли (1817) между А. П. Завадовским и А. С. Грибоедовым с одной стороны и В. В. Шереметевым и А. И. Якубовичем с другой. Дуэль завершилась смертью Шереметева, убитого Завадовским, поединок же Грибоедова и Якубовича состоялся в 1818 году. Грибоедов был на нем ранен.

[17] «Борис Годунов».

[18] Из письма к Ф. В. Булгарину.

[19] Эти сведения почерпнуты биографом из так называемого «Воображаемого разговора с Александром I», написанного Пушкиным в конце 1824 — начале 1825 года.

[20] Из письма П. Я. Чаадаева (март — апрель 1829 г.).

[21] Отрывок из незавершенного послания (1822) поэту, члену Союза Благоденствия, Владимиру Федосеевичу Раевскому (1795—1872), с 1822 года находившемуся в заключении. Пушкинское послание является ответом на стихотворение Раевского «Певец в темнице».

[22] В значительно измененном виде.

[23] «Бахчисарайский фонтан» начат весной 1821 года. Основная часть поэмы написана в течение 1822 года, осенью 1823 года текст был окончательно отделан и подготовлен к печати.

[24] См.: П. в восп., т. 1, с. 62; а также письмо к Л. С. Пушкину от 30 января 1823 года.

[25] Подробнее см. в примечаниях Анненкова ко 2-му тому «Сочинений Пушкина» (СПб., 1855, с. 315).

[26] Не опубликованное при жизни Пушкина стихотворение «Кто видел край, где роскошью природы...» (1821).

[27] Имеются в виду следующие строки думы К. Ф. Рылеева «Олег Вещий» (1821 или 1822): «Но в трепет гордой Византии // И в память всем векам // Прибил свой щит с гербом России // К царьградским воротам».

[28] Письмо к К. Ф. Рылееву (2-я половина мая 1825 г.).

[29] Там же. Речь идет о сборнике Рылеева «Думы».

[30] Письмо к Л. С. Пушкину от 4 сентября 1822 года. Пушкин имеет здесь в виду начальную строфу думы Рылеева «Богдан Хмельницкий» в публикации 1822 года. «*Денница*» — утренняя заря, звезда.

[31] Письмо от 1—10 января 1823 года.

[32] Письмо к Л. С. Пушкину от 4 сентября 1822 года. Таким образом, в письме Пушкина речь идет не об «Олимпийских играх», а о каких-то более ранних стихотворениях Кюхельбекера.

[33] В июле — августе 1821 года Пушкин провел около месяца в цыганском таборе (см.: Трубецкой Б. Пушкин в Молдавии. 4-е изд., испр. и доп. Кишинев, 1976, с. 292—298). Анненков в данном случае основывается на сведениях Л. С. Пушкина (см.: П. в восп., т. 1, с. 62).

[34] В настоящее время эти строки печатаются в основном тексте поэмы.

[35] Видимо, Анненков воспринимает цитированный отрывок как свидетельство посещения Пушкиным озера Кагул в долине Дуная. В действительности набросок «Воспоминаньем упоенный...» («Элегия») датируется 1819 годом и относится, таким образом, к петербургскому периоду творчества Пушкина. (Позднее эта датировка принята и самим биографом: Анненков, с. 43.) Указание на ошибку «Материалов» см. также в работе Якушкина (РС, т. XLI, с. 661). «*Кагула памятник*» — обелиск в честь победы русских войск над турецкой армией в сражении при Кагуле (1770), воздвигнутый в Царскосельском парке. О посещении Пушкиным исторических мест Молдавии см.: Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний. — В кн.: П. в восп., т. 1, с. 307—313; Трубецкой Б. Пушкин в Молдавии, с. 130—140.

Глава VII

[1] Инициатором увольнения Пушкина со службы и высылки его из Одессы был Воронцов, неприязненно относившийся к поэту и вынудивший его просить об отставке. Сложность пушкинского положения усугубилась тем, что полиция перехватила письмо писателя, в котором он признавался в атеизме. По высочайшему повелению Пушкин был сослан в Михайловское под надзор духовных и гражданских властей. (Отъезд из Одессы состоялся 31 июля 1824 года.)

[2] Стихотворения «Ненастный день потух...» и «Коварность» написаны в Михайловском в 1824 году.

[3] См. «Биографическое известие...» Л. С. Пушкина (П. в восп., т. 1, с. 63).

[4] Написанное в 1823 году стихотворение «Демон» было опубликовано в 1824 году в альманахе «Мнемозина», а затем перепечатано с исправлениями в СЦ на 1825 год. Ниже Анненков имеет в виду журналы МТ (1825, № 4, рецензия Н. А. Полевого на СЦ на 1825 год) и СО (1825, № 3, статья Н. И. Греча «Письма на Кавказ»).

[5] Письмо от 16 ноября 1823 года.

[6] Предрекая в сонете «Н. М. Языкову» (1822) прекрасное будущее этому поэту, А. А. Дельвиг одновременно признавался в глубокой симпатии к Пушкину и Баратынскому.

[7] Речь идет о «Евгении Онегине».

[8] То есть перевод «Кавказского пленника» на немецкий язык, сделанный А. Е. Вульфертом и изданный в Петербурге в 1823 году.

[9] О занятиях Пушкина испанским языком см. в кн.: Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Л., 1964, с. 150—151.

[10] Эпиграфы из поэмы И. Пиндемонте «Путешествия» и из «Фауста» Гете.

[11] Имеется в виду национально-освободительное движение в Греции, с XV века до 1830 года находившейся под властью Турции. См. в связи с этим также: Анненков, с. 202—207.

[12] При публикации стихотворения «К морю» из 13-й его строфы были сохранены лишь начальные слова первого стиха «Мир опустел...», остальные же строки («...Теперь куда же // Меня б ты вынес, океан? // Судьба земли повсюду та же: // Где капля блага, там на страже // Уж просвещенье иль тиран») заменены, по цензурным соображениям, многоточием. Однако в рукописи распространялся полный текст стихотворения. Желанием предотвратить неприятные для автора последствия и было вызвано примечание «От издателя». Купюра не была восстановлена и в издании Анненкова.

[13] Письмо к Л. С. Пушкину от 4 декабря 1824 года. Кюхельбекер являлся одним из издателей альманаха «Мнемозина».

Глава VIII

[1] Написано 29 апреля 1822 года.

[2] Датируется октябрем — ноябрем 1822 года.

[3] Это письмо датируется октябрем 1822 года.

[4] Автором статьи «О «Кавказском пленнике», повести соч. А. Пушкина» (СО, 1822, ч. 80, № 49) был П. А. Вяземский. Пушкинская оценка этой статьи дана в письме к Вяземскому от 6 февраля 1823 года.

[5] Анненков неверно истолковывает слова Вяземского: поэму «Владимир» намеревался писать В. А. Жуковский. К осуществлению же своего обещания создать поэму о Мстиславе Удалом (сыне киевского князя Владимира, одолевшем в единоборстве князя косогов Редедю) Пушкин приступил в 1822 году. Сохранился план этого оставшегося ненаписанным произведения.

[6] Автором этих критических замечаний был М. П. Погодин, подписавший свою рецензию на «Кавказского пленника» лишь инициалами: М. П. (см.: ЛН, т. 58, с. 352—353).

[7] «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (1835) (в основе «Путешествия» лежит дневник, веденный в 1829 году).

[8] Автором этой статьи был М. М. Карниолин-Пинский.

[9] «Отрывок из письма к Д.».

[10] Булгарин напечатал этот отрывок без разрешения Пушкина.

[11] Письмо к А. А. Бестужеву от 8 февраля 1824 года.

[12] Пушкин сравнивает повесть Бестужева «Замок Нейгаузен» с его повестями «Роман и Ольга» и «Вечер на бивуаке», опубликованными в ПЗ на 1823 год.

[13] Пушкин имеет в виду особенности литературной манеры писателя-сентименталиста, издателя «Дамского журнала» П. И. Шаликова.

[14] Объектом пушкинской иронии является в данном случае не Н. А. Бестужев — автор статьи «Об удовольствиях на море» — а Булгарин, неудачно отозвавшийся о произведении, посвященном морской службе.

[15] В ПЗ на 1824 год были напечатаны следующие стихотворения Пушкина: «Друзьям», «Нереида», «В альбом малютке», «К Морфею», «Простишь ли мне ревнивые мечты...», «Редеет облаков летучая гряда...», «Отрывок из послания В. Л. Пушкину», «Домовому», «Надпись к портрету».

[16] Отрывок из письма к А. А. Бестужеву от 29 июня 1824 года. Пушкин имеет здесь в виду, вероятно, Марию Николаевну Раевскую.

[17] «Опровержение на критики».

[18] См.: Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная, ч. I. СПб., 1828, с. 524, № 6762.

[19] Письмо к П. А. Вяземскому от 1—8 декабря 1823 года.

[20] См. «Опровержение на критики».

[21] Автором «Второго разговора между Классиком и Издателем «Бахчисарайского фонтана» (ВЕ, 1824, № 5) был М. А. Дмитриев, опубликовавший вслед за тем и еще одну, направленную против положений Вяземского статью (ВЕ, 1824, № 7).

[22] Имеются в виду следующие статьи Вяземского: «О литературных мистификациях...» (1824, № 7), «Разбор «Второго разговора...» (1824, № 8), «Мое последнее слово» (1824, № 9).

[23] Н. Д. <М. А. Дмитриев?> Московские записки. — ВЕ, 1824, № 1, с. 71, 70 (вторая цитата приведена неточно). Эта статья была напечатана в качестве отклика на хвалебную рецензию В. Ф. Одоевского «Несколько слов о кантатах г. Верстовского» (т а м ж е, с. 67—69).

[24] В современных изданиях под заглавием «Письмо к издателю «Сына отечества».

[25] Из статьи М. А. Дмитриева «Второй разговор между Классиком и Издателем «Бахчисарайского фонтана» (ВЕ, 1824, № 5, с. 49).

[26] Рецензия Н. А. Полевого на первую главу «Евгения Онегина» (с. 45).

[27] Автором статьи являлся В. К. Кюхельбекер, критиковавший элегию за ее тематическую узость и противопоставлявший ей высокий жанр оды.

[28] Письмо к Л. С. Пушкину от 14 марта 1825 года. Речь идет о журнальных дискуссиях середины 1820-х годов в связи с определением сущности и назначения искусства. Активно высказывавшееся в ходе этих споров мнение о дидактическом назначении поэзии было чуждо Пушкину.

[29] Первая половина мая 1825 года.

[30] Письмо к К. Ф. Рылееву от 25 января 1825 года. Пушкин имеет в виду строгую оценку поэзии Жуковского А. А. Бестужевым.

[31] Письмо к А. А. Бестужеву (конец января 1825 г.).

[32] «*Освобожденный Иерусалим*» (1580) — героическая поэма Т. Тассо, «*Энеида*» — эпическая поэма Вергилия.

[33] Неоконченная статья «О поэзии классической и романтической» (1825).

[34] Из письма к А. А. Бестужеву от 30 ноября 1825 года.

[35] Январь — начало февраля 1824 года.

[36] См. «Опровержение на критики».

[37] Письмо к А. А. Бестужеву от 13 июня 1823 года. *«Их нет и не будет на русской земле...»* — переосмысленная цитата из думы К. Ф. Рылеева «Иван Сусанин» (1822).

[38] Поэма «Вадим» (1822) не была завершена Пушкиным. Отрывок «Сон» («Проходит ночь; огонь погас...») был напечатан без ведома Пушкина в альманахе Б. Федорова «Памятник отечественных муз» на 1827 год. Отрывок «Два путника» («Свод неба мраком обложился...») опубликован самим поэтом в журнале МВ (1827, № XVII).

[39] Первая глава «Онегина» была окончена 22 октября.

Глава IX

[1] Речь идет о неизданном при жизни Пушкина стихотворении «...Вновь я посетил...» (1835). Далее Анненков приводит окончание стихотворения, отброшенное Пушкиным в беловой рукописи.

[2] Пушкинское послание «К Языкову» («Издревле сладостный союз...») написано в сентябре 1824 года. Языков отвечал посланием «Не вовсе чуя бога света...».

[3] «На смерть няни А. С. Пушкина» («Я отыщу тот крест смиренный...», 1830).

[4] «Тоской и рифмами томим, // Бродя над озером моим, // Пугаю стадо диких уток: // Вняв пенью сладкозвучных строф, // Они слетают с берегов» («Евгений Онегин», гл. 4, строфа XXXV).

[5] Из стихотворения «Близ мест, где царствует Венеция златая...» (1827).

[6] «Сказка о царе Салтане...» написана в 1831-м, «Сказка о мертвой царевне...» — в 1833-м, «Сказка о попе и о работнике его Балде» (опубликована после смерти Пушкина с изменением — по цензурным соображениям — заглавия и наименования ряда персонажей) — в 1830 году.

[7] Письмо к Л. С. Пушкину (1-я половина ноября 1824 г.).

[8] У Пушкина: «Василья, Архипа и старосты».

[9] Письмо к Л. С. Пушкину (конец февраля 1825 г.).

[10] В приложениях к «Материалам» Анненковым были опубликованы лишь три из пушкинских записей сказок Арины Родионовны.

[11] Имеется в виду, прежде всего, стихотворение «Тригорское» (написано осенью 1826 года; опубликовано впервые в МВ (1827, № 2) с подзаголовком «К А⟨лександру⟩ С⟨ергеевичу⟩ П⟨ушкину⟩»). О времени своего пребывания в Тригорском Языков вспоминал и в ряде других стихотворений.

[12] Из стихотворения «Желание славы» (1825).

Глава X

[1] Из «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824). Цитированные строки вложены Пушкиным в уста его Поэта.

[2] Автором статьи о «Евгении Онегине» был Н. А. Полевой.

[3] Автором «Разбора статьи о «Евгении Онегине» ...», помещенного в СО, являлся Д. В. Веневитинов.

[4] Анненков пересказывает здесь суждения К. Ф. Рылеева о пушкинском романе, высказанные в письме к Пушкину от 10 марта 1825 года.

[5] *«Orlando furioso»* — поэма Ариосто; *«Гудибрас»* — сатирическая повесть английского поэта Сэмюела Батлера (1612—1680); *«Вер-Вер»* — юмористическая поэма Жана Батиста Луи Грессе (1709—1777); *«Рейнеке»* («Рейнеке-Лис») — поэма Гете; *«Душенька»* — поэма И. Ф. Богдановича.

[6] Письмо к К. Ф. Рылееву от 25 января 1825 года. Пушкин полемизирует в данном случае с мнением А. А. Бестужева.

[7] Речь идет об английских поэтах так называемой «озерной школы» («The lake school of poets») — У. Вордсворте, С. Т. Колридже и Р. Саути, творчество которых вызывало критику со стороны Байрона.

[8] См. прим. 62 к гл. II.

[9] Трагедия Державина «Ирод и Мариамна».

[10] Письмо К. Ф. Рылеева к Пушкину от 10 марта 1825 года.

[11] Письмо к А. А. Бестужеву от 24 марта 1825 года.

[12] «И даль свободного романа // Я сквозь магический кристалл // Еще не ясно различал» («Евгений Онегин», гл. 8, строфа L).

[13] «Дон Жуан» (1819—1824) — незавершенная поэма Байрона.

[14] То есть к А. А. Бестужеву, который в своем «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» обошел вниманием литературную деятельность Катенина.

[15] *Юлия* — героиня 1-й песни «Дон Жуана» Байрона.

[16] Имеется в виду известное суждение В. Г. Белинского («Сочинения Александра Пушкина. *Статья восьмая.* «Евгений Онегин»).

[17] Пушкин имеет в виду распространение поэмы в списках, происходившее по вине Л. С. Пушкина, разрешавшего переписывать рукопись.

[18] Письмо к А. А. Бестужеву (конец января 1825 г.).

[19] «Цыганы» были начаты в январе и завершены в октябре 1824 года.

[20] Цитируемое ниже письмо (от 7(?) марта 1826 г.) адресовано П. А. Плетневу.

[21] Пушкин имеет в виду своего «Графа Нулина», сравнивая его с поэмой Байрона «Беппо».

[22] Речь идет о фрагменте «Долго не знали в Европе происхождения цыганов...», впервые опубликованном Анненковым в примечаниях к пушкинским «Цыганам» (Сочинения Пушкина, т. 3. СПб., 1855, с. 544), где издатель осторожно определяет этот текст как похожий и на предисловие, и на примечание.

[23] Анненков имеет в виду слова К. Ф. Рылеева в его письме к Пушкину (конец апреля 1825 г.), подобные суждения были высказаны и П. А. Вяземским в его рецензии на «Цыган» (МТ, 1827, № 10). Об этих упреках Пушкин вспоминал позднее в своих заметках «Опровержение на критики».

[24] Далее цитируется один из черновых набросков предполагавшегося предисловия к изданию «Бориса Годунова» (написан в 1830 году).

[25] Измененные начальные слова одной из любимых пушкинских книг — «Опытов» Монтеня.

[26] Пушкинский «Борис Годунов», замысел которого возник по прочтении поэтом X и XI т. «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина

(вышли в мае 1824 года), был завершен 7 ноября 1825 года. В мае 1826 года Карамзин скончался.

[27] Французские оригиналы, о которых говорит Анненков, печатаются в современных изданиях в составе «Набросков предисловия к «Борису Годунову».

[28] Первый из пушкинских набросков был написан в форме письма к Н. Н. Раевскому. Он датирован 30 января 1829 года. При написании наброска поэт использовал черновик своего письма Раевскому от июля 1825 года.

[29] Пушкин приводит здесь финальную реплику одного из героев драмы Байрона «Двое Фоскари» (1821).

[30] Отрывок из черновика письма к Н. Н. Раевскому-младшему (2-я половина июля 1825 г.).

[31] Анненков цитирует заметку «Лица, созданные Шекспиром...», входящую в пушкинский цикл «Table-talk» («Застольные разговоры», 1830-е гг.). В приведенном отрывке речь идет о комедии Мольера «Тартюф» и о «Мере за меру» Шекспира.

[32] Анненков имеет в данном случае в виду неоконченную статью Пушкина «О народной драме и драме «Марфа Посадница» (1830), впервые напечатанную в посмертном издании сочинений поэта в 1841 году.

[33] В дискуссиях той эпохи творчество заново открытых романтиками Шекспира и Кальдерона противопоставлялось произведениям авторитетнейших драматургов-классицистов — Расина, Корнеля, Мольера.

[34] «Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве» — один из вариантов заглавия пушкинского произведения.

[35] В современных изданиях этот набросок печатается под названием «О романах Вальтера Скотта» (1830).

[36] Неточная цитата из статьи «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825).

[37] Трагедия В. К. Кюхельбекера.

[38] Речь идет о первом действии трагедии А. А. Жандра «Венцеслав», опубликованном в альманахе «Русская Талия» (1825).

[39] В списке драматических замыслов, составленном Пушкиным, вероятно, в 1829 году, упоминаются среди прочих «Димитрий и Марина» и «Курбский». Говоря о пушкинских планах, Анненков основывается в данном случае на сведениях С. П. Шевырева (П. в восп., т. 2, с. 40); эти данные подтверждаются также дневниковыми записями и воспоминаниями М. П. Погодина (П. в восп., т. 2, с. 9, 25; ЛН, т. 58, с. 354—355).

[40] Черновой текст «Бориса Годунова» полностью не известен. До нас дошли лишь черновики первых пяти неполных сцен (воспроизведены в кн.: Пушкин. Полн. собр. соч. Т. VII. Драматические произведения. [Л.], Изд-во АН СССР, [1935], с. 269—281). Сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» — пятая по счету — обозначена в этих черновиках как «Явление 4». Описание черновой пушкинской рукописи, уточняющее и исправляющее описание Анненкова, см. в работе: Якушкин, т. XLIII, с. 19—30. О работе Пушкина над «Борисом Годуновым» см. также: Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина. М. — Л., 1959, с. 108—113.

[41] Имеется в виду так называемый «Воображаемый разговор с Алексан-

дром I» (см.: Якушкин, т. XLIII, с. 21—23; Городецкий, с. 109—110).

[42] Далее Анненков приводит отрывок статьи, печатающейся в настоящее время под названием «Письмо к издателю «Московского вестника». Статья написана, по всей вероятности, в 1828 году и была вызвана высокой оценкой пушкинской сцены «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», содержащейся в «Обозрении русской словесности за 1827 г.» С. П. Шевырева (МВ, 1828, № 1).

[43] Имеются в виду драматические сцены 1830 года (так называемые «Маленькие трагедии»).

[44] «Отрывки из писем, мысли и замечания».

[45] Из незавершенной статьи «Опровержение на критики».

[46] Речь идет о стихотворении «Моя родословная» (1830).

[47] Приведенные ниже отрывки относятся к ранним редакциям набросков предисловия к «Борису Годунову».

Глава XI

[1] Имеется в виду отрывок «Смерть Чигиринского старосты» из поэмы К. Ф. Рылеева «Наливайко» (ПЗ на 1825 год).

[2] Письмо к Л. С. Пушкину от 22 и 23 апреля 1825 года.

[3] П. А. Осипова выехала из Тригорского в Ригу 19 июля 1825 года. Поездка Пушкина в Псков состоялась в период с 25 сентября по 3 октября 1825 года. О ее цели поэт сообщал в письме к В. А. Жуковскому от 6 октября 1825 года.

[4] В основе этого местного предания (см. также: Анненков, с. 276, где описанные события отнесены к октябрю 1824 года) лежал, вероятно, факт появления Пушкина в русском платье на святогорской ярмарке (ср.: Вульф А. Н. Рассказы о Пушкине, записанные М. И. Семевским. — В кн.: П. в восп., т. 1, с. 413; Парфенов П. Рассказы о Пушкине, записанные К. А. Тимофеевым. — В кн.: Там же, с. 429, 430).

[5] Речь идет о списке стихотворений 1816—1827 годов, которые Пушкин не включил в издание 1826 года и намеревался ввести в свое двухтомное собрание стихотворений (вышло в 1829 году). (См.: Рукою П., с. 238—240.)

[6] Стихотворение «К Зине» («Вот, Зина, вам совет: играйте...», 1826) было вписано в альбом Евпраксии Николаевны Вульф (в замужестве Вревской) — дочери П. А. Осиповой.

[7] Стихотворение «Графу Олизару» («Певец! Издревле меж собою...») (датируется серединой октября 1824 г.) впервые опубликовано в 1884 году в журнале «Русская старина». Стихотворение «К Родзянке» («Ты обещал о романтизме...») (датируется маем — июлем 1825 г.) впервые опубликовано в 1859 году в «Современнике».

[8] Пушкинские «Песни о Стеньке Разине» («Как по Волге-реке, по широкой...», «Ходил Стенька Разин...», «Что не конский топ, не людская молвь...»), датирующиеся 1824—1826 годами, — оригинальный цикл самого поэта, использовавшего мотивы фольклора и литературные источники. Сделанная Пушкиным в 1827 году попытка опубликовать «Песни» завершилась неудачей.

[9] Неоконченная пушкинская «Сказка о медведихе» предположительно написана в 1830 году.

[10] *Ласточка* — уменьшительно-ласкательное к слову «ласка» (хищный пушной зверек).

[11] *Подьячий* — помощник дьяка, делопроизводитель и писец в канцелярии (в Московской Руси).

[12] *Целовальник* — должностное лицо в Русском государстве XV — XVIII веков; позднее — продавец в казенной винной лавке.

[13] Стихотворение «Сват Иван, как пить мы станем...» (датируется 1833 годом).

[14] Скорбь поэта по малознакомым ему престарелым родственникам, выраженная в письме, носит, несомненно, преувеличенный характер; пародийность всего пассажа подчеркивают и слова о «сем священном чувстве» — пушкинская автоцитата (ср. в начале наброска статьи «О прозе», 1822).

[15] Рукопись сборника «Стихотворения Александра Пушкина», проходившая в то время цензуру.

[16] Речь идет о первой главе «Евгения Онегина», вышедшей в свет отдельной книжкой в феврале 1825 года.

[17] Пушкин имеет в виду анекдоты о чудачествах Суворова.

[18] Слух об операции был ложен.

[19] Речь идет о баснях «Мельник» и «Демьянова уха».

[20] Н. М. Карамзина.

[21] Имеются в виду приведенные ниже суждения Пушкина в планах статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834).

[22] У Пушкина: «несчастнейшего из подражателей» (статья «О народной драме и драме «Марфа Посадница»).

[23] «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова».

[24] Там же.

[25] Имеется в виду глава «Ломоносов» пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург» (1833—1835, издано Анненковым под заглавием «Мысли на дороге»).

[26] Из планов незавершенной статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834).

[27] См. черновик письма к П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 года (посвященный И. И. Дмитриеву отрывок опубликован в кн.: Анненков, с. 220—221), а также письмо к А. А. Бестужеву (конец мая — начало июня 1825 г.).

[28] Ср. в пушкинской статье «Александр Радищев» (1836): «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют».

[29] Автором этого обозрения, опубликованного в ПЗ на 1825 год, был А. А. Бестужев.

[30] Цитируемое письмо к А. А. Бестужеву написано в конце мая — начале июня 1825 года.

[31] Г. Р. Державин был министром юстиции в 1802—1803 годах, И. И. Дмитриев — в 1810—1814 годах; Н. М. Карамзину, В. А. Жуковскому и Н. И. Гнедичу в царствование Александра I были назначены пожизненные пенсии.

[32] Ошибка Пушкина: Мольер не был камердинером Людовика XIV.

[33] Комедия «Тартюф» была поставлена на сцене благодаря покровительству Людовика XIV.

[34] Герой исторической повести Бестужева «Изменник» (ПЗ на 1825 год).

[35] Речь идет о пушкинском «Письме к издателю «Сына отечества». Ниже цитируется письмо к А. А. Бестужеву от 29 июня 1824 года.

[36] Байрон умер в апреле 1824 года, Гете в это время было 75 лет (умер в 1832 году).

[37] Речь идет о полемике между П. А. Вяземским и М. А. Дмитриевым в связи с предисловием первого к поэме «Бахчисарайский фонтан» (см. прим. 21 и 22 к гл. VIII). Участником этой полемики был и единомышленник Дмитриева, сатирик и водевилист А. И. Писарев, выступивший со статьей «Еще разговор между двумя читателями «Вестника Европы» (ВЕ, 1824, № 8).

[38] Анненков основывается в данном случае на воспоминаниях Е. Ф. Розена «Ссылка на мертвых» (СО, 1847, № 6, отд. III, с. 18; см. также: П. в восп., т. 2, с. 277—279), где имя «знакомого» не названо мемуаристом. Как выяснено, речь шла о П. А. Вяземском, однако описанную реакцию Пушкина вызывали строки лишь одного из произведений Вяземского — «Послания к М. Т. Каченовскому» (см.: Вацуро В. Э. К истории пушкинского экспромта. — Временник, 1972, с. 106—109).

[39] Имеется в виду Е. А. Баратынский — автор поэмы «Эда» (1824).

[40] Письмо к А. А. Бестужеву.

[41] Речь идет о П. А. Осиповой.

[42] Сборник стихотворений поэта-крестьянина Ф. Н. Слепушкина «Досуги сельского жителя» (СПб., 1826).

[43] Сборник 1826 года.

[44] Письмо от 20 февраля 1826 года.

[45] Заметка Пушкина была включена в рецензию Л. Якубовича на первую часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Редактором-издателем «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» являлся А. Ф. Воейков.

[46] Управляющий технической частью типографии.

[47] *Смешные жеманницы* — героини одноименной комедии Мольера.

[48] См.: Шевырев С. П. Рассказы о Пушкине. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 39.

[49] «Я родился в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке» (см.: Щепкин М. А. Михаил Семенович Щепкин. 1788—1863 гг. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная. СПб., 1914, с. 3; Рукою П., с. 639). Тетрадь для будущих записок была подарена Щепкину 17 мая 1836 года.

[50] Речь идет о Ф. Ф. Матюшкине, после выпуска из лицея отправившемся в кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка» (1817—1819). В момент подготовки «Материалов» Анненкова Матюшкин — контр-адмирал.

[51] Уроженец Ревеля (ныне Таллин), барон Е. Ф. Розен, по его собственным словам, начал заниматься русским языком уже будучи офицером; в первой половине 1820-х годов он уже переводит русских поэтов на немецкий язык, а затем начинает писать и оригинальные русские стихи.

[52] Анненков имеет в виду запись в пушкинском дневнике под 2 апреля 1834 года: «Кукольник пишет «Ляпунова». Хомяков тоже. Ни тот, ни другой

не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет больше таланта».

[53] Эти слова Пушкина передает сам Розен в мемуарах «Ссылка на мертвых» (СО, 1847, № 6; перепечатаны в сб.: П. в восп., т. 2, с. 273).

[54] Вопрос о достоверности этого литературного предания до сих пор не решен (см.: Толстяков А. П. Пушкин и «Конек-Горбунок» Ершова. — Временник, 1979. Л., 1982, с. 28—36).

[55] См.: Губер Эдуард. Литературное объяснение. — Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» на 1837 год, № 34, с. 335.

[56] См. воспоминания Кольцова в пересказе его товарища А. Юдина. — В кн.: Опыты в сочинениях студентов имп. Харьковского университета, т. I. Харьков, 1846, с. 221.

[57] Знакомство и сближение Пушкина с А. А. Шишковым состоялось в 1816—1817 годах, когда Шишков служил в расквартированном поблизости от Царского Села полку.

[58] Шишков, пользовавшийся, как и Пушкин, репутацией вольнодумца, был переведен из Петербурга на службу вначале на Кавказ, а затем на Украину.

[59] Письмо к А. А. Шишкову (сентябрь — ноябрь 1823 г.).

[60] Ср.: «вы не верите простодушию гениев» («Мы проводили вечер на даче...», 1835).

[61] См. составленный Пушкиным перечень глав романа с указанием места и времени их написания (с. 215—216).

[62] Заметка о «Графе Нулине» написана в 1830 году. Согласно легенде, изгнание царей из Рима было вызвано насилием, совершенным сыном последнего царя Тарквиния Гордого Секстом Тарквинием над римлянкой Лукрецией. Под именем Публиколы Пушкин, вероятно, имеет в виду Коллатина — мужа Лукреции.

[63] Ср.: Нащокины П. В. и В. А. Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 188.

[64] Свободное переложение фрагмента поэмы Ариосто (см. «Из Ариостова «Orlando Furioso») относится к 1826 году.

[65] Стихотворение «Клеопатра» («Царица голосом и взором...») было написано Пушкиным в октябре 1824 года. Его историческим источником послужило приписываемое римскому историку Аврелию Виктору сочинение «О знаменитых мужах». В «Клеопатре» Пушкиным впервые был затронут сюжет, к которому писатель неоднократно обращался и впоследствии: незавершенная повесть «Мы проводили вечер на даче...» (1835), «Египетские ночи» (1835). Предположительно в 1828 году первоначальная редакция стихотворения была переработана («Чертог сиял. Гремели хором...»), и в новом своем варианте, согласно традиции, установившейся при первой посмертной публикации «Египетских ночей» (С, 1837, т. VIII), этот текст печатается в качестве второй импровизации итальянца. Исследование вопроса о соотношении материалов, связанных с замыслами «Клеопатры» и «Египетских ночей», истории их создания, а также оценку мнения Анненкова по этому вопросу см. в работе: Бонди С. К истории создания «Египетских ночей». — В кн.: Бонди С. Новые страницы Пушкина. Стихи, проза, письма. М., 1931, с. 148—205.

[66] См. «Table-talk» (заметка «Лица, созданные Шекспиром...»).

[67] Перевод из Шекспира действительно принадлежал Плетневу.

[68] Судя по черновой рукописи, заметка Пушкина «О «Ромео и Джульете» Шекспира» — не отрывок, а законченное произведение писателя.

[69] Письмо к А. А. Дельвигу от 23 июля 1825 года.

[70] Цитируемое суждение находится (в измененном виде) в черновике записки «О народном воспитании» (1826).

[71] Фрагменты из пушкинских «Замечаний на «Анналы» Тацита» (1825).

[72] Письмо к А. А. Дельвигу от 23 июля 1825 года.

[73] Основание журнала «Московский вестник» (1827—1830) явилось плодом сближения Пушкина с кружком так называемых «любомудров» (Д. Веневитинов, С. Шевырев, М. Погодин и другие), в которых поэт в течение некоторого времени после возвращения из ссылки в 1826 году видел своих ближайших литературных союзников. Между членами кружка и Пушкиным был заключен формальный договор о принципах сотрудничества. После первоначального периода активного сотрудничества поэта в МВ Пушкин охладел к журналу.

[74] Анненков приводит часть предпоследней, XLV строфы шестой главы «Евгения Онегина». Эта строфа была написана 10 августа 1827 года.

Глава XII

[1] Стремясь расположить в свою пользу общественное мнение, Николай I вернул в сентябре 1826 года Пушкина из ссылки. В ночь с 3 на 4 сентября в Михайловское прибыл фельдъегерь с приказанием Пушкину немедленно отправиться в Москву, где в то время проходили коронационные торжества. 8 сентября состоялась встреча поэта с царем; о содержании беседы между ними известно мало. Николай пытался привлечь Пушкина к себе, направить его литературную деятельность. Он не только предоставил поэту свободу, но и заменил для него общую цензуру своей личной. Однако новые отношения между Пушкиным и властями складывались, вопреки оценке Анненкова, сложно и с годами все более тягостно для писателя.

[2] Письмо к Н. М. Языкову от 9 ноября 1826 года.

[3] Из «Двенадцати спящих дев» Жуковского.

[4] *Бык* — река в Кишиневе.

[5] *«Развалины»* — комната Пушкина в доме Инзова, пострадавшем во время землетрясения; впоследствии поэт переехал к Алексееву.

[6] Письмо к Н. С. Алексееву от 1 декабря 1826 года.

[7] Описка Пушкина: письмо к Н. М. Языкову написано 21 декабря.

[8] 20 декабря (см. предыд.).

[9] Записка «О народном воспитании» (написана 15 ноября 1826 года; впервые опубликована в 1884 году) была составлена Пушкиным по распоряжению Николая I. Это задание имело, по словам Б. В. Томашевского, «характер политического экзамена».

[10] П. В. Анненков близко к тексту пересказывает здесь содержание письма к Пушкину А. Х. Бенкендорфа от 23 декабря 1826 года. В своем письме Бенкендорф передавал оценку, данную записке Николаем.

[11] Эта просьба высказана Пушкиным в конце его записки «О народном воспитании».

[12] Письмо Пушкина к Языкову, содержащее послание «К тебе сбирался я давно...», написано 14 июня 1828 года.

[13] Датируется 18 июня 1827 года.

[14] Ср.: Погодин М. П. Из «Воспоминаний о Степане Петровиче Шевыреве». — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 27—28.

[15] Сведения о местоположении московской квартиры Пушкина уточнены С. А. Соболевским, с которым жил поэт: «...он ⟨...⟩ жил в ⟨...⟩ доме Ринкевича, который, как сказано, на Собачьей площадке стоит лицом, а задом выходит на Молчановку, из чего и вышли у А⟨нненкова⟩ две местности» (см.: Беляев М. Соболевский о Пушкине. (Из переписки С. А. Соболевского с М. Н. Лонгиновым). — В кн.: ПиС, вып. XXXI—XXXII. Л., 1927, с. 40).

[16] Майор Алексей Гаврилович Носов (умер в 1844 году). (См.: Модзалевский, с. 339.)

[17] Часть записки к неизвестному лицу, датируется апрелем — маем 1830 года.

Глава XIII

[1] Имеется в виду «Сцена из Фауста» (1825), опубликованная в 1828 году в МВ под названием «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем».

[2] 2-я половина (не позднее 30-го) августа 1826 года.

[3] Такую сумму должна была ежегодно выплачивать Пушкину за его участие редакция «Московского вестника». Эти расчеты далеко не оправдались.

[4] Анненков преувеличивает влияние «любомудров» на формирование пушкинских взглядов; их философская и эстетическая позиция и позиция Пушкина далеко не совпадали.

[5] Стихотворение «Поэт и толпа», названное при первой публикации в МВ «Чернь», было написано в 1828 году.

[6] Сонет «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной...») написан 7 июля 1830 года.

[7] Стихотворение написано в 1831 году.

[8] См.: Даль В. И. Воспоминания о Пушкине. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 225).

[9] Фрагмент незавершенной поэмы «Езерский» (1832—1833).

[10] Стихотворение написано в 1832 году. Произвольное название «К Н***» было дано ему Жуковским при публикации в посмертном издании сочинений Пушкина. В современных изданиях печатается под заглавием «Гнедичу».

[11] С М. П. Погодиным.

[12] Имеется в виду опубликованный в МВ «Переход через реку, приключение брамина Параматры» (перевод с нем. В. П. Титова).

[13] Цитируемое ниже письмо написано в 1828 году.

[14] Речь идет о письме, присланном Гете в ответ на публикацию МВ ста-

тьи С. П Шевырева, посвященной «Фаусту». Появление письма Гете на страницах МВ (1828, № XI) произвело сильное впечатление.

[15] Автором стихотворения «Мысль» («Падет в наш ум чуть видное зерно...») также был С. П. Шевырев.

[16] Речь идет об издателях «Северной пчелы» Булгарине и Грече, в газете которых стихотворение «Мысль» подверглось пристрастному критическому разбору.

[17] Приведенная приписка завершает другое письмо Пушкина к Погодину — от 19 февраля 1828 года.

Глава XIV

[1] Н. А. Полевому.

[2] Послание Веневитинова «К Пушкину» написано осенью 1826 года, пушкинская же «Сцена из Фауста» относится к периоду пребывания поэта в Михайловском (1825) и, таким образом, предшествует стихотворению Веневитинова.

[3] См. об этом также: Нащокины П. В. и В. А. Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 192—193. Достоверность данной биографической легенды, однако, сомнительна (см.: Алексеев М. П. Заметки на полях. 4. К «Сцене из Фауста» Пушкина. — Временник, 1976. Л., 1979, с. 96).

[4] Эта книжка («Две повести в стихах») вышла в декабре 1828 года.

[5] Письмо к Я. Н. Толстому от 26 сентября 1822 года.

[6] Письмо написано 29 июня.

[7] Письмо написано 4 сентября 1822 года.

[8] Речь идет о поэме Байрона, переведенной Жуковским.

[9] Драма Шиллера «Орлеанская дева», переведенная Жуковским, не была поставлена на сцене вследствие запрещения министра внутренних дел В. Кочубея.

[10] *«Смерть Роллы»* — трагедия немецкого писателя А. Коцебу.

[11] Имеются в виду книги Сисмонди «О литературе Южной Европы» и А. Шлегеля «Чтения о драматическом искусстве и литературе», а также альманахи «Русская Талия» и «Русская старина».

[12] Цитата из «Модной жены» И. И. Дмитриева.

[13] Письмо к Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу от 15 марта 1825 года.

[14] Из письма к Л. С. Пушкину от 27 марта 1825 года.

Глава XV

[1] См. письмо Пушкина к П. А. Вяземскому от 7 апреля 1825 года. Предложение Селивановского было передано через Пущина, речь шла о поэмах «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан».

[2] Полное издание «Евгения Онегина» в одной книге (до этого выходили отдельные главы) появилось в 1833 году.

[3] Письмо к С. А. Соболевскому, ноябрь (после 10-го) 1827 года.

[4] Этот эпизод произошел на вечере у кн. Зинаиды Волконской (см.:

Шевырэв С. П. Рассказы о Пушкине. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 41).

[5] Датируется 1835 годом.

[6] Письмо к Л. С. Пушкину от 1 апреля 1824 года.

[7] Письмо к Л. С. Пушкину, январь (после 12-го) — начало февраля 1824 года. В конце цитируемого отрывка имеются в виду слова А. О. Корниловича в его статье «Об увеселениях российского двора при Петре I» (ПЗ на 1824 год).

[8] Речь идет о «Послании Дельвигу» («Прими сей череп, Дельвиг: он...», 1827), напечатанном в СЦ на 1828 год под названием «Череп».

[9] Статья Булгарина «Встреча с Карамзиным. (Из литературных воспоминаний)» была позднее напечатана в альманахе «Альбом северных муз» (СПб., 1828).

[10] Стихотворение «Под небом голубым страны своей родной...» вызвано известием о смерти Амалии Ризнич (см. прим. 5 к гл. VI), дошедшим до Пушкина лишь полтора года спустя (25 июля 1826 года) (первая строка записи). 24 июля 1826 года Пушкин узнал в Михайловском о казни декабристов: Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Бестужева-Рюмина, — совершившейся в Петербурге 13 июля 1826 года (вторая строка записи; следующая за Р. буква строки должна читаться как П.).

[11] Стихотворение Туманского — отклик на известие о смерти Ризнич, полученное в Одессе в июне 1825 года.

[12] Полное название — «Отрывки из писем, мысли и замечания».

[13] «Полтава» написана в 1828-м, вышла отдельной книгой в 1829 году.

[14] Точнее, спустя три года (осенью 1830-го).

[15] Роман «Арап Петра Великого» остался незавершен, впервые полностью текст был напечатан уже после смерти автора (С, 1837, т. VI), тогда же ему было дано название, отсутствующее у Пушкина.

[16] В современных изданиях под названием «Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве 1830».

Глава XVI

[1] *26 мая* — день рождения Пушкина.

[2] Пушкин начал работу над «Полтавой» 5 апреля 1828 года, на октябрь приходится основная работа над текстом.

[3] Статья Н. И. Надеждина «Полтава, поэма Александра Пушкина» была напечатана в разделе «Изящные искусства, науки и литература», приведенную оценку см. на с. 38—39.

[4] Статья О. М. Сомова «Обозрение российской словесности за первую половину 1829 г.».

[5] Статья Кс. Полевого «Полтава, поэма Александра Пушкина» (МТ, 1829, ч. XXVII). Далее Анненков свободно цитирует суждения критика на с. 234.

[6] См. незавершенную статью «Опровержение на критики», отрывок из которой, посвященный «Полтаве», был напечатан в альманахе «Денница» на 1831 год; о статье Надеждина Пушкин вспоминает и в «Путешествии в Арзрум» (1835).

[7] Имеется в виду М. Т. Каченовский.

[8] «На Каченовского» («Бессмертною рукой раздавленный Зоил...», 1818), «Клеветник без дарованья...» (1821), «Журналами обиженный жестоко...» (1829), «Мальчишка Фебу гимн поднес...» (1829), «Там, где древний Кочерговский...» (1829) и др.

[9] Речь идет о «Послании к М. Т. Каченовскому» П. А. Вяземского (СО, 1821, № 2), перепечатанном в ВЕ (1821, № 2) под названием «Послание ко мне от к. Вяземского» с примечаниями редактора ВЕ М. Т. Каченовского. Послание открывали строки: «Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок // Талантов низкий враг, завистливый Зоил» (сохранена пунктуация СО и ВЕ).

[10] Речь идет об антибулгаринских эпиграммах «Не то беда, Авдей Флюгарин...» и «Поверьте мне, Флюгарин-моралист...». Первая из них действительно принадлежала Пушкину, автором другой был Е. А. Баратынский. (См. также тексты обоих стихотворений и примечание к ним в кн.: Сочинения Пушкина, т. VII, дополнительный. Издание П. В. Анненкова. СПб., 1857, с. 107.)

[11] Антибулгаринская эпиграмма *«Синонимы: гостиная, салон...»* принадлежит П. А. Вяземскому.

[12] Речь идет, несомненно, о пушкинской эпиграмме «Русскому Геснеру», впервые опубликованной в «Опыте русской анфологии» М. Яковлева. В 1857 году она была перепечатана Анненковым в VII томе «Сочинений Пушкина» (с. 101).

[13] Речь идет о Н. И. Надеждине.

[14] Указания на источники цитат, отсутствующие в статье Надеждина, даны Анненковым. Они неточны: Надеждин цитирует в первом случае XIX строфу пятой главы романа, во втором — XVII строфу пятой главы.

[15] Имеется в виду герой поэмы Байрона «Мазепа» (1818).

[16] Речь идет о Николае Петровиче Осипове (1751—1799) — авторе «Энеиды, вывороченной наизнанку» — шуточного переложения поэмы Вергилия.

[17] Автором статьи являлся Ф. В. Булгарин, отталкивавшийся в своем разборе от критических суждений Надеждина, высказанных по поводу ранее опубликованных произведений Пушкина. Рецензия Булгарина содержала и обвинения политического характера. «Мы думали, — писал критик, — что автор «Руслана и Людмилы» устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. ⟨...⟩ мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными ⟨...⟩» (СПч, 1830, № 35).

[18] Письмо к П. В. Нащокину. Речь идет об анонимной брошюре «О «Борисе Годунове», сочинении Александра Пушкина, разговор» (М., 1831).

[19] Письмо к М. П. Погодину (около 7 апреля 1834 г.).

[20] Имеется в виду «Обозрение русской словесности 1829 года» И. В. Киреевского, опубликованное в альманахе «Денница» на 1830 год.

Глава XVII

[1] Датируется 1835 годом.

[2] Строфы четвертой главы, не вошедшие в окончательный текст.

[3] Неточность: послание напечатано в тридцатом номере.

[4] Пушкинское стихотворение содержит намек на страсть самого Великопольского к карточной игре.

[5] Знаменитая в ту пору дрессированная собака.

[6] Речь идет о П. М. Полторацком.

[7] Датируется серединой ноября 1828 года.

[8] Вероятно, Дельвиг намеревался ехать в Смоленскую губернию.

[9] Пушкин приехал в Петербург 18 января 1829 года (см.: Лернер, с. 183).

Глава XVIII

[1] *Сераскир* — главнокомандующий в старой Турции.

[2] См. «Наброски предисловия к «Борису Годунову» (отрывок, помеченный: «19 июля 1829. Арзрум»).

[3] Речь идет о ВЕ со статьей Н. И. Надеждина.

[4] Последняя фраза «Путешествия в Арзрум».

[5] Пушкинская приписка неточно передана Анненковым. В действительности она выглядит следующим образом: «Моск<ва> Павл<овское> 1829 Болд<ино>». (*Павловское* — имение П. И. Вульфа в Тверской губернии, куда Пушкин заезжал, возвращаясь с Кавказа.) 1829 год в этой записи указывает на время основной работы над текстом главы, завершенной поэтом уже в следующем, 1830 году в Болдине (18 сентября). Таким образом, предположение Анненкова о маршруте Пушкина неосновательно. (См. также: Лернер, с. 196.)

[6] Написано в с. Павловском.

[7] Имеется в виду командующий действующей армией И. Ф. Паскевич-Эриванский.

[8] Стихотворение написано в 1829 году (13 июня?), текст окончательно обработан 7 сентября 1830 года.

[9] Ср. с первоначальной редакцией предисловия к «Путешествию в Арзрум»: «Мы надеялись, что г. *такой-то* возвратится из похода с Георг<иевским> крестом, вместо того он вывез из Молдавии одну лихорадку».

[10] Набросок датирован 16 июля 1829 года.

Глава XIX

[1] В современных изданиях название переменено на «Тазит», иначе читается и имя отца героя: «Гасуб» вместо «Галуб». Пушкин работал над этой незавершенной поэмой в конце 1829 — начале 1830 года.

[2] Речь идет о стихотворениях «...Вновь я посетил...» и «Отцы пустынники и жены непорочны...» (написано 22 июля 1836 года).

[3] *Уздени* — воины, находившиеся при князьях, вассалы.

[4] Речь идет в первую очередь о повестях Шатобриана «Атала» (1801) и «Рене» (1802).

[5] Возражения на это предположение Анненкова см. в работе: Турчанинов Г. К изучению поэмы Пушкина «Тазит». — РЛ, 1962, № 1, с. 39—40.

[6] По первоначальной нумерации Пушкина (см. с. 215) — девятой главы.

[7] См. прим. 5 к гл. XVIII.

[8] Приведенный отрывок находится в черновой рукописи второй главы; в точности неизвестно, связан ли он с «Евгением Онегиным».

[9] К XIV строфе.

[10] Описание Одессы написано в 1825 году в Михайловском.

Глава XX

[1] Речь идет о графе П. А. Румянцеве-Задунайском, одержавшем в ходе русско-турецкой войны 1768—1774 годов победу при Кагуле.

[2] Граф А. Г. Орлов-Чесменский; в морском сражении под Чесмой (1770) русский флот под его командованием поджег турецкую эскадру.

[3] Участник боя при Чесме Ф. Г. Орлов.

[4] И. А. Ганнибал, взявший в 1770 году турецкую крепость Наварин.

[5] Подразумевается предстоящая женитьба поэта.

[6] Отрывок датируется 1823 г.

[7] Письмо к Л. С. Пушкину (сентябрь (после 4) — октябрь (до 6) 1822 г., Кишинев).

[8] *«Сотворение мира»* — неизвестная в печати поэма М. В. Милонова, над которой автор работал незадолго до своей смерти в 1821 году.

[9] См. с. 84.

[10] Стихотворение Пушкина «Черная шаль» (1820) было опубликовано в СО (1820, № 15) с ошибками, вследствие чего поэт перепечатал его позднее в журнале «Благонамеренный» (1821, № 10).

[11] Письмо от 27 июля 1821 года.

[12] Имеется в виду альманах Бестужева и Рылеева «Полярная звезда».

[13] «Кавказский пленник», пропущенный цензурой в июне 1822 года, вышел в августе.

[14] В 1822 году у К. Н. Батюшкова явно обнаружились признаки душевной болезни.

[15] Письмо от 21 июля 1822 года.

[16] Название стихотворения «Война» при первой публикации.

[17] В балете Дидло «Кавказский пленник» (постановка 1823 года) Истомина исполняла партию Черкешенки.

[18] Очевидно, исправление на «тревожные думы» сделано Рылеевым — издателем ПЗ.

[19] Пушкин имеет в виду свое послание к Ф. Н. Глинке «Когда средь оргий жизни шумной...» (1822).

[20] Письмо от 4 сентября 1822 года.

[21] Цитируемое письмо написано в октябре 1822 года.

[22] «Опыт краткой истории русской литературы» (СПб., 1822).

[23] Вероятно, имеется в виду неосуществленное издание «Дух русской поэзии, или Собрание старинных русских стихотворений...», объявление о котором было помещено Цертелевым в журнале «Северный архив» (1822, ч. III, № 16).

[24] Имеется в виду вышедшая на немецком языке книга «Поэтические изделия русских. Опыт Карла Фридриха фон дер Борга, с приложением биографических и литературно-исторических заметок» (в 2-х т., Рига — Дерпт, 1823), где была посвященная Пушкину заметка.

[25] Речь идет о книге «Беседы лорда Байрона...» (Париж, 1824) и о романах В. Скотта.

[26] Письмо написано в первой половине ноября 1824 года.

[27] Начало 20-х чисел ноября.

[28] Письмо к Л. С. Пушкину от 4 декабря 1824 года.

[29] Ошибка Анненкова: издателем альманаха «Русская старина на 1825 год» был А. О. Корнилович.

[30] Письмо к Л. С. Пушкину (конец февраля 1825 г.).

[31] Письмо от 20—23 декабря 1824 года.

[32] Поэт И. И. Козлов прислал Пушкину с дарственной надписью экземпляр своей стихотворной повести «Чернец».

[33] «Последняя песня путешествия Гарольда» — предпринятая Ламартином попытка дописать поэму Байрона.

[34] Письмо датируется первой половиной мая 1825 г.

[35] Пушкин пародирует характерную для французского поэта Ж. Делиля перифрастичность стиля.

[36] Письмо написано не позднее 20 декабря 1824 года.

[37] М. И. Калашникову.

[38] Вероятно, книгу «Ложный Петр III, или Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева» (1809).

[39] Письмо от 1—10 ноября 1824 года.

[40] Имеются в виду 6, 7 и 8 песни «Дон Жуана» Байрона.

[41] Письмо от 22 и 23 апреля 1825 года.

[42] Письмо к Л. С. Пушкину от 4 декабря 1824 года.

[43] «Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, заключающая в себе наилучшие нравоучения, преложенная в стихи» (1825), переведена священником Г. А. Покатским.

[44] Конец февраля 1825 года.

[45] 1-я половина ноября 1824 года.

[46] Около 20 декабря 1824 года.

[47] Из басни Лафонтена «Старик и трое молодых».

[48] Письмо от 4 декабря 1824 года.

[49] Письмо от 22 и 23 апреля 1825 года. Вероятно, речь идет о стихе из V строфы третьей главы «Евгения Онегина»: «Как эта глупая луна // На этом глупом небосклоне».

[50] Письмо к Л. С. Пушкину (конец февраля 1825 г.).

[51] Элегия Плетнева «Б⟨атюшков⟩ из Рима» была напечатана без подписи и потому оказалась воспринята многими как произведение самого К. Н. Батюшкова, содержащее признание в творческом бессилии. «Батюшков прав,

что сердится на Плетнева, — писал Пушкин брату 4 сентября 1822 года, — на его месте я бы с ума сошел со злости — «В. из Рима» не имеет человеческого смысла. <...> мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи — он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен, как мертвец».

[52] «К А. С. Пушкину» (1822).

[53] Поставленная Пушкиным в конце письма дата воспроизведена неточно: в оригинале стоит «Окт<ябрь> 1822. Кишинев».

[54] Письмо датируется первыми числами (не позднее 8-го) июня 1825 года.

[55] Речь идет о долге Н. В. Всеволожскому (см. с. 181).

[56] Письмо от 27 марта 1825 года.

[57] Стихотворение написано 23 декабря 1829 года. Получив уклончивый ответ на свое сватовство к Н. Н. Гончаровой, поэт 7 января 1830 года обратился с просьбой к генералу Бенкендорфу: «Пока я еще и не женат, и не зачислен на службу, я бы желал совершить путешествие — либо во Францию, либо в Италию. В случае же, если бы это не было мне разрешено, я бы просил милостивого позволения посетить Китай вместе с посольством, которое туда вскоре отправляется» (в подлиннике — по-французски). 17 января Пушкину было передано несогласие Николая I на его просьбу.

[58] Речь идет о В. К. Кюхельбекере (см.: Модзалевский, с. 342).

[59] Написано 12 июня 1828 года. Стихотворение навеяно грузинской мелодией, которую А. С. Грибоедов сообщил М. И. Глинке.

[60] Речь идет об А. Мицкевиче, жившем в России в 1824—1829 годах (см.: Письмо П. А. Плетнева к Я. К. Гроту от 8 сентября 1845 г. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 257; а также: Модзалевский, с. 342). Стихотворение «Он между нами жил...» написано в 1834 году.

[61] Имеется в виду стихотворное возражение митрополита Филарета («Не напрасно, не случайно...») на пушкинские стихи «Дар напрасный, дар случайный...».

Глава XXI

[1] Издание МВ было прекращено в 1830 году; «Литературная газета» начала выходить с 1 января 1830 года (закрыта в июне 1831 года).

[2] См. пушкинскую заметку «О журнальной критике» (ЛГ, 1830, 11 января, № 3; без подписи).

[3] Имеется в виду так называемый «Разговор о критике».

[4] Стихотворение написано в 1830 году и было приведено Пушкиным в качестве «старинной эпиграммы» в незавершенной статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений».

[5] Заметка «О «Разговоре у княгини Халдиной» Фонвизина».

[6] «Илиада» Гомерова...» и «Объяснение по поводу заметки об «Илиаде».

[7] Имеются в виду пушкинский отклик на объявление о выходе «Записок Самсона, парижского палача», в котором поэт критически оценивает современное направление французской литературы, а также заметка о сочинениях сыщика Видока, где Пушкин под видом французского полицейского шпиона сатирически рисует своего литературного врага Булгарина.

[8] Речь идет о статье Кс. Полевого «Взгляд на два Обозрения русской словесности 1829 года, помещенные в «Деннице» и «Северных цветах» (МТ, 1830, № 2), где было оспорено предложенное И. В. Киреевским (в альманахе «Денница» на 1830 год) и повторенное Пушкиным в анонимной рецензии на «Денницу» (ЛГ, 1830, 5 февраля, № 8) деление русской литературы на три периода, представленные именами Карамзина, Жуковского и Пушкина.

[9] Заметка «Писатели, известные у нас под именем аристократов...» (1831). Пушкин возражает на мнение П. А. Вяземского, высказанное в статье «Несколько слов о полемике» (ЛГ, 1830, № 18).

[10] Речь идет об антибулгаринских статьях Пушкина «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (Телескоп, 1831, № 13) и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (Телескоп, 1831, № 15).

[11] Пушкин приехал в Москву в марте 1830 года.

[12] Измененное высказывание Николая I, переданное Пушкину шефом жандармов Бенкендорфом в письме от 10 декабря 1831 года (в подлиннике — по-французски). Карандашная помета Николая, содержащая приведенные слова, сделана на письме Пушкина к Бенкендорфу от 24 ноября 1831 года, в котором поэт объяснял обстоятельства создания и распространения своего стихотворения «Моя родословная». Из контекста письма и николаевской резолюции видно, что под «бранью» (в подлиннике: «низкие и подлые оскорбления») имеется в виду антипушкинский анекдот Булгарина о проданном за бутылку рома предке некоего поэта (СПч, 1830, № 94), под «сатирой» — «Моя родословная».

[13] Напечатан в шестом номере.

[14] Автором этого отзыва был Н. А. Полевой. В связи с анненковской оценкой «Вельможе» см. также: Полевой Ксенофонт. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого. — В кн.: Полевой Николай. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934, с. 303—305.

[15] Автор этого примечания — А. Ф. Воейков.

Глава XXII

[1] Эти черновые записи, печатающиеся ныне под названием «Старинные пословицы и поговорки», относятся, вероятно, к 1825 году.

[2] См. пушкинскую рецензию «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

[3] Выписка (в современных изданиях под заглавием «О соколиной охоте») датируется (условно) началом 1830-х годов. Возможно, эти записи связаны с задуманной Пушкиным в 1833—1834 годах повестью о стрелецком сыне.

[4] Написано в конце 1820-х — начале 1830-х годов.

[5] Неопубликованная при жизни Пушкина рецензия (см. «Три повести» Н. Павлова») была посвящена вышедшему в 1835 году и пользовавшемуся большим успехом сборнику Н. Ф. Павлова «Три повести». Упрек в «идеализации лакейства» вызвала повесть «Именины».

[6] В статье В. К. Кюхельбекера, о которой говорит Анненков, элегической

поэзии была противопоставлена ода, которая, по словам критика, «одна совершенно заслуживает название поэзии лирической».

[7] Черновые заметки, написанные в 1825—1826 годах. В современных изданиях печатаются под названием «Возражения на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине». Содержат замечания на статьи «О направлении нашей поэзии...» и «Разговор с Булгариным».

[8] Незавершенное «Письмо к издателю «Московского вестника». Пушкин имеет в виду статью Н. А. Полевого о ПЗ на 1825 год. *Лопец* — Лопе де Вега.

[9] Заметка написана в 1830-х годах.

[10] В настоящее время печатается под названием «О трагедии Олина «Корсер».

[11] Эта незавершенная пушкинская статья относится, по-видимому, к 1825—1826 годам. В современных изданиях печатается под названием «О народности в литературе». Говоря о современных критиках, Пушкин, вероятно, имеет в виду статьи О. М. Сомова, П. А. Вяземского, А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбекера. *«Ученый немец»* — видимо, А. В. Шлегель, иронически отозвавшийся об «Андромахе» Расина; *«француз»* — С. Сисмонди, критически оценивший драму Кальдерона «Оружие любви» (см. коммент. Н. К. Козмина в издании: Сочинения Пушкина, т. 9, ч. II. Л., 1929, с. 59—61).

[12] Из незавершенной статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834).

[13] В настоящее время печатается под названием «Наброски статьи о русской литературе» (1830).

[14] Речь идет о Ф. Прокоповиче.

[15] Антиох Кантемир.

[16] М. В. Ломоносов — уроженец села Холмогоры Архангельской губернии, учившийся в Славяно-греко-латинской академии при Заиконоспасском монастыре в Москве.

[17] «О ничтожестве литературы русской».

[18] «Божественную комедию» Данте, состоящую из трех частей: Ад, Чистилище, Рай.

[19] Приведенные П. В. Анненковым выше фрагменты относятся к статье «О ничтожестве литературы русской» и ее ранним редакциям.

[20] Эта записка представляет собой пересказ отдельных мест «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, «Истории Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского и «Истории руссов», приписанной Георгию Кониcскому.

[21] Из набросков труда по истории французской революции (1831).

[22] Приведенные фрагменты представляют собой конспект введения в историю французской революции (см. «О французской революции»).

[23] Из незавершенной статьи «Второй том «Истории русского народа» Полевого». Пушкин работал над ней осенью 1830 года.

[24] В настоящее время эта незавершенная пушкинская статья печатается под заглавием «Песнь о полку Игореве» (1836).

[25] В настоящее время принято другое условное название, более отвечающее содержанию этого незавершенного пушкинского произведения (1833—1835), — «Путешествие из Москвы в Петербург».

[26] См. подборку «Заметки и афоризмы разных годов». Изречение о переводчиках (сентябрь 1830 г.) записано на листе черновой рукописи XXXVII

строфы восьмой главы «Евгения Онегина» (см.: Рукописи П., с. 69—70).

[27] Выписка датируется 1835 годом и представляет собой цитату из книги итальянского писателя Алессандро Мандзони «Замечания на католическую мораль» (1834).

[28] Датируется 1830-ми годами. В современных изданиях печатается в составе «Заметок и афоризмов разных годов».

[29] Выписка из сочинения неизвестного французского автора. Запись сделана на обороте листка со стихотворением «Все в жертву памяти твоей...» (см.: Рукописи П., с. 33).

[30] Датируется 6 июля 1831 года. Запись, вероятно, связана с работой Пушкина над предисловием к отдельному изданию «Бориса Годунова».

[31] Речь идет о незавершенном «Романе в письмах», сохранившемся в черновой рукописи. (Написан предположительно в 1829 году.)

[32] При жизни Пушкина была опубликована лишь часть романа «Рославлев», написанного в 1831 году. Оставшийся текст впервые напечатан в посмертном издании сочинений поэта и в «Материалах» Анненкова (от слов «Мы приехали в**, огромное село...» и до конца).

[33] Приведенный текст предположительно датируется 1829—1830-ми годами. В современных изданиях известен под заглавием «Записки молодого человека». *«Местечко В.»* расшифровывается как город Васильков. Наряду со временем действия (1825) это дает указание на обстоятельства, в которых должно было протекать действие будущей повести: в городе Василькове Киевской губернии в декабре 1825 года произошло восстание Черниговского полка.

[34] Анненков приводит начало автобиографического наброска «Участь моя решена. Я женюсь...» (май 1830 г.).

[35] Отрывок написан в 1835 году.

Глава XXIII

[1] «Светлое Христово Воскресенье» в 1830 году приходилось на 6 апреля, таким образом, предложение было сделано Пушкиным ранее, чем предполагал Анненков.

[2] Письмо к Н. О. и С. Л. Пушкиным от 6—11 апреля 1830 года.

[3] «Отрывок из воспоминаний о Дельвиге». Датируется предположительно 1834—1836 годами.

[4] Запись относится, вероятно, к 1831 году. *«Дерптский студент»* — А. Н. Вульф.

[5] Письмо М. П. Погодину, о котором идет речь, написано в начале ноября 1830 года. Стихотворение было напечатано анонимно в журнале «Телескоп» (1831, № 1).

[6] Речь идет о биографическом очерке П. А. Плетнева «Александр Сергеевич Пушкин».

[7] Письмо от 9 декабря 1830 года.

[8] Речь идет о произведениях, предназначенных для альманаха Дельвига «Северные цветы».

[9] Имеется в виду «История села Горюхина» (1830). Название этого незавершенного произведения у Анненкова прочтено ошибочно.

[10] *«Под небом сладостным Италии своей...»* — начальная строка стихотворения «Под небом голубым страны своей родной...» в рукописи.

[11] Перечень составлен, вероятно, в 1829 году (см.: Фомичев С. А. Драматургия Пушкина. — В кн.: История русской драматургии. XVII — первая половина XIX века. Л., 1982, с. 278). Вполне возможно, что обозначенные в списке произведения имели к моменту составления какую-то творческую историю. Названия двух произведений — «Иисус» и «Павел I» — были Анненковым при публикации исключены из перечня.

[12] Анненков воспроизводит ошибочное написание английского названия, данное в журнале «Современник» (1836, т. I). В пушкинской рукописи правильно: «The covetous Knight».

[13] Ложное указание Пушкина на основу его произведения имело целью, по мысли Анненкова, отвести возможность лично-биографических ассоциаций (отец поэта Сергей Львович был известен своей скупостью). С другой стороны, пушкинская интерпретация «Скупого рыцаря» как перевода подчеркивала западноевропейский колорит драмы. (См. также: Аринштейн Л. М. Пушкин и Шенстон. (К интерпретации подзаголовка «Скупого рыцаря»). — В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1980, с. 81—95.)

[14] Речь идет о начале романа, опубликованном под названием «Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)». Такое заглавие усиливало впечатление подлинности рассказанного.

[15] «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права...», 1836).

[16] И. С. Тургенева. О предпринятых Анненковым разысканиях см.: Модзалевский, с. 293—299, 348.

[17] Заметка «О Сальери» написана не ранее середины 1832 года.

[18] См.: Катенин П. А. Воспоминания о Пушкине. — В кн.: П. в восп., т. 1, с. 192.

[19] Пушкинский афоризм датируется предположительно 1830 годом.

[20] Речь идет об опере Моцарта «Дон Жуан» (из ее либретто Пушкин взял эпиграф).

[21] См. также: Модзалевский, с. 294. Пушкин предполагал воспользоваться для своего замысла рассказом, извлеченным из сочинения «Beralde prince de Savoie». Сделанная Пушкиным выписка датируется 1826 годом. (См.: Рукою Пушкина, с. 497—501.)

[22] «Отрывки из путешествия Онегина».

[23] «Домик в Коломне» написан в 1830 году. 1829-м годом поэма была датирована в альманахе «Новоселье».

[24] «Домик в Коломне», строфа XXI.

[25] В разделе «Приложения» Анненковым опубликовано 14 строф «Домика в Коломне», посвященных литературной полемике и отброшенных самим Пушкиным при публикации поэмы. В современных изданиях они печатаются в разделе «Из ранних редакций».

Глава XXIV

[1] Речь идет о фрагментах незавершенных статей «Опровержение на критики» и «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений».

[2] Статья Н. И. Надеждина «Борис Годунов». Сочинение А. Пушкина. Беседа старых знакомцев», опубликованная под псевдонимом «Н. Надоумко».

[3] Из чернового наброска «О новейших блюстителях нравственности».

[4] Здесь и ниже цитируется незавершенная статья, известная под заглавием «Об Альфреде Мюссе».

[5] Речь идет о Байроне.

[6] «Начало статьи о В. Гюго» (1832).

[7] Там же.

[8] Там же.

[9] Речь идет о лирическом сборнике Сент-Бева, приписанном им некоему, будто бы умершему, поэту, — «Жизнь, стихи и мысли Жозефа Делорма» (1829).

[10] Эти статьи действительно принадлежат Пушкину.

[11] «Опровержение на критики».

[12] Там же.

[13] Эпиграф к незавершенной статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», представляющей собой новый вариант статьи «Опровержение на критики».

[14] Из статьи «Опровержение на критики».

Глава XXV

[1] См.: Бессонов И. Для будущих издателей Пушкина. — ОЗ, 1846, т. 19, № 4, с. 116—119.

[2] «Опровержение на критики». Пушкин имеет в виду булгаринский памфлет (см. прим. 12 к гл. XXI). Далее речь идет о «постскриптуме» («Решил Фиглярин, сидя дома...») к стихотворению «Моя родословная».

[3] Сохраняем, вслед за Анненковым, орфографию и пунктуацию подлинника.

[4] Это заглавие Пушкину не принадлежит и дает неточное представление о замысле поэта. В современных изданиях печатается под названием «Начало автобиографии», предположительно датируется 1834 годом.

[5] Н. А. Полевой являлся одним из критиков «Истории» Карамзина.

[6] Письмо к М. П. Погодину от 5 марта 1833 года.

[7] Письмо от 11 июля 1832 года.

[8] Во время эпидемии холеры в Москве в 1830 году Погодин редактировал «Ведомость о состоянии города Москвы» — приложение к «Московским ведомостям».

[9] Письмо датируется началом ноября 1830 года.

[10] Написано в последних числах ноября 1830 года. В Погодине-драматурге Пушкин—автор «Бориса Годунова» видит своего литературного союзника, чем и объясняется столь высокая оценка «Марфы Посадницы».

[11] «Опровержение на критики».

[12] В конце декабря 1830 года с датой издания: «1831».

[13] Письмо к М. П. Погодину от 3 января 1831 года.

[14] Письмо П. А. Плетнева.

Глава XXVI

[1] Письмо к А. А. Дельвигу от 4 ноября 1830 года.

[2] Вероятно, имеется в виду стихотворение Мюссе «Андалузка».

[3] Написано 1—10 октября; название «Каприз» Пушкину не принадлежит.

[4] Стихотворение написано в Болдине осенью 1833 года.

[5] Написано в 1835 году.

[6] Подражание «Аду» Данте.

[7] В настоящее время предложено другое чтение пушкинской пометы «Предч⟨?⟩ разб. ст.» и другая ее расшифровка: «Предч⟨увствует(ся)⟩ разб⟨итие⟩ Ст⟨амбула⟩ (ст⟨олицы⟩)», что хорошо согласуется и с содержанием стихотворения (см.: Викери У. Загадочная помета Пушкина. — Временник, 1977. Л., 1980, с. 91—95).

[8] Письмо от 25 января 1837 года.

[9] Письмо написано Пушкиным 27 января 1837 года — в день дуэли. Книга, посланная Ишимовой, — «The poetical works of Milman, Bowles Wilson and Barry Cornwall» (Paris, 1829).

[10] Написано в 1828 году. Цитированная строка Шенье служит эпиграфом к стихотворению.

[11] Написано в 1836 году. Пушкин воспользовался французским переводом сонета.

Глава XXVII

[1] Измененная цитата из баллады Жуковского «Граф Гапсбургский».

[2] Письмо к П. А. Плетневу от 31 января 1831 года.

[3] Письмо к П. А. Плетневу от 24 февраля 1831 года.

[4] Письмо к П. А. Плетневу написано из Москвы. Святая (пасхальная) неделя приходилась в 1831 году на 19—25 апреля; в Петербург Пушкин выехал 15 мая.

[5] Письмо к П. В. Нащокину (около 20 мая 1831 г.).

[6] Письмо к П. В. Нащокину от 3 августа 1831 года.

[7] Письмо к П. В. Нащокину от 1 июня 1831 года.

[8] Письмо к П. В. Нащокину (не позднее 20 июня 1831 г.).

[9] Письмо к П. В. Нащокину от 11 июня 1831 года.

[10] Письмо к П. В. Нащокину от 26 июня 1831 года.

[11] Письмо к П. В. Нащокину от 3 сентября 1831 года.

[12] Письмо к П. В. Нащокину от 21 июля 1831 года.

[13] «Царь <...> взял меня на службу, т. е. дал мне жалования и позволил рыться в архивах для составления «Истории Петра I» (письмо к П. В. Нащокину от 2 сентября 1831 года).

[14] Речь идет о польском восстании 1830—1831 годов, подавленном царскими войсками.

[15] Стихотворение «Клеветникам России» написано в Царском Селе 16 августа 1831 года. Его появление вызвано ожесточенной антирусской кампанией в западноевропейской прессе, открытыми призывами к войне с Россией, звучавшими во французской палате депутатов.

[16] Датирована 29 августа 1831 года.

[17] Имеется в виду написанная осенью 1830 года в Болдине «Сказка о попе и работнике его Балде» (см. прим. 6 к гл. IX).

[18] Ср.: Смирнова-Россет А. О. Рассказы о Пушкине, записанные Я. П. Полонским. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 158.

[19] Первая из сказок написана осенью 1833-го, вторая — осенью 1834 года.

[20] Вероятно, имеется в виду отзыв о пушкинском «Салтане», принадлежащий Е. Ф. Розену (см.: Стихотворения Александра Пушкина, 3-я часть. — СПч, 1832, № 81).

[21] *Протей (греч. миф.)* — божество, обладающее способностью принимать различные облики.

[22] В перечне Анненкова есть неточности: вернувшись осенью 1831 года из Царского Села, Пушкин живет на Галерной (ныне Красной) улице (дом Брискорн, осень 1831 — весна 1832 года); с мая по осень 1832 года — на Фурштадтской (ныне Петра Лаврова) улице (дом Алымова); с осени 1832-го по весну 1833 года — на Большой Морской (ныне Герцена) улице (дом Жадимеровского); с ноября 1833-го по август 1834 года — на Пантелеймоновской (ныне Пестеля) улице (дом Оливье); с августа 1834-го до сентября 1836 года — на Французской (ныне Кутузова) набережной (дом Баташева); с осени 1836 года до смерти — на Мойке (дом Волконской).

[23] Письмо к П. В. Нащокину от 22 октября 1831 года. «*Повести*» — «Повести Белкина».

[24] Письмо к П. В. Нащокину от 8 и 10 января 1832 года.

[25] Ср.: Нащокины П. В. и В. А. Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым. Нащокина В. А. Рассказы о Пушкине. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 191, 204.

Глава XXVIII

[1] Вышла в Петербурге в январе 1832 года.

[2] Летом 1831 года Пушкин исключил из романа главу, посвященную путешествию Онегина (ее необходимо было сильно сократить по цензурным

соображениям), перенеся ряд строф в заключительную (восьмую по новой нумерации) главу. Об этом выпуске Пушкин писал в предисловии к отдельному изданию восьмой главы.

[3] Черновой вариант не XIV, а IX строфы, также пропущенной в окончательном тексте.

[4] Строфы XXXIX—XLI первой главы действительно отсутствуют и в черновой и в беловой рукописи романа. Относительно строфы IX см. предыд. прим.

[5] Вероятно, стихотворение принадлежит Андрею Ивановичу Подолинскому (1806—1886).

[6] Приведенные Анненковым в качестве «образчиков» произведений Ленского отрывки представляют собой в действительности незавершенные лирические наброски Пушкина (1823) и к тексту романа отношения не имеют. Одним из оснований для ошибочного приурочения этих элегических набросков явилось для Анненкова, по-видимому, их положение в рукописи среди черновых строф второй главы романа, другим — отмеченная биографом тематическая связь с XVI строфой второй главы (см.: Оксман Ю. Г. Легенда о стихах Ленского (Из разысканий в области пушкинского печатного текста). — В кн.: ПиС, вып. XXXVII. Л., 1928, с. 42—67.) Настойчивое подчеркивание публикатором пародийного характера отрывков объясняется стремлением отвести от Пушкина подозрения в безверии и тем самым избежать придирок цензуры (см. в связи с этим: Анненков П. В. Любопытная тяжба. — В кн.: П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835 — 1885 годов. I. СПб., 1892, с. 406—407).

[7] Анненков прежде всего имеет в виду следующие строки: «...добро и зло // И предрассудки вековые, // И тайны гроба роковые, // Судьба и жизнь...».

[8] Речь идет о строфах беловой рукописи третьей главы, зачеркнутых Пушкиным и не вошедших в окончательную редакцию романа: «Увы, друзья! мелькают годы...», «О вы, которые любили...» и «Не осуждайте безусловно...».

[9] Имеются в виду зачеркнутые строфы беловой редакции третьей главы: «Сокровищем родного слова...» и «И где ж мы первые познанья...» (См.: С, 1838, № 3, с. 185—186).

[10] Альбом Онегина, описание которого следовало в беловой рукописи романа за XXI строфой седьмой главы, должен был, наряду с описанием библиотеки пушкинского героя, стать важным средством его характеристики. Исключение этой части текста из окончательной редакции и использование ряда фрагментов «альбома» в других строфах «Евгения Онегина» объясняется эволюцией пушкинского замысла (см.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 315—316).

[11] Этот отрывок не имеет отношения к «Альбому Онегина» и представляет собой возвращение к авторскому повествованию.

[12] Отрывок представляет собой фрагмент черновой рукописи «Альбома Онегина».

[13] Там же.

[14] Предположение о принадлежности этого чернового отрывка к «Альбому Онегина» не подтверждается. Датируется 1830—1836 годами.

[15] Черновой отрывок стихотворения, датируется 1830 годом, с «Альбомом Онегина» не связан.

[16] Черновой вариант IV строфы четвертой главы.

[17] Стихотворение «Т — прав, когда так верно вас...» (1824) к «Альбому Онегина» отношения не имеет.

[18] Стихотворение Туманского было опубликовано в ПЗ на 1824 год.

[19] Начало стихотворения «Увы! Язык любви болтливый...», написанного 9 мая 1823 года, с романом «Евгений Онегин» не связано.

[20] «Видимо, у Пушкина был какой-то обширный, но вряд ли завершенный окончательный текст главы, когда он отказался от мысли о ее полном включении и прекратил работу над ней» (Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин», с. 374).

[21] Имеется в виду повествование о путешествии Онегина.

[22] Имеются в виду «Отрывки из путешествия Онегина», опубликованные Пушкиным в качестве приложения к роману в его полном издании 1833 года.

[23] Этот, как и приводимый ниже, набросок написан в 1835 году в ответ на предложение П. А. Плетнева продолжить работу над «Евгением Онегиным».

Глава XXIX

[1] Черновой неоконченный набросок, датируется 1830 годом.

[2] Черновик неоконченного стихотворения (1834).

[3] Набросок 1829 года.

[4] Набросок стихотворения, вызванного, возможно, чтением рассказа Сервантеса «Цыганочка». Датируется 1833 годом.

[5] Отрывок незавершенного стихотворения «Еще дуют холодные ветры...» (1828).

[6] Отрывок написан в 1820—1826 годах.

[7] Черновой отрывок стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (май 1829 г.) — возможно, набросок продолжения стихотворения.

[8] Начало стихотворения «Все в жертву памяти твоей...» (1825).

[9] Набросок датируется 1818 годом.

[10] Начало чернового наброска стихотворения (1830).

[11] Отрывок написан в 1836 году.

[12] Начало незавершенного стихотворения (1825).

[13] Двустишие относится к «Наброскам к замыслу о Фаусте» (1825).

[14] Относится к стихотворению «Когда порой воспоминанье...» (1830).

[15] Часть наброска, написанного в 1825 году. По мнению Анненкова,

Пушкин «здесь набрасывает первый очерк известного стихотворения «Талисман» (Анненков П. В. К истории работ над Пушкиным, с. 409). Однако не исключено, что этот отрывок связан с циклом «Подражания Корану» (см.: Сочинения Пушкина, т. 3. СПб., 1912, с. 466—467 (примечания); Фомичев С. А. «Подражания Корану». Генезис, архитектоника и композиция цикла. — Временник. 1978. Л., 1981, с. 22—45).

[16] Неоконченная сатира (1833).

[17] Вольный перевод стихотворения Гонзага «Воспоминания» сделан, вероятно, с французского в 1825 году. У Анненкова текст приведен не полностью.

[18] Часть так называемого «Перевода из К. Бонжура» («Она меня зовет: поеду или нет?»). Относится к 1827—1828 годам и представляет собой переработку эпизода популярной комедии Казимира Бонжура «Муж-волокита» (1824).

[19] Имеются в виду «Ода LVII» («Что же сухо в чаше дно?», 1835) и «Из Анакреона» («Узнают коней ретивых...», 1835).

[20] Речь идет о пушкинском переводе из Катулла «Мальчику» («Пьяной горечью Фалерна...», 1832).

[21] Этот черновой набросок Пушкина датируется 1823 годом и в рукописи названия не имеет. Вероятно, Анненков связывает его с именем лицейского товарища Пушкина Ф. Матюшкина, который в момент написания стихотворения участвовал в северной экспедиции под командованием Врангеля.

[22] Стихотворение «Циклоп» (1830) написано Пушкиным для Е. Ф. Тизенгаузен, участвовавшей в костюмированном бале, где присутствующие должны были произнести стихи, соответствующие их костюму. Тизенгаузен была в костюме циклопа.

[23] Картина Брюллова была выставлена в Петербурге в 1834 году. К этому же году относится и пушкинский набросок.

[24] Время написания стихотворения точно не установлено. Вероятно, оно создано в период с 1825-го по середину 1827 года (см.: Стенник Ю. Стихотворение А. С. Пушкина «Мордвинову» (К истории создания). — РЛ, 1965, № 3, с. 180—181).

Глава XXX

[1] Представление о том, что идея создания собственного периодического издания диктовалась Пушкину чисто коммерческими соображениями, неточно. На издание такого рода Пушкин смотрел как на орудие воздействия на общественное мнение, средство объединения близких ему литературно-общественных сил.

[2] Анненков приводит сокращенный и измененный текст черновика записки Пушкина, адресованной Бенкендорфу (составлена 19 июля — 10 августа 1830 года; беловой текст датируется маем 1832 года), где писатель аргументирует необходимость создания нового литературно-политического жур-

нала. Из полного текста видно, что Пушкин ставил задачу уничтожения монополии «Северной пчелы» Булгарина и Греча в области «критики, как и политики». О своем желании редактировать политический и литературный журнал Пушкин писал Бенкендорфу и в записке от июля 1831 года.

[3] Из письма к М. П. Погодину (1-я половина сентября 1832 г.). О полученном разрешении издавать газету «Дневник» Пушкин сообщает в письмах к И. В. Киреевскому и М. П. Погодину от 11 июля 1832 года.

[4] Анненков сознательно умалчивает о внешних обстоятельствах, затруднивших издание пушкинской газеты. Подробнее о неудавшемся предприятии Пушкина см.: Анненков П. В. Общественные идеалы А. С. Пушкина (Из последних лет жизни поэта). — В кн.: Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, отд. III. СПб., 1881, с. 250—260; Пиксанов Н. К. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник». — ПиС, вып. V. СПб., 1907, с. 30—74; Пушкин. Письма, т. III. М. — Л., 1935, с. 489—500 (комментарии).

[5] Имеются в виду так называемые «Материалы для заметок в газете «Дневник» — пушкинские дневниковые записи 1831 года, обработанные писателем в качестве образца политической информации в предполагавшемся издании. См. в связи с этим также замечания Погодина (ЛН, т. 58, с. 356).

[6] Вероятно, первая редакция «Капитанской дочки» создана в период с конца 1835-го по июль 1836 года. В печати роман появился в 1836 году.

Глава XXXI

[1] Представление о случайности пушкинского интереса к «пугачевщине» отвергнуто наукой (см.: Оксман Ю. Г. Пушкин в работе над «Историей Пугачева». — ЛН, т. 16—18. М., 1934, с. 442—446).

[2] Письмо к П. В. Нащокину (около (не позднее) 25 февраля 1833 г.).

[3] Первый из планов будущего романа о «пугачевщине» был составлен Пушкиным, вероятно, не позднее августа 1832 года. К занятиям историей Пугачева поэт приступил в феврале — марте 1833 года. Таким образом, начало работы над будущей «Капитанской дочкой» предшествовало обращению к историческому исследованию (см.: Петрунина Н. Н. У истоков «Капитанской дочки». — В кн.: Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974, с. 73—123).

[4] Первая черновая редакция «Истории Пугачева» была подготовлена в мае 1833 года, работа над произведением завершилась в 1834 году. О «Капитанской дочке» см. прим. 6 к гл. XXX.

[5] Черновик письма к управляющему Третьим отделением А. Н. Мордвинову от 30 июля 1833 года. Желание Пушкина посетить Оренбургскую и Казанскую губернии было вызвано в первую очередь необходимостью сбора материалов для «Истории Пугачева».

[6] Помета: «27 апре⟨ля⟩ 1832».

[7] Первоначальный замысел относится к 1825—1826 годам.

[8] Подлинник, на который ссылается Пушкин, не обнаружен. Вероятнее всего, *«Яныш-королевич»* — оригинальное произведение Пушкина, в основу которого положена фабула «Русалки» (а не наоборот, как полагает Анненков).

[9] В настоящее время этот текст принят в качестве основного.

[10] В современных изданиях этот текст принят (с небольшими изменениями) в качестве основного.

[11] Вероятно, Анненков имеет в виду одиннадцатую статью цикла В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (ОЗ, 1846, № 10), где эти сведения были поданы в форме слухов. Однако далее сам Белинский обращал внимание на неправдоподобность такого предположения.

[12] Дата начала работы над произведением.

[13] Последняя глава «Дубровского» помечена 6 февраля 1833 года.

[14] Знакомство Пушкина с Гоголем состоялось 20 мая 1831 года. Сближение писателей произошло летом 1831 года, когда Гоголь часто посещал Пушкина и Жуковского в Царском Селе. Общение Пушкина и Гоголя продолжалось вплоть до лета 1836 года — времени отъезда Гоголя за границу.

[15] См.: Кулиш П. Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя. — ОЗ, 1852, № 4, с. 15. (Эти же сведения в кн.: Николай М* ⟨П. Кулиш⟩. Опыт биографии Н. В. Гоголя. СПб., 1854, с. 45.)

[16] Из «Авторской исповеди» Н. В. Гоголя, впервые опубликованной в 1855 году в книге «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти».

[17] По оценке Пушкина — «самое полное из его произведений» (см. пушкинскую заметку «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1836).

[18] Письмо к М. П. Погодину (последние числа ноября 1830 г.).

[19] «Опровержение на критики», заметка «Вот уже 16 лет, как я печатаю...». У Пушкина, однако, имя Гоголя не упоминается («...почти так, как пишет г.**»).

[20] Этот взгляд на Мольера отражен в первоначальной редакции статьи Гоголя «Петербургская сцена в 1835—36 г.» (1836). (В переработанном виде вошла в статью «Петербургские записки 1836 года», опубликованную в «Современнике» (1837, т. 6.)) Вероятно, суждение Пушкина и было вызвано знакомством с этой ранней редакцией статьи (см.: Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Пушкин и Гоголь в 1831—1836 годах. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 6. Л., 1969, с. 216—217).

[21] В письме Пушкина описка, следует читать не «2 октября», а «2 декабря».

[22] Отправным пунктом для создания «Дубровского» стал рассказ П. В. Нащокина о небогатом дворянине Островском, по решению суда лишенном имения и начавшем разбойничать вместе со своими крестьянами. Отсюда и первоначальное название романа.

[23] Письмо к П. В. Нащокину от 3 августа 1831 года. В письме, вероятно,

имеется в виду романс Есаулова на слова пушкинского стихотворения «Ночной зефир...».

[24] Письмо к П. В. Нащокину (середина марта 1834 г.). «*NN*» — в пушкинском оригинале — Андрей Петрович (Есаулов). «*SS*» — в оригинале — Соболевский.

Глава XXXII

[1] Стихотворение «Странник» написано летом 1835 года.

[2] Разрешение Николая I на четырехмесячную поездку в Оренбург и Казань было передано Пушкину в письме А. Н. Мордвинова от 7 августа 1833 года.

[3] Поездка Пушкина в Дерпт не состоялась.

[4] Поездка в Болдино состоялась лишь на обратном пути с Урала — в имение поэт прибыл 1 октября.

[5] См.: Фукс А. А. А. С. Пушкин в Казани. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 217—221.

[6] Об этом см. в письме к Н. Н. Пушкиной от 14 сентября 1833 года.

[7] См.: Даль В. И. Воспоминания о Пушкине. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 222—224.

[8] См. письмо к Н. Н. Пушкиной от 2 октября 1833 года.

[9] Измененная цитата из письма к Н. Н. Пушкиной от 19 сентября 1833 года из Оренбурга.

Глава XXXIII

[1] В основе пушкинского произведения лежит сюжет сказки «О рыбаке и его жене» из сборника братьев Гримм. Помета «18 песнь сербская» указывает, что Пушкин собирался включить ее в состав «Песен западных славян» (поэт считал, что использованный им сюжет имеет славянское происхождение).

[2] «Песни западных славян» опубликованы в 1835 году в журнале «Библиотека для чтения». Вопрос о времени создания цикла сложен и недостаточно изучен. Обычно «Песни» датируются 1834 годом, однако вполне вероятно, что начало работы над ними приходится на 1832—1833 годы, а может быть, и на более ранний период.

[3] Сборник Мериме «Гузла» представлял собой литературную мистификацию: собственные прозаические подражания французский писатель выдал за собрание переводов подлинных славянских песен. Однако установлено, что в основе книги Мериме лежали изученные им фольклорные и этнографические источники.

[4] *Вила* — в мифологии сербов: существо, подобное русалке.

[5] *Иакинф Магланович* — вымышленный Мериме народный поэт.

[6] «...Они (французы. — *А. К.*) теперь все чаще выступают под маской других наций и, позволяя себе остроумную шутку, вводят нас в приятный

обман подложными произведениями, так что мы сперва принимаем загадочную вещь за чужеземный подлинник и находим ее занимательной и достойной удивления, а затем, после ее разоблачения, повторно и уже по-новому любуемся искусным талантом, проявившим склонность к столь серьезным шуткам, ибо невозможно лучше выразить свое проникновение в склад поэзии и мыслей другого народа, как приблизившись к ним путем подражания и переводов. <...> Пусть господин Мериме поэтому на нас не сердится, если мы здесь объявим его автором <...> сборника «Guzla» (Гете Иоганн Вольфганг. Собр. соч., т. 10. М., 1980, с. 413—414). Цитированная рецензия Гете на сборник Мериме была опубликована в 1828 году.

[7] См. пушкинское «Предисловие к «Песням западных славян».

[8] Действительно, «Песня о Георгии Черном» и «Воевода Милош» — оригинальные пушкинские произведения, посвященные вождям сербского национального движения.

[9] *Аполог* — разновидность нравоучительной поэзии.

[10] Следующие далее суждения Анненкова о первоначальном единстве «Медного всадника» и незавершенной поэмы «Езерский» (в рукописи заглавия не имеет) неточны (см.: Измайлов Н. В. «Медный всадник» А. С. Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения. — В кн.: Пушкин А. С. Медный всадник. Л.: Наука, 1978, с. 169—170 и далее). Начатый в марте 1832-го «Езерский» был оставлен Пушкиным не позднее августа 1833 года (часть текста поэмы под названием «Родословная моего героя. (Отрывок из сатирической поэмы)» опубликована в 1836 году). Отказавшись от продолжения «Езерского», Пушкин в октябре 1833 года пишет новую «петербургскую повесть» — «Медный всадник», отчасти воспользовавшись в ней материалом начальных строф своего неоконченного произведения.

[11] Имеется в виду поэма «Езерский».

[12] Допускаемое отождествление героев двух различных произведений, конечно, неправомерно.

[13] «Езерский», строфа VII.

[14] Часть текста «Медного всадника», исключенная из окончательной редакции.

[15] Речь идет о печатном тексте «Современника» («Родословная моего героя»).

[16] Строфы первоначальной и окончательной редакции «Езерского».

[17] V строфа первоначальной редакции «Езерского».

[18] Написано летом 1835 года. О «Страннике» см.: Благой Д. Д. Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой. — В кн.: Благой Д. От Кантемира до наших дней, т. 1. М., 1972, с. 334—365.

[19] Имеется в виду стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны...». Оно, как и названное далее «Подражание итальянскому», написано в 1836 году.

[20] «*Четьи-Минеи*» («чтения ежемесячные») — сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого святого. «*Пролог*» — богослужебная книга, содержащая краткие жития и похвальные слова, расположенные в календарном порядке. «Четьи-Минеи» Пушкин изучал еще в 1825 году, работая над «Борисом Году-

новым» (см. его письмо к В. А. Жуковскому от 17 августа 1825 года). К началу 1830-х годов относятся выписки из «Четьих-Миней» и «Пролога», сохранившиеся в бумагах Пушкина. В письме к П. А. Плетневу (около (не позднее) 14 апреля 1831 г.) поэт передает Жуковскому совет «читать Четь-Минею, особенно легенды о киевских чудотворцах; прелесть простоты и вымысла!».

[21] Выписка из январских «Четьих-Миней», датируется предположительно 1831 годом.

[22] Выписка из жития Саввы Сторожевского, датируется началом 1830-х годов.

[23] Одним из составителей «Словаря» был лицейский товарищ Пушкина М. Л. Яковлев.

[24] См. пушкинскую рецензию «Словарь о святых, прославленных в российской церкви...».

[25] Датируется 1835 годом.

[26] Написано в 1829 году. В измененном виде вошло в «Сцены из рыцарских времен» (1835).

[27] Стоящее в начале пушкинской рукописи слово «план», возможно, указывает на то, что автор рассматривал написанный текст как основу для будущей драмы в стихах (в пользу этого говорят и два поэтических наброска начала произведения). В дошедшей до нас форме пушкинское сочинение напоминает широко распространенную во французской литературе того времени историческую драму, строящуюся как ряд сцен, и в первую очередь «Жакерию» (1828) П. Мериме. «Сцены из рыцарских времен» не были завершены Пушкиным, нынешнее заглавие дано им издателями при посмертной публикации (см.: С, 1837, т. V).

[28] Неоконченное стихотворение; представляет собой переложение легенды о Юдифи и Олоферне, написано 9 ноября 1835 года.

[29] Обзор позднейших истолкований поэмы «Анджело» см. в работе: Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836). Л., 1982, с. 98—122.

Глава XXXIV

[1] Подлинное пушкинское название этого труда, соответствующее и его содержанию, — «История Пугачева». На «Историю Пугачевского бунта» оно было заменено по требованию Николая I, полагавшего, «что преступник, как Пугачев, не имеет истории» (см.: Зенгер Т. Николай I — редактор Пушкина. — ЛН, т. 16—18, с. 527).

[2] Присвоение этого младшего придворного чина глубоко оскорбило Пушкина. «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове», — записал он в своем дневнике 1 января 1834 года.

[3] Письмо к П. В. Нащокину от 20 января 1835 года. Печатание «Истории» было завершено в ноябре 1834 года, в продажу она поступила в декабре того же года.

[4] Письмо к Н. Н. Пушкиной от 24 апреля 1834 года.

[5] Речь идет о сборнике «Повести, изданные Александром Пушкиным».

[6] Запись в дневнике (28 ноября 1834 г.).

[7] Письмо к П. В. Нащокину от 24 ноября 1833 года.

[8] Письмо к П. В. Нащокину (около (не позднее) 8 января 1835 г.). Фамилия домовладельца («Балашев» вместо «Баташев») указана ошибочно.

[9] Письмо к П. В. Нащокину (между 23 и 30 марта 1834 г.).

[10] Летом 1834 года Пушкин, стремясь к личной и материальной независимости, сделал попытку выйти в отставку, с тем чтобы переселиться в деревню и заняться творческой работой. Однако опасность ссоры с правительством, угроза того, что ему будет закрыт доступ в архивы, заставили поэта отказаться от этих планов и просить остановить отставку.

[11] Письмо к Е. Ф. Канкрину от 6 ноября 1836 года. Просьба Пушкина была связана со стремлением освободиться от зависимости от Николая I. Ответ Канкрина (от 21 ноября 1836 года) был отрицательным.

[12] Анненков ошибается (см.: Лернер, с. 333): поездка Пушкина в Москву состоялась в мае 1836-го, в мае же 1835 года состоялась десятидневная поездка в Тригорское (с 5 по 15 мая, см.: Лернер, с. 334).

[13] Пушкин выехал в Михайловское 7 сентября 1835 года, вернулся в Петербург 23 октября.

[14] Речь идет о стихотворении «...Вновь я посетил...», не публиковавшемся при жизни поэта.

[15] Это было вызвано не только желанием Смирдина сохранить Пушкина как сотрудника издаваемого им журнала, но и боязнью конкуренции с его стороны.

[16] Письмо к П. В. Нащокину (10-е числа января 1836 г.).

[17] Имеются в виду стихотворения «Будрыс и его сыновья» (перевод баллады Мицкевича «Три Будрыса») и «Воевода» (вольное подражание балладе Мицкевича «Засада»).

[18] Стихотворение «Красавица» («Все в ней гармония, все диво...») написано, вероятно, в 1832 году.

Глава XXXV

[1] Вероятно, «Египетские ночи» писались Пушкиным в Михайловском осенью 1835 года.

[2] См. в связи с этим: Бонди С. К истории создания «Египетских ночей»; см. также прим. 64 к гл. XI.

[3] Речь идет о незавершенном произведении, известном под названием «Гости съезжались на дачу...» (датируется 1828—1830 годами). В сборнике «Сто русских литераторов» был напечатан лишь отрывок этого произведения. Связь наброска «Гости съезжались на дачу...», в тексте которого нет никакого упоминания о Клеопатре, с замыслом «Египетских ночей» давно поставлена под сомнение (см.: Бонди, с. 151).

[4] Анненков приводит начало незавершенного произведения, известного под названием «Мы проводили вечер на даче...» (1835). Этот набросок пред-

ставляет собой вариант разработки сюжета, лежащего и в основе «Египетских ночей», и предположительно предшествует им. Однако точно последовательность создания «Мы проводили вечер на даче...» и «Египетских ночей» неизвестна.

[5] «Отрывок» («Несмотря на великие преимущества...») написан, вероятно, 26 сентября 1830 года. Он не был связан с «Египетскими ночами» и представляет собой отдельный, самостоятельный этюд. Спустя несколько лет значительно измененный текст этого этюда был использован для первой главы «Египетских ночей» (см.: Бонди, с. 196—202, 204—205).

[6] Речь идет о так называемой «Повести из римской жизни» («Цезарь путешествовал...», 1833—1835), также не связанной непосредственно с «Египетскими ночами» (см.: Бонди, с. 151). Ниже Анненков приводит текст этого произведения и его план.

[7] Речь идет о стихотворении «Кто из богов мне возвратил...», представляющем собой вольный перевод оды Горация «К Помпею Вару». Датируется 1835 годом.

[8] См. с. 166 и прим. 65 к гл. XI.

[9] Неточная цитата из «Отрывков из писем, мыслей и замечаний».

Глава XXXVI

[1] Дневниковая запись от 7 апреля 1834 года.

[2] Дневниковая запись от 3 декабря 1833 года. Речь идет о гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

[3] Дневниковая запись от 7 апреля 1834 года.

[4] Идея написания истории Петра возникает у Пушкина в 1827 году. В 1831 году писатель уже непосредственно приступает к реализации своего замысла. В течение 1835 года создается подготовительный текст всего пушкинского исследования, охватывающий петровское царствование в целом (см.: Фейнберг И. Л. История Петра I. — В кн.: Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина. 6-е изд. М., 1976, с. 37—41).

[5] Последние минуты Пушкина (см.: С, 1837, т. V).

[6] Разрешение на издание «Материалов для Истории Петра Великого» (такое название получил пушкинский труд после смерти автора) было дано после проведенных цензурой изменений и сокращений, однако исследование Пушкина не нашло издателя.

[7] Эта точка зрения пересмотрена наукой «Изучение творческой истории его (Пушкина. — *А. К.*) труда убеждает в том, что работа его над созданием «Истории Петра» не остановилась на начальной стадии, — пишет И. Л. Фейнберг, — исследование показывает, что, вопреки распространенному мнению, Пушкин не ограничился конспектированием исторических источников ⟨...⟩. Работа над «Историей Петра» продвинулась много дальше: общие контуры ее были уже ясны; в обширном подготовительном тексте ее отражена

выработанная Пушкиным историческая концепция, в свете которой различима пушкинская обрисовка Петровской эпохи и виден создаваемый им образ Петра. ‹...› Исследование дало вместе с тем возможность обнаружить в этом обширном черновом труде Пушкина множество страниц-заготовок прекрасной исторической прозы, созданной уже Пушкиным для подготовляемой книги о Петре» (Незавершенные работы Пушкина, с. 5—6).

[8] После смерти Пушкина написание истории Петра I было поручено Николаем I академику Николаю Герасимовичу Устрялову (1805—1870). Его «История царствования Петра Великого» выходила с 1858 по 1864 год (т. 1—4, 6).

[9] Речь идет о части текста так называемых «Заметок при чтении «Описания земли Камчатки» С. П. Крашенинникова» (1837) — неоконченного и, вероятно, последнего труда Пушкина.

[10] Тетрадь пушкинских записей, посвященных 1672—1689 годам, была опубликована П. В. Анненковым в седьмом, дополнительном томе изданных им сочинений Пушкина (СПб., 1857). Там же помещен и фрагмент «Камчатские дела».

Глава XXXVII

[1] Февральская поездка Пушкина в Москву не состоялась (см.: Лернер, с. 352).

[2] Разрешение на издание «Современника» было получено Пушкиным в конце 1835 года.

[3] Вероятно, имеются в виду критические выступления редактора «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского.

[4] Имеется в виду стихотворение «Из А. Шенье» («Покров, упитанный язвительною кровью...», 1825, 1835).

[5] Рецензия на книгу Погодина «Исторические афоризмы» была написана Гоголем.

[6] «Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа белорусского».

[7] Речь идет о стихотворении «Д. В. Давыдову» («Жизни баловень счастливый...», 1835). Далее имеется в виду данная в послании портретная характеристика Давыдова: «...боец чернокудрявый, // С белым локоном на лбу!»

[8] Из стихотворения Державина «На рождение царицы Гремиславы...».

[9] Возможно, интерес Пушкина к легенде об Алексее связан с его работой над статьей «Александр Радищев» (окончена 3 апреля 1835 года), в приложениях к которой приводится глава «Клин» радищевского «Путешествия», содержащая рассказ об исполнении этого духовного стиха.

[10] В этой заметке Пушкин отвечает главным образом на выпады О. И. Сенковского, стремившегося в своих откликах на появление «Вастолы» (Библиотека для чтения, 1836, № 1, 2) уронить репутацию поэта. Переводчиком «Ва-

столы» был Ефим Петрович Люценко (1776—1854), в 1811—1813 годах служивший в Царскосельском лицее.

[11] См. «Театральный разъезд после представления новой комедии» (1842).

[12] Автором этой заметки был Н. В. Гоголь, активно участвовавший в подготовке первого тома «Современника».

[13] Речь идет о предисловии к «Запискам» Н. А. Дуровой.

[14] Датируется концом сентября — 1-й половиной октября 1827 года.

[15] Автором рецензии на этот сборник произведений третьестепенных литераторов был Н. В. Гоголь.

[16] Речь идет о несостоявшейся дуэли Пушкина с В. А. Соллогубом; в мае 1836 года произошло примирение противников (см.: Модзалевский, с. 374—376; П. в восп., т. 2, с. 308—311).

[17] Желание установить литературные отношения с Белинским возникло у Пушкина, вероятно, после знакомства со статьей критика «Несколько слов о «Современнике» (Молва, 1836, № 7). Высокую оценку дарования Белинского содержал пушкинский отзыв о нем в III т. «Современника» («Письмо к издателю», за подписью А. Б.).

[18] Имеются в виду руководители журнала «Московский наблюдатель», против которого резко выступал В. Г. Белинский («О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя»).

[19] Речь идет о рукописи воспоминаний Нащокина, начатых им по настоянию Пушкина (см.: Воспоминания Павла Воиновича Нащокина, написанные в форме письма к А. С. Пушкину. (Публикация Н. Я. Эйдельмана.) — Прометей, т. 10. М., 1974, с. 275—292).

[20] То есть во время пребывания в Москве.

[21] «Российская Академия». Пушкину в этом номере принадлежала также и статья «Французская Академия» (обе статьи были напечатаны без подписи).

[22] Арзамасское прозвище А. И. Тургенева, ставшее впоследствии его псевдонимом.

[23] Автором этого редакционного объяснения был П. А. Вяземский.

[24] Статьи «Новая поэма Э. Кине: «Napoleon, poeme par Edgar Quinet». Paris, 1836»; «Наполеон и Юлий Цезарь»; «Ревизор, комедия, соч. Н. Гоголя...» принадлежали П. А. Вяземскому.

[25] Начало стихотворения «Мирская власть».

[26] Последние строки стихотворения «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права...»). Вместе со стихотворениями «Отцы пустынники и жены непорочны...» (у Анненкова под названием «Молитва»), «Подражание итальянскому» («Как с древа сорвался предатель ученик...») и «Мирская власть» это произведение входило в лирический цикл, к которому, возможно, следует отнести также и стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу...» (см. об этом: Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20—30-х годов. — В кн.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 243—259).

[27] В заметке «Новый роман» Пушкин имел в виду роман Варвары Семе-

новны Миклашевич (1772—1846) «Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия», изданный лишь в 1864 году.

[28] Автором «Письма к издателю», опубликованного от имени провинциального читателя А. Б., являлся сам Пушкин. Появление «Письма» было связано с тем сильным впечатлением, какое произвела гоголевская статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», напечатанная анонимно и воспринятая как программа «Современника». Не разделяя крайностей гоголевских взглядов, Пушкин посчитал необходимым выступить с соответствующими разъяснениями. Наиболее удобной тактически оказалась при этом форма письма рядового читателя журнала, которое сопровождали пояснительные примечания издателя.

[29] Имеется в виду «Северная пчела».

[30] Редакционная заметка «Издатель «Современника» не печатал никакой программы...».

[31] Принято считать, что Анненков пользуется в данном случае информацией М. Л. Яковлева, на квартире которого праздновалась годовщина 1836 года (25-летие со дня основания лицея). Однако вполне возможно, что эпизод рассказан со слов какого-либо другого из товарищей поэта (см.: Левкович Я. Л. Лицейские «годовщины». — В кн.: Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974, с. 95).

[32] Первые три строфы стихотворения «Перед гробницею святой...», написанного в июне 1831 года.

[33] Заметка «Ключ к Истории государства Российского Н. М. Карамзина. 2 ч.» действительно принадлежит Пушкину.

Глава XXXVIII

[1] В силу цензурных ограничений Анненков по необходимости скупо и туманно говорит о событиях, предшествующих дуэли Пушкина с Дантесом, хотя самому исследователю они были достаточно известны (см., напр., находившуюся в распоряжении Анненкова запись воспоминаний В. А. Соллогуба в кн.: Модзалевский, с. 376—381). О гибели Пушкина см. прежде всего работу: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.— Л., 1928.

[2] Ср.: Данзас К. К. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина в записи А. Аммосова. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 326 и далее.

[3] Имеется в виду графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова (1818—1856). (См.: Современная летопись, 1863, май, № 18 с. 13; Щеголев, с. 448.)

[4] См.: Жуковский В. А. Письмо к С. Л. Пушкину. — В кн.: П. в восп., т. 2, с. 341—354. Сокращенная редакция «Письма» под названием «Последние минуты Пушкина» была опубликована в «Современнике» (1837, т. V). Одной из задач Жуковского — автора «Письма» — была реабилитация Пушкина в глазах правительства, предпринятая с тем, чтобы обеспе-

чить материальное положение семьи поэта и будущую судьбу его творческого наследия. Этим определялось построение образа умирающего Пушкина как идеального христианина и верноподданного.

[5] В «Приложениях» к «Материалам» Анненкова были помещены статья Жуковского «Последние минуты Пушкина» и выписка из статьи «Александр Пушкин», входящей в составленный Д. Н. Бантыш-Каменским «Словарь достопамятных людей русской земли» (СПб., 1847).

[6] В 1837 году «Современник» издавался П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, В. Ф. Одоевским и П. А. Плетневым.

А. А. Карпов

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В Указатель вошли имена исторических деятелей и современников Пушкина, встречающиеся в тексте «Материалов». Номера страниц, относящиеся к разделу «Комментарии», набраны курсивом. Аннотации содержат краткие сведения, необходимые для понимания текста; общеизвестные имена не аннотируются.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. С. ПУШКИНА,

названных либо цитированных в тексте «Материалов». Номера страниц, относящиеся к разделу «Комментарии», набраны курсивом

СОДЕРЖАНИЕ

Павел Васильевич Анненков

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ А. С. ПУШКИНА

Редактор **Т. Марусяк**
Художник **В. Лукашов**
Художественный редактор **А. Никулин**
Технический редактор **Н. Децко**
Корректоры **В. Лыкова, Г. Панова**

ИБ № 3083

Сдано в набор 23.03.83. Подписано к печати 20.09.83. А06715. Формат $60\times90^1/_{16}$. Гарнитура школьная. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 30. Усл. кр.-отт. 30. Уч.-изд. л. 32,06. Тираж 75 000 экз. Заказ 2296. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351, Москва, Г-351, Ярцевская 4

Отпечатано с матриц Саратовского ордена Трудового Красного Знамени полиграфического комбината на Калининском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Анненков П. В.

А68 Материалы для биографии А. С. Пушкина/Вступ. статья Г. М. Фридлендера; Подготовка текста и комментарии А. А. Карпова. — М.: Современник, 1984.— 476 с., портр. — (Б-ка «Любителям российской словесности. Из литературного наследия»).

В пер.: 2 р. 20 к.

Публикуемые в настоящей книге «Материалы для биографии А. С. Пушкина» известного русского литературного критика и мемуариста П. В. Анненкова — первая научная биография великого поэта. Труд Анненкова позволяет назвать его первым ученым-пушкинистом, который, наряду с В. Г. Белинским, явился основоположником всей последующей исследовательской литературы об А. С. Пушкине.

А $\frac{4603010101-005}{М106(03)-84}$ 275—83

ББК 83.3Р
8Р1

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении — направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»